

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА XVIII

Что же случилось с паном Анджеем и как удалось ему исполнить свой замысел? Выйдя из крепости, он некоторое время спускался с горы уверенным, хоть и осторожным шагом. У самого подножия приостановился и прислушался. Тихо было кругом, даже слишком тихо, так что снег явственно скрипел под ногою. По мере того как пан Анджей удалялся от стен, он ступал все осторожней. Снова останавливался и снова прислушивался. Боясь поскользнуться и при падении подмочить свою драгоценную ношу, он вынул из ножен рапиру и стал на ходу опираться на ее острие. Идти стало гораздо легче.

Нащупывая острием дорогу, он через полчаса услышал прямо перед собой легкий шорох.

«Так! Стоят на страже! Вылазка научила их осторожности!» – подумал он.

И пошел дальше уже очень медленно. Он рад был, что не сбился с дороги, – темно было так, что он не мог различить острие рапиры.

– Тот шанец гораздо дальше, стало быть, я верно иду! – шепнул он про себя.

Он надеялся, что впереди шанца людей не застанет, – ведь им там нечего делать, особенно ночью. Разве только часовые стоят в какой-нибудь сотне шагов друг от друга; но он надеялся, что в такой темноте ему легко удастся проскользнуть мимо них.

На душе у него было весело.

Он был не только отважен, но и дерзок. Мысль о том, что он взорвет мощную кулеврину, радовала его до глубины души не только потому, что это будет подвиг, не только потому, что он окажет памятную услугу осажденным, но и потому, что это будет жестокая шутка, которую он подшутит над шведами. Он представлял себе, как они испугаются, как Миллер будет скрежетать зубами, как беспомощно он будет смотреть на монастырские стены, и минутами его душил злорадный смех.

И как сам он уже говорил, не испытывал он никакой тревоги, никакого страха и волнения, ему и в голову не приходило, какой страшной опасности он подвергается. Он шел так, как школяр идет в чужой сад за яблоками. Припомнились ему старые времена, когда он ходил на Хованского и с двумя сотнями таких же, как сам, забияк, прокрадывался ночью в тридцатитысячный стан.

Пришли ему на память и друзья: Кокосинский, великан Кульвец-Гиппоцентаврус, рябой Раницкий, который был из сенаторского рода, и другие; с грустью вздохнул он, вспомнив о них.

«Пригодились бы сейчас, шельмецы! – подумал он. – За одну ночь мы бы шесть пушек взорвали».

Сжалось тут его сердце от чувства одиночества, но лишь на одно короткое мгновение. Он тотчас вспомнил свою Оленьку. С небывалою силой пробудилась в нем любовь. Он растрогался. Если бы Оленька могла его увидеть, как возрадовалось бы ее сердце! Она, может, все еще думает, что он служит шведам. Вот как он им

служит! Такое сейчас сотворит, что не поздоровится им! Что-то будет, как дознается она обо всех его дерзких предприятиях? Что она подумает? Подумает, верно: «Сорвиголова, но коль дойдет до дела, такое совершит, чего никто другой не совершит, и туда пойдет, куда никто другой не пойдет! Вот каков он, этот Кмициц!»

– Я и не то еще совершу! – сказал про себя пан Анджей и совсем возгордился.

Несмотря на все эти мысли, не забыл он, где находится, куда идет, что намерен предпринять, и начал он красться теперь, как волк в ночную пору крадется к стаду. Раз, другой оглянулся. Ни костела, ни монастыря. Все окутала густая, непроглядная темнота. Однако по времени он рассудил, что зашел уже далеко и шанец должен быть совсем близко.

«Любопытно мне, стоит ли стража?» – подумал он.

Но не успел он сделать и двух шагов, как впереди неожиданно раздался мерный топот шагов и сразу несколько голосов в разных местах спросило:

– Кто идет?

Пан Анджей остановился как вкопанный. Его бросило в жар.

– Свой, – отозвались другие голоса.

– Пароль?

– Упсала!

– Отзыв?

– Корона!

Пан Анджей сообразил, что это сменяется стража.

– Дам я вам и Упсалу и корону! – проворчал он.

И обрадовался. Это было очень удачное для него обстоятельство, так как во время смены стражи, когда шаги солдат заглушат его собственный шаг, он легко может миновать сторожевые посты.

Так он и сделал без труда и смело дошел за возвращавшимися солдатами до самого шанца. Там солдаты свернули в сторону, чтобы обойти шанец, а он торопливо подобрался ко рву и укрылся в нем.

Тем временем немного посветлело. Пан Анджей и за это возблагодарил небеса, потому что ощупью, впотьмах, он не смог бы обнаружить вожделенную кулеврину. Теперь, подняв голову изо рва и напрягая зрение, он увидел над собой черную линию, обозначающую край шанца, и такие же черные очертания корзин с землей, между которыми стояли пушки.

Он мог даже различить пушечные жерла, несколько выдавшиеся надо рвом. Медленно подвигаясь по рву, он обнаружил наконец свою кулеврину. Тогда он остановился и стал прислушиваться.

На валу был слышен шорох. Видно, пехота стояла у пушек в боевой готовности. Но вал закрывал пана Анджея, так что шведы могли его услышать, но не могли увидеть. Теперь он думал только о том, сумеет ли снизу достать до жерла пушки, которое высоко поднималось над его головой.

По счастью, стенки рва были не очень круты; кроме того, насыпь сделали, видно, недавно или поливали водой, и земля не успела замерзнуть, так как с некоторых пор стояла оттепель.

Сообразив это, Кмициц стал осторожно делать в скате рва выемки и медленно подбираться по ним к пушке.

Через четверть часа ему удалось ухватиться за жерло, еще через минуту он повис в воздухе. Благодаря необыкновенной силе он продержался так до тех пор, пока не заткнул в жерло пороховой рукав.

– На тебе, песик, колбаски! – проворчал он. – Смотри не подавись!

С этими словами он снова спустился вниз и стал искать конец шнура, прицепленного к наружному концу рукава и свисавшего в ров.

Через минуту он нащупал его рукой. Теперь наступила самая трудная минута: надо было высечь огонь и поджечь шнур.

На минуту Кмициц остановился, выжидая, когда солдаты зашумят на шанце.

Наконец он стал легонько ударять огнивом о кремень. В ту же минуту над его головой раздался вопрос на немецком языке:

– Кто это там во рву?

– Это я, Ганс! – не задумываясь, ответил Кмициц. – Шомпол у меня черти в ров унесли, высекаю огонь, поискать надо.

– Ладно, ладно! – ответил пушкарь. – Счастье твое, что мы не стреляем, не то бы тебе воздухом голову оторвало.

«Эге! – подумал Кмициц. – Стало быть, кулеврина, кроме моего заряда, начинена и своим собственным. Тем лучше!»

В эту минуту пропитанный серой шнур загорелся, и легкие искорки побежали вверх по его поверхности.

Время было бежать. Не теряя ни минуты, Кмициц стремглав пустился вдоль рва, не обращая больше внимания на шум, который он при этом поднял. Но когда он отбежал на каких-нибудь двадцать шагов, любопытство превозмогло в нем чувство страшной опасности.

«А что, если от сырости шнур погас!» – мелькнуло у него в голове.

И он остановился. Оглянувшись назад, он увидел искорку на шнуре, но уже гораздо выше.

«Ох, не слишком ли близко я?» – сказал он про себя, и страх его объял.

Он снова бросился бегом вдоль рва, споткнулся вдруг о камень и упал. Но тут страшный грохот потряс воздух, земля заколебалась, мимо просвистели разметанные взрывом куски дерева и железа, камни, глыбы льда, комья земли, и на этом кончились все его ощущения.

Затем раздались новые взрывы. Это от сотрясения взлетели на воздух пороховые ящики, стоявшие неподалеку от кулеврины.

Но этого Кмициц уже не слышал, он лежал во рву недвижимо, как труп.

Не слышал он и того, как после минутной немой тишины раздались стоны, крики и призывы на помощь, как к месту происшествия сбежалась половина шведских и союзных польских войск, как затем в сопровождении целого штаба прискакал Миллер.

Долго не смолкали шум и смятение, пока из сбивчивых показаний шведский генерал не выяснил, что кто-то умышленно взорвал кулеврину. Было приказано тотчас начать поиски. Под утро солдаты, производившие поиски, обнаружили во рву Кмицица.

Оказалось, он был только оглушен и от сотрясения на какое-то время перестал владеть руками и ногами. Весь следующий день длилось у него это недомогание. Лечили его весьма усердно. Вечером он почти совсем оправился.

Миллер приказал немедленно его привести.

Сам генерал на своей квартире занял за столом главное место, по бокам разместились князь Гессенский, Вжещович, Садовский, все высшие шведские чины, а из поляков Зброжек, Калинский и Куклиновский.

Увидев Кмицица, Куклиновский позеленел, глаза его загорелись, как угли, усы встопорщились. Не ожидая, пока генерал начнет допрос, он сказал:

– Я эту птицу знаю! Он из ченстоховского гарнизона. Зовут его Бабинич!

Кмициц молчал.

Он был бледен и, казалось, утомлен; но взор его был тверд и лицо спокойно.

– Ты взорвал кулеврину? – спросил Миллер.

– Я! – ответил Кмициц.

– Как ты это сделал?

Кмициц коротко рассказал, ничего не утаив. Офицеры в изумлении переглянулись.

– Герой! – шепнул Садовскому князь Гессенский.

А Садовский нагнулся к Вжещовичу.

– Ну как, граф Вейгард? – спросил он. – Возьмем мы эту крепость при таких защитниках? Как по-вашему, сдадутся они?

Но Кмициц сказал:

– Не один у нас защитник същется, готовый на такой подвиг. Не знаете вы, когда пробьет ваш час!

– Но и в нашем стане не одна веревка същется! – ответил Миллер.

– Это мы знаем. Но не взять вам Ясной Горы, покуда там останется хоть один человек!

Наступила минута молчания. Затем Миллер продолжал допрос.

– Тебя зовут Бабинич?

Пан Анджей подумал, что после того, что он совершил, нет больше надобности скрывать перед лицом близкой смерти свое настоящее имя. Пусть забудут люди грехи и злодеянья, связанные с этим именем, пусть теперь, когда он готов пожертвовать жизнью за родину, воссияет оно в венце славы.

– Не Бабинич я, – ответил он с гордостью, – зовут меня Анджей Кмициц, я был полковником собственной хоругви в литовском войске.

Едва услышав эти слова, Куклиновский как полоумный сорвался с места и, вытаращив глаза, раскрыв рот, хлопнул себя по ляжкам.

– Генерал, – вскочил он, – дайте мне слово сказать! Генерал, дайте мне слово сказать. Сию же минуту! Сию же минуту!

Ропот пробежал по рядам польских офицеров, а шведы внимали ему с удивлением, так как имя Кмицица ничего им не говорило. Однако они тотчас сообразили, что перед ними не простой солдат, когда Зброжек встал и, приблизясь к узнику, произнес:

– Пан полковник! Я ничем не могу помочь тебе в беде, но прошу, дай мне пожать твою руку!

Но Кмициц поднял голову и раздул ноздри.

– Я не подаю руки изменникам, которые служат врагам отчизны! – ответил он.

Зброжек побагровел.

Калинский, который шагнул было за ним, попятился; их тотчас окружили шведские офицеры и стали расспрашивать, что это за Кмициц, чье имя произвело на них такое впечатление.

Между тем в соседнем покое Куклиновский, прижав Миллера к окну, решительно к нему приступил:

– Генерал, вам имя Кмицица ничего не говорит, а ведь это первый солдат и первый полковник во всей Речи Посполитой. Все его знают, всем известно его имя! Когда-то он служил Радзивиллу и шведам, теперь перешел, видно, на сторону Яна Казимира. Нет ему равного среди солдат, кроме разве меня. Он только и мог совершить такой подвиг: пойти одному и взорвать пушку. По одному этому можно его узнать. Он такой урон наносил Хованскому, что за его голову назначили цену. После

шкловского поражения он один воевал со своим отрядом в две-три сотни солдат, покуда и другие не опомнились и, последовав его примеру, не стали учинять набеги на врага. Это самый опасный человек во всей стране.

– Что ты тут славу ему поешь? – прервал Куклиновского Миллер – Что он опасен, в этом я сам убедился, – урон он нам нанес непоправимый

– Генерал, что вы думаете с ним делать?

– Я бы приказал его повесить, но я сам солдат и умею ценить отвагу и мужество. К тому же он знатный шляхтич. Я прикажу сегодня же его расстрелять.

– Генерал! Не мне учить славнейшего воителя и державного мужа новых времен; но я позволю себе заметить, что этот человек снискал себе великую славу. Если вы это сделаете, хоругви Зброжека и Калинского в лучшем случае в тот же день уйдут от вас и встанут на сторону Яна Казимира.

– Если так, я прежде велю искрошить их! – крикнул Миллер.

– Генерал, за это отвечать придется Трудно будет утаить истребление двух хоругвей, а как только об этом пройдет слух, все польские войска оставят Карла Густава. Вы сами знаете, генерал, они и без того ненадежны. На гетманов и то нельзя положиться А ведь на стороне нашего государя Конецпольский с шестью тысячами отборной конницы. Это не шутка! Избави бог, коль и они обратятся против нас, против его величества. А тут еще эта крепость упорно обороняется, да и нелегкое это дело искрошить хоругви Зброжека и Калинского, ведь тут и Вольф с пехотой. Они могут связаться с гарнизоном крепости...

– Сто чертей! – прервал его Миллер. – Чего ты хочешь, Куклиновский? Чтобы я даровал ему жизнь? Не бывать этому!

– Я хочу, – ответил Куклиновский, – чтобы вы отдали его мне.

– А что ты с ним сделаешь?

– Я? С живого шкуру спущу!

– Да ты настоящего его имени и то не знал, стало быть, не был знаком с ним. Что ты имеешь против него?

– Я с ним только в Ченстохове познакомился, когда вы второй раз послали меня туда.

– У тебя есть повод для мести?

– Генерал, я хотел склонить его перейти в наш стан. А он воспользовался тем, что я говорил с ним не как посол, а как особа приватная, и оскорбил меня, Куклиновского, так, как никто в жизни меня не оскорблял.

– Что он тебе сделал?

Куклиновский затрясся и заскрежетал зубами.

– Лучше об этом не рассказывать! Отдайте мне его, генерал! Все равно ждет его

смерть, а мне бы хотелось прежде потешиться над ним. Тем более что это тот самый Кмициц, перед которым я благоговел и который так мне отплатил. Отдайте мне его, генерал! И для вас это будет лучше! Если я его убью, Зброжек, Калинский, а с ними все польские рыцари не на вас обрушатся, а на меня, ну а уж я как-нибудь с ними справлюсь. Не будет ни зла, ни обиды, ни бунта. Будет мое приватное дельце об шкурке Кмицица, которой я велю обтянуть барабанчик.

Миллер задумался; по лицу его пробежала внезапно тень подозрения.

– Куклиновский, – сказал он, – уж не хочешь ли ты спасти его?

Куклиновский тихо рассмеялся; но так страшен и непритворен был этот смех, что Миллер перестал сомневаться.

– Может, это и дельный совет! – сказал он.

– За все мои заслуги я прошу только этой награды!

– Что ж, бери его!

Они пошли в покой, где собрались остальные офицеры.

– За заслуги полковника Куклиновского, – обратился к ним Миллер, – я отдаю ему пленника.

На минуту воцарилось молчание; затем Зброжек, подбоченясь, спросил с презрением в голосе:

– А что пан Куклиновский собирается делать с пленником?

Куклиновский, обычно сутуливший спину, выпрямился вдруг, губы его растянулись в зловещей усмешке, ресницы задрожали.

– Если кому не понравится, что я сделаю с пленником, он знает, где меня можно найти, – ответил он.

И тихо звякнул саблей.

– Слово, пан Куклиновский! – сказал Зброжек.

– Слово, слово!

И Куклиновский подошел к Кмицицу:

– Пойдем, золотко, со мной, пойдем, знаменитый солдатик! Ослаб ты, братец, немножко, надо тебя подлечить. Я тебя подлечу!

– Ракалия! – ответил Кмициц.

– Ладно, ладно, гордая душенька! А куда пойдем!

Офицеры остались в покое, а Куклиновский вышел на улицу и вскочил в седло. С ним было трое солдат; одному из них он приказал накинуть Кмицицу на шею аркан, и все они направились в Льготу, где стоял полк Куклиновского.

Всю дорогу Кмициц жарко молился. Он видел, что смерть его близка, и предавал душу богу. Он так погрузился в молитву и размышления о своей горькой участи, что не слышал, что говорил ему Куклиновский, не заметил даже, долог ли был путь.

Они остановились наконец подле маленькой риги, пустой и полуразрушенной, стоявшей особняком в чистом поле, неподалеку от стоянки полка Куклиновского. Полковник приказал ввести Кмицица в ригу, а сам обратился к одному из солдат.

– Езжай в полк за веревками, – распорядился он, – да прихвати лагунку горячей смолы.

Солдат поскакал во весь дух и через четверть часа примчался назад еще с одним товарищем. Они привезли все, что требовал полковник.

– Раздеть этого молодчика донага, – сказал Куклиновский, – связать веревкой назади руки и ноги и подтянуть к балке!

– Ракалия! – повторил Кмициц.

– Ладно, ладно, мы еще поговорим, время у нас есть!

Тем временем один из солдат влез на балку, а остальные сорвали с Кмицица одежду. Раздев рыцаря, три палача положили его на землю ничком, длинной веревкой связали ему руки и ноги, затем, обернув ею туловище, бросили другой конец солдату, сидевшему на балке.

– Теперь поднять его вверх, а ты там наверху закрути да завяжи веревку, – велел Куклиновский.

Приказ в минуту был выполнен.

– Отпустить! – раздался голос полковника.

Веревка скрипнула, и пан Анджей повис плашмя в нескольких локтях от тока.

Тогда Куклиновский сунул помазок в лагунку с пылающей смолой, подошел к пленнику и сказал:

– Ну как, пан Кмициц? Говорил я, что только два полковника есть в Речи Посполитой, только два: я да ты! А ты не хотел с Куклиновским компанию свести, пинка ему дал? Ну что ж, золотко, ты был прав! Не про твою честь компания Куклиновского, он получше тебя будет! Ох, и славен полковничек Кмициц, да в руках он у Куклиновского, и Куклиновский ему бочка припечет!..

– Ракалия! – в третий раз повторил Кмициц.

– Вот так... бочка припечет! – закончил Куклиновский. И ткнул Кмицица пылающим помазком в бок, а затем прибавил: – Я не очень, легонько, у нас есть еще время!

Внезапно у дверей риги раздался конский топот.

– Кого там черт несет? – крикнул полковник.



Двери скрипнули, и вошел солдат:

– Пан полковник, – обратился он к Куклиновскому, – генерал Миллер тотчас требует тебя.

– А, это ты, старина! – сказал Куклиновский. – Что за дело? За каким дьяволом мне к нему ехать?

– Генерал просит тотчас явиться к нему.

– Кто был от генерала?

– Шведский офицер, он уж уехал. Чуть коня не загнал!

– Ладно! – сказал Куклиновский.

Затем он обратился к Кмицицу:

– Жарко тебе было, золотко, поостынь теперь малость, я скоро ворочусь, мы с тобой еще потолкуем!

– А что с ним делать? – спросил один из солдат.

– Оставьте его так. Я мигом ворочусь. Один из вас со мной поедет.

Полковник вышел, а вслед за ним и тот солдат, что сидел на балке. Осталось только трое; но вот в ригу вошли трое новых.

– Можете идти спать, – сказал тот, который доложил Куклиновскому о приказе Миллера, – полковник нам велел постеречь пленника.

Кмициц вздрогнул, услышав этот голос. Он показался ему знакомым.

– Мы лучше останемся, – ответил один из солдат, – хочется поглядеть, ведь такого дива...

Он внезапно оборвал речь.

Какой-то странный нечеловеческий звук вырвался у него из горла, похожий на крик петуха, когда его режут. Он раскинул руки и упал, как громом сраженный.

В то же мгновение крик: «Лупи!» – раздался в риге, и два других вновь пришедших солдата, как рыси, бросились на двоих, оставшихся в риге. Закипел бой, страшный, короткий, освещаемый отблесками пылавшей лагунки. Через минуту оба солдата рухнули на солому, минуту еще слышался их предсмертный хрип, затем раздался тот самый голос, который показался Кмицицу знакомым.

– Пан полковник, это я, Кемлич, с сынами! Мы с утра все не могли время улучшить! С утра все стерегли! – Тут старик обратился к сыновьям: – А ну, шельмы! Отрезать пана полковника, да мигом мне!

Не успел Кмициц понять, что творится, как около него появились две косматые чуприны Косьмы и Дамиана, похожие на две огромные кудели. Узлы мигом были разрезаны, и Кмициц встал на ноги. В первую минуту он покачнулся. Еле выговорил

пересохшими губами:

– Это вы? Спасибо!

– Это мы! – ответил страшный старик. – Матерь божия! Да одевайся же, пан полковник! Живо, шельмы!

И он стал подавать Кмицицу одежду.

– Кони у дверей, – говорил он. – Отсюда дорога свободна. Стража стоит, и сюда, может, никого не пустили бы, а выпустить – выпустят. Мы знаем пароль. Как ты себя чувствуешь, пан полковник?

– Бок он мне припек, но не сильно. Ноги вот у меня подкашиваются.

– Хлебни горелки, пан полковник.

Кмициц с жадностью схватил манерку, которую подал ему старик, и, выпив половину, сказал:

– Озяб я. Теперь мне лучше.

– В седле, пан полковник, разогреешься. Кони ждут.

– Теперь мне лучше, – повторил Кмициц. – Только бок немного горит. Ну, да это пустое. Мне уж совсем хорошо!

И он сел на крав закрома.

Через минуту он и в самом деле совсем оправился и уже в полной памяти смотрел на зловещие лица троих Кемличей, освещенные желтыми язычками пылающей смолы.

Старик подошел к нему.

– Пан полковник, надо торопиться! Кони ждут!

Но в пане Анджее уже проснулся прежний Кмициц.

– Ну уж нет! – неожиданно воскликнул он. – Теперь я подожду этого изменника!

Кемличи переглянулись в изумлении, но ни одно слово не пикнул, так слепо с давних пор привыкли они повиноваться своему предводителю.

Жилы вздулись у пана Анджея на лбу, глаза в темноте светились, как угли, такой горели они яростью и жадой мщения. То, что он делал теперь, было безумием, за которое он мог поплатиться жизнью. Но вся его жизнь была цепью таких безумств. Бок жестоко болел, так что время от времени он невольно хватался за него рукой, но думал он только о Куклиновском и готов был ждать его хоть до утра.

– Послушайте, – сказал он, – что, Миллер и впрямь вызывал его?

– Нет, – ответил старик. – Я все выдумал, чтобы легче было справиться с солдатами. С пятерыми нам троим было бы труднее, кто-нибудь из них мог бы шум поднять.

– Вот и отлично. Он либо один сюда воротится, либо в компании. Коли будет с ним несколько человек, вы сразу на них ударьте! А его оставьте мне. Потом по коням! Есть у кого пистолет?

– У меня, – ответил Косьма.

– Давай! Заряжен? Порох насыпан?

– Да.

– Ладно. Коль один воротится, вы, как только он войдет, бросайтесь на него и кляп ему суньте в рот. Можете засунуть хоть его же шапку.

– Слушаюсь! – ответил старик. – Пан полковник, позволь нам теперь обыскать этих? Мы, худародные...

С этими словами он показал на трупы, лежавшие на соломе.

– Нет! Надо быть наготове. Что найдете при Куклиновском, – то ваше!

– Коль один он воротится, я ничего не боюсь. Стану за дверями, а придет кто, скажу, полковник не велел пускать.

– Ладно. Стереги!

Конский топот долетел снаружи. Кмициц, вскочил и встал у стены в тень. Косьма и Дамиан заняли места у самого входа, точно два кота, подстерегающих мышь.

– Один! – сказал старик, потирая руки.

– Один! – повторили Косьма и Дамиан.

Топот раздался совсем близко и вдруг стих, за дверью послышался голос:

– Эй, выйди который коня подержать!

Старик бросился вон.

На минуту воцарилась тишина, после чего до слуха оставшихся в риге долетел следующий разговор:

– Это ты, Кемлич? Что за черт, ты что, сбесился или одурел? Ночь. Миллер спит. Стража не хочет пускать, говорят, никакой офицер не выезжал! Что все это значит?

– Пан полковник, офицер ждет здесь, в риге. Он приехал сразу же после отъезда твоей милости... говорит, разминулся, вот и ждет.

– Что все это значит? А пленник?

– Висит.

Двери скрипнули, и Куклиновский вошел в ригу; но не успел он сделать и шагу, как две железные руки схватили его за горло и задушили крик ужаса. Косьма и Дамиан с

ловкостью настоящих разбойников бросили Куклиновского наземь, прижали ему коленями грудь так, что затрещали ребра, и в мгновение ока сунули кляп.

Тогда вперед вышел Кмициц, осветил ему сперва помазком в глаза, а потом сказал:

– Ах, это ты, пан Куклиновский! Теперь я с тобой потолкую!

Лицо у Куклиновского посинело, жилы вздулись так, что казалось, вот-вот лопнут; вытаращенные, налившиеся кровью глаза застыли от ужаса и изумления.

– Раздеть его и на балку! – крикнул Кмициц.

Косьма и Дамиан с таким рвением бросились раздевать Куклиновского, точно вместе с одеждой хотели содрать с него кожу.

Через четверть часа он висел уже, как гусиный полоток, на балке, связанный по рукам и ногам.

Подбоченился тут Кмициц и давай куражиться.

– Ну как, пан Куклиновский, – говорил он, – кто лучше: Кмициц или Куклиновский?

Он схватил пылающий помазок и подступил ближе.

– Ведь в твой стан отсюда стрела долетит, только кликни, и тысяча твоих злодеев прискачет! Чуть подале генерал твой шведский, а ты вот висешь на той самой балке, на которой вздумал меня припекать! Знай же, каков он, Кмициц! Ты хотел с ним равняться, в компанию к нему втереться, состязаться с ним? Ты, подлый грабитель! Ты, пугало для старых баб! Ты, плюгавый выползок! Ты, пан Шельмовский из Шельмова! Ты, враль косоротый! Ты, хам! Ты, невольник! Да я бы мог приказать ножом тебя, как каплуна, прирезать, но уж лучше живьем припеку, как ты меня хотел...

С этими словами он прижал помазок к боку несчастного, но держал подольше, пока запах горелого мяса не разнесся по риге.

Куклиновский скорчился так, что закачалась веревка. В глазах его, устремленных на Кмицица, читалась адская боль и немая мольба о пощаде, из заткнутого кляпом рта вырывались жалобные стоны; но сердце Кмицица ожесточилось в войнах, и не было в нем жалости, особенно к изменникам.

Отняв наконец помазок, он на минуту прижал его к носу Куклиновского, опалил усы, ресницы, брови, затем сказал:

– Дарю тебе жизнь, чтобы ты мог еще подумать о Кмицице. Повисишь здесь до утра, а теперь моли бога, чтобы люди нашли тебя, прежде чем ты успеешь замерзнуть!

Тут он повернулся к Косьме и Дамиану.

– По коням! – крикнул.

И вышел из риги.

Спустя полчаса перед четырьмя всадниками простерлись тихие холмы, безмолвные,

пустые поля. Свежий воздух, не пропахший пороховым дымом, вдыхали они в грудь. Кмициц ехал впереди, Кемличи за ним. Старик и сыновья тихо разговаривали между собой, пан Анджей молчал, вернее, читал про себя утренние молитвы, так как близился уже рассвет.

Время от времени хрип, даже легкий стон вырывался у него из груди, так сильно болел обожженный бок. Но в то же время он чувствовал, что свободен, что едет верхом на коне, а мысль о том, что он взорвал самую большую кулеврину и к тому же вырвался из рук Куклиновского и отомстил ему, наполняла его такой радостью, что ничем была боль по сравнению с нею.

Между тем тихий разговор превратился у Кемличей в громкую ссору.

– Кошелек, это ладно! – брызжал старик. – Ну, а перстни где? Перстни были у него на пальцах, один с камнем ценою в добрых двадцать дукатов.

– Я позабыл снять! – ответил Косьма.

– Чтоб вас бог убил! Я, старик, должен обо всем думать, а у вас, шельмы, на грош разума нет! Это вы-то, разбойники, про перстни забыли? Брешете, как собаки!

– Так воротись, отец, и погляди! – проворчал Дамиан.

– Брешете, шельмы, думаете зубы заговорить! Старика отца обижаете? Нет, каковы сынки! Да лучше бы мне не родить вас! Без благословения умрете!

Кмициц придержал коня.

– Ко мне! – приказал он.

Ссора затихла. Кемличи мигом поравнялись со своим полковником, и все четверо продолжали путь уже в одной шеренге.

– Дорогу до силезской границы знаете? – спросил пан Анджей.

– Ох, ох! Матерь божия! Как не знать, знаем! – ответил старик.

– На шведские отряды не наткнемся по дороге?

– Нет, все они под Ченстоховой стоят. Разве только на одиночек можно наткнуться, ну да этих дай бог повстречать!

На минуту воцарилось молчание.

– Так вы у Куклиновского служили? – снова спросил Кмициц.

– Да, но мы думали, что коль будем поблизости, так и святым отцам, и твоей милости сможем послужить. Мы против крепости не боролись, избави бог! И жалованья не брали, разве что при шведах найдем.

– Как так при шведах?

– Мы ведь и за стенами монастыря хотели служить богородице... вот и ездили по ночам вокруг стана, а случалось, и днем, как бог даст, ну а попадался когда швед

один, мы его и... того... Всех скорбящих радость!.. Мы его и того...

– Лупили! – закончили Косьма и Дамиан.

Кмициц улыбнулся.

– Хорошие же слуги были у Куклиновского! – сказал он. – А он-то знал об этом?

– Дознавались там, доискивались... он-то знал и велел нам – ну не вор ли! – платить ему по талеру с головы. Иначе выдать грозился... Этаким разбойник! Бедных людей обижал! Мы тебе остались верны, пан полковник. Ну что это за служба была! Ведь ты, пан полковник, свое нам отдашь, а он с нас по талеру с головы, это за наши труды-то, за нашу работу! Да ну его совсем!

– Щедро вознагражу я вас за то, что вы сделали! – ответил Кмициц. – Не ждал я этого от вас.

Но тут далекий гром пальбы прервал его слова. Видно, шведы открыли огонь с первым же проблеском зари. Через минуту пальба стала сильнее. Кмициц придержал коня: ему казалось, что он различает голоса крепостных и шведских пушек; он сжал кулак и погрозил в сторону вражеского стана:

– Стреляйте, стреляйте! Где ваша самая большая кулеврина?!

#### ГЛАВА XIX

Взрыв крупной кулеврины совсем удручил Миллера, все надежды возлагал он на это орудие. И пехота уже готова была пойти на приступ, и лестницы приготовлены, и горы фашин, а теперь надо было оставить всякое помышление о приступе.

Попытки взорвать монастырь с помощью подкопа тоже кончились ничем. Правда, пригнанные из Олькуша рудокопы долбили скалу, подбираясь наискось под монастырь; но работа продвигалась медленно. Несмотря на все предосторожности, рудокопов разили монастырские ядра, земля кругом была усеяна трупами, и люди работали неохотно. А многие предпочитали смерть, только бы не стать виновниками гибели святыни.

Миллер чувствовал, что сопротивление растет с каждым днем; войско и без того пало духом, а от морозов теряло последние остатки мужества; день ото дня в его рядах ширилось смятение и росла уверенность в том, что не в силах человеческих покорить эту святыню.

В конце концов Миллер и сам начал терять надежду, а после взрыва кулеврины просто пришел в отчаяние. Им овладело чувство полного бессилия и беспомощности.

На следующий день, рано утром, он созвал совет, но, видно, только затем, чтобы сами офицеры сказали, что надо отступить.

Офицеры стали собираться, утомленные все, угрюмые. Глаза у них не горели уже надеждой и воинственной отвагой. Молча сели они за стол в просторном и холодном покое; лица их мгновенно заслонил пар из уст, и глядели они из-за него, словно из-за тучи. Все чувствовали усталость и изнеможение, и каждый говорил себе в душе, что нечего ему посоветовать, разве только такое, что лучше не соваться вперед со своими мыслями. Все ждали, что скажет Миллер, он же первым делом распорядился принести побольше гретого вина, надеясь, что оно развяжет языки и

он скорее выведает у этих молчаливых людей их истинные мысли, услышит от них, что надо отступить.

Решив наконец, что вино уже оказало свое действие, он обратился к офицерам со следующими словами:

– Вы заметили, господа, что на совет не явились польские полковники, хотя я всем послал вызов?

– Да вы, генерал, верно, знаете, что польские солдаты во время рыбной ловли нашли монастырское серебро и передрались из-за него с нашими солдатами. Человек двадцать зарублено насмерть.

– Знаю. Часть серебра, притом большую, я вырвал у них из рук. Оно тут, у меня, я вот раздумываю, что с ним делать.

– Полковники потому, наверно, и сердятся. Они говорят, что, раз поляки нашли серебро, оно принадлежит полякам.

– Вот так резон! – воскликнул Вжещович.

– А по-моему, есть в том резон, – вмешался в разговор Садовский, – и когда бы, граф, вы нашли серебро, думаю, тоже не сочли бы нужным делиться не то что с поляками, но даже со мною, хоть я и чех.

– Прежде всего я не разделяю ваших добрых чувств к врагам нашего короля, – мрачно отрезал Вжещович.

– Но по вашей милости мы принуждены разделять с вами стыд и позор, которые пали на нас оттого, что мы бессильны покорить эту крепость, куда вы изволили нас привести.

– Так вы, стало быть, потеряли уже всякую надежду?

– А у вас она еще осталась? Что ж, разделите ее с нами!

– Вы угадали, и знайте, что господа офицеры охотнее разделят со мною мою надежду, нежели с вами ваш страх.

– Уж не хотите ли вы сказать, что я трус?

– Я не смею думать, что храбрости у вас больше, нежели вы сами изволили выказать.

– Я же смею думать, что у вас ее меньше, нежели вы силитесь выказать.

– Ну а я, – прервал их Миллер, с неприязнью глядя на Вжещовича, вдохновителя неудачной осады, – решил отослать серебро в монастырь. Может, добром да лаской мы большего добьемся у этих упрямых монахов, нежели пулями да пушками. Пусть поймут, что мы хотим завладеть не их богатствами, а крепостью.

Офицеры с удивлением посмотрели на Миллера, – они никак не ждали от него такого великодушия.

– Лучше ничего не придумаешь! – сказал наконец Садовский. – Ведь мы тем самым заткнем рот польским полковникам, которые зарятся на это серебро. Само собою, и на монахов это сильно подействует.

– Сильней всего на них подействует смерть этого Кмицица, – возразил Вжещович. – Надеюсь, Куклиновский уже содрал с него шкуру.

– Думаю, что он уже мертв, – промолвил Миллер. – Но это имя снова напомнило мне о нашей невознаградившей потере. Взорвано самое крупное орудие во всей артиллерии его величества. Не скрою, господа, на него я возлагал все мои надежды. Брешь уже была пробита, тревога ширилась в крепости. Еще каких-нибудь два дня, и мы бы пошли на приступ. Теперь все рассыпалось прахом, пропали все труды, все усилия. Стену они починят за один день. А те орудия, которые у нас еще остались, не лучше крепостных, их легко разбить. Тяжелых взять неоткуда, их нет и у маршала Виттенберга. Господа! Чем больше я думаю о нашем поражении, тем ужаснее оно мне представляется! И подумать только, что нанес его нам один человек! Один дьявол! Один пес, черт бы его побрал!

В припадке бессильного и поэтому совершенно необузданного и дикого гнева Миллер ударил кулаком по столу.

Помолчав с минуту времени, он вскричал:

– А что скажет его величество, когда до него дойдет весть об этой потере?!

И еще через минуту:

– Что же делать? Не зубами же грызть эту скалу! Чтоб их громом убило, этих уговорщиков, что заставили меня осадить крепость!

С этими словами он в сердцах так хватил об пол хрустальную чашу, что хрусталь разбился в мелкие дребезги.

Офицеры молчали. Недостойное поведение генерала, которое больше приличествовало мужику, а не военачальнику, занимающему столь высокий пост, восстановило всех против него, офицеры совсем помрачнели.

– Давайте же советоваться, господа! – крикнул Миллер.

– Советоваться можно только спокойно, – возразил князь Гессенский.

Миллер засопел и в гневе раздул ноздри. Через некоторое время он успокоился, обвел глазами присутствующих, как бы вызывая их на откровенность, и сказал:

– Прошу прощения, господа, но нельзя удивляться моему гневу. Не стану вспоминать все города, которые я покорил, приняв начальство после Торстенсона, ибо не хочу я пред лицом нынешнего поражения хвастаться старыми успехами. Все, что творится у стен этой крепости, выше человеческого понимания. Но посоветоваться нам надо. За тем я вас и позвал. Давайте же обсудим дело, и что решим мы большинством голосов, то я и исполню.

– Генерал, скажите, о чем мы должны советоваться? – спросил князь Гессенский. – О том ли только, как покорить нам крепость, или о том, не лучше ли снять осаду?



Миллер не хотел ставить вопрос так недвусмысленно и, уж во всяком случае, не хотел первым произнести роковые слова, поэтому он сказал:

– Говорите, господа, откровенно все, что вы думаете. Все мы должны печься о благе и славе его величества.

Но никто из офицеров не хотел выступить первым с предложением снять осаду, поэтому снова воцарилось молчание.

– Полковник Садовский! – сказал через минуту Миллер голосом, которому он постарался придать ласковость и приятность. – Вы всегда более откровенны, нежели прочие, ибо ваша слава хранит вас от всяких подозрений...

– Я думаю, генерал, – ответил полковник, – что этот Кмициц был одним из величайших воителей нашего времени и что положение наше отчаянное.

– Ведь вы, сдается, полагали, что нам надо снять осаду?

– Позвольте, генерал, я был только за то, чтобы не начинать осады. А это совсем другое дело.

– Что же вы теперь советуете?

– Теперь я уступаю слово господину Вжещовичу.

Миллер грубо выругался.

– Господин Вейгард ответит за эту злополучную осаду! – сказал он.

– Не все мои советы были исполнены, – дерзко возразил Вжещович, – и я тоже смело могу снять с себя ответственность. Нашлись такие, которые отвергли их. Нашлись такие, которые, питая поистине странную и непостижимую приязнь к монахам, убеждали вас, генерал, отказаться от всех решительных средств. Я советовал повесить посланных к нам монахов и уверен, что, когда бы это было сделано, ксендзы в страхе открыли бы нам ворота этого курятника.

Вжещович обратил при этом взор на Садовского; но не успел тот возразить, как в разговор вмешался князь Гессенский.

– Не называйте, граф, эту твердыню курятником! – сказал он. – Чем больше преуменьшаете вы ее значение, тем больше увеличиваете наш позор.

– И тем не менее я советовал повесить послов. Страх и еще раз страх, вот что повторял я с утра до вечера; но полковник Садовский пригрозил уйти со службы, и монахи ушли отсюда целыми и невредимыми.

– Ступайте же, граф, нынче в крепость, – ответил Садовский, – и взорвите порохом самую большую их пушку, как сделал Кмициц с нашей кулевриной, и я ручаюсь, что это пробудит большой страх, нежели разбойничье убийство послов!

Вжещович обратился к Миллеру:

– Генерал, я полагаю, мы собрались сюда не на забаву, а на совет!

- У вас есть что сказать, кроме пустых упреков? – спросил Миллер.
- Да, невзирая на веселость этих господ, которые могли бы приберечь свои шуточки для лучших времен.
- О, Лаэртид, славный своими уловками! – воскликнул князь Гессенский.
- Господа! – обратился Вещович к офицерам. – Всем известно, что не Минерва ваша божественная покровительница, а поскольку Марс не оправдал ваших надежд и вы отказались от слова, позвольте сказать мне.
- Ну, захохла гора, сейчас покажется мышинный хвостик! – съязвил Садовский.
- Прошу соблюдать тишину! – строго остановил его Миллер. – Говорите, граф! Помните только, что доселе ваши советы давали горькие плоды.
- А мы, невзирая на зиму, должны есть их, как плесневелые сухари! – подхватил князь Гессенский.
- То-то вы так пьете, сиятельный князь! – отрезал Вещович. – Оно конечно, вино не может заменить прирожденной остроты ума, однако помогает вам превесело переваривать даже позор. Но довольно об этом! Я хорошо знаю, что в монастыре есть люди, которые давно хотят сдаться, и лишь наша слабость, с одной стороны и неслышанное упорство приора – с другой, держат их в узде. От нового страха эти люди еще больше осмелеют, поэтому нам надо сделать вид, что мы не придаем никакого значения потере кулеврины, и штурмовать крепость еще сильнее.
- И это все?
- Даже если бы это было все, полагаю, мой совет более отвечает чести шведского солдата, нежели пустые насмешки за чарой да беспробудный сон после пьянства. Но это не все. Среди наших и особенно среди польских солдат надо рассеять слух, будто рудокопы, что подводят сейчас мину под крепость, открыли старый подземный ход, который ведет под самый монастырь и костел.
- Вот это вы, граф, правильно рассудили, это дельный совет! – сказал Миллер.
- Когда этот слух распространится между нашими и польскими солдатами, сами поляки будут уговаривать монахов сдаться, они ведь, как и монахи, хотят, чтобы это гнездо суеверий уцелело.
- Неплохо сказано для католика! – проворчал Садовский.
- Служил бы туркам, так и Рим назвал бы гнездом суеверий! – подхватил князь Гессенский.
- Тогда поляки непременно пошлют к монахам своих послов, – продолжал Вейгард, – и противники ксендза Кордецкого, которые давно хотят сдаться, усилят свои старания и, как знать, не принудят ли приора и его сторонников открыть ворота крепости.
- «Погибнет град Приама от коварства божественного Лаэртида...» – продекламировал князь Гессенский.

– Клянусь богом, совершенно троянская история, а ему сдается, будто он придумал что-то новое! – подхватил Садовский.

Но Миллеру совет понравился, да он и был неплох. Кучка противников приора, о которой говорил Вжещович, действительно существовала в монастыре. К ней принадлежали даже некоторые слабодушные монахи. Смятение можно было вызвать и в рядах гарнизона, даже среди тех солдат, которые хотели защищаться до последней капли крови.

– Попытаемся, попытаемся! – говорил Миллер, который, как утопающий, и за соломинку хватался и легко переходил от отчаяния к надежде. – Но согласятся ли Калинский или Зброжек пойти послами в монастырь, поверят ли они, что найден этот подземный ход, захотят ли рассказать о нем монахам?

– Ну, Куклиновский согласится, – ответил Вжещович. – Но лучше, чтобы и он поверил, что ход существует.

Внезапно у крыльца раздался конский топот.

– А вот и Зброжек приехал, – сказал князь Гессенский, выглянув в окно.

Через минуту в сенях зазвенели шпоры, и в покой вошел, вернее, ворвался Зброжек. На нем лица не было; не успели офицеры спросить, что случилось, как он крикнул в совершенном смятении:

– Куклиновский погиб!

– Как погиб? Что вы говорите? Что случилось? – встревожился Миллер.

– Дайте дух перевести! – ответил Зброжек. – Вы представить себе не можете, что я видел...

– Говорите же скорее! Что, его убили? – вскричали все сразу.

– Кмициц! – ответил Зброжек.

Офицеры повскакали с мест и уставились на Зброжека, как на безумца, он же, выдыхая из уст целые облака пара, стал захлебываясь рассказывать:

– Я сам видел и глазам своим не верил, – это дьявольское наваждение. Куклиновский мертв, трое солдат убиты, Кмицица и след простыл. Я знал, что это страшный человек. Молва о нем шла по всей стране. Но чтобы связанный пленник не только вырвался из рук, но и солдат поубивал, и Куклиновского замучил, – нет, такого человек не мог совершить. Он дьявол!

– Такого и впрямь отродясь не бывало! Просто поверить трудно! – прошептал Садовский.

– Показал этот Кмициц, на что он способен! – заметил князь Гессенский. – Ведь вот не верили мы вчера полякам, когда они говорили нам, что это за птица, думали, прибавляют, по своему обычаю.

– С ума можно сойти! – воскликнул Вжещович.

Миллер сжал руками голову и не говорил ни слова. Когда он поднял наконец глаза, гневен и подозрителен был его взгляд.

– Полковник Зброжек, – сказал он, – будь этот Кмициц не человек, а сам сатана, без посторонней помощи, без предательства он бы этого не мог совершить. Были тут поклонники у Кмицица, были враги у Куклиновского, и вы принадлежали к их числу!

Зброжек был солдат в полном смысле слова отчаянный; услышав, какое обвинение ему предъявляют, он побледнел еще больше, сорвался с места и, шагнув к Миллеру, посмотрел на него в упор.

– Вы что, генерал, подозреваете меня? – спросил он.

Наступило тягостное молчание. Никто из присутствующих не сомневался, что, если Миллер даст утвердительный ответ, неминуемо произойдет нечто страшное, нечто неслыханное во всей истории войн. Все руки легли на рукояти рапир. Садовский свою даже вынул из ножен.

Но в эту минуту офицеры увидели в окна, что двор наполнился польскими конниками. Солдаты, видно, тоже привезли вести о Куклиновском и в случае столкновения, несомненно, встали бы на сторону Зброжека. Увидел их и Миллер и, хотя побледнел от бешенства, однако совладал с собою и, притворясь, будто не заметил вызывающего поведения Зброжека, попросил его совершенно натуральным голосом:

– Расскажите подробней, как все случилось.

Зброжек еще минуту стоял, раздувая ноздри; однако и он опомнился, к тому же в покой вошли вновь прибывшие его товарищи, и мысли полковника приняли другое направление.

– Куклиновский погиб! – повторяли он.

– Куклиновский убит!

– Его отряд разбегается! Солдаты шумят!

– Позвольте, господа, сказать полковнику Зброжеку, он ведь первый принес эту новость! – воскликнул Миллер.

Через минуту все затихли, и Зброжек начал свой рассказ:

– Вы знаете, на последнем совете я вызвал Куклиновского, и он дал мне слово кавалера, что будет драться со мной. Да, я преклонялся перед Кмицицем, но ведь и вы, хоть и враги его, не можете не признать, что не всякий может совершить такой подвиг, какой он совершил. Отвагу надо ценить и во враге, потому я и протянул ему руку; но он не подал мне своей руки и назвал меня изменником. Ну я и подумал: пусть Куклиновский делает с ним, что хочет. Мне одно только было важно, чтобы Куклиновский не поступил с ним противно рыцарской чести, так как позор пал бы тогда на всех поляков, а вместе с ними и на меня. Потому-то я непременно хотел драться с Куклиновским и сегодня утром, прихватив с собою двоих хорунжих, поехал в его стан. Приезжаем на квартиру, нам говорят: «Нет его!» Посылаю сюда – нет его! На квартире говорят, что он и не ночевал, но они не беспокоились, думали, он остался у вас, генерал. А тут один солдат говорит нам, будто ночью Куклиновский увез Кмицица в поле, там в риге он хотел его пытать огнем. Еду

туда, двери риги настезь. Вошел, вижу: висит на балке голое тело. Подумал, Кмициц, но когда глаза пригляделись к темноте, вижу, кто-то тощий висит, костлявый, а тот был сущий Геркулес. Что за диво, думаю, как это он мог иссохнуть так за ночь? Подхожу ближе – Куклиновский!

– На балке? – спросил Миллер.

– Да! Перекрестился я. Уж не колдовство ли, думаю, не мерещится ли мне? Только когда троих солдат убитых увидел, все стало ясно. Этот страшный человек убил солдат, а Куклиновского подвесил к балке, огнем пытал его, как палач, а потом ушел!

– До силезской границы рукой подать! – заметил Садовский.

На минуту воцарилось молчание.

Всякое подозрение в том, что это могло быть делом рук Зброжека, отпало. Но само событие смутило и потрясло генерала и наполнило его душу какой-то неясной тревогой. Чудилось ему, что обступают его отовсюду опасности, вернее, грозные тени их, и не знает он, как с ними бороться; чувствовал он, что захлестывает его цепь неудач. Перед глазами его лежали первые звенья этой цепи, остальные тонули во мраке. Им овладело такое чувство, точно живет он в доме, который дал трещины, и потолок вот-вот рухнет ему на голову. Незнестность придавила его несносной тяжестью, и вопрошал он сам себя: как же быть?

Но тут Вжещович хлопнул себя по лбу.

– Господи! – воскликнул он. – Со вчерашнего дня, как увидел я этого Кмицица, все мне чудится, что я его знаю. Вот и сейчас я опять вижу его лицо, вспоминаю звук его голоса. Верно, повстречал я его в темноте, вечером, и встреча была короткой. Вертится в голове... вертится...

Он потер лоб рукой.

– Что нам до этого? – сказал Миллер. – Пушку, граф, вы все равно не склеите, даже если вспомните его, да и Куклиновского не воскресите! – Тут генерал обратился к офицерам: – Господа, кто желает, может поехать со мной на место происшествия!

Все выразили желание поехать, любопытство было возбуждено.

Подали лошадей, и офицеры тронулись рысью с генералом во главе. Подъехав к риге, они увидели подле нее, на дороге и в поле с полсотни польских конников.

– Что за люди? – спросил у Зброжека Миллер.

– Наверно, Куклиновского. Я говорил вам, генерал, совсем эта голь взбунтовалась. – Зброжек поманил пальцем одного из солдат. – Эй, ко мне! Да живо!

Солдат подъехал.

– Вы из хоругви Куклиновского?

– Да.

– А где все остальные?

– Разбежались. Говорят, против Ясной Горы больше служить не хотим.

– Что он говорит? – спросил Миллер.

Зброжек перевел.

– Спросите, полковник, куда они ушли, – попросил генерал.

Зброжек повторил вопрос.

– Кто его знает! – ответил солдат. – Одни в Силезию ушли. Другие толковали, что к самому Кмицицу пойдут служить, потому другого такого полковника нет ни у поляков, ни у шведов.

Когда Зброжек перевел Миллеру и эти слова, генерал призадумался. Люди у Куклиновского служили такие, что не колеблясь могли уйти к Кмицицу. Но тогда они стали бы опасны для войск Миллера, во всяком случае для подвозных дорог и связи.

Собрались в вышине тучи над генералом и заслонили совсем заколдованную крепость.

Зброжек, наверно, подумал о том же; словно отвечая на мысли Миллера, он сказал:

– Что говорить, поднимаются люди в нашей Речи Посполитой. Стоит только Кмицицу бросить клич, и к нему слетятся сотни и тысячи, особенно после того, что он совершил.

– Да что он может сделать? – спросил Миллер.

– Не забудьте, генерал, что этот человек довел до отчаяния Хованского, а людей у князя было с казаками в шесть раз больше, нежели у нас. Ни один обоз не пройдет к нам без его воли, а ведь деревни опустошены, и у нас начинается голод. Кроме того, Кмициц может соединиться с Жегоцким и Кулешей, и тогда на его клич поднимется несколько тысяч сабель. Опасный это человек и может стать molestissimus[1].

– Полковник, а вы уверены в своих солдатах?

– Я больше уверен в них, нежели в себе самом, – с жестокой откровенностью ответил Зброжек.

– Как это больше?

– Сказать по правде, вот где сидит у нас эта осада!

– Я верю, что она скоро кончится.

– Да вот вопрос: чем? Впрочем, сейчас что взять эту крепость, что снять осаду – одинаково потерпеть поражение.

Тем временем они доехали до риги. Миллер соскочил с коня, за ним спешили офицеры, и все вошли внутрь. Солдаты уже сняли Куклиновского с балки, и, покрыв

ковриком, положили навзничь на остатках соломы. Трупы троих солдат лежали рядом, друг подле друга.

– Этих ножами прикончили, – шепнул Зброжек.

– А Куклиновского?

– У Куклиновского ран нет, только бок обожжен да усы опалены. Он либо замерз, либо задохнулся; собственная шапка до сих пор торчит у него в зубах.

– Открыть его!

Солдат приподнял угол коврика, и на свет показалось страшное, распухшее лицо с вывалившимися из орбит глазами. Остатки опаленных, покрытых копотью усов заиндевели, и сосульки торчали, как клыки изо рта. Зрелище это было настолько отвратительно, что Миллер, как ни привык он ко всяким ужасам, содрогнулся.

– Закройте поскорей! – распорядился он. – Ужас! Ужас!

В риге наступила мрачная тишина.

– И зачем только нас сюда принесло? – плюнул князь Гессенский. – Я теперь весь день до еды не дотронусь.

Внезапно Миллера охватила неистовая, граничащая с безумием ярость. Лицо его побагровело, зрачки расширились, зубы заскрежетали. Дикая жажда крови, мести овладела им. Повернувшись к Зброжеку, он крикнул:

– Где тот солдат, который видел, что Куклиновский был в риге? Давайте его сюда! Это сообщник!

– Не знаю я, тут ли еще этот солдат, – ответил Зброжек. – Все люди Куклиновского разбежались, как волы, стряхнувшие ярма.

– Поймать его! – в бешенстве заорал Миллер.

– Сами ловите! – с таким же бешенством крикнул Зброжек.

И снова над головами поляков и шведов на тонкой паутинке повисла опасность роковой вспышки. Поляки толпою стали обступать Зброжека, топорщить грозно усы, бряцать саблями.

Но тут снаружи донесся шум, отголоски стрельбы, конский топот, и в ригу вбежал рейтарский офицер.

– Генерал! – крикнул он. – Вылазка! Рудокопы, что вели подкоп, перебиты все до единого! Отряд пехоты рассеян!

– Я с ума сойду! – взревел Миллер, хватаясь за свой парик. – По коням!

Через минуту все вихрем мчались к монастырю. Только комья снега летели из-под копыт. Сотня конницы Садовского под начальством его брата присоединилась к Миллеру и тоже неслась на помощь своим. По дороге всадники видели отряды пехоты, бегущей в смятении и беспорядке, так пали уже духом несравненные когда-то

шведские солдаты. Они покидали даже шанцы, хотя там им вовсе не грозила опасность. Человек двадцать было растоптано мчавшимися во весь опор офицерами и рейтарами. Наконец всадники подскакали к крепости, но лишь для того, чтобы на горе, как на ладони, увидеть благополучно возвращавшийся к себе отряд противника. Песни, радостные клики и смех долетали до слуха Миллера.

Некоторые солдаты даже останавливались и грозили штабу окровавленными саблями. Поляки, скакавшие рядом со шведским генералом, узнали самого Замойского; серадзский мечник лично руководил вылазкой и теперь, завидев штаб, остановился и важно кланялся, помахивая шапкой. Неудивительно! Он чувствовал себя в безопасности под охраной крепостных орудий.

Но вот на валах взвился дым, и железные птицы с ужасающим свистом полетели мимо офицеров. Кое-кто из рейтар пошатнулся в седле, и стон был ответом на свист.

– Мы под огнем, назад! – крикнул Садовский.

Зброжек схватил под уздцы коня Миллера.

– Генерал! Назад! Здесь смерть!

Миллер точно впал в оцепенение, не ответив ни слова, он позволил вывести своего коня из поля обстрела. Вернувшись к себе на квартиру, он заперся и весь день никого не хотел видеть.

Верно, размышлял о своей славе Полиоцертеса.

Тем временем Вжещович взял всю власть в свои руки и с небывалой энергией стал готовиться к приступу. Рыли новые шанцы; солдаты после гибели рудокопов продолжали долбить скалу, чтобы подвести мину. Во всем шведском стане царило лихорадочное движение, казалось, новый дух вселился в сердца или прибыли свежие подкрепления.

Через несколько дней по шведскому и польскому союзническому стану разнеслась весть, будто рудокопы нашли подземный ход, который ведет под самый костел и монастырь, и что теперь достаточно только пожелать генералу и вся крепость взлетит на воздух.

Неописуемая радость овладела солдатами, которых совсем изнурили морозы, голод и напрасный труд.

Крики: «Ченстохова наша! Взорвем этот курятник!» – раздавались в стане. Загуляло, запырвало войско.

Вжещович был вездесущ, он ободрял солдат, поддерживал в них веру, сто раз в день подтверждал весть о том, что найден подземный ход, поощрял пьянство и гульбу.

Отголоски этого ликования дошли наконец и до крепости. Весть о подведенных под монастырь и готовых взорваться минах с быстротой молнии разнеслась по валам. Испугались даже самые отважные. Женщины со слезами стали осаждать жилище приора; когда он показывался на минуту, они протягивали к нему детей и кричали:

– Не губи невинных! Кровь их падет на тебя!



И тот, кто был трусливей всех, тот храбрее всех приступал к нему, требуя, чтобы он не подвергал Столь грозной опасности святыню, обитель пресвятой девы.

Для непреклонной души героя в монашеском одеянии наступили столь тяжкие и столь мучительные минуты, каких он еще не изведal. А тут шведы прекратили пальбу, чтобы тем очевиднее показать осажденным, что не нужны им больше ни ядра, ни пушки, что для них довольно поджечь пороховую нить. По этой самой причине росло смятение в монастыре. Глухой ночью трусам чудились шорохи, движение под землей, им казалось, что шведы уже под самым монастырем. В конце концов пали духом и многие монахи. Во главе с отцом Страдомским они направились к приору, чтобы потребовать немедленно начать переговоры о сдаче. С ними пошла большая часть солдат и кое-кто из шляхты.

Тогда ксендз Кордецкий вышел на монастырский двор и вот что сказал толпе, окружившей его плотным кольцом:

– Разве не дали мы клятву друг другу защищать святую обитель до последней капли крови? Истинно говорю вам: коль взорвут нас порохом, на воздух взлетит лишь немощная наша плоть, лишь бранные останки падут снова на землю, а души уже не воротятся!.. Небеса разверзнутся над ними, и внидут они в веселие и блаженство, как в море без границ. Иисус Христос примет их и приснодева, и, как золотые пчелы, сядут они на ризу ее и в сиянии будут взирать на лик господень...

Озарился тут этим сиянием лик самого приора, устремил он горе вдохновенные очи и продолжал с неземным покоем и благостью:

– Господи, владыка небесный, ты зришь мое сердце и ведаешь, что не лгу я малым сим, когда говорю, что, если бы жаждал я лишь собственного блаженства, я бы руки простер к тебе и возопиял из глубины души моей: «Господи! Да свершится сие! Пусть будет порох, пусть взорвется он, ибо искуплю я такую смертью содеянные прегрешения, ибо в ней вечный покой, а раб твой изнурен трудами и весь изнемог...» Кто не пожелал бы такой награды за смерть без мучений, краткую, как мгновение ока, как молния, сверкнувшая в небе, после коей вечность неизменная, блаженство безграничное, радость бесконечная!..

Но ты повелел мне хранить обитель твою, и не волен я уйти; ты поставил меня на страже и влил в меня силу свою, и ведаю я, господи, и зрю и чую, что когда бы вражеская злоба достигла даже порога костела сего, когда бы весь порох и всю смертоносную селитру сложили под ним, довольно мне осенить их крестом, дабы не взорвались они...

Тут он обратился к собравшимся и продолжал:

– Бог дал мне силу сию, и вы изгоните страх из ваших сердец! Дух мой проник сквозь землю и говорит вам: лгут ваши враги, нет под костелом порохового змея! Вы, люди робких сердец, вы, в ком страх заглушил веру, не заслужили того, чтобы еще сегодня войти в царство блаженства и покоя, стало быть, нет пороха под стопами вашими! Господь хочет спасти обитель сию, дабы, как Ноев ковчег, носилась она над потопом бедствий и невзгод, и именем бога в третий раз говорю я вам: нет пороха под костелом! А коль я говорю его именем, кто посмеет перечить мне, кто отважится еще сомневаться?

Он умолк и смотрел на толпу монахов, шляхты и солдат. И такой непоколебимой верой, надеждой и силой дышал его голос, что и толпа молчала, никто не промолвил

ни слова. Бодрость влилась в сердца, и один из солдат, простой крестьянин, сказал наконец:

– Да будет благословенно имя господне! Вот уж три дня толкуют они, что взорвут крепость, что же она не взрывается?

– Слава пресвятой деве! Что же она не взрывается? – повторили несколько голосов.

И тут всем было дивное знамение. Неожиданно шум крыльев раздался вокруг, и целые стаи зимних птиц появились на монастырском дворе, и все новые вереницы их летели из окрестных голодных деревень: серые хохлатые жаворонки, золотогрудые овсянки, убогие воробьи, зеленые синички, красные снегири усеяли гребни крыш, углы, косяки и карнизы костела; иные, трепеща крылышками и жалобно щебеча, пестрым венцом кружили над головою ксендза Кордецкого и словно милостыни просили, нимало не пугаясь людей. Изумились все, увидев это зрелище, ксендз же минуту молился, а потом сказал:

– Вот и пташки лесные слетаются под крыло богородицы, а вы усомнились в ее могуществе?

Бодростью и надеждой преисполнились тут сердца, и монахи, бия себя в грудь, направились в костел, а солдаты на стены.

Женщины вышли посыпать корму пташкам, и те стали жадно клевать зерна.

Все решили, что появление маленьких лесных обитателей сулит им добро, а врагу – худо.

– Глубокие, знать, снега лежат, коль пташка, не глядя на выстрелы и рев пушек, жметя к жилью, – толковали между собою солдаты.

– Почему бегут они к нам от шведов?

– А потому, что самая убогая тварь и та разум имеет и может отличить врага от своего.

– Да нет! – возразил другой солдат. – Ведь и в шведском стане есть поляки. Просто голодно уже там и корма нет для лошадей.

– Что ж, оно и лучше! – промолвил третий. – Выходит, всё врут про порох.

– Как так? – хором спросили солдаты.

– Старики рассказывают, – ответил им товарищ, – что когда дом должен обвалиться, ласточки и воробьи, что весной свили гнезда под крышей, за два-три дня улетают прочь, такие они разумные твари, что наперед угадывают опасность. Вот и выходит, что не прилетели бы к нам птицы, когда бы под монастырем был порох.

– Смотри ты, неужто правда?

– Как аминь, что молитву вершит!

– Слава пресвятой богородице! Стало быть, плохи дела шведов!

В эту минуту у юго-западных ворот послышались звуки рожка, и все бросились поглядеть, кто это явился.

Это был шведский трубач, который привез из стана письмо.

Монахи тотчас собрались в советном покое. Письмо было от Вжещовича; граф предупреждал, что, если крепость не сдастся до наступления следующего дня, шведы взорвут ее.

Но даже те, кого прежде трепет клонил вниз, не поверили теперь этой угрозе.

– Пустые страхи! – кричали хором монахи и шляхта.

– Напишем, чтоб не жалели нас. Пускай взрывают!

Монахи и в самом деле дали Вжещовичу такой ответ.

Тем временем солдаты окружили трубача и смеялись в ответ на его угрозы.

– Ладно! – говорили они. – Чего вам жалеть нас! Скорее дух наш примут небеса!

А тот, кто вручал посланцу ответное письмо, сказал:

– Не тратьте попусту времени и слов! Вам самим есть нечего, а у нас, слава богу, всего вдоволь. Даже птицы бегут от вас.

Так кончилась ничем последняя хитрость Вжещовича.

А когда минул еще один день, стало уж вовсе ясно, что напрасны были все страхи осажденных, и спокойствие снова воцарилось в монастыре.

На следующий день ченстоховский мещанин Яцек Бжуханский опять подкинул монахам письмо, в котором предупредил их о новом штурме, но вместе с тем и о том, что Ян Казимир выехал уже из Силезии и вся Речь Посполитая встает на шведов. Да и самый штурм, по слухам, которые распространились за стенами монастыря, должен быть последним.

Это письмо Бжуханский подкинул с мешком рыбы для монахов на рождественский сочельник; к крепостным стенам он подобрался, переодевшись шведским солдатом.

К несчастью, его узнали и схватили. Миллер приказал поднять его на дыбу; но во время пыток старик имел небесные виденья и улыбался сладко, как дитя, и не боль, а неизъяснимая радость читалась на его лице. Генерал сам присутствовал при пытке, но не вырвал у мученика признаний, только убедился с отчаянием, что ничто этих людей не поколеблет, ничто не сломит, и совсем пал духом.

Тем временем к шведам явилась старая нищенка Костуха с письмом от ксендза Кордецкого, смиренно просившего не штурмовать крепость во время службы на рождество. Стража и офицеры на смех подняли такого посла, глумились над старухой, но она решительно ответила им:

– Больше никто не захотел пойти, потому вы с послами как разбойники обходитесь, а я за кусок хлеба взялась. Недолго мне жить-то осталось, вот и не боюсь я вас, а не верите, что ж, я в ваших руках.

Однако ничего дурного ей шведы не сделали. Мало того, Миллер попытался еще раз найти путь к миру и согласился исполнить просьбу приора; он принял даже выкуп за Яцека Бжуханского, которого шведы не успели замучить, отослал и часть серебра, найденного шведскими солдатами. Сделал он это назло Вжещовичу, который после своей последней неудачи снова впал в немилость.

Пришел наконец рождественский сочельник. С первой звездой огни и огонечки затеплились во всей крепости. Ночь была тихая, морозная и ясная. Шведские солдаты, костенея на шанцах от холода, глядели снизу на черные стены неприступной крепости и вспоминали теплые, ухищенные мохом скандинавские хижины, жен, детей, елки с горящими свечками, и не одна железная грудь тяжело вздыхала от сожалений, тоски и отчаяния. А в крепости, за столами, покрытыми сеном, осажденные преломляли облатки. Тихой радостью пылали лица, ибо все предчувствовали, уверены были, что скоро уже минует година невзгод.

– Завтра еще штурм, но уже последний, – повторяли монахи и солдаты. – Кому богом назначена смерть, пусть возблагодарит создателя за то, что позволит он ему перед смертью у обедни помолиться и тем вернее раскроет перед ним врата рая, ибо кто в день рождества Христова положит душу за веру, внидет в царство небесное.

Они желали друг другу удачи, долгих лет жизни или царства небесного, и такое это всем принесло облегчение, будто беда уже миновала.

Но рядом с приором стоял пустой стулец, а перед ним на столе тарелка, на которой белели облатки, перевязанные голубою ленточкой.

Когда все расселись и никто не занял этого места, мечник сказал:

– Сдается, преподобный отче, у тебя, по старому обычаю, и для нежданных гостей припасено место?

– Не для нежданных оно гостей, – ответил ксендз Августин, – а в память о рыцаре, которого мы все как сына любили и душа которого с радостью взирает теперь на нас, потому вспоминаем мы его с благодарностью.

– Боже, боже, – воскликнул серадзский мечник, – лучше ему теперь, нежели нам! Да, мы по справедливости должны быть ему благодарны!

У ксендза Кордецкого слезы стояли на глазах, а Чарнецкий сказал:

– Не о таких героях и то пишут в хрониках. Коли, даст бог, останусь жив и кто-нибудь потом спросит меня, кто среди вас был воин, равный старинным богатырям, я скажу: Бабинич!

– Не Бабиничем его звали, – сказал ксендз Кордецкий.

– Как не Бабиничем?

– Давно уж я знал настоящее его имя, но под тайной исповеди открыл он мне его. И только уходя во вражеский стан, чтобы взорвать кулеврину, сказал мне: «Коль погибну я, пусть узнают все мое имя, дабы доброю славой было оно покрыто и забыты были старые мои грехи». Ушел он, погиб, и теперь я могу сказать вам: это был Кмициц!

– Тот самый знаменитый литовский Кмициц?! – схватился за голову Чарнецкий.

– Да! Так по милости господней меняются людские сердца!

– О, боже! Теперь я понимаю, что он мог решиться на такое дело, понимаю, откуда бралась у него эта удаля, эта отвага, которой он превзошел всех нас! Кмициц, Кмициц! Тот самый страшный Кмициц, о котором слух идет по всей Литве!

– Отныне не слух, но слава пройдет о нем не только по всей Литве, но и по всей Речи Посполитой.

– Это он первый сказал нам о Вжещовиче!

– Спасибо ему, что вовремя мы закрыли ворота и приготовились встретить шведов!

– Он подстрелил из лука первого врага!

– А сколько перебил их из пушки! А кто уложил де Фоссиса?

– А эта кулеврина! Кто виновник того, что мы не боимся завтрашнего штурма?

– Пусть же всяк добром его помянет и прославит, где только можно, имя его, дабы восторжествовала справедливость, – сказал ксендз Кордецкий. – А теперь: «Упокой, господи, душу его!»

– «Где праведные упокоятся!» – подхватил хор голосов.

Но Чарнецкий долго не мог успокоиться, и мысли его все время возвращались к Кмицицу.

– Было в нем, скажу я вам, что-то такое, – говорил он, – что хоть служил он простым солдатом, а как-то само собой получалось, что он начальствовал над всеми. Я прямо диву давался, как это люди невольно начинают слушаться такого мальчишки. По сути дела, на нашей башне он был начальником, и я сам ему подчинялся. Знать бы тогда, что это Кмициц!

– Однако же странно мне, – заметил серадзский мечник, – что не стали шведы кричать об его смерти.

Ксендз Кордецкий вздохнул.

– Верно, порохом его разнесло на месте.

– Я бы руку дал себе отрубить, только бы он остался жив! – воскликнул Чарнецкий.

– Но чтоб он да так оплошал!

– Он отдал за нас свою жизнь! – прервал его ксендз Кордецкий.

– Что говорить! – молвил мечник. – Когда бы эта кулеврина стояла на валу, не думал бы я так весело о завтрашнем дне.

– Завтра бог пошлет нам новую победу, – сказал ксендз Кордецкий, – ибо Ноев ковчег не может погибнуть в потопах!

Такой разговор вели они между собою в сочельник, а потом разошлись кто куда: монахи в костел, солдаты на тихий отдых или на стражу у врат и на стенах. Но излишней была эта бдительность, ибо и в шведском стане царил невозмутимый покой. И шведы предались отдыху и размышлениям, и для них приближался самый торжественный праздник.

Ночь была также торжественна. Мириады звезд светились в небе, мерцая красным и синим огоньком. Лунное сияние окрасило в зеленый цвет снежную пелену между крепостью и вражеским станом. Не веял ветер, и такая стояла тишина, какой не бывало у монастырских стен с самого начала осады.

В полночь шведские солдаты услышали мягко льющиеся с высоты звуки органа, к которым присоединились вскоре человеческие голоса, звон колоколов и колокольчиков. Весельем, бодростью и покоем дышали эти звуки, и тем большим сомнением стеснилась грудь шведов, и сердце в них упало.

Польские солдаты из хоругвей Зброжека и Калинского, не спрашивая позволения, подошли к самым крепостным стенам. Их не пустили в монастырь, опасаясь засады в ночной темноте, но позволили стоять у самых стен. Собралась целая толпа. Одни преклонили колена на снегу, другие жалостно качали головами, сокрушаясь над собственной долей, или били себя в грудь, давая себе слово исправиться, и все с восторгом и со слезами на глазах внимали звукам органа и песнопениям, которые пелись по древнему обычаю.

Между тем запела и стража на стенах, чтобы вознаградить себя за то, что не может она быть в костеле, и вскоре по всем стенам из конца в конец разнеслась колядка:

В яслях лежит,

Кто прибежит

Славить младенца.

На следующий день пополудни рев пушек снова заглушил все иные голоса. Шанцы сразу окутались дымом, земля содрогалась; по-прежнему летели на крышу костела тяжелые ядра, и бомбы, и гранаты, и факелы в оправе из труб, которые лили потоки расплавленного свинца, и факелы без оправы, и канаты, и пакля. Никогда еще не был так неумолчен рев, никогда еще не обрушивался на монастырь такой шквал огня и железа; но не было среди шведских пушек той кулеврины, которая одна могла сокрушить стену и пробить бреши для приступа.

Да и так уже привыкли защитники к огню, так хорошо знал каждый из них, что должен он делать, что оборона и без команды шла обычным своим чередом. На огонь отвечали огнем, на ядро — ядром, только целились лучше, потому что были спокойны.

Под вечер Миллер выехал посмотреть при последних лучах заходящего солнца, что же дал этот штурм, и взор его приковала башня, спокойно рисовавшаяся в небесной синеве.

— Этот монастырь будет стоять до скончания века! — воскликнул он в изумлении.

— Аминь! — спокойно ответил Зброжек.

Вечером в главной квартире снова собрался совет; угрюмы все были больше обыкновенного. Открыл совет сам Миллер.

– Сегодняшний штурм, – сказал он, – ничего не принес. Порох у нас кончается, половина людей погибла, прочие пали духом и не победы ждут, а поражения. Запасы кончились, подкреплений ждать неоткуда.

– А монастырь стоит нерушимо, как в первый день осады! – прибавил Садовский.

– Что же нам остается?

– Позор!

– Я получил приказ, – продолжал генерал, – немедленно взять крепость или снять осаду и направиться в Пруссию.

– Что же нам остается? – повторил князь Гессенский.

Все взоры обратились на Вещовича.

– Спасать нашу честь! – воскликнул граф.

Короткий, отрывистый смех, похожий на скрежет зубов, сорвался с губ того самого Миллера, которого звали Полиоцтересом.

– Граф Вещович хочет научить нас воскрешать мертвых! – сказал он.

Вещович сделал вид, что не слышит.

– Честь свою спасли только убитые! – прибавил Садовский.

Миллер начал терять самообладание.

– И он все еще стоит, этот монастырь? Эта Ясная Гора, этот курятник?! И я не взял его?! И мы отступаем? Сон ли это или явь?

– Этот монастырь, эта Ясная Гора все еще стоит, – как эхо повторил князь Гессенский, – и мы отступаем, разбитые!

Наступила минута молчания; казалось, военачальник и его подчиненные находят дикое наслаждение в мыслях о собственном позоре и унижении.

Но тут медленно и раздельно заговорил Вещович.

– Во всех войнах, – сказал он, – не однажды случалось, что осажденная крепость давала выкуп за снятие осады, и тогда войска уходили как победители, ибо тот, кто дает выкуп, тем самым признает себя побежденным.

Офицеры, которые сперва слушали графа с надменным презрением, вдруг насторожились.

– Пусть монастырь даст нам какой-нибудь выкуп, – продолжал Вещович, – тогда никто не посмеет сказать, что мы не могли его взять, скажут, что просто не

пожелали.

– Но согласятся ли на это монахи? – спросил князь Гессенский.

– Ручаюсь головой, – ответил Вейгард, – более того, своей солдатской честью!

– Что ж, все может случиться! – сказал вдруг Садовский. – Вконец измучила нас эта осада, но ведь их тоже. Генерал, что вы на это скажете?

Миллер обратился к Вещовичу:

– Много тяжелых минут принесли мне, граф, ваши советы, самых, пожалуй, тяжелых во всей моей жизни, но за этот совет спасибо вам, век буду помнить.

Все вздохнули с облегчением. И в самом деле, речь могла идти уже только о том, чтобы уйти с почетом.

Назавтра, в день святого Стефана, офицеры собрались все до единого, чтобы выслушать ответ ксендза Кордецкого на посланное утром письмо Миллера, в котором монахам предлагалось внести выкуп.

Долго пришлось ждать офицерам. Миллер притворялся веселым; но на лице его читалось принуждение. Никто из офицеров не мог усидеть на месте. Тревожно бились сердца.

Князь Гессенский и Садовский стояли у окна и вполголоса вели между собой разговор.

– Как вы думаете, полковник, согласятся они? – спросил князь.

– Всё как будто за то, что должны согласиться. Кто бы не согласился избавиться от такой, что ни говорите, грозной опасности ценою каких-нибудь двух десятков тысяч талеров; да и то надо принять во внимание, что для монахов не существуют ни мирская гордость, ни солдатская честь, во всяком случае, не должны существовать. Я вот только боюсь, не потребовал ли генерал слишком много.

– А сколько он потребовал?

– Сорок тысяч талеров от монахов и двадцать тысяч от шляхты. Ну, на худой конец они, может, захотят поторговаться.

– Ах, боже мой, уступать надо, уступать! Да если бы я знал, что у них нет денег, я бы предпочел ссудить их, только чтоб осталась хоть видимость почета.

– Должен вам сказать, князь, что на этот раз совет Вещовича, сдается мне, хорош, я уверен, что монахи дадут выкуп. Мочи нет терпеть, уж лучше десять приступов, чем это ожидание.

– Уф! Вы правы. Однако этот Вещович может далеко пойти.

– Да пусть себе идет хоть на виселицу.

Собеседники не угадали. Графу Вейгарду Вещовичу уготована была участь, горшая даже виселицы.



Между тем рев пушек прервал дальнейший разговор.

– Что это? В крепости стреляют? – крикнул Миллер.

Он сорвался и как оглашенный выбежал вон.

За ним последовали остальные и стали слушать. В самом деле из крепости долетали пушечные залпы.

– Ради бога, что бы это могло значить? Дерутся они там, что ли?! – кричал Миллер. – Ничего не понимаю!

– Генерал, я вам все объясню, – сказал Зброжек. – Нынче день святого Стефана, именины обоих Замойских, отца и сына, это салютуют в их честь.

Из крепости долетели приветственные клики, а за ними новые залпы салюта.

– Да, пороха у них много! – угрюмо заметил Миллер. – Вот новый знак для нас.

Но еще одного знака, гораздо более чувствительного, не пожалела для генерала судьба. Шведские солдаты так уже отчаялись и пали духом, что при звуках крепостных залпов целые отряды их в смятении бежали из ближних шанцев.

Миллер видел, как целый полк отборных смаландских стрелков укрылся в замешательстве у самой его квартиры, слышал, как офицеры при виде бегущих солдат повторяли:

– Пора, пора сниматься!

Понемногу, однако, все успокоилось, осталось только тягостное впечатление. Вместе со своими подчиненными генерал снова вошел в дом, и снова все ждали, ждали с нетерпением, так что даже на неподвижном лице Вжещовича изобразилось беспокойство.

Наконец в сенях раздался звон шпор, и вошел трубач, раздумавшийся с мороза, с заиндевельными усами.

– Ответ из монастыря! – сказал он, вручая генералу большой пакет, завернутый в цветной платок и перевязанный шнурком.

У Миллера руки тряслись, он не стал развязывать пакет, а прямо разрезал шнурок кинжалом. Десятки глаз уставились на сверток, офицеры затаили дыхание.

Генерал отвернул один конец платка, затем другой, все торопливей разворачивал он пакет, пока на стол не упала наконец кучка облаток.

Он побледнел и, хотя никто не требовал объяснений, произнес:

– Облатки!..

– И больше ничего? – спросил кто-то в толпе.

– И больше ничего! – как эхо повторил генерал.

Наступила минута молчания, прерываемая только тяжелым дыханием да порою скрежетом зубов или звоном рапиры.

– Граф Вжещович! – страшным, зловещим голосом сказал наконец Миллер.

– Его уж нет! – ответил один из офицеров.

И снова наступило молчание.

Ночью движение поднялось во всем стане. Едва погасло дневное светило, раздалась команда, промчались большие отряды конницы, послышались отголоски марша пехоты, конское ржание, скрип повозок, глухой стук орудий, лязг железа, звон цепей, шум, гомон и гул.

– Новый штурм, что ли, завтра? – говорила стража у врат.

Но ничего разглядеть она не могла, так как небо с вечера заволочло тучами и повалил снег.

Густые хлопья его заслонили свет. Около пяти часов утра стихли все отголоски, только снег валил все гуще и гуще. На стенах и зубцах башен он насыпал новые стены, новые зубцы. Одел пеленою весь монастырь и костел, словно хотел укрыть их от взоров захватчиков, оградить, защитить от огнеметных снарядов.

Уже стало светать и колокольчик зазвонил к утрени, когда солдаты, стоявшие на страже на южной башне, услышали фыркание лошади.

У врат обители стоял крестьянин, весь заметенный снегом; позади него на въезде виднелись низенькие деревянные санки, запряженные худой, облезлой лошадежкой.

Чтобы разогреться, крестьянин бил в ладони, переступал с ноги на ногу.

– Эй, люди, отворите! – кричал он.

– Кто там? – спросили со стен.

– Свой, из Дзбова! Дичины привез отцам.

– Как же тебя шведы пропустили?

– Какие шведы?

– Да что костел держат в осаде.

– Эге, да тут никаких шведов уж нет!

– Всякое дыхание да хвалит господу! Ушли?

– И след за ними замело!

Но вот толпы мещан и мужиков появились на дороге; одни ехали верхом, другие шли пешком, были среди них и бабы, и все еще издали кричали:

– Нету шведов! Нету!

– В Велюнь ушли!

– Отворяйте! В стане ни души!

– Шведы ушли! Шведы ушли! – закричали на стенах, и весть молнией разнеслась по крепости.

Солдаты кинулись на звонницу и ударили во все колокола, словно сполох забили. Все, кто жив, выбегал из келий, домов и костела.

Весть все еще переходила из уст в уста. Двор наполнили монахи, шляхта, солдаты, женщины и дети. Звуки ликований раздавались кругом. Кто вбегал на стены, чтобы поглядеть на пустой стан, кто разражался смехом или рыданием.

Некоторые все еще не хотели верить; но в монастырь стекались все новые и новые толпы мужиков и мещан.

Люди шли из Ченстоховы, из окрестных селений и из ближних лесов, шумно, весело, с песнями. Приносили новые вести; все видели отступавших шведов и рассказывали, куда они уходили.

Спустя несколько часов на склоне горы и внизу под горой было полно народу. Врата монастыря растворились настезь, как всегда были растворены они до войны; только колокола звонили, звонили, звонили, и ликующие их голоса летели вдаль, и слышала их вся Речь Посполитая.

А снег все заметал следы шведов.

В этот день в полдень народу в костел набилось битком, только головы виднелись, вплотную одна к другой, словно бульжники на мощеной городской улице. Сам ксендз Кордецкий служил благодарственный молебен, а людям чудилось, это белый ангел служит. И чудилось им еще, что всю душу выпоет он в песнопении или ввысь унесется она с фимиамом камильниц и растает во славу божию.

Рев пушек не потрясал больше ни стен, ни стекол в окнах, не засыпал пылью людей, не прерывал ни молитв, ни той благодарственной песни, которую среди восторгов и рыданий запел святой приор:

Te Deum laudamus!.. [2]

## ГЛАВА XX

Кони быстро несли Кмицица и Кемличей к силезской границе. Всадники ехали осторожно, чтобы не наткнуться на какой-нибудь шведский разъезд; хоть у Кемличей и были «пропуска», выданные Куклиновским и подписанные Миллером, однако шведы обычно допрашивали даже солдат, имевших такие документы, а допрос мог плохо кончиться для пана Анджея и его спутников. Потому-то и торопились они пересечь поскорее границу и углубиться в пределы Священной Римской империи. Рубежи тоже не были безопасны, там хозяйничала шведская «вольница», а порою в Силезию вторгались целые шведские отряды, чтобы хватать тех, кто пробирался к Яну Казимиру. Но Кемличи под Ченстоховой недаром промышляли охотой на отбившихся от стана шведов, – они знали все окрестности, все приграничные дороги, тропы и переходы, где охота бывала у них самой богатой, и ехали теперь, как по родным местам.

По дороге старый Кемлич рассказывал своему полковнику, что слышно в Речи Посполитой: пан Анджей, который столько времени провел в крепостных стенах, жадно слушал старика и о боли забыл, так неблагоприятны были для шведов все новости и такой близкий сулили они конец их владычеству в Польше.

– Надоело уж войску и на шведское счастье глядеть и дружбу с ними водить, – говорил старый Кемлич. – Прежде солдаты грозились гетманов убить, коль они не присоединятся к шведам, а теперь сами хлопочут и гонцов к пану Потоцкому шлют, чтоб вызволял из ярма Речь Посполитую, и клянутся стоять с ним насмерть. Есть и такие полковники, что на свой страх стали нападать на шведов.

– Кто же первым начал?

– Пан Жегоцкий, бабимостский староста, с паном Кулешей. Они первые поднялись в Великой Польше и крепко бьют там шведов; но и по всей Речи Посполитой много уже есть отрядов, да вот трудно узнать, кто у них предводители: с умыслом скрывают они свои имена, чтобы семьи и имение уберечь от мести шведов. В войске первым поднялся тот полк, где начальником полковник Войниллович.

– Габриэль? Родич он мой, хоть и незнаком я с ним!

– Храбрый солдат! Это он истребил ватагу изменника Працкого, что шведам служила, и его самого расстрелял, а теперь вот ушел в горы высокие, за Краков, шведов там изрубил и вызволил горцев, что стонали под ихним ярмом.

– Стало быть, и горцы уже бьют шведов?

– Они первые напали на них; но ведь мужики, глупый народ, вздумали с топориками идти освободить Краков, ну генерал Дуглас их и разогнал, потому на ровном месте драться они непривычны. Но из отрядов, что шведы послали вдогонку за ними в горы, ни один человек не воротился. Теперь вот пан Войниллович помог этим мужикам, а сам ушел в Любавлю к пану маршалу, соединился там с его войском.

– Так и маршал Любомирский стоит против шведов?

– Всякое о нем говорили, будто склонялся он то на ту, то на другую сторону, но как стали все у нас садиться на конь да выступать против шведов, так и он против них ополчился. Силен он, много может им навредить! Один и то бы мог воевать против шведского короля. Толкуют еще люди, будто до весны ни одного шведа не останется в Речи Посполитой...

– Даст бог, так оно и будет!

– Ну, а как же иначе, пан полковник! Ведь за осаду Ченстоховы все против них ополчились. Войско бунтует, шляхта уже их бьет, мужики в ватаги собираются, а тут и татары идут, сам хан идет, что Хмельницкого и казаков побил и сулился их всех стереть с лица земли, разве только они на шведов двинутся.

– Но ведь у шведов еще много сторонников среди шляхты и магнатов?

– Их только те держатся, кому податься некуда, да и те ждут только поры. Один виленский воевода всей душой им предался, вот дело для него плохо и кончилось.

Кмициц даже коня придержал и в ту же минуту схватился за бок от острой боли.

– Да говори же ради бога, что с Радзивиллом! – вскричал он, подавляя стон. – Неужто он так все и сидит в Кейданах?

– Господи боже мой! – воскликнул старик. – Я ведь только то знаю, что люди толкуют, а они бог весть что толкуют. Одни говорят, будто князь воевода уж помер, другие – будто обороняется еще от пана Сапеги, но уж на ладан дышит. Похоже, сразились они в Подлясье, и пан Сапега одолел его, потому шведы не могли ему помочь. А теперь толкуют, осадил его пан Сапега в Тыкоцине, и все уж будто кончено.

– Слава богу! Честные люди побеждают изменников! Слава богу! Слава богу!

Кемлич посмотрел исподлобья на Кмицица, не зная, что и подумать. Ведь вся Речь Посполитая знала, что если и усмирил Радзивилл на первых порах свое войско и шляхту, которая не хотела покориться шведам, то только потому, что Кмициц ему помог со своими людьми.

Однако старик не выдал полковнику своих мыслей, и они в молчании продолжали путь.

– А что с князем конюшим? – спросил наконец пан Анджей.

– Ничего я про него не слышал, пан полковник, – ответил Кемлич. – Может, он в Тыкоцине, а может, у курфюрста. Там теперь война, и сам шведский король двинулся в Пруссию, а мы вот нашего короля ждем. Дай-то бог, чтобы воротился он! Ведь стоит ему только показаться, и все до единого за него встанут и войско тотчас покинет шведов!

– Верно ли?

– Я, пан полковник, только то знаю, что солдаты говорили, которые под Ченстоховой стоят со шведами. Несколько тысяч наберется там отборной конницы полковника Зброжека, полковника Калинского и прочих. Осмелюсь сказать, пан полковник, ни один человек там по доброй воле не служит, разве только разбойники Куклиновского, что на ясногорские богатства зарятся. Все, как один, там честные солдаты, все жаловались, все кричали: «Что мы, иуды? Довольно с нас этой службы! Пусть только ступит король на нашу землю, мы тотчас обратим сабли на шведов! Но что делать нам, покуда нет его, куда податься?» Вот как они сетовали, а в тех полках, что под начальством гетманов, и того хуже. Я это доподлинно знаю, люди от них приезжали к пану Зброжеку, уговаривали его, по ночам тайно совет с ним держали, про что Миллер не знал, хоть и чуял он, что недоброе в стане творится.

– А князь воевода виленский сидит в Тыкоцине в осаде? – спросил пан Анджей.

Кемлич снова с беспокойством поглядел на Кмицица, подумал, не горячка ли у полковника, что он по два раза об одном и том же спрашивает, хотя только что был об этом разговор, однако повторил:

– В осаде!

– Справедлив суд божий! – промолвил Кмициц. – Он, что силою мог с королями равняться, сидит в осаде! Никого при нем не осталось?

– В Тыкоцине шведский гарнизон. А при князе, сдается, только несколько человек придворных осталось, самых верных.

Грудь Кмицица наполнилась радостью. Он боялся, что страшный магнат выместит ему на Оленьке, и хоть думалось ему, что предупредил он эту месть своими угрозами, а все же его постоянно терзала мысль, что Оленьке и всем Биллевичам легче и безопасней было бы жить в львином логове, чем в Кейданах, под рукою князя, который никому ничего не прощал. Но теперь, после его падения, противники могли торжествовать победу: лишенный силы и значенья, обладавший теперь одной лишь слабой крепостцой, где он защищал собственную жизнь, князь не мог помышлять о мести, рука его не тяготела больше над врагами.

– Слава богу! Слава богу! – повторял Кмициц.

И так предался он мыслям о перемене в судьбах Радзивиллов, о событиях, происшедших за все время пребывания его в Ченстохове, о той, которую полюбил он всем сердцем и не знал, где она и что с нею случилось, что в третий раз спросил Кемлича:

– Так, говоришь, сокрушен князь?

– Вконец сокрушен, – ответил старик. – Да не болен ли ты, пан полковник?

– Бок только горит. Пустое! – ответил Кмициц.

И снова они в молчании продолжали путь. Притомленные кони замедляли понемногу бег, пока не пошли шагом. Однообразное движение усыпило смертельно уставшего пана Анджея, и он долго спал, покачиваясь в седле. Разбудил его только ясный утренний свет.

С удивлением огляделся пан Анджей по сторонам, в первую минуту ему показалось, что все происшедшее ночью было лишь сном.

– Это вы, Кемличи? – спросил он наконец. – Мы из Ченстоховы едем?

– Да, пан полковник!

– Где же мы?

– Ого! Уже в Силезии. Шведам нас уже не достать!

– Это хорошо! – сказал Кмициц, совсем придя в себя. – А где живет наш король?

– В Глогове.

– Мы поедем туда и в ноги ему поклонимся, службу нашу предложим. Но только вот что, старик!

– Слушаю, пан полковник!

Однако Кмициц задумался и заговорил не сразу. Не знал, видно, на что решиться, колебался, раздумывал.

– Иначе никак нельзя! – пробормотал он наконец.

– Слушаю, пан полковник!

– Ни королю, ни придворным и словом не обмолвиться, кто я! Зовут меня Бабинич, едем мы из Ченстоховы. Про кулеврину и про Куклиновского можете рассказывать. Но имени моего не упоминать, чтобы замыслы мои никто не истолковал в дурную сторону и не принял меня за изменника, ибо в ослеплении своем служил я виленскому воеводе и помогал ему, о чем могли слышать при дворе!

– Пан полковник! После подвига твоего под Ченстоховой...

– А кто подтвердит, что это правда, покуда монастырь в осаде?

– Будет исполнено, пан полковник!

– Придет время, и правда наружу выйдет, – как бы про себя сказал Кмициц, – но сперва король должен сам убедиться. Тогда и он все подтвердит!

На этом разговор оборвался. Тем временем и день уже встал. Старый Кемлич запел утреннюю молитву, Косьма и Дамиан стали вторить ему басами. Дорога была трудная, мороз трещал на дворе, к тому же встречные то и дело останавливали путников, о новостях спрашивали, особенно о том, стоит ли еще Ченстохова. Кмициц отвечал: стоит, мол, и устоит, но расспросам не было конца. Дороги были забиты проезжими, придорожные корчмы переполнены. Кто уходил в глубь Силезии с приграничных земель Речи Посполитой, чтобы укрыться от шведского ига, кто подъезжал поближе к границе, чтобы разузнать, что творится на родине; то и дело путников нагоняли шляхтичи, которые, ополчась против шведов, направлялись, как Кмициц, к королю-изгнаннику, чтобы предложить ему свою службу. Попадались порой магнаты с вооруженной челядью, порой большие и маленькие отряды тех войск, что добровольно или по договору со шведами перешли границу, как сделали это, например, войска киевского каштеляна. Вести с родины пробудили надежды в сердцах этих изгнанников, и многие из них уже готовились вернуться домой с оружием в руках. Вся Силезия как котел кипела, особенно Рациборское и Опольское княжества: гонцы мчались с посланиями к королю, а от короля к киевскому каштеляну, к примасу, к канцлеру Корицинскому, к краковскому каштеляну Варшицкому, первому сенатору Речи Посполитой, который ни на минуту не оставил дела Яна Казимира.

По согласию с великой королевой, которая твердо осталась в беде, эти сановники договаривались теперь друг с другом, сносились с родиной и с лучшими ее людьми, о которых было известно, что они рады снова верно служить законному государю. Слали гонцов и коронный маршал, и гетманы, и войско, и шляхта, готовая взяться за оружие.

Это был канун всеобщей войны, которая уже вспыхнула в некоторых местах. Оружием, топором палача подавляли шведы восстания; но огонь, потушенный в одном месте, тотчас вспыхивал в другом. Страшная туча собралась над головами скандинавских захватчиков, сама земля, хоть и покрытая снегом, горела у них под ногами, опасность, месть подстерегали их на каждом шагу, и они пугались уже собственной тени.

Как во сне они ходили. Смолкли на их устах недавние победные песни, в величайшем изумлении вопрошали они себя: «Ужели это тот самый народ, который еще вчера изменил своему государю, сдался нам без боя?» Да! Магнаты, шляхта, войско сами

перешли на сторону победителя, чему история не знала примера; города и замки открывали перед ним ворота, страна была в его руках. Никогда еще ни одна земля не была покорена ценою столь малой крови и сил. Сами шведы, дивясь легкости, с какой им удалось занять могущественную Речь Посполитую, не могли скрыть своего презрения к побежденным. Ведь стоило сверкнуть первому шведскому мечу, и они отреклись от короля и отчизны, только бы жить и мирно пользоваться своими богатствами, а то и приумножить их во всеобщем смятении. То, что в свое время Вжещович говорил цесарскому послу Лисоле, повторяли шведский король и его генералы: «Нет у этого народа отваги, нет постоянства, нет порядка, нет ни веры, ни любви к родине! Он должен погибнуть!»

Они забыли, что у этого народа было еще одно чувство, то чувство, земным воплощением которого стала Ясная Гора.

И в этом чувстве таилось его возрождение.

Рев пушек у стен святой обители отозвался в сердце каждого магната, каждого шляхтича, каждого горожанина и мужика. Крик ужаса прокатился от Карпат до Балтики, и великан воспрянул, как ото сна.

– Это другой народ! – с изумлением говорили шведские генералы.

И все они, начиная с Арвида Виттенберга и кончая комендантами отдельных замков, стали слать находившемуся в Пруссии Карлу Густаву послания, полные страха.

Земля уходила у них из-под ног; вместо прежних друзей они встречали повсюду недругов, вместо покорности – сопротивление, вместо страха – неукротимую, на все готовую отвагу, вместо кротости – жестокость, вместо терпения – месть.

А тем временем во всей Речи Посполитой ходил по рукам в тысячах списков манифест Яна Казимира, который давно уже был выпущен в Силезии, но прежде не будил эха. Теперь его видели в замках, не захваченных врагом. Всюду, где только не властвовал швед, шляхта собиралась кучами и кучками и била себя в грудь, слушая возвышенные слова короля-изгнанника, который, указывая на грехи и ошибки, повелевал не терять надежды и подниматься на спасение Речи Посполитой.

«Сколь далеко ни продвинулся враг, – писал Ян Казимир, – а все не упущено еще время, любезные сенаторы, верная наша шляхта и преподобные отцы, и в наших силах вновь обрести провинции и города, кои мы потеряли, и вновь воздать богу должную хвалу, и оскверненные святыни напоить вражеской кровью, и восстановить исконные ваши вольности и права и старопольские установления, только бы вновь воротилась ваша старопольская доблесть и древних ваших предков *observantia*[3] и любовь к своему государю, кою дед наш, Сигизмунд Первый, перед прочими гордился народами. Час приспел, отвратясь от преступных деяний, выйти на поле доблести. Вставайте же на шведа все, для кого бог и святая вера превыше всего. Не ждите полководцев и воевод, ни того порядка, что записан в законе, ибо все смешал теперь враг; но присоединяйтесь один к другому, к двоим третий, к троим четвертый, к четвертым пятый и так *per consequens*[4] и всяк со своими холопами, а сошедшись, давайте, где можно, отпор врагу. Тогда только выберите себе полководца. Собирайтесь в кучу, а как составится боевое войско и выберете вы себе славного полководца, ждите нас, нанося, буде случай представится, урон врагу. Мы же, любезные сенаторы, верная наша шляхта и преподобные отцы, услышав о готовности вашей и покорности нам, тотчас прибудем и жизнь нашу положим, коль требовать того будет защита неделимой нашей отчизны».



Универсал этот читали даже в стане Карла Густава, даже в замках, где стоял шведский гарнизон, и повсюду, где только были польские хоругви. Обливаясь слезами над каждым королевским словом, жалела шляхта о добром своем государе и на распятых, иконках богоматери и ладанках клялась исполнить его волю. Чтобы доказать свою готовность, многие, пока пыл не охладел в сердцах и не обсохли слезы, садились, не долго думая, на коня и «сгоряча» бросались рубить шведов.

Стали гибнуть, пропадать небольшие шведские отряды. Было так в Литве, в Жмуди, в Мазовии, в Великой и Малой Польше. Не однажды шляхта, собравшись безо всяких воинственных намерений к соседу на крестины или именины, на свадьбу или масленичную потеху, кончала тем, что, подвыпив, вихрем налетала на ближайший шведский гарнизон и рубила всех до последнего. После этого масленичный поезд, подбирая по дороге всех, кто изъявлял желание «поохотиться», мчался с песнями и криками дальше, обращаясь в толпу, жаждавшую крови, а там и в повстанческую «ватагу», которая начинала уже настоящую войну с врагом. Крепостные мужики и дворовые люди целыми толпами присоединялись к потехе; другие доносили о шведах-одиночках или небольших отрядах, неосторожно расположившихся в деревнях. Масленичных поездов и «ряженных» с каждым днем становилось все больше. Присущим народу весельем и удалью полна была эта потеха.

Люди охотно рядились татарами, одно имя которых в трепет повергало шведов; удивительные легенды и слухи ходили среди них о дикости, страшной и жестокой отваге этих сынов крымских степей, с которыми скандинавы доньше никогда не встречались. А так как все уже знали, что хан со стотысячной ордой идет на помощь Яну Казимиру и шляхта бунтует, учиняя нападения на гарнизоны, во вражеских рядах поднялось небывалое замешательство.

Решив, что татары и впрямь уже пришли, многие полковники и коменданты стремительно отступали в большие крепости и станы, сея повсюду ложные слухи и смуту. В тех местах, откуда они уходили, шляхта свободно вооружалась, и беспорядочные толпы ее обращались в боевое войско.

Но еще опаснее масленичных поездов, да и самих татар, было для шведов крестьянское движение. Давно уже, с первого дня осады Ченстоховы, заволновался народ, смиренные доселе и долготерпеливые пахари стали там и тут подниматься на врага, хвататься за косы и цепи и помогать шляхте. Те шведские генералы, которые умели предвосхищать события, наибольшую опасность видели именно в этой туче, ибо, разразившись, она могла обратиться в настоящий потоп и поглотить захватчиков без остатка.

Устрашение непокорных казалось шведам главным средством для подавления в зародыше грозной опасности. Карл Густав еще осыпал милостями польские хоругви, которые отправились с ним в Пруссию, еще заискивал перед ними. Он расточал льстивые речи хорунжему Конецпольскому, знаменитому полководцу, герою Збаража. Конецпольский перешел на его сторону с шестью тысячами несравненной конницы, которая при первом же столкновении с курфюрстом так устрашила пруссаков и внесла такое опустошение в их ряды, что курфюрст, прекратив сопротивление, поспешил вступить в переговоры.

Слал еще шведский король гонцов к гетманам, магнатам и шляхте с милостивыми посланиями, полными посулов и призывов хранить ему верность. Но в то же время он уже отдавал приказы своим генералам и комендантам огнем и мечом подавлять всякое сопротивление внутри страны, особенно же беспощадно истреблять крестьянские

ватаги. Так началась в стране власть железного солдатского кулака. Враг сбросил личину. Огонь и меч, грабеж, притеснение пришли на смену прежнему притворному благоволению. Для преследования масленичных поездов из замков были посланы сильные отряды конницы и пехоты. Целые деревни сровняли они с землей, жгли шляхетские усадьбы, костелы, дома ксендзов. Шляхту, захваченную в плен, отдавали в руки палачей, мужикам рубили правую руку и одноруким отпускали домой.

Особенно зверствовали эти отряды в Великой Польше, которая первой покорилась врагу, но и первой поднялась против иноземного ига. Комендант Стейн приказал однажды отрубить правые руки сразу тремстам мужикам, схваченным с оружием в руках. В городках были поставлены виселицы, и каждый божий день на них вздергивали новые жертвы. Магнус де ла Гарди учинял такие же расправы в Литве и Жмуди, где за оружие взялись сперва застянки, а затем и крестьяне. А так как во всеобщем смятении шведам трудно было отличить своих сторонников от врагов, то они не щадили никого.

Но огонь, поддерживаемый кровью, вместо того чтобы потухнуть, разгорался с новой силой, и началась война, в которой обе стороны не искали уже побед, не думали о захвате замков, городов или провинций, а дрались не на жизнь, а на смерть. Зверства усиливали ненависть, и люди не сражались, а уничтожали друг друга безо всякой пощады.

## ГЛАВА XXI

Эта война на уничтожение еще только начиналась, когда совсем больной Кмициц после трудного для него путешествия добрался с троими кемличами до Глоговы. Приехали они ночью. Город был переполнен войсками, магнатами, шляхтой, королевской и магнатской челядью, а корчмы до того набиты народом, что старый кемлич насилу нашел пану Анджею квартиру у сучильщика, жившего за городом.

Весь день пан Анджей пролежал в жару, жестоко страдая от ожога. Минутами ему казалось, что он заболел тяжело и надолго. Но железная натура победила. На следующую ночь ему стало легче, а на рассвете он уже оделся и отправился в приходский костел, чтобы возблагодарить создателя за свое чудесное избавление.

Мглистое и снежное зимнее утро едва рассеяло мрак. Город еще спал; но в отворенные двери костела уже виден был свет перед алтарем и лились звуки органа.

Кмициц вошел внутрь. Ксендз перед алтарем совершал литургию; в костеле было еще мало молящихся. Между скамьями, укрыв лица в ладонях, стояло на коленях несколько человек, а когда глаза пана Анджея привыкли к темноте, он увидел, кроме них, еще фигуру, лежащую ниц перед самым амвоном на коврике, посланном на полу. Позади стояли на коленях два румяных, как херувимы, мальчика. Человек лежал недвижимо, и только по тяжелым вздохам, вздымавшим его грудь, можно было понять, что не спит он, что молится жарко, всей душой. Кмициц тоже стал усердно молиться; но когда он кончил читать свои благодарственные молитвы, взор его снова невольно обратился на человека, лежащего ниц, и он, как зачарованный, не мог уже отвести от него глаз. От вздохов, подобных стону, явственно слышных в тишине костела, сотрясалось все тело незнакомца. В желтом отблеске свечей перед алтарем, мешавшемся с дневным светом, который лился в окна, фигура его все отчетливей выступала из тьмы.

По одежде пан Анджей тотчас догадался, что перед ним кто-то из сановников, да и остальные молящиеся, и сам ксендз, совершавший литургию, смотрели на него с почтением и трепетом. Незнакомец был в черном бархате на соболях, только на

плечи был откинут белый кружевной ворот, из-под которого выглядывала золотая цепь; черная шляпа с такими же перьями лежала рядом, а один из пажей, стоявших позади на коленях, держал перчатки и шпагу, покрытую голубой финифтью. За складками коврика Кмициц не мог разглядеть лица незнакомца, да и букли необыкновенно пышного парика, рассыпавшись вокруг головы, заслоняли его совершенно.

Пан Анджей приблизился к самому амвону, чтобы посмотреть на незнакомца, когда тот встанет с колен. Литургия между тем подходила к концу. Ксендз пел уже «Pater noster»[5]. Толпа народа, желавшего помолиться у поздней обедни, текла через главный вход. Костел постепенно наполнился людьми с подбритыми чуприной головами, в плащах, солдатских бурках, шубах, кафтанах золотой парчи. Стало довольно тесно. Кмициц дотронулся до локтя стоявшего рядом шляхтича и шепнул:

– Прости, вельможный пан, что мешаю тебе молиться, но уж очень мне любопытно знать, кто это?

И он показал глазами на человека, лежавшего ниц.

– Ты, милостивый пан, видно, издалека приехал, коль не знаешь, кто это, – ответил шляхтич.

– Это правда, приехал я издалека, потому и спрашиваю, надеюсь, человек учтивый не откажется мне ответить.

– Это король.

– О, боже! – воскликнул Кмициц.

Но в эту минуту ксендз начал читать Евангелие, и король поднялся с колен.

Пан Анджей увидел осунувшееся, желтое и прозрачное, как церковный воск, лицо. Глаза короля были влажны, веки покраснели. Словно судьбы всей страны отразились на этом благородном лице, такая чувствовалась в нем боль, такое страдание и тоска. Бессонные ночи, которые король проводил в печали и молитве, жестокие разочарования, скитальческая жизнь, униженное величие этого сына, внука и правнука могущественных королей, горечь, которой так щедро напоили его собственные подданные, неблагодарность отчизны, за которую он готов был отдать свою жизнь, все это, как в книге, читалось в его лице. Но оно дышало не только решимостью, обретенною в вере и молитве, не только величием короля и помазанника божия, но и столь необыкновенной, неиссякаемой добротой, что казалось, довольно самому подлому, самому злему отступнику простереть руки к нему, своему отцу, и он примет его, простит и забудет свои обиды.

Когда Кмициц поглядел на короля, будто кто железной рукой сдавил его сердце. Жалость закипела в пылкой душе молодого рыцаря. Сокрушеньем, трепетом и тоской стеснилась его грудь, от сознания собственной вины подкосились ноги, он весь задрожал, и внезапно новое, неведомое чувство проснулось в его душе. В одно короткое мгновение полюбил он венценосного страдальца, почувствовал, что нет для него на всем свете никого дороже отца и государя, что готов он кровь пролить за него, пытки стерпеть, все на свете. Он хотел броситься к его ногам, обнять его колени и просить о прощении. Шляхтич, дерзкий смутьян, умер в нем в это короткое мгновение и родился ярый приверженец короля, всей душой преданный ему.

– Это наш государь, наш несчастный государь! – повторял он, словно вслух хотел подтвердить то, что видели его глаза и чуяло сердце.

Между тем Ян Казимир после Евангелия снова опустился на колени, воздел руки, устремил очи горе и погрузился в молитву. Уж и ксендз ушел, и движение поднялось в костеле, а король по-прежнему не вставал с колен.

Шляхтич, к которому обратился Кмициц, толкнул теперь в бок пана Анджея.

– А ты кто будешь, милостивый пан? – спросил он.

Не сразу понял Кмициц, о чем его спрашивают, и не вдруг ответил он шляхтичу, настолько сердце его и ум были поглощены королевской особой.

– А ты кто будешь, милостивый пан? – снова спросил шляхтич.

– Шляхтич, как и ты, вельможный пан, – ответил пан Анджей, словно пробудившись ото сна.

– А как звать тебя?

– Как звать? Бабиничем зовут меня, а родом я из Литвы, из Витебска.

– А я Луговский, королевский придворный. Так ты едешь из Литвы, из Витебска?

– Нет, я еду из Ченстоховы.

От удивления Луговский на минуту онемел.

– Ну коли так, привет тебе, пан, привет, ты ведь новости нам расскажешь! Наш король чуть с тоски не пропал, – вот уж три дня нет оттуда вестей. Ты что, из хоругви Зброжека, или, может, Калинского, или Куклиновского? Под Ченстоховой был?

– Да не под Ченстоховой я был, а в Ченстохове, прямо из монастыря еду!

– Да ты не шутишь ли? Ну как же там? Что слышно? Стоит ли еще Ченстохова?

– Стоит и стоять будет. Шведы вот-вот отступят!

– Господи! Да король озолотит тебя! Так ты говоришь, из самого монастыря? Как же шведы тебя пропустили?

– А я у них позволения не спрашивал! Прости, однако, милостивый пан, не могу я в костеле подробно тебе обо всем рассказывать.

– Правда, правда! – промолвил Луговский. – Боже милостивый! С неба ты грянул к нам! А в костеле и впрямь неудобно рассказывать. Погоди! Король сейчас встанет, завтракать поедет перед обедней. Нынче воскресенье. Пойдем со мною, мы станем в дверях, и я у входа представлю тебя королю. Пойдем, пойдем, время не терпит.

С этими словами он направился к выходу, а Кмициц последовал за ним. Не успели они стать в дверях, как показались оба пажа, а вслед за ними из костела медленно вышел Ян Казимир.

– Государь! – воскликнул Луговский. – Вести из Ченстоховы!

Восковое лицо Яна Казимира сразу оживилось.

– Что? Где? Кто приехал? – спросил он.

– Вот этот шляхтич! Говорит, будто едет из самого монастыря.

– Неужто монастырь уже пал? – воскликнул король.

Но пан Анджей повалился тут ему в ноги.

Ян Казимир нагнулся и стал поднимать его за плечи.

– Потом! – восклицал он. – Потом! Вставай, пан, ради Христа вставай! Говори скорее! Монастырь пал?

Кмициц вскочил со слезами на глазах и крикнул с жаром:

– Не пал, государь, и не падет! Шведы разбиты! Самая большая пушка взорвана! Страх обнял их души, голод у них, беда! Отступить они думают.

– Слава, слава тебе, владычица! – воскликнул король.

С этими словами он повернулся к дверям костела, снял шляпу и, не заходя внутрь, преклонил колена на снегу у дверей. Опершись головой о каменный косяк, он погрузился в молчание. Через минуту грудь его сотряслась от рыданий.

Все были растроганы. Пан Анджей ревел, как зубр.

Помолясь и выплакавшись, король встал успокоенный, с просветленным лицом. Он спросил Кмицица, как его зовут, а когда тот назвал свое вымышленное имя, сказал:

– Пан Луговский проводит тебя к нам. Мы и есть не станем, коль за завтраком ты не расскажешь нам про оборону!

Спустя четверть часа Кмициц очутился в королевском покое перед высоким собранием. Король ждал только королевы, чтобы сесть за утреннюю похлебку; через минуту появилась Мария Людвики. Увидев ее, Ян Казимир вскричал:

– Ченстохова устояла! Шведы отступают! Вот пан Бабинич, он приехал оттуда и привез нам эту весть!

Королева устремила испытующий взор на молодого рыцаря, и черные глаза ее прояснились при виде его открытого лица; он же, отвесив низкий поклон, смело смотрел на нее, как умеют смотреть только правда и невинность.

– Боже всемогущий! – воскликнула королева. – Сколь тяжкое бремя снял ты с наших плеч, милостивый пан. Даст бог, это будет началом перемены в нашей судьбе. Так ты был под Ченстоховой, едешь прямо оттуда?

– Не под Ченстоховой он был, а в самом монастыре, он один из защитников! –

воскликнул король. – Бесценный гость. Вот бы каждый день таких! Дайте же, однако, ему слово сказать! Рассказывай, брат, рассказывай, как вы оборонялись и как хранила вас десница господня.

– Истинная правда, ваши величества, только десница господня хранила нас да чудеса пресвятой богородицы, кои мы всякий день зрели своими очами.

Кмициц хотел уже начать свой рассказ, но тут в покой стали входить новые сановники. Пришел папский нунций; затем примас Лещинский; за ним ксендз Выджга, златоуст, он был сперва канцлером королевы, потом епископом варминским, а еще позже примасом. Вместе с ним вошел коронный канцлер Корицинский и француз де Нуайе, придворный королевы; вслед за ними входили один за другим прочие сановники, что не оставили в беде своего государя и предпочли разделить с ним горький хлеб изгнания, но не изменить присяге.

Королю не терпелось узнать новости, и он, то и дело отрываясь от еды, повторял:

– Слушайте, слушайте гостя из Ченстоховы! Добрые вести! Слушайте! Он прямо из Ченстоховы!

Сановники с любопытством устремляли взоры на Кмицица, который стоял, как перед судилищем; но, смелый по натуре, привыкший иметь дело со знатью, не утрашился он при виде стольких вельмож и, когда все они расселись по местам, повел свой рассказ об осаде.

Правда дышала в его словах, и речь была ясной и внятной, как у солдата, который сам все видел, все испытал, все пережил. О ксендзе Кордецком он говорил, как о святом пророке, до небес превозносил Замойского и Чарнецкого, прославлял прочих отцов, никого не пропустил, кроме себя; но защиту святыни приписал одной только пресвятой деве, ее милосердию и чудесам.

В изумлении внимали ему король и сановники.

Архиепископ устремлял горе слезящиеся глаза, ксендз Выджга торопливо переводил слова Кмицица нунцию, другие сановники за голову хватались, слушая гостя, иные молились, бия себя в грудь.

Когда же Кмициц дошел до последних штурмов, когда стал он рассказывать о том, как Миллеру доставили из Кракова тяжелые пушки и среди них кулеврину, перед которой не устояли бы не то что ченстоховские, но никакие стены в мире, стало так тихо, хоть мак сей, и все взоры приковались к его устам.

Но пан Анджей, словно бы задохнувшись, оборвал внезапно речь, ярким румянцем залилось его лицо и брови нахмурились, он поднял голову и гордо промолвил:

– Надо мне теперь о себе слово молвить, хоть и предпочел бы я умолчать... Но коль молвлю я слово, то не похвальбы ради, бог свидетель, и не ради наград, не нужны они мне, ибо высшая награда для меня пролить кровь за королевское величие...

– Говори смело, мы верим тебе! – сказал король. – Что же с этой кулевриной?

– Кулеврина на воздух взлетела! Ночью выкрался я из крепости и взорвал ее порохом!

– О, боже! – воскликнул король.

Тишина наступила после этого, все слушатели замерли в изумлении. Как зачарованные, смотрели они на молодого рыцаря, а он стоял, сверкая очами, с пылающим лицом и гордо поднятой головой. И так ужасен был он в эту минуту, полон такой дикой отваги, что все невольно подумали, что этот человек мог свершить такой подвиг.

– Да, он мог на такое отважиться! – промолвил после минутного молчания примас.

– Как же ты это сделал? – воскликнул король.

Кмициц рассказал все как было.

– Ушам своим не верю! – воскликнул канцлер Корицинский.

– Милостивые паны, – торжественно промолвил король, – не знали мы, кто перед нами! Жива еще надежда, что не погибла Речь Посполитая, коль родит она таких рыцарей и граждан.

– Он может сказать о себе: «*Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae!*»[6] – сказал ксендз Выджга, который любил по всякому поводу цитировать древних авторов.

– Прямо не верится! – снова вмешался в разговор канцлер. – Скажи же нам, рыцарь, как спас ты жизнь свою и как пробился сквозь шведов?

– Гром оглушил меня, – ответил Кмициц, – и только на следующий день нашли меня шведы: как труп бездыханный, лежал я у окопа. Суду меня предали, и Миллер приговорил меня к смерти.

– А ты бежал?

– Некий Куклиновский выпросил меня у Миллера; черную злобу таил он против меня и сам хотел со мной расправиться.

– Известный это смутьян и разбойник, слышали мы тут о нем, – сказал каштелян Кшивинский. – Да, да! Это его полк стоит с Миллером под Ченстоховой.

– Он послом приходил в монастырь от Миллера и однажды, когда я провожал его к вратам, стал склонять меня к измене. Я дал ему пощечину и ногами пнул. За это он и взъярился на меня...

– Да этот шляхтич, я вижу, огонь огнем! – воскликнул, развеселясь, король. – Такому поперек дороги не становись! Так Миллер отдал тогда тебя Куклиновскому?

– Да, государь! В пустой риге заперся Куклиновский со мной и с несколькими своими солдатами. Там привязал меня веревками к балке и стал огнем пытать, бок мне опалил.

– О, боже!

– Но тут его к Миллеру позвали, а тем временем пришли трое шляхтичей, солдат его. Они раньше у меня служили, Кемличами звать их.

– И ты бежал с ними. Теперь все ясно! – сказал король.

– Нет, государь. Мы подождали, куда Куклиновский воротится. Я приказал тогда привязать его к той самой балке и сам огнем его пытал, да посильней.

Кмициц снова покраснел, увлекшись воспоминаниями, и глаза его блеснули, как у волка.

Но король, который легко переходил от печали к веселью, от строгости к шутке, хлопнул ладонями по столу и крикнул со смехом:

– Так ему и надо! Так ему и надо! Лучшего такой изменник и не заслужил!

– Я его живым оставил, – сказал Кмициц, – но к утру он, пожалуй, замерз.

– Ишь ты какой, обид не прощаешь! Побольше бы нам таких! – восклицал король, совсем уже развеселясь. – А сам с теми солдатами сюда явился? Как звать их?

– Кемличи, отец и двое сыновей.

– Mater mea de domo Кемличей est[7], – с важностью сказал канцлер королевы, Выджга.

– Видно, есть Кемличи большие и малые, – весело ответил Кмициц, – ну а эти не то что малые, а просто разбойники, но храбрые солдаты и преданы мне.

Канцлер Корыцинский уже некоторое время все что-то шептал на ухо архиепископу гнезненскому.

– Много к нам таких приезжает, – сказал он наконец, – что похвальбы ли, награды ли ради басни тут всякие рассказывают. Вести привозят ложные и нелепые, а наущают их часто враги.

На всех как будто вылили ушат холодной воды. Кмициц побагровел.

– Я, вельможный пан, твоего звания не знаю, – сказал он, – но видно, оно высокое, не хочу я поэтому оскорблять тебя; однако же думаю, нет такого звания, чтобы можно было позволить себе безо всякого повода обвинить шляхтича во лжи.

– Милостивый пан, ты говоришь с великим коронным канцлером! – остановил его Луговский.

Но Кмицица взорвало.

– Тому, кто меня во лжи обвиняет, будь он хоть сам канцлер, я одно скажу: легче во лжи обвинять, нежели голову подставлять под пули, легче воском бумаги припечатывать, нежели собственной кровью запечатлеть верность отчизне!

Но Корыцинский совсем не прогневался, он только сказал:

– Я тебя, пан, во лжи не обвиняю, но коли правда то, что ты говорил, бок у тебя должен быть обожжен.



– Так выйдем, ясновельможный пан канцлер, и я тебе его покажу! – рявкнул Кмициц.

– Нет в том нужды, – возразил король, – мы и так тебе верим!

– Нет, нет, государь! – воскликнул пан Анджей. – Я сам этого хочу и прошу, как милости, дозвожь показать, чтобы никто, хоть самый что ни на есть достойный, не делал из меня лжеца! Плохая была бы мне это награда за муки! Не хочу я награды, хочу, чтобы верили мне, так пусть же Фома Неверующий коснется моих ран!

– Я тебе верю! – сказал король.

– В словах его одна правда, – прибавила Мария Людви́ка. – Я в людях не ошибаюсь.

Но Кмициц и руки сложил с мольбою.

– Ваше величество, пусть же выйдет кто-нибудь со мною, ибо тяжко мне оставаться под подозрением.

– Я выйду, – сказал Тизенгауз, молодой королевский придворный.

С этими словами он повел Кмицица в соседний покой, а по дороге вот что сказал ему:

– Не потому я пошел с тобою, что не верю тебе, нет, я верю, а потому, что хотел поговорить с тобою. Видал я тебя где-то в Литве. Но вот имени твоего не припомню, может статься, мы с тобою были тогда еще подростками.

Кмициц отвернулся, чтобы скрыть внезапное смущение.

– Может, где-нибудь на сеймике. Покойный отец часто брал меня с собою, чтобы присматривался я, как шляхта вершит дела.

– Может статься, что и так... Лицо твое мне знакомо, хоть тогда не было у тебя этого шрама. Но ты смотри, сколь *memoria fragilis est*[8], что-то, мне сдается, что и звали тебя тогда иначе?

– Года все изглаживают в памяти, – ответил пан Анджей.

Тут они вошли в соседний покой. Через минуту Тизенгауз предстал перед лицом короля.

– Как на вертеле его жарили, государь! – сказал он. – Весь бок сожгли!

Когда вернулся и Кмициц, король встал, обнял его и сказал:

– Мы никогда не усомнились бы в том, что ты говоришь правду, и заслуга твоя и страдания не будут забыты.

– В долгу мы перед тобою, – прибавила королева и подала ему руку.

Пан Анджей преклонил колено и почтительно поцеловал руку, а королева, как мать, погладила его по голове.

– Ты уж на пана канцлера не гневайся, – снова сказал король. – Ведь тут у нас и

впрямь немало побывало изменников и вралей, что плели всякие небылицы, а долг канцлера правду publicis[9] показать.

– Что для такого великого человека гнев худародного шляхтича! – ответил пан Анджей. – Да и не посмел бы я роптать на достойного сенатора, что являет пример верности отчизне и любви к ней.

Канцлер добродушно улыбнулся и протянул Кмицицу руку.

– Ну, давай мириться! Ты вон тоже как дерзок на язык, вишь, что мне про воск сказал! Только знай, и Корицынские не только воском бумаги припечатывали, но и кровью не однажды запечатлели верность свою отчизне.

Король совсем развеселился.

– Уж очень нам по сердцу пришелся этот Бабинич, – сказал он сенаторам. – Мало кто был нам так люб. Не отпустим мы тебя больше и, даст бог, в скором времени вместе воротимся в милую отчизну.

– О всепресветлейший король! – в восторге воскликнул Кмициц. – Хоть и сидел я в осаде, однако же от шляхты, от войска, даже от тех, кто служит под начальством Зброжека и Калинского и осаждают Ченстохову, знаю, что все ждут не дождутся того дня и часа, когда ты воротиться. Только явись, государь, и в тот же день Литва, Корона и Русь все, как один человек, грудью встанут за тебя! Шляхта пойдет за тобой, даже подлые холопы пойдут, чтобы со своим государем дать отпор врагу. Войско гетманское рвется в бой против шведов. Знаю я, что и под Ченстохову приезжали от него посланцы, чтобы Зброжека, Калинского и Куклиновского поднять на шведов. Государь, перейди ты сегодня рубеж, и через месяц не останется у нас ни одного шведа, – только явись, только явись, ибо мы там, как овцы без пастыря!

Глаза Кмицица сверкали огнем, когда говорил он эти слова: в страстном порыве он упал посреди залы на колени. Сама отважная и неустрашимая королева, которая давно уговаривала короля вернуться, была захвачена этим порывом.

Обратившись к Яну Казимиру, она сказала решительно и твердо:

– Весь народ говорит устами этого шляхтича!

– Да, да, милостивая королева, мать наша! – воскликнул Кмициц.

Между тем внимание канцлера Корицынского и короля привлекли некоторые слова Кмицица.

– Мы всегда готовы пожертвовать жизнью, – сказал король, – и ждали только, когда раскаются наши подданные.

– Они уже раскаялись, – сказала Мария Людвика.

– *Majestas infracta malis*[10], – с благоговением глядя на нее, произнес ксендз Выджга.

– Важное это дело, – прервал его архиепископ Лещинский. – Ужель и в самом деле посланцы от гетманских войск приезжали под Ченстохову?

– Я это от моих людей знаю, от Кемличей! – ответил пан Анджей. – У Зброжека и Калинского все об этом не таясь говорили и не глядя на Миллера и шведов. Кемличи не сидели в осаде, они с людьми встречались, с солдатами, шляхтой. Я могу привести их, и они сами расскажут, что весь край как котел кипит. Гетманы только по принуждению присоединились к шведам, ибо злой дух вселился в войско, а теперь оно само хочет снова служить своему королю. Шведы грабят и бьют шляхту и духовенство, они глумятся над исконными вольностями, что же удивительного, что всяк только кулаки сжимает да на саблю свирепо поглядывает.

– И у нас были вести от войск, – промолвил король, – и тайные посланцы были, говорили они нам, что все снова хотят служить нам верой и правдой.

– Стало быть, и тут наш гость говорит правду, – заметил канцлер. – Но коль полки шлют друг к другу посланцев, это уже большое дело, стало быть, созрел уже плод, не пропали даром наши труды, все готово, и пришла пора...

– А Конецпольский? – прервал его король. – А многие другие, что все еще стоят на стороне захватчика, в глаза ему умильно засматривают и клянутся в верности?

Все умолкли при этих словах, а король нахмурился вдруг, и как весь свет сразу мрачнеет, когда набежит туча и скроется солнце, так помрачнело его лицо.

Вот что молвил он через минуту:

– Бог зрит наши сердца, он видит, что мы хоть сегодня готовы двинуться в поход и удерживает нас не могущество шведов, но злополучная переменчивость нашего народа, что, подобно Протею, всякий раз новую надевает личину. Можем ли мы поверить, что искренне он раскаялся, что не мнимо его желание, не ложна готовность? Можем ли мы положиться на народ, что предал нас недавно и со столь легким сердцем вступил в союз с захватчиком против собственного короля, против собственной отчизны, против собственных вольностей? Сердце сжимается у нас от муки, стыдно нам за наших подданных! Где в истории можно найти тому примеры? Кто из королей изведаль столько измен и вражды, был так предан народом? Вспомните только, любезные сенаторы, что среди нашего войска, среди тех, кто должен был кровь проливать за нас, мы не были уверены в своей безопасности и – страшно сказать! – боялись даже за свою жизнь. И не из страха перед врагом покинули мы отчизну и принуждены были искать здесь убежища, но дабы наших подданных, наших детей уберечь от страшного злодейства, от цареубийства и отцеубийства.

– Государь! – воскликнул Кмициц. – Тяжко провинился наш народ, грешен он, и справедливо карает его десница господня; но клянусь, не сыскался среди этого народа и, даст бог, вовек не сыщется предатель, который осмелился бы поднять руку на священную особу помазанника божия!

– Ты не веришь этому, ибо сам честен, – возразил король, – но у нас письма есть и свидетельства. Черной неблагодарностью отплатили нам Радзивиллы за благодеяния, которыми мы осыпали их; но хоть и предатель Богуслав, а пробудилась в нем совесть, и он не только не пожелал покуситься на нашу жизнь, но и первый донес нам о том, что на нас готовится умысел.

– Какой умысел? – воскликнул в изумлении Кмициц.

– Он донес нам, – отвечал король, – что сыскался предатель, который за сотню дукатов предложил ему похитить нас и живыми или мертвыми доставить шведам.

Все затрепетали при этих словах, а Кмициц насилу выговорил:

– Кто это был? Кто это был?

– Некий Кмициц, – ответил король.

Кровь бросилась в голову пану Анджею, в глазах у него помутилось, сжав руками виски, он ужасным, неистовым голосом крикнул:

– Это ложь! Князь Богуслав лжет, как пес! Милостивый король, государь мой, не верь этому изменнику! Он с умыслом сделал это, чтобы опозорить своего врага, а тебя утратить, государь! Изменник он! Кмициц не решился бы на такое!

Ноги подкосились у пана Анджея, он пошатнулся. Силы оставили его, изнуренного осадой, ослабевшего после взрыва кулеврины и пытки, которой подверг его Куклиновский, и он без памяти повалился к ногам короля.

Его подняли, и королевский лекарь стал в соседнем покое приводить его в чувство. В толпе сановников понять не могли, отчего слова короля так поразили молодого шляхтича.

– То ли честен он так, что сама мерзость поступка сокрушила его, то ли родич он Кмицицу, – заметил краковский каштелян.

– Надо бы его расспросить, – прибавил канцлер Корицинский. – Они там в Литве все в родстве между собою, как и мы в Короне.

– Государь!! – обратился к Яну Казимиру Тизенгауз. – Я ничего дурного не хочу сказать об этом шляхтиче, избави бог! Но не надо слишком ему доверять. Это верно, что он служил в Ченстохове, бок у него обожжен, чего монахи не могли сделать, ибо, будучи слугами господними, они должны быть милосердны к пленникам и даже к предателям. Но не выходит у меня из головы одна мысль, и не дает мне она поверить ему до конца. Встречал я его когда-то в Литве еще мальчишкой то ли на сеймике, то ли на масленичном гулянье, не помню...

– Ну и что из этого? – спросил король.

– Все мне сдается, что не Бабиничем его звали.

– Не говори глупостей! – прервал его король. – Ты молод и рассеян, просто мог все перепутать. Бабинич он или не Бабинич, почему же мне не верить ему? Искренность и прямоту читаю я в его лице, а сердце у него, видно, золотое. Да я бы самому себе перестал верить, когда бы не поверил солдату, что кровь проливал за нас и отчизну.

– Он более достоин доверия, нежели письмо князя Богуслава, – сказала королева. – Примите во внимание, любезные сенаторы, что в письме нет, может, ни слова правды. Биржанским Радзивиллам, наверно, очень желалось, чтобы мы совсем пали духом, а князь Богуслав, может статься, врага хотел погубить, да и лазейку оставить себе на случай перемены судьбы.

– Когда бы не привык я к тому, что устами твоими, милостивая королева, сама мудрость глаголет, – произнес примас, – я бы удивился пронизательности сих слов,

достойных самого искушенного державного мужа.

– «...curasque gerens, animosque viriles...»[11] – прервал его вполголоса ксендз Выджга.

Воодушевленная этими словами, королева поднялась с кресла и такую сказала речь:

– Не биржанские Радзивиллы смущают меня, ибо еретики они и легко могли внять нашептаниям врага рода человеческого, и не письмо князя Богуслава, что преследует, быть может, корыстные цели. Больше всего терзают мою душу горькие слова короля, господина моего и супруга, о нашем народе. Кто же пощадит его, коли собственный король его осуждает? А меж тем озираю я свет и тщетно себя вопрошаю, где сыщешь другой народ, в коем издревле пребывала бы в чистоте и умножалась слава господня? Тщетно гляжу я, где другой народ, в коем обитала бы такая простота души, где держава, в коей никто и не слыхивал бы о кощунствах столь сатанинских, злодействах столь жестоких и злобе столь непримиримой, коими полны иноземные хроники. Пусть же укажут мне люди, сведущие в истории, другое такое королевство, где бы все короли почил в мире своею смертью. Нет здесь ни ножей, ни отравного зелья, нет протекторов, как у англичев.[12] Правда, государь мой, тяжко провинился этот народ, согрешил по причине легкомыслия и своеволия. Но где же сыщешь народ, что никогда не заблуждался бы, и где сыщешь народ, что так скоро покаялся бы, стал исправлять и искупать свою вину? Люди уже опомнились, бия себя в грудь, они прибегают уже к твоему величию, готовы уже пролить за тебя свою кровь, отдать свою жизнь и свое достояние. Так ужели ты оттолкнешь их? Ужели не простишь кающихся, не поверишь искупающим вину и исправляющимся? Блудным сынам не воротишь отцовской любви? Верь им, государь, ибо тоскуют уже они по тебе, по своей ягеллоновской крови и по отеческим твоим браздам! Поезжай к ним! Я, женщина, не боюсь измены, ибо вижу любовь, ибо вижу сожаление о грехах и покаяние и возрождение королевства, на чей трон ты призван был после отца и брата. И помыслить нельзя о том, что господь может обречь гибели великую Речь Посполитую, в коей пылает свет истинной веры. На краткий час наслал он свой бич, дабы не погубить, но покарать чада свои, и в скором времени защитит их владыка небесный и утешит по отчому своему милосердию. Не пренебрегай же ими, государь, и не страшись довериться сыновней их преданности, ибо только так зло обратится в добро, горе в радость, поражение в победу. С этими словами королева опустила в кресло; очи ее сверкали, грудь волновалась, и все с благоговением взирали на нее, а канцлер Выджга стал читать громовым голосом:

*Nulla sors longa est, dolor et voluptas*

*Invicem cedunt.*

*Ima permutat brevis hora summis...[13]*

Но никто не слушал его, ибо воодушевленная речь отважной королевы отозвалась во всех сердцах. Сам король вскочил с кресла с румянцем на пожелтевшем лице и воскликнул:

– Не потеряно для меня королевство, коль такая у меня королева! Пусть же исполнится воля ее, ибо в пророческом наитии вещала она. Чем скорее выеду я и *inter regna*[14] пребуду, тем лучше!

– Не стану я противиться воле моих повелителей, – произнес торжественно примас, – и отговаривать их от предприятия, в коем опасность таится, но, быть может, и

спасение. Но разумным почел бы я еще раз собраться в Ополе, где пребывает большая часть сенаторов, и выслушать их, ибо они еще лучше и обстоятельней могут обдумать и рассудить все дело.

– Итак, в Ополе! – воскликнул король. – А там в путь, и что бог даст!

– Бог даст счастливое возвращение на родину и победу! – сказала королева.

– Аминь! – сказал примас.

## ГЛАВА XXII

Как раненый вепрь, метался пан Анджей по своему покою. В исступление привела его дьявольская месть Богуслава. Мало того, что князь ушел из его рук, людей ему перебил, едва не лишил жизни его самого, он так его «обесчестил, что под тяжестью такого позора спокон веку не стонал не только никто у них в роду, но ни один поляк.

Были минуты, когда он хотел отказаться ото всего: от славы, которая перед ним открывалась, от королевской службы – и скакать и мстить этому магнату, которого он готов был растерзать живым.

Но как ни бушевал он, как ни ярился, а все на ум ему приходила мысль, что, покуда князь жив, месть не уйдет, лучший же способ, единственное средство разоблачить ложь и показать все бесстыдство взведенной на него клеветы – это королевская служба, ибо, служа своему государю, он может всему миру явить, что не только не умышлял на священную его особу, но что вернее слуги королю не сыскать среди всей шляхты Короны и Литвы.

И все же он скрежетал зубами, кипел досадой, рвал на себе одежду и долго, долго не мог успокоиться. Он тешил себя мыслью о мести. Снова видел он князя в своих руках, памятью отца клялся добыть его, пусть даже ждут его за это муки и смерть. И хоть князь Богуслав был могущественным магнатом, которого нелегко могла настичь месть не то что простого шляхтича, но и самого короля, однако он не спал бы спокойно и не раз содрогнулся бы, когда бы знал неукротимую душу Кмицица и те клятвы, что давал себе молодой рыцарь.

А ведь пан Анджей не знал еще, что князь не только покрыл его позором и отнял у него не одну только честь.

Между тем король, которому сразу очень понравился молодой шляхтич, в тот же день прислал за ним Луговского, а на следующий день повелел ему ехать с собой в Ополе, где сенаторы на своем генеральном собрании должны были держать совет о возвращении короля на родину. Им и впрямь было о чем подумать; коронный маршал прислал еще одно письмо, в котором доносил королю, что страна готова ко всеобщей войне, и просил ускорить возвращение. Кроме того, распространился слух о союзе, который будто бы составили шляхта и войско для защиты короля и отчизны; об этом союзе давно помышляли в Польше, но составился он, как оказалось, несколько позже и назван был Тышовецкой конфедерацией.

А пока все умы были поглощены этими слухами. Сразу же после торжественного богослужения король с сановниками направился на тайный совет, куда с его соизволения был допущен и Кмициц, так как он привез новости из Ченстоховы.

Сановники на совете пустились рассуждать о том, ехать ли королю немедля или

лучше отложить отъезд до той поры, когда войско не на словах, а на деле оставит шведов.

Ян Казимир положил конец всем этим разговорам.

– Не об отъезде моем надлежит держать совет, любезные сенаторы, – сказал он, – и не о том, лучше ли или не лучше еще помедлить, ибо о сем я уже сам посоветовался с господом богом и пресвятой девой. Что бы ни ждало нас, объявляю вам, что в самые ближайшие дни мы непременно уедем. Вам же надлежит, не скупясь на советы, рассудить, как лучше и безопаснее исполнить сие наше намерение.

Всякие высказывались тут сужденья. Одни толковали, что не следует слишком доверять коронному маршалу, который однажды уже поколебался и оказал неповиновение, отвезя короны на сохранение не цесарю, как повелел король, а в Любовлю. «Велики гордыня его и спесь, – говорили сенаторы, – и когда в замке у него будет пребывать сам король, как знать, что он предпримет, чего потребует за помощь и не захочет ли захватить в свои руки всю полноту власти, дабы возвыситься надо всеми и стать протектором не только всей страны, но и короля».

Они советовали Яну Казимиру выждать, когда шведы отступят, а тогда направиться в Ченстохову, где стране ниспослано было благословение господне и откуда началось ее возрождение. Но были сенаторы, которые высказывали совсем иные мысли.

– Ведь шведы еще стоят под Ченстоховой, и хоть велик бог милостию и не взять им ее, но свободного пути туда нет. Все окрестные города в руках шведов. Враг занял Кшепицы, Велюнь, Краков, в приграничной полосе также стоят большие силы. А в горах, на венгерском рубеже, где лежит Любовля, нет других войск, кроме как маршала, и шведы никогда туда не заходили, ибо недостает им на то ни людей, ни отваги. К тому же от Любовли ближе до Руси, которую не захватил враг, и до Львова, который не перестал хранить верность королю, и до татар, которые, по слухам, идут нам на помощь и ждут там решения короля.

– Quod attinet[15] пана маршала, – говорил епископ краковский, – то он со своей гордынею будет тем удовлетворен, что первый примет тебя, государь, в своем Спижском старостве[16] и первый окружит тебя заботами. Власть останется в твоих руках, государь, а пан маршал тем будет утешен, что может оказать тебе столь великие услуги; когда же пожелает он превзойти всех своей верностью, то останется он верен тебе из спеси или из любви, все едино величию твоему немалая от того будет корысть.

Эта мысль достойного и искушенного епископа показалась всем самой справедливой, и было решено, что король направится в Любовлю, а оттуда во Львов или туда, куда укажут обстоятельства.

Советовались сенаторы и о том, на какой день назначить отъезд; но ленчицкий воевода, возвратившийся от цесаря, к которому он был послан с просьбой о помощи, заметил, что лучше точного срока не назначать, предоставив решить дело самому королю, дабы не было огласки и никто не мог предупредить врага о дне отъезда. Постановили только, что король выедет с тремя сотнями отборных драгун под начальством Тизенгауза, который, хоть и молод был еще, однако снискал уже славу великого воителя.

Но едва ли не самой важной была другая часть совета, когда единодушно было принято решение, чтобы после прибытия короля в страну вся власть и военачалие

перешли в его руки, а шляхта, войско и гетманы во всем ему повиновались. Говорили сенаторы и о будущем, и о причинах тех неожиданных бед, что тучей нахлынули на страну и залили всю ее, как потоп. Сам примас признавал, что первая тому причина – смута, отсутствие повиновения и попрание королевской власти и величия.

Его слушали в глубоком молчании, ибо все понимали, что речь идет о судьбах Речи Посполитой и о великих, невиданных переменах, которые могли бы вернуть ей былую мощь и к которым давно стремилась мудрая королева, любившая свою новую родину.

Подобно громам, слетали слова с уст достойного князя церкви, а души слушателей открывались навстречу им, как цветы открываются навстречу солнцу.

– Не против исконных вольностей восстаю я, – говорил примас, – но против своеволия, что своей рукою вонзает нож в сердце отчизны. Поистине забыта уже в нашей стране разница между вольностью и своеволием, и как страданье приносит чрезмерная роскошь, так неволю принесла необузданная вольность. Как далеко зашли вы в своем безумии, граждане преславной Речи Посполитой, коль скоро лишь того почитаете защитником вольности, кто подымает шум, разгоняет сеймы и противится королевской власти не тогда, когда надо, а тогда, когда король стремится спасти отчизну? Дно сундука видно в нашей казне, солдатам мы не платим, и они ищут денег у врага, сеймы, единая опора Речи Посполитой, расходятся, ничего не решив, ибо один своевольник, один злокозненный обыватель может корысти ради помешать совету. Что же это за вольность, которая одному позволяет противостоять всем? Разве эта вольность для одного не неволя для всех? И куда зашли мы с этой вольностью, какие благие *fructa*[17] принесла она? Что один слабый враг, над которым наши предки одержали столько славных побед, теперь *sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem*[18]. Никто не дал ему отпора, изменники еретики помогли ему, и он все захватил, веру преследует, костелы оскверняет, а когда вы толкуете ему о ваших вольностях, он показывает меч! Вот чем кончились ваши сеймики, ваши вето, ваше своеволие и попрание на каждом шагу королевской власти! Короля, прирожденного защитника отчизны, вы сперва лишили сил, а потом стали жаловаться, что он не защищает вас! Вы не хотели своего правленья, а теперь вами правит враг! И кто же, спрашиваю я вас, может помочь нам подняться, кто может вернуть многострадальной Речи Посполитой былой блеск, как не тот, кто, не ведая покоя, отдал ей уже столько сил, когда внутренние распри с казаками раздирали ее, как не тот, кто подвергал свою священную особу таким опасностям, каких в наше время не испытал ни один монарх, как не тот, кто под Зборовом[19], под Берестечком и под Жванцем[20] дрался, как простой солдат, нес ратный труд и нужду терпел, невзирая на свой королевский сап. Так предадимся же сегодня ему, облечем его по примеру древних римлян всей полнотою власти, а сами посоветуемся о том, как в будущем уберечь отчизну от внутреннего врага, от распутства, своеволия, смуты и безнаказанности и должное значенье вернуть власти предрержащей и королевскому величию.

Так говорил примас, и никто слова не сказал против, ибо бедствия и испытания последнего времени переродили слушателей и всем было ясно, что либо королевская власть будет укреплена, либо Речь Посполитая неминуемо погибнет. Стали сенаторы толковать о том, как исполнить советы примаса, а королевская чета жадно и радостно внимала им, особенно королева, которая с давних пор трудилась над тем, чтобы учинить порядок в Речи Посполитой.

Веселый и довольный возвращался король в Глогову; там он призвал к себе нескольких верных офицеров, в их числе и Кмицица, и сказал им:



– Нет моей мочи, совсем истерзался я в этом краю и хоть завтра готов тронуться в путь, а потому призвал я вас, дабы вы, люди военные, искушенные опытом, подумали, как поскорее исполнить наш замысел. Жаль нам терять попусту время, ибо наше присутствие может ускорить всеобщую войну.

– Коль такова твоя воля, государь, – ответил королю Луговский, – чего же тогда мешкать? Чем скорее, тем лучше!

– Покуда не распространился еще слух об отъезде и враг не удвоил бдительности, – прибавил полковник Вольф.

– Враг уже начеку, и на дорогах, где только можно, устроил засады, – сказал Кмициц.

– Как так? – воскликнул король.

– Государь, да ведь твой отъезд, для шведов не новость! Чуть не каждый день по всей Речи Посполитой разносится слух, что ты уже в пути, а то и *inter regna*. Поэтому надо принять все меры предосторожности и пробираться тайком, окольными путями, ведь дороги стерегут разъезды Дугласа.

– Самая лучшая предосторожность – это триста верных драгун, – глядя на Кмицица, сказал Тизенгауз, – и коль скоро государь вверил мне начальство над ними, я доставлю его целым и невредимым, даже если придется потоптать все разъезды Дугласа.

– Доставишь, милостивый пан, коль встретишь разъезд в триста, шестьсот, ну даже в тысячу сабель, но что может случиться, коль наткнешься на большую засаду?

– Я потому о трехстах сказал, – возразил Тизенгауз, – что о трехстах шел разговор. А коль этого мало, можно взять пятьсот, а то и побольше!

– Боже упаси! Чем больше отряд, тем больше шуму! – воскликнул Кмициц.

– Постой! – остановил его король. – Ведь коронный маршал со своими хоругвями выйдет, я думаю, нам навстречу.

– Не выйдет пан маршал нам навстречу, – возразил Кмициц. – Времени он не будет знать, а и будет знать, так мало ли что может случиться в пути и задержать нас, – дело обыкновенное, всего не предусмотреть...

– Вот это речь воина, истинного воина! – сказал король. – Видно, не внове для тебя война.

Кмициц улыбнулся, вспомнив о своих набегах на Хованского. Кто же лучше его мог знать это дело! Кому верней всего было поручить сопровождать короля?

Но Тизенгауз, видно, иного был мнения, он насупил брови и сказал язвительно Кмицицу:

– Что ж, ждем твоего мудрого совета!

Неприятно почувствовал Кмициц в этих словах; устремив взор на Тизенгауза, он

ответил:

– Я так думаю, что нам легче будет проскользнуть, если отряд будет поменьше.

– Как же быть тогда?

– Государь! – сказал Кмициц. – В твоей воле поступить так, как ты пожелаешь; но мне рассудок вот что велит: чтобы отвлечь на себя врага, пан Тизенгауз должен двинуться вперед с драгунами, умышленно разглашая повсюду, что это он сопровождает тебя. Его дело ускользнуть от врага и целым уйти из западни. А через день-другой тронемся мы с небольшим отрядом и с тобой, государь; внимание врага будет отвлечено, и мы легко проберемся до самой Любовли.

Король в восторге захлопал в ладоши.

– Сам бог послал нам этого солдата! – воскликнул он. – Соломон и тот не рассудил бы лучше! Я свое votum[21] всецело отдаю за эту мысль, и быть посему! Они будут ловить короля между драгунами, а король проскользнет у них под самым носом. Право же, лучше ничего не придумаешь!

– Государь, это шутка! – вскричал Тизенгауз.

– Солдатская шутка! – ответил король. – Нет, будь что будет, а я от своего не отступлюсь!

У Кмицица глаза горели, так он был рад своей победе; но Тизенгауз сорвался с места.

– Государь! – сказал он. – Я отказываюсь вести драгун. Пусть их кто-нибудь другой ведет!

– Это почему? – спросил король.

– Государь, коль едешь ты без охраны, коль отдан будешь во власть судьбы, и станешь ее игралищем, и будут грозить тебе всякие беды, то и я хочу состоять при твоей особе, грудью прикрыть тебя в бою и жизнью за тебя пожертвовать.

– Спасибо за благое намерение, – ответил Ян Казимир, – но успокойся, ибо меньше всего мы будем подвергаться опасности, когда поступим так, как советует Бабинич.

– Пусть за эти свои советы пан... Бабинич, или как там его звать, сам отвечает! Может статься, ему только того и надо, чтобы ты, государь, заблудился в горах без охраны... Беру бога и товарищей в свидетели, что я, как мог, отговаривал тебя от этого!

Не успел он кончить, как Кмициц сорвался с места, подскочил к нему и, глядя ему прямо в лицо, спросил:

– Что ты, милостивый пан, хочешь этим сказать?

Но Тизенгауз надменно смерил его взглядом.

– Не тянись, шляхтишка, не тебе со мною тягаться!

На это Кмициц, сверкая очами:

– Как знать, стал ли бы ты тягаться со мною, когда бы...

– Когда бы что? – бросил на него быстрый взгляд Тизенгауз.

– С такими тягался я, что не тебе чета!

Тизенгауз рассмеялся.

– Где ты их сыскал?

– Замолчите! – нахмурился вдруг король. – Не смей затевать тут ссоры!

Ян Казимир внушал всем такое уважение, что оба молодца тотчас притихли, смущенные тем, что невесть чего наговорили друг другу при короле.

– Никто не смеет чваниться перед рыцарем, который взорвал кулеврину и ушел от шведов, – сказал Ян Казимир, – пусть даже его отец жил в застенке; а я вижу, что он не застенковый шляхтич, ибо сокола знает по полету, а кровь по делам. Забудьте о своих обидах. – Тут король обратился к Тизенгаузу: – Коли хочешь, оставайся при нашей особе. Не годится нам тебе в том отказывать. Драгун поведет Вольф или Денгоф. Но и Бабинич останется при нашей особе, и мы последуем его совету, ибо нам этот совет по душе.

– Я умываю руки! – сказал Тизенгауз.

– Только держите все в тайне. Драгунам сегодня же выступить в Рацибор и тотчас рассеять слух, что мы едем с ними. А там быть начеку, ибо не знаем мы, когда пробьет наш час! Тизенгауз, иди и отдай приказ капитану драгун!

Тизенгауз вышел, ломая руки в гневе и обиде, а вслед за ним разошлись и остальные офицеры.

В тот же день по всей Глогове разнесся слух, что его королевское величество, Ян Казимир, уже направился к границам Речи Посполитой. Даже многие вельможи думали, что король в самом деле уехал. Умышленно разосланные гонцы повезли новость в Ополе и на пути, ведущие к границе.

Хоть Тизенгауз и объявил, что умывает руки, однако не почел себя побежденным; как королевский придворный, он всегда имел доступ к монарху; в тот же день, уже после ухода драгун, он предстал перед лицом Яна Казимира, вернее королевской четы, ибо Мария Людвики также при этом присутствовала.

– Явился за приказами, – сказал он. – Когда тронемся в путь?

– Послезавтра еще затемно, – ответил король.

– Много народу поедет?

– Поедешь ты, Бабинич, Луговский с солдатами. Пан каштелян сандомирский также отправляется со мною; я просил его взять поменьше народу, но человек двадцать все-таки у него наберется, солдаты это все верные, стреляные. Да, сопровождать меня хочет еще святейший нунций; его участие придаст важности всему предприятию,

и все, кто верен истинной церкви, будут растроганы. Он не задумался подвергнуть опасности свою священную особу. Ты последи, чтобы было не больше сорока сабель, так советовал Бабинич.

– Государь! – воскликнул Тизенгауз.

– Чего тебе еще?

– На коленях прошу еще об одной милости. Все уже кончено, драгуны ушли, мы едем без охраны, и первый же разъезд может нас захватить. Приклони же слух, государь, к мольбе слуги, который, видит бог, верен тебе, и не полагайся так во всем на этого шляхтича. Ловкий это человек, коль скоро за короткий час сумел вкрасться к тебе в доверие и милость, но...

– Неужто ты уже завидуешь ему? – прервал король Тизенгауза.

– Не завидую я ему, государь, и в прямой измене не хочу его обвинить, но готов поклясться, что не Бабиницем звать его. Почему же скрывает он свое настоящее имя? Почему мнется, когда спросишь, что делал он до Ченстоховы? Почему так настаивал, чтобы драгуны ушли вперед и ты, государь, ехал без охраны?

Ян Казимир, задумавшись, стал, по своему обыкновению, надувать губы.

– Будь тут заговор со шведами, – сказал он наконец, – что значили бы тогда три сотни драгун? Что это за сила и что за защита? Стоило бы только Бабиничу дать знать шведам, посадили бы они по дороге в засаду несколько сотен пехоты и поймали бы нас, как в тенета. Ну ты сам посуди, можно ли тут говорить об измене? Ведь Бабинич наперед должен был бы знать, когда мы выезжаем, и располагать временем, чтобы загодя предупредить в Кракове шведов, а как же может он это сделать, коль мы послезавтра уже трогаемся в путь? Да и не мог он предугадать, что мы последуем его совету, мы ведь могли и тебя послушать, и кого-нибудь другого. Ведь решено было сперва ехать с драгунами, стало быть, изменив решение, мы бы ему все карты спутали, ему снова пришлось бы посылать гонцов к шведам. Тут и спорить не приходится. Да и не настаивал он вовсе на своем, как ты толкуешь, а просто, как все прочие, сказал, что думает. Нет, нет! Правду читаю я в его лице, да и бок у него обожжен, а это свидетельство того, что он готов и пытку снести.

– Государь прав, – неожиданно сказала королева. – Спорить тут не приходится, и совет Бабинича был и остается хорошим.

Тизенгауз по опыту знал, что уж если королева скажет свое слово, короля не переубедишь, так верил он ее уму и проницательности. Молодой шляхтич желал только, чтобы король принял необходимые меры предосторожности.

– Не пристало мне перечить вашим величествам, – ответил он. – Но коль скоро выезжаем мы послезавтра, пусть уж лучше Бабинич не знает об этом до самого отъезда.

– Что ж, так тому и быть! – ответил король.

– А в пути я сам послезавтра за ним, и ежели, избави бог, что случится, не уйдет он живым из моих рук!

– Не будет в том надобности! – возразила королева. – И вот что скажу я тебе: не

ты, не Бабинич, не драгуны и не силы земные будут хранить в дороге короля от беды, измены и вражеской западни, но всевидящее око, что неустанно зрит на пастырей народов и помазанников божиих. Оно будет хранить его, оно его уберезет и благополучно приведет к цели, а в случае нужды такую пошлет ему помощь, что вы с вашей верой в одни только силы земные и представить себе не можете.

– Всепресветлейшая королева, – ответил Тизенгауз, – верю и я, что без воли божьей волос не упадет с головы человека, а что за короля беспокоюсь и потому страшусь изменников, так это не грех.

Мария Людвика милостиво улыбнулась.

– Но ты сразу готов всех заподозрить и бросаешь тень на весь народ, а ведь сам Бабинич говорил, что не сыскался еще в народе такой, кто посягнул бы на жизнь своего короля. Не дивись же, что даже после того, как нас предали с королем и тяжко нарушили присягу в верности нам, я все же говорю тебе, что на столь страшное злодеяние не отважится никто даже из тех, кто сегодня еще служит шведам.

– А письмо князя Богуслава?

– Письмо неправду говорит! – решительно возразила королева. – Коль есть в Речи Посполитой человек, готовый изменить даже королю, так это, пожалуй, только сам князь конюший, ибо он поляк только по названию.

– Короче, не подозревай Бабинича, – сказал король. – Ведь даже с его именем ты что-то путаешь. Можно было бы, конечно, допросить его, но как ему об этом сказать? Как спросить его: «Коль не зовешься ты Бабиничем, то как же звать тебя?» Такой вопрос тяжко может оскорбить честного человека, а я голову даю на отсечение, что он честен.

– Не хотел бы я, государь, такой ценой убедиться в его честности.

– Ну довольно, довольно! Спасибо тебе за заботу. Завтрашний день посвятим молитве и покаянию, а послезавтра в дорогу! В дорогу!

Тизенгауз ушел, вздыхая, и в тот же день в величайшей тайне стал готовиться к отъезду. Даже вельможи, которые должны были сопровождать короля, не все были предупреждены о времени выезда. Слугам только было велено держать коней наготове, так как в самое ближайшее время придется ехать с господами в Рацибор.

Весь следующий день король нигде не показывался, даже в костеле не был, у себя в покое он до самой ночи ниц лежал, постился и молил царя царей о помощи не себе, но Речи Посполитой.

Мария Людвика вместе со своими придворными дамами тоже творила молитвы.

Ночь укрепила силы усталых, и когда еще затемно колокол глоговского костела заблаговестил к утрени, пробил час разлуки.

#### ГЛАВА XXIII

Отряд миновал Рацибор, покормив только там лошадей. Никто не узнал короля, никто не обратил особого внимания на отряд, общее любопытство было привлечено к проехавшим недавно драгунам, среди которых, по слухам, находился польский

монарх.

А меж тем в отряде было около полусотни сабель, так как короля сопровождали сановники, и одних епископов было пять человек, в том числе сам нунций, не побоявшийся разделить с королем тяжести опасного путешествия. Впрочем, в пределах Священной Римской империи дорога никакой опасности не представляла. В Одерберге, недалеко от впадения Ольши в Одру, отряд вступил в пределы Моравии.

День был хмурый, мело так, что в двух десятках шагов нельзя было различить дорогу. Но король был весел и полон надежд, так как имел знамение, которое все сочли за самый добрый знак и тогдашние историки не преминули отметить в своих хрониках. В ту самую минуту, когда король выезжал из Глоговы, перед конем его появилась белая-белая птица и стала виться над головой короля, то уносясь ввышину, то с веселым щебетом и чириканьем падая вниз. Все вспомнили, что такая же птица, но только черная, носилась над королем, когда в свое время он уходил из Варшавы от шведов.

Эта белая пташка была схожа с ласточкой, что еще больше всех удивило, ибо стояла глубокая зима и ласточки не думали еще о прилете. Но все обрадовались, а король в первые дни только и говорил, что об этой пташке, суля себе самое счастливое будущее. В самом начале пути обнаружилось, какой разумный совет дал Кмициц, предложив ехать отдельно от драгун.

В Моравии повсюду рассказывали о недавнем проезде польского короля. Многие твердили, что видели его собственными глазами, в полном вооружении, с мечом в руке и короной на голове. Всевозможные слухи ходили уже и о войске, которое вел он с собой, и число драгун выросло до сказочных размеров. Нашлись такие, что видели чуть не десять тысяч и конца не могли дождаться проходившим мимо шеренгам, коням, людям, знаменам и значкам.

– В пути их, наверно, встретят шведы, – толковали они, – но справится ли враг с такой силой, это как сказать.

– Ну что? – говорил король Тизенгаузу. – Не прав ли был Бабинич?

– Мы еще не дошли до Любвли, государь, – отвечал молодой магнат.

Бабинич был доволен собой и путешествием. Вместе с троими Кемличами он держался обычно впереди королевской свиты, высматривая дорогу, порой же ехал вместе со всеми и развлекал короля рассказами об осаде Ченстоховы, которых Ян Казимир не мог наслушаться. Час от часу больше нравился королю развеселый этот и удалой молодец, похожий на молодого орлика. Время король проводил в молитве, набожных размышлениях о вечной жизни, разговорах о будущей войне и о помощи, которой ждали от цесаря, а то смотрел на рыцарские забавы, которыми воины, сопровождавшие его, старались коротать долгие часы пути. Натура у Яна Казимира была такая, что он легко переходил от строгости к шутке, от тяжких трудов к забавам, и уж если на него находило, веселился напропалую, точно никакие заботы, никакие невзгоды не сокрушали его никогда.

Воины соревновались, кто в чем был искусен: молодые Кемличи, Косьма и Дамиан, потешали короля своей неуклюжестью и великанским ростом да тем, что подковы гнули, как тростинки; за каждую подкову он приказывал давать им по талеру, хоть и пуст был королевский кошелек, ибо все деньги, даже драгоценности и «вено» королевы пошли на войско.

Пан Анджей метал тяжелый топорик; подкинув его так высоко, что он был едва виден, подлетал на своем коне и на лету хватал за рукоять. Король даже в ладоши хлопал.

– Видал я, – говорил он, – как пан Слушка, свояк подканцлера, топорик мечет, но куда ему, он и наполовину этой высоты не метнет.

– У нас в Литве это в обычае, – говорил пан Анджей, – а когда упражняешься сызмальства, так откуда и ловкость берется.

– А откуда у тебя этот рубец через всю щеку? – спросил однажды король, показывая Кмицицу на шрам. – Ишь как тебя саблей полоснули.

– Не от сабли это, а от пули, государь. Стреляли в меня, приставя дуло к самому лицу.

– Враг или свой?

– Свой, но враг, и я еще с ним поквитаюсь; но покуда мы с ним не квиты, не годится мне толковать об этом.

– Так ты лют?

– Не лют я вовсе, государь, ведь вот на голове у меня побольше дыра от сабли, чуть душа из меня вон через нее не вышла; но полоснул меня человек достойный, и не держу я на него обиды.

С этими словами Кмициц снял шапку и показал королю глубокий рубец с заметными беловатыми краями.

– Не стыжусь я этой раны, – сказал он, – потому рубака меня полоснул, что другого такого не сыщешь во всей Речи Посполитой.

– Что же это за рубака такой?

– Пан Володыёвский.

– Господи, да ведь я же его знаю! Он под Збаражем чудеса творил. А потом я был на свадьбе его товарища, Скшетуского, что первый привез мне вести из Збаража. Славные это рыцари. С ними еще один был, так того все войско славил как величайшего из рыцарей. Толстый такой шляхтич, а уж шутник, мы на свадьбе прямо катались со смеху.

– Это пан Заглоба, – сказал Кмициц. – Помню! Он не только храбрец, но и на уловки куда как хитер.

– Что они теперь поделывают, не знаешь?

– Володыёвский у князя виленского воеводы над драгунами начальствовал.

Король нахмурился

– И вместе с князем воеводой служит теперь шведам?

– Он? Шведам? У пана Сапеги он. Я сам видел, как после измены князя воеводы он бросил к его ногам булаву.

– О, доблестный это воитель! – воскликнул король. – От пана Сапеги были у нас вести из Тыкоцина, он осадил там князя воеводу. Дай бог ему счастья! Когда бы все были на него похожи, шведы уже пожелели бы о своем предприятии

Тизенгауз, который слышал весь разговор, неожиданно спросил:

– Так ты, пан, был в Кейданах у Радзивилла?

Кмициц смутился и стал подкидывать свой топорик.

– Был.

– Да оставь ты свой топорик, – продолжал Тизенгауз. – Что же ты подельвал при княжеском дворе?

– Гостем был, – нетерпеливо ответил Кмициц, – и хлеб княжеский ел, покуда не опротивел он мне после измены.

– А почему же ты вместе с другими достойными воителями не ушел к пану Сапеге?

– Обет я дал в Ченстохову отправиться. Ты меня скорее поймешь, коль скажу я тебе, что нашу Острую Брамму московиты захватили.

Тизенгауз покачал головой и губами почмокал, так что король обратил наконец на это внимание и испытующе посмотрел на Кмицица.

Потеряв терпение, тот повернулся к Тизенгаузу и сказал:

– Милостивый пан! Почему я у тебя не выпытываю, где ты был и что делал?

– А ты спроси, – ответил Тизенгауз. – Мне скрывать нечего.

– Да и я не перед судом стою, а коль придется когда-нибудь стать, так не ты будешь моим судьей. Оставь меня в покое, а то как бы у меня терпенье не лопнуло.

С этими словами он так стремительно метнул свой топорик, что тот едва виден стал в вышине; король поднял глаза, следя его полет, и в эту минуту ни о чем не думал, кроме одного, – схватит Бабинич на лету топорик или не схватит.

Бабинич вздыбил коня, подскакал и схватил.

Но Тизенгауз в тот же вечер сказал королю:

– Государь, все меньше и меньше нравится мне этот шляхтич.

– А мне все больше и больше! – надул губы король.

– Слышал я нынче, как один из его слуг назвал его полковником, он только грозно на него поглядел и мигом утихомирил. Что-то тут неладно!



– И мне порой сдается, что не хочет он всего рассказывать, – заметил король, – но его это дело.

– Нет, государь! – с жаром воскликнул Тизенгауз. – Не его это дело, а наше, всей Речи Посполитой! Ведь если он предатель и гибель готовит тебе или неволю, то вместе с тобою погибнут все те, что поднимают сейчас оружие на врага, погибнет вся Речь Посполитая, которую ты один можешь спасти.

– Так я его завтра сам спрошу.

– Дай бог, чтобы был я лжепророком, но ничего хорошего не читаю я в его глазах. Уж очень он проворен, уж очень смел и решителен, а такие люди на все могут отважиться.

Король огорчился.

На следующий день, когда отряд тронулся в путь, он поманил к себе Кмицица.

– Где ты был полковником? – спросил он внезапно.

На минуту воцарилось молчание.

Кмициц боролся с самим собою: он горел желанием соскочить с коня, упасть королю в ноги и, открыв ему всю правду, раз навсегда сбросить со своих плеч бремя, которое он влачил.

Но он снова с ужасом подумал о том, какое страшное впечатление может произвести его имя, особенно после письма князя Богуслава Радзивилла.

Как же он, когда-то правая рука виленского воеводы, он, помогший князю сохранить на своей стороне перевес и разбить непокорные хоругви, он, соучастник измены, заподозренный и обвиненный к тому же в самом страшном злодеянии – в покушении на свободу монарха, – сможет теперь убедить короля, епископов и сенаторов, что он раскаялся, что он переродился, что он кровью искупил свою вину. Чем сможет он доказать, что чисты его помыслы, какие доводы приведет, кроме голых слов?

Преследуют его старые грехи неотступно и неумолимо, как разъяренные псы в чаще преследуют зверя!

Он решил обо всем умолчать.

Но невыносимо мерзко и гадко было ему изворачиваться и лгать. Разве мог он отводить глаза своему государю, которого любил всем сердцем, разве мог он обманывать его всякими баснями?

– Всемиловейший король! – заговорил он после долгого молчания. – Придет время, и, может статься, недолго уж осталось ждать, когда, как ксендзу на исповеди, смогу я открыть тебе всю свою душу. Хочу я, чтоб не голые слова, но дела за меня свидетельствовали, за искренность моих помыслов, за верность мою тебе и любовь. Грешил я, государь, грешил против тебя и отчизны, но мало еще сделал я, чтобы вину свою искупить, и ищу потому такой службы, чтобы легче мне было исправиться. Да и то сказать, кто без греха? Сыщется ли во всей Речи Посполитой хоть один такой, кому не надо бить себя в грудь? Может статься, больше прочих я провинился, но ведь и опомнился раньше. Ни о чем не спрашивай

меня, государь, покуда на нынешней службе меня не испытаешь, не спрашивай, ибо ничего не могу я сказать тебе, дабы не закрыть себе пути к спасению; но бог свидетель и пресвятая дева, владычица наша, что не солгал я, когда говорил тебе, что последнюю каплю крови готов отдать за тебя! – Увлажнились тут слезами глаза пана Анджея, и такая неподдельная скорбь изобразилась на его лице, что оно само было лучшей защитой ему, чем слова. – Видит бог мои помыслы, – продолжал он, – и на суде мне их зачтет. Но коль не веришь ты мне, государь, прогони меня прочь, удалиться вели. Я поодаль поеду вслед за тобой, дабы в трудную минуту явиться, пусть даже без зова, и голову сложить за тебя. И тогда, государь, ты поверишь, что не изменник я, но один из тех слуг, каких немного у тебя даже среди тех, кто на других возводит подозрения.

– Я и сегодня верю тебе, – промолвил король. – Оставайся по-прежнему при нашей особе, не измена говорит твоими устами.

– Спасибо тебе, государь! – сказал Кмициц.

И, придержав коня, вмешался в последние ряды свиты.

Но не одному королю рассказал Тизенгауз о своих подозрениях, и все косо стали поглядывать на Кмицица. Громкий разговор смолкал при его приближении, люди начинали шептаться. Они следили за каждым его движением, взвешивали каждое его слово. Заметил это пан Анджей, и худо стало ему среди них.

Даже король хоть и не отказал ему в доверии, но не глядел уже на него так приветливо, как прежде. Приуныл молодой рыцарь, помрачнел, горькая обида камнем легла на сердце. Привык он в первых рядах красоваться на своем коне, а теперь тащился позади, в сотне шагов, понуря голову и предавшись мрачным мыслям.

Но вот перед всадниками забелели наконец Карпаты. Снег лежал на их склонах, тяжелые громады туч клубились в вершинах, а когда выдавался ясный вечер, горы на закате одевались в пурпур, и глаза слепил нестерпимый блеск, пока во мраке, окутывавшем весь мир, не гасли зори. Глядел Кмициц на эти чудеса природы, которых доселе отроду не видывал, и хоть очень был огорчен, забывал от восторга о своих огорчениях.

С каждым днем все выше и могучей становились горы-исполины. Королевская свита доехала наконец до них и углубилась в ущелья, которые, словно врата, неожиданно открылись перед нею.

– Граница, должно быть, уже недалеко, – с волнением произнес король.

В эту минуту показалась телега, запряженная одной лошадью, которой правил крестьянин. Королевские люди тотчас его остановили.

– Что, мужичок, – спросил Тизенгауз, – мы уже в Польше?

– Вон за той скалою да за речкою цесарская граница, а вы уже на королевской земле.

– Как проехать нам в Живец?

– Прямо езжайте, там дорога будет.

И горец хлестнул лошаденку. Тизенгауз подскакал к стоявшей неподалеку свите.

– Государь, – воскликнул он в восторге, – ты уже *inter regna*, ибо от этой речушки начинаются твои владения!

Король ничего не ответил, только движением руки велел поддержать коня, сам спешился и бросился на колени, воздев руки и устремив к небу глаза.

Видя это, спешились все остальные и последовали его примеру, а король-изгнанник пал ниц на снегу и стал целовать свою землю, такую любимую, такую неблагоприятную, что в минуту невзгоды отказала ему в крове, так что негде ему было приклонить королевскую главу.

Тишина наступила, и лишь вздохи смущали ее.

Вечер был морозный и ясный, пламенели горы и вершины ближних елей; потом они полиловели, и лишь дорога, на которой лежал ниц король, все еще переливалась красками, будто лента алая и золотистая, и блеск струился на короля, епископов и вельмож.

Но вот ветер поднялся на вершинах гор и, неся на крыльях снежные искры, слетел в долину. Ближние ели стали клонить заснеженные свои верхушки и кланяться своему господину и зашумели громко и радостно, словно старую песню запели: «Здравствуй, здравствуй, государь наш милый!»

Тьма уже разлилась в воздухе, когда королевская свита тронулась дальше. За ущельем открылась широкая долина, терявшаяся вдаль. Отблески потухали кругом, лишь в одном месте небо все еще алело.

Король начал читать «Ave Maria»[22], прочие усердно повторяли за ним слова молитвы.

Родная земля, которую они давно не видали, горы, которые окутывала ночь, гаснущие зори, молитва – все это настроило сердца и умы на торжественный лад, и, кончив молиться, в молчании продолжали свой путь король, вельможи и рыцари.

Затем ночь спустилась, только на востоке все больше рдело небо.

– Поедем на эти зори, – молвил король, – странно мне только, что они все еще горят.

Но тут подскакал Кмициц.

– Государь, это пожар! – крикнул он.

Все остановились.

– Как пожар? – удивился король. – А мне сдается, это заря!

– Пожар, пожар! Я не ошибся! – кричал Кмициц.

Уж он-то и впрямь был с этим знаком лучше всех спутников короля.

Сомнений больше не было, над мнимой зарею, то светлея, то снова темнея,

поднималась, клубясь, багровая туча.

– Да не Живец ли это горит? – воскликнул король. – Враг, может, бесчинствует там!

Не успел он кончить, как послышались голоса, и в темноте перед свитой замаячило человек двадцать всадников.

– Стой! Стой! – закричал Тизенгауз.

Те остановились, не зная, что делать.

– Люди! Кто вы такие? – спросили из свиты.

– Свои мы! – раздались голоса. – Свои! Из Живца ноги уносим! Живец шведы жгут, людей убивают!

– Да постоит же, ради бога! Что вы это толкуете? Откуда они там взялись?

– Нашего короля они подстерегали. Тьма их, тьма! Храни его бог и пресвятая дева!

Тизенгауз на минуту совсем потерял голову.

– Вот что значит ехать с небольшим отрядом! – крикнул он Кмицицу. – Чтоб тебя бог убил за твой совет!

Но Ян Казимир начал сам расспрашивать беглецов.

– Где же король? – спросил он у них.

– Король в горы ушел с большим войском, два дня назад проезжал он Живец, ну они его и настигли, – где-то там, под Сухой, бой был. Не знаем мы, захватили они короля, нет ли, но только сегодня под вечер воротились в Живец и жгут, убивают!

– Езжайте, люди, с богом! – сказал Ян Казимир.

Беглецы торопливо миновали свиту.

– Вот что ожидало нас, когда бы мы поехали вместе с драгунами! – воскликнул Кмициц.

– Государь! – обратился к королю епископ Гембицкий. – Впереди враг! Что делать?

Все окружили короля, словно своими телами хотели защитить его от внезапной опасности; но он все глядел на зарево, которое отражалось в его глазах, и молчал; никто не порывался заговорить первым, так трудно было что-нибудь посоветовать.

– Когда покидал я отчизну, светило мне зарево, – промолвил наконец Ян Казимир, – воротился – другое светит...

И снова воцарилось молчание, только было оно еще дольше.

– Кто может дать совет? – спросил наконец епископ Гембицкий.

Тут раздался голос Тизенгауза, звучавший горькой насмешкой:

– Пусть же тот даст теперь совет, кто не задумался подвергнуть опасности особу короля, кто уговаривал его ехать без охраны!

В эту минуту из круга выехал всадник, это был Кмициц.

– Ну, что ж! – сказал он.

И, привстав в стременах, повернулся к стоявшей неподалеку челяди и крикнул:

– Кемличи, за мной!

И пустил коня вскачь, а за ним во весь дух понеслись три всадника.

Крик отчаяния вырвался из груди Тизенгауза.

– Это заговор! – сказал он. – Изменники дадут знать врагу! Спасайся, государь, покуда есть еще время, ибо шведы скоро закроют выход из ущелья! Спасайся, государь! Назад! Назад!

Но Ян Казимир потерял терпение, глаза его сверкнули, он выхватил внезапно шпагу из ножен и крикнул:

– Уйти еще раз со своей земли, да боже упаси! Будь что будет, с меня довольно!

И он вздыбил шпорами коня, чтобы тронуться вперед; но сам нунций схватил коня за узду.

– Государь, – сказал он сурово, – судьбы отчизны и католической церкви в твоих руках, и не волен ты подвергать себя опасности.

– Не волен! – повторили епископы.

– Клянусь богом, не ворочусь я в Силезию! – ответил Ян Казимир.

– Государь! Выслушай просьбу твоих подданных! – сложил с мольбою руки сандомирский каштелян. – Коль не хочешь ты воротиться в цесарские земли, так хоть отсюда надо уйти, проехать к венгерской границе или вернуться назад, чтобы нам не перерезали путь. У выхода из ущелья мы и подождем. Придет враг, одна тогда надежда на коней останется, но хоть не запрет он нас, как в мышеловке.

– Что ж, быть по-вашему! – смягчился король. – Не презираю я разумного совета, но по чужим землям скитаться больше не стану. Коли там нельзя будет пробиться, пробьемся в другом месте. И потом, я все-таки думаю, что зря вы пугаетесь. Коль скоро шведы искали нас среди драгун, как рассказывали эти люди из Живца, стало быть, не знают они о нас, и никакой измены, никакого заговора не было. Поймите же это, ведь вы люди опытные. Не стали бы шведы трогать драгун, выстрела бы по ним не дали, когда бы им донесли, что мы едем вслед за драгунами. Успокойтесь же! Бабинич разведать поехал со своими людьми и, наверно, скоро воротится.

С этими словами король повернул коня назад, к ущелью, за ним последовали его спутники. Они остановились там, где проезжий горец показал им границу.

Прошло четверть часа, полчаса, час.

– Вы замечаете, – промолвил вдруг ленчицкий воевода, – что зарево становится меньше?

– Гаснет, гаснет на глазах, – раздался голоса.

– Это добрый знак, – заметил король.

– Возьму я человек двадцать и проеду вперед, – сказал Тизенгауз. – Мы остановимся в полуверсте от того места, где стояли, и, коль шведы станут подступать, будем задерживать их, покуда костями не ляжем. У вас хоть будет время подумать о том, как спасти его величество.

– Оставайся со всеми! – приказал король. – Я запрещаю тебе ехать!

– Государь, велишь потом расстрелять меня за ослушание, а сейчас я поеду, ведь в опасности твоя жизнь!

И, кликнув десятка два надежных солдат, он тронулся с ними вперед.

Они остановились у выхода в долину и стояли тихо, держа наготове ружья и прислушиваясь к малейшему шороху.

Долго ждали они в молчании, наконец до слуха их долетел скрип снега под копытами лошадей.

– Едут! – шепнул один из солдат.

– Не отряд что вовсе, лошадей, слышь, немного, – подхватил другой. Пан Бабинич едет!

Между тем всадники приблизились в темноте, они были уже в нескольких десятках шагов.

– Кто там? – крикнул Тизенгауз.

– Свои! Не стрелять! – раздался голос Кмицица.

В ту же минуту он появился перед Тизенгаузом и, не узнав его в темноте, спросил:

– Где же король?

– Там, позади, у входа в ущелье! – ответил, успокоившись, Тизенгауз.

– Кто это говорит? Не разгляжу впотьмах.

– Тизенгауз! А что это за штука большая такая перед седлом у тебя?

С этими словами он показал Кмицицу на темный предмет, переброшенный через седло.

Но пан Анджей ничего не ответил, проехал мимо. Доскакав до королевской свиты, он узнал короля, так как у входа в ущелье было гораздо светлей.

– Государь! – крикнул он. – Путь свободен!

– Шведов уже нет в Живце?

– Они отошли к Вадовицам. Это был отряд немецких наемников. Да вот один из них тут у меня, допроси его сам, государь!

И пан Анджей неожиданно с такой силой швырнул наземь переброшенный через седло предмет, что стон пошел в ночной темноте.

– Что это? – удивился король.

– Это? Рейтар!

– Господи! Да ты и языка привез? Как же ты его добыл? Рассказывай!

– Государь! Когда ночью волк крадется за отарой овец, одну овцу ему легко унести. Да сказать по правде, не впервой это мне.

Король руками развел.

– Вот это солдат так солдат! Нет, вы только подумайте! Да с такими слугами я могу хоть в самую гущу шведов ехать!

Тем временем все окружили рейтара, который не поднимался с земли.

– Допроси его, государь, – не без кичливости сказал Кмициц. – Хоть не знаю я, сможет ли он отвечать, придушили мы его немного, да и попытать тут его нечем.

– Влейте ему горелки в глотку, – приказал король.

Это лекарство лучше всякого огня помогло, рейтар мигом пришел в себя и обрел дар речи. Прижав ему к горлу острие рапиры, Кмициц велел говорить чистую правду.

Пленник показал, что он состоит в полку полковника Ирлегорна, что они узнали о проезде короля и напали на драгун под Сухой, но, получив сокрушительный отпор, вынуждены были отступить в Живец, а уж оттуда, согласно полученному приказу, направились на Вадовицы и Краков.

– А в горах нет других шведских отрядов? – спрашивал по-немецки Кмициц, сильнее прижимая острие к горлу рейтара.

– Может, и есть, – прерывистым голосом отвечал рейтар. – Генерал Дуглас разослал повсюду разъезды, но все они отступают, на них в ущельях нападают мужики.

– А под Живцем вы одни были?

– Одни.

– И вы знаете, что польский король уже проехал?

– Он проехал с теми драгунами, что столкнулись с нами в Сухой. Мы его видали.

– Почему же вы его не преследовали?

– Горцев боялись.

Кмициц обратился к королю на польском языке:

– Государь, путь свободен, да и ночлег в Живце найдется, шведы сожгли только часть домов.

Но Тизенгауз, человек недоверчивый, вот что говорил в это время войницкому каштеляну:

– Либо великий он воитель с сердцем чистым, как золото, либо коварнейший изменник. Ведь с этим языком, вельможный пан, может случиться, все одно притворство, начавши с того, что достал он будто бы его, и кончая этим допросом. А что, если все это подстроено? Что, если шведы притаились в Живце? Что, если король поедет туда и попадет в западню?

– Оно бы лучше проверить, – промолвил войницкий каштелян.

Тизенгауз повернулся к королю и громко сказал:

– Позволь мне, государь, сперва съездить в Живец и проверить, правду ли говорят пан Бабинич и этот немец

– Ну, что ж! Позволь ему съездить, государь! – воскликнул Кмициц.

– Поезжай, – приказал король, – но мы тоже потихоньку тронемся, а то холодно.

Тизенгауз помчался во весь опор, а королевская свита стала медленно подвигаться за ним. Король повеселел, снова был в хорошем расположении духа и через некоторое время сказал Кмицицу:

– С тобой, как с соколом, можно на шведов охотиться, бьешь на лету!

– Так оно и было, – ответил пан Анджей. – Коль пожелаешь, государь, поохотиться, сокол всегда готов.

– Расскажи, как ты его достал?

– Пустое это дело, государь! В походе человек двадцать всегда плетется в хвосте, а этот отстал на добрую сотню шагов. Подъехал я поближе, а он думал, это свой, не поостерегся, ну, ахнуть не успел, как я его схватил, зажавши рот, чтоб не кричал.

– Ты говорил, не впервой тебе это. Неужто и раньше случалось?

Кмициц рассмеялся.

– Э, государь, и не такое бывало! Ты только прикажи, я снова подскочу, догоню их, – кони-то у них притомились, – и еще одного достану, да и Кемличам прикажу схватить.

Некоторое время они ехали в молчании; но вот раздался конский топот, и к ним



подскакал Тизенгауз.

– Государь! – сказал он. – Путь свободен, и ночлег готов.

– Ну не говорил ли я?! – воскликнул Ян Казимир. – Зря вы все растрожились! А теперь едем, едем, пора уж нам и отдохнуть!

Все весело тронулись резвой рысью, и через час усталый король уснул мирным сном на собственной земле.

В тот же вечер Тизенгауз подошел к Кмицицу.

– Ты уж меня прости, – сказал он, – я ведь от любви к королю тебя подозревал.

Но Кмициц не подал ему руки.

– Нет, нет! – ответил он. – Изменником и предателем ты выставял меня.

– Я бы и не то сделал, просто пулю в лоб тебе пустил бы, – ответил ему Тизенгауз. – Но уверился я, что ты человек честный и любишь короля, вот и подаю тебе руку. Хочешь, подай и ты мне свою руку, не хочешь, не надо! Соперничать с тобою я бы хотел только в любви к королю. Но и в другом не побоюсь стать твоим соперником.

– Вот ты как думаешь! Гм! Может статься, ты и прав. Да вот беда, сердит я на тебя.

– Так перестань сердиться. Прямой ты богатырь! Ну давай поцелуемся, чтоб ко сну не отойти с ненавистью в сердце.

– Ин быть по-твоему! – сказал Кмициц.

И они упали друг другу в объятия.

#### ГЛАВА XXIV

Король со свитой добрался до Живца поздней ночью и в местечке, перепуганном недавним налетом шведов, отряд почти совсем не привлек к себе внимания. В замок, давно уже разоренный и полусожженный шведами, король не стал заезжать, остановился у местного ксендза. Кмициц пустил слух, что это посол цесаря следует из Силезии в Краков.

На другой день отряд направился к Вадовицам и, только отъехав довольно далеко от Живца, свернул на Сухую. Оттуда он должен был проехать через Кшечонов до Иорданова, затем до Нового Тарга и дальше до самого Чорштына, если только в окрестностях его не окажется шведских разъездов; если же они окажутся в Чорштыне, решено было свернуть в Венгрию и по венгерской земле добираться до самой Любовли. Король надеялся, что великий коронный маршал, располагавший такими силами, каких не было и у иного владетельного князя, обезопасит дороги и сам выедет ему навстречу. Одно только могло помешать маршалу: он не знал, по какой дороге поедет король; но среди горцев было немало верных людей, которые всегда были готовы доставить ему секретные слова. Их и в тайну не надо было бы посвящать, стоило только сказать, что речь идет о службе королю, и они охотно пошли бы. Парод этот душой и телом был предан королю; бедный, полудикий, совсем почти не возделывавший своей тощей земли и живший скотоводством, он был, однако,

набожен и ненавидел еретиков. Когда разнесся слух о взятии Кракова и осаде Ченстоховы, куда горцы обычно хаживали на богомолье, они первые схватились за длинные рукояти своих топориков и двинулись с гор. Правда, генерал Дуглас, прославленный воитель, у которого были и пушки и ружья, легко рассеял их на равнине, где они не привыкли сражаться, но сами шведы с большой опаской отваживались заходить в их горные селенья, где настичь их было немислимо, зато легко было потерпеть поражение. Несколько небольших отрядов, рискнувших неосмотрительно углубиться в лабиринт горных ущелий, исчезли без следа.

И теперь весть о проезде короля с войском сделала свое дело: все горцы, как один, поднялись на его защиту, положив сопровождать его со своими топориками хоть на край света. Если бы только Ян Казимир открыл им, кто он, его в одну минуту окружили бы тысячи полудиких «газд»[23], но он справедливо рассудил, что молва об этом тотчас разнесется по всей округе и шведы могут послать навстречу ему крупные силы, а потому предпочел пробираться вперед, не узнанный даже горцами.

Однако отряд везде находил надежных проводников, которым довольно было сказать, что вести надо епископов и панов, бегущих от мести шведов. Через снега и скалы, стремнины и перевалы вели горцы отряд им одним известными тропами, такими крутыми и недоступными, что, казалось, и птица не пролетит.

Не однажды лежали тучи у ног короля и вельмож, а если небосвод был безоблачен, их взор устремлялся в безбрежный, одетый снежной пеленою простор, казалось, такой же широкий, как широка была вся страна; не однажды углублялись они в заметные снегами, темные ущелья, где разве только дикий зверь мог найти приют. Но они обходили таким образом места, доступные врагу, и сокращали свой путь; случалось, селенье, до которого они думали дойти разве через полдня, выросло внезапно у их ног, а там, пусть в курной хате, пусть в черной избенке, ждали их приют и отдых.

Король был по-прежнему весел, ободрял других, чтобы легче было им переносить небывалые тяжести путешествия, и ручался, что, пробиваясь вперед по таким дорогам, они наверняка столь же благополучно, сколь и нежданно доедут до Любовли.

– Пан маршал и не чаает, а мы нагрянем как снег на голову, – повторял он.

А нунций говорил:

– Что значит возвращение Ксенофонта по сравнению с нашим странствием в тучах?

– Чем выше мы поднимемся, тем ниже упадет шведское счастье, – твердил король.

Тем временем они доехали до Нового Тарга. Казалось, все опасности уже позади; но горцы твердили, что какое-то чужое войско рыщет в окрестностях Чорштына. Король подумал, что это, может, немецкие наемники коронного маршала, у которого было два рейтарских полка, а может, горцы принимают за вражеский разъезд и собственных его драгун, высланных вперед? В Чорштыне стоял гарнизон краковского епископа, и голоса поэтому разделились: одни хотели ехать по большой дороге до Чорштына, а оттуда вдоль самой границы пробираться до Спижской земли: другие же советовали все-таки свернуть в Венгрию, которая вдавалась тут клином в польские земли, доходя до самого Нового Тарга, и снова пробираться по скалам и ущельям с проводниками, которые знали даже самые опасные перевалы.

Победили последние, ибо в этом случае почти исключалась возможность встречи со шведами, да и королю нравилась «орлиная» тропа сквозь тучи и пропасти.

Выйдя из Нового Тарга, отряд отклонился несколько на юго-запад, оставив по правую руку Белый Дунаец. Сперва дорога шла по довольно открытой и широкой местности, но по мере того, как отряд подвигался вперед, горы все сходились и долины становились все тесней. Лошади едва подвигались вперед. Порою приходилось спешиваться и вести их под уздцы, но и тогда они упирались, прядали ушами, раздували дымящие храпы и вытягивали шеи к пропастям, откуда, казалось, глядела сама смерть.

Горцам, привычным к крутизне, часто казались хорошими такие тропы, где у людей непривычных все плыло перед глазами и шумело в голове. Отряд вступил наконец в скалистое ущелье, длинное, прямое и такое узкое, что три человека с трудом ехали рядом.

Как бесконечный коридор, тянулось это ущелье. Две высокие горы поднимались справа и слева. Кое-где гребни их как бы расступались, и склоны, занесенные сугробами, окаймленные вверху темным бором, уже не были так круты. Ветром вымело снег со дна этой стремнины, и конские копыта цокали по каменистому ложу. Но в эту минуту ветра не было и такая немая царила тишина, что от нее звенело в ушах. Только в вышине, там, где между лесистыми гребнями проглядывала синяя полоса неба, порою с криком пролетали, хлопая крыльями, черные птицы.

Отряд остановился на отдых. Пар шел от потных коней, да и люди были утомлены.

– Это Польша или Венгрия? – спросил через минуту король у проводника.

– Это еще Польша.

– А почему мы не свернули сразу в Венгрию?

– Нельзя. Подальше будет поворот, потом водопад, а уж за водопадом тропа выведет нас на большую дорогу. Там мы свернем, пройдем еще одно ущелье, и тогда уж будет венгерская сторона.

– Вижу я, лучше было нам сразу поехать по большой дороге, – сказал король.

– Тише! – крикнул внезапно горец.

И, подскакав к скале, приложил к ней ухо.

Все впились в него глазами, он же мгновенно переменился в лице.

– За поворотом войско идет от потока. Боже! Уж не шведы ли? – воскликнул он.

– Где? Как? Откуда? – посыпались со всех сторон вопросы. – Ничего не слышно!

– Там снег лежит. Господи! Да они уж близко! Вот-вот покажутся!

– А может, это люди пана маршала? – произнес король.

Кмициц в ту же минуту тронул коня.

– Поеду погляжу! – сказал он.

Кемличи с места взяли за ним, как охотничьи собаки за ловцом; но не успели они тронуть лошадей, как на повороте, в сотне шагов, показались всадники.

Кмициц поглядел... и затрепетал от ужаса.

Это были шведы.

Они появились так близко, что отступить было поздно, тем более что кони королевской свиты уже притомились. Оставалось только либо пробиться, либо погибнуть или сдаться в плен. Мгновенно понял это отважный король и схватился за рукоять шпаги.

– Прикрыть короля и назад! – крикнул Кмициц.

Тизенгауз с двумя десятками людей мигом вынесся вперед; но Кмициц вместо того, чтобы присоединиться к ним, мелкой рысцой тронулся навстречу шведам.

На нем был тот самый шведский мундир, который он надел, уходя из монастыря, поэтому шведы не догадались, кто он. Увидев, что навстречу подвигается всадник в таком наряде, они, верно, весь отряд приняли за шведский разъезд и не прибавили шагу, только капитан, который вел их, выехал вперед.

– Что за люди? – спросил он по-шведски, глядя на грозное и бледное лицо приближающегося рыцаря.

Кмициц наехал на него, так что они чуть не тронули друг друга коленями, и, не ответив ни слова, выпалил ему в самое ухо из пистолета.

Крик ужаса вырвался из груди рейтар, но его заглушил голос пана Анджея:

– Бей!

И как обвал, сорвавшись с горы и катясь в пропасть, крушит все на своем пути, так обрушился он на первую шеренгу, смерть неся врагу и гибель. Два молодых Кемлича, словно два медведя, ринулись вслед за ним в свалку. Как молоты, застучали их сабли по шлемам и панцирям, и в ответ тотчас раздались стоны и крики.

В первую минуту испуганным шведам показалось, что это три великана напали на них в диком горном ущелье. Первые тройки отпрянули в замешательстве от грозного рыцаря, а так как последние шеренги только выезжали из-за поворота, середина отряда была расстроена и смята. Кони кусались и становились на дыбы. Солдаты из дальних троек не могли стрелять, не могли прийти на помощь передним, погибавшим под беспощадными ударами трех великанов. Напрасно пытались они сомкнуть ряды, напрасно наставляли острия, – великаны ломали сабли, опрокидывали людей и лошадей. Кмициц вздыбил своего коня так, что копыта его повисли над головами рейтарских скакунов, а сам в неистовстве рубил, колот. Кровь залила ему лицо, глаза сверкали, все мысли в нем погасли, осталась только одна, что погибнет он, но шведов задержит. В диком порыве силы его утроились, движения стали подобны движениям рыси, неистовы, молниеносны. Нечеловеческими ударами сабли крушил он людей, как буря крушит деревца. Молодые Кемличи шли следом за ним, а старик,

поотстав, то и дело совал между сыновьями рапиру, быстро, как змея высовывает жало, и выдергивал ее окровавленную.

Тем временем суматоха поднялась около короля. Как и под Живцем, нунций держал за повод его коня, за другой повод схватился краковский епископ, и они изо всей силы тянули скакуна назад, а король шпорами посылал его вперед, так что конь вставал на дыбы.

– Пустите! – кричал король. – Ради бога, пустите! Мы прорвемся!

– Король, подумай об отчизне, – кричал краковский епископ.

И Ян Казимир не мог вырваться из их рук, тем более что впереди дорогу ему преграждал молодой Тизенгауз со всеми своими людьми. Он не пошел на помощь Кмицицу, решил пожертвовать им, только бы спасти короля.

– Ради Христа! – кричал он в отчаянии. – Те полягут сейчас! Спасайся, государь, покуда есть еще время! Я шведов тут задержу!

Но король был упрям и в гневе ни с кем и ни с чем не считался. Еще сильнее вздыбив шпорами скакуна, он не пятился назад, а, напротив, подвигался вперед.

Время между тем уходило, и каждая минута промедления была смерти подобна.

– Я хочу погибнуть на своей земле! Пустите! – кричал король.

К счастью, по причине тесноты лишь немногие шведы могли сшибаться с Кмицицем и Кемличами, и те все еще держались. Но силы их слабели. Уже несколько рапир вонзилось в Кмицица, он истекал кровью. Глаза его застилал туман. Дыхание замирало в груди. Он почувствовал приближение смерти и хотел только дорожке продать свою жизнь. «Ну же еще хоть одного!» – повторял он про себя и обрушивал острое железо на голову или плечо ближайшего рейтара и снова поворачивался к другому. А шведам, видно, после первых минут испуга и замешательства стыдно стало, что четыре человека так долго сдерживают их натиск, и они навалились с яростью; одним напором отбросили они храбрецов и теснили их все стремительнее и сильнее.

Но тут конь Кмицица пал, и волна накрыла всадника.

Кемличи еще некоторое время бросались на шведов, подобно пловцам, которые, видя, что тонут, селятся все же держать голову над морской хлябью; но вскоре и они погрузились в пучину...

Тогда шведы вихрем понеслись к королевской свите.

Тизенгауз со своими людьми бросился на них, и они сшиблись так, что гром прокатился по горам.

Но что могла значить горсточка Тизенгауза против сильного разъезда, насчитывавшего около трехсот сабель!

Сомнений больше не было: час гибели или плена неминуемо пробьет для короля и его свиты.

Предпочтя, видно, гибель, Ян Казимир высвободил наконец поводья из рук епископов и поскакал к Тизенгаузу.

Внезапно он остановился как вкопанный.

Случилось нечто необычайное. Казалось, сами горы пришли на помощь законному королю и государю.

Неожиданно сотряслись стены ущелья, словно заколебалась земля, словно бор, росший в вышине, пожелал принять участие в бою, и стволы деревьев, льдины и снежные глыбы, камни и обломки скал с ужасающим треском и грохотом покатались на шведские шеренги, зажатые на дне стремнины, и в ту же минуту нечеловеческий вой раздался в вышине с обеих сторон ущелья.

Внизу, во вражеских рядах, смятение поднялось неопишное. Шведам показалось, что это горы обрушились и валятся на них. Послышались стоны и вопли раздавленных, отчаянные крики о помощи, визг лошадей, грохот и пронзительный звон скальных обломков от ударов о панцири.

В тесную кучу смешались наконец и покатались люди и кони, обезумев от ужаса, стоная и давя друг друга.

И всё крушили их камни и обломки скал, неумолимо валясь на бесформенную уже груды тел.

– Горцы! Горцы! – закричали в королевской свите.

– В топоры их, собачьих детей! – слышались голоса сверху.

И в ту же минуту на гребнях скал показались длинноволосые головы в круглых кожаных шляпах, затем корпуса, и сотни странных фигур ринулись вниз по заснеженным склонам.

Темные и белые бурки, поднимаясь на плечах, придавали им сходство со страшными хищными птицами. В мгновение ока сбегали они со склона; свист топориков зловеще вторил теперь диким их крикам и стонам добываемых шведов. Сам король хотел остановить резню, немногие, оставшиеся в живых рейтары падали на колени и, поднимая безоружные руки, молили о пощаде. Ничто не помогло, ничто не удержало мстительных топоров, и спустя час в ущелье не осталось ни одного живого шведа.

Неумолимые горцы побежали тогда к королевской свите.

С изумлением глядел нунций на этих неведомых ему людей, рослых, сильных, одетых порой одними овечьими шкурами, залитых кровью и потрясающих своими еще дымящими топориками.

При виде епископов горцы обнажили головы. Многие встали на снегу на колени.

Краковский епископ возвел горе увлажнившиеся слезами глаза.

– Вот помощь, ниспосланная богом, вот промысл господень, хранящий короля – Затем он обратился к горцам и спросил: – Кто вы такие?

– Мы здешние! – ответили в толпе.

– Знаете ли вы, кому пришли на помощь? Вот король чаш и повелитель, которого вы спасли!

Крик поднялся в толпе при этих словах: «Король! Король! Господи Иисусе! Король!» Верные горцы стали тесниться, пробиваясь к королю. Со слезами окружили они его, со слезами целовали ему ноги, стремяна, даже копыта его коня. Такая буря восторга поднялась, такой крик и рыдания, что епископы, опасаясь за королевскую особу, принуждены были укротить порыв горцев.

А король стоял среди верного своего люда, как пастырь среди овец, и крупные, светлые, как жемчуг, слезы катились по его лицу.

Но вот лицо его прояснилось, словно какая-то перемена внезапно произошла в его душе, словно новая мысль, рожденная самим небом, блеснула в его уме, и он манием руки показал, что хочет говорить, а когда все затихли, сказал громовым голосом, так что вся толпа услышала его:

– Боже, руками простых людей спасение мне ниспославший, клянусь тебе страстями и смертью сына твоего, что отныне я им буду отцом!

– Аминь! – повторили епископы.

И некоторое время длилось торжественное молчание, потом раздался новый взрыв радости. Все стали расспрашивать горцев, откуда взялись они в этом ущелье, как посчастливилось им в самую пору прийти на помощь королю.

Оказалось, крупные разезды шведов рыскали подле Чорштына и, не занимая замка, все как будто кого-то искали и выжидали. Слыхали горцы и о том, что шведы дали бой какому-то войску, в котором будто бы находился сам король. Тогда-то и положили они заманить шведов в засаду, подослали им своих проводников, и те умышленно завлекли шведский отряд в это ущелье.

– Мы видели, – рассказывали горцы, – как четыре рыцаря ударили на этих псов, хотели на помощь прийти, да побоялись прежде времени спугнуть собачьих детей

Тут король схватился за голову

– Мать божия! – крикнул он. – Найти мне Бабинича! Надо хоть похоронить его с честью! И этого человека, первым пролившего за нас кровь, почитали изменником!

– Виноват, государь! – сказал Тизенгауз.

– Найти, найти его! – кричал король. – Я не уеду отсюда, покуда не взгляну в его лицо и не прощусь с ним!

Солдаты бросились с горцами туда, где завязался бой, и вскоре из-под груды конских и человеческих трупов извлекли пана Анджея. Лицо его было бледно и все залито кровью, сгустки застыли на усах, глаза были закрыты; панцирь весь искорежен ударами мечей и копыт. Но он-то и спас молодого рыцаря, не дал его растоптать. Солдат, который поднял пана Анджея, услышал тихий стон.

– Боже! Да он жив! – воскликнул он.

– Снять с него панцирь! – закричали другие.

Тотчас перерезали ремни.

Кмициц вздохнул глубже.

– Дышит! Дышит! Жив! – повторило несколько голосов.

Некоторое время пан Анджей лежал недвижимо, затем открыл глаза. Тотчас один из солдат влил ему в рот немного водки, другие приподняли его за плечи.

В эту минуту подскакал сам король, до слуха которого донесся общий крик.

Солдаты подтащили к нему пана Анджея, который валился у них из рук. Однако при виде короля память на мгновение вернулась к нему, детская улыбка озарила его лицо, и бледные губы явственно прошептали:

– Государь, король мой, ты жив... ты свободен...

И слезы блеснули у него на ресницах.

– Бабинич! Бабинич! Чем вознагражу я тебя! – кричал король.

– Я не Ба-би-нич, я Кми-циц! – прошептал рыцарь.

И с этими словами как мертвый повис на руках у солдат.

## ГЛАВА XXV

Горцы заверили короля, что на дороге в Чорштынский замок не слышно больше ни о каких шведских разъездах, и королевская свита, свернув к этому замку, вскоре выехала на большую дорогу, где путешествие не было уже таким тяжелым и утомительным. Ехали под песни горцев, при кликах: «Король едет! Король едет!» По дороге к ним присоединялись все новые толпы, вооруженные цепями, косами, вилами и ружьями, так что вскоре Ян Казимир выступал уже во главе крупного отряда; не беда, что люди были необученные, зато они готовы были в любую минуту двинуться с ним на Краков и пролить за него свою кровь. Под Чорштыном короля окружало уже свыше тысячи «газд» и полудиких пастухов.

Стали прибывать и шляхтичи из Нового и Старого Сонча. Они донесли, что в то же самое утро польский полк под начальством Войнилловича разбил под Новым Сончем большой шведский разъезд и шведы почти все погибли или утонули в речке Каменной и в Дунайце.

Так оно на самом деле и было, ибо вскоре на большой дороге замелькали значки, а затем подъехал сам Войниллович с полком брацлавского воеводы.

С радостью приветствовал король славного рыцаря, которого давно уже знал, и среди общего шума и ликования тот последовал с королевской свитой на Спиж. А тем временем гонцы умчались вперед дать знать маршалу, что король приближается и надо приготовиться к приему.

Весело и шумно протекало дальнейшее путешествие. Прибывали все новые и новые толпы. Выезжая из Силезии, нунций боялся и за собственную жизнь, и за жизнь короля, а теперь, когда миновали опасности, встретившие их в начале пути, он был



вне себя от радости, ибо уверился в том, что король, а с ним и церковь будут торжествовать победу над еретиками. Епископы разделяли его радость, а светские сановники твердили, что весь народ от Балтики до Карпат готов, так же как эти вот толпы, взяться за оружие. Войниллович уверял, что большая часть страны уже поднялась.

Он сообщил королю новости, рассказал о том, какого страху задали поляки шведам, которые теперь не смеют нос показать из крепостных стен, оставляют и жгут даже небольшие замки, а сами укрываются в сильных крепостях.

– Войско одной рукой в грудь себя бьет, какучись, а другой уже шведов бить начинает, – говорил он. – Вильчковский, поручик гусарского полка вашего величества, уже поблагодарил шведов за службу, да как: под Закшевом порубил отряд полковника Аттенберга, чуть не всех искрошил. Я с божьей помощью прогнал шведов из Нового Сонча, и большую победу бог мне послал, потому не знаю, унес ли кто из них ноги. Пан Фелициан Коховский с навоёвской пехотой очень мне помог; так мы отплатили им за тех драгун, которых они два дня назад потрепали.

– Каких драгун? – спросил король.

– Да тех, что ты, государь, из Силезии выслал вперед. Шведы внезапно напали на них и хоть не смогли рассеять, потому драгуны стойко держались, но сильный нанесли им урон. А мы чуть со страху не умерли, думали, ты, государь, с ними, и боялись, как бы с тобой не приключилась беда. Сам бог осенил тебя, что выслал ты вперед драгун. Шведы тотчас о них прознали и заняли все дороги.

– Слышишь, Тизенгауз? – сказал король. – Это говорит искушенный воитель.

– Слышу, государь, – ответил молодой рыцарь.

– Ну а еще что? – обратился король к Войнилловичу. – Что еще? Рассказывай!

– Да уж что знаю, того скрывать не стану. В Великой Польше Жегоцкий и Кулеша бьют шведов. Пан Варшицкий выгнал Линдорма из Пилецкого замка, Данков устоял, Ланцкорона в наших руках, в Подлясье, под Тыкоцином, пан Сапега что ни день собирает новые силы. Гибель грозит уже шведам в Тыкоцинском замке, а с ними погибнет и князь воевода виленский. Гетманы из Сандомира уже двинулись в Люблинское воеводство, открыто показав, что они порывают со шведами. С ними и черниговский воевода, и все собираются к ним, в ком душа жива и кто может держать саблю в руках. Толкуют, будто должны они заключить союз против шведов, а руку к тому и пан Сапега приложил с киевским каштеляном.

– Стало быть, и киевский каштелян сейчас в Люблинском воеводстве?

– Да, государь! Но он нынче здесь, завтра там! Мне тоже к нему надо идти, да вот не знаю, где искать его.

– Слух о нем повсюду пройдет, – промолвил король, – но надо будет тебе дорогу спрашивать.

– И я так думаю, государь, – сказал Войниллович.

В таких разговорах коротали они путешествие. Небо тем временем совсем прояснело, ни одна тучка не омрачала оком, снег сверкал в лучах солнца. Спижские горы

рисовались перед всадниками, величественные и радостные, и сама природа, казалось, улыбалась своему господину.

– Дорогая отчизна! – воскликнул король. – Когда б я мог вернуть тебе мир, прежде чем кости мои лягут на вечный покой в твою землю!

Всадники поднялись на высокий холм, с которого взорам их открылся далекий вид, ибо у подножия простиралась обширная равнина. Далеко-далеко увидели они словно бы движущийся человеческий поток.

– Войско пана маршала идет! – крикнул Войниллович.

– А что, если шведы? – сказал король.

– Нет, государь! Не могут шведы идти с юга, со стороны Венгрии. Я вижу гусарские значки.

Через минуту лес копий показался в голубой дали, пестрые значки колыхались, как цветы на ветру; повыше, словно языки пламени, сверкали копейные жала. Солнце играло на панцирях и шлемах.

Радостные клики раздались в толпе, сопровождавшей Яна Казимира; их услышали издалека, и кони, всадники, знамена, бунчуки и значки понеслись быстрее, – видно, люди пустились вскачь, и все явственней рисовались полки и росли на глазах с непостижимой быстротой.

– Остановимся здесь, на этом холме! Тут подождем пана маршала! – сказал король.

Свита остановилась; навстречу все быстрее неслись всадники.

Минутами они скрывались из глаз за поворотом дороги или за невысокими холмами и скалами, рассеянными по равнине, но вскоре снова выростали перед глазами, словно змея с чудной переливчатой чешуей. Вот они уже подскакали к холму и в нескольких сотнях шагов убавили ходу. Уж и взором их можно было окинуть, насладиться зрелищем. Впереди шла гусарская хоругвь в богатых доспехах, собственная хоругвь маршала, такая великолепная, что любой король мог бы ею гордиться. Одна горская шляхта служила в этой хоругви, молодцы как на подбор, в панцирях ясного железа с насечкою желтой меди, с ченстоховской божьей матерью на нагрудных знаках, в круглых шлемах с гребнями и железными наушниками; за плечами ястребиные и орлиные крылья, на плечах, по обычаю, тигровые и леопардовые, а у начальников волчьи шкуры.

Лес зеленых с чернью значков колыхался над ними; впереди ехал поручик Виктор, за ним янычарская капелла с колокольцами, литаврами, бубнами и пищалками, дальше стена закованных в броню солдат и коней.

Умилилось сердце короля при виде этой великолепной картины. Вслед за гусарами текла легкая хоругвь, еще более многочисленная, с саблями наголо и луками за спиной; затем три сотни пестрых, как маки в цвету, надворных казаков, вооруженных копьями и самопалами; за ними две сотни драгун в алых колетах; а там челядь магнатов, прибывших уже в Любовлю, разряженная, как на свадьбу: драбанты, скороходы, гайдуки, стремянные и янычары, личные слуги высоких особ.

Переливаясь всеми цветами радуги, с шумом и гамом ехало это войско под ржание

коней, лязг оружия, гром барабанов, грохот бубнов, звон литавр и при таких громких кликах, что казалось, снег от них обрушится с гор. За войском виднелись кареты и коляски, в которых ехали, видимо, светские и духовные сановники.

Но вот войско построилось в два ряда по обочинам дороги, а посередине показался на белом как кипень коне сам коронный маршал Ежи Любомирский. Вихрем летел он вдоль этой улицы, а за ним, сияя в золоте, двое стремянных. Подъехав к холму, маршал соскочил с коня, бросил поводья одному из стремянных, а сам пеший стал подниматься на холм к стоявшему там королю.

Шапку он снял и, надев ее на рукоять сабли, выступал с обнаженной головой, опираясь на длинный топорик, весь осыпанный перлами. На нем был польский бранный доспех: на груди литого серебра панцирь, по краям тоже осыпанный самоцветами и отполированный так, что казалось, маршал несет на груди солнце; пурпурный плащ венецийского бархата с лиловым отливом был переброшен через левое плечо. У горла стянут он был шнуром на брильянтовых застежках и весь был расшит брильянтами; такой же брильянтовый султан колыхался на шапке, и так сверкали, играя и переливаясь, камни, что маршал шествовал словно в сиянии и блеском слепил глаза.

Муж этот был в цвете лет, с величественной осанкой. Голова его была подбрита чуприной, редкие, седоватые волосы прядями уложены на лбу, тонкие кончики усов цвета воронова крыла свисали вдоль щек. Высокий лоб и римский нос были красивы; но толстые щеки и маленькие красные глазки портили впечатление. Важность необыкновенная читалась в этом лице, но вместе с тем суетность и неслыханная спесь. Легко было угадать, что одно лишь желанье владеет этим магнатом: вечно приковывать к себе взоры всей страны, мало того, всей Европы. Так оно на самом деле и было.

Везде, где только Любомирскому не удавалось занять самое выдающееся место, где славу и заслуги он мог только разделить с другими, уязвленная его гордыня готова была восстать и погубить, разрушить все начинания, даже если речь шла о спасении отчизны.

Это был удачливый и искусный воитель, но и в военном искусстве многие превзошли его, да и все таланты маршала, пусть и незаурядные, никак не отвечали спеси его и честолюбию. Потому-то вечно снедала его душу тревога, потому-то родились в ней та подозрительность и та зависть, которые позже довели его до того, что для Речи Посполитой он стал опаснее даже страшного Януша Радзивилла[24]. Дух тьмы, обитавший в Януше, был вместе с тем великим духом, не отступавшим ни перед чем и ни перед кем. Януш жаждал короны и сознательно шел к ней по трупам и обломкам отчизны. Любомирский принял бы корону из рук шляхты, когда бы та возложила ее на его главу; но душа у него была мелкая, и не смел он ясно и недвусмысленно потребовать этого. Радзивилл был одним из тех, кого неудачи низводят в ряды злодеев, успех же делает полубогом; Любомирский был великим смутьяном, всегда готовым во имя своей уязвленной гордыни разрушить дело спасения отчизны, ничего взамен не создав; он даже себя вознести не смел и не умел. Радзивилл умер, совершив большой грех, он же – причинив большой вред.

Но теперь, когда, весь в золоте, бархате и самоцветах, он шествовал навстречу королю, спесь его была удовлетворена полною мерой. Это он первым из магнатов принимал своего короля на своей земле; он первым брал его как бы под свое покровительство, он должен был возвести его на поверженный трон, он должен был изгнать врага, на него король и вся страна возлагали все надежды, к нему были

прикованы все взоры. Когда верная служба тешила его гордыню и льстила его самолюбие, он и впрямь готов был на жертву и на подвиг, готов был переступить всякие границы в изъявлении верноподданнических чувств. Дойдя до середины склона, он сорвал с рукояти шапку перед стоявшим на холме королем и с поклонами стал мести снег брильянтовым султаном.

Король тронул своего коня и, спустившись немного по склону, придержал его, желая спешиться и поздороваться с маршалом. Видя это, Любомирский подбежал к нему, чтобы поддержать стремя, и в ту же минуту сорвал плащ со своих плеч, чтобы, по примеру английских придворных, бросить его к ногам повелителя.

Растроганный король раскрыл объятия и как брата прижал маршала к груди.

Минуту они оба слова не могли вымолвить; все войско, шляхта и простой народ зашумели, увидев эту величественную картину, и тысячи шапок взлетели на воздух; грянули разом мушкеты, самопалы, пищали, далекими басами взревели пушки в Любовле, так что горы задрожали и пробудилось эхо, и гулкие отзвуки его отдались в горах, отразившись от темной стены лесов, от скал и стремнин, и полетели с вестью к дальним горам, к дальним скалам.

– Пан маршал! – воскликнул король. – Тебе мы будем обязаны возрождением королевства!

– Государь! – отвечал Любомирский. – Достояние мое, жизнь мою и кровь, все слагаю я к твоим ногам!

– Vivat! Vivat Joannes Casimirus, rex![25] – гремели клики.

– Да здравствует король, наш отец! – кричали горцы.

Тем временем сановники, ехавшие с королем, окружили маршала; но он не дал им подойти к королю. После первых приветствий Ян Казимир снова сел на коня, а маршал, не зная, как еще выказать свое радушие и какие еще почести оказать королю, схватил под уздцы коня и, при оглушительных кликах, пеший повел его между рядами войск к раззолоченной карете, запряженной восьмеркой серых в яблоках, и усадил короля в карету вместе с папским нунцием Видоном.

Епископы и вельможи расселись по другим каретам, и поезд медленно тронулся в Любовлю. Маршал ехал у окна королевской кареты, надменный и самодовольный, будто его провозгласили уже отцом отечества.

С двух сторон плотными рядами шли войска и пели песню:

Бей же шведов, бей,  
Крови не жалея,  
Головы им с плеч  
Сноси, взявши меч.  
Ты пытай, пытай,  
На кол их сажай,  
Огнем припеки  
И секи, секи.  
Ты круши, круши,  
Всех их сокруши,  
И руби, руби,

Всех перегуби.

Будет им конец,

Коль ты молодец. [26]

Увы, во всеобщем ликовании и восторге никто и не думал, что со временем те же войска Любомирского, подняв мятеж против законного своего короля и повелителя, будут петь эту же песню, заменив в ней только шведов французами [27].

Но до этого было еще далеко. В Любове ревели пушки, салютуя королю так, что башни и зубцы стен окутались дымом; колокола звонили, как на пожар. Двор замка, где король вышел из кареты, крыльцо и ступени дворца были устланы красным сукном. В вазах, привезенных из Италии, курились восточные благовония. Большую часть сокровищ Любомирских, золотую и серебряную утварь, шпалеры, гобелены и ковры, искусно вытканые руками фламандцев, статуи, часы, выложенные камнями поставцы, перламутровые и янтарные столики, – маршал давно уже вывез в Любовлю, чтобы спасти их от алчных шведов; теперь все эти сокровища, расставленные и развешанные, как на погляденье, слепили глаза, преобразив замок в истинное жилище чародея. С умыслом расточил маршал у ног короля все эти богатства, достойные самого султана, он желал показать, что хоть король возвращается как изгнанник, без денег, без войска, и нет у него даже перемены платья, все же он могущественный властелин, коль есть у него столь могущественные и столь верные слуги. Постигнул король этот умысел, и сердце его преисполнилось благодарностью, он то и дело заключал маршала в объятия, сжимал его голову и выражал свою признательность. Как ни привык к роскоши нунций, однако же и он громогласно хвалил пышность убранства, и все слышали, как он говорил графу Апотингену, что доселе понятия не имел, сколь могуществен польский король, и только теперь видит, что ему лишь на время изменило счастье и что вскоре все переменится.

Когда после отдыха начался пир, король воссел на возвышении, и маршал сам стал прислуживать ему, никому не позволяя заменить себя. Справа от короля занял место нунций Видон, слева примас Лещинский, далее по обе стороны разместились церковные и духовные сановники: епископы краковский и познанский, архиепископ львовский, за ним епископы луцкий, пшемысльский и хелминский, архидиакон краковский; далее коронные канцлеры и воеводы, коих собралось восемь человек, каштеляны и референдарии; из офицеров за пиршественный стол сели Войниллович, Виктор Стабковский и Бальдвин Щурский, полковник легкой хоругви Любомирских.

В другой зале накрыли стол для шляхты попроще, а в обширном арсенале – для простого люда, ибо в день прибытия короля все должны были веселиться.

За всеми столами только и разговору было, что о возвращении короля, о страшных происшествиях, которые случились с ним в пути и в которых десница господня хранила его. Сам Ян Казимир заговорил о битве в ущелье и стал прославлять рыцаря, который первым сдержал натиск шведов.

– Как он там? – спросил король маршала.

– Лекарь от него не отходит, головой ручается за его жизнь, да и придворные панны взяли рыцаря под свою опеку и, верно, не дадут душе его покинуть немощную плоть, ибо молод он и красив! – весело ответил маршал.

– Благодарение создателю! – воскликнул король. – Такие слова слышал я из его уст, что и повторять их не стану, ибо и самому мне сдается, что ослышался я, а может, и в горячке он их сказал; но коль подтвердятся они, все вы диву дадитесь.

– Только бы ничего такого не было, – сказал маршал, – что могло бы огорчить тебя, государь.

– Нет, нет! Напротив, мы были очень обрадованы, ибо открылось, что даже те, кого мы имели все основания почитать нашими злейшими недругами, готовы пролить за нас кровь.

– Ваше величество! – воскликнул маршал. – Пришел час искупления, но в этом доме вы среди тех, кто даже в мыслях никогда не согрешил против вашей монаршей власти.

– Да, да! – ответил король. – И вы, пан маршал, в первую очередь!

– Смирный раб вашего величества!

Шум за столом все возрастал. Начались разговоры о делах политических, о помощи цесаря, которой донине тщетно ожидали, о татарских подкреплениях и о будущей войне со шведами. Все снова возликовали, когда маршал объявил, что посол, отправленный им к хану, вернулся два дня назад и донес, что сорокатысячная орда стоит в боевой готовности, а когда король вступит во Львов и заключит с ханом договор, на помощь могут прийти все сто тысяч. Тот же посол донес, что казаки, устрешенные татарами, снова усмирились.

– Обо всем вы, пан маршал, подумали так, – молвил король, – что мы сами лучше бы не подумали! – Он поднял чашу и воскликнул: – За здоровье пана коронного маршала, нашего хозяина и друга!

– Нет, нет, ваше величество! – крикнул маршал. – Ни за чье здоровье нельзя здесь пить, куда мы не поднимем чары за вас.

Все придержали свои наполовину поднятые чары, а Любомирский, ликующий, потный, кивнул дворецкому.

По этому знаку слуги, которых полно было в зале, снова бросились разливать мальвазию, черпая ее золочеными ковшами из бочки чистого серебра. Все еще больше развеселились и ждали только, когда маршал поднимет заздравную чару.

Дворецкий тем временем принес две чаши венецийского хрустала такой дивной работы, что их можно было счесть восьмым чудом света. Как алмаз, искрился хрусталь, который до тонкости гранили и полировали, быть может, целыми годами; над оправой трудились итальянские мастера. Из золота были выточены крошечные фигурки, представлявшие въезд победителя в Капитолий. По дороге, вымощенной брильянтиками, ехал в раззолоченной колеснице полководец. За ним шли пленники со связанными руками, какой-то император в мантии, выточенной из одного смарагда; дальше тянулись легионеры со знаменами и орлами. Более пятидесяти фигурок умещалось на ножке чаши, крошечных, величиною с орешек, но так чудно исполненных, что можно было различить черты и угадать чувства героев: гордость победителей и уныние побежденных. Золотые филигранны соединяли ножку с чашей, тонкие, как волоски, изогнутые с удивительным искусством в виноградные листья, грозди и всякие цветы. Обвивая хрусталь, филигранны образовали сверху круг, представлявший край чаши, осыпанный семицветными камнями.

Одну такую чашу, наполненную мальвазией, дворецкий подал королю, другую маршалу. Тогда все встали с своих мест, а маршал поднял чашу и крикнул во весь голос:

– Vivat Joannes Casimirus rex!

– Vivat! Vivat! Vivat!

В эту минуту снова грянули пушки, так что задрожали стены замка. Шляхта, пировавшая в другой зале, вбежала со своими чарами; маршал хотел сказать речь, но все было напрасно, слова потонули в общем крике: «Vivat! Vivat! Vivat!»

Такая радость овладела тут маршалом, такой восторг, что глаза его дико сверкнули, и, выпив залпом свою чашу, он крикнул так, что даже в общем шуме все услышали:

– Ego ultimus![28]

С этими словами он так хлопнул себя по голове бесценной чашей, что хрусталь разлетелся в мелкие дребезги, со звоном упавшие на пол, а виски магната облились кровью.

Все остолбенели, а король сказал:

– Пан маршал, не чаши, а головы жаль нам! Очень мы в ней нуждаемся!

– Что мне сокровища и самоцветы, – воскликнул маршал, – коль имею я честь принимать в доме моем ваше королевское величество! Vivat Joannes Casimirus rex!

Дворецкий подал другую чашу.

– Vivat! Vivat! Vivat! – неумолимо, неумолчно гремели клики.

Звон стекла мешался с кликами. Одни только епископы не последовали примеру маршала, – им запрещал это духовный сан.

Папский нунций, который не знал обычая бить об голову стекло, наклонился к сидевшему рядом познанскому епископу и сказал:

– Господи! Я просто поражен! Ваша казна пуста, а за одну такую чашу можно выставить и прокормить два хороших полка!

– У нас всегда так, – покачал головой познанский епископ, – коль развеселятся, удержу не знают!

А гости веселились все больше. В конце пира яркое зарево ударило в окна замка.

– Что это? – спросил король.

– Государь! Прошу потеху смотреть! – промолвил маршал.

И, пошатываясь, подвел короля к окну. Чудное зрелище поразило их взоры. Двор был залит светом, как днем. С мостовой смели снег, усыпали ее иглами горных елей, и десятки смоляных бочек бросали теперь на нее бледно-желтые отблески. Кое-где пылали бочонки оковитой, бросая голубые отсветы, в некоторые подсыпали соли, чтобы светили они красным огнем.

Началось игрище: сперва рыцари рубили турецкие головы, затем состязались друг с другом, на всем скаку поддевали копьями перстни; затем липтовскими овчарками травили медведя; затем горец, суший Самсон гор, метал мельничный жернов и хватал его на лету. Только полночь положила конец этой потехе.

Такую пышную встречу устроил королю коронный маршал, хотя шведы еще были в стране.

#### ГЛАВА XXVI

Окруженный толпами вельмож, шляхты и рыцарей, которые все прибывали в замок, не забыл добрый король среди пиров о своем верном слуге, который в горном ущелье так отважно подставил свою грудь под шведские мечи, и на следующий же день после прибытия в Любовлю навестил раненого пана Анджея. Он застал его в памяти, веселым, хоть и смертельно бледным, ибо, не получив по счастливой случайности ни одной тяжелой раны, рыцарь все же потерял много крови.

Увидев короля, Кмициц приподнялся и сел на своем ложе и, несмотря на все уговоры, ни за что не хотел прилечь.

– Государь! – говорил он. – Дня через два я и в седло сяду, и с тобою, коль будет на то твоя воля, дальше поеду, сам я чувствую, ничего такого со мною не случилось.

– Тебя, наверно, тяжело изранили. Неслыханное это дело одному ударить на столько врагов...

– Не однажды доводилось мне это делать, я ведь так считаю, что в опасности сабля и отвага – первое дело! Ах, государь, и на воловьей шкуре не спишешь тех ран, что на моей зажили. Такое уж мое счастье!

– Ты на счастье не пеняй, сам, знать, лезешь напролом туда, где не то что от ран, от смерти не оборонишься. С каких же это пор ты воюешь? Где раньше храбро сражался?

Легкий румянец окрасил бледное лицо Кмицица.

– Государь! Ведь это я учинял набеги на князя Хованского, когда у всех уже руки опустились, он и цену за мою голову назначил.

– Послушай, – молвил вдруг король, – ты мне там, в ущелье, одно странное слово сказал, но я тогда подумал, что горячка у тебя и ум мутится. А теперь вот ты опять толкуешь, что набеги учинял на Хованского. Кто же ты? Ужель и впрямь не Бабинич? Мы знаем, кто учинял набеги на Хованского!

На минуту воцарилось молчание; наконец молодой рыцарь поднял осунувшееся лицо и сказал:

– Да, государь! Не горячка у меня, правду я говорю: я налетел на Хованского, и с той войны имя мое прогремело на всю Речь Посполитую. Я Анджей Кмициц, хорунжий оршанский!

Тут Кмициц закрыл глаза и побледнел еще больше; но король молчал, потрясенный, и пан Анджей продолжал:



– Я, государь, тот самый изгнанник, что богом и людьми проклят за убийства и своеволие, я служил Радзивиллу и вместе с ним изменил тебе, государь, и отчизне, а теперь вот, исколотый рапирами, растоптанный конскими копытами, лежу немощен, и бью себя в грудь, и твержу: «Mea culpa! Mea culpa!»[29] – и, как отца, молю тебя о милосердии. Прости, государь, ибо сам я проклял свои злодеяния и давно сошел с пути грешников.

Слезы покатались тут из глаз рыцаря, и дрожащими руками он стал искать руку короля. Ян Казимир руки не отнял, но нахмурился и сказал:

– Милостив должен быть тот, кто носит корону в этой стране, и всегда готов отпустить вину. Вот и тебя готовы мы простить, особенно потому, что верой и правдой, не щадя живота, служил ты нам в Ченстохове и в дороге...

– Прости же, государь! Успокой мою муку!

– Одного только не могу простить я тебе: не замарал доньне наш народ своей чести, не посягал он отроду на помазанника божия, ты же предлагал князю Богуславу похитить меня и живым или мертвым отдать в руки шведов.

Хоть за минуту до этого Кмициц сам говорил, что немощен он лежит, однако тут сорвался с ложа, схватил висевшее над ним распятие и с лицом в красных пятнах от жара, с горящими глазами заговорил, тяжело дыша:

– Клянусь спасением души отца моего и моей матери, ранами распятого на кресте, это ложь! Коль повинен я в этом грехе, пусть поразит меня бог внезапной смертью и вечным покарает огнем! Государь мой, коль не веришь ты мне, я сорву эту повязку! Лучше кровью мне изойти, что оставили еще шведы в моих жилах! Отродясь я этого не предлагал. И в мыслях такого не было! За все царства мира никогда не совершил бы я такого злодеянья! Клянусь на этом распятии! Аминь! Аминь!

И он весь затрясся от жара и негодования.

– Стало быть, князь солгал? – в изумлении опросил король. – Зачем же ему это понадобилось? К чему?

– Да, государь, он солгал! Это дьявольская месть за то, что я ему сделал.

– Что же ты ему сделал?

– Похитил на глазах у всего его двора и всего его войска и хотел связанного бросить к твоим ногам, государь.

Король провел рукою по челу.

– Странно мне это! Странно! – сказал он. – Я тебе верю, но не могу понять! Как же так? Ты служил Янушу, а похитил Богуслава, который не был так виновен, как брат, и связанного хотел привезти ко мне?..

Кмициц хотел было ответить, но король в эту минуту увидел, как бледен он и измучен, и сказал:

– Отдохни, а тогда все с самого начала расскажешь. Мы тебе верим, и вот тебе наша рука!

Кмициц прижал к губам руку короля и некоторое время молчал, дыхание у него захватило, и он только с невыразимой любовью смотрел на своего повелителя; наконец, собравшись с силами, начал он свой рассказ:

– Я все расскажу с самого начала. Воевал я с Хованским, но и своих не жалел. Принужден я был людей обижать, брать у них все, что понадобится; но отчасти поступал так по своеволию, кровь играла во мне. Товарищи мои были все достойные шляхтичи, но не лучше меня. То, смотришь, зарубишь кого, то красного петухапустишь, то батожками прогонишь по снегу. Шум поднялся. В тех местах, куда враг еще не дошел, обиженные подавали на меня в суд. Проигрывал я заочно. Приговоры сыпались один за другим, а я знать ничего не хотел, мало того, дьявол меня искушал, нашептывал мне, чтоб перещеголял я самого пана Лаца[30], который приговорами ферязь себе подшить приказал, а ведь вот же все его славили и донныне имя его славно.

– Покаялся он и умер в страхе божием, – заметил король.

Передохнув, Кмициц продолжал свой рассказ:

– Между тем полковник Биллевич, – знатный род в Жмуди эти Биллевичи, – оставив брентную плоть, переселился в лучший мир, а мне отписал деревню и внучку. Не нужна мне эта деревня, в постоянных набегах богатую взял я добычу и не только вернул все, что потерял, когда враг захватил мои поместья, Но и приумножил свои богатства. Столько еще осталось у меня в Ченстохове, что и две такие деревни я бы мог купить, и ни у кого не надо мне просить хлеба. Но когда моя ватага урон понесла, поехал я на зимний постой в лауданскую сторону. И так приглянулась мне девушка-сиротина, что позабыл я обо всем на свете. Так невинна она и добра, что стыдно мне было перед нею за старые мои грехи. Да и она, с пелен питая отвращенье к греху, стала настаивать, чтобы оставил я прежнюю жизнь, людей успокоил, за обиды вознаградил и начал честную жизнь...

– И ты внял ее совету?

– Какое, государь! Правда, хотел, видит бог, хотел! Но преследуют меня старые грехи. Сперва в Упите солдат моих поубивали, за что я предал город огню...

– О, боже! Да ведь это преступление! – воскликнул король.

– Это бы еще ничего, государь! Потом товарищей моих, достойных рыцарей, хоть и смутьянов, изрубила лауданская шляхта. Не мог я не отомстить и в ту же ночь напал на застянок Бутрымов и огнем и мечом покарал их за убийство. Но они меня одолели, потому пропасть их там, этих сермяжников. Скрываться мне пришлось. Девушка уж и глядеть на меня не хотела, сермяжнички-то эти по духовной были отцами ее и опекунами. А так она меня к себе приворожила, что хоть головой об стену бейся! Не мог я жить без нее, собрал новую ватагу и силком увез ее с оружием в руках.

– Да что это ты! Это ведь только татары девок крадут!

– Сознаюсь, разбойничье было дело! Вот и покарал меня господь рукой пана Володыёвского. Собравши шляхту, вырвал пан Володыёвский у меня девушку, а самого так саблей рубнул, что едва не отдал я богу душу. Стократ лучше было бы это для меня, потому не связался бы я тогда с Радзивиллом, тебе и отчизне на погибель.

Да что поделаешь! Новый суд начался. Злодейство такое, что плаха меня ждала. Я уж и сам не знал, что делать, когда виленский воевода сам вдруг пришел мне на помощь...

– Он взял тебя под защиту?

– Через того же пана Володыёвского он мне грамоту прислал на набор войска, и стал я ему подсуден и мог не бояться судов. Якорем спасения явился мне тогда воевода. Тотчас собрал я хоругвь из одних забияк, на всю Литву славных. Лучше хоругви во всем войске не было. Повел я ее в Кейданы. Как родного сына, принял меня там Радзивилл, о родстве нашем с Кискамаи вспомнил, под защиту взять посулил. У него уже были виды на меня. Ему нужны были люди отчаянные, готовые на все, а я, простак, как на приманку лез. Когда замыслы его еще не вышли наружу, велел он мне на распятии дать ему клятву, что не покину я его ни при каких обстоятельствах. Думал я, о войне со шведами или московитами речь, и с охотой дал ему клятву. Но вот начался тот страшный пир, на котором был подписан кейданский договор. Явной стала измена. Другие полковники бросали к ногам гетмана булавы, а меня клятва, как пса на цепи, держала, не мог я от князя отречься...

– А разве все те, что потом оставили нас, не присягали нам на верность? – с грустью заметил король

– Но я хоть и не бросил булавы, не хотел, однако, руки марать об измену. Один бог только знает, какие принял я муки! Словно бы кто живым огнем меня жег, так я терзался! Ведь и девушка моя, хоть и помирились мы уже с нею после увоза, назвала меня изменником, отвернулась от меня, как от мерзкой гадины. А я ведь клятву дал, я клятву дал не покидать Радзивилла! О, государь, хоть женщина она, но умом своим мужа затмит, а тебе предана, как никто другой.

– Да благословит ее бог! – промолвил король. – Я люблю ее за это!

– Она думала переделать меня, думала, я стану твоим приверженцем и за отчизну буду сражаться, а когда прахом пошли все ее труды, прогневалась на меня так, что сколько прежде любила, столько стала теперь ненавидеть. Между тем Радзивилл призвал меня к себе и стал ублажать. Выходило по его, как дважды два – четыре, что по справедливости он поступил, что только так и мог он спасти погибающую отчизну. Я и пересказать не могу, что он мне толковал, такие это были великие мысли и такое счастье сулили они отчизне! Да он бы стократ мудрого убедил, а что я, простой солдат, против такого державного мужа! Говорю тебе, государь, обеими руками ухватился я за эти его мысли, сердцем принял их, думал, все слепые, один князь правду видит, все грешники, один он чист перед богом. Я бы за него в огонь прыгнул, как теперь за тебя государь, ибо не умею я ни наполовину служить, ни наполовину любить.

– Я это вижу! – заметил Ян Казимир.

– Большую оказал я ему услугу, – угрюмо продолжал Кмициц. – Не будь меня, никаких ядовитых плодов не принесла бы эта измена, собственное войско зарубило бы князя саблями. Дело к тому клонилось. Уже драгуны поднялись, венгерская пехота и легкие хоругви, уже рубили они саблями его шотландцев, когда прискакал я со своими людьми и искрошил их в мгновение ока. Но оставались еще хоругви, что стояли на постое. Я и их истребил. Один только пан Володыёвский ушел из подземелья и чудом вывел своих лауданцев в Подлясье, чтобы присоединиться там к

пану Сапеге. Много собралось там тех, кому посчастливилось уцелеть, но один бог знает, сколько по моей вине погибло добрых солдат. Винюсь в том, как на духу винюсь. По дороге к пану Сапеге схватил меня Володыёвский и не хотел пощадить мою жизнь. Еле ушел я тогда из его рук, да и то только потому, что нашлись при мне письма, из которых открылось, что, когда он сидел в подземелье и князь хотел его расстрелять, я горячо за него заступился. Отпустил он тогда меня, воротился я к Радзивиллу и снова служил ему. Но горько было мне, содрогалась душа моя от поступков князя, ибо нет у него ни веры, ни чести, ни совести, а собственное слово для него то же, что для шведского короля. Непокорен я стал и дерзок с ним. Гневался он на меня за мою дерзость. И услал наконец с письмами.

– Очень важно все то, что ты тут рассказываешь, – промолвил король, – мы теперь от очевидца, который *pars magna fuit*[31], будем знать, как было дело.

– Правда, что *pars magna fui*[32], – ответил Кмициц. – С радостью уехал я с письмами, не мог усидеть в Кейданах. В Пильвишках встретил я князя Богуслава. Дай-то бог, чтоб попался он мне в руки, все силы я к тому приложу, чтоб настигла его моя месть за поклеп, который он взвел на меня! Ничего я ему там не предлагал, бесстыдная все это ложь, мало того, – именно там встал я на правый путь, там узнал всю подноготную и воочию убедился в бесстыдстве этих еретиков.

– Говори же скорее, как было дело, а то нам тут все так представили, будто князь Богуслав лишь по принуждению помогал брату.

– Он, государь? Он хуже Януша! Да в чьей же голове раньше всего созрел предательский умысел? Да разве не он первый стал соблазнять князя гетмана короной? Суди его бог! Князь Януш хоть личину надевал и *bono publico*[Общим благом (лат.)]. прикрывался, а Богуслав, решив, что я из негодеев негодяй, всю душу открыл мне. И повторить страшно, что он мне сказал. «К черту, говорит, полетит ваша Речь Посполитая; но она как бы штука красного сукна, и мы не только не приложим рук для ее спасения, но и сами рвать будем, чтоб у нас в горсти клоч побольше остался. Литва, говорит, нам должна достаться, а после смерти брата Януша я великокняжью шапку надену, женившись на его дочери».

Король закрыл руками глаза.

– О, боже! – воскликнул он. – Радзивиллы, Радзеёвский, Опалинский... Как же было не стать тому, что случилось! Корона им нужна была, пусть даже пришлось бы разъединить то, что бог соединил!

– И меня обнял страх, государь! Водю голову я обливал, чтоб с ума не сойти. Но в единый миг переменилась душа моя, словно гром ее оглушил. Сам я собственных дел утратился. Не знал, что делать: Богуслава иль себя пырнуть ножом? Как дикий зверь, я выл, – в такую попался сеть! Не служить Радзивиллу хотел я, но мести жаждал! И тут меня словно осенило: отправился я со своими людьми на квартиру князя Богуслава, увез его за город, схватил там и к конфедератам хотел отвезти, чтобы ценою его головы к ним и к тебе на службу вкупиться.

– Я все тебе прощаю! – воскликнул король. – Ибо обманут ты был, но отплатил изменникам! Один только ты мог на такое отважиться, больше никто. Все я тебе за это прощаю и от всего сердца отпускаю тебе твои вины, только поскорее рассказывай дальше, сгораю я от любопытства: что ж он, ушел?

– На первом же привале вырвал он у меня пистолет из-за пояса и выстрелил мне в

лицо. Вот шрам! Сам один людей моих перебил и ушел. Великий он рыцарь, тут ничего не скажешь; но мы еще встретимся с ним, пусть это даже будет мой последний час!

Тут Кмициц стал теревить одеяло, которым был укрыт; но король тотчас прервал его:

– И это из мести взвел он поклеп на тебя в письме?

– И это из мести послал он письмо. Рана у меня поджила в лесу; но хуже болела душа. К Володыёвскому, к конфедератам я не мог пойти, лауданцы саблями бы меня изрубили. Знал я, что князь гетман замыслил против них поход, и упредил их, чтоб они вместе держались. Это и было мое первое доброе дело, потому Радзивилл перебил бы им хоругвь за хоругвью, а теперь вот они его одолели и держат, как я слышал, в осаде. Да поможет им бог, а на него кару найдет, аминь!

– Может, оно так уж и случилось, а нет, так станет наверняка, – сказал король. – Что же ты потом делал?

– Не мог я, государь, служить тебе у конфедератов и положил пробиваться прямо к тебе и верною службой искупить свою вину. Но как было мне пробиться? Кто бы принял Кмицица? Кто бы ему поверил? Кто бы его не окричал изменником? Потому принял я имя Бабинича и, проехав из конца в конец всю Речь Посполитую, добрался до Ченстоховы. Так ли уж велики мои заслуги, пусть про то ксендз Кордецкий скажет. День и ночь думал я об одном: как бы урон возместить, что нанес я отчизне, кровь за нее пролить, вернуть свою славу и честь. Остальное ты сам знаешь, сам видел, государь. И коль твое доброе отцовское сердце склоняется к моим мольбам, коль новая моя служба превысила меру старых грехов или хоть сравнялась с ними, будь же ко мне милосерд, государь, и призри меня в своем сердце, ибо все от меня отступились и никто меня не утешит, только ты один! Ты один видишь мое раскаянье и мои слезы! Я изгнанник, я изменник, я клятвопреступник, но, государь, я люблю отчизну и твое миропомазанное величие и, видит бог, хочу служить вам обоим!

Обильные слезы полились тут из глаз молодого рыцаря, и горько он разрыдался, а король, добрый отец, обнял его, стал в лоб целовать и успокаивать:

– Ендрек, люб ты мне, как сын родной! Что я тебе говорил? Что согрешил ты в ослеплении, а сколько грешит с умыслом? От всего сердца прощаю тебе все, ибо искупил ты уже свою вину. Успокойся, Ендрек! Ей-же-ей, не один был бы рад похвалиться такими заслугами, как твои! И я прощаю тебе, и отчизна прощает, и в долгу мы еще перед тобою! Ну, будет тебе голосить!

– Пусть бог тебя вознаградит, государь, за твое состраданье! – со слезами говорил рыцарь. – А я еще на том свете должен понести кару за клятву, что дал Радзивиллу. Не знал я, в чем клялся, а все едино клятва есть клятва.

– Не осудит тебя за нее господь, – ответствовал король, – ибо половина Речи Посполитой угодила бы тогда в преисподнюю, все, кто нарушил нам присягу.

– И я, государь, думаю, что не ужоу в преисподнюю, в том мне и ксендз Кордецкий ручался, хоть и не был уверен, минует ли меня чистилище. Тяжелое это дело в огне гореть сотню лет! Ну да уж ладно! Человек все может вытерпеть, когда светит ему надежда на вечное спасение, да и молитвы много могут помочь и сократить муки.

– Ты только про то не думай! – сказал Ян Казимир. – Я самого нунция попрошу, чтобы он отслужил службу за твое спасение. При таких заступниках не придется тебе много мук терпеть. Верь в милосердие божие!

Кмициц улыбнулся сквозь слезы.

– Вот, даст бог, выздоровею, – сказал он, – так не из одного шведа душу выну, и будет от того не только заслуга в небе, но и добрая слава на земле.

– Уповай на бога, – сказал король, – и не думай прежде времени о славе. Слово мое в том порукой, что не минует тебя то, что тебе положено. Придет пора поспокойней, сам вознагражу я тебя за заслуги, – они ведь и без того немалые, а будут, верно, еще больше. И на сейме, даст бог, повелю обсудить твое дело, и снова ты будешь в чести.

– Да, государь, ведь только утихнет брань, а может, и того раньше, начнут меня по судам таскать, и уж тут и ты своей королевской властью не сможешь меня спасти. Но довольно об этом! Не дамся я, покуда жив, покуда саблю держу в руках! Вот с девушкой горе. Оленькой звать ее, государь! Ах, сколько уж времени не видал я ее! Сколько выстрадал я без нее и из-за нее, и хоть порою хочу выбросить ее из сердца вон и с любовью борюсь, как с медведем, все напрасно, не отпускает такая-сякая – и конец!

Ян Казимир весело и добродушно рассмеялся.

– Чем же я тут тебе, бедняге, могу помочь?

– А кто же мне поможет, коль не ты, государь?! Отчаянная она твоя приверженка, и никогда не простит она мне кейданских дел, разве только ты за меня заступишься и засвидетельствуешь, что не тот уж я, что снова служу я тебе и отчизне, и не по принуждению, не потому, что приманили меня всякими благами, но по собственной воле, сокрушаясь о содеянном мною...

– Коль за этим дело стало, заступлюсь я за тебя, а коль такая она моя приверженка, как ты тут толкуешь, так и заступничество мое будет успешным. Только бы девушка свободна была да беды какой с ней не случилось, – в военное время всякое бывает.

– Ангелы ее будут хранить!

– Она того стоит. Чтоб по судам тебя не таскали, ты вот что сделаешь: мы теперь будем спешно набирать войско; не могу я дать тебе грамоту на набор как Кмицицу, коли пало на тебя, как ты говоришь, бесчестье, но Бабиничу дам, станешь и ты войско набирать, а через то и отчизне будет польза, ибо вижу я, отважный ты воитель и искушен опытом. В поход пойдешь под начальством киевского каштеляна, в его войске легче всего и голову сложить, и славу добыть. А надо будет, так и на свой страх станешь учинять набеги на шведов, как учинял на Хованского. С той поры, как назвался ты Бабиничем, стал ты исправляться и добро творить. Зовись же так и дальше, вот и суды не станут тебя трогать. А когда воссияет слава твоя, как солнце, когда слух о твоих заслугах пройдет по всей Речи Посполитой, пусть узнают тогда люди, кто преславный сей витязь. Многие тогда устыдятся таскать по судам столь великого рыцаря. Иные за это время погибнут, других ты сам смягчишь. Много приговоров вовсе пропадет, а я еще раз тебе обещаю, что до небес

превознесу тебя за твои заслуги и на сейме к награде представлю, ибо в глазах моих ты уже сейчас этого достоин.

– Государь мой! Чем заслужил я такую милость?

– Ты ее больше заслужил, нежели многие из тех, что думают, будто имеют на то право. Ну-ну, не унывай же, милый мой приверженец, ибо уверен я, что и приверженка моя от тебя не уйдет, и, даст бог, в скором времени вы мне еще больше народите приверженцев!

Хоть и болен был Кмициц, однако же сорвался со своего ложа и ниц пал перед королем.

– Ради бога, что ты делаешь? – воскликнул король. – Кровь у тебя пойдет! Ендрек! Эй, сюда!

Вбежал сам маршал, который давно уже искал короля по всему замку.

– Святой Ежи, покровитель мой, что я вижу?! – крикнул он, увидев, как король собственными руками поднимает Кмицица.

– Это пан Бабинич, мой самый дорогой солдат и самый верный слуга, который вчера спас мне жизнь, – сказал король. – Помогите мне, пан маршал, перенести его на постель.

## ГЛАВА XXVII

Из Любовли король поехал в Дуклю, Кросно, Ланцут и Львов; сопровождали его коронный маршал, множество епископов, вельмож и сенаторов со своими надворными хоругвями и слугами. И как в могучую реку, что течет через весь край, вливаются малые реки, так в королевскую свиту вливались все новые и новые отряды. Шли магнаты и вооруженная шляхта, солдаты, поодиночке и кучками, и толпы вооруженных крестьян, которые ненавидели шведов особенно лютой ненавистью.

Движение становилось всеобщим, пришлось вводить военные порядки. Появилось два грозных универсала, помеченных Сончем: один Константина Любомирского, маршала рыцарского круга[33], другой Яна Велёпольского, войницкого каштеляна, призывавшие шляхту краковского воеводства во всеобщее ополчение. Было уже известно, где собираться, за неявку грозила кара по законам Речи Посполитой. Королевский универсал дополнил эти воззвания и поставил на ноги даже самых равнодушных.

Но в угрозах не было надобности, ибо небывалое воодушевление охватило все сословия. Садились на конь старики и дети. Женщины отдавали драгоценности, одежду; иные сами рвались в бой.

В кузницах цыгане дни и ночи били молотами, перековывая на мечи мирные орала. Опустели города и деревни, мужчины ушли на войну. С гор, уходивших вершинами в поднебесье, день и ночь спускались толпы дикого люда. Силы короля росли с каждой минутой.

Навстречу ему выходило духовенство с крестами и хоругвями, еврейские кагалы с раввинами; огромному триумфальному шествию был подобен его поход. Вести приходили самые лучшие, словно сам ветер приносил их отовсюду.

Народ рвался к оружию не только в той части страны, которая не была захвачена врагом. Повсюду, в самых отдаленных землях и поветах, в крепостях, деревнях, селеньях, дремучих лесах, поднимала огненную главу ужасная война расплаты и мести. Сколь низко пал раньше народ, столь высоко поднимал он теперь голову, перерождался, крепнул духом и в самозабвении, не колеблясь, раздирал даже собственные засохшие раны, дабы очистить от яда свою кровь.

Все громче кричали повсюду о могучем союзе шляхты и войска, возглавить который должны были великий гетман, старый Ревера Потоцкий, и польный гетман Ланцкоронский, воевода русский, а также киевский каштелян Стефан Чарнецкий, витебский воевода Павел Сапега, литовский кравчий князь Михал Радзивилл, могущественный магнат, который хотел снять бесчестье, что навлек на их род Януш, черниговский воевода Кшиштоф Тышкевич и многие другие сенаторы, вельможи, военачальники и шляхта.

Каждый день сносились магнаты с коронным маршалом, который не желал, чтобы столь славный союз был заключен без его участия. Сперва только ходили упорные слухи, а там уж и верная весть разнеслась, что гетманы, а с ними и войско, оставили шведов и на защиту короля и отчизны встала Тышовецкая конфедерация.

Король давно знал о конфедерации; немало потрудился он с королевой над ее созданием, немало писем слал и гонцов, хоть и находился вдали от родины; не имея возможности лично принять участие в конфедерации, он с нетерпением ждал теперь акта об ее учреждении и универсала. Не успел он доехать до Львова, как к нему прибыли Служевский и Домашевский из Домашевицы, луковский судья, они привезли от конфедератов акт на утверждение и заверения в том, что союз их будет служить ему верой и правдой.

Король читал акт на общем совете с епископами и сенаторами. Сердца всех преисполнились радости, и все возблагодарили создателя, ибо памятная эта конфедерация возвестила о том, что народ, о котором еще недавно иноземный захватчик мог сказать, что нет у него ни веры, ни любви к отчизне, ни совести, ни порядка, ни одной из тех доблестей, на коих зиждутся державы и народы, не только опомнился, но и переродился.

Свидетельство всех его доблестей лежало теперь перед королем в виде акта конфедерации и ее универсала. В этих документах говорилось о вероломстве Карла Густава, нарушении им клятв и обещаний, жестокости его генералов и солдат, учинявших зверства, каких не знали даже самые дикие народы, осквернении костелов, гнете, мздоимстве, грабежах, пролитии невинной крови, и война объявлялась скандинавским захватчикам не на жизнь, а на смерть. Универсал, грозный, как труба архангела, сзывал ополчение не только рыцарей, но всех сословий и народов Речи Посполитой. «Даже все *infames*[34], – говорилось в универсале, – *banniti*[35] и *proscripti*[36] должны идти на эту войну». Рыцари должны были садиться на конь, грудью встать за родину, да и пеших солдат поставить, кто побогаче – побольше, кто победней – поменьше, по силе возможности.

«Понеже в державе сей *aeque bona*[37] то и в том *aequales*[38] будем, что все одинаково встанем на защи и *mala*[39] принадлежат всем, то и опасности должно разделить всем. Всяк, кто шляхтичем зовется, оседлым или неоседлым, буде у него и много сынов, обязан идти наоину против врага Речи Посполитой. Поелику все мы – шляхтичи, и худородные и великородные, *ab omnes prerogativas*[171] на чины, звания и милости отчизны *caraces*, у отечественных свобод и *beneficiorum*».[172]



Так толковал универсал шляхетское равенство. Король, епископы и сенаторы, которые давно лелеяли в сердце мысль о возрождении Речи Посполитой, убедились с радостью и удивлением, что и народ созрел для возрождения, что готов он стать на новый путь, омыться от плесени и тлена и начать новую, достойную жизнь.

«Открываем при сем, – гласил универсал, – поприще всякому человеку plebeiae conditionis[40], дабы мог он benemerendi in Republica[41], и провозглашаем, что отныне всяк может быть жалован чинами, достигнуть почестей, прав и beneficiorum, коими gaudet[42] сословие шляхетское...»

Когда на совете у короля прочитали эти слова, воцарилось глубокое молчание. Те сенаторы, которые вместе с королем горячо желали открыть доступ к шляхетским правам людям низших сословий, думали, что немало придется им для этого преодолеть препон, немало претерпеть и немало потрудиться, что годы пройдут, прежде чем можно будет поднять голос за такое дело, а между тем шляхта, которая доселе так ревниво оберегала свои преимущества и была так нетерпима, сама открывала дорогу для черного люда.

Поднялся примас и как бы в пророческом наитии сказал:

– Вечно будут славить потомки сию конфедерацию за то, что оный punctum[43] вы поставили, а коль пожелает кто время наше почесть временем упадка старопольской чести, в споре с ним на вас ему укажут.

Ксендз Гембицкий был болен и не мог говорить, трясущейся от волнения рукою он только благословлял акт и послов.

– Вижу я уже врага, со стыдом покидающего сей предел, – сказал король.

– Дай-то бог, да чтоб поскорее! – воскликнули оба посла.

– Вы с нами во Львов поедете, – обратился к ним король, – мы тотчас утвердим там конфедерацию, а к тому же, не мешкая, новую учредим, такую, что силы адовы не одолеют ее.

Переглянулись послы и сенаторы, словно вопрошая друг друга, о какой же это могучей силе говорит король; но тот молчал, только лицо его сияло: снова взял он в руки акт и снова читал и улыбался.

– А много ли было противников? – спросил он вдруг.

– Государь, – ответил Домашевский, – с помощью панов гетманов, пана витебского воеводы и пана Чарнецкого unanimitate[44] учредили мы нашу конфедерацию; никто из шляхты не воспротивился, так все ополчились на шведов и такой любовью воспылали к отчизне и твоему величеству.

– Мы загодя постановили, – прибавил Служевский, – что не будет это сейм, что pluralitas[45] все будет решать; и, стало быть, ничье veto[46] не могло испортить нам дело, мы бы противника саблями изрубили, Все говорили, что надо кончать с этим liberum veto[47], а то от него одному воля, а многим неволя.

– Золотые слова! – воскликнул примас. – Пусть только поднимется Речь Посполитая, и никакой враг нас не утратит.

– А где витебский воевода? – спросил король.

– Подписавши акт, пан воевода в ту же ночь уехал к своему войску под Тыкоцин, где он держит в осаде изменника, виленского воеводу. Теперь он, верно, захватил уже его живым или мертвым.

– Так уверен он был, что захватит его?

– Как в том, что на смену дню ночь придет. Все оставили изменника, даже самые верные слуги. Только ничтожная горсть шведов обороняется там, и помощи им ждать неоткуда. Пан Сапега вот что говорил в Тышовцах: «Хотел было я на один день опоздать, к вечеру покончил бы тогда с Радзивиллом! Да тут дела поважней, а Радзивилла и без меня могут взять, одной хоругви для этого хватит».

– Слава богу! – сказал король. – Ну а где же пан Чарнецкий?

– Столько к нему шляхты привалило, да все самых доблестных рыцарей, что и дня не прошло, а уж он стал во главе отборной хоругви. Теперь тоже двинулся на шведов, ну а где он сейчас, мы про то не знаем.

– А паны гетманы?

– Паны гетманы твоих повелений ждут, государь, а сами держат совет, как вести войну, да с калушским старостой, паном Замойским, сносятся. А покуда что ни день снег валит, и полки к ним валят.

– Все уже покидают шведов?

– Да, государь! Были у гетманов посланцы и от войск пана Конецпольского, что все еще стоят в стане Карла Густава. Но и они, сдается, рады воротиться на службу к законному королю, хоть Карл и не скупится на посулы и осыпает их милостями. Говорили посланцы, что не могут тотчас *recedere*[48], надо время улучшить, но что уйдут непременно, потому опротивели уж им и пиры его, и милости, и подмигиванья, и рукоплесканья. Мочи нет больше терпеть.

– Отовсюду покаянные речи, отовсюду добрые вести, – промолвил король. – Слава пресвятой богородице! Это самый счастливый день в моей жизни, другой такой, верно, тогда наступит, когда последний вражеский солдат покинет пределы Речи Посполитой.

Домашевский при этих словах хлопнул по кривой своей саблице.

– Не приведи бог до такого дожить! – воскликнул он.

– Что это ты говоришь? – удивился король.

– Чтоб последний немчура да на своих ногах ушел из Речи Посполитой? Не бывать этому, государь! Для чего же у нас тогда сабли на боку?

– Ну тебя совсем! – развеселился король. – Вот это удаль так удаль!

Но Служевский не желал отстать от Домашевского.

– Клянусь богом, – вскричал он, – нет на то нашего согласия, я первый наложу свое veto! Мало нам того, что они уйдут прочь, мы за ними следом пойдем!

Примас покачал головой и добродушно засмеялся:

– Ну, села шляхта на конька и скачет и скачет! Боже вас благослови, но только потише, потише! Враг-то еще в наших пределах!

– Недолго уж ему гулять! – воскликнули оба конфедерата.

– Дух переменился, переменится и счастье, – слабым голосом сказал ксендз Гембицкий.

– Вина! – крикнул король. – Дайте мне выпить с конфедератами за наше счастье!

Слуги принесли вина; но вместе с ними вошел старший королевский лакей и сказал:

– Государь, приехал пан Кшиштопорский из Ченстоховы, челом бьет вашему величеству.

– Сюда его, да мигом! – крикнул король.

Через минуту вошел высокий, худой шляхтич; глядел он, как козел, исподлобья. Сперва земно поклонившись королю, а потом не очень почтительно сановникам, он сказал:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков! – ответил король. – Что у вас слышно?

– Мороз трескучий, государь, инда веки смерзаются!

– Ах ты, господи! – воскликнул Ян Казимир. – Ты мне не про мороз, ты про шведов говори!

– А что про них толковать, государь, коль нет их под Ченстоховой! – грубовато ответил Кшиштопорский.

– Слыхали уж мы про то, слыхали, – ответил обрадованный король, – да только то молва была, а ты, верно, прямо из монастыря едешь. Очевидец и защитник?

– Да, государь, участник обороны и очевидец чудес, что являла пресвятая богородица...

– Велики ее милости! – возвел очи горе король. – Надо новые заслужить!

– Навидался я всего на своем веку, – продолжал Кшиштопорский, – но столь явных чудес не видывал, а подробно, государь, доносит тебе обо всем ксендз Кордецкий в этом вот письме.

Ян Казимир поспешно схватил письмо, которое подал ему Кшиштопорский, и стал читать. Он то прерывал чтение и начинал молиться, то снова принимался читать. Лицо его менялось от радости; наконец он снова поднял глаза на Кшиштопорского.

– Ксендз Кордецкий пишет мне, – сказал он шляхтичу, – что вы потеряли славного рыцаря, некоего Бабинича, который порохом поднял на воздух шведскую кулеврину?

– Жизнь свою отдал он за всех, государь! Но толковали люди, будто жив он, и еще бог весть что о нем рассказывали; не знали мы, можно ли верить этим толкам, и не перестали оплакивать его. Не соверши он своего рыцарского подвига, плохо бы нам пришлось.

– Коли так, то перестаньте его оплакивать: жив пан Бабинич, у нас он. Это он первый дал нам знать, что не могут шведы одолеть силы небесные и помышляют уже об отступлении. А потом оказал нам столь великие услуги, что не внаем мы, как и вознаградить его.

– Как же ксендз Кордецкий обрадуется! – с живостью воскликнул шляхтич. – Но коль жив пан Бабинич, то, верно, пресвятая дева особо до него милосердна... Но как же ксендз Кордецкий обрадуется! Отец сына не может так любить, как он его любил! Позволь же и мне, государь, приветствовать пана Бабинича, ведь другого такого храбреца не сыщешь в Речи Посполитой!

Но король снова стал читать письмо.

– Как? – вскричал он через минуту. – Шведы после отступления снова пытались осадить монастырь?

– Миллер как отошел, так больше уж не показывался; один Вжещович явился неожиданно у монастырских стен, видно, надеялся найти ворота обитали открытыми. Они и впрямь были открыты, да мужики с такой яростью набросились на шведов, что тут же обратили их в бегство. Отроду такого не бывало, чтоб мужики в открытом поле так храбро сражались с конницей. Потом подошли пан Петр Чарнецкий с паном Кулешей и разбили Вжещовича наголову.

Король обратился к сенаторам:

– Смотрите, любезные сенаторы, как убогие пахари встанут на защиту отчизны и святой веры!

– Встанут, государь, встанут! – подхватил Кшиштопорский. – Под Ченстоховой целые деревни пусты, мужики с косами ушли воевать. Война повсюду жестокая, шведы кучей принуждены держаться, а уж если поймут мужики которого, то такое над ним чинят, что лучше бы ему прямо в пекло! Да и кто нынче в Речи Посполитой не берется за оружие. Не надо было собачьим детям Ченстохову брать в осаду! Отныне не владеть им нашей землей!

– Отныне не стонать под игом тем, кто кровь свою за нее проливает, – торжественно провозгласил король, – так, да поможет мне господь бог и святой крест!

– Аминь! – заключил примас.

Но Кшиштопорский хлопнул себя по лбу.

– Помутил мороз мне mentem[49], государь! – сказал он. – Совсем было запомнил рассказать тебе еще об одном деле. Толкуют, будто этот собачий сын, познанский воевода, скоропостижно скончался. – Спихватился тут Кшиштопорский, что великого

сенатора при короле и вельможах «собачьим сыном» назвал, и прибавил в смущении:  
– Не высокое звание, изменника хотел я заклеить.

Но никто не обратил внимания на его слова, все смотрели на короля.

– Давно уж назначили мы познанским воеводою пана Яна Лещинского, – сказал король, – еще когда жив был пан Опалинский. Пусть же достойно правит воеводством. Вижу, суд божий начался над теми, кто привел отчизну к упадку, ибо в эту минуту и виленский воевода, быть может, дает ответ высшему судие о своих деяниях... – Тут он обратился к епископам и сенаторам: – Время нам, однако, подумать о всеобщей войне, и желаю я знать, любезные сенаторы, ваше об том суждение.

## ГЛАВА XXVIII

Словно в пророческом наитии вещал король в ту минуту, когда говорил, что виленский воевода предстал уже, быть может, перед судом всевышнего, ибо судьба Тыкоцина в ту минуту была уже решена.

Двадцать пятого декабря витебский воевода Сапега был уже настолько уверен в том, что Тыкоцин падет, что уехал в Тышовцы, поручив Оскерко дальнейшую осаду замка. С последним штурмом он велел подождать скорого своего возвращения. Собрав высших офицеров, вот что сказал им воевода:

– Дошли до меня слухи, что умышляет кое-кто из вас по взятии замка князя виленского воеводу зарубить саблями. Так вот объявляю вам, что коль замок падет в мое отсутствие, я строго-настрого запрещаю посягать на жизнь князя. Я, сказать правду, от таких особ получаю письма, что вам и во сне не снилось, и требуют от меня сии особы, чтобы, захвативши князя, не пощадил я его жизни. Но не хочу я слушать таких приказов, и вовсе не из жалости к изменнику, ибо он того не стоит, а потому, что я в нем не волен и за благо почту представить его сейму на суд в назидание потомкам, дабы ведали они, что ни знатность рода, ни звания не могут оправдать такую измену и спасти злодея от публичной казни.

Вот что сказал воевода, только речь его была куда пространней, ибо сколь доблестен он был, столь же великую и слабость имел, витиею себя мнил и витийствовать любил по всякому поводу, сам себя, бывало, заслушивался, даже глаза закрывал в особо красивых местах.

– В воду мне, что ли, сунуть правую руку, – промолвил Заглоба, – страх как она у меня раззуделась... Одно только скажу, что когда бы я попался в лапы Радзивиллу, он бы, пожалуй, не стал ждать до захода солнца, чтобы голову мне срубить с плеч. Уж он-то хорошо знает, кто больше всего повинен в том, что войско его оставило, хорошо знает, кто его даже со шведами поссорил. Зато я вот не знаю, почему я должен иметь к нему большее снисхождение, нежели он имел бы ко мне?

– А потому, что не ты тут начальник, милостивый пан, и слушать меня должен, – сурово сказал воевода.

– Что слушать я должен, это верно, но не мешало бы иногда и Заглобу послушать. Я и про то смело скажу, что, послушай меня Радзивилл, когда я воодушевлял его стать на защиту отчизны, был бы он нынче не в Тыкоцине, а на поле боя, во главе всех литовских войск.

– Уж не сдастся ли тебе, милостивый пан, что булава в плохие руки попала?

– Не годится мне это говорить, потому я сам ее вложил в эти руки. Всемиловейший король наш Joannes Casimirus должен только утвердить мой выбор, не более того.

Улыбнулся тут воевода, любил он Заглобу и его шуточки.

– Пан брат, – сказал он, – ты Радзивилла сокрушил, ты меня гетманом сделал, – все это твоя заслуга. Позволь же мне теперь спокойно ехать в Тышовцы, чтобы и Сапега мог хоть чем-нибудь послужить отчизне.

Подбоченился Заглоба и задумался на минуту, словно взвешивая, следует иль не следует позволить, наконец глазом подмигнул, головою качнул и сказал с важностью:

– Поезжай, пан гетман, спокойно.

– Спасибо за позволение! – со смехом сказал воевода.

Засмеялись и все офицеры, и воевода в самом деле стал собираться в путь, – карета уж стояла под окнами, – прощаться стал со всеми и каждому давал указания, что делать в его отсутствие; подойдя, наконец, к Володыёвскому, сказал ему:

– Коли замок сдастся, ты, пан, в ответе будешь за жизнь воеводы, тебе я это поручаю.

– Слушаюсь. Волос не спадет с его головы! – ответил маленький рыцарь.

– Пан Михал, – обратился к Володыёвскому Заглоба после отъезда воеводы, – любопытно мне, что это за особы насаждают на нашего Сапежку, чтобы, захвативши Радзивилла, не пощадил он его жизни?

– Откуда мне знать! – ответил маленький рыцарь.

– Ты хочешь сказать, что коль никто тебе на ухо не скажет, так собственный умишко ничего не подшепнет. Это верно. Но, видно, значительные это особы, коль могут воеводе приказывать.

– Может, сам король?

– Король? Да если его собака укусит, он тут же ее простит и сальца велит ей дать. Такое уж у него сердце.

– Не стану спорить с тобой; но толковали, будто на Радзеёвского он очень прогневался.

– Первое дело, всяк может прогневаться, ехемплум[50], мой гнев на Радзивилла, а потом, как же это прогневался, коль тут же стал опекать его сыновей, да так, что и отец лучше бы не смог. Золотое у него сердце, и я так думаю, что это скорей королева посягает на жизнь Радзивилла. Достоянная у нас королева, ничего не скажешь, но нрав у нее бабий, а уж коль баба на тебя прогневается, так ты хоть в щель меж половицами забейся, она иглой тебя выковырнет.

Вздохнул Володыёвский и говорит:

– И за что они на меня прогневались, я ведь отродясь ни одной не поддел.

– Но рад бы, рад. Ты и на тыкоцинские стены потому пеший прешься без памяти, хоть сам в коннице служишь, что думаешь, там не только Радзивилл сидит, а и панна Биллевич. Знаю я тебя, шельму. Что же это ты? Еще не выбросил ее из головы?

– Одно время совсем уж было выбросил; сам Кмициц, будь он здесь, признал бы, что как истинный рыцарь я поступил, не неволил ее и об отказе постарался забыть; но не стану таить: коль она в Тыкоцине и, бог даст, вызволю я опять ее, то теперь усмотрю в том явную волю провиденья. На Кмицица мне нечего оглядываться, ни в чем я перед ним не виноват и тешу себя надеждой, что коль он от нее по доброй воле ушел, так и она до этой поры успела его забыть и не сбудется уж того, что случилось когда-то со мной.

Ведя такой разговор между собою, дошли они до квартиры, где застали обоих Скшетуских, Роха Ковальского и арендатора из Вонсоши.

Не таил витебский воевода от войска, зачем едет в Тышовцы, и рыцари радовались, что столь доблестный союз составляется для защиты отчизны и веры.

– Другим ветром повеяло уж во всей Речи Посполитой, – сказал пан Станислав, – и, слава богу, дует он шведам в глаза.

– А повеяло со стороны Ченстоховы, – подхватил пан Ян. – Вчера были вести, что монастырь все еще стоит и отбивает все более жестокие приступы. Не пропусти же, пресвятая богородица, чтобы враг осквернил твою обитель.

Тут и Редзян со вздохом сказал:

– Мало того, что святыня была бы поругана, сколько бесценных сокровищ попало бы в руки врага. Как подумаешь об этом, кусок в горло нейдет.

– Войско рвется на приступ, трудно удержать людей, – сказал пан Михал. – Вчера хоругвь пана Станкевича самовольно двинулась, без лестниц; покончим, говорят, с изменниками и на помощь Ченстохове пойдём. Стоит только кому-нибудь вспомнить про Ченстохову, все зубами скрежещут и бряцают саблями.

– Да и зачем тут столько наших хоругвей стоит, когда для Тыкоцина и половины хватило бы? – молвил Заглоба. – Заупрямился пан Сапега, вот и все. Не хочет он меня слушать, хочет показать, что и без моих советов обойдется, а вы сами видите, что когда столько народу осаждает одну крепостишку, они только мешают друг дружке, всем-то места нету, чтобы к ней приступить.

– Боевой опыт говорит твоими устами, – подхватил пан Станислав. – Тут уж ничего не скажешь.

– А что? Есть у меня голова на плечах?

– Есть, дядя! – воскликнул вдруг пан Рох и, встопорщив усы, стал поглядывать на присутствующих так, точно искал смельчака, который вздумал бы ему возразить.

– Но у пана воеводы тоже есть голова на плечах, – возразил Ян Скшетуский, – и

столько хоругвей стоит тут потому, что опасаются, как бы князь Богуслав не пришел на помощь брату.

– Так опустошить тогда курфюрсту Пруссию! – сказал Заглоба. – Послать парочку легких хоругвей да охотников кликнуть из черного люда. Я бы первый пошел попробовать прусского пива.

– Не годится пиво зимой, разве что гретое, – заметил пан Михал.

– Так вина дайте, а нет, так горелки иль меду, – потребовал Заглоба.

Другие тоже изъявили желание выпить; арендатор из Вонсоши занялся этим делом, и вскоре несколько сулеек стояло уже на столе. Возвеселились сердцем рыцари при виде их и стали себе попивать, то и дело поднимая заздравные чары.

– Выпьем же немчуре на погибель, чтобы нам тут больше хлеба не жрала! – сказал Заглоба. – Пусть себе шишки в Швеции жрет!

– За здоровье их величеств короля и королевы! – провозгласили Скшетуские.

– И тех, кто остался верен им! – прибавил Володыёвский.

– А теперь за наше здравие!

– За здравие дяди! – рявкнул пан Рох.

– Спасибо! Да залпом пей до дна. Не совсем еще постарел Заглоба! Друзья мои, вот бы выкурить поскорей из норы этого барсука да двинуться под Ченстохову!

– Под Ченстохову! – рявкнул Рох. – На помощь пресвятой деве!

– Под Ченстохову! – закричали все.

– Ясногорские сокровища защищать от этих нехристей! – подхватил Редзян.

– От этих бесстыдников, что только для отвода глаз притворяются, будто в Иисуса веруют, а на самом деле, как я уж говорил, на луну, как собаки, воют, и вся ихняя вера в том только и состоит.

– И они покушаются на ясногорские богатства!

– Ты в самую точку попал, когда об ихней вере говорил, – обратился к Заглобе Володыёвский. – Я сам слышал, как они на луну выли. Потом толковали, будто это ихние псалмы лютеранские; но одно верно, что такие псалмы и собаки поют.

– Как же это? – спросил пан Рох. – Неужто они сплошь собачьи дети?

– Сплошь! – с глубоким убеждением подтвердил Заглоба.

– И король у них не лучше?

– Король хуже всех. Он с умыслом поднял эту войну, чтобы в костелах вволю надругаться над истинной верой.



Встал тут пан Рох, – а был он уже под хмельком, – и говорит:

– Раз так, то не будь я Рох Ковальский, коль в первой же битве не брошусь прямо на шведского короля! Пусть в самой гуще будет он стоять, ничего. Либо он меня, либо я его, а таки наеду я на него с копьем! Дурак я буду, коль этого не сделаю.

С этими словами он сжал кулак и хотел грохнуть им по столу. Перебил бы он и чары и сулейки, да и стол бы расколол, когда бы Заглоба не схватил его поспешно за руку и не сказал ему следующие слова:

– Садись, Рох, и успокойся! И знай, что не тогда мы тебя дураком посчитаем, когда ты этого не сделаешь, а только тогда дураком считать перестанем, когда ты это сделаешь. Невдомек вот только мне, как ты бросишься на короля с копьем, коль не служишь в гусарах?

– Так я стремянных и слуг раздобуду и впишусь в хоругвь к князю Полубинскому. Мне и отец в этом поможет.

– Отец Рох?

– Ну а как же!

– Так пусть он прежде тебе поможет, а покуда не бей стекло, не то я первый голову за это тебе разобью. Об чем, бишь, мы толковали? Да! Об Ченстохове. Luctus[51] меня сгложет, коль мы вовремя не придем на помощь святыне. Luctus меня сгложет, говорю я вам! А все этот изменник Радзивилл да пан Сапега со своими пустыми разговорами.

– Ты, милостивый пан, про воеводу такого не говори! Достойный это человек! – прервал его маленький рыцарь.

– Зачем же он тогда двумя сетями прикрыл Радзивилла, когда и одной бы хватило? Чуть не десять тысяч самой отборной конницы и пехоты стоит под этой конурой. Скоро уж то всей околице сажу вылижут в трубах, ведь что было в печах, уж съели.

– Нам рассуждать не положено, мы должны выполнять приказы.

– Тебе, пан Михал, не положено, а мне положено, потому меня половина прежнего радзивилловского войска полководцем выбрала, и я бы уж за десятую околицу выгнал Карла Густава, когда б не несчастная моя скромность, что велела мне вложить булаву в руки пану Сапеге. Довольно уж он тут промешкал, пусть теперь смотрит в оба, а то как бы не отобрал я назад, что дал ему

– Напился ты, вот и стал храбёр! – сказал Володыевский.

– Ты так думаешь? Ну что ж, посмотрим! Я еще сегодня пойду по хоругвям и кликну клич: кто со мной под Ченстохову хочет, чем локти да коленки об тыкоцинскую известку вытирать, за мной! Кто выбрал меня полководцем, кто дал мне в руки власть, кто верит, что все, что я ни сделаю, послужит на пользу отечеству и вере, становись рядом со мной! Хорошее дело изменников карать, но стократ прекрасно пресвятую деву спасти, мать нашу и державы нашей покровительницу от гнета избавить, выволить из еретического ярма.

Тут Заглоба, у которого давненько шумело в голове, сорвался с места, вскочил на

лавку и давай кричать, как перед собранием:

– Кто католик, кто поляк, кому жаль пресвятой девы, за мной! На помощь Ченстохове!

– Я с тобой! – вскричал, вставая, Рох Ковальский.

Заглоба минуту поглядел на присутствующих и, увидя изумленные немые лица, слез с лавки и сказал:

– Я Сапезку научу уму-разуму! Да будь я подлец, коль до завтра не уведу отсюда половину войска и не двину людей под Ченстохову!

– О боже! Одумайся, отец! – воскликнул Ян Скшетуский.

– Будь я подлец, говорю тебе! – повторил Заглоба.

Друзья и впрямь испугались, как бы он этого не сделал, с него могло стать. Во многих хоругвах роптали люди, недовольные затянувшейся осадой Тыкоцина, и все поголовно скрежетали зубами при мысли о Ченстохове. Достаточно было искры, чтобы разгорелось пламя, особенно если эту искру заронил бы такой упрямый человек и такой прославленный рыцарь, как Заглоба. Большая часть войск Сапеги состояла из новичков, не привыкших к воинской дисциплине и всегда готовых к самочинству, уж они-то все, как один, пошли бы за Заглобой под Ченстохову.

Испугались оба Скшетуские, а Володыёвский воскликнул:

– Сколько труда положил воевода, чтобы собрать хоть какое-нибудь войско, хоть какую-нибудь силу для обороны Речи Посполитой, а уж нашлись смутьяны, готовые разбить хоругви, сеять раздоры. Дорого бы дал Радзивилл за такие советы, потому на его это мельницу воду здесь льют. Ну не стыдно ль тебе, милостивый пан, даже говорить о таком деле!

– Подлец я буду, коль не сделаю этого! – отрезал Заглоба.

– Дядя это сделает! – прибавил Рох Ковальский.

– Да помолчи ты, глупая башка! – прикрикнул на него пан Михал.

Пан Рох вылупил глаза, закрыл рот и сразу вытянулся в струнку.

Володыёвский снова обратился к Заглобе:

– А я подлец буду, коль хоть один человек из моего полка уйдет с тобой, а станешь людей нам смущать, так я первый ударю на твоих охотников!

– Нехристь ты, турок бесстыжий! – закричал Заглоба. – Как? Ты готов ударить на рыцарей девы Марии? Ну-ну!.. Впрочем, мы тебя знаем! Вы думаете, его войско заботит дисциплина? Как бы не так! Он пронюхал, что за тыкоцинскими стенами панна Биллевич. Ради частных своих дел ты, своевольник, не задумаешься правое дело предать! Ты бы рад жеребцом ржать перед девкой, да с ноги на ногу переминаться, да любовью млеть! Только ничего из этого не выйдет. Даю голову на отсечение, что найдутся получше тебя, хоть бы тот же Кмициц, уж он-то никак не хуже.

Володыёвский обвел взглядом присутствующих, словно призывая их в свидетели обиды, какую ему наносят. Затем нахмурился, и все уж решили, что сейчас разразится буря, но был он тоже под хмельком и вдруг расчувствовался.

– Вот она, награда! – воскликнул он. – С малых лет служу я отчизне, сабли из рук не выпускаю! Ни кола у меня, ни двора, ни жены, ни деток, сам один, как копье, что торчит над головою. Самые достойные о себе думают, а я, кроме ран, никаких наград не получил, и меня же еще обвиняют в корысти, называют чуть не изменником.

С этими словами стал он слезы ронять на желтые свои усы, а Заглоба сразу смягчился и вскричал, раскрывая объятия:

– Пан Михал! Тяжко я тебя обидел. Палачу меня надо отдать за то, что такого испытанного друга срамил!

Они упали друг другу в объятия, стали целоваться и друг друга к груди прижимать, а потом снова сели пить мировую, а уж когда гнев их совсем остыл, Володыёвский сказал:

– Ну не будешь нам войско смущать, не будешь своевольничать, дурной пример подавать?

– Не буду, пан Михал! Ради тебя не стану.

– А коль возьмем, даст бог, Тыкоцин, так кому какое дело, чего я там ищу? Чего тут надо мной потешаться, а?

Ошеломил этот вопрос Заглобу, стал он ус кусать, а потом и говорит:

– Нет, пан Михал, как ни крепко люблю я тебя, но только панну Биллевич ты выбрось из головы.

– Это почему же? – удивился Володыёвский.

– Красавица она, assentior[52], – сказал Заглоба, – и стать хороша, да ведь рост-то какой! Никакого нет между вами соответствия. Тебе разве только на плечо ей садиться, как кенарю, да сахарок клевать из уст. Ну еще могла бы она носить тебя, как сокола, на рукавичке и на недруга выпускать, ибо хоть и мал ты, но ядовит instar[53] шершня.

– Ты опять начинаешь? – остановил его Володыёвский.

– Но уж коль начал я, так позволь же мне и кончить: одна только есть для тебя девица, ну прямо бог ее для тебя сотворил, эта вот малюточка... как, бишь, звать-то ее? На ней еще покойный Подбипятка хотел жениться.

– Ануся Борзобогатая-Красенская! – воскликнул Ян Скшетуский. – Да ведь она старая любовь пана Михала!

– Вся с гречишное зернышко, но хороша, бестия, как куколка, – причмокнул губами Заглоба.

Завздыхал тут пан Михал и стал все то же твердить, что всегда твердил, когда при нем вспоминали Анусю:

– Как она там, бедняжка? Ах, кабы нашлась она!

– Так ты бы уж ее из рук не выпустил! И хорошо бы сделал, потому при твоей влюбчивости может и такое случиться, что поймает тебя первая встречная коза и козлом оборотит. Клянусь богом, за всю свою жизнь не встречал я никого, кто бы так был слаб до женского пола. Тебе петухом надо было родиться, под завалиной грестись да «ко-ко-ко!» кричать, скликая хохлаток.

– Ануся, Ануся! – разнежился Володыёвский. – Кабы бог мне ее послал! А может, ее и на свете уж нет или замуж вышла да деток растит...

– И чего было ей выходить! Молода, зелена была еще, когда я ее видал, а потом, хоть и созрела, может, и по сию пору в девушках. Не выходить же ей было за какого-нибудь молокососа, это после пана-то Лонгина! Да и то надо сказать, мало кто в военное время помышляет о женитьбе.

А пан Михал в ответ ему:

– Ты, милостивый пан, мало ее знал. Просто удивительно, как она была добродетельна. Но такая у нее была натура, что никого не могла она пропустить, чтоб не покорить его сердца. Такой уж ее господь сотворил. Даже людей низшего сословия не пропускала, ехемрлунт лекарь княгини Гризельды, итальяшка, который влюбился в нее без памяти. Может, она уж вышла за него и он увез ее за море.

– Не болтай глупостей, пан Михал! – возмутился Заглоба. – Лекарь, лекарь!.. Это чтоб шляхтянка, благородная девица, да пошла за человека такого подлого звания! Я уж тебе как-то говорил: быть этого не может!

– Я и сам на нее обижался: что это, думал я себе, совсем она меры не знает, уж и лекаришек с ума сводит.

– Я тебе говорю, ты ее еще увидишь, – сказал Заглоба.

Дальнейший разговор прервало появление Токажевича, который раньше служил в радзивилловском полку, а после измены гетмана покинул его и был теперь в полку Оскерко знаменосцем.

– Пан полковник, – обратился он к Володыёвскому, – мы петарду хотим взрывать.

– Пан Оскерко уже готов?

– Он еще в полдень был готов и не хочет ждать, потому ночь обещает быть темной.

– Ладно, – сказал Володыёвский. – Пойдем поглядим, да и мушкетерам я прикажу быть наготове, а то как бы шведы из ворот не вырвались. Пан Оскерко сам взорвет петарду?

– Да, сам. С ним и охотников много идет.

– Пойду и я! – сказал Володыёвский.

– И мы! – крикнули оба Скшетуские.

– Какая жалость, что старые глаза ничего не видят впотьмах, – промолвил Заглоба, – а то бы я вас одних не отпустил. Да что поделаешь! Как стемнеет, так я уж и саблей не могу рубиться! Днем, днем, при солнечном свете, люблю я, старик, еще выйти на поле боя. Шведов давайте мне тогда одних силачей, но только в полдень!

– Я тоже пойду! – сказал, подумав, арендатор из Вонсоши. – Когда ворота взорвут, войско, наверно, толпой пойдет на приступ, а там, в замке, может статья, пропасть утвари дорогой да каменье.

Все вышли, потому что на дворе уже смеркалось; один только Заглоба остался; с минуту он прислушивался, как хрустит снег под стопой уходящих, потом стал поднимать сулейки и смотреть на свет, пылавший в очаге, не осталось ли в какой винца.

А друзья его в сумерках направлялись к замку; ветер поднялся с севера и дул все сильнее, выл и бушевал, неся тучи снежной пыли.

– Хороша ночь для взрыва петарды! – сказал Володыёвский.

– Но для вылазки тоже, – заметил Скшетуский. – Надо быть начеку и мушкетеров держать наготове.

– Вот бы дал бог, – сказал Токажевич, – чтоб под Ченстоховой еще сильней мело. Что ни говори, нашим в стенах тепло. А вот шведов бы на страже замерзло, вот бы замерзло! Чтоб им пусто было!

– Страшная ночь! – сказал пан Станислав. – Слышите, как воет ветер, словно татары по воздуху в атаку летят!

– Или черти Радзивиллу requiem[54] поют, – прибавил Володыёвский.

## ГЛАВА XXIX

А спустя несколько дней великий изменник глядел в замке, как сумрак ложится на снежный саван, и слушал вой бури. Медленно догорал светильник его жизни. В полдень князь еще ходил, еще смотрел со стен на шатры и деревянные шалаши войск Сапеги, а через два часа разнемогся так, что его пришлось унести в покои.

С тех кейданских времен, когда гетман посягал на корону, он изменился до неузнаваемости. Волосы на голове побелели, под глазами легли красные круги, лицо обвисло и распухло, отчего казалось еще больше, это было уже лицо полутрупа, сплошь в синих пятнах, страшное от адских мук, которые изображались на нем.

Считанные часы оставалось гетману жить; но так долог был его путь, что пережил он не только веру в себя и в свою счастливую звезду, не только все свои надежды и замыслы, но и такое глубокое падение, что когда он глядел на дно пропасти, в которую скатился, то самому себе не хотел верить. Все его обмануло: события, расчеты, союзники. Он, кому мало было того, что он был самым могущественным польским магнатом, князем Священной Римской империи, великим гетманом и виленским воеводой, он, кому всей Литвы было мало, чтобы удовлетворить честолюбивые стремленья и насытить алчность, он был заперт в тесной крепостце, где ждали его только смерть или неволя. Всякий день ждал он, которая из двух страшных богинь взойдет в дверь, чтобы унести его душу и тело, наполовину

ставшее уже добычею тленья.

Еще недавно из его земель, из его поместий и вотчин, можно было образовать владетельное княжество, а теперь он не был господином даже в тыкоцинских стенах.

Еще несколько месяцев назад он вел переговоры с соседними королями, а сегодня только один шведский капитан с презрением и нетерпением слушал его приказы и смел навязывать ему свою волю.

Когда его покинули войска, когда из магната и властелина, который в трепет повергал всю страну, он превратился в бессильного нищего, который сам нуждался в помощи и спасении, Карл Густав пренебрег им. Он превознес бы до небес сильного приспешника, но надменно отвернулся от просителя.

Как разбойник Костка Наперский был некогда осажден в Чорштыне[55], так теперь он, Радзивилл, осажден был в Тыкоцинском замке. И кем? Сапегой, самым заклятым своим врагом!

Когда они схватят его, то на суд повлекут хуже, чем разбойника, ибо он изменник.

Его оставили родные, близкие, друзья. Войска захватили его поместья, расточились как прах сокровища и богатства, и этому властелину, этому князю, который некогда роскошью удивлял и ослеплял французский двор, который некогда принимал на пирах тысячные толпы шляхты, который некогда держал, поил, кормил и одевал по десять тысяч собственного войска, нечем было теперь поддержать собственные слабеющие силы, и – страшно сказать! – он, Радзивилл, в последние минуты своей жизни, в годину смерти, был голоден!

В замке давно уже не хватало припасов; из скудных остатков шведский комендант выдавал скупые доли, а князь не хотел его просить.

Если бы жар, что снедал его, отнял у него и память! Нет! Грудь его дышала все тяжелей, дыхание обращалось в хрип, стыли опухшие ноги и руки; но сознание, несмотря на минуты бреда, несмотря на страшные призраки и виденья, которые носились перед его взором, большую часть времени оставалось ясным. И видел князь, как низко он пал, как убог и унижен он, видел прежний непобедимый полководец, какое потерпел он поражение, и столь безмерны были его страданья, что сравниться с ними могли разве только его грехи.

Ибо, как Ореста эринии, терзали его к тому же упреки совести, и нигде во всем мире не было обители, куда мог бы он скрыться от них. Они терзали его днем, терзали ночью, на поле битвы и под кровом; гордость не могла ни устоять перед ними, ни отогнать их прочь. Чем глубже было его падение, тем жесточе они терзали его. Бывали такие минуты, когда он готов был разодрать на себе ризы. В то время, как враги отовсюду вторглись в отчизну, в то время, как чужие народы скорбели об ее злополучном уделе, о страданьях ее и пролитой крови, он, великий литовский гетман, вместо того чтобы выйти на поле битвы, вместо того чтобы отдать за нее последнюю каплю крови, вместо того чтобы потрясти весь мир, как Леонид или Фемистокл, вместо того чтобы последний кунтуш заложить, как Сапега, связался с одним из врагов и на родину-мать, на собственного государя поднял святотатственную руку и обагрил ее родной, дорогой ему кровью! Он все это свершил, а теперь стоит на пороге не только позора, но и смерти, и близок уж час расплаты там, в ином мире... Что ждет его там?

Волосы вставали у него дыбом, когда он думал об этом. Ибо, когда он поднял руку на отчизну, он самому себе представлялся великим по сравнению с нею, теперь же все изменилось. Теперь он умалился, Речь же Посполитая возвысилась, восстав из крови и пепла, и казалась ему все выше, окутанная таинственным ужасом, полная священного величия, страшная. И все росла она в его глазах, становилась все неприступней. Прах и пепел был он перед нею и как князь, и как гетман, и как Радзивилл. Он не мог постигнуть умом, что сие означает. Словно неведомые волны вскипали вокруг, неслись на него с ревом и шумом и, нахлынув, все страшной громоздились одна на другую, и он понимал, что они неминуемо поглотят его, что эта пучина поглотила бы сотни таких, как он. Но почему же не видел он раньше этой грозной и таинственной силы, почему, безумец, посягнул на нее? Когда эти мысли кипели в его уме, страх обнимал его перед матерью-родиной, перед Речью Посполитой, ибо не узнавал он лика ее, прежде столь кроткого и незлобного.

Дух его был сокрушен, и ужас обитал в груди. Минутами он думал, что вокруг него совсем другая страна, другие люди. Сквозь осажденные стены проникал слух обо всем, что творилось в осажденной Речи Посполитой, а дела творились в ней удивительные, необычайные. Начиналась война не на жизнь, а на смерть со шведами и изменниками, война, тем более страшная, что никто ее не предвидел. Речь Посполитая начала карать. Был это как бы гнев божий за оскорбленное величие.

Когда сквозь стены проникла весть об осаде Ченстоховы, кальвинист Радзивилл испугался, и страх не покинул уже больше его души, ибо тогда он и увидел впервые те таинственные волны, которые, поднявшись, должны были поглотить шведов и его; тогда нашествие шведов показалось ему не нашествием, но святотатством и кара неизбежной. Тогда впервые спала пелена с его глаз, и он увидел изменившийся лик отчизны, уже не матери, но карающей владычицы.

Все, кто остался ей предан и служил ей верой и правдой, в гору пошли и возвышались все больше, кто согрешил против нее – падали все ниже.

«Стало быть, – говорил себе князь, – никому нельзя помышлять ни о собственном возвышении, ни о возвышении своего рода, но ей отдать надлежит жизнь, силы и любовь?»

Однако для него все было поздно, ему нечего было отдать, ничего не было у него впереди, разве только загробная жизнь, призрак которой повергал его в трепет.

Со времени осады Ченстоховы, когда общий страшный крик вырвался из груди великой страны, когда как бы чудом нашлась в ней дивная и поныне непостижимая и неведомая сила, когда внезапно словно таинственная потусторонняя рука поднялась на ее защиту, новые сомнения стали терзать душу князя, ибо не мог он отогнать прочь страшную мысль, что это сам бог стоит за дело отчизны и за ее веру.

А когда в голове его носились такие мысли, он начинал сомневаться в собственной вере, и отчаяние его переходило тогда даже меру его грехов.

Падение на земном поприще, падение духовное, тьма, ничтожество – вот до чего дошел он, до чего дослужился, служа самому себе.

А ведь в начале похода из Кейдан в Подлясье он был еще полон надежд. Правда, его бил Сапега, военачальник гораздо менее искушенный, правда, его покидали остатки хоругвей, но он еще тешил себя надеждой, что на помощь ему вот-вот придет Богуслав. Прилетит молодой радзивилловский орленок во главе прусских,

лютеранских полчищ, которые не последуют примеру литовских хоругвей и не перейдут к папистам, и тогда они вдвоем раздавят Сапегу, уничтожат его силы, уничтожат конфедератов и лягут на труп Литвы, как два льва на труп лани, и одним рыком отпугнут тех, кто вздумал бы вырвать ее у них.

Но время текло, войска Януша таяли; даже иноземные полки передавались грозному Сапеге; уходили дни, недели, месяцы, а Богуслав не являлся.

Наконец началась осада Тыкоцина.

Шведы, горсть которых осталась с Янушем, защищались геройски, ибо, совершив жестокие злодеяния, они знали, что, даже сдавшись, не спасутся от карающей руки литвинов. В начале осады князь еще надеялся, что, может, в такой беде сам шведский король двинется ему на помощь или Конецпольский, который находился в стане Карла с шестью тысячами коронной конницы. Но напрасны были его надежды. Никто о нем не думал, никто не приходил на помощь.

– Богуслав! Богуслав! – повторял князь, расхаживая по тыкоцинским покоям. – Коль не хочешь ты брата спасти, спаси же хоть Радзивилла!

Наконец, в порыве отчаяния князь решился на шаг, против которого восставала вся его гордость: он попросил помощи у князя Михала из Несвижа.

Однако письмо перехватили по дороге люди Сапеги, и витебский воевода в ответ переслал ему письмо князя кравчего, которое получил за неделю до этого.

Князь Януш прочел в нем, между прочим, следующие строки:

«Если до тебя, вельможный пан, дойдет слух, будто я собираюсь идти на помощь моему родичу, князю виленскому воеводе, не верь, вельможный пан, ибо с тем только я держусь заодно, кто жаждет сохранить верность отчизне и нашему королю и возродить давние вольности преславной Речи Посполитой. Не таков я, чтобы укрывать изменников от справедливой и заслуженной кары. Богуслав тоже не придет князю на помощь, ибо, как я слышал, курфюрст больше о себе думает и не хочет расплять свои силы; *quod attinet* Конецпольского, так останься княгиня, супруга Януша, вдовою, он, верно, к ней присватается, стало быть, и ему на руку, чтобы князь воевода поскорее угас».

Это письмо, адресованное Сапеге, лишило несчастного Януша последней надежды, и ничего другого не осталось больше ему, как ждать, когда свершится приговор судьбы.

Близился конец осады.

Слух об отъезде Сапеги мгновенно проник через стены; но недолгой была надежда на то, что с отъездом воеводы прекратятся враждебные действия, напротив, в пехотных полках замечено было небывалое движение. Впрочем, несколько дней прошло сравнительно спокойно, так как попытка взорвать ворота петардой кончилась ничем; но наступило тридцать первое декабря, и стало очевидно, что готовится если не приступ, то, уж во всяком случае, новый пушечный обстрел поврежденных стен и помешать этому может теперь только надвигающаяся ночь.

День клонился к закату. Князь лежал в так называемой «угловой» зале, расположенной в западной части замка. Целые смолистые корневища сосен горели в



огромном камине, бросая живой отблеск на белые и голые стены. Князь лежал навзничь на турецкой софе, которую нарочно выдвинули на середину покоя, чтобы до него доходило тепло от огня. Ближе к камину спал в тени на коврике паж; подле князя дремали в креслах пани Якимович, когда-то в Кейданах надзиравшая за придворными дамами, второй паж, лекарь, он же княжеский астролог, и Харламп.

Харламп не покинул князя, хотя из всех прежних офицеров едва ли не он один остался при нем. Тяжела была его служба, ибо сердцем и душой старый солдат был за стенами Тыкоцинского замка, в стане Сапеги, и все же он хранил верность старому своему военачальнику. От голода и лишений иссох бедный солдат, стал совсем скелетом, один нос от него остался, и тот казался еще больше, да усищи, как мочала. Он был в полном вооружении: в панцире, наплечниках и мисюрке с железной сеткой, ниспадавшей на плечи. Блестели на руках и железные налокотники, ибо вернулся Харламп со стен, куда ходил поглядеть, что творится в стане Сапеги, и где каждый день искал смерти. Теперь он задремал от усталости, хотя князь так страшно хрипел, точно умирать собрался, и ветер выл и свистел снаружи.

Внезапно короткие судороги стали потрясать огромное тело Радзивилла, он перестал хрипеть. Тотчас пробудились все, кто его окружал, посмотрели на князя, переглянулись.

Но он сказал:

– Точно тяжесть свалилась у меня с груди: полегчало мне! – Затем повернул голову, пристально поглядел на дверь и наконец позвал: – Харламп!

– Слушаю, ясновельможный князь.

– Чего надобно тут Стаховичу?

Ноги затряслись у бедного Харлампа, ибо столь же суеверен он был, сколь и храб в бою; он поспешно огляделся и сказал сдавленным голосом:

– Нет тут Стаховича. Ясновельможный князь, ты велел расстрелять его в Кейданах.

Князь закрыл глаза и не ответил ни слова.

Некоторое время слышалось только протяжное и жалобное завывание бури.

– Плач людской слышится мне в вое бури, – снова промолвил князь, в полном сознании открывая глаза. – Но это не я, это Радзеёвский привел шведов.

Никто ему не ответил, и через минуту он прибавил:

– Он больше моего в том повинен, больше моего, больше моего.

И словно бодрость влилась в его грудь, так обрадовала его мысль о том, что нашелся человек, который был виновней его.

Но, видно, тут же тяжелая дума обуяла князя, лицо его потемнело, и он несколько раз повторил:

– Иисусе! Иисусе! Иисусе!

И снова стал задыхаться и хрипеть еще страшнее, чем раньше.

Тем временем с улицы донеслись отголоски мушкетных выстрелов, сперва редких, потом все более частых; но в снежной метели и в вое бури они показались не очень громкими, так, будто кто-то стал упорно стучаться в ворота.

– Бьются! – сказал княжеский лекарь.

– Как всегда! – ответил Харлам. – Люди мерзнут в метель, вот и бьются, чтобы разогреться.

– Шестой уж день эта снежная вьюга, – сказал лекарь. – Великие перемены произойдут в королевстве, ибо небывалое это явление.

– Дал бы бог! – ответил ему Харлам. – Хуже все равно быть не может.

Дальнейший разговор прервал князь, которому снова стало полегче.

– Харлам!

– Слушаю, ясновельможный князь.

– От болезни мне это мерещится, или Оскерко и впрямь дня два назад хотел взорвать петардой ворота?

– Хотел, ясновельможный князь, да шведы выхватили петарду, самого Оскерко легко ранили и отбили сапезинцев.

– Коль легко его ранили, он снова попытается взорвать... А какой нынче день?

– Последний день декабря, ясновельможный князь.

– Боже, буди милостив ко мне, грешному! Не доживу уж я до нового года. Давно мне пророчили, что каждый пятый год смерть стоит у меня в головах.

– Бог милостив, ясновельможный князь.

– Бог с паном Сапегой, – глухо ответил Радзивилл.

Вдруг он стал озираться.

– Холодом от нее на меня пышет! – сказал он. – Не вижу я ее; но чую, тут она.

– Кто, ясновельможный князь?

– Смерть!

– Во имя отца, и сына, и святого духа!

Наступила минута молчания, слышно было только, как пани Якимович шепчет молитвы.

– Скажите, – прерывистым голосом снова заговорил князь, – вы в самом деле верите, что тем, кто не вашей веры, нет спасенья?

– И в смертный час можно отречься от еретической прелести, – ответил Харламп.

В эту минуту отголоски пальбы стали еще чаще. От рева пушек задребезжали стекла, жалобным звоном отвечая на каждый залп.

Некоторое время князь слушал спокойно, потом приподнялся на изголовье, глаза его медленно стали расширяться, зрачки заблестели. Он сел, минуту сжимал руками голову и вдруг крикнул, словно в припадке безумия:

– Богуслав! Богуслав! Богуслав!

Харламп как оглашенный бросился вон.

Весь замок дрожал и сотрясался от рева пушек.

Внезапно послышался гул нескольких тысяч голосов, ужасающий грохот сотряс стены, так что из камина посыпались на пол головни и угля, и в ту же минуту Харламп снова вбежал в покой.

– Сапезинцы взорвали ворота! – крикнул он. – Шведы бежали на башню! Враг сейчас будет здесь, ясновельможный князь!..

Слова замерли у него на губах. Радзивилл сидел на софе, глаза его вышли из орбит; раскрытыми губами он ловил воздух, зубы у него оскалились, руками он раздирал софу и, с ужасом глядя в глубь покоя, кричал, вернее хрипел между вздохами:

– Это не я! Это Радзеёвский!.. Спасите!.. Что вам надо?! Возьмите корону!.. Это Радзеёвский!.. Спасите, люди добрые! Иисусе! Иисусе! Дева Мария!

Это были последние слова Радзивилла.

Жестокая икота поднялась у него, глаза еще ужасней вышли из орбит, он весь напрягся, упал навзничь и остался недвижим.

– Кончился! – сказал лекарь.

– Деву Марию звал, слышали? А ведь кальвинист! – промолвила пани Якимович.

– Подбросьте дров в огонь! – приказал Харламп испуганным пажам.

Сам же подошел к покойнику, закрыл ему глаза, затем снял с панциря позолоченный образок богородицы, который носил на цепочке, и, сложив Радзивиллу руки на груди, вложил в ладони образок.

Огонь отразился в золотых ризах образка, отблеск упал на лицо воеводы, и посветлело оно так, что казалось, никогда не было таким спокойным.

Харламп сел рядом с покойником и, опершись локтями на колени, закрыл ладонями лицо.

Только рев пушек прерывал молчание.

Внезапно случилось нечто ужасное. Сперва все страшно озарилось кругом, словно

весь мир обратился в пламя, и почти одновременно раздался такой грохот, точно земля провалилась под замком. Стены заколебались, потолок раскололся с оглушительным треском, все рамы посыпались на пол, и стекла разбились на сотни осколков. В то же мгновение тучи снега ворвались в пустые проемы, и буря угрюмо завывала в углах залы.

Все, кто был в покое, пали ниц, все онемели от ужаса.

Первым поднялся Харламп и тотчас бросил взгляд на покойника; но воевода лежал спокойно и прямо, только золотой образок чуть склонился в ладонях.

Харламп перевел дух. Он был уверен, что это тьмы бесов ворвались в залу, чтобы унести тело князя.

– Слово стало плотью! – произнес он. – Это шведы, наверно, взорвали порохов башню и себя вместе с нею.

Но с улицы не долетало ни звука. Видно, люди Сапеги остановились в немом изумлении, а может, испугались, подумали, что замок весь заминирован и порох будет взрываться и дальше.

– Подбросьте дров в огонь! – приказал пажам Харламп.

И снова покой озарился ярким, неровным светом. Смертельная тишина стояла кругом, только дрова трещали, только буря выла, да в пустые проемы окон все гуще валил снег.

Но вот раздался слитный шум голосов, затем послышался звон шпор и топот многочисленных шагов; дверь распахнулась настежь, и в залу ворвались солдаты.

Все осветилось кругом от обнаженных сабель, и рыцари в шлемах, колпаках и высоких меховых шапках толпою хлынули в дверь. Многие из них держали в руках фонари и светили, осторожно ступая, хотя в зале и без того было светло от огня.

Наконец из толпы выбежал маленький рыцарь, весь в финифтяных латах, и крикнул:

– Где виленский воевода?

– Здесь! – ответил Харламп, показывая на тело, лежавшее на софе.

Володыёвский взглянул и сказал:

– Он умер!

– Он умер! Он умер! – пробежал шепот по зале. – Он умер, этот изменник и предатель!

– Да, – угрюмо сказал Харламп. – Но коль оскверните вы его прах и размечете саблями, злое дело сделаете, ибо перед смертью зывал он к пресвятой богородице и образок ее держит в руках!

Слова эти всех поразили. Крики смолкли.

Солдаты шагнули к софе, стали обходить ее кругом, глядеть на покойника. Те, у

кого были фонари, светили ему прямо в лицо, а он лежал огромный, мрачный, с гетманским величием и холодным спокойствием смерти на лице.

По очереди подходили к нему солдаты, а с ними и офицеры. Станкевич приблизился, с ним оба Скшетуские, за ними Гороткевич, Якуб Кмициц, Оскерко, Заглоба.

– Правда! – тихим голосом произнес Заглоба, точно опасаясь разбудить князя. – Образок богородицы держит в руках, и сияние падает на его лицо...

При этих словах старик снял с головы свой колпак. В ту же минуту обнажили головы и остальные. Все благоговейно смолкли.

– Да! – со вздохом прервал молчание Володыёвский. – Он стоит уже перед судом всевышнего и не причастен людям. – Тут он повернулся к Харлампу: – Но ты, несчастный, почему ты ради него предал отчизну и государя?

– Сюда его! – раздались голоса.

Харламп встал и, вынув из ножен свою саблю, со звоном кинул ее наземь.

– В вашей я власти, рубите! – сказал он. – Не ушел я с вами от него, когда могуч он был, как король, так не пристало мне покидать его, когда был он в беде и никого с ним не осталось. Эх, не нагулял я жиру на этой службе, вот уж три дня маковой росинки не было во рту, и ноги подо мною подламываются. Но в вашей я власти, рубите, потому и в том я должен признаться... – тут у Харлампа задрожал голос, – ...что любил его.

Он пошатнулся при этих словах и, наверно, упал бы, если бы Заглоба не подхватил и не поддержал его.

– О, боже! – вскричал старый рыцарь. – Дайте же ему есть и пить!

Все были потрясены; рыцари подхватили Харлампа под руки и увели из залы. Набожно крестясь, стали расходиться и солдаты.

По дороге на квартиру Заглоба все что-то раздумывал, колебался, покашливал, наконец, дернул Володыёвского за полу.

– Пан Михал! – окликнул он его.

– Чего тебе?

– Не держу я больше зла на Радзивилла. Что поделаешь, покойник – он и есть покойник! Хоть грозился мне голову срубить, но прощаю я это ему ото всего сердца.

– Перед судом всевышнего он! – ответил Володыёвский.

– Вот-вот! Кабы знал я, что это ему поможет, так бы и на службу дал за его душу, потому видится мне, плохи там его дела.

– Бог милостив!

– Милостив-то он милостив, да небось на еретиков тоже без омерзения смотреть не

может. А ведь Радзивилл не только еретик, но и изменник. Вот оно дело какое!

Тут Заглоба задрал голову и стал смотреть вверх.

– Боюсь я, – сказал он через минуту, – как бы из тех шведов, что взорвали себя порохом, на голову мне который не свалился, на небесах-то их как пить дать не приняли!

– Храбрые солдаты! – с уважением сказал пан Михал. – Предпочли погибнуть, но не сдаться. Мало таких на свете!

Они в молчании продолжали свой путь; вдруг пан Михал остановился.

– Панны Биллевич не было в замке, – сказал он.

– А ты откуда знаешь?

– Пажей спрашивал. Богуслав увез ее в Тауроги.

– Ну-ну! – сказал Заглоба. – Это ведь все едино, что козу отдать волку стеречь. Но тебя это не касается, тебе та малютка назначена.

### ГЛАВА XXX

После прибытия короля Львов стал настоящей столицей Речи Посполитой. В одно время с королем сюда со всех концов страны съехалась большая часть епископов и все те сановники, которые не служили врагу. Изданные Lauda[56] призвали к оружию шляхту Русского и соседних с ним воеводств, а так как шведы в тех краях вовсе не бывали, явилось ее множество и во всеоружии. Люди не могли нарадоваться, глядя на это ополчение; ничем не напоминало оно той великопольской шляхты, которая под Уйстем оказала врагу столь слабое сопротивление. Сюда прибывала грозная и воинственная шляхта, вскормленная в седле и на поле брани, за время постоянных набегов татарских орд привыкшая к кровопролитию и пожарам и саблей владевшая лучше, нежели латынью. Война с Хмельницким, которая длилась непрерывно все последние семь лет, тоже многому ее научила, так что в ополчении не было человека, который не побывал бы в огне по меньшей мере столько раз, сколько было ему лет. Всё новые и новые рои шляхты прибывали во Львов. Одни двигались с крутых склонов Бещад, другие с берегов Прута, Днестра и Серета; кто жил на извилистых притоках Днестра, кто жил на широком Буге, кто на Синюхе не был стерт с лица земли крестьянским восстанием, кто остался цел на татарских рубежах, все по зову короля направлялись теперь во град Льва, чтобы оттуда двинуться на неведомого еще врага. Валом валила шляхта с Воьлини и из воеводств еще более отдаленных, такую ненависть разожгла во всех душах страшная весть о том, что под Ченстоховой враг поднял святотатственную руку на покровительницу Речи Посполитой.

Казачи не смели чинить шляхте препоны, ибо растрогались сердца даже самых закоренелых, да и татары принуждали их слать к королю послов и челом бить ему и в сотый раз приносить присягу на верность. Грозное для врагов короля татарское посольство под водительством Субагази-бея находилось во Львове; от имени хана оно предлагало в помощь Речи Посполитой стотысячную орду, из которой сорок тысяч могли немедленно двинуться в поход из-под Каменца.

Кроме татарского посольства, прибыли послы из Семиградья для ведения переговоров о наследнике престола, которые были начаты с Ракоци; находился во Львове и посол

цесаря, был там и папский нунций, приехавший вместе с королем; что ни день, являлись посланцы от коронных и литовских войск, от воеводств и земель, свидетельствуя свою верность королю и свое желание грудью встать на защиту отчизны от вражеского нашествия.

Фортуна благоприятствовала королю; всем народам и временам на удивление воочию поднималась Речь Посполитая, которая совсем еще недавно покорствовалась врагу. Жадой войны и возмездия и в то же время бодростью переполнились души людей. Все не только желало победы, но и верило в нее. И как весной обильный теплый дождь растопляет снега, так великая надежда растопила все сомнения. Из уст в уста передавались все новые добрые вести, хоть случалось, что бывали они и ложными. Люди упорно рассказывали об отбитых замках, о битвах, в которых безвестные полки под водительством безвестных дотеле полководцев громили шведов, о несметных толпах мужиков, которые, как туча саранчи, поднимались на врага. Имя Стефана Чарнецкого было у всех на устах.

Неверны бывали подробности; но в самих этих слухах, вместе взятых, как в зеркале, отражалась картина событий, происходивших во всей стране.

Во Львове словно каждый день был праздник. Когда приехал король, город торжественно встречал его: духовенство трех вероисповеданий, городские советники, купечество, цехи. На площадях и улицах, куда ни кинь глазом, реяли белые, синие, пурпурные и золотые хоругви. Победоносно поднимали львовяне своего золотого льва на голубом поле, с гордостью вспоминая об отраженных недавно набегах казаков и татар. Кликами встречали короля толпы народа при каждом его появлении, а улицы теперь были всегда полны.

Жителей во Львове стало за эти дни вдвое больше. Кроме сенаторов и епископов, кроме шляхты, в город хлынули толпы крестьян, привлеченных молвою о том, будто король замышляет улучшить крестьянскую участь. Сермяги и бурки смешались с желтыми кафтанами мещан. Предприимчивые смуглолицые армяне раскинули палатки с товарами и оружием, которое раскупала съехавшаяся в город шляхта.

С посольствами было много и татар, и венгерцев, и валахов, и молдаван, множество было народу, множество войск, множество разных лиц, множество удивительных, пестрых и ярких одежд, множество панской челяди: высоченных гайдуков и янычар, красавцев казаков, скороходов, одетых на иноземный манер.

На улицах с утра до ночи гомон, то проезжают хоругви постоянного войска, то отряды конной шляхты, крики, команда, блеск оружия и обнаженных сабель, конское ржание, грохот пушек и песни, полные угроз и проклятий шведам.

А колокола в польских костелах, в армянских и православных церквах звонили неумолчно, возвещая всем, что король во Львове и что Львов первой из столиц, к вящей своей славе, принял короля-изгнанника.

Везде, где только показывался король, люди падали на колени, бросали в воздух шапки, и клики «vivat!» оглашали улицы; кланялись люди и каретам епископов, благословлявших толпы из окон, кланялись и сенаторам и их встречали кликами, отдавая тем самым дань уважения за верность королю и отчизне.

Так кипел весь город. Даже по ночам на площадях жгли костры, и у огня грелись те, кто из-за крайней тесноты не мог найти приют под крышей и, невзирая на зиму и мороз, остался на улице.

Король все дни проводил на советах с сенаторами. Он принимал иноземные посольства, посланцев земель и войск. Изыскивались средства для пополнения пустой казны; все меры принимались, чтобы раздуть пожар войны повсюду, где она еще не пылала.

Летели гонцы в большие города, во все концы Речи Посполитой до самой Пруссии и святой Жмуди, в Тышовцы, к гетманам, к Сапеге, который, разрушив Тыкоцин, большими переходами шел со своим войском на юг; скакали гонцы и к великому хорунжему Конецпольскому, который все еще оставался в стане шведов. Туда, где в том была надобность, посылали деньги, равнодушных поднимали манифестами.

Король одобрил, освятил и утвердил Тышовецкую конфедерацию и сам вступил в нее, взяв все бразды в свои неутомимые руки; он работал с утра до ночи, полагая, что благо Речи Посполитой важнее отдыха и здоровья.

Но на этом он не остановился: от своего имени и от имени сословий положил он заключить союз, который не могли бы одолеть никакие силы на земле и который в будущем мог бы послужить делу возрождения Речи Посполитой.

Наконец наступила эта минута.

Видно, шляхта прознала обо всем от сенаторов, а уж от шляхты и черный народ, ибо с самого утра все говорили о том, что во время обедни важное произойдет событие, что король будет давать торжественные обеты. Говорили об улучшении крестьянской участи, о союзе с самим небом; но кое-кто твердил, что дело это небывалое и нет тому примера в истории; так или иначе, любопытство было возбуждено, и все чего-то ждали.

День был морозный, ясный; в воздухе, искрясь, крутились тоненькие снежные блестки. Перед кафедральным собором длинными шпалерами, с мушкетами к ноге, стояла пехота из крестьян Львовской земли и Жидачовского повета, в синих полушубках с золотым позументом, да половина венгерского полка; перед солдатами, как пастухи перед стадом, прохаживались офицеры с камышовыми тростями в руках. Между шпалерами рекой текли в костел пестрые толпы народа. Впереди шляхта и рыцари; за ними городской сенат с золотыми цепями на шеях и свечами в руках, во главе с бургомистром, славным на все воеводство лекарем в черной бархатной мантии и берете; за сенатом шествовали купцы, среди которых было много армян в зеленых, затканых золотом шапочках и просторных восточных халатах. Хоть и были они другой веры, шли, однако, со всеми, представляя купеческое сословие. За купечеством следовали цехи со знаменами: мясники, пекари, сапожники, золотых дел мастера, оловянщики, слесари, оружейники, сафьянщики, медовары, – каких только не было там мастеров! Представители каждого цеха шли со своим знаменем, которое нес знаменосец, самый красивый и видный из всех мастеров. А уж за цехами валом валили всякие братства и толпы черни в холщовых кафтанах, в тулупах, армяках, сермягах, обитатели предместий, мужики. Всех пускали в костел, покуда не набился он битком людьми всякого звания и обоего пола.

Стали, наконец, подкатывать и кареты; но, минуя паперть, они останавливались поближе к главному алтарю, у особого входа для короля, епископов и вельмож. Солдаты то и знай делали на караул, потом опускали мушкеты к ноге и дули на озябшие руки, и тогда виден был пар, выходящий из их уст.

Подъехал король с нунцием Видоном, затем архиепископ гнезненский с епископом,



князем Чарторыйским, затем епископ краковский, архиепископ львовский, великий коронный канцлер, много воевод и каштелянов. Все они исчезали в боковых дверях, а кареты их, придворная челядь, кучера и прочие слуги образовали как бы новое войско, стоявшее сбоку костела.

Обедню вышел служить апостольский нунций Видон в белой, шитой золотом и жемчугом ризе поверх красной мантии.

Аналой для короля поставили на амвоне, между главным алтарем и седалищами каноников; перед аналоем простлали турецкий ковер. Седалища заняли епископы и светские сановники.

Проникая сквозь витражи окон и сливаясь с блеском свечей, от которых алтарь словно пылал огнем, разноцветные лучи падали на лица вельмож, скрытые в тени седалищ, на белые бороды и величественные фигуры, на золотые цепи, бархат и пурпур одежд. Казалось, это римский сенат восседает, столь важны и величавы были старцы; лишь кое-где мелькнет среди седых голов лицо сенатора-военачальника или светлая голова юноши; все взоры обращены на алтарь, все молятся; мерцает и колеблется пламя свечей, дым каминов струится и вьется в сиянии их. Позади амвона народу полным-полно, и хоругви над головами, как радуга, как цветы, красками переливаются на солнце.

По обычаю, ниц повергся его величество Ян Казимир, смиряясь пред величием Божиим. Но вот нунций взял чашу из дарохранительницы и приблизился к аналою. С просветленным ликом встал с колен король, раздался голос нунция: «Ессе Agnus Dei...»[57], и Ян Казимир причастился.

Некоторое время стоял он со склоненною головой на коленях, наконец, поднялся, устремил очи горе и воздел руки.

В костеле наступила вдруг такая тишина, что не слышно стало дыхания толпы. Все поняли, что пришла торжественная минута, что король принесет сейчас какой-то обет; все напрягли слух, а король все стоял с воздетыми руками; наконец, взволнованным, но звучным, как колокол, голосом он стал говорить:

– О, приснодева, великая мать бога во плоти! Я, Ян Казимир, милостью сына твоего, царя царей и моего владыки, и милостью твоею король, припадая к святым твоим стопам, с тобою сей союз заключаю: тебя избираю я ныне покровительницей моею и владычицей моего королевства. Себя, королевство мое Польское, Великое княжество Литовское, Русское, Прусское, Мазовецкое, Жмудское, Лифляндское и Черниговское, войско обоих народов и простой люд вверяю особой опеке твоей и защите, о милосердии твоем в горе, постигшем ныне королевство мое, и о помощи против врага смиренно молю...

Тут король упал на колени и молчал с минуту времени, а в костеле тишина стояла мертвая. Поднявшись с колен, продолжал король:

– Памятуя великое твое милосердие и долгом своим почитая и впредь служить тебе ревностно, обет приношу тебе от своего имени и от имени епископов, сенаторов шляхты и простого люда поспешествовать тому, чтобы во всех землях королевства Польского люди сыну твоему Христу, Спасителю нашему, поклонялись и хвалу ему воздавали, и, коль сжалится он над рабом своим и победу ниспошлет мне над шведами, все силы приложить к тому, чтобы в державе моей до скончания века торжественно праздновал народ годовщину победы и славил милость Божию и твою,

приснодева!

И снова прервал король свою речь и опустился на колени Шепот пробежал по костелу, но тотчас стих, ибо снова раздался голос короля, дрожавший теперь от волнения и скорби, но еще более громкий:

– С великим сокрушением в сердце моем сознаю, что по справедливости более прочих карает меня господь, вот уже семь лет насылая всякие бедствия на королевство мое за то, что стонет в ярме убогий пахарь и обиды терпит от солдатства, и обет даю, заключивши мир, все силы приложить вкупе с сословиями Речи Посполитой, дабы с той поры люд не терпел никаких утеснений, а поелику, милосердая мать, владычица моя и царица, ты меня на сие вдохновила, внемли гласу моему и по благодати своей моли сына твоего, дабы помог мне исполнить сей обет[58].

Внимали этим королевским словам духовенство, сенаторы, шляхта, черный народ. Великое рыдание поднялось в костеле; но первый стон вырвался из мужицкой груди, мужики взрыдали первыми, а уж тогда плач стал всеобщим. Все воздели руки к небу, повторяя с рыданием в голосе: «Аминь! Аминь! Аминь!» – и тем свидетельствуя, что и они присоединяют к королевскому обету свои сердца и свои голоса. Горе вознеслись сердца, и все побратались в эту минуту, объединенные любовью к Речи Посполитой и ее покровительнице. Радость неопишуемая, словно чистое пламя, зажглась на всех лицах, ибо во всем костеле не осталось теперь никого, кто усомнился бы в том, что бог поразит шведов

А король по окончании службы под гром мушкетов и пушек и при громких кликах: «Победа! Победа! Да здравствует король!» – проследовал в замок и там союз сей с небом утвердил вместе с Тышовецкой конфедерацией.

#### ГЛАВА XXXI

После этих торжеств, словно крылатые птицы, стали слетаться во Львов разные вести. Были они и старыми и свежими, и очень и не очень радостными, но все воодушевляли народ. Прежде всего как пожар охватила страну Тышовецкая конфедерация. Все, в ком душа жива, присоединялись к ней, и шляхта и крестьянство. Города поставляли повозки, ружья, пехоту, евреи – деньги Никто не смел противиться ее универсалам, даже самые ленивые садились на конь. Пришел также грозный манифест Виттенберга, направленный против конфедерации Огнем и мечом грозил маршал тем, кто вступал в союз. Но манифест его подействовал так, как если бы кто вздумал гасить огонь, засыпая его порохом. Чтобы еще больше ополчить народ на шведов, множество списков манифеста, верно, не без ведома короля, было раскидано по Львову, и просто не поддается описанию, что народ творил с этими бумажками; довольно того, что ветер носил по львовским улицам срамно измаранные клочья, а школяры в вертепах показывали на радость всем «Виттенбергову конфузю» и пели при этом песню, которая начиналась словами:

Виттенберг, старичишка,  
Удирай, как зайчишка,  
За свое море!  
Как дадим тебе туза.  
Потеряешь рейтузы,  
На свое горе!

Как бы во исполнение этих слов Виттенберг сдал в Кракове команду отважному Вирцу, а сам поспешил в Эльблонг, где пребывал шведский король с королевой, проводя время в пирах и радуясь в душе тому, что стал властителем столь славной державы.

Пришли во Львов и донесения о том, что Тыкоцин пал, и возрадовались умы. Достоин удивления, что толки о падении замка начались еще до прибытия гонцов. В одном только не соглашались люди: одни уверяли, что виленский воевода умер, другие – что попал в неволю, но все твердили, что Сапега во главе крупных сил ушел уже из Подлясья и вступил в Люблинское воеводство, чтобы соединиться с гетманами, что по дороге бьет он шведов и силы его растут с каждым днем.

Прибыли, наконец, посланцы и от самого Сапеги, и много их явилось, не более и не менее, как целую хоругвь прислал воевода в распоряжение короля, желая тем самым почет оказать государю, охранить особу его ото всяких случайностей, а может статься, и себя тем самым возвысить в его глазах.

Привел эту хоругвь молодой полковник Володыёвский, которого хорошо знал король. Ян Казимир тотчас повелел ему явиться, обнял его и сказал:

– Здравствуй, славный солдат мой! Много воды утекло с той поры, как потеряли мы тебя из виду. Пожалуй, под Берестечком видали мы тебя в последний раз, и весь ты был обагрён тогда кровью.

Пан Михал склонился к ногам короля и ответил:

– И в Варшаве был я потом, государь, в замке, с нынешним киевским каштеляном.

– И все служишь по-прежнему? Не хочется дома отдохнуть от трудов?

– В беде была Речь Посполитая, да и именье мое пропало в нынешней смуте. Негде голову мне приклонить, государь! Но я об том не тужу, думаю, что служба твоему королевскому величию и отчизне – это первый мой долг.

– Побольше бы нам таких, побольше! Не бесчинствовал бы тогда у нас враг. Бог даст, придет время и для наград, а теперь рассказывай, что сделали вы с виленским воеводой?

– Виленский воевода пред судом всевышнего Мы на последний приступ шли, когда он испустил дух.

– Как же это было?

– Вот донесение витебского воеводы, – ответил пан Михал.

Король взял послание Сапеги, стал было читать, но тут же прервал чтение.

– Пишет мне пан Сапега, – сказал он, – что великая литовская булава *vacat*[59], ошибается он, не *vacat*, ибо ему мы ее отдаем.

– Нет никого более достойного, чем воевода, – промолвил пан Михал, – и до самой твоей смерти все войско будет благодарить за это тебя, государь.

Улыбнулся король солдатскому этому простодушию и продолжал читать.

Через минуту он вздохнул.

– Самой прекрасной жемчужиной мог бы стать Радзивилл в нашей короне, когда бы не

иссушили душу его гордыня и ересь, в коей он коснел. Свершилось! Пути господни неисповедимы! Радзивилл и Опалинский почти в одно и то же время... Суди же их, господи, не по грехам их, но по милосердию твоему.

Наступило молчание, затем король снова стал читать письмо

– Спасибо пану воеводе, – сказал он, кончив читать, – за то, что прислал он нам целую хоругвь и самого доблестного, как он пишет, рыцаря. Но я тут в безопасности, а такие рыцари более всего на поле брани надобны. Отдохнете немного, а там я пошлю вас на подмогу пану Чарнецкому, ибо на него шведы направят главный удар.

– Довольно уж мы под Тыкоцином отдыхали, государь! – с жаром воскликнул маленький рыцарь. – Нам бы теперь только коней покормить, и мы еще сегодня можем тронуться в путь, чтобы с паном Чарнецким упиться вражеской кровью! Великое это счастье лик твой зреть, государь, но и на шведов спешим мы ударить.

Лицо короля прояснилось. Отеческой добротой засветилось оно, и, глядя с удовольствием на неукротимого маленького рыцаря, король сказал:

– Это ты первый бросил свою полковничью булаву к ногам покойного князя воеводы?

– Не первый я ее бросил, государь, а в первый и, даст бог, в последний раз нарушил воинскую дисциплину. – Запнулся тут пан Михал и прибавил через минуту: – Нельзя было иначе!

– Верно! – подтвердил король. – Тяжелые это были времена для тех, кто знает, что такое воинская дисциплина; но и в покорстве надо знать границы, ибо, преступив их, можно совершить грех. Много ли офицеров осталось с Радзивиллом?

– В Тыкоцине мы из офицеров нашли одного только пана Харлампа, – не ушел он сразу от князя, а потом в беде не захотел его оставить. Одна только жалость удерживала его, ибо сердцем был он с нами. Еле мы его выходили, такой уж был у них голод, а он еще у себя ото рта отымал, чтобы князя покормить. Сюда, во Львов, приехал он теперь о милосердии молить ваше величество, да и я челом бью за него, государь, ибо человек он заслуженный и храбрый солдат.

– Пусть придет ко мне, – сказал король.

– Должен он, государь, важную весть тебе объявить, а слышал он ее от князя Богуслава в Кейданах. Жизни и безопасности священной для нас твоей особы весть эта attinet.

– Уж не о Кмицице ли?

– Да, государь!

– А ты знавал его?

– Знавал и дрался с ним, но где он сейчас, не знаю.

– Что ты о нем думаешь?

– Государь, коль отважился он на такое, нет таких мук, которых этот человек был

бы достоин, – он исчадие ада.

– Вот и неправда! – сказал король. – Поклеп взвел на него князь Богуслав. Но не будем говорить об этом, скажи мне, что ты знаешь об его прошлом?

– Всегда это был великий воитель, несравненный в ратном искусстве. Другого не сыщешь такого, кто был бы способен с несколькими сотнями учинять такие набеги, как он учинял на Хованского, страху задавши всему его войску. Это просто чудо, что шкуру с него не содрали и барабан его не обтянули! Дай тогда кто-нибудь Хованскому самого князя в руки, он не был бы так рад, как если бы ему Кмицица поднесли в подарок. Ведь до того дело дошло, что Кмициц на серебре Хованского едал, на его ковре спал, на его санях и на его коне езживал. Но потом стал он и своих утеснять, страх как своевольничал, instar пана Лаца мог приговорами епанчу себе подшить, а в Кейданах вовсе пал.

Тут Володыёвский подробно рассказал обо всем, что произошло в Кейданах.

Ян Казимир слушал его со вниманием, а когда пан Михал стал описывать, как Заглоба сперва сам бежал из плена, а потом и товарищей всех освободил, король так и покатился со смеху.

– *Vir incomparabilis! Vir incomparabilis!*[60] – повторял он. – А он тут с тобою?

– Готов явиться по твоему приказу, государь! – ответил Володыёвский.

– Улисса превзошел этот шляхтич! Приведи же его к столу, пусть потешит нас, да заодно и Скшетуских пригласи, а теперь рассказывай дальше, что ты еще знаешь про Кмицица?

– Из писем, что нашли мы при Рохе Ковальском, узнали мы, что в Биржи везли нас на смерть. Князь преследовал нас, окружить пытался, да не удалось ему нас захватить. Ускользнули мы благополучно. Мало того, неподалеку от Кейдан Кмицица поймали, и я его тотчас приговорил к расстрелу.

– Ого! – сказал король. – Вижу, у вас там в Литве скоро дело делалось!

– Но пан Заглоба велел прежде его обыскать, посмотреть, нет ли при нем каких писем. Вот и нашлось при нем письмо гетмана, и узнали мы, что, когда бы не он, не стали бы нас в Биржи везти, а тут же в Кейданах на месте и расстреляли.

– Вот видишь! – прервал его король.

– Нехорошо было после этого посягать на его жизнь. Отпустили мы его. Что он делал потом, я не знаю, но Радзивилла он тогда еще не оставил. Бог его знает, что это за человек! Об ком угодно можно себе суждение составить, но только не об этом сумасброде. Остался он с Радзивиллом, а потом взял да куда-то и уехал. И ведь опять нас упредил, что князь в поход на нас идет из Кейдан. Что говорить, великую оказал он нам этим услугу, ведь, не остереги он нас, виленский воевода стал бы нападать на наши хоругви, что и не подозревали об опасности, и истребил бы их поодиночке. Я и сам не знаю, что думать. Коль поклеп взвел на него князь Богуслав...

– А вот мы это сейчас увидим, – сказал король. И хлопнул в ладоши. – Кликни пана Бабинича, – велел он пажу, который показался на пороге.

Паж исчез, а через минуту дверь королевского покоя растворилась, и на пороге показался пан Анджей. Володыёвский сперва не узнал его, так осунулся и побледнел молодой рыцарь, – никак не мог оправиться он после боя в ущелье. Смотрел на него пан Михал и не узнавал.

– Удивительное дело! – воскликнул он. – Когда б не эта худоба лица да ты бы, государь, другое имя не назвал, я бы сказал, что это пан Кмициц.

Улыбнулся король и говорит Кмицицу:

– Рассказывал мне тут этот маленький рыцарь об одном страшном смутьяне, которого звали так, но я, очевидно, ему показал, что ошибся он в своем приговоре, и уверен, что ты, пан Бабинич, подтвердишь, что я прав.

– Государь, – поспешно сказал Бабинич, – одно твое слово скорей очистит этого смутьяна, нежели мои самые тяжкие клятвы!

– И голос тот же, – с возрастающим удивлением продолжал маленький полковник, – только вот этого шрама на лице не было.

– Милостивый пан, – ответил ему на эти слова Кмициц, – шляхетская голова тот же реестр, на котором всякий раз пишет саблей новая рука! Но есть на этой голове и твоя отметина, узнаешь?

Он нагнул при этих словах свою подбриту голову и пальцем показал на длинную белесую полосу у самого чуба.

– Моя рука! – крикнул Володыёвский. – Это Кмициц!

– А я тебе говорю, ты Кмицица не знаешь! – прервал его король.

– Как не знаю, государь?

– Ты знал великого воителя, но своевольника и приспешника Радзивилла, соучастника измены. А перед тобою ченстоховский Гектор, которому Ясная Гора после ксендза Кордецкого больше всего обязана спасеньем, перед тобою защитник отчизны и мой верный слуга, который собственной грудью меня прикрыл и жизнь мне спас, когда в ущелье я к шведам попал, все равно как в стаю волков. Вот он каков, этот новый Кмициц! Знакомься же с ним и люби его, он того стоит!

Володыёвский только усы желтые топорщил, не зная, что и сказать, а король прибавил:

– И знай, он не только ничего не обещал князю Богуславу, но первый на нем отомстил Радзивиллам за козни, увез его и хотел отдать в ваши руки.

– И нас о виленском воеводе предостерег! – воскликнул маленький рыцарь. – Какой же ангел обратил тебя, милостивый пан?

– Обнимитесь же! – сказал король.

– Ты, милостивый пан, сразу мне полюбился! – сказал Кмициц.

Они упали друг другу в объятия, а король глядел на них и губы от удовольствия надувал, по своему обыкновению. Кмициц так сердечно тискал в объятиях маленького рыцаря, что даже вверх его поднял, как котенка, и не скоро снова поставил на ноги.

После этого король ушел на ежедневный совет, тем более что во Львов прибыли оба коронных гетмана, чтобы войско собрать и повести его потом на помощь Чарнецкому и конфедератским отрядам, которые под предводительством разных военачальников носились по всей стране.

Рыцари остались одни.

– Пойдем ко мне на квартиру, – предложил Володыёвский. – Ты найдешь там Скшетуских и пана Заглобу. Они рады будут услышать, что рассказал мне король. Там пан Харламп.

Но на лице Кмицица изобразилось страшное беспокойство.

– Много ли людей нашли вы при князе Радзивилле? – спросил он маленького рыцаря.

– Из офицеров при нем был один только Харламп.

– Господи! Да не про военных я спрашиваю! Из женщин кого вы нашли?

– Я догадываюсь, о ком ты хочешь спросить, – покраснел маленький рыцарь. – Панну Биллевич князь Богуслав увез в Тауроги.

Кмициц на глазах изменился в лице: он побледнел как пергамент, снова вспыхнул и снова стал еще бледней. Слова не мог он вымолвить, только ноздри раздувал, видно, дух у него совсем занялся. Потом сжал обеими руками виски и в неистовстве заметался по покою.

– Горе мне, горе мне, горе! – повторял он без конца.

– Пойдем, Харламп тебе поподробней обо всем расскажет, он был при этом, – сказал Володыёвский.

#### ГЛАВА XXXII

Выйдя от короля, оба рыцаря шагали в молчании. Володыёвский не хотел, а Кмициц не мог говорить, такая мука терзала его и душила злоба. С трудом протискивались они сквозь толпу народа, который запрудил все улицы, привлеченный слухом о прибытии отряда татар из числа тех, которых хан обещал прислать королю; отряд уже подошел и должен был вступить в город, чтобы явиться к королю на поклон. Маленький рыцарь шагал впереди. Кмициц как оглашенный летел за ним, надвинув на глаза колпак, толкая по дороге людей.

Только когда стало посвободней, пан Михал схватил его за руку и сказал:

– Опомнись, пан Анджей! Не надо отчаиваться! Этим делу не поможешь!

– Я не отчаиваюсь, – ответил Кмициц, – я крови его жажду.

– Будь уверен, ты найдешь его между врагами отчизны!

- Тем лучше! – с жаром сказал пан Анджей. – Но если я даже в костеле найду его...
- Ради Христа, не кощунствуй! – прервал его маленький полковник.
- Этот изменник доведет меня до греха!

На минуту они умолкли.

- Где он теперь? – нарушил молчание Кмициц.
- Может статься, в Таурогах, а может, и нет. Харламп лучше знает.
- Идем же!
- Да тут уж недалеко. Хоругвь за городом стоит, а мы здесь, и Харламп с нами.

Но Кмициц стал вдруг задыхаться, точно они взбирались на крутую гору.

- Очень я еще слаб, – заметил он.
- Тем более надо тебе сохранять спокойствие, ведь с каким рыцарем придется иметь дело.
- Я уж однажды имел с ним дело, вот что он мне оставил на память!

С этими словами Кмициц показал на рубец через все лицо.

- Расскажи, как было дело, а то король об этом только вскользь упомянул.

Кмициц начал рассказывать, и хоть зубами скрежетал и даже колпаком оземь хлопнул, однако отвлекся от мысли о своей беде и немного успокоился.

- Знал я, что ты человек отчаянный, – сказал маленький рыцарь, – но чтоб отважиться Радзивилла увезти из его же хоругви, этого я и от тебя не ждал.

Тем временем они дошли до квартиры. Оба Скшетуские, Заглоба, арендатор из Вонсоши и Харламп смотрели как раз крымские тулупчики, что принес показать торговец-татарин. Харламп, который лучше всех знал Кмицица, признал его с первого взгляда.

- Господи Иисусе! – крикнул он, уронив тулупчик.
- С нами крестная сила! – вскричал и арендатор из Вонсоши.

Не успели они опомниться, а Володыёвский и говорит:

- Позвольте представить вам ченстоховского Гектора и верного королевского слугу, что за веру отчизне и короля проливал свою кровь.

Тут все еще больше изумились, а достойный пан Михал с жаром стал рассказывать все, что слышал от короля о заслугах Кмицица и от самого Кмицица о похищении князя Богуслава.

- Стало быть, – кончил он свой рассказ, – все это неправда, что наговорил об



этом рыцаре князь Богуслав! Мало того, нет у князя злее врага, чем пан Кмициц; князь и панну Биллевич увез из Кейдан, чтобы так ли, этак ли отомстить ему.

– А нам этот кавалер спас жизнь и конфедератские хоругви предупредил, что князь воевода идет на них! – воскликнул Заглоба. – Да при таких заслугах все старые грехи должны быть забыты! Но боже ты мой, как хорошо, что не один он пришел, а с тобой, пан Михал, как хорошо, что и хоругвь наша за городом, ведь страх как люты на него лауданцы, не успел бы он рот раскрыть, а уж они бы его подняли на сабли.

– От всей души приветствуем тебя, милостивый пан, как брата и будущего соратника! – сказал Ян Скшетуский.

Харлампа за голову хватался.

– Да он никогда не пропадет! – говорил он. – Из любой пучины на берег выплывет, да еще со славой!

– Ну не говорил ли я вам! – кричал Заглоба, – Я, как увидел его в Кейданах, сразу подумал: вот это воитель, это удалец! Помните, мы ведь тотчас стали с ним целоваться. Моих это рук дело, что разбит Радзивилл, но и его, и ведь это меня бог осенил в Биллевичах, что не дал я его расстрелять! Дружья мои, что за толк в сухой беседе, гость-то какой у нас, чего доброго, он подумает, что мы вовсе ему и не рады.

Услышав такие речи, Редзян тотчас отослал татарина с тулупчиками, а сам со слугою стал готовить угощение.

Но Кмициц об одном только думал: как бы разузнать у Харлампа, нельзя ли вызволить Оленьку.

– Ты был при этом, милостивый пан? – спрашивал он.

– Да я почти что и не выезжал из Кейдан, – ответил носач. – Приехал князь Богуслав к нашему князю воеводе. К ужину так разоделся, что прямо ослепил нас, и видно было, что панна Биллевич очень ему приглянулась, только что не мурлыкал он от удовольствия, как кот, когда его гладят по шерстке. Но о коте говорят, будто и он богу молится, а князь Богуслав коль и маливался, так разве что одному сатане. А уж как он к ней подольщался, как за нею увивался, как мелким бесом рассыпался...

– Оставь! – сказал Володыёвский. – Не видишь разве, что сердце ему растравляешь.

– Нет, нет! Говори, милостивый пан, говори! – воскликнул Кмициц.

– Толковал он тогда за столом, – продолжал Харлампа, – будто и самим Радзивиллам не зазорно на шляхтянках жениться, будто и сам бы он предпочел на шляхтянке жениться, чем на какой-нибудь там принцессе, из тех, что сватали ему французский король и королева; фамилий ихних я не упомянул, такие они были чудные, будто кто тебе в лесу на гончих порскал...

– Ну что ты об этом толкуешь! – остановил его Заглоба.

– Ясное дело, для того это он говорил, чтоб прельстить панну Биллевич. Мы тотчас это смекнули, переглядываться да перемигиваться стали, справедливо рассудив, что

хочет он на невинность ее покуситься.

– А она? Что же она? Что же она? – лихорадочно спрашивал Кмициц.

– Ну, она шляхтянка, благородная девица, знает, как держать себя, и виду не подала и не глянула на него, но когда он о тебе заговорил, тут она так и впилась в него глазами. А как сказал он, будто ты посулился ему за сколько-то дукатов похитить короля и живым или мертвым доставить шведам, страх что тут сделалось с нею. Мы уж думали, помрет; но так она на тебя разгневалась, что превозмогла женскую слабость. А как начал он расписывать, с каким презреньем отверг твои посулы, тут уж она превозносить его стала и с благодарностью на него поглядывать, а потом уж и руки не отняла, как повел он ее из-за стола.

Кмициц закрыл руками глаза.

– Спасите, спасите, кто в бога верует! – твердил он. И вдруг сорвался с места. – Прощайте!

– Как? Куда ты? – преградил ему путь Заглоба.

– Король меня отпустит, и я поеду и разыщу его! – ответил Кмициц.

– Ах ты, господи! Да погоди же ты! Ты еще толком обо всем не узнал, а чтоб разыскать его, у тебя еще довольно времени. Да и с кем ты поедешь? Где его разыщешь?

Кмициц, быть может, и не стал бы слушать старика, но так ослаб он от ран, что силы совсем оставили его, он упал на скамью и, привалившись спиной к стене, закрыл глаза.

Заглоба дал ему чару вина, он схватил ее дрожащими руками и, проливая вино на бороду и грудь, осушил ее залпом.

– Ничего ты еще не потерял, – сказал ему Скшетуский, – осторожность только тут нужна, потому славен он и знатен. Станешь действовать сгоряча, опрометчиво, и панну Биллевич можешь погубить, и себя.

– Выслушай же Харлампа до конца, – сказал Заглоба.

Кмициц стиснул зубы.

– Не знаю я, по доброй ли воле уезжала панна Биллевич, – продолжал Харлампа, – не был я при этом. Знаю, что россиенский мечник не хотел ехать, его сперва уговаривали, потом в арсенале заперли и, наконец, позволили беспрепятственно уехать в Биллевичи. Что греха таить, в плохих руках девушка, – ведь о молодом князе рассказывают, что и басурман не охоч так до женского пола, как он. Коль ему какая приглянется, так, будь она хоть замужем, он и на то не посмотрит.

– Горе мне! Горе! – повторил Кмициц.

– Вот шельма! – крикнул Заглоба.

– Мне только то удивительно, что князь воевода так вот сразу и отдал ее Богуславу! – заметил Скшетуский.

– Не искушен я в этих делах, – ответил ему Харлам, – могу только вам повторить, что офицеры говорили, верней сказать, Ганхоф, который знал все arсana[61] князя. Собственными ушами слышал я, как кто-то крикнул при нем: «Нечем будет Кмицицу поживиться после молодого князя!» А Ганхоф и говорит: «Больше политики во всем этом деле, нежели любви. Ни одной, говорит, девки князь Богуслав не пропустит; но коль даст ему панна Билевич отпор, в Таурогах он ничего не сможет ей сделать, потому шум поднимется, а там княгиня с дочкой, и Богуслав на них очень должен оглядываться, жениться он хочет на молодой княжне. Тяжело, говорит, будет ему добродетельным прикидываться, но в Таурогах придется».

– Ну, теперь у тебя должен камень с души свалиться! – воскликнул Заглоба. – Не грозит, видно, девушке беда.

– Так зачем он ее увез? – взревел Кмициц.

– Хорошо, что ты ко мне обратился с этим вопросом, – ответил ему Заглоба, – потому я мигом соображу там, где другой год целый будет голову ломать. Зачем он ее увез? Не стану отрицать, наверно, она ему приглянулась; но увез он ее для того, чтобы всех Билевичей держать в узде, – род это сильный и многочисленный, и боялись Радзивиллы, чтобы не вздумал он бунтовать против них.

– Может статься, что и так! – промолвил Харлам. – Но я одно только могу сказать: в Таурогах князю придется уняться, и не сможет он там ad extrema[62] отважиться.

– Где он сейчас?

– Князь воевода говорил в Тыкоцине, что он, верно, у шведского короля в Эльблонге, за подмогой должен он был туда поехать. В Таурогах его сейчас нет, это точно, гонцы его там не нашли. – Тут Харлам обратился к Кмицицу: – Хочешь, милостивый пан, послушать простого солдата, так скажу я тебе, что обо всем этом думаю: коль постигла панну Билевич беда иль сумел князь любовь в ней пробудить, незачем тебе туда ехать; а коль ничего с нею не случилось, так уедет она вместе с княгиней в Курляндию, а там всего безопасней, и лучше места для девушки ты в Речи Посполитой не сыщешь, – ведь все наши земли полыхают в огне войны.

– Коль такой ты смельчак, как люди толкуют и как сам я считаю, – вмешался в разговор Скетуский, – надо тебе сперва Богуслава схватить, а будет он в твоих руках, ты тогда свое возьмешь.

– Где он сейчас? – снова спросил Кмициц у Харлама.

– Я уж тебе говорил, – ответил носач, – да ты так убит горем, что себя не помнишь. Думаю, в Эльблонге он и, верно, двинется с Карлом Густавом в поход на пана Чарнецкого.

– Тогда тебе лучше всего двинуться с нами к пану Чарнецкому, там ты с Богуславом можешь очень скоро встретиться, – сказал Володыёвский.

– Спасибо вам за добрый совет! – воскликнул Кмициц.

И он стал торопливо со всеми прощаться; никто его не удерживал, все понимали, что если человек удручен, до беседы ли тут за чарой. Один только Володыёвский

сказал:

– Провожу-ка я тебя до дворца архиепископа, а то на тебе лица нет, чего доброго, упадешь на улице.

– Я тоже тебя провожу! – сказал Ян Скшетуский.

– Тогда пойдете все! – предложил Заглоба.

Рыцари пристегнули сабли, надели теплые бурки и вышли. Народу на улицах было еще больше. То и дело встречались отряды вооруженной шляхты, толпы солдат, магнатской и шляхетской челяди, армян, евреев, украинских мужиков из предместий, сожженных во время двух набегов Хмельницкого.

Купцы стояли у дверей своих лавок; в окнах домов видны были головы любопытных. Все говорили, что татары уже прибыли и скоро пойдут через город на поклон к королю. Очень всем любопытно было поглазеть на них, – невиданное это было зрелище, чтоб татары да мирно проезжали по улицам города. Не такими видал раньше Львов этих гостей, а верней, видал он их только за городскими стенами и то несметные полчища, а кругом пылающие предместья и деревни. Теперь татары должны были въехать в город как союзники в войне со шведами. Наши рыцари с трудом прокладывали себе дорогу в толпе. То и дело из улицы в улицу пробегая крик: «Едут! Едут!» – и тогда люди сбивались такой плотной толпой, что шагу нельзя было ступить.

– А давайте-ка постоим! – сказал Заглоба, – Давай, пан Михал, вспомним недавнее время, когда мы с тобой не со стороны, а прямо в бельма глядели этим разбойникам. Я у них и в неволе побывал. Говорят, будущий хан похож на меня как две капли воды. Ну да что вспоминать старые проказы!

– Едут! Едут! – снова раздались крики.

– Добру наставил бог собачьих детей, – продолжал Заглоба, – что на помощь они нам идут, а не опустошать здешние земли. Это просто чудо! Говорю вам, когда бы за каждого басурмана, которого эта старая рука послала в пекло, да прощался один грех, так меня б уже к лику святых причислили и вам пришлось бы поститься в канун моего дня, а то прямо на небо вознесся бы я на огненной колеснице.

– А помнишь, милостивый пан, как мы с Валадинки, из Рашкова в Збараж ехали?

– Как не помнить! Там еще дерево выворотило, так ты в яму упал, а я гнал за ними сквозь чащу до самой дороги. А как воротились мы за тобой, все рыцари диву дались, потому под каждым кустиком по басурману лежало.

Володыёвский помнил, что все было как раз наоборот, от удивления у него и язык отнялся; но тут в толпе чуть не в сотый раз закричали:

– Едут! Едут!

Поднялся общий крик, потом все стихло и все головы обратились в ту сторону, откуда должны были появиться татары. Но вот издали послышалась оглушительная музыка, толпа раздалась, стала жаться к стенам, и в конце улицы показались первые татарские наездники.

– Смотрите, да у них и музыка с собой, небывалое это дело у татар!

– Хотят себя показать! – заметил Ян Скшетуский. – А впрочем, у них бывают музыканты, они играют, когда войско где-нибудь надолго становится табором. Однако же, конница, должно быть, отборная.

Наездники приблизились тем временем и стали проезжать мимо. Впереди на пегом коне ехал смуглый, словно в дыму прокопченный татарин с двумя пищалями во рту. Откинув назад голову и закрыв глаза, он перебирал пальцами по своим дудкам, извлекая из них звуки резкие, пронзительные и такие частые, что ухо едва могло их уловить. За ним ехали два татарина, неистово гремя медными бубенцами, насаженными на набалдашники палиц; вслед за ними несколько человек оглушительно били в медные тарелки, другие выбивали дробь на литаврах, а иные, по казацкой моде, играли на торбанах, и все, кроме одних только дудочников, пели, верней, завывали дикую песню, сверкая при этом глазами и ворочая белками. За этой нестройной и дикой капеллой, которая двигалась мимо жителей Львова, словно те звери в сказке, что все сорвались вдруг с места и с ревом устремились вперед, выступал по четыре человека в шеренге целый конный отряд примерно в четыреста сабель.

Это и впрямь ехал в распоряжение польского короля отборный, как на погляденье, отряд легкой конницы, присланный ханом в почет королю и как залог. Командовал отрядом Акба-Улан, из добруджских татар, в битве самых могучих, старый и искушенный воитель, которого чтили в улусах за отвагу и жестокость. Ехал он теперь посредине, между музыкантами и самим отрядом, наряженный в алого бархата шубу на вытертом куньем меху, порядком уже обляпавшую и слишком тесную для мощной его фигуры. На животе держал он пернач, какой носили казацкие полковники. Кирпичное его лицо посинело от холодного ветра; слегка покачиваясь в высоком седле, он время от времени поглядывал по сторонам или оборачивался к своим татарам, точно не совсем был уверен, выдержат ли они при виде толп народа, женщин, детей, отворенных лавок с дорогими товарами, не бросятся ли с диким криком на все эти чудеса.

Но они ехали смирно, как собаки на своре, что боятся арапника, и только по угрюмым и жадным взглядам можно было догадаться, что творится в душах этих варваров. Толпа народа смотрела на них с любопытством, но и с неприязнью, – так велика была в этих землях Речи Посполитой ненависть к басурманам. Время от времени в толпе кричали: «Ату! Ату их!» – точно на волков. Были, однако, такие, что возлагали на татар большие надежды.

– Очень шведы боятся их, и солдаты между собою всякие страсти про них рассказывают, а от этого еще больше трусят, – говорили они, глядя на татар.

– И не зря! – подтверждали другие. – Не рейтарам Карла воевать с татарами, особенно с добруджскими, тем и против нашей конницы случается выстоять. Тяжелый рейтар оглянуться не успеет, как татарин его заарканит.

– Грех басурман звать на помощь! – слышались голоса в толпе.

– Грех грехом, а небось пригодятся!

– Хорош отряд! – заметил Заглоба.

Татары в самом деле были хорошо одеты: в белых, черных и пестрых тулупах шерстью

наружу, за плечами черные луки покачиваются и колчаны, полные стрел, да и сабля у каждого, что даже в больших татарских отрядах не всегда бывало, ибо кто победней, не мог позволить себе такую роскошь и в рукопашном бою пользовался конской челюстью, привязанной на палице. Но прислал их хан, как уже было сказано, напоказ, так что кое у кого и самопал висел в войлочном чехле, и сидели все они на добрых конях, правда, низкорослых, худых, вислошеих и долгогривых, но в беге несравненных.

Посредине отряда шли четыре вьючных верблюда; люди думали, что во вьюках дары королю от хана: но они ошибались, хан предпочитал не давать, а принимать дары, и помощь Речи Посполитой посулил не даром.

– Дорого обойдутся нам эти *auxilia*[63], – заметил Заглоба, когда отряд проехал мимо. – Вроде бы союзники, но сколько земель они нам разорят! После них да после шведов ни одной целой крыши не останется в Речи Посполитой.

– Да, тяжел этот союз, – подтвердил Ян Скшетуский. – Уж мы-то их знаем!

– Я еще по дороге сюда слышал, – вмешался в разговор пан Михал, – будто наш король заключил такой договор, что к каждым пяти сотням ордынцев будет придан наш офицер, он-то и будет начальником, и право карать будет за ним. Иначе эти друзья и впрямь оставят только небо да голую землю.

– А как этот отряд? Что с ним сделает король?

– Этот отряд хан прислал в распоряжение короля, ну как бы в дар ему, и хоть за него тоже деньги возьмет, но с ним король властен делать, что хочет. Наверно, отошлет вместе с нами к пану Чарнецкому.

– Ну, пан Чарнецкий сумеет держать их в узде.

– Разве только жить будет среди них, а то они тут же у него за спиной станут пошаливать. Наверно, и к ним тотчас приставят офицера.

– И он у них будет начальником? А что будет делать этот толстый ага?

– Коль не нападет на дурака, то будет исполнять приказы.

– Будьте здоровы, друзья, будьте здоровы! – закричал вдруг Кмициц.

– Куда это ты так заторопился?

– Хочу королю челом бить, чтобы вверил мне начальство над этим отрядом!

### ГЛАВА XXXIII

В тот же день Акба-Улан явился к королю на поклон и вручил ему письма от хана, в которых тот подтверждал свое обещание двинуться со стотысячной ордою на шведов, когда ему будет уплачено вперед сорок тысяч талеров, да и первая трава покажется в полях, без чего в опустошенной стране трудно прокормить столько лошадей. Что же до отряда, то хан посылал его теперь в знак любви своей к «дорогому брату», чтоб и казаки, которые все еще умышляли мятеж, увидели в этом явное свидетельство того, что любовь эта неизменна и что хан, как только слуха его коснется первая же весть о бунте, на все казачество обрушит гнев свой и месть.

Король милостиво принял Акба-Улана, чудного скакуна ему пожаловал и объявил, что в скором времени отошлет к пану Чарнецкому, ибо желает, чтобы и шведы убедились в том, что хан оказывает помощь Речи Посполитой. У татарина глаза загорелись, когда он услышал, что будет служить под начальством Чарнецкого, которого он помнил еще по давним украинским войнам и почитал, как и все прочие татарские аги.

Зато куда меньше ему понравилось то место в письме хана, где тот просил короля дать отряду офицера, который хорошо бы знал страну, вел бы отряд и не давал людям, да и самому Акба-Улану, грабить население и бесчинствовать. Уж конечно, Акба-Улан предпочел бы обойтись без такого покровителя; но такова была воля хана и короля, поэтому он только еще раз ударил челом королю, стараясь скрыть свое недовольство, а может, обещая себе в душе, что не он будет кланяться покровителю, а покровитель ему.

Не успел удалиться татарин, не успели выйти из покоя сенаторы, как Кмициц, который во время аудиенции стоял сбоку, упал к ногам короля.

– Государь! – сказал он. – Недостоин я милости, о которой прошу тебя, но жизни она мне дороже. Позволь мне, милостивый отец мой, принять начальство над этими ордынцами и с ними тотчас двинуться в поход.

– Не могу я отказать тебе в этом, – промолвил удивленный Ян Казимир. – Лучше начальника, чем ты, мне для них не сыскать. Рыцарь тут надобен храбрый и смелый духом, чтоб умел держать их в узде, а то они тотчас и наших примутся палить да убивать. Я только решительно не согласен, чтобы ты завтра ехал, – не зажили у тебя еще раны от шведских рапир.

– Чую я, что только меня в поле обдует ветерком, и сразу вся слабость пройдет, и сила снова воротится, что же до татар, то уж как-нибудь я с ними справлюсь, мягче воска они у меня станут.

– Но чего это ты так торопишься? Куда хочешь идти?

– На шведа, государь! Нечего мне тут больше сидеть, все, чего добивался, я уж получил: и милость твою снискал, и старые грехи ты мне простил. Пойду я к пану Чарнецкому; вместе с Володыёвским, а нет, так один, буду набеги учинять на врага, как, бывало, на Хованского, и верю, ждет меня удача.

– Не сомневаюсь! Но не по одной этой причине рвешься ты в поход.

– Как отцу родному, признаюсь тебе, государь, всю душу открою. Не удовольствовался князь Богуслав поклепом, что взвел на меня, увез он вдобавок из Кейдан мою девушку и держит ее в Таурогах в темнице, а может статься, и того хуже: покушается на невинность ее, на девическую честь. Государь! Ум у меня мутится, как подумаю я, в чьих руках она, бедняжка! Клянусь богом, меньше мучают меня эти раны! Да и девушка по сию пору думает, что я этому презренному псу сулил руку поднять на тебя, и последним выродком меня почитает! Нет моей мочи терпеть, государь, должен я схватить его, должен вырвать ее из его рук. Дай мне этих татар, а я поклянусь тебе, что не только об одних своих делах буду думать, но и столько шведов уложу, что весь этот двор можно будет вымостить их головами.

– Успокойся! – сказал король.

– Когда б хотел я, государь, ради своих дел службу оставить, о защите королевского величия и Речи Посполитой забыл, стыдно было бы мне просить тебя; но тут ведь все вместе сошлось. Припела пора шведов бить? Так я ничего другого и делать не буду! Припела пора изменника преследовать? Так я его до самой Лифляндии, до Курляндии буду преследовать, а коль укроется он у московитов или даже за морем, в Швеции, и туда пойду за ним!

– Пришли вести, будто Богуслав вот-вот двинется с Карлом из Эльблонга.

– Так я пойду навстречу им!

– Это с таким-то отрядом? Да они шапками тебя закидают.

– У Хованского восемьдесят тысяч было, да не закидал.

– Все верное войско с паном Чарнецким. Они на пана Чарнецкого *ante omnia*[64] ударят!

– Вот я к пану Чарнецкому и пойду. Раз такое дело, ему спешно надо помощь послать.

– К пану Чарнецкому ты пойдешь, а вот в Тауроги с такой горстью людей не пробьешься. Все замки в Жмуди князь воевода отдал врагу, всюду шведские гарнизоны стоят, а Тауроги, сдается, на самой прусской границе, неподалеку от Тильзита.

– На самой границе, государь, но на нашей стороне, а от Тильзита в четырех милях. Отчего же не дойти? Дойду и людей не потеряю, мало того, по дороге набегит ко мне тьма храбрецов. Ты и то, государь, прими во внимание, что повсюду, где только я покажусь, все люди окрест будут садиться на конь, вставать на шведов. Я первый подниму Жмудь, коль никто другой этого не сделает. Как не доехать, когда весь край что котел кипит. Я уже привык в самое пекло лезть.

– Ты и про то не подумал, что татары, может статься, откажутся идти с тобой в такую даль?

– Ну-ка! Попробуй у меня откажись! – говорил Кмициц, сжимая зубы при одной мысли об этом. – Четыре сотни, что ли, их там, так все четыре прикажу вздернуть! Деревьев хватит! Попробуй только у меня взбунтуйся!

– Ендрек! – воскликнул король и, развеселясь, стал надувать губы. – Клянусь богом, не сыскать мне лучше пастыря для этих овечек! Бери их и веди, куда тебе вздумается!

– Спасибо, государь, добрый отец мой! – сказал рыцарь, обнимая колени короля.

– Когда ты хочешь ехать? – спросил Ян Казимир.

– Господи, да завтра же!

– Может статься, Акба-Улан не захочет, скажет, кони в пути притомились?

– Так я велю привязать его к моему седлу на аркане, и пешком он пойдет, коль коня ему жалко.



– Вижу я, ты с ними справишься. Но покуда можно, ты с ними ладь. Ну, Ендрек, поздно уж, но завтра я хочу еще тебя повидать. А покуда возьми вот этот перстень, скажи моей приверженке, что король тебе его дал и повелел ей всей душой любить верного своего слугу и защитника.

– Коль суждено мне погибнуть, – со слезами на глазах говорил молодой рыцарь, – дай бог за тебя голову сложить, государь!

Было уже поздно, и король удалился в покои, а Кмициц пошел к себе на квартиру готовиться в дорогу да подумать о том, с чего же начать, куда первым делом направить свой путь.

Вспомнил пан Анджей слова Харлампа, который уверял, что, если в Таурогах нет Богуслава, Оленьке лучше всего там оставаться: Тауроги лежат на самой границе, и в случае нужды оттуда легко бежать в Тильзит и укрыться под крыло курфюрста. Бросили шведы в беде князя виленского воеводу, авось вдову его не оставят, и если Оленька останется под ее покровительством, ничего худого с девушкой не может случиться. А в Курляндию они уедут – так и того лучше.

– Да и я со своими татарами не могу в Курляндию ехать, – рассудил пан Анджей, – ведь это уж другое государство.

Ходил он взад и вперед и обдумывал свой замысел. Время текло час за часом, а он и не вспомнил об отдыхе, и так воодушевила его мысль о новом походе, что хоть утром он был еще слаб, чувствовал, однако, теперь, что силы к нему возвращаются и готов он хоть сейчас садиться в седло.

Слуги кончили вязать торока и собрались идти спать, когда кто-то вдруг стал скрестись в дверь.

– Кто там? – крикнул Кмициц. Затем приказал слуге: – Ступай погляди!

Тот вышел, поговорил с кем-то за дверью и тут же вернулся.

– Какой-то солдат немедленно хочет видеть тебя, Пан полковник. Говорит, Сорокой звать его.

– Впусти его, да мигом! – крикнул Кмициц.

И, не ожидая, пока слуга выполнит приказ, сам бросился к двери.

– Здорово, милый мой Сорока, здорово!

Войдя в покой, Сорока первым делом хотел в ноги упасть своему полковнику, потому что был он ему скорее другом, верным и сердцем преданным слугою; но победила солдатская дисциплина, вытянулся Сорока в струнку и сказал:

– К твоим услугам, пан полковник!

– Здравствуй, милый товарищ, здравствуй! – с живостью говорил Кмициц. – А я уж думал, зарубили тебя в Ченстохове!

И он обнял Сороку, а потом и руки стал ему трясти, не роняя этим особенно своего

достоинства, так как Сорока родом был из мелкой, застьянковой шляхты.

Тут уж и старый вахмистр обнял колени своего господина.

– Откуда идешь-то? – спросил Кмициц.

– Из Ченстоховы, пан полковник.

– Меня искал?

– Так точно.

– От кого же вы там узнали, что я жив?

– От людей Куклиновского. Ксендз Кордецкий на радостях благодарственный молебен отслужил. Потом, когда разнеслась весть, что пан Бабинич провел короля через горы; я уж знал, что не кто иной это, как ты, пан полковник.

– А ксендз Кордецкий здоров?

– Здоров, пан полковник, только не вознесут ли его ангелы живым на небо, святой он человек.

– Это верно. Откуда же ты узнал, что я приехал с королем во Львов?

– Подумал я, пан полковник, что коль скоро ты короля провожал, то, верно, при нем должен быть, одного только опасался, не ушел ли ты уже в поход, не опоздаю ли я.

– Завтра ухожу с татарами!

– Вот и хорошо, что поспел я вовремя, а то ведь я, пан полковник, денег тебе привез два полных пояса: тот, что на мне был, да твой, и самоцветы прихватил, что мы у бояр с колпаков сняли. Да что взял ты с казнью Хованского.

– Доброе было время, когда мы эту казну захватили; но, верно, там уж немного осталось, я ведь и ксендзу Кордецкому добрую пригоршню оставил.

– Не знаю я, сколько там; но ксендз Кордецкий говорил, что две большие деревни можно за них купить.

С этими словами Сорока подошел к столу и стал снимать с себя пояса с деньгами.

– А камушки тут, в жестянке, – прибавил он, положив рядом с поясами солдатскую манерку.

Не говоря ни слова, Кмициц вытряхнул из пояса в пригоршню кучу дукатов и, не считая, протянул вахмистру:

– На вот тебе!

– Кланяюсь в ноги, пан полковник! Эх, будь у меня в дороге хоть один такой дукатик!

– А что? – спросил рыцарь.

– Совсем ослаб я от голода. Поди сыщи теперь человека, который дал бы тебе кусок хлеба, все боятся, так что к концу я уж еле тащился.

– Боже мой, да ведь все эти деньги были при тебе!

– Не посмел я взять без позволения, – коротко ответил вахмистр.

– Держи! – сказал Кмициц, подавая ему еще одну пригоршню. Затем кликнул слуг: – Эй, вы там! Дать ему поесть, да мигом, не то головы оторву!

Слуги со всех ног бросились исполнять приказание, и вскоре перед Сорокой стояла большая миска копченой колбасы и фляга с водкой.

Солдат так и впился в еду жадными глазами, губы и усы у него затряслись, однако сесть при полковнике он не осмелился.

– Садись, ешь! – приказал Кмициц.

Не успел он кончить, как сухая колбаса захрустела на крепких зубах Сороки. Слуги и глаза вытаращили.

– Пошли прочь! – крикнул Кмициц.

Парни опрометью бросились вон, а Кмициц, чтобы не мешать верному слуге, стал в молчании быстрым шагом ходить по покою. А Сорока, наливая себе чару горелки, всякий раз искоса поглядывал, не супит ли полковник бровь, и только тогда, отворотясь к стене, опрокидывал чару.

Ходил, ходил Кмициц, пока сам с собой не начал разговаривать.

– Только так! – бормотал он. – Надо его послать туда! Велю передать ей... Нет, ничего из этого не выйдет! Не поверит она! Письмо читать не станет, я ведь для нее изменник и пес. Пусть лучше не показывается он ей на глаза, пусть только высмотрит, что там творится, и даст мне знать. Сорока! – окликнул он внезапно солдата.

Тот так стремительно вскочил, что чуть было не опрокинул стол, и вытянулся в струнку.

– Слушаюсь, пан полковник!

– Ты человек верный и в беде не растеряешься. В дальнюю дорогу поедешь, но уж голода не будешь терпеть.

– Слушаюсь, пан полковник!

– В Тауроги поедешь, на прусскую границу. Панна Биллевич живет там... у князя Богуслава. Узнаешь, там ли князь... и за всем будешь следить. На глаза панне не лезь, разве все само собой устроится. Тогда скажешь ей и клятву в том дашь, что это я проводил короля через горы и что состою я при его особе. Не поверит она тебе, надо думать, потому очернил меня князь, сказал, будто покушался я на жизнь короля, а это все ложь, достойная собаки!

– Слушаюсь, пан полковник!

– На глаза, говорю тебе, ей не лезь, потому все едино она тебе не поверит. Но коль случай выйдет, скажи все, что знаешь. А сам смотри да слушай. Да берегись князя, если там он, а то признает тебя он сам или кто-нибудь из его двора, на кол тебя посадят!

– Слушаюсь, пан полковник!

– Я бы старого Кемлича послал, да он на том свете, зарубили его в ущелье, а сыны больно глупы. Со мной они пойдут. Ты бывал в Таурогах?

– Нет, пан полковник.

– Поедешь в Щучин, а оттуда вдоль прусской границы до самого Тильзита. Тауроги прямо против Тильзита лежат, в четырех милях от него, на нашей стороне. Оставайся в Таурогах, покуда все не выведаешь, а потом воротись назад. Найдешь меня там, где я буду в ту пору. Татар спрашивай да пана Бабинича. А теперь ступай к Кемличам спать! Завтра в путь!

После этих слов Сорока ушел, а пан Анджей еще долго не ложился, пока наконец не сморила его усталость. Бросился он тогда на постель и уснул крепким сном

На следующий день он встал освеженный и бодрый. Весь двор был уже на ногах, все занялись обычными повседневными делами. Пан Анджей отправился сперва в канцелярию за назначением и грамотой, а потом навестил Субагази-бея, начальника ханского посольства во Львове, и имел с ним долгий разговор.

Во время этого разговора дважды запускал пан Анджей руку в свою калиту. Зато, когда он уходил, Субагази-бей обменялся с ним колпаками и вручил ему пернач из зеленых перьев и несколько локтей такого же зеленого шелкового шнура.

Забрав подарки, молодой рыцарь пошел к королю, который только что приехал от обедни, и еще раз упал к его ногам, после чего вместе с Кемличами и челядью направился прямо за город, где стоял со своим отрядом Акба-Улан.

При виде его старый татарин прижал руку ко лбу, губам и груди, но когда узнал, кто он такой и с чем явился к нему, сразу нахмурился, насупился и принял надменный вид.

– Коль скоро король прислал тебя проводником ко мне, – сказал он Кмицицу на ломаном русинском языке, – будешь мне дорогу показывать, хоть я и без тебя попаду, куда надобно, а ты человек молодой и неопытный.

«Это он загодя хочет место мне указать, – подумал Кмициц, – ну да ладно, покуда дело терпит, буду разводить учтивости».

– Акба-Улан, – сказал он вслух, – не проводником прислал меня к тебе король, а начальником. И вот что я тебе скажу: тебе же лучше будет, коль не станешь ты противиться королевской воле.

– Не король у татар владыка, а хан! – возразил татарин.

– Акба-Улан, – повторил с ударением пан Анджей, – хан подарил тебя королю, как подарил бы ему собаку или сокола, так что ты не противься, а то, не ровен час, посадят тебя, как собаку, на цепь.

– Аллах! – в изумлении воскликнул татарин.

– Ну, не гневи же меня! – сказал Кмициц.

Но глаза татарина налились кровью. Некоторое время он слова не мог выговорить; жилы на затылке у него вздулись, рукой он схватился за кинжал.

– Заколю! Заколю! – крикнул он сдавленным голосом.

Но и пан Анджей, человек по натуре очень горячий, хоть и дал себе слово ладить с татаринком, тоже потерял терпенье. Он вскочил как ужаленный, всей пятерней ухватил татарина за жидкую бороденку и, задрал ему голову так, точно хотел показать что-то на потолке, процедил сквозь зубы:

– Слушай, ты, козий сын! Ты бы хотел, чтоб над тобой не было начальника, ты бы хотел жечь, грабить и резать! Ты желаешь, чтобы я проводником был у тебя! Вот тебе проводник! Вот тебе проводник!

И стал бить его головой об стенку.

Когда он наконец отпустил его, татарин совсем уж очумел и за нож больше не хватался. Дав волю буйному своему нраву, Кмициц невольно открыл наилучший способ убеждения восточного человека, привыкшего к рабству. В разбитой голове татарина, при всей злобе, которая душила его, тотчас сверкнула мысль, что, наверно, этот рыцарь могучий властелин, коль так с ним обошелся, и он трижды повторил окровавленными губами:

– Багадыр! [65] Багадыр! Багадыр!

Кмициц тем временем надел на голову колпак Субагази-бея и выхватил из-за пояса зеленый пернач, который нарочно заткнул за пояс сзади, за спиной.

– Взгляни сюда, раб! – сказал он. – И сюда!

– Аллах! – в ужасе воскликнул Улан.

– И сюда! – прибавил Кмициц, вынимая из кармана шнур.

Но Акба-Улан уже лежал у его ног и бил челом.

Спустя час татары длинной вереницей тянулись по дороге, ведущей из Львова к Великим Очам, а Кмициц на чудном игренем коне, подаренном ему королем, обегал весь отряд, как овчарка обегает отару овец. Со страхом и удивлением смотрел Акба-Улан на молодого рыцаря.

В воителях татары хорошо разбирались, с первого же взгляда они поняли, что под водительством этого молодца немало прольют крови и немалую захватят добычу, и шли охотно, с песнями и музыкой.

А у Кмицица ретивое взыграло, когда окинул он взором этих людей, что казались

лесными зверями в своих вывороченных наизнанку тулупах и верблюжьих кафтанах. В лад с конским бегом покачивалась волна диких голов, а он считал эти головы и размышлял о том, что же можно будет, предпринять с такой силой.

«Отряд особенный, – думал он, – словно бы волчью стаю ведешь; но с этими волками всю Речь Посполитую можно пройти и всю Пруссию потоптать копытом. Погоди же, князь Богуслав!»

Обуяли тут его хвастливые мысли, ибо великий он был охотник похвастать.

«Не обидел меня бог умишком, – говорил он себе. – Вчера было у меня всего двое Кемличей, а нынче сотни скачут за мной. Ты мне только дай пуститься в пляс, – тысяча, а то и две будут у меня таких разбойников, что их и старые товарищи не постыдились бы. Погоди же, князь Богуслав! – Однако через минуту он прибавил для успокоения совести: – К тому же отчизне и королю сослужу я немалую службу!»

И он совсем развеселился. Очень его потешало, что при виде его войска шляхта, евреи, мужики, даже порядочные кучки ополченцев в первую минуту не могли скрыть своего ужаса. А тут еще на улице таяло, и сырой туман стоял в воздухе. То и дело какой-нибудь путник, подъехав поближе к отряду и заметив внезапно, кто надвигается на него из мглы, вскрикивал:

– Слово стало плотью!

– Господи Иисусе Христе! Мать пресвятая богородица!

– Татары! Орда!

Однако татары спокойно проезжали мимо бричек, груженных телег, табунов и путников. Не так бы все это было, когда бы позволил начальник; но самовольничать они не смели, потому что в минуту отъезда собственными глазами видели, как сам Акба-Улан держал начальнику стремя.

Между тем и Львов уж растаял в туманной дали. Татары перестали петь, и отряд медленно подвигался вперед в облаках пара, поднимавшегося от лошадей. Вдруг позади послышался конский топот.

Через минуту показались два всадника. Один из них был Володыёвский, другой – арендатор из Вонсоши. Оба они, минуя отряд, скакали прямо к Кмицицу.

– Стой! Стой! – кричал маленький рыцарь.

Кмициц придержал коня.

– Это ты, пан Михал?

Володыёвский тоже осадил коня.

– Здорово! – сказал он. – Письма от короля! Одно тебе, другое витебскому воеводе.

– Да я ведь не к пану Сапеге, я к пану Чарнецкому еду.

– А ты сперва прочитай письмо!

Кмициц взломал печать и стал читать:

«От гонца, что прибыл сейчас от пана витебского воеводы, узнали мы, что пан воевода не может идти в Малую Польшу и вновь принужден воротиться в Подлясье по той причине, что князь Богуслав не остается при шведском короле, а с великою силой замыслил ударить на Тыкоцин и пана Сапегу. Magna pars[66] своих сил пан Сапега принужден держать в гарнизонах, а посему повелеваем тебе идти со своим татарским отрядом на помощь пану воеводе. Понеже отвечает сие и твоему желанию, нет нужды нам приказывать тебе торопиться. Другое письмо вручишь пану воеводе; в нем поручаю я верного нашего слугу пана Бабинича милости воеводы, но прежде всего покровительству всевышнего. Ян Казимир, король».

– О, боже! О, боже! – воскликнул Кмициц. – Какая добрая весть! Право, не знаю, как и благодарить мне за нее короля и тебя, пан Михал!

– Я сам вызвался поехать, – сказал маленький рыцарь. – Видел я, как ты мучаешься, и жаль мне стало тебя, да и хотел я, чтобы письма наверняка попали в твои руки.

Когда же прискакал гонец?

– Мы у короля на обеде были, я, оба Скшетуские, пан Харламп и пан Заглоба. Ты и представить себе не можешь, что вытворял за обедом пан Заглоба, как расписывал беспомощность Сапеги и свои собственные заслуги. Король хохотал до слез, а оба гетмана прямо катались со смеху. И вдруг вошел слуга с письмом, король тотчас на него крикнул: «Поди прочь, может, это худые вести, не порти мне удовольствия!» Но как узнал, что гонец от пана Сапеги, тотчас стал читать письмо. Вести и впрямь оказались худые, подтвердился слух, который давно уж носился: курфюрст нарушил все присяги и окончательно соединился с шведским королем против законного монарха.

– Вот еще один враг, точно и без того было их мало! – воскликнул Кмициц. И сложил молитвенно руки. – Великий боже! Коли пан Сапега на одну только неделю отпустит меня в Пруссию, к курфюрсту, и явишь ты мне свою милость, до десятого колена будут поминать пруссаки меня и моих татар!

– Может статься, вы туда и поедете, – сказал пан Михал, – но сперва придется вам бить Богуслава, – ведь ему после измены курфюрста дали людей и позволили выступить в поход в Подлясье.

– Стало быть, встретимся мы с ним, как бог на небе, встретимся! – сверкая глазами, говорил Кмициц. – Да когда бы ты привез мне грамоту, что назначен я виленским воеводой, и то бы больше меня не обрадовал!

– Король тоже сразу вскричал: «Вот и поход для Ендрека готов, теперь довольна будет его душенька!» Он слугу хотел послать вдогонку, но я говорю ему: сам, мол, поеду, вот и прощусь еще с ним.

Кмициц перегнулся на коне и схватил маленького рыцаря в объятия.

– Родной брат столько бы для меня не сделал! Дай бог как-нибудь отблагодарить тебя!

– Ну-ну! Я ведь хотел тебя расстрелять!

– А я лучшего и не заслуживал. И толковать не стоит! Да пусть меня в первой же битве зарубят, коль среди всех рыцарей я люблю кого-нибудь больше тебя!

Тут они снова стали обниматься, а на прощанье Володыёвский сказал:

– Берегись же, берегись Богуслава! С ним шутки плохи!

– Одному из нас уже смерть на роду написана!

– Ладно!

– Эх, вот если бы ты, лихой рубака, да открыл мне свои секреты! Что поделаешь! Недосуг мне! Но помогут мне и без того ангелы, и увижу я его кровь, разве только раньше закроются навек мои очи.

– Бог в помощь! Счастливого пути! Задайте же там жару изменникам пруссакам! – сказал Володыёвский.

Он махнул рукой Редзяну, который расписывал Акба-Улану прежние победы Кмицица над Хованским, и они оба поскакали назад, во Львов.

Кмициц же повернул на месте свой отряд, как возница поворачивает телегу, и направился прямо на север.

#### ГЛАВА XXXIV

Хоть и умели татары, особенно из Добруджи, сразиться в открытом поле с мужами битвы, однако всего милее было им убивать безоружных, брать ясырями женщин и мужчин и прежде всего грабить. Несносно томителен был поэтому путь для отряда, который вел Кмициц, ибо под железной его рукой дикие воины вынуждены были обратиться в покорных овец, держать ножи в ножнах, а погашенные трупы и свернутые арканы в заплечных мешках. На первых порах роптали татары.

Под Тарногородом человек двадцать отстали умышленно, чтобы в Хмелевске «пустить петуха» да потешиться с бабами. Но Кмициц, который подошел уже к Томашову, завидев первый же отсвет пожара, воротился назад и приказал виновным перевешать друг друга. Он так подчинил уже своей воле Акба-Улана, что тот не только не оказал сопротивления, но торопил осужденных, чтобы скорее вешали они друг друга, не то «багадыр» будет гневаться. С того времени шли «овечки» спокойно и по деревням и местечкам сбивались плотной толпой, чтобы, упаси бог, не пало на кого-нибудь из них подозрение. Как ни жестоко расправился с виновными Кмициц, не пробудил он, однако, у татар ни неприязни к себе, ни ненависти; такое уж было его счастье, что люди, ему подвластные, всегда одинаково и любили своего предводителя, и боялись его неукротимого нрава.

Правда, пан Анджей и татар не давал в обиду. Незадолго до этого Хмельницкий и Шереметев подвергли этот край опустошительному набегу, и на предновье трудно было тут с кормами; но для татар все было вовремя и всего было вдоволь, а когда в Криницах жители стали оказывать сопротивление и не захотели дать никаких кормов, пан Анджей несколько человек приказал сечь кнутом, а подстаросту с маху рассек своим топориком.

Очень это привлекло к нему сердца ордынцев; слушая со злорадством, как кричат



под кнутом криничане, они говорили между собою:

– Э, сокол наш Кмита не даст своих овечек в обиду!

Одно можно сказать, люди и кони не то что не похудали, а, напротив, нагуляли тело. Старый Улан, у которого еще больше выросло брюхо, со все большим удивлением поглядывал на молодого рыцаря и только языком щелкал.

– Вот если б аллах сына мне дал, хотел бы я такого иметь. Не пришлось бы на старости с голоду помирать в улусе! – твердил он.

Кмициц время от времени тыкал его кулаком в брюхо и приговаривал:

– Слушай, кабан! Коль не распорют тебе шведы пузо, все кладовые в него упрячешь!

– Где они тут, эти шведы? Арканы у нас истлеют, луки иструхляеют, – отвечал ему Улан, стосковавшийся по войне.

Они и в самом деле сперва ехали по таким местам, куда не ступала нога шведа, а потом по таким, где вражеские гарнизоны уже были выгнаны конфедератами. Зато везде им встречались отряды шляхты, большие и маленькие, которые с оружием в руках шли в разных направлениях; такие же отряды крестьян не однажды грозно преграждали им путь, и часто трудно было втолковать людям, что перед ними друзья и слуги польского короля.

Наконец отряд дошел до Замостья. Татары поразились, увидев эту могучую крепость, нечего говорить, как велико было их изумление, когда они узнали, что она выдержала осаду всего войска Хмельницкого.

Ян Замойский, владетель майората[67], в знак великой милости и благоволения позволил им войти в город. Их впустили через Щебжешинские ворота, которые иначе назывались Кирпичными, ибо двое других были сложены из камня. Сам Кмициц не ждал найти что-либо подобное, он не мог прийти в себя от удивления при виде широких улиц, вытянувшихся по итальянскому образцу в ровную линию, при виде великолепного собора, академии, замка, стен, мощных пушек и всякого крепостного «вооружения». Мало кто из магнатов мог равняться с внуком великого канцлера и мало какая крепость – с Замостьюем.

Но больше всего восхитились ордынцы, когда увидели армянскую часть города. Они жадно вдыхали запах сафьяна, который шел от больших сафьяновых заводов, открытых предприимчивыми пришельцами из Кафы, а взоры их манили пряности, восточные ковры, пояса, сабли с насечкой, кинжалы, луки, турецкие чары и всякие драгоценности.

Сам коронный чашник очень понравился Кмицицу. Он и впрямь был настоящим царьком в своем Замостье, этот красавец в самой поре, хоть и несколько потрепанный оттого, что в годы первой молодости не очень смирял свои страсти. Всегда любил он прекрасный пол, но здоровье все-таки не настолько расстроил, чтоб и на лице пропала веселость. По сию пору не был он женат, и хоть самые знатные дома в Речи Посполитой рады были бы с ним породниться, уверял, что ни в одном из них не может найти себе невесту, чтоб была достаточно хороша собою. Нашел он красавицу позже, молодую француженку[68], которая хоть и любила другого, польстилась на богатство и без колебаний отдала руку магнату, не предполагая, что тот, кем она пренебрегла, возложит некогда королевский венец на свою и ее главу.

Остротою ума хозяин Замостья не отличался, – ровно столько было ему его отпущено, сколько самому было надобно, не более того. Чинов и званий не искал, – они сами плыли ему в руки, а когда друзья упрекали его за то, что нет у него честолюбия, он отвечал им:

– Это неправда, больше его у меня, нежели у тех, что на поклон ходят. Зачем мне обивать королевские пороги? В Замостье я не просто Ян Замойский, а Себепан Замойский.

Потому и звали его повсюду Себепаном, а он этим прозвищем был очень доволен. Охотно прикидывался он простаком, хотя получил тонкое воспитание и молодость провел в путешествиях по чужим странам. Сам называл себя простым шляхтичем и любил поговорить об убожестве своего «сословия», то ли для того, чтобы другие ему возражали, то ли для того, чтобы не заметили собственного его убожества. Но, в общем, был он человек достойный и, не в пример многим Другим, верный сын Речи Посполитой.

Понравился он Кмицицу, но и Кмициц ему по душе пришелся, пригласил он молодого рыцаря к себе в замок, в покои, и принимал радушно, потому что любил, чтобы славили его и за гостеприимство.

В замке пан Анджей познакомился со многими знатными людьми, прежде всего с княгиней Гризельдой Вишневецкой, сестрой Замойского и вдовой великого Иеремии, в свое время самого богатого магната во всей Речи Посполитой, который, однако, все свои несметные владения утратил во время казацких набегов, так что вдова его жила в Замостье у брата из милости.

Но столь надменна, величественна и добродетельна была княгиня Гризельда, что Замойский первый не знал, как ей угодить, а уж боялся ее пуще огня. Не бывало случая, чтобы не исполнил он ее воли или без ее совета предпринял какой-нибудь важный шаг. Придворные болтали, что это она правит Замостью, войском, казною и своим братом-старостой; но вдова не желала воспользоваться своим преимуществом, всецело предавшись безутешной скорби и воспитанию сына.

Сын ее недавно приехал на короткое время из Вены, где находился при дворе, и теперь гостил у матери. Это был юноша в самой весенней поре; но тщетно искал Кмициц на его челе тех примет, что должен был бы иметь сын великого Иеремии[69].

Наружность у князя была самая располагающая: полное круглое лицо, робкий взгляд выпуклых глаз, толстые, влажные, как у всех лакомок, губы, густые, цвета воронова крыла волосы до плеч. Только и унаследовал он от отца что эти черные волосы да смуглость лица.

Кто знал его ближе, уверяли Кмицица, что человек он благородной души и больших способностей, обладает замечательной памятью и может изъясняться на многих языках и только некоторая неповоротливость, медлительность ума да прирожденная неумеренность в еде составляют недостатки этого в других отношениях незаурядного юноши.

Побеседовав с молодым князем, пан Анджей убедился, что он не только понятлив и рассудителен, но и имеет дар привлекать к себе людей. После первого же разговора он полюбил юношу любовью, исполненной состраданья. Дорого дал бы он за то, чтобы вернуть сироте тот блистательный удел, который должен был быть предназначен ему

по праву и рождению.

Но за первым же обедом он убедился и в том, что не зря болтают люди об обжорстве Михала. Молодой князь, казалось, ни о чем больше не думал, кроме как об еде. Его выпуклые глаза беспокойно следили за каждой переменной кушанья, а когда ему подносили блюдо, он накладывал себе на тарелку огромные куски и ел, чавкая с той жадностью, с какой едят одни только обжоры. Облако еще большей печали повисло в эту минуту на мраморном лице княгини. Кмицицу стало так неловко, что он отвернулся и устремил взор на Замойского.

Но калушский староста не смотрел ни на князя Михала, ни на своего гостя. Кмициц проследил его взгляд, и из-за плеча княгини Гризельды взору его явилось истинно волшебное виденье, которого до сих пор он не замечал.

Это была девичья головка с личиком белым, как кипень, румяным, как роза, и прелестным, как картинка. Локоны сами вились у панны на лбу, быстрыми глазками она так и стреляла по офицерам, сидевшим рядом со старостой, не минуя при этом и самого Себепана; наконец она остановила свой взор на Кмицице и смотрела на него с такой игривостью и с таким упорством, словно хотела заглянуть в самую глубину его сердца.

Но Кмицица нелегко было смутить; он тут же сам стал предезко смотреть в ее глазки, затем толкнул в бок сидевшего рядом с ним Щурского, поручика надворной панцирной хоругви Замойского, и спросил вполголоса:

– Что это за птичка такая синичка с пышным хвостом?

– Осторожней, милостивый пан, коль не знаешь, о ком говоришь! – резко оборвал его Щурский. – Никакая это не синичка, это панна Анна Борзобогатая-Красенская! И ты иначе ее не зови, а то как бы не пришлось тебе пожалеть о своей grubianitatis[70].

– А ты разве не знаешь, что долгохвостая синичка прехорошенькая пташка, и нет потому ничего зазорного в этом прозвании, – засмеялся Кмициц. – Однако и осерчал же ты, влюблен, знать по уши!

– А кто тут в нее не влюблен? – сердито проворчал Щурский. – Сам пан староста все глаза проглядел, вертится как на шиле.

– Вижу я, вижу!

– Что ты там видишь! Пана старосту, меня, Грабовского, Столонгевича, Коноядского, драгуна Рубецкого, Печингу, всех она с ума свела. И тебя сведет, коль подольше тут побудешь. Ей для этого двадцати четырех часов хватит!

– Э, сударь! Меня и за двадцать четыре месяца не сведешь!

– Как так? – возмутился Щурский. – Ты что, железный?

– Нет! Но если у тебя украли из кармана последний талер, тебе нечего бояться воров...

– Ну разве что так! – промолвил Щурский.

А Кмициц вдруг приуныл, собственные вспомнил печали и перестал обращать внимание на черные глазки, которые все упорней глядели на него, словно вопрошая: «Как звать тебя и откуда взялся ты тут, молодой рыцарь?»

А Щурский ворчал:

– И не смигнет! Вот так и меня пронзала, покуда не пронзила в самое сердце! А теперь и смотреть в мою сторону не хочет!

Кмициц встряхнулся от задумчивости.

– Чего же, черт бы вас побрал, никто из вас не женится на ней!

– Друг дружке мешаем!

– Ну, этак девка и вовсе может маком сесть! А впрочем, грушка-то, пожалуй, еще с белыми зернышками.

Щурский глаза на него вытаращил; наклонясь, он с самым таинственным видом шепнул ему на ухо:

– Толкуют, ей уж все двадцать пять, клянусь богом! Еще до набега этих разбойников казаков она состояла при княгине Гризельде.

– Скажи на милость! А я бы ей больше шестнадцати не дал, ну от силы восемнадцать!

А меж тем «чаровница» догадалась, видно, что об ней идет разговор, потому что опустила ресницы и только бочком, осторожно стреляла на Кмицица глазками, все будто спрашивая: «Кто ты такой, красавчик? Откуда взялся?»

А он и ус стал неволью крутить.

После обеда калушский староста, который видя тонкое обхождение Кмицица, и сам обходился с ним не как с обычным гостем, взял молодого рыцаря под руку.

– Пан Бабинич, – обратился он к нему, – ты говорил мне, что ты из Литвы?

– Да, пан староста.

– Скажи мне, не знаешь ли ты в Литве Подбипяток?

– Знать я их не знаю, потому их никого и на свете уж нет, по крайней мере тех, что звались Сорвиглавцами. Последний под Збаражем голову сложил. Это был самый великий рыцарь из всех, что дала нам Литва. Кто не знает у нас Подбипяток!

– Слышал про то и я, а спрашиваю вот почему: тут у моей сестры одна панна живет, зовут ее Борзобогатая-Красенская. Девушка благородная. Она невестой была пана Подбипятки, убитого под Збаражем. Сирота круглая, без отца, без матери, и сестра ее очень любит, да и я, будучи опекуном сестры, тем самым и эту девушку опекаю.

– Милое дело! – прервал его Кмициц.

Калушский староста улыбнулся, и глазом подмигнул, и языком прищелкнул.

– Что? Марципанчик, розанчик, а?

Однако тут же спохватился и принял важное выражение.

– Изменник! – сказал он полушутя, полусерьезно. – Ты на удочку хотел меня поймать, а я чуть было не выдал свою тайну.

– Какую? – спросил Кмициц, бросив на него быстрый взгляд.

Тут Себепан окончательно понял, что в остроте ума ему не сравниться с гостем, и повернул разговор на другое.

– Этот Подбипятка, – сказал он, – фольварки ей отписал в ваших краях. Не помню я их названий, чудные какие-то: Балтупе, Сыруцяны, Мышьи Кишки, словом, все, что у него было. Право, всех не припомню.. Пять или шесть фольварков.

– Не фольварки это, а скорее поместья. Подбипятка был очень богат, и коль заполучит эта панна когда-нибудь все его состояние, сможет держать собственный двор и мужа искать себе среди сенаторов.

– Что ты говоришь? Ты знаешь эти деревни?

– Я знаю только Любовичи и Шепуты, они лежат рядом с моими поместьями. Рубежи одних только лесных угодий тянутся мили на две, а земель да лугов еще на столько же.

– Где же это?

– В Витебском воеводстве.

– Ну это далеко! Дело выеденного яйца не стоит, ведь тот край в руках врага.

– Выгоним врага и до поместий дойдем. Но у Подбипятки и в других краях есть поместья, особенно большие в Жмуди, я это хорошо знаю, у меня самого там клочок земли.

– Вижу, и ты не пустосум, состояньице немаленькое.

– Никакого теперь от него толку. Но чужого мне не надобно.

– Дай же совет, как поставить девушку на ноги.

Кмициц рассмеялся.

– Да уж коль давать, так лучше об этом, не об чем другом. Самое лучшее попросить помочь пана Сапегу. Ежели примет он в девушке участие, то как витебский воевода и первый человек в Литве много может для нее сделать.

– Он бы мог разослать трибуналам письма, что имения отписаны Борзобогатой, чтобы родичи Подбипятки не зарились.

– Так-то оно так, но ведь трибуналов сейчас нет, да и у пана Сапеги голова другим занята.

– Можно было бы отвезти к нему девушку и опеку передать над нею. Будет она у него на глазах, так он для нее скорее что-нибудь сделает.

Кмициц с удивлением посмотрел на старосту.

«Что это он решил от нее избавиться?» – подумалось ему.

Староста между тем продолжал:

– В стане жить у воеводы, в его шатре, ей не пристало, но он мог бы оставить ее со своими дочками.

«Что-то мне невдомек, – снова подумал Кмициц. – Да в Опеке ли тут дело?»

– Вся беда в том, что время нынче беспокойное, трудно отсылать ее в те края. Пришлось бы несколько сот людей с нею отправить, а я не могу оголять Замостье. Найти бы кого, кто доставил бы ее целой и невредимой. Вот ты бы, к примеру, мог это сделать, все едино ведь едешь к пану Сапеге. Я бы дал тебе письма, а ты бы мне дал слово рыцаря, что доставишь ее целой и невредимой.

– Мне везти ее к пану Сапеге? – удивился Кмициц.

– Разве это так уж неприятно? Пусть бы даже в дороге дело у вас дошло до любви!

– Эге-ге! – сказал Кмициц. – Любовью-то моей уж другая владеет и хоть ничем мне за нее не платит, а все менять ее я не думаю.

– Тем лучше, тем спокойней я вверю ее твоему попечению.

Наступила минута молчания.

– Ну как? Не возьмешься? – спросил староста.

– С татарами я иду.

– Мне говорили, что эти татары боятся тебя пуще огня. Ну как, не возьмешься?

– Гм!.. Отчего не взяться, отчего же, вельможный пан, не сослужить тебе службу. Да вот...

– Знаю! Ты думаешь, надо, чтоб княгиня дала на то свое согласие. Она позволит, как пить дать позволит! Ведь она, представь себе, подозревает меня...

Тут староста что-то долго шептал Кмицицу на ухо, а вслух закончил:

– Страх как она на меня за это разгневалась, а я и вовсе присмирел, потому чем с бабами воевать, так уж лучше, чтоб шведы под Замостьем стояли. Но теперь у нее будет лучший довод, что ничего дурного я не замышляю, коль скоро сам хочу усладить девушку. Удивится она, да, очень! Ну, так при первом же удобном случае я поговорю с нею.

С этими словами староста отошел, а Кмициц поглядел ему вслед и пробормотал:

– Расставляешь ты, пан староста, какие-то сети, и хоть цель мне неясна, однако западню я хорошо вижу, потому и ловец из тебя страх какой неискусный.

Староста был доволен собой, хотя понимал, что сделана только половина дела; оставалась другая, такая трудная, что при одной мысли о ней он просто трусил и сомнение брало его: надо было получить позволение княгини Гризельды, а сурового нрава ее и пронизательного ума староста очень боялся.

Однако, раз начав дело, он хотел поскорее довести его до конца, поэтому на следующий день после обедни, завтрака и смотра наемной немецкой пехоты направился в покои княгини.

Он застал сестру за вышиванием ризы для собора. Ануся за спиной у нее мотала развешанный на двух стульцах шелк; другой моток розового цвета она повесила себе на шею и, бегая вокруг стульцев, быстро свивала нить, так что только ручки мелькали.

У старосты глаза замаслились при виде ее; однако он тотчас придал своему лицу важное выражение и, поздоровавшись с княгиней, словно бы вскользь сказал:

– А пан Бабинич, что приехал сюда с татарами, литвин. Человек, видно, богатый и очень учтивый, а уж рыцарь прямо прирожденный. Ты заметила его, сестра?

– Ты же сам мне его и представил, – равнодушно уронила княгиня. – Лицо у него приятное, и с виду он храбрый рыцарь.

– Я его о поместьях расспрашивал, что панне Борзобогатой завещаны. Он говорит, что это состояние, равное чуть ли не радзивилловскому.

– Дай бог Анусе получить это наследство! Легче ей будет сиротство переносить, а потом и старость, – ответила княгиня.

– Вот только одно *periculum*, как бы дальняя родня не завладела им. Бабинич говорит, что витебский воевода, если захочет, может этим делом заняться. Достойный он человек и к нам весьма расположен, я бы ему и родную дочь не побоялся доверить... Надо только, чтобы он письмо послал в трибуналы да объявил об опеке. Но Бабинич уверяет, что для этого панне Анне самой придется туда поехать.

– Куда? К пану Сапеге?

– Или к его дочкам, но самой придется, чтобы *pro forma*[71] утвердиться в правах на наследство.

Это «утверждение в правах *pro forma*» воевода просто выдумал, справедливо полагая, что княгиня примет фальшивую монету за настоящую.

Подумав с минуту времени, она сказала:

– Как же ей сейчас ехать, когда по пути всюду шведы?

– Я получил весть, что из Люблина они ушли. Весь край по эту сторону Вислы свободен.

– Да кто же отвезет Ганку к пану Сапеге?

– Да хоть бы тот же Бабинич.

– С татарами? Побойся бога, брат, ведь это дикий и жестокий народ!

– Я совсем не боюсь, – сделала реверанс Ануся.

Но княгиня Гризельда уже поняла, что брат явился к ней с каким-то готовым умыслом; она услала Ануся и испытующе на него посмотрела.

– Эти ордынцы, – сказал он словно бы про себя, – трепещут перед Бабиничем. Он их вешает за малейшее неповиновение.

– Не могу я дать согласие на такую поездку, – объявила княгиня. – Девушка она честная, но ветрена и влюбляет в себя походя. Ты сам это прекрасно знаешь. Никогда бы я не вперила ее попечению молодого и к тому же неизвестного человека.

– Ну там-то его знают, да и кто не слышал о Бабиничах, людях родовитых и достойных! – (Первый пан староста о них и не слыхивал!) – В конце концов, – продолжал он, – ты бы могла дать ей для сопровождения какую-нибудь степенную женщину, вот и decorum[72] был бы соблюден. За Бабинича я ручаюсь. К тому же невеста у него в тех краях, и влюблен он в нее, по его же словам, смертельно. А кто влюблен, тому проказы нейдут на ум. Все дело в том, что другой такой случай вряд ли скоро представится, а у девушки состояние может пропасть, и на старости она может остаться без крова.

Княгиня перестала вышивать, подняла голову и снова устремила на брата проницательный взгляд.

– Почему тебе так хочется услатить ее отсюда?

– Почему мне хочется? – опустил староста глаза. – Да вовсе мне не хочется!

– Ян! Ты уговорился с Бабиничем покушаться на ее честь?

– Вот тебе на! Этого только не доставало! Да ты сама прочтешь письмо, которое я напишу пану Сапеге, и свое приложишь. А я одно только тебе обещаю, что шагу не ступлю из Замостья. Наконец, ты сама поговоришь с ним, сама попросишь взяться за это дело. Раз ты меня подозреваешь, знать ничего не хочу.

– Почему же ты настаиваешь, чтобы она уехала из Замостья?

– Потому что добра ей желаю и богатства. Наконец, так и быть, откроюсь тебе! Надо мне, чтоб уехала она из Замостья. Надоели мне твои подозрения, не нравится мне, что вечно ты хмуришься, вечно на меня косишься. Надеялся я, что посодействую отъезду девушки и наилучшее argumentum[73] представлю против твоих подозрений. Право, с меня довольно! Не школяр я и не повеса, что ночью крадется под окно возлюбленной. Скажу тебе больше: офицеры передрались из-за нее готовы, саблями друг другу грозятся. Ни покоя, ни порядка, ни надлежащей службы. С меня довольно! Ну что ты на меня уставилась? Коли так, поступай как знаешь, а за Михалом сама следи, это уж не моя, а твоя забота.

– За Михалом? – изумилась княгиня.



– Я про девушку ничего не могу сказать. Кружит она ему голову не больше, чем прочим, но коль ты не видишь, что он глаз с нее не сводит, что влюблен в нее по уши, одно скажу тебе: Купидон не ослепляет так, как материнская любовь.

Княгиня нахмурилась и побледнела.

Увидев, что он попал наконец в самую точку, староста хлопнул себя по коленям и сказал:

– Вот оно дело какое, сестра! А мне-то что. Пусть себе Михалек помогает ей мотать шерсть, пусть млеет, пусть томится, пусть поглядывает в замочную скважину! Мое дело сторона! Да и то сказать, состояние большое, родом она шляхтянка, а я выше шляхты себя не ставлю.. Что ж, твоя воля! Летами вот только он не вышел, да и это не моя забота.

С этими словами староста встал, весьма учтиво поклонился сестре и собрался уходить.

У княгини кровь прилила к лицу. Гордая дама во всей Речи Посполитой не видела партии, достойной Вишневецкого, а за границей разве только среди австрийских принцесс. Как раскаленное железо, обожгли ее слова брата.

– Ян! – сказал она. – погоди!

– Сестра, – ответил калушский староста, – я хотел, *primo*[74], дать тебе довод, что ты напрасно меня подозреваешь, *secundo*[75], что подозревать надо кое-кого другого. Теперь поступай как знаешь, мне больше сказать нечего.

С этими словами Замойский поклонился и вышел.

#### ГЛАВА XXXV

Калушский староста не пригнул, когда сказал сестре о любви князя Михала: как и вся молодежь, вплоть до придворных пажей, князь тоже был влюблен в Анусю. Но не такой уж пылкой была эта любовь и уж вовсе не предприимчивой, так, род сладкого томленья, а не тот порыв страсти, когда сердце жаждет вечного обладания предметом любви. Для такой жажды у Михала было слишком мало энергии.

И все же это чувство очень испугало княгиню. Гризельду, мечтавшую о блестящей будущности для сына.

В первую минуту она просто поразились, когда узнала, что староста договорился вдруг об отъезде Ануси; теперь же душа ее была настолько потрясена грозной опасностью, что она об этом и думать забыла. Разговор с сыном, который бледнел и дрожал и ударился в слезы, еще не успев ни в чем ей признаться, утвердил ее в мысли, что опасность над ним нависла грозная.

Однако не сразу усыпила она совесть, и только тогда, когда Ануся, которой хотелось свету повидать и людей посмотреть, а может, и голову вскружить красавцу рыцарю, упала к ее ногам и стала молить позволить ей уехать, княгиня не нашла в себе сил, чтобы отказать ей.

Правда, Ануся слезами обливалась при мысли о разлуке со своей госпожой, заменившей ей мать; но хитрая девушка сразу смекнула, что, прося о разлуке, она тем самым отводит от себя всякие подозрения в том, будто она с каким-то заранее

обдуманном намерением кружит голову молодому князю или даже самому старосте.

Желая убедиться, не в сговоре ли брат с Кмицицем, княгиня велела пану Анджею явиться к ней. Обещание старосты шагу не ступить из Замостья несколько ее успокоило, и все же она пожелала поближе познакомиться с человеком, который будет сопровождать Анусю.

Разговор с Кмицицем успокоил ее совершенно.

Серые глаза молодого шляхтича глядели так открыто и правдиво, что нельзя было в нем сомневаться. Он сразу признался княгине, что любит другую и потому нет у него охоты до шалостей. Наконец, он дал ей слово кавалера, что охранит девушку от любой опасности, разве только прежде сам сложит голову.

– Благополучно доставлю я ее к пану Сапеге, потому староста говорит, что враг уже ушел и из Люблина. Ну а там и думать о ней не хочу. И не потому, что отказываюсь я служить твоей милости, нет, я всегда готов пролить свою кровь за вдову величайшего из воителей, гордости всего народа. А потому, что свои у меня там нелегкие дела и не знаю, цел ли я останусь.

– Да больше ничего и не надобно, – ответила ему княгиня, – только доставить ее к пану Сапеге, а уж пан воевода не откажет мне в том, чтобы взять ее под свое покровительство.

Она протянула рыцарю руку, которую он поцеловал весьма почтительно, и сказала ему на прощанье:

– Будь же осторожен, пан, будь осторожен! Не смотри на то, что врагов нет в этом краю.

Последние слова смутили Кмицица; но некогда было ему подумать над ними, потому что его тут же поймал староста.

– Что ж, дорогой мой, – весело сказал он ему, – увозишь из Замостья его главное украшение?

– Да, но по вашей воле, – возразил Кмициц.

– Стереги же ее хорошенько. Лакомый это кусочек! Всяк бы рад отбить ее.

– Попробуй только! Сунься! Я дал княгине слово кавалера, а слово для меня вещь святая!

– Ну, это я только так, в шутку сказал. Нечего тебе бояться и соблюдать особую осторожность.

– И все-таки я попрошу у тебя, вельможный пан, какую-нибудь крытую карету, обшитую железом.

– Да хоть две тебе дам! Но ведь не сейчас же ты едешь?

– Нет, нет, я тороплюсь! И так уж тут засиделся.

– Тогда отправь сперва своих татар в Красностав. А я нарочного туда пошлю, чтобы

там для них все приготовили, а тебе своих солдат дам, они проводят тебя до самого Красностава. Ничего дурного тут с тобой не может случиться, мои это земли. Отборных немецких драгун дам тебе, народ это смелый, и места здешние они знают. Да и дорога до самого Красностава прямая, как стрела.

– А зачем мне тут оставаться?

– Подольше с нами побудешь, гость ты у нас желанный, я бы год целый рад тебя не отпускать. К тому же за табунами послал я в Переспу, может, и для тебя найдется скакун, что не выдаст, поверь мне, в бою!

Кмициц быстро взглянул старосте в глаза, затем, словно приняв вдруг какое-то решение, сказал:

– Спасибо, я остаюсь, а татар ушлю вперед.

И он тотчас отправился отдать распоряжения.

– Акба-Улан! – сказал он татарину, отведя его в сторонку. – Надо вам в Красностав идти по дороге прямой, как стрела. Я останусь здесь и в путь двинусь завтра с солдатами старосты. Послушай же, что я тебе скажу: в Красностав вы не ходите, а в ближнем лесу, недалеко от Замостья, притаитесь так, чтобы живая душа о вас не прознала, а как услышите выстрел на дороге, тотчас бросайтесь ко мне. Какую-то пакость хотят мне тут устроить.

– Твоя воля! – ответил Акба-Улан, прижав ладонь ко лбу, губам и груди.

«Я тебя, пан староста, насквозь вижу, – сказал про себя Кмициц. – В Замостье ты сестры боишься, вот и хочешь похитить девушку да поселить где-нибудь поблизости, а из меня сделать instrumentum[76] своих страстей и, кто тебя знает, может, и жизни лишить. погоди же! Не на такого напал. Я похитрей. Тебя самого захлопнет западня, которую ты устроил!»

Вечером поручик Щурский постучался к Кмицицу. Он тоже что-то знал, о чем-то догадывался, а так как любил Анусю, то предпочитал, чтобы она уехала, только бы не попала в лапы старосты. Однако открыто говорить он не решался, а может, не доверял Кмицицу; он только удивлялся, как это Кмициц согласился отослать вперед татар, убеждал его, что дороги не так уж безопасны, что всюду бродят вооруженные шайки, которые всегда готовы учинить насилие.

Но пан Анджей решил делать вид, что он ни о чем не догадывается.

– Да что со мной может статья? – говорил он. – Ведь пан калушский староста дает мне в сопровождение своих собственных солдат!

– Да! Но ведь это немцы.

– А разве они люди ненадежные?

– Этим собачьим детям никогда нельзя верить. Случалось, что, сговорившись в дороге, они перебежали к врагу.

– Но ведь шведов нет по эту сторону Вислы.

– Да в Люблине они, собаки! Это неправда, что они ушли. От души тебе советую, не отсылай ты татар, ведь с большим отрядом ехать безопасней.

– Жаль, что ты мне этого раньше не сказал. Один у меня язык, и не отменю я приказа, раз уж дал его.

На следующий день татары ушли. Кмициц должен был выехать к вечеру, чтобы на первый ночлег остановиться в Красностае. Тем временем ему вручили два письма Сапеге: одно от княгини, другое – от старосты.

Очень хотелось пану Анджею вскрыть письмо старосты, но не посмел он этого сделать, посмотрел только письмо на свет и увидел, что внутри вложена чистая бумага. Это окончательно убедило его в том, что и девушку и письма в пути хотят у него похитить.

Тем временем пригнали табун из Переспы, и староста подарил молодому рыцарю чудо-скакуна, а пан Анджей, приняв подарок с благодарностью, подумал в душе, что уедет на этом чудо-скакуне дальше, чем надеется староста. Вспомнил он и про своих татар, которые уже, верно, залегли в лесу, и веселый смех стал его разбирать. Но и зло его брало, и давал он себе обещание хорошенько проучить пана старосту.

Наступило наконец время обеда, который прошел очень уныло. У Ануси глаза были красные, офицеры хранили немое молчание; один только староста был весел и все приказывал подливать вина, а Кмициц осушал чары одну за другой. Когда наступило время уезжать, не много народу пришло проститься с отъезжающими, так как староста разослал офицеров по делам службы.

Ануся повалилась в ноги княгине, и ее долго нельзя было от них оторвать: на лице княгини читалась явная тревога. Быть может, упрекала она себя молча за то, что в такое смутное время, когда Анусю на каждом шагу могла подстеречь беда, позволила верной своей девушке уехать. Но, услышав громкий плач Михала, который ревел, как школяр, прижимая к глазам кулаки, гордая княгиня утвердилась в своем намерении подавить в самом зародыше это юношеское чувство. Да и тешила она себя надеждой, что в семье Сапеге девушка найдет покровительство, безопасный приют и, наконец, то богатство, которое должно было обеспечить ее на всю жизнь.

– Чести твоей, храбрости и отваге вверяю ее, – сказала она еще раз Кмицицу, – а ты помни, что клятву дал целой и невредимой доставить ее к пану Сапеге.

– Как стекло буду везти, надо будет – в очесья, как стекло, оберну, потому я слово дал, и одна только смерть может помешать мне сдержать его, – ответил рыцарь.

И подал руку Анусе, которая зла была на рыцаря, потому что он и не глядел на нее, и обходился с нею небрежно; надменно отворотясь, подала девушка ему свою руку.

Жаль было ей уезжать и страшно уж стало, но отступить было поздно.

Пришла минута отъезда, сели все, – она в карету со старой панной Сувальской, он на коня, – и тронулись. Двенадцать немецких рейтар окружили карету и повозку с коробьями Ануси. Когда заскрипели наконец, опускаясь, решетки Варшавских ворот и раздался стук колес по разводному мосту, Ануся расплакалась в голос.

Кмициц нагнулся к карете.

– Не бойся, панна, я тебя не съем!

«Грубиян!» – подумала Ануся.

Некоторое время они ехали мимо домов, стоявших за крепостными стенами, направляясь к Старому Замостью, затем выехали в поля и углубились в лес, который в те времена тянулся по одну сторону дороги с холма на холм до самого Буга и дальше, за Буг, а по другую шел, прерываясь деревнями, до самого Завихоста.

Ночь уже спустилась, ясная, впрочем, и очень погожая, впереди виднелась серебряная лента дороги; только стук кареты нарушал тишину да топот рейтарских коней.

«Тут уж где-то мои татары должны, как волки, таиться в зарослях», – подумал Кмициц.

– Что это? – спросил он у офицера, который командовал рейтарами.

– Топот слышен! Какой-то всадник за нами скачет! – ответил офицер.

Не успел он кончить, как к ним подскакал на взмыленном коне казак.

– Пан Бабинич! Пан Бабинич! – кричал он. – Письмо от пана старосты!

Отряд остановился. Казак подал Кмицицу письмо.

Кмициц взломал печать и при свете фонаря, укрепленного у козел кареты, прочел следующее письмо:

«Любезный друг наш, пан Бабинич! Вскоре после отъезда панны Борзобогатой-Красенской дошла до меня весть, что шведы не только не оставили Люблин, но намерены ударить на мое Замостье. Посему неразумно было бы урочный продолжать путь. Взвесили мы *pericula*, коим панна Борзобогатая может подвергнуться в дороге, и желаем, чтобы воротилась она назад, в Замостье. Привезут ее к нам те же рейтары, ибо ты, милостивый пан, поспешаешь по своим делам и мы тебя *fatigare*[77] не станем. Объявляя нашу волю, просим, милостивый пан, соблаговолить отдать рейтарам приказ согласно с сим нашим желанием».

«Все-таки хватило у него совести на жизнь мою не посягать, хочет только дураком меня сделать, – подумал Кмициц. – Ну, мы это мигом узнаем, нет ли тут какой ловушки!»

Между тем Ануся высунулась в окно кареты.

– Что случилось? – спросила она.

– Ничего! Пан калушский староста еще раз поручает тебя моему попеченью. Только и всего.

– Вперед! – приказал он затем кучеру и рейтарам.

Однако офицер, командовавший рейтарами, осадил коня.

– Стой! – крикнул он кучеру.

Затем обратился к Кмицицу:

– Как так «вперед»?

– А чего же нам еще в лесу стоять? – притворился дурачком Кмициц.

– Да ведь ты, милостивый пан, получил какой-то приказ.

– А тебе какое до этого дело? Получил, потому и приказываю: вперед!

– Стой! – крикнул офицер.

– Вперед! – повторил Кмициц.

– Что случилось? – снова спросила Ануся.

– Мы шагу не сделаем, покуда я не увижу приказа! – решительно заявил офицер.

– Приказа ты не увидишь, потому что не тебе его прислали!

– Коль ты не хочешь подчиниться приказу, я его выполню! Езжай себе с богом в Красностав, да смотри, как бы мы тебе на дорогу не всыпали, а мы с панной возвращаемся назад.

Кмицицу только того и надо было: офицер выдал, что знает приказ, все оказалось заранее обдуманной хитростью.

– Езжай с богом! – грозно повторил офицер.

В ту же минуту рейтары без команды выхватили из ножен сабли.

– Ах вы, собачьи дети, вы бы хотели не в Замостье девушку увезти, а где-нибудь на отшибе ее устроить, чтобы староста на свободе мог предаваться любовным утехам. Ну нет, не на такого напали!

С этими словами он выпалил вверх из пистолета.

При звуке выстрела в глубине леса раздался такой ужасающий вой, точно этот выстрел разбудил целые стаи волков, спавших поблизости. Рев послышался спереди, сзади, с боков, в ту же минуту раздался конский топот, треск сучьев, ломаемых копытами, и на дороге показались толпы всадников, которые приближались с нечеловеческим воем и визгом.

– Господи Иисусе! Мать пресвятая богородица! – взвизгнули перепуганные женщины в карете.

Тем временем тучей подскакали татары: однако Кмициц троекратным возгласом остановил их, а сам повернулся к испуганному офицеру и давай похвалиться:

– Что, узнал теперь, на кого напал! Пан староста хотел из меня дурака сделать,

слепое свое instrumentum! А тебе поручил сводником быть, и ты, пан офицер, пошел на это ради милостей господина. Кланяйся же пану старосте от Бабинича и скажи ему, что панна благополучно прибудет к пану Сапеге!

Офицер повел испуганными глазами и увидел дикие лица, хищно глядевшие на него и рейтар. Было ясно, что они ждут одного только слова, чтобы броситься на них и растерзать на части.

– Милостивый пан, ты все, что хочешь, можешь сделать с нам. и, против силы не попрешь, – ответил он дрожащим голосом, – но пан староста сумеет отомстить.

– Пусть на тебе отомстит, ведь не выдай ты себя, не покажи, что знаешь приказ, не воспротивься мне, я бы не уверился в том, что все это ловушка, и тут же, в Красноставе, отдал бы вам панну. Вот и скажи пану старосте, чтобы поумней себе сводников выбирал.

Спокойный голос Кмицица обнадежил офицера, что хоть смерть не грозит ни ему, ни рейтарам, он вздохнул с облегчением.

– Что же нам, ни с чем воротиться в Замостье? – спросил он.

– Почему же ни с чем? – возразил Кмициц. – С моим письмом воротитесь, а выписать его я велю каждому на собственной его шкуре.

– Милостивый пан...

– Бери их! – крикнул Кмициц.

И сам схватил офицера за шиворот.

Вокруг кареты поднялась суматоха, закипела свалка. Крики татар заглушили призывы на помощь и пронзительные вопли женщин.

Однако схватка была недолгой, не прошло и минуты, как рейтары уже лежали связанные рядышком на дороге.

Велел тут Кмициц сечь их сыромятными плетями, но не слишком усердно, чтобы могли они пешими вернуться в Замостье. Солдатам дали по сто плетей, а офицеру полторы сотни, невзирая на мольбы и заклинания Ануси, которая, не понимая, что творится, и решив, что она попала в чьи-то страшные лапы, сложила на груди руки и со слезами на глазах молила сохранить ей жизнь.

– Сжался, рыцарь! Чем я перед тобой провинилась? Сжался! Пощади!

– Помолчи, панна! – рявкнул Кмициц.

– В чем я перед тобой провинилась?

– Ты, может, и сама с ними в сговоре?

– В каком сговоре? Господи, помилуй!

– Так разве ты не знаешь, что пан староста только для отвода глаз позволил тебе уехать, чтобы с княгиней тебя разлучить, а по дороге похитить и в каком-нибудь

пустом замке покушаться на твою честь?

– Иисусе Назарейский! – крикнула Ануся.

Так неподделен был этот возглас, что Кмициц сказал уже помягче:

– Как? Стало быть, ты не в сговоре с ними? Да может ли это быть!

Ануся закрыла руками лицо, она слова не могла вымолвить, только повторяла:

– Господи Иисусе! Пресвятая богородица!

– Ну перестань же! – сказал еще мягче Кмициц. – Поедешь спокойно к пану Сапеге, потому не сообразил пан староста, с кем имеет дело. Вон те люди, которых там секут, должны были похитить тебя. Я дарую им жизнь, чтобы они могли рассказать пану старосте, каково им пришлось.

– Так ты защитил меня от позора?

– Да, хоть и не знал, рада ли ты будешь.

Вместо того чтобы отвечать или оправдываться, Ануся схватила вдруг руку пана Анджея и прижала ее к своим побелевшим губам.

Огонь пробежал у него по жилам.

– Да оставь же, панна, ради бога! Что это ты? – крикнул он. – Садись в карету, а то ножки промочишь! И не бойся! У родной матери не было бы тебе спокойней!

– Теперь я с тобой хоть на край света поеду!

– Ты мне, панна, таких речей не говори!

– Бог тебя вознаградит за то, что защитил ты мою честь!

– Первый раз такое со мною случилось, – ответил ей Кмициц.

А про себя тихонько прибавил:

«Защитил я досель девической чести, что кот наплакал!»

Тем временем ордынцы перестали сечь рейтар, и пан Анджей приказал гнать их, голых и окровавленных, по дороге в Замостье. Они пошли, проливая горькие слезы. Коней, оружие и одежду Кмициц подарил своим татарам, и отряд быстро двинулся вперед, ибо медлить было опасно.

По дороге молодой рыцарь не мог удержаться, все в карету заглядывал, а верней, в быстрые глазки и чудное личико девушки. Всякий раз он спрашивал, не надобно ли ей чего, удобна ли карета, не утомительна ли быстрая езда.

Она с благодарностью отвечала, что так ей хорошо, как никогда не бывало. Страх ее пропал. Сердце переполнилось доверием к защитнику.

«Не такой уж он бирюк, – думала она в душе, – не такой уж грубиян, как мне



сперва показалось!»

«Эх, Оленька, какие муки терплю я ради тебя! – говорил про себя Кмициц. – Ужель ответишь ты мне неблагодарностью? Кабы прежнее время... Ух!»

Тут вспомнились ему собутыльники и всякие проказы, что строили они вместе, и, желая отогнать искушение, он стал читать молитву за упокой души усопших.

Прибыв в Красностав, Кмициц решил, что лучше не ждать вестей из Замостья и тотчас двинуться дальше. Однако перед отъездом он написал и отослал старосте следующее письмо:

«Вельможный пан староста, милостивец наш и благодетель!

Кого бог великим сотворил, того и разумом наделил щедро. Я тотчас смекнул, вельможный пан староста, что ты только испытать меня хочешь, посылая приказ отправить назад панну Борзобогатую-Красенскую, и тем легче сие уразумел, что рейтары сами выдали, что знают приказ, хоть письма я им не показывал, а ты, вельможный пан староста, пишешь, будто решение принял уже после нашего отъезда. Не могу надивиться твоей предусмотрительности, для вящего же спокойствия заботливого опекуна вновь даю обещание, что ничто не сможет помешать мне выполнить возложенную на меня обязанность. Но солдаты твои, видно, плохо поняли твой умысел, оказались изрядными грубиянами и осмелились даже угрожать моей жизни, и я думаю, что угадал бы твою волю, когда бы велел их повесить. За то, что не сделал этого, прощенья прошу, вельможный пан староста: но батожками я их все-таки велел хорошенько посечь, а коль сочтешь ты, что мало я их наказал, то по воле своей можешь и прибавить. Льшу себя надеждой, что заслужил я, вельможный пан староста, доверие твое и благодарность, а посему остаюсь преданный и покорный слуга твой – Бабинич».

Поздней ночью дотащившись до Замостья, драгуны не смели на глаза показаться калушскому старосте, так что о происшествии он узнал только из письма, которое на следующий день привез красноставский казак.

На три дня заперся староста, получив это письмо, и из придворных никого к себе не допускал, кроме одних лакеев, что носили ему поесть. Слышно было, как ругался он по-французски, что делал обычно только в совершенном неистовстве.

Однако буря понемногу улеглась. На четвертый и пятый день староста был еще очень молчалив; все о чем-то думал и ус свой дергал и только через неделю, совсем развеселясь и подвыпив за столом, стал не дергать, а уж крутить свой ус и сказал княгине Гризельде:

– А знаешь, сестра, все-таки я осторожен. Дня два назад с умыслом испытал я шляхтича, что взял с собой Анусю, и могу теперь заверить тебя, что целой и невредимой доставит он ее к пану Сапеге.

И месяца после этого не прошло, а пан староста обратил уже свое благосклонное внимание на другой предмет, да и сам утвердился в мысли, что все сбылось по его воле и с его ведома.

#### ГЛАВА XXXVI

Значительная часть Люблинского воеводства и почти все Подляское находились в руках поляков, то есть конфедератов и Сапег. Шведский король все еще оставался

в Пруссии, где вел переговоры с курфюрстом. Чувствуя, что они не в силах усмирить всеобщее восстание, которое ширилось с каждой минутой, шведы не смели покидать города и замки, а через Вислу переправляться и подавно, ибо по правую ее сторону собралось больше всего польских войск. Именно в Люблинском и Подлясском воеводствах создавалась та немалая и крепкая боевая сила, которая могла бы сразиться с постоянным шведским войском. В поветовых городах учили пехоту; в людях не было недостатка, так как крестьяне сплошь взялись за оружие; надо было только узду наложить на беспорядочные их ватаги, представлявшие часто опасность для собственной страны, и преобразовать их в боевое войско.

Этим занимались поветовые ротмистры. Кроме того, король дал множество грамот старым и опытным воителям, и те во всех землях набирали войско; ратного люда там было немало, и конные хоругви составлялись отборные. Одни уходили за Вислу, чтобы и там раздуть пожар войны, другие шли к Чарнецкому, третьи к Сапеге. Столько народу подняло оружие, что войско Яна Казимира числом превзошло уже шведское.

Страна, недавно пораженная своей слабостью всю Европу, явила теперь пример силы, которой не подозревали в ней не только враги, но даже собственный король, даже верные сыны, чье сердце несколько месяцев назад надрывалось от горя и муки. Нашлись и деньги, и геройство, и отвага; даже те, кто совсем уж было отчаялся, убедились в том, что нет таких обстоятельств, нет такого упадка, нет такой слабости, от которой нельзя было бы воспрянуть, и что там, где рождаются дети, не может умереть надежда.

Кмициц беспрепятственно подвигался вперед, собирая по дороге мятежные души, которые охотно присоединялись к его отряду, надеясь, что в союзе с татарами им удастся побольше крови пролить и пограбить. Пан Анджей легко превращал их в исправных и усердных солдат, ибо имея дар внушать страх подчиненным и приводить их к повиновению. Завидев молодого рыцаря с татарами, люди всюду радостно его приветствовали. Они воочию убеждались в том, что хан и в самом деле идет на помощь Речи Посполитой. Ясное дело, разнесся слух, что на помощь пану Сапеге валят *auxilia*, целых сорок тысяч отборного татарского войска. Чудеса рассказывали о «кротости» этих союзников, о том, что по дороге не чинят они никаких насилий и убийств. Их ставили в пример собственным солдатам.

Сапега временно стоял в Белой. Силы его состояли примерно из десяти тысяч регулярного войска, конницы и пехоты. Это были пополненные новыми людьми остатки литовского войска. Конница, особенно некоторые хоругви, стойкостью и выучкой превзошла шведских рейтар; но пехота была плохо обучена, не хватало ружей и особенно пороха. Мало было и пушек. Витебский воевода надеялся захватить их в Тыкоцине; но шведы, взорвав себя порохом, уничтожили при этом и все замковые орудия.

В окрестностях Белой, неподалеку от этого войска, стояло около двенадцати тысяч мужиков из всей Литвы, Мазовии и Подлясья; но воевода на мужиков не возлагал особых надежд, так как с ними было множество повозок, которые мешали в походе, а стан обращали в такое нестройное скопище, что его трудно было поднять с места. Когда Кмициц въезжал в Белую, одна только мысль сверлила ему голову. Столько литовской шляхты, столько радзивилловских офицеров, старых его знакомых, служило у Сапеге, что он опасался, как бы его не признали, а признав, не зарубили саблями, прежде чем успеет он ахнуть. Ненавистным было его имя во всей Литве и в стане Сапеге, ибо свежа еще была память о том, как, служа Радзивиллу, истреблял он хоругви, которые восстали против гетмана и выступили на защиту отчины.

Однако пан Анджей ободрился, когда вспомнил, как сильно он изменился. Прежде всего худ он был страшно, затем у него появился шрам от пули Богуслава, наконец, он носил теперь довольно длинную козлиную бородку на шведский манер и усы зачесывал вверх, так что больше смахивал на какого-нибудь Эриксона, нежели на польского шляхтича.

«Только бы сразу шум не поднялся, а после первой же битвы они ко мне переменятся», – думал он, въезжая в Белую.

Въезжал он уже в сумерки, объявил, кто такой, откуда едет, сказал, что везет королевские письма, и тотчас попросил, чтобы его допустили к воеводе.

Воевода принял его милостиво, ибо король с горячей похвалой отозвался о молодом рыцаре и просил о нем позаботиться.

«Посылаем вам самого верного нашего слугу, – писал он воеводе, – коего со времени осады преславной святыни зовут ченстоховским Гектором; жертвуя собственной жизнью, спасал он нашу свободу и нашу жизнь, когда переправлялись мы через горы. Вверяем его особому вашему попечению, дабы солдаты не нанесли ему обиды. Мы знаем подлинное его имя, знаем и то, по какой причине служит он под вымышленным именем, и никто за сие не смеет возводить на него подозрения и винить его в злокозненных умыслах».

– А нельзя ли узнать, по какой причине носишь ты вымышленное имя? – спросил воевода.

– Приговорен я к изгнанию и под собственным именем не мог бы набирать войско. Король дал мне грамоту, и как Бабинич я могу кликнуть охотников.

– Зачем же тебе еще охотники, коль у тебя татары?

– Не помеха нам и большая сила.

– А за что осудили тебя на изгнание?

– Должен я, вельможный пан, как родному отцу тебе открыться, потому служить пришел к тебе и прошу твоего покровительства. Настоящее мое имя: Кмициц.

Воевода отпрянул.

– Тот самый Кмициц, что сулился Богуславу живым или мертвым похитить нашего короля?

С присущей ему страстностью рассказал Кмициц, как все случилось, как служил он, обманутый, гетману Радзивиллу, как, услышав из уст Богуслава об истинных намерениях князей, похитил его и тем самым навлек на себя неумолимую месть.

Воевода поверил ему, да и не мог не поверить, тем более что и королевские письма подтверждали, что Кмициц говорит правду. Да и душа воеводы так радовалась в эту минуту, что он бы самого заклятого врага прижал к сердцу, тягчайший простил бы грех. А радость принесло ему следующее место из королевского письма:

«Хоть великая литовская булава, свободная по смерти виленского воеводы, по

закону, лишь на сейме может быть вручена новому гетману, однако же почли мы за благо в нынешних чрезвычайных обстоятельствах пренебречь сим порядком и, памятуя великие ваши заслуги, вам, любезному нашему другу, вручаем сию булаву на благо Речи Посполитой, справедливо полагая, что, коль принесет нам господь успокоение, ни один голос не поднимется на будущем сейме противу нашей воли и повеление наше единодушно будет одобрено».

Сапега, который, как тогда говорили в Речи Посполитой, «последний кунтуш заложил и продал последнюю серебряную ложку», не из корысти служил отчизне и не ради почестей. Однако даже самый бескорыстный человек радуется, когда видит, что заслуги его ценят, что благодарностью платят ему, воздают должное. Потому-то так сияло теперь суровое его лицо.

Этот акт королевской воли новым блеском приукрасил род Сапег, а к этому никто из тогдашних князей не оставался равнодушен, хорошо еще, коль не стремился per nefas[78] к возвышению. Вот и готов был Сапега сделать сейчас для короля все возможное и невозможное.

– Коли гетман я, – сказал он Кмицицу, – ты мне подсуден и найдешь во мне покровителя. Много тут шляхты в ополчении, стало быть, в любую минуту может она поднять шум, не лезь ты ей на глаза, покуда не растолкую я ей, что клевету взвел на тебя Богуслав, и не сниму с тебя клеймо позора.

Кмициц от души поблагодарил Сапегу и заговорил об Анусе, которую он привез с собой в Белую. Сапега стал ворчать, но был он в таком хорошем расположении духа, что и ворчал весело.

– Клянусь богом, рехнулся Себепан! – говорил он. – Сидят они себе с сестрой за стенами Замостья, как у Христа за пазухой, и думают, что всяк может отвернуть полы кунтуша, стать у печки да погреть себе спину. Знавал я Подбипяток, сродни они Бжостовским, а Бжостовские мне. Имение богатое, что говорить, но хоть попритихла на время война с московитами, они все же стоят еще в той стороне. Куда сунешься с этим делом, где теперь суды, где власти? Кто будет утверждать девку в правах наследства, вводить во владение? Совсем они там с ума походили! У меня Богуслав на плечах, а я обязанности войскового должен исполнять, с бабами вожжаться!

– Не баба она, а вишенка, – сказал Кмициц. – Но мое дело сторона! Велели везти – привез, велели отдать – отдаю!

Старый гетман взял тут Кмицица за ухо.

– А кто тебя знает, разбойник, какую ты ее привез! Избави бог, станут болтать, что горой ее дует от опеки Сапеги, как мне, старику, в глаза тогда людям смотреть, сраму-то не оберешься! Ну-ка, что вы там на стоянках делали? Говори сейчас же, нехристь ты этакий, не перенял ли ты от своих татар басурманских обычаев?

– На стоянках? – весело переспросил Кмициц. – На стоянках я приказывал слугам плетью себе спину полосовать, чтоб изгнать греховные помыслы, кои под кожей имеют обиталище и, confiteor[79], как слепни меня жалили.

– Вот видишь! Хорошая ли девка-то?

– Э, коза! Но очень пригожа, а уж ласкова...

– Это ты уж успел узнать, нехристь ты этакий!

– Какое там! Добродетельна она, как монашенка, тут уж ничего не скажешь. Ну а коль горой дуть ее станет, так это скорей от опеки пана Замойского может приключиться.

Кмициц рассказал Сапеге всю историю. Гетман со смехом похлопал его по плечу.

– Ну и дока же ты! Не зря про Кмицица столько рассказывают. Но ты не бойся! Пан Ян не злой человек и друг мой. Остынет первый гнев, и он сам еще посмеется и тебя вознаградит.

– Не нуждаюсь я в его наградах! – прервал Кмициц Сапегу.

– Это хорошо, что гордость есть у тебя и людям в руки не смотришь. Ты вот так же усердно помоги мне бить Богуслава, не придется тебе тогда приговоров бояться.

Сапега взглянул на Кмицица, и его просто поразило лицо молодого воителя, за минуту до этого такое открытое и веселое. При одном упоминании имени Богуслава Кмициц побледнел и оскалился, как злая собака, готовая укусить.

– Чтоб этому изменнику собственной слюной отравиться, только бы перед смертью он еще раз попал мне в руки! – сказал он угрюмо.

– Не удивительно мне, что так ты на него злобишься! Помни только, не теряй в гневе рассудка, с Богуславом шутки плохи. Хорошо, что король прислал тебя сюда. Будешь набегу учинять на Богуслава, как когда-то на Хованского.

– Такие набегу буду учинять, что не тем чета! – так же угрюмо ответил Кмициц.

На том разговор кончился. Кмициц уехал к себе на квартиру поспать, он очень утомился от дороги.

В войске между тем разнеслась весть о том, что король прислал любимому военачальнику великую булаву. Радость, как пламя, обняла тысячи людей.

Шляхта и офицеры из разных хоругвей стали толпами собираться у квартиры гетмана. Город пробудился ото сна. Зажглись огни. Прибежали знаменосцы со знаменами. Запели трубы, загремели литавры, грянули залпы из пушек и мушкетов, а Сапега роскошный устроил пир, и на пиру всю ночь кричали «виват!» и пили за здоровье короля и гетмана и за грядущую победу над Богуславом.

Пана Анджея, как уже было сказано, на пиру не было.

За столом гетман завел разговор о Богуславе; ни словом не обмолвился он о том, что за офицер прибыл с татарами и привез булаву, а заговорил о коварстве князя.

– Оба Радзивилла, – говорил он, – строили козни; но князь Богуслав превзошел своего покойного брата. Вы, верно, помните Кмицица или слышали о нем. Представьте же себе, князь Богуслав распустил о нем слух, будто сулился он руку поднять на нашего короля и повелителя, а оказалось, все это ложь!

- Но Кмициц помогал Янушу истреблять доблестных рыцарей.
  - Да, помогал, но и он спохватился, а спохватясь, не только оставил Януша, но, будучи человеком смелым, попытался похитить Богуслава. Худо пришлось молодому князю, еле вырвался он живым из рук Кмицица.
  - Кмициц был великий воитель! – раздались многочисленные голоса.
  - Из мести взвел на него князь (Богуслав такой страшный поклеп, что душа от него содрогается).
  - Сам дьявол хуже не выдумал бы.
  - Знайте же, есть у меня свидетельства, черным по белому они написаны, что месть эта была за то, что Кмициц стал на правый путь.
  - Такое бесчестье нанести человеку! Один Богуслав на это способен.
  - Втоптать в грязь такого воителя!
  - Слышал я, – продолжал гетман, – будто Кмициц, видя, что делать ему тут больше нечего, бежал в Ченстохову и там великие оказал отчизне услуги, а потом собственной грудью заслони́л государя.
- Те самые офицеры, которые за минуту до этого изрубили бы Кмицица саблями, стали с приятнью о нем отзываться.
- Кмициц ему этого не простит, не такой он человек, он и на Радзивилла не побоится напасть!
  - Все рыцарство князь конюший опозорил, бросивши такую тень на одного из нас!
  - Своевольник был Кмициц, изверг, но не предатель!
  - Он отомстит, он отомстит!
  - Мы раньше за него отомстим!
  - Коль ясновельможный гетман честью своей за него поручился, стало быть, так оно и было!
  - Так и было! – подтвердил гетман.
  - За здоровье гетмана!

Еще немного, и на пиру стали бы пить за здоровье Кмицица. Правда, раздавались и негодующие голоса, особенно среди старых радзивилловских офицеров.

- А вы знаете, почему я вспомнил про этого Кмицица? – сказал гетман, услышав эти голоса. – Бабинич, королевский гонец, очень на него похож. Я сам в первую минуту обознался. – Суровым стал тут взгляд Сапеги, и заговорил он уже построже: – А когда бы и сам Кмициц сюда приехал, то, раз он раскаялся, раз с беззаветной отвагой защищал святыню, как-нибудь сумел бы я охранить его своей гетманской властью, а потому, кто бы ни был этот гонец, прошу никакого шума не поднимать.

Помните, что приехал он по поручению короля и хана. Панов ротмистров ополчения особо прошу это запомнить, с дисциплиной у вас дела плохи!

Когда Сапега держал такие речи, один только Заглоба осмеливался, бывало, ворчать себе под нос, все остальные сидели смирным-смирнехонько. Так было и теперь; но вот лицо гетмана снова прояснилось, и все тоже повеселели. Чары все чаще двигались по кругу, пир горой шел, и весь город шумел до утра, так что стены ходили ходуном, а дым от салютов, как после битвы, окутал весь город.

На следующий день утром Сапега отослал Анусю с Котчицем в Гродно. Из Гродно уже давно ушел Хованский, и там жила семья воеводы.

Вскружил-таки голову бедной Анусе красавец Бабинич, и просталась она с ним очень нежно; но он холоден был и только в минуту прощанья сказал:

– Не будь одного лиха, что как заноза в сердце сидит, влюбился бы я в тебя, панна, по уши.

Ануся подумала про себя, что нет такой занозы, которую, запасясь терпением, нельзя было бы вытащить иглой; но робела она Бабинича, поэтому ничего не сказала в ответ, тихо вздохнула и уехала.

#### ГЛАВА XXXVII

После отъезда Ануси с Котчицем стан Сапеги еще неделю простоял в Белой. Кмициц с татарами тоже отдыхал неподалеку, в Рокитном, куда был послан подкормить лошадей после долгого путешествия. Приехал в Белую и сам владетель, князь кравчий, Михал Казимеж Радзивилл, богатый магнат из несвижской линии, которая, по слухам, после одних только Кишков получила в наследство семьдесят городов да четыреста деревень. Ничем не походил Михал Казимеж на биржанских своих родичей. Только кичлив, может, был так же, как они; но иной он был веры и, будучи горячим патриотом и приверженцем законного короля, с жаром присоединился к Тышовецкой конфедерации и всемерно ее поддерживая. Огромные его поместья были, правда, сильно разорены в последней войне с московитами, и все же войско у князя было еще немалое, и привел он гетману крупные подкрепления.

Но чашу весов в этой войне могло перетянуть не столько число солдат князя кравчего, сколько то, что Радзивилл поднялся тут на Радзивилла и тем самым действия Богуслава утратили последнюю видимость законности, стали явно изменническими.

Вот почему Сапега с радостью встретил в своем стане князя кравчего. Теперь он был уверен, что одолеет Богуслава, ибо превосходил его силами. Но замысел свой он, по обыкновению, обдумывал медленно, колебался, взвешивал и вызывал на советы офицеров.

На этих советах бывал и Кмициц. Он так возненавидел самое имя Радзивиллов, что, увидев в первый раз князя Михала, затрясся от гнева и злобы; но у Михала было такое красивое и приятное лицо, что одним своим видом он располагал к себе; к тому же великие доблести, тяжкие дни, которые он недавно пережил, защищая страну от Золотаренко и Серебрянного, неподдельная любовь к отчизне и королю, все делало его одним из самых достойных рыцарей своего времени. Само присутствие его в стане Сапеги, врага дома Радзивиллов, свидетельствовало о том, что молодой князь ради общего блага умеет жертвовать личным. Все, кто знал Михала, любили его неизменно. И хоть пан Анджей в первую минуту отнесся к нему неприязненно, но

и он с его пылкой душой не мог устоять.

Окончательно князь покорило его сердце своими советами.

А советовал он не только идти, не теряя времени, в поход на Богуслава, но и не вступать с князем ни в какие переговоры, а прямо ударить на него и не давать ему отвоевывать замки, ни отдыху, ни сроку ему не давать, воевать с ним его же средствами. В этом решении видел князь Михал залог скорой и верной победы.

– Не может быть, чтобы и Карл Густав не двинулся в поход на нас, поэтому нам надо поскорее развязать себе руки и поторопиться на помощь Чарнецкому.

Так думал и Кмициц, которому уже на третий день пришлось бороться с самим собою, чтобы победить старую привычку к своевольству и не двинуться в поход, не дожидаясь приказа.

Но Сапега любил действовать наверняка, боялся всякого необдуманного шага и поэтому решил подождать, пока не придут более точные донесения.

Гетман по-своему тоже был прав. Весь этот поход Богуслава в Подлясье мог оказаться коварной уловкой, военной хитростью. Он мог быть предпринят с малыми силами только для того, чтобы не допустить соединения войск Сапеги с коронными войскам». Богуслав будет уходить тогда от Сапеги, не принимая боя, чтобы только протянуть время, а Карл Густав ударит с курфюрстом на Чарнецкого, сомнет его превосходными силами, двинется на самого короля и задушит то дело защиты отчизны, на которое поднимался народ, следуя славному примеру Ченстоховы.

Сапега был не только военачальником, но и державным мужем. На советах он с такой силой излагал свои мысли, что даже Кмициц в душе принужден был с ним соглашаться. Прежде всего надо было знать, чего держаться. Если окажется, что набег Богуслава только военная хитрость, то против него достаточно выставить несколько хоругвей, а со всем войском надо устремиться к Чарнецкому, навстречу главным неприятельским силам. Несколько хоругвей гетман мог смело оставить, тем более что не все они стояли в окрестностях Белой. Молодой пан Кшиштоф, или, как его звали, Кшиштофек Сапега, стоял с двумя легкими хоругвями и полком пехоты в Янове; Гороткевич с половиной отлично обученного драгунского полка, примерно пятью сотнями охотников, да легкой панцирной хоругвью самого воеводы действовал неподалеку от Тыкоцина. Кроме того, в Белостоке стояла крестьянская пехота.

Этих сил было за глаза довольно, чтобы дать отпор Богуславу, если у него не более нескольких сотен сабель

Вот почему предусмотрительный гетман во все концы разослал гонцов и ждал вестей.

Пришли наконец и вести; но были они подобны грому, тем более что тучи, по особому стечению обстоятельств, сошлись в один вечер.

В Белой заседал в замке совет, когда вошел дежурный офицер и подал гетману письмо.

Не успел воевода пробежать его, как изменился в лице.

– Родич мой, – сказал он присутствующим, – разбит в Янове Богуславом. Еле ушел!



На минуту воцарилось молчание

– Письмо написано из Бранска, – прервал молчание гетман, – когда войско бежало в смятении, и нет в нем поэтому ни слова о силах Богуслава. Думаю, они были значительны, коль скоро две хоругви и полк пехоты разбиты, как сказано в письме, наголову! Впрочем, князь Богуслав мог напасть и врасплох. Из письма это не ясно..

– Пан гетман, – обратился к Сапеге князь Михал, – я уверен, что Богуслав хочет захватить все Подлясье, чтобы при переговорах получить его в удельное или ленное владение. Нет сомнения, что он пришел со всеми силами, какие только мог собрать.

– Твоя догадка, вельможный князь, нуждается в подкреплении.

– Мне нечем ее подкрепить, кроме как тем, что я знаю Богуслава. Не думает он ни о шведах, ни о бранденбуржцах, а только о себе. Воитель он искусный и верит в свою счастливую звезду. Он хочет захватить провинцию, отомстить за Януша, покрыть себя славой, а для этого силы ему нужны большие, и он ими располагает. Потому-то и надо нанести ему внезапный удар, иначе он сам на нас ударит.

– На всякое дело нужно благословение господне, – возразил Оскерко, – а господь благословляет нас!

– Ясновельможный пан гетман, – обратился к Сапеге Кмициц. – В разведку надо идти. Я тут как на своре с моими татарами, спусти же нас, и мы привезем тебе вести

Оскерко, который был посвящен в тайну и знал, кто такой Бабинич, стал горячо его поддерживать:

– Клянусь богом, это замечательная мысль! Вот где нужно такое войско и такой рыцарь. Если только кони отдохнули.

Тут он прервал речь, так как в комнату снова вошел дежурный офицер.

– Ясновельможный пан гетман, – обратился офицер к Сапеге, – двое солдат из хоругви Гороткевича просят допустить их к тебе.

– Слава богу! – хлопнул себя по коленям Сапега. – Вот и вести! Пусти их!

Через минуту вошло двое панцирников, оборванных и покрытых грязью.

– От Гороткевича? – спросил Сапега.

– Так точно.

– Где он сейчас?

– Убит, а коль жив, так неведомо где!

Воевода вскочил, но тут же снова сел и стал уже спокойно допрашивать солдат:

– Где хоругвь?

– Разбита князем Богуславом.

– Много народу полегло?

– Всех он посекал, с десятков только осталось, кого, как вот нас, схватили да связали. Толкуют, будто и полковник ушел, но что ранен он, это я сам видел. Мы из неволи бежали.

– Где князь на вас напал?

– Под Тыкоцином.

– Почему вы не укрылись в стенах, коль мало вас было?

– Тыкоцин взят.

Гетман закрыл рукою глаза, потер лоб.

– Много людей у Богуслава?

– Конницы тысячи четыре, да пехота, да пушки. Пехота крепко вооружена. Конница ушла вперед и нас увела с собой, да мы благополучно вырвались.

– Откуда вы бежали?

– Из Дрогичина.

Сапега широко раскрыл глаза.

– Ты что, пьян! Как Богуслав мог дойти уже до Дрогичина? Когда он разбил вас?

– Две недели назад.

– И уже в Дрогичине?

– Разъезды его там. Сам он отстал, они какой-то конвой поймали, который вел пан Котчиц.

– Котчиц сопровождал панну Борзобогатую! – воскликнул Кмициц.

Наступило еще более продолжительное молчание. Никто не брал слова. Офицеры были ошеломлены неожиданным успехом Богуслава. В душе все они думали, что во всем повинен гетман со своим медленьем; однако никто не смел сказать это вслух.

Но сам Сапега чувствовал, что действовал он правильно и поступал разумно. Он первый опомнился и движением руки отослал солдат.

– Обычное это дело на войне, – сказал он офицерам, – и никого не должно смущать. Не думайте, что мы уже потерпели поражение. Правда, жаль хоругвей. Но стократ горший урон могла бы потерпеть отчизна, когда бы Богуслав увлек нас за собой в дальнее воеводство. Он идет нам навстречу. Как гостеприимные хозяева, выйдем и мы ему навстречу. – Затем он обратился к полковникам: – Все должны быть готовы выступить по моему приказу в поход.

– Мы готовы, – ответил Оскерко, – только коней взнуздать да трубить сбор.

– Еще сегодня затрубим. Двинемся завтра на заре, не мешкая! Вперед с татарами поскачет пан Бабинич и спешно привезет нам языка.

Едва заслышав этот приказ, Кмициц бросился вон и через минуту уже мчался во весь опор в Рокитное.

Сапега тоже не стал медлить.

Ночь еще стояла, когда протяжно заиграли трубы, и конница с пехотой стали выходить в поле, за ними длинной вереницей потянулся скрипучий обоз. Первые заревые лучи отразились в дулах мушкетов и жалах копий.

И шли в лад полк за полком, хоругвь за хоругвью. Конница пела тихонько утренние молитвы, а кони весело фыркали на утреннем холодке, и солдаты сулили себе поэтому верную победу.

Сердца были полны одушевления, ибо рыцари по опыту знали, что долго думает Сапега, и головой качает, и взвешивает со всех сторон каждый шаг, но уж коль решит, то дело сделает, а коль двинется в поход, то побьет врага.

В Рокитном уж и логова татар успели остыть; они ушли еще в ночь и, верно, были уже далеко. Сапега очень удивлялся, что по дороге и допытаться нельзя было о них, хотя вместе с охотниками в отряде было несколько сот сабель, и он не мог пройти незамеченным.

Офицеры из числа тех, что были поопытней, надивиться не могли искусству Кмицица, что так умело вел своих людей.

– Крадется, как волк в лозах, и, как волк, куснет, – говорили они, – воитель он божьей милостью.

А Оскерко, который, как уже было сказано, знал, кто такой Бабинич, говорил Сапеге:

– Не зря Хованский цену назначил за его голову. Бог пошлет победу, кому пожелает; но одно верно, что скоро отоъем мы Богуславу охоту воевать с нами.

– Все так, да вот жаль, что Бабинич как в воду канул, – отвечал гетман.

Три дня и в самом деле прошло без всяких вестей. Главные силы Сапеги дошли уже до Дрогичина, переправились через Буг и нигде не обнаружили врага. Гетман стал беспокоиться. По показаниям панцирных солдат, разъезды Богуслава дошли до Дрогичина, стало быть, князь, несомненно, решил отступить. Но что могло это значить? Дознался ли Богуслав о превосходных силах Сапеги и не отважился сразиться с ним, хотел ли увлечь гетмана далеко на север, чтобы облегчить шведскому королю нападение на Чарнецкого и коронных гетманов? Бабинич должен был уже взять языка и дать знак обо всем гетману. Показания панцирных солдат о численности войск Богуслава могли быть ошибочными, надо было во что бы то ни стало получить точные сведения.

Между тем прошло еще пять дней, а Бабинич не давал о себе знать. Приближалась весна. Все теплее становились дни, таяли снега. Вода поднимала всю местность, а

под нею дремали вязкие болота, страшно затруднявшие поход. Большую часть орудий и повозок гетману пришлось оставить в Дрогичине и дальше идти налегке. Начались лишения, и в войске поднялся ропот, особенно среди ополченцев. В Бранске попали в самую ростепель, так что пехота не могла уже двигаться дальше. Гетман по дороге забирал у мужиков и мелкой шляхты лошадей и сажал на них мушкетеров. Других подбирала легкая конница.

Но слишком далеко зашло уже войско, и гетман понимал, что ничего больше ему не остается, как спешить вперед.

Богуслав все отступал. По дороге войско Сапеги то и дело натывало на оставленные им следы: сожженные селенья, на суках повешенные. Местные однодворцы то и дело являлись к Сапеге с вестями; но показания их были, как всегда, сбивчивы и противоречивы. Этот видел одну хоругвь и клялся, что, кроме одной этой хоругви, у князя нет больше войска, тот видел целых две, тот – три, а этот такое войско, что в походе растянулось оно на целую милю. Словом, все это были рассказы, пустые разговоры людей, несведущих в военном деле.

Там и тут шляхтичи видели и татар; но слухи о них были самые невероятные: толковали, будто идут они не за войском князя, а впереди. Сапега гневно посапывал, когда при нем вспоминали имя Бабинича.

– Перехвалили вы его, – говорил он Оскерко. – В недобрый час отослал я Володыёвского, будь он здесь, давно бы у меня языков было сколько угодно, а это ветрогон, а может статься, и того хуже! Кто его знает, может, он и впрямь присоединился к Богуславу и идет у него впереди в охранении!

Оскерко не знал, что и думать. Между тем прошла еще неделя; войско прибыло в Белосток.

Это было в полдень.

Через два часа передовые посты дали знать, что приближается какой-то отряд.

– Может, это Бабинич! – воскликнул гетман. – Ну и дам я ему жару.

Бабинич не явился. Но когда подошел отряд, в стане поднялось такое движение, что Сапега вышел посмотреть, что случилось.

К нему со всех сторон скакали шляхтичи из разных хоругвей.

– От Бабинича! – кричали они. – Пленники! Куча! Народу взял он пропасть!

Гетман увидел с полсотни диких наездников на охудалых, косматых лошадях. Они окружали около трехсот пленных солдат со связанными руками и били их сыромятными плетями. На пленников страшно было глядеть. Одна тень осталась от людей. Окровавленные, оборванные, полунагие и полуживые скелеты еле тащились, оставаясь ко всему равнодушными, даже к свисту плетей, рассекавших им кожу, и к дикому вою татар.

– Что за люди? – спросил гетман.

– Войско Богуслава, – ответил один из охотников Кмицица, сопровождавший с татарами пленников.

– Где вы их столько взяли?

– Да их половина выбилась из сил и в пути попримерла.

Но тут подошел старший татарин, вроде бы татарский вахмистр, и с поклоном вручил Сапеге письмо Кмицица.

Сапега тотчас взломал печать и стал читать вслух:

– «Ясновельможный пан гетман!

Не слал я по сию пору ни вестей, ни языков по той причине, что не в тылу у князя Богуслава, а впереди шел и хотел побольше взять для тебя людей...»

Гетман прервал чтение.

– Вот дьявол! – сказал он. – Нет чтоб идти за князем, так он вперед вырвался!

– Ах, черт его дери! – воскликнул вполголоса Оскерко.

Гетман продолжал чтение.

– «Хоть и опасное это было дело, потому разъезды вроссыпь, широко шли, все-таки два я изрубил, никого не пощадив, и прорвался вперед, сбивши тем князя с толку, ибо он сразу решил, что окружен и лезет прямо в западню...»

– Так вот почему они стали неожиданно отступать! – воскликнул гетман. – Дьявол, сущий дьявол!

Однако он снова стал читать со всевозрастающим любопытством:

– «Князь понять не мог, что случилось, совсем потерял голову и слал разъезд за разъездом, а мы и разъезды колотили так, что ни один в целости назад не воротился. Идя впереди, я перехватывал припасы, разрушал гати, сносил мосты, так что войско князя подвигалось с превеликим трудом, ни днем ни ночью не зная ни отдыха, ни сна, не кормя ни людей, ни лошадей. Люди не смели нос показать из стана, ибо ордынцы хватали неосторожных, а когда стан начинал засыпать, мы в лозняке такой подымали вой, что они думали, это идет на них великая сила, и ночь напролет стояли в боевой готовности. Князь в отчаянии, он не знает, что делать, куда направить свой путь, а посему надлежит немедля на него обрушиться, покуда не оправился он от испуга. Людей у князя шесть тысяч, но без малого тысячу он потерял. Лошади у него падают. Рейтары как на подбор, и пехота хороша; но, по божьему насланию, силы князя тают с каждым днем, и, коль настигнет их наше войско, они рассеются. Княжеские кареты, часть запасов и ценной утвари я захватил в Белостоке, да две пушки в придачу; но вот тяжелые пришлось потопить. Такая злоба душит изменника князя, что совсем он расхворался и еле сидит на коне, febris[80] не отпускает его ни днем, ни ночью. Панну Борзобогатую он схватил, но на честь ее по болезни покуситься не может. Сии вести и свидетельства об упадке духа получил я от пленников, коих татары мои огнем пытали; коль их еще разок попытать, они все повторяют. Засим прими уверения, ясновельможный гетман, в готовности моей служить тебе и прости, коли в чем дал промах. Ордынцы народ хороший и, видя, что добычи много, служат усердно».

– Ясновельможный пан! – обратился Оскерко к Сапеге. – Теперь ты уж, верно, не так жалеешь, что нет Володыёвского, потому и он не сравнится с этим воплощенным дьяволом.

– Чудеса, да и только! – схватился за голову Сапеге. – Уж не врет ли он?

– Слишком он горд, чтобы врать! Князю виленскому воеводе и то резал правду в глаза, не думал, приятно тому иль неприятно его слушать. Да и все точно так, как было с Хованским, только у Хованского войска было в пятнадцать раз больше.

– Коли правда все это, надо немедленно наступать, – сказал Сапеге.

– Пока князь не успел опомниться.

– Так едем же! Бабинич разрушает гати, так что мы успеем настигнуть князя!

Между тем пленники, которых татары сбили перед гетманом в кучу, завидев его, застонали, завопили, на убожество свое стали показывать и на разных языках взывать о пощаде. Среди них были шведы, немцы и приближенные Богуслава, шотландцы. Сапеге взял их у татар, велел дать им поесть и допросить, не пытая огнем. Показания их подтвердили справедливость слов Кмицица. Тогда все войско Сапеге стремительно двинулось вперед.

#### ГЛАВА XXXVIII

Следующее донесение Кмицица поступило из Соколки и было кратким: «Князь задумал обмануть наше войско: послал для виду разъезд на Щучин. сам же с главными силами ушел в Янов и там получил подкрепление – восемьсот человек отборной пехоты, которую привел капитан Кириц. От нас видны огни княжеского стана. 8 Янове войско должно неделю отдохнуть. Пленники толкуют, будто князь и бой готов принять, все еще бьет его лихорадка».

Получив это донесение, Сапеге оставил последние пушки и обоз и двинулся налегке к Соколке, где оба войска встали наконец друг против друга. Не миновать было им сражения, ибо одни не могли уже больше отступать, а другие преследовать. А покуда, как соперники, что после долгого преследования должны схватиться врукопашную, лежали они, еле переводя дух, друг против друга – и отдыхали.

Увидев Кмицица, гетман заключил его в объятия.

– А я уж серчать стал, – сказал он пану Анджею, – что ты так долго не давал о себе знать, но вижу, ты больше сделал, чем мог я надеяться, и коль пошлет бог нам победу, не моя, а твоя это будет заслуга. Как ангел-хранитель вел ты Богуслава.

У Кмицица зловещие огоньки сверкнули в глазах.

– Коль я его ангел-хранитель, то должен быть и при его кончине.

– Это уж как бог рассудит, – строго сказал гетман, – а коль хочешь ты, чтобы благословил он тебя, не личного преследуй врага, но отчизны.

Кмициц склонился в молчании; но незаметно было, чтобы красивые слова гетмана произвели на него впечатление. Лицо его выражало неумолимую ненависть и казалось тем более ужасным, что за время погони оно еще больше осунулось от ратных

трудов. Прежде на этом лице читались только отвага и дерзость, теперь оно стало суровым и непреклонным. Нетрудно было догадаться, что тот, кому этот человек в душе дал слово отомстить, должен стеречься, будь он даже самим Радзивиллом.

Да он и мстил уже страшно. Велики были его заслуги в этом походе. Вырвавшись вперед, он спутал князю все карты, внушил ему, что он окружен, и принудил отступить. Затем день и ночь шел впереди. Истребляя разъезды, не щадил пленников. В Семятичах, в Боцках, в Орле и под Бельском глухой ночью напал на весь княжеский стан.

В Войшках, неподалеку от Заблудова, на собственной земле Радзивиллов, как слепой вихрь налетел на квартиру самого князя, так что Богуслав, который как раз сел обедать, чуть не попал живым в его руки и спасся только благодаря Саковичу, ошмянскому подкоморию. Под Белостоком захватил кареты и припасы Богуслава. Войско его изнурил, привел в смятение, заставил голодать. Отборные немецкие пехотинцы и шведские рейтары, которых привел с собой Богуслав, брели назад, подобные скелетам, объятые страхом и ужасом, не зная сна. Спереди, с флангов, с тыла раздавался неистовый вой татар и охотников Кмицица. Не успевал измученный солдат сомкнуть глаза, как тут же принужден был хвататься за оружие. Чем дальше, тем было хуже.

Окрестная мелкая шляхта присоединялась к татарам, отчасти из ненависти к биржанским Радзивиллам, отчасти из страха перед Кмицицем, ибо сопротивлявшихся он карал без пощады. Так росли его силы и таяли силы Богуслава.

К тому же Богуслав и впрямь был болен, и хотя он никогда не предавался долго унынию и хотя астрологи, которым он слепо верил, предсказали ему в Пруссии, что ничего дурного в этом походе с ним не случится, однако самолюбие его как военачальника не раз бывало жестоко уязвлено. Он, военачальник, чье имя с восторгом повторяли в Нидерландах, на Рейне и во Франции, в этой лесной глуши бит был невидимым врагом, каждый день без битвы терпел поражение.

Таким небывало яростным и неслыханно упорным было это преследование, что Богуслав со свойственной ему остротой ума уже через несколько дней догадался, что его преследует неумолимый личный враг. Князь легко узнал его имя: Бабинич, потому что вся округа его повторяла; но имя это было ему неизвестно. Он был бы рад свести личное знакомство с врагом и в дороге, во время преследования, устраивал десятки и сотни засад. Все было напрасно! Бабинич обходил западню и наносил поражение там, где его меньше всего ожидали.

Но вот наконец оба войска столкнулись в окрестностях Соколки, где Богуслава ждало существенное подкрепление под начальством фон Кирица, который, не зная, где находится князь, зашел в Янов. Там и должна была решиться судьба похода Богуслава.

Кмициц наглухо закрыл все дороги, ведущие из Янова в Соколку, Корицин, Кужницу и Суховолю. Окрестные леса, кусты и лозы заняли татары. Письмо не проскользнуло бы сквозь этот заслон, не прошла бы ни одна повозка с припасом, поэтому сам Богуслав хотел дать поскорей бой, пока его войска не съели последнего яновского сухаря.

Но человек он был ловкий, искусный в интригах, поэтому решил попытаться сперва начать переговоры. Он еще не знал, что Сапега в делах такого рода намного превосходит его умом и опытом. От имени Богуслава в Соколку явился Сакович,

подкоморий и староста ошмянский, придворный князя и личный его друг. Он привез с собою письма и полномочие на заключение мира.

Человек богатый, впоследствии назначенный смоленским воеводой и подскарбием Великого княжества и достигший таким путем сенаторского звания, Сакович в ту пору был одним из самых знаменитых рыцарей в Литве и прославился мужеством и красотой. Был он среднего роста, чернобров и черноволос, со светло-голубыми глазами, которые смотрели с такой удивительной и невыразимой наглостью, что, по словам Богуслава, пронзал он взглядом, как мечом. Одевался он на иноземный манер, нарядов навез из путешествий, которые совершил с Богуславом, говорил чуть не на всех языках, в битве же с такой яростью бросался в самое пекло, что друзья прозвали его отчаянным.

Но силы он был непомерной и никогда не терял присутствия духа, поэтому изо всех переделок выходил целым и невредимым. Рассказывали, что он мог, схватившись за задние колеса, на скаку остановить карету, пить мог без меры. Хватив кварту сливянки, оставался трезв, будто вина и не отвеживал. В обращении с людьми был надменен, дерзок и холоден, в руках Богуслава мягок, как воск. Человек лощеный, он не растерялся бы и в королевских покоях; но душа у него была дикая, и вспыхивал он иногда, как порох.

Это был не слуга, а скорее друг князя Богуслава.

Богуслав, который в жизни никого не любил, к нему питал непобедимую слабость. Скрыта от природы, он для одного Саковича ничего не жалел. Используя свое влияние, добился для него звания подкомория и дал ему ошмянское староство.

После каждой битвы первый вопрос его был: «Где Сакович, не пострадал ли?» На советах он очень на него полагался и прибегал к его помощи и в войне и в переговорах, когда смелость, даже просто наглость ошмянского старосты бывала весьма полезна.

Теперь князь послал его к Сапеге. Трудной была задача старосты: во-первых, его легко могли заподозрить в том, что он явился только как соглядатай, чтобы высмотреть войска Сапегы, во-вторых, как посол он должен был много требовать и ничего не давать взамен.

На его счастье, Саковича нелегко было смутить. Он вошел как победитель, который является диктовать побежденному свои условия, и тотчас пронзил Сапегу своими белесыми глазами.

Видя эту спесь, Сапега только снисходительно улыбнулся.

Смелостью и наглостью можно поразить человека под стать себе; но не ровня гетману был Сакович.

– Господин мой, князь биржанский и дубинковский, конюший Великого княжества и предводитель войск его высочества курфюрста, – сказал Сакович, – прислал меня с поклоном и велел спросить, как твое здоровье, вельможный пан.

– Поблагодари вельможного князя и скажи, что я в добром здравии.

– Я с письмом к тебе, вельможный пан!



Сапега взял письмо, вскрыл небрежно, прочел и сказал:

– Зря мы только время будем тратить. Не могу понять, чего князю надобно. Сдаются вы или хотите попытать счастья?

Сакович изобразил удивление.

– Мы сдаемся? Я думаю, что это князь тебе предлагает сдаться, вельможный пан, во всяком случае, указания, кои мне...

– Об указаниях, кои были тебе даны, – прервал его Сапега, – мы поговорим после. Дорогой пан Сакович! Мы преследуем вас уже миль тридцать, как гончие зайца! Ну слышал ли ты когда, чтобы заяц предлагал гончим сдаться?

– Мы получили подкрепления.

– Фон Кириц с восемью сотнями. Прочие столь *fatigati*[81], что лягут перед боем. Скажу тебе словами Хмельницкого: «Шкода говорити!»[82]

– Курфюрст со всеми своими силами встанет на нашу защиту.

– Вот и отлично! Не придется мне далеко искать его, а то хочу я его поспросить, по какому такому праву он, ленник Речи Посполитой, обязанный хранить ей верность, посылает в ее пределы войско.

– По праву сильного.

– Может статься, в Пруссии и существует такое право, у нас нет. Наконец, коль вы сильны, выходите в открытое поле!

– Князь давно бы напал на вас, да жаль ему родную кровь проливать.

– Надо было раньше жалеть!

– Удивлен князь и тем, что Сапеги так ополчились на дом Радзивиллов и ты, вельможный пан, ради личной мести не задумался залить кровью отчизну.

– Тьфу! – плюнул Кмициц, который слушал весь разговор, стоя за креслом гетмана.

Сакович встал, подошел к нему и пронзил его своим взглядом.

Но Кмициц и сам был неплох, он так поглядел на старосту, что тот и глаза в землю опустил.

Гетман насупился.

– Садись, пан Сакович, а ты, пан, помолчи! – После чего сказал: – Совесть, она одну правду скажет, а человек пожует и выплюнет клевету. Тот, кто с чужим войском нападает на родину, клеветает на того, кто ее защищает. Бог это слышит, и небесный летописец записывает.

– От ненависти Сапег погиб князь виленский воевода.

– Изменников, а не Радзивиллов я ненавижу, и вот лучшее тому доказательство:

князь кравчий Радзивилл в моем стане. Говори же, чего тебе надобно?

– Вельможный пан, я скажу все, что у меня на душе: ненавидит тот, кто подсылает тайных убийц.

Тут пришла очередь удивляться Сапеге.

– Я подсылаю убийц к князю Богуславу?

Сакович устремил свои страшные глаза на гетмана и сказал раздельно:

– Да!

– Ты рехнулся!

– Недавно за Яновом поймали разбойника, который однажды уже участвовал в покушении на князя. Небось под пыткой скажет, кто его подослал!

На минуту воцарилось молчание; но Сапега услышал в тишине, как Кмициц, стиснув губы, дважды повторил у него за спиной:

– Горе мне! Горе!

– Бог мне судья! – с истинно сенаторским достоинством промолвил гетман. – Ни перед тобой, ни перед твоим князем я не стану оправдываться, не вам судить меня. А ты, чем медлить да тянуть, говори прямо, с чем приехал и какие условия предлагает князь?

– Князь, господин мой, сокрушил Гороткевича, разбил наголову пана Кшиштофа Сапегу, снова занял Тыкоцин, по справедливости должно почитать его победителем, и может он поэтому требовать больше. Не желая, однако, проливать христианскую кровь, хочет он мирно уйти в Пруссию, ничего взамен не требуя, только чтобы в замках остались его гарнизоны. Мы и пленников взяли немало, среди них высокие офицеры, не говоря о панне Борзобогатой-Красенской, которая уже в Таурогах. Их мы всех можем обменять.

– Не похваляйся, милостивый пан, своими победами, ибо моя передовая стража, которую вел присутствующий здесь пан Бабинич, тридцать миль гнала вас, и, убегая от нее, вы пленными вдвое больше потеряли, да обоз, да пушки и припасы. Изнурено ваше войско и от голода погибает, есть вам нечего, и не знаете вы, что делать. А мое войско ты видал. Я нарочно не велел глаза тебе завязывать, чтобы поглядел ты, вам ли меряться с нами силами. Что ж до панны Борзобогатой, то не я ее покровитель, а пан Замойский и княгиня Гризельда Вишневецкая. С ними счеты сведет князь, коль ее обидит. Ну, говори, что еще хочешь сказать, да толком, не то прикажу пану Бабиничу тотчас ударить на вас.

Вместо ответа Сакович обратился к Кмицицу.

– Так это ты, милостивый пан, так донимал нас по дороге? Видно, у Кмицица учился разбойничать!

– А вы по собственной шкуре судите, каково я учился.

Гетман снова насупился.

– Нечего тебе тут делать, – сказал он Саковичу, – можешь ехать.

– Вельможный пан, дай же хоть письмо князю.

– Что ж, быть по-твоему. Подождешь письма у пана Оскерко.

Услышав эти слова, Оскерко тотчас увел Саковича. Гетман на прощанье махнул послу рукой, а затем сразу повернулся к пану Анджею:

– Ты что это закричал: «Горе мне, горе!» – когда зашел разговор о схваченном солдате? – спросил он, бросив на рыцаря суровый и испытующий взгляд – Ужели ненависть так заглушила в тебе совесть, что ты и в самом деле подослал к князю разбойника?

– Клянусь пресвятой девой, которую я защищал, нет! – ответил Кмициц. – Не чужими руками хочу я схватить его за горло!

– Чего же ты кричал? Ты знаешь этого человека?

– Знаю, – побледнев от волнения и гнева, ответил Кмициц. – Я его еще из Львова отправил в Тауроги. Князь Богуслав увез в Тауроги панну Билевич. Я люблю ее! Мы должны были пожениться. Я этого человека послал, чтобы он мне весточку подал о ней. В таких она руках.

– Успокойся, – сказал гетман – Ты дал ему какие-нибудь письма?

– Нет! Она бы их не захотела читать.

– Почему?

– Богуслав сказал ей, будто я посулился ему похитить короля.

– Признаться, много у тебя причин ненавидеть его.

– Да, ясновельможный пан, да!

– Князь знает этого человека?

– Знает. Это вахмистр Сорока. Он помогал мне увезти Богуслава.

– Понимаю, – сказал гетман. – Его ждет княжеская месть.

Наступила минута молчания.

– Князь в западне, – промолвил через минуту гетман. – Может, он согласится отдать его.

– Ясновельможный пан! – взмолился Кмициц. – Задержи Саковича, а меня пошли к князю. Может, выручу я Сороку.

– Так он тебе нужен?

– Старый солдат, старый слуга! Носил меня на руках. Много раз спасал мне жизнь.

Бог бы меня покарал, когда бы я бросил его в такой беде.

И Кмициц задрожал от волнения и тревоги.

– Не удивительно мне, – заметил гетман, – что любят тебя солдаты, потому и ты их любишь. Я сделаю все, что смогу. Напишу князю, что за этого солдата отдам ему, кого только он пожелает. Ведь солдат выполнял только твой приказ, невинный был instrumentum.

Кмициц схватился за голову.

– Зачем ему пленники, не отпустит он его и за тридцать человек.

– Так ведь и тебе его не отдаст, только на жизнь твою попытается посягнуть.

– Ясновельможный пан, за одного только человека он его может отдать – за Саковича.

– Саковича я не могу задержать: он посол!

– Задержи его, ясновельможный пан гетман, а я с письмом поеду к князю. Может, удастся мне! Бог с ним! Не стану я мстить ему, только бы отпустил он мне этого солдата!

– погоди! – сказал гетман. – Саковича я могу задержать. Кроме того, напишу князю, чтобы он прислал безыменный охранный лист.

Гетман тотчас сел за письмо. Через четверть часа казак поскакал в Янов с письмом, а к вечеру вернулся с ответом.

«Лист охранный по требованию посылаю, – писал Богуслав. – Любой посол воротится с ним цел и невредим; во странно мне, вельможный пан, что ты требуешь его у меня, имея в руках заложника, слугу и друга моего, пана старосту ошмянского, которого я так люблю, что за него отпустил бы всех твоих офицеров. Известно также, что послов не убивают, что даже дикие татары, с которыми ты против моего христианского войска воюешь, привыкли их уважать. Княжеским словом своим ручаясь за безопасность посла, остаюсь...»

В тот же вечер Кмициц взял охранный лист, двоих кемличей и уехал. Сакович как заложник остался в Соколке.

#### ГЛАВА XXXIX

Было около полуночи, когда пан Анджей назвался первым княжеским постам, но во всем стане Богуслава никто не спал. В любую минуту могла разгореться битва, и люди усердно готовились к ней. Княжеское войско занимало самый Янов и господствовало над дорогой в Соколку, которую охраняла артиллерия с хорошо обученной курфюрстовской прислугой. Пушек было всего только три; но пороха и ядер достаточно. По обе стороны от Янова, между березовыми рощами, Богуслав приказал вырыть шанцы и поставить мушкетные гнезда и пехоту. Конница занимала самый Янов, дорогу за пушками и промежутки между шанцами. Оборонительная позиция была неплохая и, располагая свежими силами, обороняться тут можно было долго и крепко; но свежего пополнения у Богуслава было только восемьсот человек пехоты под начальством Кирица, все же остальные были до того изнурены, что еле держались на ногах. Кроме того, с севера, из Суховоли, и с тыла доносился вой

татар, пугавший солдат. Богуславу пришлось отрядить туда всю легкую конницу, которая, пройдя с полмили, не смела ни назад вернуться, ни дальше идти, потому что опасалась засады в лесах.

Князь, хотя его больше обыкновенного мучила лихорадка и томил сильный жар, сам следил за всеми приготовлениями; на коне ему трудно было усидеть, и он приказал четырем драбантам носить себя в открытых носилках. Он осмотрел дорогу, березовые рощи и как раз возвращался в Янов, когда ему дали знать, что приближается посланец Сапеги.

Это было уже на улице города. Ночь стояла темная, и Богуслав не мог узнать Кмищица, которому офицеры передового охранения из излишней предосторожности надели на голову мешок с отверстием только для рта.

Князь это заметил и, когда Кмищиц спешился и стал рядом с носилками, приказал немедленно снять мешок.

– Мы в Янове, – сказал он, – тайну тут делать не из чего. – Затем он обратился в темноте к пану Анджею: – От пана Сапеги?

– Да.

– А что поделывает пан Сакович?

– Он в гостях у пана Оскерко.

– А почему вы потребовали охранный лист, коль в руках у вас Сакович? Уж очень осторожен пан Сапега, как бы не перемудрил.

– Не мое это дело! – ответил Кмищиц.

– Я вижу, ты, пан посол, не больно речист.

– Я письмо привез, а об приватном моем деле скажу на квартире.

– Стало быть, ты ко мне и с приватным делом?

– Просьба у меня к тебе, вельможный князь.

– Рад буду не отказать в просьбе. А теперь прошу за мной. На коня садись. Я бы посадил тебя на носилки, да уж очень тесно будет.

Тронулись. Князь на носилках, а Кмищиц рядом на коне. В темноте они поглядывали друг на друга, но лиц рассмотреть не могли. Через минуту князя так стало трясти, хоть он был в шубе, что он даже зубами зашелкал.

– Бьет меня лихорадка, – проговорил он наконец. – Не будь этого... брр!.. не такие бы я поставил условия.

Кмищиц ничего не ответил, только взором пронизывал темноту, в которой серым и белесым пятном рисовались голова и лицо князя. При звуке его голоса, при виде его фигуры все старые обиды, старая ненависть и жгучая жажда мести подошли под самое сердце, безумие овладело им. Рука невольно потянулась к мечу, который у него отобрали; но за поясом у него была булава с железною шишкой, полковничий

его знак, вот и начал бес смущать его и нашептывать:

«Крикни ему в самое ухо, кто ты, и разmozжи ему голову! Ночь темная, уйдешь! Кемличи с тобой. Убьешь изменника, за обиды отплатишь, Оленьку и Сороку спасешь! Бей же, бей!»

Кмициц еще ближе подъехал к носилкам и дрожащей рукой стал вытаскивать из-за пояса буздыган.

«Бей! – шептал бес. – Отчизне поможешь».

Кмициц вытащил уже булаву и с такой силой сжал рукоять, точно хотел раздавить ее в руке.

«Раз, два, три!» – шепнул бес.

Но в эту минуту конь под Кмицицем, то ли ткнувшись храпом в шлем драбанта, то ли испугавшись, зарыл вдруг копытами землю и сильно споткнулся; Кмициц дернул поводья. За это время носилки отдалились от него шагов на двадцать.

А у него волосы встали дыбом на голове

– Пресвятая богородица, удержи мою руку! – прошептал он сквозь сжатые зубы. – Пресвятая богородица, спаси и помилуй! Я здесь посол, я приехал от гетмана, а убить хочу, как тать! Я, шляхтич, я, раб твой! Не введи меня во искушение!

– Что это ты, милостивый пан, отстаешь? – раздался прерывистый от лихорадки голое Богуслава

– Да здесь я!

– Слышишь, петухи поют по дворам! Надо поспешать, а то болен я, отдохнуть мне надо.

Кмициц заткнул за пояс буздыган и снова поехал рядом с носилками. Однако успокоиться не мог. Он понимал, что только хладнокровие и самообладание могут помочь ему освободить Сороку, и заранее обдумывал, что сказать князю, как уговорить, уломать его. Давал себе слово думать только о Сороке, ни о ком другом и не вспомнить, особенно об Оленьке.

И чувствовал, как пылает его лицо при одной мысли о том, что князь сам может вспомнить о ней и такое сказать ему, что не сможет он ни сердца сдержать, ни дослушать

«Пусть уж лучше он ее не трогает, – говорил он в душе, – пусть не трогает, иначе смерть ему и мне! Пусть хоть себя пожалеет, коль стыда у него нет!»

И несносную муку терпел пан Анджей; воздуха не хватало в груди и горло так сжималось, что не знал он, сможет ли слово вымолвить, когда придется говорить. В душевном смятении стал он молиться.

Через минуту ему стало легче, он успокоился, и горло уже не давило, как железным обручем

Тем временем они подъехали к квартире князя. Драбанты опустили носилки; двое придворных взяли князя под руки; он повернулся к Кмицицу и, щелкая по-прежнему зубами, сказал:

– Прощу? Приступ сейчас пройдет, я мы сможем поговорить.

Через минуту они оба очутились в отдельном покое, где в очаге пылали уголья и было нестерпимо жарко. Придворные уложили князя Богуслава на длинное полевое кресло, укрыли шубами и внесли огонь. Затем они удалились, Богуслав откинул голову и остался недвижим.

– Я сейчас, – произнес он через некоторое время, – только отдохну немного.

Кмициц смотрел на него. Князь не очень изменился, только лицо осунулось от лихорадки. Как всегда, он был набелен и нарумянен и, наверно, поэтому, когда лежал вот так, с закрытыми глазами и откинутой головой, был похож на труп или восковую фигуру.

Пан Анджей стоял перед ним в свету, падавшем от светильника. Веки князя стали медленно приоткрываться, вдруг он совсем открыл глаза, и словно пламя пробежало по его лицу. Но длилось это лишь одно короткое мгновение, затем он снова закрыл глаза.

– Коль ты дух, я не боюсь тебя, – произнес он, – но сгинь!

– Я приехал с письмом от гетмана, – сказал Кмициц.

Богуслав вздрогнул, словно хотел стряхнуть злые грезы, затем посмотрел на Кмицица и спросил:

– Я промахнулся?

– Не совсем, – угрюмо ответил пан Анджей, показывая на шрам.

– Это уже второй! – пробормотал про себя князь. А вслух спросил: – Где письмо?

– Вот! – ответил Кмициц, подавая письмо.

Богуслав стал читать; когда кончил, глаза его загорелись странным огнем.

– Хорошо! – произнес он. – Довольно тянуть! Завтра бой! Я рад, завтра у меня не будет лихорадки.

– Мы тоже рады, – ответил Кмициц.

На минуту воцарилось молчание, два заклятых врага со страшным любопытством смерили друг друга глазами.

Князь первый начал разговор:

– Так это ты, милостивый пан, так преследовал меня с татарами?

– Я!

– И не побоялся приехать сюда?

Кмициц ничего не ответил.

– А может, ты на родство рассчитывал, на Кишков! Ведь мы не свели с тобой счёты. Я могу приказать спустить с тебя шкуру.

– Можешь, вельможный князь.

– Правда, ты приехал с охранным листом. Теперь я понимаю, почему пан Сапега потребовал его. Но ты покушался на мою жизнь. Вы там задержали Саковича, но на его жизнь посягнуть пан воевода не имеет права, а я на твою имею, родственничек ты мой...

– Я к тебе с просьбой приехал, вельможный князь.

– Прошу! Можешь надеяться, что я для тебя все сделаю. Какая же у тебя просьба?

– Твои люди схватили моего солдата, одного из тех, что помогали мне увезти тебя. Я отдавал приказы, он действовал как слепой *instrumentum*. Отпусти, вельможный князь, этого солдата на свободу.

Богуслав минуту подумал.

– Что-то мне, пан, невдомек, – сказал он, – солдат ли так хорош или ходатай так бесстыж...

– Я даром не хочу, вельможный князь.

– Что же ты дашь за него?

– Самого себя.

– Скажи, пожалуйста, такой *miles praeciosus*[83]! Щедро платишь, да только смотри, станет ли и на что другое, – ведь ты, пожалуй, ещё кого-нибудь захочешь у меня выкупить...

Кмициц шагнул к князю и побледнел так страшно, что князь невольно поглядел на дверь и, несмотря на всю свою храбрость, переменял предмет разговора.

– Пан Сапега на такое условие не согласится, – сказал он. – Я бы с радостью взял тебя; но своим княжеским словом поручился за твою безопасность.

– Через этого солдата я передам пану гетману, что остался добровольно.

– А он потребует, чтобы я отослал тебя против твоей воли. Уж очень велики твои заслуги перед ним. И Саковича он мне не отпустит, а Сакович для меня дороже, чем ты...

– Тогда, вельможный князь, освободи так этого солдата, а я дам слово чести, что явлюсь, куда прикажешь.

– Завтра я, может статься, голову сложу. Ни к чему мне на послезавтра договариваться.



– Молю тебя, вельможный князь. За этого человека я...

– Что ты?

– Мстить перестану.

– Видишь ли, пан Кмициц, много раз хаживал я на медведя с рогатиной не потому, что должен был это делать, а потому, что так мне хотелось. Люблю я опасности, жить мне не так скучно. Потому и месть твою я в усладу себе оставляю, да и ты, надо сказать, из тех медведей, что сами на рогатину лезут.

– Вельможный князь, – сказал Кмициц, – за ничтожную благостыню господь часто великие прощает грехи. Никто не ведает, когда предстанет он перед судом всевышнего...

– Довольно! – прервал его князь. – И я, чтоб угодить богу, псалмы слагаю, хоть и болен, а понадобится мне проповедник, своего кликну. Не умеешь ты смиренно просить, все вокруг да около ходишь. Я тебе сам подскажу средство: завтра в битве ударь на Сапегу, а я послезавтра выпущу твоего солдата и тебе прощу вину. Предал ты Радзивиллов, предай же и Сапегу!

– Ужели это твое последнее слово, вельможный князь? Заклинаю тебя всем святым!..

– Нет! Что, сатанеешь, а? И в лице меняешься? Только не подходи близко! Людей мне стыдно звать, но вот взгляни сюда! Ты ведь отчаянный!

С этими словами Богуслав показал на дуло пистолета, выглядывавшее из-под шубы, которой он был укрыт, и впился сверкающими глазами в пана Анджея.

– Вельможный князь! – воскликнул Кмициц и сложил просительно руки, но лицо его исказилось от гнева.

– И просишь, и грозишь? – сказал Богуслав. – Шею гнешь, а из-за пазухи черт зубы мне скалит? Глаза сверкают гордостью, сам мечешь громы и молнии? В ноги Радзивиллу, коль просишь его! Лбом об землю бей! Тогда я тебе отвечу!

Лицо пана Анджея было бледно как полотно, он провел рукой по потному лбу и ответил прерывающимся голосом, словно лихорадка, которая мучила князя, стала бить вдруг и его.

– Коли ты, вельможный князь, отпустишь мне этого старого солдата, я готов... упасть... к твоим ногам!

Глаза Богуслава злорадно сверкнули. Враг смирился, согнул свою гордую выю. Лучше не мог князь утолить жажду мщения.

Кмициц стоял перед ним, дрожа всем телом, волосы шевелились у него на голове. Даже в спокойные минуты он похож был на ястреба, а сейчас еще больше напоминал разъяренную хищную птицу. Трудно было сказать, бросится он через минуту к ногам князя или схватит его за грудь.

А Богуслав, не спуская с него глаз, сказал:

– При людях! При свидетелях! – И повернулся к двери: – Эй! Сюда!

В отворенную дверь вошло человек двадцать придворных, поляков и иноземцев. За ними появились офицеры.

– Вот пан Кмициц, хорунжий оршанский и посол пана Сапеги, – обратился к ним князь, – хочет милости моей просить и желает, чтобы все вы при том были свидетелями!

Кмициц пошатнулся, как пьяный, и со стоном повалился в ноги Богуславу.

А князь нарочно вытянул ноги так, чтобы носком рейтарского сапога коснуться чела рыцаря.

Услышав славное имя, узнав, что тот, кто носил его, теперь посол Сапеги, все онемели от изумления. Все поняли, что небывалое творится здесь дело.

Князь между тем встал и молча прошел в соседний покой, кивнув только двоим придворным, чтобы они последовали за ним.

Кмициц поднялся с колен. Лицо его не выражало ни гнева, ни ярости, а только бесчувственность и безразличие. Казалось, он не сознает, что с ним творится, что сломлен вконец.

Прошло полчаса, час. За окном слышен был конский топот и мерные шаги солдат, а он все сидел, как каменный.

Внезапно отворилась дверь из сеней. Вошел офицер, старый знакомый Кмицица по Биржам, и восемь человек солдат, четверо с мушкетами, четверо без ружей, при одних только саблях.

– Пан полковник, встань! – учтиво обратился к нему офицер.

Кмициц посмотрел на него блуждающими глазами.

– Гловбич! – произнес он, узнав офицера.

– Я получил приказ, – сказал Гловбич, – связать тебе руки и вывести из Янова. Это только на время, потом ты уедешь свободно. Поэтому, пан полковник, прошу не оказывать сопротивления.

– Вяжи! – ответил Кмициц.

И без сопротивления позволил связать себе руки. Ног ему вязать не стали. Офицер вышел с ним из покоя и повел его пешком через Янов. Выйдя из Янова, они шли еще около часу. По дороге к ним присоединилось несколько всадников. Пан Анджей слышал, что они говорят по-польски; всем полякам, служившим у Радзивилла, было известно имя Кмицица, им поэтому было особенно любопытно, что же с ним будет. Конвой миновал березовую рощу и вышел в пустое поле; здесь пан Анджей увидел отряд легкой польской хоругви Богуслава.

Солдаты были построены в квадрат; посредине квадрата на площадке только двое пехотинцев держали лошадей на шлеях да человек двадцать стояло с факелами.

При свете факелов пан Анджей увидел лежащий на земле кол со свежезаостренным концом, другой его конец был привязан к толстому бревну.

Дрожь невольно проняла пана Анджея.

«Это для меня! – подумал он. – Князь прикажет лошадьми посадить меня на кол. Из мести он жертвует Саковичем!»

Он ошибся, кол был предназначен для Сороки.

В дрожащих отблесках пламени он увидел и самого Сороку. Старый солдат сидел около бревна на стульце, без шапки, со связанными руками; его стерегли четверо солдат. Какой-то человек в безрукавке поил его в эту минуту водкой из плоской кружки; Сорока пил с жадностью. Выпив всю водку, он сплюнул, и в эту самую минуту Кмицица поставили между двумя всадниками в первой шеренге; солдат увидел его, сорвался со стульца и вытянулся, как на параде.

С минуту они глядели друг на друга. Лицо Сороки было спокойно и решительно; он только двигал челюстями, точно все что-то жевал.

– Сорока! – простонал наконец Кмициц.

– Слушаюсь! – ответил солдат.

И снова воцарилось молчание. Да и о чем было им говорить в такую минуту! Но вот палач, который поил Сороку водкой, подошел к нему.

– Ну, старина, – сказал он, – пора!

– А вы попрямей посадите!

– Не бойся!

Сорока не боялся; но когда он почувствовал на своем плече руку палача, он задышал тяжело и трудно и наконец сказал:

– Еще горелки!

– Нету!

Вдруг один из солдат выехал из шеренги и подал флягу.

– Есть. Дайте ему!

– Смирно! – скомандовал Гловбич.

Но человек в безрукавке все-таки прижал флягу к губам Сороки, и тот снова пил, а выпив, глубоко вздохнул.

– Вот она, солдатская доля! – сказал он. – Вот награда за тридцать лет службы! Ну, пора так пора!

К нему подошел второй палач, и его стали раздевать.

Наступила минута молчания.

Факелы дрожали в руках у людей. Всем стало страшно.

Но вот ропот пробежал по рядам солдат, окружавших площадку; он становился все громче. Солдат не палач. Он сам убивает, но не любит смотреть на страданья.

– Молчать! – крикнул Гловбич.

Ропот перешел в общий крик, в котором слышались отдельные возгласы: «Дьяволы! Черти! Собачья служба!»

Вдруг Кмициц крикнул так, точно его самого посадили на кол:

– Стой!!!

Палачи невольно остановились. Все глаза обратились на Кмицица.

– Солдаты! – крикнул пан Анджей. – Князь Богуслав предал короля и Речь Посполитую! Вы окружены, и завтра вас истребят всех до единого! Вы служите изменнику! Но кто бросит службу, бросит изменника, того ждет прощение короля, прощение гетмана! Выбирайте! Смерть и позор или завтра награда! Я жалованье вам заплачу и каждому дам по дукату, по два дуката! Выбирайте! Не вам, честным солдатам, служить изменнику! Да здравствует великий гетман литовский!

Крик перешел в гул. Ряды расстроились.

Десятка два голосов крикнули:

– Да здравствует король!

– Довольно с нас этой службы!

– Смерть изменнику!

– Стой! Стой! – кричали другие голоса.

– Завтра ждет вас позорный конец! – ревел Кмициц.

– Татары в Суховоле!

– Князь изменник!

– Против короля вожем!

– Бей его!

– К князю!

– Стой!

Во всеобщем смятении чья-то сабля перерезала веревки, связывавшие руки Кмицица. Тот тут же вскочил на одного из коней, которые должны были поднять Сороку на кол, и крикнул, уже сидя верхом:

– За мной к гетману!

– Иду! – крикнул Гловбич. – Да здравствует король!

– Да здравствует король! – ответило полсотни голосов и мгновенно сверкнуло полсотни сабель.

– Сороку на коня! – снова скомандовал Кмициц.

Солдаты, которые хотели оказать сопротивление, увидев обнаженные сабли, смолкли. Один все-таки повернул коня и исчез через минуту из глаз. Факелы погасли. Темнота окутала всех.

– За мной! – раздался голос Кмицица.

И люди беспорядочной толпой рванулись с места, затем вытянулись длинной вереницей.

Отъехав с полверсты, в березовой роще, лежавшей по левую сторону стана, наткнулись на сильное пешее охранение.

– Кто идет? – раздался голоса.

– Гловбич с разъездом!

– Что пропуск?

– Трубы!

– Проходи!

Они проехали не спеша, затем пустились рысью.

– Сорока! – сказал Кмициц.

– Слушаюсь! – раздался рядом голос вахмистра.

Кмициц больше ничего не сказал, он только протянул руку и положил ее на голову вахмистра, словно желая удостовериться, едет ли тот рядом.

Солдат в молчании прижал его руку к губам.

Тут рядом же, но с другой стороны, раздался голос Гловбича:

– Пан Кмициц, я давно хотел сделать то, что делаю теперь!

– Ты об этом не пожалеешь!

– Век буду тебя благодарить!

– Послушай, Гловбич, почему князь не иноземный полк, а вас послал на казнь?

– Он хотел тебя опозорить при поляках. Чужие солдаты тебя не знают.

– А со мной ничего не должно было случиться?

– Мне дан был приказ разрезать тебе веревки. А если бы ты кинулся спасать Сороку, мы должны были доставить тебя к князю для наказания.

– Стало быть, он хотел пожертвовать и Саковичем, – пробормотал Кмициц.

Между тем в Янове князь Богуслав, изнуренный лихорадкой и дневными трудами, лег уже спать. Он пробудился от глубокого сна, услышав шум перед домом и стук в дверь.

– Вельможный князь! Вельможный князь! – кричало несколько голосов.

– Князь спит! Не будить! – отвечали пажи.

Но князь сел на постели и крикнул:

– Огня!

Принесли огонь, одновременно вошел дежурный офицер.

– Вельможный князь! – сказал он. – Посол Сапеги взбунтовал хоругвь Гловбича и увел ее к гетману.

Наступило молчание.

– Бить в литавры и барабаны! – приказал наконец Богуслав. – Войско в строй.

Офицер вышел, князь остался один.

– Это страшный человек! – сказал он про себя.

И почувствовал, что у него начинается новый приступ лихорадки.

#### ГЛАВА XL

Можно себе представить, как удивлен был Сапега, когда Кмициц не только сам вернулся цел и невредим, но и привел с собой отряд в несколько десятков сабель и старого слугу. Дважды пришлось Кмицицу рассказывать, как было дело, во все уши слушали гетман и Оскерко, только нет-нет да руками который всплеснет или за голову схватится.

– Знай же, – сказал пану Анджею гетман, – кто в своей мести переходит всякие границы, у того она часто, как птица, ускользает из рук. Князь Богуслав хотел, чтобы поляки были свидетелями твоего бесчестия и позора, хотел этим еще больше унижить тебя, вот и перешел всякие границы. Но ты не хвались, ибо победу ты одержал по божьему соизволению. А все-таки должен я сказать тебе: он дьявол, но и ты дьявол! Нехорошо князь поступил, что надругался над тобой.

– Я над ним ругаться не стану и в мести, даст бог, не перейду границ!

– Ты совсем прости ему, как Христос прощал обидчикам, хоть, бывши богом, словом одним мог покарать жидовинов.

Кмициц ничего не ответил, да и времени у него не было не то что для разговоров, но даже для отдыха. Он изнемогал от усталости, однако принял решение в ту же ночь выехать к своим татарам, которые стояли в лесах и на дорогах за Яновом, в тылу войск Богуслава. Люди тогда умели спать и в седле. Приказал только Кмициц оседлать свежего коня да пообещал себе сладко поспать в дороге.

Он уже садился в седло, когда к нему подошел Сорока и вытянулся в струнку.

– Пан полковник! – обратился к нему вахмистр.

– Что скажешь, старина?

– Я пришел спросить, когда мне ехать?

– Куда?

– В Тауроги.

Кмициц рассмеялся.

– В Тауроги ты не поедешь совсем, со мной поедешь.

– Слушаюсь! – ответил вахмистр, стараясь не показать, как он доволен.

Поехали вместе. Путь был неблизкий, ехать пришлось через леса, окольными путями, чтобы не наткнуться на Богуслава; зато пан Анджей и Сорока отлично выпались и без всяких приключений прибыли к татарам.

Акба-Улан тотчас явился к Бабиничу и доложил, что было сделано в его отсутствие. Пан Анджей остался доволен: все мосты были сожжены, гати уничтожены; вдобавок разлились весенние воды, и поля, луга и низкие дороги обратились в вязкое болото.

У Богуслава не было выбора, он должен был драться и либо победить, либо погибнуть. О том, чтобы уйти, и речи быть не могло.

– Ну что ж, – промолвил Кмициц, – рейтары у него отборные, но конница это тяжелая. Толку от нее по этой грязи никакого.

Затем он обратился к Акба-Улану.

– Похудал ты! – сказал он татарину, ткнув его кулаком в брюхо. – Ничего, после битвы набьешь пузо княжескими дукатами.

– Бог на то сотворил врагов, чтобы мужам битвы было с кого брать добычу, – важно ответил татарин.

– А конница Богуслава стоит против вас?

– Несколько сот сабель, и конница отборная, а вчера еще полк пехоты прислали, и он окопался.

– Неужто нельзя выманить их в поле?

– Не выходят.

– А если обойти да в тылу оставить, а самим пробиться на Янов?

– Они на самой дороге стоят.

– Что-то надо придумать! – Кмициц стал поглаживать рукой чуприну. – А набегу учинять на них вы пробовали? Далеко ль они за вами шли?

– Да так с полверсты, дальше не хотели.

– Надо что-то придумать! – повторил Кмициц.

Однако в ту ночь он ничего не придумал. Зато на следующий день подъехал с татарами к стану, лежавшему между Суховолей и Яновом, и увидел, что лишнего прибавил Акба-Улан, сказавши, будто пехота с той стороны окопалась: там были небольшие шанцы, только и всего. В них можно было долго обороняться, особенно от татар, которые под огнем неохотно шли в атаку, однако о том, чтобы выдержать осаду, и речи быть не могло.

«Будь у меня пехота, – подумал Кмициц, – я бы напролом пошел...»

Но о том, чтобы привести пехоту, и думать было нечего, – не так уж много было ее у самого Сапеги, да и времени не оставалось, чтобы ее подтянуть.

Кмициц подъехал так близко, что пехота Богуслава открыла по нему огонь: но он, не обращая внимания на стрельбу, разъезжал под пулями, разглядывал, озирался кругом, и татары, хоть они под огнем держались хуже, принуждены были ехать с ним в ногу. Потом выскочила конница и стала заходить сбоку. Пан Анджей отскакал тысячи на три шагов и вдруг повернул назад и ринулся на нее.

Но всадники тоже повернули на всем скаку и понеслись назад, к шанцам. Напрасно татары послали им вслед тучу стрел. С коня упал только один, да и того подобрали и увезли товарищи.

На обратном пути Кмициц, вместо того чтобы направиться прямо в Суховолю, помчался на запад и доехал до Каменки.

Болотистая река широко разлилась, весна в тот год была на редкость многоводна. Кмициц посмотрел на реку бросил в воду несколько изломанных веточек, чтобы определить быстроту течения, и сказал Улану:

– Обойдем их по реке и ударим с тыла.

– Кони не поплывут против течения.

– Вода медленно течет. Прямо еле-еле. Поплывут!

– Кони зачоченеют, и люди не выдержат. Холодно еще.

– Люди поплывут, держась за хвосты. Это ведь ваш татарский обычай.

– Зачоченеют люди.



– В бою разогреются.

– Ну ладно.

Как только спустились сумерки, Кмициц велел нарубить пуки лоз, сухого камыша и тростника и привязать к бокам лошадей.

Когда зажглась первая звезда, в воду, по его приказу, бросилось около восьмисот всадников и пустилось вплавь вверх по реке. Сам пан Анджей плыл впереди: однако он скоро смекнул, что они так медленно подвигаются вперед, что и за два дня не минуют шанцы.

Тогда он приказал переправляться на другой берег.

Это было опасное предприятие, По ту сторону реки берег был низкий и болотистый. Лошади, хоть и легкие, по брюхо уходили в болото. Все же отряд понемногу подвигался вперед, люди поддерживали друг друга.

Так прошли они с полсотни саженой.

Звезды показывали полночь. Но тут до слуха их долетели отголоски далекой пальбы.

– Бой начался! – крикнул Кмициц.

– Мы потонем! – ответил Акба-Улан.

– За мной!

Татары не знали, что делать, когда вдруг заметили, что конь Кмицица вынырнул из болота, ступив, видно, на твердый грунт.

И в самом деле начался песчаный перекат. Вода была лошадям по грудь, но грунт был твердый. Пошли резвей. Слева мигнули далекие огни.

– Это шанцы! – тихо сказал Кмициц. – Мимо! В обход!

Через минуту они и в самом деле миновали шанцы. Тогда снова свернули налево и снова бросились в реку, чтобы выйти на сушу за шанцами.

Больше сотни лошадей увязло у самого берега. Но люди почти все выбрались. Пешим Кмициц велел сесть позади всадников и двинулся к шанцам. Две сотни охотников он еще раньше оставил с приказом беспокоить противника с фронта, пока он будет заходить ему с тыла. При подходе услышал сперва редкие, а там все более частые выстрелы.

– Отлично! – сказал он. – Наши пошли в атаку!

Отряд понесся.

В темноте маячили только головы, мерно подсакивая на ходу. Ни одна сабля не звякнула, не зазвенело оружие, татары и охотники умели идти тихо, как волки.

Пальба в стороне Янова становилась все сильнее; видно, Сапега перешел в наступление по всей линии.

Но и со стороны шанцев, куда мчался Кмициц, долетали крики. Костры, пылавшие там, озаряли все кругом сильным светом. В отблесках пламени Кмициц увидел пехоту, которая, изредка постреливая, смотрела вперед, в поле, где конница сражалась с охотниками.

Его тоже увидели с шанцев, однако вместо выстрелов встретили приближавшийся отряд громкими кликами. Солдаты решили, что это князь Богуслав шлет подкрепление.

Но когда всадники, надвинувшись тучей, были уже в какой-нибудь сотне шагов от шанцев, пехота беспокойно зашевелилась; заслонив ладонью глаза от света, солдаты стали всматриваться, кто же это к ним скачет.

И вдруг за полсотни шагов от шанцев неистовый вой потряс воздух, отряд вихрем ринулся на пехоту, окружил ее, зажал в кольцо, смял, и вся куча людей стала судорожно бросаться из стороны в сторону. Казалось, огромная змея душит облюбованную жертву.

В общей свалке слышались пронзительные вопли: «Аллах! Herr Jesus! Mein Gott!»[84]

А перед шанцами раздались новые крики, это охотники увидели, что Бабинич уже в шанцах, и, хоть было их меньше, с яростью наперли на конницу. Между тем небо насупилось, как бывает весной, и туча неожиданно пролилась частым дождем. Костры потухли, и бой продолжался в темноте.

Однако был он недолог. Застигнутые врасплох Пехотинцы Богуслава были переколоты. Конница, в которой было много поляков, сложила оружие. Сотня чужих драгун была изрублена.

Когда луна снова выплыла из-за туч, она осветила только толпу татар, которые кончали раненых и брали добычу.

Но и это продолжалось недолго. Раздался пронзительный голос пицалки, татары и охотники все, как один, вскочили на коней.

– За мной! – крикнул Кмициц.

И как вихрь понесся с ними в Янов.

Через четверть часа злополучный городок был подожен с четырех концов, а через час над ним бушевало море огня. Снопы огненных искр взметнулись в багровое небо.

Так Кмициц дал знать гетману, что он захватил тылы войск Богуслава.

Весь в крови, как палач, он строил в огне своих татар, чтобы вести их дальше.

Они уже стояли в строю, вытянувшись лавой, когда в поле, которое было освещено пожаром, как днем, увидел внезапно отряд тяжелых курфюрстовских рейтар.

Вел их рыцарь, который виден был издали, так как латы на нем были серебряные и сидел он на белом коне.

– Богуслав! – взревел нечеловеческим голосом Кмициц и ринулся со всей татарской лавой вперед.

Враги неслись навстречу друг другу, как два вала, гонимых двумя вихрями. Их отделяло значительное расстояние, и кони с обеих сторон пошли вскачь и стлались, прижав уши, вытянувшись, как борзые, едва не касаясь брюхом земли. С одной стороны великаны в сверкающих кирасах, с прямыми саблями, поднятыми в правой руке, с другой стороны серая туча татар.

Наконец они сшиблись длинною лавой на освещенном пожаром поле; но тут случилось нечто ужасное. Вся туча татар повалилась вдруг, будто нива полегла под дуновением бури, великаны проскакали по ней и помчались дальше, словно и они, и их кони владели силой громов и летели на крыльях бури.

Через некоторое время десятки татар поднялись и бросились преследовать их. Эту дикую орду можно было смять, но затоптать за один раз нельзя. Вот и теперь все больше людей устремлялось за скачущими рейтарами. В воздухе засвистели арканы.

Но всадник на белом коне все время скакал в первом ряду, во главе бегущих, а среди преследователей не было Кмицица.

Только на рассвете стали возвращаться татары назад, и почти каждый вел на аркане рейтара. Вскоре они нашли Кмицица в беспмятстве и отвезли его к Сапеге.

Гетман сам сидел у его постели. В полдень пан Анджей открыл глаза.

– Где Богуслав? – были его первые слова.

– Разбит наголову. Бог сперва послал ему счастье, успел он выбраться из березняка, но в открытом поле столкнулся с пехотой пана Оскерко, там и потерял он людей и победу. Не знаю, ушло ли их пять сотен, многих еще твои татары переловили.

– А сам-то он?

– Ушел.

Помолчав с минуту времени, Кмициц сказал:

– Не приспела еще пора силами мне с ним меряться. Мечом рубнул он меня по голове и наземь свалил вместе с конем. По счастью, мисюрка на голове была отменной стали, она и спасла меня; но без памяти я упал.

– Ты эту мисюрку должен в костеле повесить.

– Мы за ним хоть на край света будем гнаться! – воскликнул Кмициц.

Гетман сказал ему на эти слова:

– Ты вот погляди, какую весть получил я после битвы.

И подал ему письмо.

Кмициц вслух прочитал следующие слова:

– «Король шведский двинулся на Эльблонга, идет на Замостье, оттуда на Львов, на короля. Выходи, вельможный пан, со всеми силами на спасение короля и отчизны, ибо одному мне не продержаться. Чарнецкий».

На минуту воцарилось молчание.

– А ты с нами пойдешь или поедешь с татарами в Тауроги? – спросил гетман.

Кмициц закрыл глаза. Он вспомнил все, что говорил ему ксендз Кордецкий, все, что рассказывал о Скшетуском Володыёвский, и ответил:

– Приватные дела – в сторону! За отчизну хочу я биться с врагом!

Гетман обнял его.

– Брат ты мне! – сказал он. – Я уж старик, так что прими мое благословение!..

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ГЛАВА I

Вот уже по всей Речи Посполитой народ седлал коней, а шведский король все не мог уйти из Пруссии, занятый покорением тамошних городов и переговорами с курфюрстом.

Одержав неожиданно быструю и легкую победу, искушенный воитель вскоре спохватился, что шведский лев проглотил больше, нежели способен переварить. По возвращении Яна Казимира Карл уже не надеялся сохранить всю добычу целиком и стремился теперь удержать хотя бы кусок побольше, и прежде всего ту провинцию, что граничила со шведским Поморьем, – богатую, плодородную, изобилующую крупными городами Королевскую Пруссию.

Но провинция эта, и прежде первой оказавшая ему сопротивление, стойко хранила верность своему королю и Речи Посполитой. Опасаясь, что возвращение Яна Казимира и военные действия, предпринятые тышовецкими конфедератами, подогреют боевой дух пруссаков, укрепят их верность и подвигнут на дальнейшую борьбу, Карл Густав решил подавить мятеж, сокрушить Казимирово войско, дабы отнять у пруссаков всякую надежду на помощь.

К этому понуждало Карла и то обстоятельство, что курфюрст всегда склонен был держать сторону сильнейшего. Шведский король знал его уже насквозь и нимало не сомневался, что, едва лишь счастье улыбнется Яну Казимиру, курфюрст поспешит переметнуться к нему.

Видя к тому же, что осада Мальборка подвигается туго, ибо чем больше усилий прилагали осаждающие, тем упорнее защищал крепость пан Вейхер, Карл Густав задумал новый поход на Речь Посполитую, решившись преследовать Яна Казимира вплоть до отдаленнейших пределов страны.

Дело следовало у него за словом столь же быстро, сколь быстро гром следует за молнией; вмиг собрал он стоявшие по городам войска, и не успели люди в Речи Посполитой спохватиться, не успела разойтись весть о его походе, как он уже миновал Варшаву и без оглядки кинулся прямо в огонь.

Он несся, подобно буре, пылая гневом, яростью и жадной мести. За ним неслась,

топча снег, еще не сошедший с полей, десятитысячная конница, из всех шведских гарнизонов стекалась к нему пехота, и, словно подгоняемый вихрем, он шел все дальше и дальше на юг Речи Посполитой.

Трупы и пожарища оставлял он на своем пути. То был уже не прежний Carolus Gustavus, добрый, милостивый и веселый государь, что некогда рукоплескал польской кавалерии, шутил с пирующей шляхтой и заигрывал с простыми ратниками. Теперь, где бы ни прошел он, везде рекой лилась шляхетская и мужицкая кровь. Попадавшиеся по дороге партизанские отряды он сметал с лица земли, пленных вешал, никого не миловал.

Но точно так же, как голодные волки гонятся за могучим медведем, что продирается сквозь чащу, круша тяжелой своей тушей кусты и ветки, и, не смея заступить ему дорогу, все ближе и ближе насаждают на него сзади, – точно так же партизанские отряды тянулись вслед за армией Карла, постепенно объединяя свои силы, и следовали за шведом неотступно, как тень следует за человеком, – нет, неотступней, чем тень, ибо не оставляли его ни днем, ни ночью, ни в вёдро, ни в непогоду; а перед ним по всему пути народ разрушал мосты, уничтожал припасы, так что швед шел словно через пустыню, нигде не находя себе ни крова, ни хлеба.

Сам Карл Густав вскоре понял, сколь страшное затеял он дело. Среди моря войны, разливавшегося вокруг него, он был как одинокий корабль среди бушующих волн. Бушевала Пруссия, бушевала Великая Польша – она первая присягнула Карлу и первая же стремилась сбросить шведское иго; бушевала Малая Польша, и Русь, и Литва, и Жмудь. Словно на островах, держались еще шведы в замках и в крупных городах, но деревни, леса, поля и реки были уже в руках у поляков. Не только одинокому ратнику или небольшому отряду – даже целому полку нельзя было отстать от основных сил шведской армии, он сразу же пропадал без вести, а пленники, захваченные мужиками, умирали в страшных мучениях.

Напрасно велел Карл Густав объявлять по деревням и городам, что каждому мужику, который доставит шведам вооруженного шляхтича, живого или мертвого, дарована будет воля на вечные времена и земельный надел, – мужики наравне со шляхтой и горожанами уходили в партизаны. В партизаны шли все жители гор и глухих лесов, жители полей и долин, они устраивали на дорогах завалы, нападали на города с небольшими гарнизонами, истребляли шведские разъезды. Цепы, вилы и косы обгагрлись шведской кровью ничуть не хуже, чем шляхетские сабли.

И тем яростней вскипал гнев в сердце Карла, что ведь всего какой-нибудь год тому назад он с легкостью завоевал эту страну; что же произошло, недоумевая он, откуда эти силы, откуда это сопротивление? Откуда война эта не на живот, а на смерть, которой не видно ни конца, ни края?

В шведском лагере участились военные советы. С Карлом шел его брат Адольф, принц Бипонтинский[85], главнокомандующий шведских войск; шел Роберт Дуглас, шел Генрих Горн, родственник того Горна, что погиб под Ченстоховой от мужицкой косы; шел Вальдемар, граф датский; и Миллер, растерявший всю свою боевую славу у подножия Ясной Горы, и Ашемберг, самый искусный среди шведских военачальников в конной атаке, и Гаммершильд, ведавший артиллерией, и старый бандит маршал Арвид Виттенберг, знаменитый живодер и грабитель, ныне превращенный французской болезнью в развалину, и Форгель, и еще много других столь же прославленных своими завоеваниями полководцев, уступающих в военном искусстве разве только самому королю.

И все они опасались, как бы лишения, недостаток продовольствия и яростная ненависть поляков не привели к гибели всего войска вместе с королем. Старый Виттенберг прямо отговаривал короля от похода.

– Посуди, государь, – говорил он, – благоразумно ли углубляться в эту страну, преследуя неприятеля, который уничтожает все на своем пути, сам оставаясь невидимым? Что ты станешь делать, если не найдешь для коней не только сена и овса, но даже соломы, которой кроют мужицкие хаты, а люди твои попадают с ног от изнеможения? Где те войска, что придут нам на помощь? Где замки, в которых мы сможем передохнуть и подкрепиться? Не мне равняться с тобой славой, государь, но, будь я Карлом Густавом, не стал бы я искушать военное счастье, не стал бы рисковать этой славой, добытой в стольких победоносных сражениях.

На это отвечал ему Карл Густав:

– Не стал бы и я, будь я Виттенбергом.

Затем он поминал Александра Македонского, с которым любил себя сравнивать, и шел вперед, преследуя Чарнецкого. А Чарнецкий, чьи войска были не столь многочисленны и хорошо обучены, отступал, но в бегстве своем подобен был волку, который в любую минуту готов сам броситься на преследователей. Порой он опережал шведов, порой шел бок о бок с ними, а порой, притаившись в глухой чаще, пропускал их вперед, и в то время, как они думали, что преследуют его, сам шел за ними по пятам, уничтожая неосторожных ратников, а то и целые разъезды, громя отставшие пехотные полки, нападая на обозы с провиантом. И шведы никогда не знали, где он сейчас, с какой стороны ударит. Не раз в ночной темноте они принимали кусты за вражеских солдат и обстреливали их из пушек и мушкетов. Смертельно усталые, голодные и холодные, шли они в страхе и тоске, а он, этот *vir molestissimus*, висел над ними неотступно, словно грозовая туча над колосющейся нивой.

Наконец под Голомбом, неподалеку от места, где Вепш впадает в Вислу, шведы настигли Чарнецкого. Но несколько польских хоругвей стояли уже наготове и, смело налетев на врага, внесли в его ряды страх и замешательство. Первым бросился вперед Володыёвский со своими лауданцами и ударил на датского принца Вальдемара, а Самуэль Кавецкий и младший брат его Ян пустили с пригорка своих кирасир на английских наемников Викильсона и в мгновение ока поглотили их, как щука глотает уклейку; пан Малявский вплотную схватился с князем Бипонтинским; словно два встречных вихря, смешались их люди и кони, обратившись в единый стремительный круговорот. В мгновение ока шведы были отброшены к Висле; видя это, Дуглас поспешил к ним на помощь с полком отборных рейтар. Но и рейтары не смогли выдержать натиска поляков; шведы стали скакать с высокого берега вниз, и вскоре весь лед был усеян их трупами, черневшими на снегу, словно буквы на листе белой бумаги. Пал принц Вальдемар, пал Викильсон, а князь Бипонтинский, опрокинутый наземь вместе с конем, сломал ногу; однако же пали и братья Кавецкие, и Малявский, и Рудаковский, и Роговский, и Тыминский, и Хоинский, и Порванецкий, один лишь Володыёвский, хоть и кидался в гущу неприятеля, словно пловец в бушующие воды, вышел из боя без единой царапины.

Тем временем подоспел сам Карл Густав с основными своими силами и с пушками, и тут картина боя изменилась. Остальные полки Чарнецкого, хуже обученные и непривыкшие к повиновению, не сумели вовремя построиться к бою; одни не успели оседлать коней, а другие, вопреки приказу быть наготове, расположились на отдых по окрестным деревням. И когда внезапно ударил на них враг, полки эти бросились

врассыпную и начали удирать к Вепшу. Тогда Чарнецкий, боясь потерять хоругви, которые первыми кинулись в атаку, велел дать сигнал к отступлению. Часть его войска ушла за Вепш, часть в Консковолю; поле битвы и слава победителя остались за Карлом Густавом, к тому же хоругви Зброжека и Калиновского, все еще дравшиеся на стороне шведов, долго преследовали тех, что уходили за Вепш.

Радость в шведском лагере царила неопиcуемая. Правда, эта победа не принесла шведам богатых трофеев: одни мешки с овсом да несколько пустых телег. Но Карл на сей раз не думал о добыче. Он радовался, что ему, как и прежде, сопутствует военное счастье, что стоило ему появиться, и враг бежал, да не кто-нибудь, а сам Чарнецкий, надежда и опора Яна Казимира и всей Речи Посполитой. Карл заранее предвкушал, как весть об этой битве разнесется по всей стране, как все уста будут повторять: «Чарнецкий разбит!» – как малодушные со страху начнут преувеличивать размеры поражения, а тем самым вселят смятение в сердца и охладят боевой пыл всех тех, кто по призыву Тышовецкой конфедерации взялся за оружие.

Поэтому, увидев сложенные у его ног мешки с овсом, а вместе с ними и тела Викильсона и Вальдемара, король оборотился к своим встревоженным генералам и сказал:

– Полно хмуриться, господа, я сейчас одержал самую значительную победу за последний год, и она, быть может, завершит всю эту войну.

– Ваше королевское величество, – возразил Виттенберг, который из-за своей болезни видел все в более мрачном свете, – возблагодарим господа, если нам удастся хотя бы спокойно продолжить свой поход; такие войска, как у Чарнецкого, быстро рассеиваются, но так же быстро соединяются вновь.

Король ему на это:

– Господин маршал! По-моему, ты полководец ничуть не хуже Чарнецкого, однако если б я тебя вот так разбил, ты, думается, и за два месяца не сумел бы собрать свои войска.

Виттенберг лишь молча поклонился, а Карл прибавил:

– Поход свой мы продолжим спокойно, в этом ты прав, ибо один лишь Чарнецкий мог нам здесь помешать. Теперь его нет, значит, нет и препятствий!

Генералы с радостью приняли его слова. Опьяненные победой войска проходили перед своим королем с криками и пением. Грозовая туча больше не висела над ними. Чарнецкий разбит, Чарнецкого больше нет! Эта мысль заставляла их забыть о перенесенных мучениях, – от этой мысли казались им легкими и предстоящие труды. Слова короля, услышанные многими офицерами, распространились по всему лагерю, и все пришли к убеждению, что и впрямь одержана важнейшая победа, что у гидры войны отрублена еще одна голова и теперь осталось лишь насладиться местью и царствовать.

Король дал приказ расположиться на краткий отдых; тем временем из Козениц подошел обоз с провиантом. Войска разместились в Голombe, в Кровениках и в Жижине. Рейтары подожгли покинутые хаты, повесили несколько мужиков, захваченных с оружием в руках, и нескольких пленных вестовых, которых тоже приняли за крестьян; а затем, попировав вволю, шведы улеглись спать я впервые за долгое время спали крепко и спокойно.

Наутро все проснулись освеженные, и первые их слова были:

– Чарнецкого больше нет!

Они повторяли это друг другу, словно желая лишний раз увериться в своем счастье. В поход вышли весело. День был ясный, морозный и сухой. Лошадиные гривы и ноздри покрывались инеем. От холодного ветра лужи на Люблинском тракте замерзли и дорога стала хорошая. Войска растянулись по дороге чуть не на целую милю, чего раньше никогда не делали. Два драгунских полка во главе с французом Дюбуа пошли в сторону Консковоли, Маркушова и Гарбова, оторвавшись от основных сил. Всего три дня назад это означало бы идти на верную смерть, но теперь перед ними, устрояя противника, летела весть о славной победе шведского короля.

– Нет Чарнецкого! – повторяли между собой солдаты и офицеры.

Они шли спокойно весь день. Не слышно было криков в лесной чаще, из кустов не летели в них копьа, посылаемые невидимой рукой.

Под вечер, веселый и довольный, Карл Густав прибыл в Гарбов. Он уже готовился отойти ко сну, когда адъютант доложил ему, что Ашемберг просит немедля допустить его к королю.

Спустя минуту он уже стоял перед королем, и не один, а с драгунским капитаном. Карл, обладавший необычайной зоркостью и такой же памятью, благодаря чему помнил по имени чуть ли не всех своих солдат, тотчас узнал капитана.

– Ну, что нового, Фред? – спросил он. – Дюбуа воротился?

– Дюбуа убит, – ответил Фред.

Король нахмурился: только теперь он заметил, что капитан бледен как смерть и одежда на нем изорвана.

– А драгуны? – спросил он. – Два драгунских полка?

– Перебиты все до единого. Меня одного живым отпустили.

Смуглое лицо короля еще больше потемнело; он откинул за уши локоны, спадавшие на лоб.

– Кто это сделал?

– Чарнецкий!

Карл Густав, онемев от изумления, посмотрел на Ашемберга, а тот лишь утвердительно закивал головой, словно повторяя: «Чарнецкий! Чарнецкий! Чарнецкий!»

– Просто не верится, – проговорил наконец король. – Ты видел его собственными глазами?

– Вот как вас вижу, ваше королевское величество. Он велел мне поклониться вашему величеству и передать, что сейчас намерен вновь переправиться через Вислу, но



вскоре вернется и пойдет вслед за нами. Не знаю, правду ли он говорил...

– Ладно! – прервал его король. – А много ли при нем войска?

– Точно сказать не могу, но тысячи четыре ратников я сам видел, а за лесом еще и конница стояла. Нас окружили под Красичином, куда полковник Дюбуа нарочно свернул с большака, так как ему донесли, что там кто-то есть. Теперь я думаю, что Чарнецкий умышленно подослал к нам языка, чтобы заманить нас в ловушку. Кроме меня, живым не ушел никто. Мужики добивали раненых, я просто чудом спасся!

– Видно, сам дьявол помогает этому человеку, – проговорил король, прижимая ладонь ко лбу. – После такого разгрома снова собрать войско и грозить преследованием – нет, это не в человеческой власти!

– Случилось так, как предсказывал маршал Виттенберг, – заметил Ашемберг.

Тут король потерял власть над собой.

– Все вы предсказывать горазды! – крикнул он гневно. – Только вот совета дельного от вас не услышишь!

Ашемберг побледнел и умолк. Когда Карл был в духе, он казался воплощением доброты, но беда, если король нахмурит брови, – тогда его приближенные трепетали от ужаса, даже самые старые и заслуженные генералы прятались от него в эти минуты, словно птицы при виде орла.

Но сейчас он сдержался и продолжал расспрашивать капитана Фреда:

– А что за войска при Чарнецком, хороши ли?

– Несколько хоругвей я видел несравненных, у них ведь отличная конница.

– Должно быть, те самые, что с такою яростью ударили на нас под Голомбом. Видимо, старые полки. Ну, а сам Чарнецкий что – весел, горд?

– Так весел, будто это он одержал победу под Голомбом. Да что им Голомб, они про него уже забыли, знай похваляются красичинской победой... Ваше величество! То, что велел передать вам Чарнецкий, я передал, а теперь другое: когда я уже выезжал, ко мне приблизился один из военачальников, могучий старик, и сказал, что это он некогда уложил в рукопашном бою достославного Густава Адольфа. А потом и над вашим величеством стал глумиться, а другие ему вторили. Вот до чего они обнаглели. Провожали меня руганью и насмешками...

– Все это пустое! – возразил король. – Главное – Чарнецкий не разбит и успел уже собрать войска. Тем поспешнее должны мы продвигаться, чтоб как можно скорее настигнуть польского Дария. Вы можете идти, господа. Войскам объявить, что полки наши заблудились в болотах и перебиты мужиками. Поход продолжается!

Офицеры ушли, Карл Густав остался один. Теперь он погрузился в мрачное раздумье. Неужели он неверно оценил положение? Неужели победа под Голомбом не принесет ему никакой пользы, а, напротив, лишь разожжет еще большую ненависть во всей стране?

Перед войском и генералами Карл Густав всегда держался бодро и уверенно, но когда наедине с самим собой он размышлял об этой войне, которая началась так

легко и успешно, а чем дальше, тем становилась трудней, – его не раз охватывало сомнение. Все шло как-то странно, необычно. Карл часто даже не представлял себе, чем и когда все это может кончиться. Порой он чувствовал себя как человек, который вошел в безбрежное море и с каждым шагом погружается все глубже, рискуя вдруг потерять почву под ногами.

Но Карл верил в свою звезду. Вот и сейчас он подошел к окну, чтобы взглянуть на свою избранницу и покровительницу, на ту, что стояла всех выше и светила всех ярче среди звезд Небесной Колесницы, или по-иному – Большой Медведицы. Небо было ясное, и она ярко сияла, мерцая то красным, то голубым светом. И потом вдали, внизу, среди темной синевы неба, чернела одинокая, похожая на дракона туча, от которой тянулись как бы руки, как бы ветви, как бы щупальца чудища морского, подбираясь все ближе к королевской звезде.

## ГЛАВА II

Наутро, едва рассвело, король снова тронулся в путь и прибыл в Люблин. Здесь он получил донесение, что Сапега, отразив нападение Богуслава, спешит сюда с крупными силами, а потому, оставив в городе свой гарнизон, Карл покинул Люблин и двинулся дальше.

Теперь ближайшей целью его похода было Замостье, овладев этой мощной крепостью, шведский король обеспечил бы себе столь выгодную боевую позицию и столь явное превосходство над противником, что мог бы вполне надеяться на счастливый исход войны. О Замостье ходили разные толки. Поляки, которые все еще состояли на шведской службе, уверяли, что другой такой крепости нет в целой Речи Посполитой, чему доказательством поражение Хмельницкого, осаждавшего некогда Замостье всеми своими силами.

Однако Карл заметил, что поляки весьма слабы в искусстве фортификации и почитают порой первоклассными такие свои крепости, которые в других странах едва отнесли бы к третьеразрядным; знал он также, что оснащены все польские крепости плохо, стены их содержатся в беспорядке, нет в них ни земляных сооружений, ни надлежащего оружия, а потому и рассказы о Замостье его не пугали. Кроме того, он рассчитывал на силу своего грозного имени, на свою славу непобедимого полководца, и наконец, на переговоры. Переговорами, которые в этой стране властен был вести или, во всяком случае, позволял себе вести каждый вельможа, Карл до сих пор добился большего, нежели оружием. Тонкий дипломат, он любил заранее знать, с кем придется иметь дело, и тщательно собирал все сведения о хозяине Замостья. Расспрашивал о его привычках, склонностях, о его пристрастиях и о складе его ума.

Ян Сапега, который в то время, к великому горю витебского воеводы, все еще порочил имя славного рода своей изменой, больше всех рассказывал королю о калушском старосте. Их беседы длились часами. Сапега, впрочем, полагал, что королю вряд ли так легко удастся склонить на свою сторону хозяина Замостья.

– Деньгами его не соблазнить, – говорил пан Ян, – ибо человек этот несметно богат. Чинов он не добивается и не искал их даже тогда, когда они сами его искали... Что до титулов, то я сам слышал, как при дворе он оборвал господина де Нуайе, секретаря королевы, когда тот обратился к нему: «Mon prince»[86]. «Я, говорит, не prince, но у меня, говорит, в Замостье и светлейшим князьям случалось в плену сиживать». Правда, не при нем это случалось, а три его деде, которого у нас зовут Великим.

– Только бы он открыл мне ворота Замостья, уж я предложу ему нечто такое, чего ни один польский король не мог бы предложить.

Сапеге не пристало спрашивать, что это, он лишь с любопытством посмотрел на Карла Густава, а тот, поймав его взгляд, ответил, заправляя, по обыкновению, волосы за уши:

– Я сделаю Люблинское воеводство независимым княжеством и пожалую ему. Перед короной он не устоит. Никто из вас не смог бы устоять перед подобным искушением, даже нынешний виленский воевода.

– Безмерна щедрость вашего величества, – ответил не без иронии Сапега.

А Карл сказал с присущим ему цинизмом:

– Не свое ведь даю.

Сапега покачал головой.

– Он холост, и сыновей у него нет. А корона тому дорога, кто может передать ее потомству.

– Тогда, сударь, к каким же средствам ты мне посоветуешь обратиться?

– Я полагаю, тут следует сыграть на его тщеславии. Умом он не блещет, и его легко обвести вокруг пальца. Нужно представить ему все дело так, будто мир в Речи Посполитой зависит от него одного, убедить, что он один может спасти ее от войны, несчастий, поражений, от всяческих бед в настоящем и будущем, а для этого, мол, есть единственный способ – открыть ворота. Ключет он на эту приманку – Замостье наше, в противном же случае нам там не бывать.

– Тогда пустим в дело последний наш довод – пушки!

– Гм! На этот довод в Замостье найдется чем ответить. В Замостье тяжелых пушек достаточно, нам же еще только предстоит их подвезти, а это, когда начнется оттепель, будет невозможно.

– Я слышал, что пехота в крепости изрядная, зато нет кавалерии.

– Кавалерия пригодна лишь в открытом поле; впрочем, Чарнецкий, как мы знаем, не разбит, он может в случае надобности подбросить им одну-две хоругви.

– Ты видишь одни только трудности!

– Но, как и прежде, верю в счастливую звезду вашего величества, – возразил Сапега.

Пан Ян не ошибся, предположив, что Чарнецкий снабдит Замостье кавалерией, необходимой для вылазок и поимки языков. Правда, Замойский в помощи не нуждался, у него и своей конницы хватало, но киевский каштелян все же послал в крепость две хоругви – Шемберко и лауданскую, которые больше всего пострадали под Голомбом, – и послал с умыслом, желая, чтобы они отдохнули, подкрепились и сменили лошадей. Пан Себепан принял хоругви радушно, а узнав, какие славные воины в них служат, принялся восхвалять их до небес, осыпать подарками и каждый

день сажал с собой за стол.

Но кто опишет радость и волнение княгини Гризельды при виде Скшетуского и Володыёвского, двух полковников, которые некогда были самыми доблестными соратниками ее великого мужа. Оба пали к ногам своей возлюбленной госпожи, проливая горячие слезы умиления, не могла и она сдержать рыданий. Ведь с ними было связано столько воспоминаний о тех далеких лубненских временах, когда славный муж ее, любимец народа, полный кипучих сил, был владыкой огромного дикого края и, подобно Юпитеру, одним движением бровей наводил ужас на варваров. Давно ли все это было – а ныне? Ныне владыка в могиле, страну вновь захватили варвары, а она, вдова, живет среди руин былого счастья и величия, в тоске и молитве проводя свои дни.

И все же столько сладости таилось в этих горьких воспоминаниях, что все трое с восторгом устремлялись мыслями в прошлое. Они вспоминали былую жизнь, места, которые им не дано было больше увидеть, бывшие войны; наконец, речь зашла о нынешних бедственных временах, о гневе божьем, какой навлекла на себя Речь Посполитая.

– Был бы жив наш князь, – сказал Скшетуский, – иною стезей пошла бы наша бедная отчизна. Казаки были бы сметены с лица земли, Заднепровье присоединено к Речи Посполитой, а шведский лев нашел бы в нем ныне своего укротителя. Но, видно, господь рассудил по-иному, дабы покарать нас за грехи.

– Ах, если бы господу было угодно воскресить нашего заступника в пане Чарнецком, – промолвила княгиня Гризельда.

– Так и будет! – воскликнул Володыёвский. – Чарнецкий совсем не похож на других полководцев, он, как и наш князь, на голову выше всех их. Я ведь знаю обоих коронных гетманов и пана Сапегу, гетмана литовского. Великие это воители, но в пане Чарнецком есть что-то особенное, не человек – орел! Вроде бы милостив, а все его боятся; на что уж пан Заглоба, и тот в его присутствии часто забывает о своих штучках. А как он ведет войско! Как строит его в боевой порядок! Я просто слов не нахожу! Нет, истинно говорю вам – великий полководец поднимается в Речи Посполитой.

– Мой муж, знавший его полковником, еще тогда предсказывал ему славу, – сказала княгиня.

– Говорили даже, будто он собирался жениться на одной из наших придворных дам, – ввернул Володыёвский.

– Не помню, чтобы об этом шла речь, – возразила княгиня.

Да и как ей было помнить то, чего никогда и в помине не было; пан Володыёвский только что это сочинил, желая незаметно перевести разговор на фрейлин княгини и что-нибудь выведать об Анусе Борзобогатой. Прямо спросить о ней он, из почтения к княжескому сану, счел неприличным и даже дерзким. Но хитрость не удалась. Княгиня снова вернулась к воспоминаниям о муже и войнах с казаками, и маленький рыцарь подумал: «Нету Ануси, нету, и, быть может, давным-давно». И больше о ней не спрашивал.

Он мог бы расспросить офицеров, но и сам он, и все остальные заняты были иным. Ежедневно разведчики приносили все новые вести о приближении шведов, и крепость

готовилась к обороне. Скшетускому и Володыёвскому поручены были командные посты на крепостных стенах, так как оба хорошо знали шведов и имели опыт войны с ними. Заглоба своими рассказами о неприятеле подзадоривал тех, кто его еще не видал, а таких среди солдат Замойского было много, ибо до Замостья шведы еще не добирались.

Заглоба вмиг раскусил, что за человек калушский староста, а тот душевно Заглобу полюбил и по всякому поводу держал с ним совет, тем паче что и от княгини Гризельды слышал о почете и уважении, какое в свое время сам князь Иеремия оказывал этому мужу, именуя его *vir incomparabilis*. И вот теперь Заглоба что ни день рассказывал за столом о старых и новых временах, о войнах с казаками, о предательстве Радзивилла, о том, как он, Заглоба, вывел в люди Сапегу, – а все сидели и слушали.

– Я ему посоветовал, – говорил старый рыцарь, – носить в кармане конопляное семя и есть понемногу. И он так к этому пристрастился, что теперь без конопли ни на шаг: возьмет семечко, кинет в рот, разгрызет и ядрышко съест, а шелуху выплюнет. То же самое и ночью, если проснется. И с той поры ум у него стал такой быстрый, что его даже свои не узнают.

– Почему же это? – спросил калушский староста.

– Потому что конопля содержит *oleum*[87] и кто ее ест, у того мозги лучше смазаны.

– Вот чудеса! – сказал один из полковников. – Да ведь масла-то в брюхе прибавляется, а не в голове!

– *Est modus in rebus!*[88] – отвечает на это Заглоба. – Нужно пить побольше вина: *oleum* – оно легкое и всегда всплывает наверх, вино же, кое и так ударяет в голову, понесет его с собой, как всякую благотворную субстанцию. Этот секрет я узнал от Лупула, господаря[89], после смерти которого, как вам известно, валахи хотели посадить меня господарствовать, но султан, не желавший, чтобы господари имели потомство, поставил мне неприемлемое условие.

– Ты, друг мой, должно быть, и сам съел уйму конопляного семени? – спросил пан Себепан.

– Мне-то оно ни к чему, а вот твоей милости от души советую! – ответил Заглоба.

Услышав эти дерзкие слова, иные испугались, как бы пан староста не разгневался, но он то ли не понял, то ли не захотел понять, лишь улыбнулся и спросил:

– А подсолнечные семечки не могут заменить конопляных?

– Могут, – ответил Заглоба, – но так как подсолнечное масло тяжелее конопляного, то и вино следует пить покрепче того, что мы сейчас пьем.

Староста понял намек, развеселился и тотчас приказал принести самых лучших вин. Повеселели и остальные, и ликование стало всеобщим. Пили и провозглашали здравицы королю, хозяину и пану Чарнецкому. Заглоба так воодушевился, что никому рта не давал раскрыть. Со вкусом, с толком и расстановкой стал он рассказывать о битве под Голомбом, где ему в самом деле довелось отличиться; впрочем, иначе и быть не могло, раз он служил в лауданской хоругви. А поскольку от шведских

пленных, взятых из полков Дюбуа, здесь уже было известно о смерти графа Вальдемара, Заглоба, не долго думая, приписал к своему счету и эту смерть.

– Совсем иначе развернулась бы эта битва, – говорил он, – если б не то, что я накануне уехал в Баранов, к тамошнему канонику, и Чарнецкий, не зная, где я, не смог со мной посоветоваться. Может, и шведы прослышали про того каноника, – у него мед превосходный, – потому они и подошли так скоро к Голомбу. А когда я воротился, было поздно, король уже наступал, и надо было немедля атаковать. Ну, мы-то пошли смело, да только что прикажешь делать, если ополченцы от непомерного презрения к врагу всё норовят повернуться к нему задом? Прямо уж и не знаю, как теперь Чарнецкий без меня обойдется.

– Обойдется, не беспокойся! – сказал Володыёвский.

– И я вам скажу почему. Потому что шведскому королю неохота было искать его там, у Вислы, вот он и поперся за мной в Замостье. Не спорю, Чарнецкий солдат хороший, но только как начнет он бороду крутить да своими рысьими глазами сверлить, тут даже первейшие рыцари чувствуют себя перед ним простыми драгунами... Звания для него – ничто, вы и сами были свидетелями, как он Жирского, знатного офицера, приказал волочить конями по майдану только за то, что тот не доехал со своим отрядом до указанной в приказе цели. Со шляхтичем, милостивые паны, надо обходиться по-отечески, а не по-драгунски. Скажи ему: «Сделай милость, будь другом, поезжай», – напomini об отчизне, о слове, растрогай его, и он тебе дальше поедет, чем драгун, который служит ради жалованья.

– Шляхтич шляхтичем, а война войной, – сказал староста.

– Тонко замечено, – ответил Заглоба.

– А я говорю вам, что пан Чарнецкий в конце концов Карлу все карты спутает! – вмешался Володыёвский. – Я тоже прошел не одну войну и могу судить об этом.

– Раньше мы ему спутаем карты под Замостью, – возразил, подбоченившись, калушский староста. При этом он надул губы и, свирепо засопев, устрашающе выпучил глаза. – Карл? Фью! Что мне Карл! А? Кого в гости зову, тому и дверь отворю! Что? Ха!

Тут пан староста засопел еще пуще, застучал об стол коленями, откинулся назад, головой завертел, нахмурился и грозно засверкал очами.

– Что мне Карл! – говорил он, как всегда, отрывисто и несколько свысока. – Он пан в Швеции, а Замойский Себепан в Замостье. *Eques polonus sum*[90], и не более того, – верно. Да зато я у себя дома. Я – Замойский, а он король шведский... а Максимилиан был австрийский[91], ну и что? Идет, ну и пусть себе идет... Посмотрим! Ему Швеции мало, мне и Замостья хватит, но его не отдам, верно?

– Как приятно, друзья мои, слышать столь красноречивое выражение столь возвышенных чувств! – вскричал Заглоба.

– Замойский всегда остается Замойским! – ответил польщенный староста. – Не кланялись доселе, не будем кланяться и впредь... *Ma foi*[92], не дам Замостья, и баста!

– За здоровье хозяина! – гаркнули офицеры.

– Виват! Виват!

– Пан Заглоба! – закричал староста. – Я короля шведского в Замостье не пушу, а тебя из Замостья не выпущу!

– Благодарю за милость, пан староста, но этого ты не сделаешь, ибо первое решение Карла огорчит, второе же лишь обрадует.

– Тогда дай слово, что приедешь ко мне после войны, согласен?

– Согласен...

Долго еще они пировали, пока наконец офицеров не начало клонить ко сну. Тогда они отправились на покой, тем более что вскоре им предстояли бессонные ночи, – шведы были уже близко и передовые их отряды ожидалась с минуты на минуту.

– А ведь он и впрямь не отдаст Замостья, – говорил Заглоба, возвращаясь к себе с Володыёвским и Скшетускими. – Вы заметили, как мы полюбились друг другу?.. Нам здесь хорошо будет, и мне и вам. Сошлись мы с паном старостой ладно, столяр доску к доске лучше не приладит. Славный мужичина. Гм! Будь он ножиком, который я ношу у пояса, я бы почаще точил его об оселок, – туповат... Но человек хороший, этот не предаст, как те мерзавцы из Биржей... Видали, как знатные паны льнут к старому Заглобе? Только знай отмахивайся от них... Едва отвязался от Сапеги – уже другой на смену... Но ничего, этого я настрою, как контрабас, и такую на нем сыграю шведам арию, что они под Замостьем напляшутся до смерти! Заведу его, точно гданьские часы с музыкой...

Дальнейшую беседу прервал шум, донесшийся из города. Мимо пробежал знакомый офицер.

– Стой! – закричал Володыёвский. – Что там?

– С валов виден пожар! Щебжешин горит. Шведы подошли!

– Пойдемте на валы! – сказал Скшетуский.

– Вы ступайте, а я поплю, мне на завтра много сил надобно, – ответил Заглоба.

### ГЛАВА III

В ту же ночь Володыёвский пошел в разведку и к утру привел человек пятнадцать пленных. Те подтвердили, что шведский король со своим войском стоит в Щебжешине и вскоре подойдет к Замостью.

Калушского старосту это известие обрадовало: он до того распалился, что ему и впрямь не терпелось испытать на шведах силу своих пушек и крепость стен. Он справедливо рассудил, что, если даже в конце концов придется сдаться, все же он сумеет задержать продвижение шведских войск на долгие месяцы, а Ян Казимир тем временем соберется с силами, призовет на помощь татар и поднимет на борьбу всю Речь Посполитую.

– Нет уж, – с жаром говорил он на военном совете, – я такого случая не упущу, славно послужу отчизне и моему государю, и знайте, милостивые паны, что я скорей взорву крепость собственными руками, нежели пушу сюда шведов. Хотят Замойского

силой взять? Ладно же! Пусть попробуют. Посмотрим, кто кого. Надеюсь, вы все от души будете мне помогать!

– С тобой, пан староста, хоть на смерть! – хором воскликнули офицеры.

– Лишь бы они не передумали, – сказал Заглоба, – лишь бы начали осаду... А там – я не я буду, коли первым не пойду на вылазку!

– И я с дядей! – заявил Рох Ковальский. – На самого короля брошусь!

– А теперь на стены! – скомандовал калушский староста...

Пошли все. Стены пестрели яркими солдатскими мундирами. Полки отборной пехоты, какой не сыскать было во всей Речи Посполитой, выстроились в боевом порядке один подле другого; все солдаты держали мушкеты наготове и неотрывно глядели в поля. Иноземцев, пруссаков и французов было в этих полках совсем немного, служили в них главным образом майоратские крестьяне, все как на подбор рослые, здоровенные мужики; облаченные в разноцветные колеты и вышколенные на иноземный манер, они умели драться не хуже английских солдат Кромвеля. Особенно отличались они в рукопашном бою. Вот и сейчас, памятуя о своих победах над Хмельницким, солдаты с нетерпением поджидали шведов. При пушках, которые словно с любопытством высовывали сквозь бойницы свои длинные дула, состояли преимущественно фламандцы, превосходные артиллеристы. Перед крепостью, по ту сторону рва, гарцевали отряды легкой кавалерии; уверенные, что в случае чего пушки прикроют их своим огнем, они чувствовали себя в безопасности и готовы были в любую минуту скакать куда потребуется.

Калушский староста в сверкающих финифтью доспехах с золоченым буздыганом в руке объезжал стены и беспрерывно спрашивал:

– Ну что, не видать еще?

Ему все отвечали, что нет, не видать, он тихонько чертыхался, а спустя минуту снова спрашивал, уже в другом месте:

– Ну что? Не видать?

Между тем увидеть что-либо было трудно, так как утро было туманное. Лишь около десяти утра туман начал рассеиваться. Голубое небо засияло над головой, горизонт прояснился, и тотчас с западной стены раздался крик:

– Едут! Едут! Едут!

Староста, а с ним Заглоба и трое адъютантов старосты немедля поднялись на угловой бастион, откуда удобнее всего было вести наблюдение, и стали смотреть в подзорные трубы. Над самой землей все еще стлалась туманная пелена, и шведские войска,двигающиеся от Веленчи, по колена брели в этом тумане, будто выходили из разлившихся вод. Их передовые полки уже приблизились настолько, что можно было невооруженным глазом различить длинные шеренги пехотинцев и отряды рейтар; зато остальная часть войска казалась густым облаком пыли, которое катилось прямо на город. Постепенно из этого облака выступало все больше пехотных полков, пушек и конных отрядов.

Зрелище было великолепное. Над каждым квадратом пехоты торчал, подымаясь из



середины, безукоризненно четкий квадрат копий. Между квадратами развевались знамена всех цветов, больше всего было голубых с белыми крестами и голубых с золотыми львами. Неприятель приближался. На стенах было тихо, и ветром сюда доносило скрип колес, лязг доспехов, конский топот и приглушенный гул голосов. Не доходя до крепости на два пушечных выстрела, шведы развернули войска во фронт. Некоторые квадраты, сломав строй, рассыпались во все стороны. Видимо, противник собирался разбивать шатры и рыть окопы.

– Вот и пришли! – сказал староста.

– Пришли, сукины дети! – ответил Заглоба.

– Можно всех до единого пересчитать.

– А мне, старому солдату, и считать не надо, только гляну – и готово. Здесь десять тысяч конницы и восемь пехоты вместе с артиллерией. Бьюсь об заклад, что ни больше, ни меньше ни на одного солдата и ни на одного коня.

– Неужто можно подсчитать с такой точностью?

– Десять тысяч кавалерии и восемь – пехоты, ручаюсь головой! А уйдет их, с божьей помощью, гораздо меньше, дайте мне только хоть одну вылазку сделать.

– Слышишь, сударь, музыка играет!

В самом деле, вперед вышли трубачи и барабанщики, и загремела боевая музыка. Под ее звуки подтягивались остальные полки, широким кольцом окружая город. Наконец от шведского войска отделилось десятка два всадников. На полдороге к крепости они привязали к мечам белые платки и стали ими размахивать.

– Парламентеры! – определил Заглоба. – Видал я, как эти негодяи вот так же точно подъезжали к Биржам, а что из этого вышло, всем ведомо.

– Замостье не Биржи, а я не виленский воевода! – возразил староста калушский.

Меж тем парламентеры подъехали к воротам. Через короткое время к старосте подбежал адъютант и доложил, что его хочет видеть и говорить с ним от имени шведского короля пан Ян Сапега.

Тут пан староста подбоченился, стал с ноги на ногу переступать, засопел, губы выпятил и наконец ответил с самым надменным видом:

– Скажи пану Сапеге, что Замойский с изменниками не разговаривает. Коли шведский король хочет со мной переговоры вести, пусть пришлет не поляка, а шведа породовитей, а поляки, что шведам служат, пусть с моими собаками ведут переговоры – я их равно презираю!

– Ей-богу, вот это respons![93] – вскричал Заглоба с непритворным восторгом.

– Да что мне в них, черт побери! – воскликнул, в свою очередь, староста, распалившись от собственных слов и от похвалы. – Вот еще! Буду я с ними церемоний разводить.

– Позволь, ваша милость, я сам передам ему твой respons! – попросил Заглоба. И,

не дожидаясь разрешения, бросился вслед за адъютантом и подошел к пану Яну; видимо, он не только повторил ему слова старосты, но и добавил кое-что от себя, ибо Сапега отпрянул от него вместе с конем, как громом пораженный, натянул шапку на самые уши и поскакал прочь. А пехота на стенах и всадники, гарцевавшие перед воротами, свистели и улюлюкали вслед Сапеге и его свите:

– Знайте свое место, собаки! Изменники, проданные души! Ату, ату его.

Бледный, со стиснутыми зубами, предстал Сапега перед королем. Король и сам был растерян, ибо обманулся в своих ожиданиях. Вопреки всему, что говорили о Замостье, он рассчитывал увидеть город, подобный Кракову, Познани и другим слабо укрепленным городам, каких он немало покорил на своем веку. Между тем он увидел могучую крепость, напоминающую датские и нидерландские, взять которую, не имея тяжелых орудий, нечего было и думать.

– Ну как? – спросил король Сапегу.

– Да никак! Пан староста не желает разговаривать с поляками, которые служат вашему королевскому величеству. Он выслал ко мне своего шута, который и меня, и ваше королевское величество поносил так ужасно, что и повторить невозможно.

– Мне все равно, с кем он хочет говорить, лишь бы говорил. В крайнем случае я сумею убедить его железом, а пока пошлю к нему Форгеля.

И спустя полчаса к воротам подъехал Форгель со свитой, состоявшей из одних шведов. Подъемный мост медленно лег поперек рва, и генерал въехал в крепость. Его встретили со спокойным достоинством. Ни ему, ни членам его свиты не завязали глаз; напротив, пан староста вовсе был не прочь, чтобы швед все увидел и обо всем доложил королю. А принял он посла с такой пышностью, словно был удельным князем, и действительно поразил шведов, ибо шведские дворяне не имели и двадцатой доли тех богатств, какими владели польские шляхтичи, а калушский староста и среди поляков слыл едва ли не самым богатым. Ловкий швед сразу стал держаться с Замойским так, словно Карл Густав отправил его послом к равному себе монарху; с первых же слов он назвал хозяина *princeps* и величал его так в продолжение всего разговора, хотя пан Себепан не замедлил возразить:

– Я не *princeps*, *eques polonus sum*, но именно потому равен князьям!

– Ваша княжеская милость! – продолжал Форгель, не давая себя сбить с намеченного пути. – Светлейший государь мой, – тут он долго перечислял титулы, – прибыл сюда не как недруг, но, попросту говоря, как гость, и через меня, своего посла, выражает надежду, смею верить, несправдую, что вы широко распахнете двери перед ним и перед его войском.

– Не в нашем это обычае, – ответил Замойский, – отказывать гостю, хоть бы и непрошеному. Место за столом у меня всегда найдется, а для столь высокого гостя я и свое готов уступить. Соболаговолите же передать его величеству, что в Замостье его примут с превеликой охотой, – говорю это от души, ибо я здесь такой же хозяин, как светлейший *Carolus Gustavus* в Швеции. Но вы, ваша милость, видели, челяди у меня довольно, поэтому свою шведскому королю брать не к чему. Иначе я подумаю, что он меня почитает бедняком и хочет выказать мне свое презрение.

– Отлично! – шепнул Заглоба, стоявший у старосты за спиной.

А пан староста, произнеся свою речь, губы выпятил, засопел и еще приговаривать начал:

– Вот так-то, вот так!

Форгель молча покусывал усы; наконец он заговорил:

– Ваша княжеская милость, если бы вы не впустили в крепость королевское войско, то оскорбили бы короля своим недоверием. Я близок к государю и знаю сокровеннейшие его мысли, так вот – от его имени заверяю вашу милость, что ни владения Замойских, ни эту крепость король отнимать не намерен, чему порукой его королевское слово. Но в несчастной вашей стране вновь разгорелась война, мятежники подняли голову, а Ян Казимир, не думая о том, сколь тяжкими бедами грозит это Речи Посполитой, и заботясь лишь о собственном благе, вернулся в ее пределы и с неверными заодно выступает против наших христианских войск; вот почему непобедимый король и государь мой решил преследовать его вплоть до диких татарских и турецких степей, с тою единственно целью, дабы принести мир стране, а гражданам славной Речи Посполитой – справедливость, счастье и свободу.

Калушский староста хлопнул себя по колену, но не ответил ни слова, а Заглоба прошептал:

– Напялил черт ризу и хвостом в колокол звонит.

– Немало благодеяний оказал уже светлейший наш король этой стране, – продолжал Форгель, – но, полагая в сердце своем, исполненном отеческой заботы, что содеянного еще не довольно, он снова покинул свою прусскую провинцию и поспешил на помощь Речи Посполитой, дабы спасти ее от Яна Казимира. Однако для того, чтобы эта новая война завершилась быстро и счастливо, его королевскому величеству необходимо на время занять Замостье; здесь будет главный лагерь королевских войск, отсюда станем мы вести поход на мятежников. И тут, прослышав, что хозяин Замостья не только богат, древен родом, мудр и проникателен, но и превосходит всех своей любовью к родине, король и государь мой сразу сказал: «Вот кто поймет меня, вот кто сумеет оценить мою заботу о благе этой страны, он не обманет моих ожиданий, оправдает все мои надежды и первым сделает шаг для упрочения счастья и покоя этого края». Справедливые слова! Будущее вашей отчизны зависит от тебя, светлейший князь! Так спаси же ее, будь ей отцом! И я не сомневаюсь, что ты это сделаешь, не упустишь случая укрепить и обессмертить великую славу, унаследованную тобой от предков. Поверь, отворив ворота этой крепости, ты сделаешь для Речи Посполитой больше, нежели присоединив к ней целую провинцию. Король убежден, что к этому побудит тебя и сердце, и редкая твоя мудрость, а потому приказывать не хочет – он лишь просит; отбросив угрозы, предлагает он дружбу; и не как властелин с вассалом, а как равный с равным желает вести переговоры.

Тут генерал Форгель с величайшим почтением, словно перед суверенным монархом, склонился перед паном старостой и умолк. В зале стало тихо. Все взгляды были прикованы к Замойскому.

А тот принялся, по обыкновению, ерзать в своем позолоченном кресле, выпятил губы, напыжился, наконец, растопырил локти, уперся ладонями в колени и, мотая головой, словно норовистый конь, так заговорил:

– Ну вот что! Я премного благодарен его шведскому величеству за высокое мнение о моем уме и любви моей к отечеству. И ничто не может мне быть милее, чем дружба со столь могущественным владыкой. Но, сдается мне, мы с тем же успехом могли бы любить друг друга, если б его шведское величество сидел у себя в Стокгольме, а я – у себя в Замостье, верно? Каждому свое, ему – Стокгольм, а Замостье – мне! Ну, а Речь Посполитая – что ж! Я и впрямь ее люблю, да только лучше всего, сдается мне, будет ей не тогда, когда шведы придут, а когда они прочь уберутся. Так-то! Что Замостье могло бы помочь его шведскому величеству одержать победу над Яном Казимиром – согласен, однако же нельзя забывать и про то, ваша милость, что присягал я не шведскому королю, а именно Яну Казимиру, потому желаю победы ему и Замостья не дам!

– Вот это политика! – взревел Заглоба.

В зале радостно загомонили, но староста хлопнул рукой по колену, и стало тихо.

Форгель смешался и какое-то время молчал, затем снова начал уговаривать: он и настаивал, и пригрозил слегка, и просил, и льстил. Патокой текла из уст его латынь, капли пота выступили у него на лбу, но все старания генерала были тщетны, в ответ на самые убедительные доводы, способные, казалось, поколебать стены, он слышал одно и то же:

– А я таки Замостья не дам, и баста!

Аудиенция не в меру затянулась, и чем дальше, тем трудней приходилось Форгелю, ибо в зале воцарилось всеобщее веселье. Поминутно то Заглоба, то еще кто-нибудь отпускал досадные остроты и шуточки, на что зал отвечал приглушенным смехом. Наконец Форгель понял, что ему остается прибегнуть к последнему средству: он развернул свиток с печатями, на который до сих пор никто не обращал внимания, встал и громко, торжественно провозгласил:

– Если ворота будут открыты, пресветлейший государь, – тут снова последовал длинный перечень титулов, – пожалует нашей княжеской милости Люблинское воеводство в наследственное владение.

Услышав это, все остолбенели, остолбенел и сам староста. Форгель уже обводил зал торжествующим взором, как вдруг среди гробовой тишины Заглоба, стоявший за спиной у Замоиского, произнес по-польски:

– А ты, пан староста, взамен пожалуй шведскому королю Нидерланды!

Тот, не долго думая, подбоченился и гаркнул на весь зал по-латыни:

– А я жалую его шведскому величеству Нидерланды!

Зал разразился гомерическим хохотом. Тряслись животы и пояса на животах; одни били в ладоши, другие шатались, точно пьяные, иные чуть не падали на соседей – и хохотали без удержу. Форгель побледнел. Он грозно сдвинул брови, но выжидал, сверкая глазами и гордо подняв голову. Наконец, когда раскаты смеха утихли, он коротко, прерывистым голосом спросил:

– Это ваше последнее слово?

В ответ пан староста подкрутил усы.

– Нет! – сказал он, тоже гордо поднимая голову. – У меня есть еще пушки на стенах!

Переговоры были окончены.

Часа два спустя загремели пушки на шведских шанцах, и тотчас из Замостья последовали ответные залпы. Крепость окуталась огромной тучей дыма, в которой поминутно вспыхивали молнии и раздавался страшный грохот. Вскоре огонь тяжелых крепостных кулеврин пересилил шведскую артиллерию. Шведские ядра падали в ров либо отскакивали от мощных бастионов; к вечеру неприятель вынужден был оставить свои передовые шанцы, – крепостная артиллерия осыпала их таким градом снарядов, что выдержать было невозможно. В ярости шведский король приказал поджечь все окрестные деревни и местечки, и ночью вокруг Замостья запылало сплошное море огня. Однако старосту это ничуть не обескуражило.

– Ладно! – сказал он. – Пусть жгут! Мы-то под крышей, а вот им в скором времени несладко придется.

И до того он был весел и доволен собой, что в тот же день закатил роскошный пир и бражничал до поздней ночи. Пировали под музыку, и громкие звуки оркестра, заглушая грохот пушек, доносились до шведов на самых дальних шанцах.

Но и шведы показали выдержку и палили по крепости всю ночь. На следующий день подошло еще два десятка пушек, и, едва втащив их на валы, шведы тут же пустили в дело и эти пушки. Король, правду сказать, не надеялся разрушить стены, он лишь хотел дать понять старосте, что осада будет упорная и беспощадная. Он хотел запугать врага, но ошибся в расчете. Староста ничуть не испугался и, часто поднимаясь на стены во время самого сильного обстрела, говорил:

– И чего они порох попусту тратят?

Володыёвский и другие офицеры просились на вылазку, но староста не разрешил, опасаясь напрасного кровопролития. Он понимал, что скорее всего дело кончилось бы открытой схваткой, ибо такую армию, как шведская, и такого полководца, как шведский король, не легко застать врасплох. Заглоба же, уверившись, что староста тверд в своем решении, тем настойчивее рвался в бой, клянясь, что сам поведет отряд.

– Слишком уж ты, пан Заглоба, до крови жаден, – отвечал ему пан Себепан. – Нам хорошо, шведам плохо, чего же мы к ним пойдём? Еще, чего доброго, убьют тебя, где я тогда возьму такого советчика, – ведь это твоим словцом насчет Нидерландов я Форгеля оконфузил.

Заглоба сказал, что ему просто невмочь сидеть на месте, – руки чешутся скорее взяться за шведов, – однако вынужден был подчиниться.

За неимением иных дел, он все свое время проводил на стенах, среди ратников, с важностью поучая и наставляя их. Они слушали его с большим уважением, ибо видели в нем бывалого воина, одного из лучших в Речи Посполитой, а Заглоба радовался от души, глядя на мощные укрепления и на отвагу рыцарей.

– Нет, пан Михал, – говорил он Володыёвскому, – иной дух царит ныне среди шляхты, да и во всей Речи Посполитой, иные настали времена. Никто уже не

помышляет об измене, никто не хочет жить под шведами, каждый готов за короля, за Речь Посполитую скорее жизнь отдать, чем уступить врагу хоть пядь польской земли. А помнишь, всего год назад только, бывало, и слышишь: тот изменил, этот изменил, тот запросил у шведов пардону, а ныне самим шведам пардону просить приходится, и если им черт не поможет, то скоро они сами полетят ко всем чертям. У нас-то животы набиты, хоть барабанить впору, а у них с голодухи кишка кишке кукиш кажет.

Заглоба был прав. Шведская армия не запаслась провиантом, и для восемнадцати тысяч человек, не говоря о лошадях, достать его было неоткуда, ибо пан староста еще до прихода врага забрал весь фураж и продовольствие из всех своих окрестных поместий. А в более отдаленных округах было полным-полно партизан-конфедератов и мужицких ватаг, и выйти из лагеря на поиски провианта значило обречь себя на верную смерть.

К тому же Чарнецкий не пошел за Вислу и опять рыскал вокруг шведской армии, точно хищный зверь вокруг овчарни. Снова начались тревоги по ночам, снова стали пропадать без вести небольшие отряды. Близ Красника появились какие-то польские войска, которые отрезали шведам путь к Висле. И наконец пришло сообщение, что Павел Сапега с сильной литовской армией движется с севера, что по дороге он уничтожил гарнизон в Люблине, взял город и спешно идет к Замостью.

Старый Виттенберг, самый опытный среди шведских военачальников, понимал весь ужас положения и открыто предостерег короля.

– Ваше величество, – сказал он, – я знаю, что ваш гений способен творить чудеса, однако говоря попросту, по-человечески – нам угрожает голод, а истощенная армия натиска не выдержит, неприятель перебьет нас всех до единого.

– Захвати я эту крепость, в два месяца закончил бы войну! – возразил король.

– Такую крепость и в год не одолеть.

В глубине души король признавал правоту старого воина, только не хотел признаваться, что и сам не видит выхода, что гений его бессилен. Но он все еще рассчитывал на счастливый случай и, надеясь его приблизить, приказал день и ночь обстреливать крепость.

– Я должен сбить с них спесь, тогда они охотней и на переговоры пойдут, – говорил он.

Продержав Замостье несколько дней под таким обстрелом, что за дымом света белого не видать было, он снова послал Форгеля в крепость.

– Король и государь мой, – сказал генерал, представ перед старостой, – полагает, что ущерб, причиненный Замостью нашими пушками, смягчит ваш надменный нрав и склонит вашу княжескую милость к переговорам.

А Замойский на это:

– Да, есть ущерб, есть... Как не быть! Осколком ядра свинью на рынке убило. Постреляйте еще неделю – глядишь, и вторую убьете...

Форгель передал его ответ королю. Вечером в королевском шатре снова держали

совет, а утром шведы начали укладывать на телеги шатры и скатывать с валов пушки... Ночью снялось все войско.

Замостье палило им вслед из всех орудий, а когда они скрылись из виду, из южных ворот вышли две хоругви – Шемберко и лауданская – и поскакали следом.

Шведы двигались на юг. Правда, Виттенберг советовал возвратиться в Варшаву и всячески пытался убедить короля, что это единственный путь к спасению, но шведский Александр твердо решил преследовать польского Дария до крайних пределов польской земли.

#### ГЛАВА IV

Весна в том году была с причудами: на севере Речи Посполитой уже стояли снега, вскрылись реки и земля утопала в мартовском половодье, меж тем как на юге леса, поля и воды все еще стыли под ледяным зимним ветром, веявшим с гор. В лесах лежали сугробы, лошадиные копыта звонко цокали по обледеневшим дорогам, погода стояла сухая, с красными закатами и звездными морозными ночами. Хлебопашцы, хозяева плодородных суглинков, черноземов и росчистей Малой Польши радовались поздним холодам, ибо, говорили они, мороз истребит полевых мышей и шведов. Долго медлила весна, зато потом нагрянула внезапно, словно кирасирская хоругвь, атакующая врага. Жаркое солнце вмиг растопило ледяной панцирь. Из венгерских степей подул сильный и теплый ветер, согревая луга, поля и боры. Вскоре между блестящими лужами на полях зачернелась земля, на поймах зазеленела трава, а деревья в лесу, увешанные тающими сосульками, роняли обильные слезы.

По безоблачному небу целыми днями тянулись стаи журавлей, диких уток, чирков и гусей. Прилетели аисты и стали вить гнезда на тех же крышах, что и в прошлом году, ласточки суетились под каждой застрехой; над деревнями, над лесами и озерами стоял неумолчный птичий гомон, а по вечерам громко квакали лягушки, блаженствуя в теплых лужах.

А потом зарядили проливные, теплые дожди и шли днем и ночью не переставая. Поля уподобились озерам, реки разлились, затопили все броды, дороги покрылись вязкой, глубокой грязью и обратились в «места непроходны».

Вот по этим-то водам, болотам и топям шведское войско брело все дальше к югу. Но как же мало эта беспорядочная толпа, схожая с гонимым на убой стадом, напоминала ту блестящую армию, что под командованием Виттенберга вторглась некогда в пределы Великой Польши. Голод поставил свою лиловую печать на лицах старых закаленных воинов, они походили теперь скорее на призраков, нежели на людей; усталые, подавленные, измученные бессонными ночами, они шли, зная, что в конце пути их ждет не хлеб, но голод, не сон, но битва, и если суждено им обрести покой, то лишь покой смерти.

Закованные в железо скелеты всадников сидели на конских скелетах. Пехотинцы едва волочили ноги, едва могли удержать в дрожащих руках копия и мушкеты. День проходил за днем, а они все шли вперед. Ломались повозки, пушки увязали в топях, шведы двигались так медленно, что иногда за целый день едва одолевали милю. Словно воронье на падаль, накинулись на солдат болезни, одни тряслись в лихорадке, другие, ослабев, просто ложились наземь, предпочитая умереть, только бы не идти дальше.

Но шведский Александр по-прежнему преследовал польского Дария.

Однако и его преследовали тоже. Подобно шакалам, что бегут ночью вслед за раненым буйволом, поджидая, когда он свалится, а он уже знает, что смерть близка, уже слышит позади вой голодной стаи, – так за шведом следовали отряды шляхты и мужиков, подступая к врагу все ближе, все смелей нападая и кусая его.

И наконец появился самый страшный преследователь, Чарнецкий. Он пошел за шведами по пятам, и стоило их тыловым дозорам обернуться, они неизменно видели всадников – иногда далеко на горизонте, иногда шагах в пятистах, иногда на расстоянии двух мушкетных выстрелов, а иной раз, когда Чарнецкий нападал, – совсем рядом.

Шведы жаждали битвы. Они в отчаянии молили о ней бога, покровителя воинов, но Чарнецкий боя не принимал: он выжидал своего часа, а пока норовил куснуть, как шакал, или пускал на них, словно соколов на диких уток, небольшие отряды.

Так шли они друг за другом. Однако порой киевский каштелян обходил шведов с фланга, становился у них на пути и делал вид, будто собирается дать генеральное сражение. Тотчас по всему шведскому лагерю начинали радостно петь трубы, и – о, чудо! – казалось, новые силы, новый дух вливается в измученных скандинавов. Больные, измокшие, обессиленные, похожие на воскресших мертвецов, они готовились к бою с пылающими лицами, с огнем в очах. Их руки, налившись вдруг железной силой, твердо сжимали копья и мушкеты, их глотки, внезапно окрепнув, издавали оглушительный боевой клич, и, забыв о слабости и болезнях, они устремлялись вперед, одержимые единым желанием – схватиться вплотную с врагом.

Чарнецкий ударял раз, ударял другой, но, едва в бой вступали пушки, он отводил войска в сторону, и шведы, напрасно потратив силы, оставались ни с чем, обманутые и разочарованные. Зато если пушки запаздывали и можно было пустить в дело сабли и пики, тут Чарнецкий с быстротой молнии налетал на врага, зная, что в рукопашной схватке шведская конница не устоит даже перед волонтерами.

И снова Виттенберг просил короля отступить, не губить себя и войско, но тот лишь сжимал губы и, сверкая очами, указывал перстом на юг, в степи, где ждала его победа над Яном Казимиром, где войско его найдет отдых, пищу, корм для коней и богатую добычу.

В довершение всех бед польские полки, еще служившие Карлу, единственные, которые могли теперь хоть как-то противостоять Чарнецкому, стали покидать шведов. Первым «поблагодарил» за службу пан Зброжек, которого до сих пор удерживали при Карле не жажда обогащения, но слепая привязанность к своей хоругви и солдатское чувство долга. Благодарность его выразилась в том, что он напал на драгун Миллера, перебил половину полка и ушел. Его примеру последовал Калинин, пройдясь по шведской пехоте. А Сапега мрачнел с каждым днем, все над чем-то раздумывал, что-то замышлял. Сам он еще оставался при Карле, но из его полка, что ни день, убегали люди.

Карл Густав держал путь на Нароль, Цешанов и Олещицы, стремясь добраться до Сана. Он все надеялся, что Ян Казимир выступит ему навстречу и даст сражение. Еще и теперь победа могла поправить положение шведов и изменить их судьбу. И как раз в это время разнеслись слухи, что польский король вышел из Львова со своим войском и татарами. Но Карл обманулся в своих надеждах, ибо Ян Казимир, желая объединить все свои силы, ждал, пока подойдет Сапега с его литвинами. Выжидание было Яну Казимиру лучшим союзником, – ведь его силы умножались, а силы Карла таяли с каждым днем.



– Не войско это идет, не армия, а похоронное шествие, – говорили старые воины в лагере Яна Казимира.

То же думали и многие шведские офицеры.

Сам король все еще твердил, что идет на Львов, но он обманывал и себя, и свое войско. Не на Львов нужно было ему идти, а думать о собственном спасении. Да и никто толком не знал, там ли Ян Казимир, он ведь мог отойти куда угодно, хоть под самое Подолье, и увлечь за собой неприятеля в далекие степи, где шведов ждала неминуемая гибель.

Дуглас пошел под Перемышль попробовать, нельзя ли взять хоть эту крепость, но воротился ни с чем и даже с потерями. Катастрофа надвигалась медленно, но неотвратно. Все слухи, доходившие до шведского лагеря, только подтверждали приближение катастрофы, а слухи эти множились с каждым днем, один другого ужаснее.

– Сапега идет, он уже в Томашове! – говорили сегодня.

– С Предгорья идет Любомирский с войском и горцы с ним! – говорили на другой день.

А еще днем позже:

– Король ведет польское войско и сто тысяч татар! Он уже соединился с Сапегой!

Были среди этих сведений и ложные и преувеличенные, но все они сулили шведам близкое поражение и гибель, повергая их в смятение. Армия пала духом. Прежде, бывало, стоило Карлу появиться перед своими солдатами, армия неизменно приветствовала его громкими кликами, в которых звучала вера в победу. Теперь полки стояли перед ним глухие и безмолвные. Зато сидя у костров, голодные и смертельно усталые, солдаты чаще говорили о Чарнецком, нежели о собственном короле. Чарнецкий мерещился им повсюду. И удивительное дело! Если случались дни, когда никто не погибал и не пропадал без вести, если несколько ночей проходило спокойно, без криков: «Алла!» и «Бей, убивай!» – тревога шведов лишь возрастала.

– Чарнецкий притих. Бог знает, что он задумал! – повторяли солдаты.

Карл задержался на несколько дней в Ярославе, размышляя, что делать дальше. Тем временем всех больных, которых в лагере было множество, посадили в баржи и по реке отправили в Сандомир, ближайший укрепленный город, бывший еще под шведами. Едва с этим было покончено, разнесся слух, что Ян Казимир выступил из Львова, и шведский король решил выяснить, где же он находится на самом деле.

С этой целью полковник Каннеберг с тысячей всадников перешел Сан и двинулся на восток.

– Быть может, ты держишь в руках исход войны и все наши судьбы, – сказал ему на прощание король.

Многое зависело от этого похода. На худой конец Каннеберг должен был раздобыть для армии провиант; но если б ему повезло, если б удалось выведать точно, где находится Ян Казимир, шведский король намеревался немедля двинуть на польского Дария все свои силы, разбить его войска, а даст бог, так и самого его захватить.

Поэтому Каннебергу дали самых лучших солдат и лошадей. Отбирали особенно тщательно, потому что полковник не брал с собой ни пехоты, ни пушек и его людям предстояло с саблей в руках драться с польской конницей.

Двадцатого марта тронулись в путь. Когда отряд переправлялся через Сан, у моста толпились солдаты и офицеры, напутствуя уходящих:

– Да поможет вам бог! Да пошлет он вам победу и счастливое возвращение!

Отряд растянулся длинной змеей, ибо целая тысяча всадников должна была по двое в ряд пройти по только что построенному мосту, один прогон которого, еще не законченный, был наспех покрыт для них досками.

Лица у солдат сияли – сегодня они наелись до отвала. У других отняли, а их накормили, да еще водки налили в манерки. И теперь они, покачиваясь в седлах, весело кричали товарищам, толпившимся у предмостного укрепления:

– Мы вам самого Чарнецкого на аркане приведем!

Глупцы! Они не знали, что идут, как волы, на бойню.

Все, как нарочно, складывалось, чтобы их погубить. Едва они прошли, саперы тут же разобрали временный настил, намереваясь построить более прочные перекрытия, по которым могли бы пройти пушки. А всадники, напевая, повернули к Великим Очам, раз-другой блеснули на солнце их шлемы, а затем они скрылись в густом бору.

Проехали полмили – ничего! Кругом тихо, лесная чаща словно вымерла. Они остановились, дали отдых коням, потом медленно двинулись дальше. Наконец отряд добрался до Великих Очей, но и там не застал ни единой живой души.

Это безлюдье удивило Каннеберга.

– Видно, здесь нас ждали, – сказал он майору Свено, – но Чарнецкого, должно быть, поблизости нет, раз он не устроил нам ловушки.

– Прикажете возвращаться, ваше превосходительство? – спросил Свено.

– Нет, мы пойдем вперед, хотя бы нам пришлось идти до самого Львова, да и не так уж он далеко. Мы должны поймать языка и привезти королю точные сведения о Яне Казимире.

– А если мы встретим на пути превосходящие силы противника?

– Таким солдатам, как наши, нечего бояться этого сброда, что у них зовется народным ополчением, даже если их будет несколько тысяч.

– Но мы можем наскочить и на регулярные войска Ведь пушек у нас нет, а без пушек с ними не справиться.

– Тогда мы вовремя отступим и донесем королю о неприятеле. Тех же, кто преградит нам путь, уничтожим.

– Я ночи боюсь! – сказал Свено.

– Примем все меры предосторожности. Пищи для людей и коней хватит у нас на два дня, так что торопиться нечего.

Углубившись в лес за Великими Очами, отряд двигался гораздо осторожнее, чем прежде. Полсотни всадников Каннеберг выслали в дозор. Они ехали, держа мушкеты наготове, и зорко смотрели по сторонам, вглядываясь в кусты, в заросли, часто сдерживали коней и прислушивались; время от времени они сворачивали в сторону, прочесывали придорожную чащобу, но ни на дороге, ни около нее никого не было.

Лишь час спустя двое передовых рейтар, обогнув крутой поворот, заметили шагах в четырехстах перед собой всадника.

День выдался ясный, солнце ярко светило, и всадник был виден как на ладони. Это был небольшого роста солдатик, одетый нарядно и на чужеземный лад. Маленьким он казался особенно потому, что конь под ним был рослый, видно, очень породистый, буланый бахмат.

Всадник ехал тихо, не торопясь, словно не замечая идущего следом войска. Весенняя вода прорыла на дороге глубокие канавы, в них шумели мутные ручьи. Перед канавами всадник вскидывал коня, тот перепрыгивал их с легкостью оленя и снова шел рысцой, помахивая головой и весело фыркая.

Рейтары остановились и стали ждать вахмистра. Тот подъехал, посмотрел и сказал:

– Сукин сын, не иначе как поляк.

– Окликнуть его? – спросил один из рейтар.

– Я тебе окликну! А если он не один? Гони за полковником!

Тем временем подъехал и весь дозор. Солдаты остановились: маленький рыцарь остановился также и повернул коня, словно желая преградить им путь.

Некоторое время они смотрели на него, а он на них.

– Э, да вон и второй! Второй, третий, четвертый – да их тут до черта! – раздались вдруг крики в рядах шведов.

И действительно, справа и слева на дорогу повалили всадника, сначала по одному, а потом по двое, по трою. И все становились около первого.

Тут как раз подоспел Свено со вторым дозором, а потом и весь отряд вместе с Каннебергом. Каннеберг и Свено сразу выехали вперед.

– Я узнаю их! – сказал Свено, едва взглянув на всадников. – Это люди из той хоругви, что первой атаковала графа Вальдемара под Голомбом. Это люди Чарнецкого. Значит, он и сам здесь!

Слова его поразили всех; в шведских рядах воцарилась глубокая тишина, лишь кони позвякивали мундштуками.

– Носом чую какой-то подвох, – продолжал Свено, – слишком их мало, чтоб напасть на нас, остальные, должно быть, прячутся в лесу. Ваше превосходительство,

вернемся! – воскликнул он, обращаясь к Каннебергу.

– Отличный совет, нечего сказать, – ответил, нахмурившись, полковник, – стоило выезжать, чтобы обратиться в бегство при виде десятка-другого оборванцев! Тогда уж бежали бы сразу, как только первый появился!.. Вперед!

Первая шеренга шведов в полном боевом порядке тотчас выступила вперед, за ней – вторая, третья, четвертая. Расстояние между противниками стало сокращаться.

– Пли! – скомандовал Каннеберг.

Шведские мушкеты все, как один, вытянули вперед свои железные шеи, целясь в польских всадников.

Но не успел грянуть залп, как поляки повернули коней и беспорядочной гурьбой помчались прочь.

– Вперед! – крикнул Каннеберг.

Рейтары с места рванули вскачь, даже земля загудела под тяжелыми конскими копытами.

Лес огласился криками преследователей и беглецов. То ли шведские кони были резвее, то ли польские уже притомились, но только через четверть часа расстояние между ними стало уменьшаться.

Но одновременно происходило нечто странное. Поляки продолжали удирать, однако это бегство, столь беспорядочное вначале, постепенно становилось все более согласным, казалось, сама скачка вынуждала всадников выравнивать строй. Это заметил Свено; он пришпорил коня, подъехал к Каннебергу и закричал:

– Ваше превосходительство! Это наверняка не партизаны, это регулярное войско! Они нарочно заманивают нас в засаду.

– Засада так засада, там тоже не черти, а люди! – крикнул в ответ Каннеберг.

Дорога слегка поднималась в гору и становилась все шире; лес редел, и за опушкой уже виднелось голое поле, вернее, огромная поляна, окруженная со всех сторон густым сумрачным бором.

Тут польские всадники прибавили ходу, и сразу стало ясно, что до сих пор они умышленно сдерживали коней; теперь отряд мгновенно оторвался от преследователей, и шведский полководец понял, что нагнать его не удастся. Видя, что польская хоругвь вот-вот доскачет до противоположной опушки, меж тем как сам он едва достиг середины поляны, Каннеберг натянул поводья и дал команду замедлить шаг.

Но что это? Вместо того, чтобы снова исчезнуть в лесу, польский отряд описал на другом краю поляны огромный полукруг и галопом понесся неприятелю навстречу, совершив этот маневр столь безупречно, что даже шведы не могли не изумиться.

– Ты прав! – крикнул Каннеберг майору. – Это регулярные войска! Повернули, как на ученье. Чего им надо, тысяча чертей!

– Они идут на нас! – ответил Свено.

Поляки сменили галоп на рысь. Маленький рыцарь на буланом бахмате что-то кричал, выносился вперед, потом снова придерживал коня и саблей подавал какие-то знаки, – видимо, это был командир.

– Да, атакуют, – промолвил Каннеберг с изумлением.

А те уже неслись во весь опор, кони, прижав уши, стлались над самой землей, едва не касаясь ее брюхом, всадники пригнулись в седлах, спрятали лица в конских гривах, так что их и не видно было. Первая шеренга шведов увидела лишь сотни оскаленных конских морд и горящих глаз. Быстрее ветра мчалась на них эта хоругвь.

– С нами бог! За Швецию! Огонь! – скомандовал Каннеберг и взмахнул шпагой.

Грянул мушкетный залп. Но в ту же минуту польская хоругвь влетела прямо в дым, разметала в стороны первые ряды и, словно клин в расщепленное дерево, врезалась в самую гущу шведов. Все закружилось в ужасающем вихре, латы гремели о латы, сабля о саблю, лязг металла, конское ржанье, вопли умирающих разбудили лесное эхо, и звуки битвы отдавались по всему бору, как раскаты грома в горных ущельях.

В первую минуту шведы растерялись, к тому же и полегло их от первого удара немало, однако, быстро опомнившись, они стали наседать на поляков с медвежьей силой. Их фланги сомкнулись, а поскольку польская хоругвь и без того рвалась вперед, стремясь расколоть строй противника насквозь, шведы вскоре окружили ее со всех сторон. Середина шведских рядов отступала под натиском поляков; зато с флангов они теснили их все сильнее, хотя и не могли рассеять, ибо польская конница отбивалась яростно, с тем несравненным искусством, которое делало ее столь страшной в рукопашном бою. Сабли скрещивались с рапирами, тела бойцов густо усеивали поле, и вот уже победа начала было склоняться на сторону шведов, как вдруг из темной пасти леса выскочила еще одна польская хоругвь и с криком понеслась на врага.

Весь шведский правый фланг по команде Свено повернулся лицом к новому противнику, в котором опытные шведские солдаты сразу распознали гусар.

Их вел человек на могучем белом, в яблоках, копе, одетый в бурку и рысью шапку, украшенную пером цапли. Он был прекрасно виден, так как ехал сбоку, немного отступив от отряда.

– Чарнецкий! Чарнецкий! – раздались возгласы в шведских рядах.

Свено в отчаянии обратил взор к небу, сжал коленями бока коня и вместе с рейтарами двинулся вперед.

Десятка два шагов Чарнецкий проскакал вместе с отрядом, затем гусары пустили коней во весь опор, а сам он поворотил назад.

И тут из леса вышла третья хоругвь; Чарнецкий подскакал к ней и тоже проводил немного; за третьей – четвертая, он и ее проводил; каждой он указывал булавой, куда ударить, точь-в-точь как хозяин, который расставляет по полю жнецов и распределяет меж ними работу.

Наконец, когда показалась пятая хоругвь, он сам возглавил ее и повел в бой.

Меж тем гусары уже отбросили назад правое крыло и спустя мгновение раскололи его пополам; остальные три хоругви, подскакав, обступили растерявшихся шведов по-татарски со всех сторон и с неистовыми криками принялись рубить врага саблями, колоть пиками, вышибать из седел, топтать копытами, пока наконец среди воплей и кровопролития не обратили его в бегство.

Каннеберг понял, что попал в ловушку, сам подвел свой отряд прямо под нож; он уже не думал о победе, – лишь хотел спасти хоть часть своих людей, – и дал сигнал к отступлению. Шведы во весь дух помчались к той самой дороге, по которой шли от Великих Очей, а солдаты Чарнецкого гнались за ними по пятам, так что шведы чувствовали на спинах дыхание польских коней.

Не помня себя от ужаса, рейтары отступали в полном беспорядке, лучшие кони вырывались вперед, и вскоре весь блестящий отряд Каннеберга превратился в нестройную толпу беглецов, которые почти даже не защищались от сыпавшихся на них ударов.

Чем дальше, тем беспорядочней становилась погоня, поляки тоже не соблюдали строя, каждый гнал коня во весь опор, нападавал на кого хотел.

Так они мчались, шведы с поляками вперемежку. Случалось, какой-нибудь гусар обгонял последнюю шеренгу шведов, и когда, привстав в стременах, он заносил саблю над скачущим впереди рейтаром, удар рапиры сзади пронзал его самого. Вся дорога была густо усеяна трупами шведов. Но погоня у Великих Очей не кончилась. И те и другие только перескочили из одного леса в другой, там измученные шведские кони начали спотыкаться, и кровавая резня закипела с новой силой.

Кое-кто из рейтар прыгивал с коня и скрывался в бору, но таких было немного: шведы знали, что в лесах их подкарауливают мужики, и предпочитали смерть в бою той мучительной казни, какая неминуемо ожидала бы их, попади они в руки разъяренных крестьян.

Иные просили пощады, но по большей части тщетно, – каждый предпочитал зарубить врага и мчаться дальше, так как, взяв пленника, пришлось бы стеречь его и тем самым отказаться от дальнейшей погони.

И поляки рубили врагов без милосердия, ни одному не дали уйти с поля. Впереди летел Володыёвский со своей лауданской хоругвью. Это он, первым показавшись шведам, заманил их в ловушку, он и ударил первым, а теперь, носясь на быстроногом скакуне, тешил вражьей кровью свою солдатскую душу, мстил за голомбское поражение. Одного за другим настигал он рейтар и гасил их жизни, как свечи; порой он гнался за двумя, за тремя, за четырьмя сразу, но погоня бывала недолгой, минута – и вот уже перед ним скакали лишь кони с пустыми седлами. Тщетно иной швед хватал свою рапиру за острие и обращал ее рукоятью к рыцарю, глазами и криком моля о пощаде, Володыёвский, даже не приостанавливаясь, вонзал ему саблю в то место, где шея соединяется с грудью, делал клинком легкое, почти незаметное движение – и швед, раскинув руки, шептал что-то побледневшими губами и погружался во мрак смерти. А Володыёвский, не оглядываясь больше, несея вперед, и новые жертвы, точно снопы, валились наземь.

Завидел страшного жнеца отважный Свено и, созвав десятка полтора самых отчаянных рейтар, решил ценою собственной жизни задержать погоню хоть на время и тем спасти других. Рейтары повернули коней, обратили к преследователям острия своих

рапир и ждали. Володыёвский, видя это, не заколебался ни на мгновение, он вскинул коня на дыбы и ринулся прямо на врага.

Те и глазом моргнуть не успели, как двое уже были выбиты из седел. Чуть не десять рапир устремилось к груди Володыёвского, но тут подскакали Скшетуские, Юзва Бутрым Безногий, Заглоба и Рох Ковальский, про которого Заглоба говорил, что, даже идучи в атаку, он дремлет, а просыпается лишь тогда, когда сшибается с неприятелем грудь о грудь.

Меж тем Володыёвский как молния скользнул под конское брюхо, и рапиры пронзили пустое пространство. Этому приему обучили его белгородские татары, и он благодаря малому росту и дьявольской ловкости владел им столь досконально, что мог в любой миг пропасть из глаз, скрывшись под брюхом коня либо за его загривком. Так поступил он и сейчас, и не успели изумленные рейтары сообразить, куда он делся, как он уже снова был в седле, грозный, как барс, который готовится прыгнуть с высокого дерева на свору перепуганных гончих.

А тут как раз и товарищи подоспели, сея смерть и замешательство. Один из рейтар уперся было пистолетом прямо в грудь пану Заглобе, но Рох Ковальский, который ехал справа и потому не мог пустить в ход саблю, мимоходом огрел рейтара кулаком по голове, и швед тотчас хлопнулся наземь, словно молнией выбитый из седла. Тогда Заглоба с радостным воплем рубанул саблей в висок самого Свено; у того повисли руки, и он упал ничком на шею своего коня. Остальные рейтары обратились в бегство, но Володыёвский, Юзва Безногий и двое Скшетуских погнались за ними и перебили всех, не дав им проскакать и ста шагов.

Погоня продолжалась. Шведские кони тяжело водили боками, спотыкались все чаще и чаще. И вот уже из тысячи отборных рейтар, что недавно выступили с Каннебергом в поход, оставалось едва ли двести всадников, прочие лежали в ряд вдоль всей лесной дороги. Но и эта последняя кучка уцелевших таяла с каждой минутой, ибо польские руки трудились над нею без усталости.

Наконец лес остался позади. На голубом небе четко обозначились башни Ярослава. Сердца преследуемых исполнились надежды, – ведь в Ярославе могучая шведская армия и сам король, сейчас он придет им на помощь.

Они забыли, что сразу же после их ухода настил в последнем пролете моста был разобран, с тем чтобы заменить его более прочным, пригодным для пушек.

То ли Чарнецкий узнал об этом от своих лазутчиков, то ли хотел особо досадить шведскому королю, добивая несчастных у него на глазах, во всяком случае, он не только не прекратил погони, но сам с хоругвью Шемберко вылетел вперед, сам рубил, сам своєю рукой сносил головы и при этом так нахлестывал коня, словно хотел, не останавливаясь, ворваться в Ярослав.

Наконец до моста осталось не более сотни шагов. Ратные клики донеслись до шведского лагеря. Шведские солдаты и офицеры толпой высыпали на берег поглядеть, что происходит за рекой. Увидели бегущих и тотчас узнали в них рейтар, которые утром вышли из лагеря.

– Отряд Каннеберга! Отряд Каннеберга! – закричали сотни голосов.

– Они разбиты! Меньше ста человек бежит!

В эту минуту подскакал сам король, а с ним Виттенберг, Форгель, Миллер и другие генералы.

Король побледнел.

– Каннеберг! – только и вымолвил он.

– Боже милосердный! Мост! – воскликнул Виттенберг. – Сейчас их всех перебьют!

Король посмотрел на вздувшуюся реку, которая с шумом катила свои желтые волны. Нечего было и думать о том, чтобы вплавь переправить людей на подмогу.

А те все приближались. Тут снова раздался многоголосый вопль:

– Идет королевский обоз с гвардейцами! Они тоже погибнут!

Так случилось, что в это же время из соседнего леса вышла часть королевского обоза в сопровождении сотни пеших гвардейцев. Увидев, что делается, гвардейцы со всех ног бросились к городу, полагая, что мост исправлен.

Но тут их заметили поляки, и тотчас около трехсот всадников во весь опор помчались к ним. Впереди всех, сверкая очами и размахивая саблями, скакал арендатор Вонсоши Редзян. До сих пор он не выказывал особого мужества, но при виде повозок, где, по всей вероятности, его ждала богатая добыча, сердце пана арендатора взыграло такой отвагой, что он далеко обогнал своих товарищей. Сопровождавшие обоз пехотинцы, видя, что им не уйти, выстроились квадратом, и сто мушкетов сразу устремилось в грудь Редзяну. Грянул залп, шеренги гвардейцев заволокло дымом, но, едва дым рассеялся, пан арендатор поднял коня на дыбы, так что передние копыта на мгновение повисли над головами рейтар, и ринулся прямо в середину квадрата.

Лавина всадников устремилась за ним.

И словно лошадь, загнанная волками, когда она, опрокинувшись на спину, отчаянно отбивается копытами, а они облепили ее всю и рвут на куски живое тело, – точно так же и обоз вместе с гвардейцами скрылся целиком в клубящейся массе коней и всадников. Лишь страшные крики вырывались из этой свалки и доносились до шведов, стоявших на другом берегу.

А поодаль, у самой реки, добивали последних рейтар Каннеберга. Шведская армия вся, как один человек, высыпала на высокий берег Сана. Пехотинцы, рейтары, артиллеристы стояли вперемешку и, словно в античном цирке, смотрели на это зрелище – но смотрели, стиснув зубы, с отчаянием в душе, в ужасе от сознания собственного бессилия. Порой из груди этих зрителей поневоле вырывался страшный крик, порой раздавалось громкое рыдание, и снова наступала тишина, лишь солдаты сопели, задыхаясь от ярости. Ведь эта тысяча рейтар Каннеберга была красой и гордостью всей шведской армии, все сплошь ветераны, покрытые славой бесчисленных сражений во всех концах земли. И вот теперь они, точно стадо обезумевших овец, металась по обширному лугу на том берегу и гибли, точно овцы под ножом мясника. И была это уже не битва, но бойня. Грозные польские всадники кружили по полю подобно вьюге и, крича на разные голоса, гонялись за рейтарами. Иногда гонялись впятером, а то и вдесятером за одним, иногда в одиночку. Случалось, настигнутый швед лишь пригибался в седле, подставляя врагу шею, случалось, принимал бой, но и в том и в другом случае погибал, ибо в рукопашном бою шведские солдаты не



могли соперничать с польской шляхтой, искусенной во всех тайнах фехтовального искусства.

Но самым страшным среди поляков был маленький рыцарь на буланом коне, быстром и легком, как сокол. Все шведское войско заметило его, ибо тот, за кем он погнался, кто стал на его пути, погибал неведомо как и когда, столь легки и неуловимы были движения, которыми валил он наземь самых могучих рейтар. Наконец, увидев самого Каннеберга, за которым гналось человек пятнадцать, он крикнул, приказывая им остановиться, и один бросился на полковника.

Шведы на другом берегу затаили дыхание. Сам король подъехал ближе к реке и смотрел с бьющимся сердцем, сменяемый попеременно тревогой и надеждой, ведь Каннеберг, знатный вельможа и родич короля, сызмальства обучался фехтовальному искусству у итальянских мастеров и в умении владеть холодным оружием не имел себе равных во всей шведской армии. Теперь все взоры были прикованы к нему, все стояли, боясь вздохнуть; он же, видя, что гонится за ним лишь один человек, и желая, коли уж потеряно войско, спасти хоть собственную славу в глазах короля, угрюмо сказал себе:

«Горе мне, загубившему свое войско! Одно мне осталось: смыть позор собственной кровью; а если спасу свою жизнь, то лишь победив этого страшного рыцаря. Иначе, даже если б господь своей рукой перенес меня на ту сторону, все равно я не посмел бы взглянуть в глаза ни одному шведу».

И с тем он повернул коня и помчался навстречу рыцарю в желтом.

Поскольку всадники, скакавшие от реки ему наперерез, свернули в сторону, у Каннеберга появилась надежда, что, сразив противника, он сможет добраться до берега и прыгнуть в воду, а там – будь что будет. Не удастся переплыть бурлящую реку, так по крайней мере его отнесет далеко вниз по течению, а там уж собратья как-нибудь помогут ему.

Молнией понесся он навстречу маленькому рыцарю, а маленький рыцарь к нему. Хотел было швед на скаку всадить рапиру по самую рукоять противнику под мышку, но сразу понял, что встретил равного себе соперника: его шпага лишь скользнула по острию польской сабли, лишь как-то странно дернулась, словно держащая ее рука внезапно онемела, и Каннеберг еле успел прикрыться от ответного удара; к счастью, в это мгновение кони разнесли их в разные стороны.

Оба описали круг и снова повернули друг к другу. Но теперь они сближались медленней, стремясь продлить схватку и хоть несколько раз скрестить клинки. Каннеберг весь подобрался и стал похож на птицу, которая выставила из встопорщенных перьев лишь могучий клюв. Он знал один верный выпад, перенятый им от некоего флорентийца, страшный своим коварством и почти неотразимый: острие рапиры, как будто направленное в грудь, обходило клинок противника сбоку и, пронзив горло, выходило через затылок. Этот прием он и решил теперь пустить в ход.

Уверенный в успехе, он приближался к противнику, все больше сдерживая коня, а пан Володыёвский (ибо, это был он) подъезжал к нему мелкой рысью. Сначала Володыёвский хотел было на татарский манер исчезнуть внезапно под конем, но перед ним был один-единственный противник, на него смотрели оба войска, и он, хоть и предчувствовал какой-то подвох, счел постыдным обороняться по-татарски, а не по-рыцарски. «Хочешь меня как цапля сокола проткнуть, – подумал он, – ну, так

я угощу тебя заверткой, которую еще в Лубнах придумал».

С этой мыслью, которая показалась ему самой удачной, он выпрямился в седле, поднял сабельку, и она мельницей завертелась в его руке, да с такой быстротой, что только свист разнесся в воздухе.

А на сабле заиграли лучи заходящего солнца, и казалось, рыцаря окружает радужный, переливчатый ореол. Он пришпорил коня и ринулся на Каннеберга.

Каннеберг еще больше съехался, почти слился с конем; в мгновение ока рапира скрестилась с саблей, и тут Каннеберг вдруг, как змея, высунул голову и нанес страшный удар.

Но в тот же миг засвистел ужасный ветряк, рапира дернулась в руке у шведа, острие проткнуло пустое пространство, а маленький рыцарь с быстротой молнии нанес Каннебергу удар по лицу; кривой конец его сабли рассек шведу нос, рот, подбородок, перешиб ключицу и застрял лишь на перевязи, украшавшей плечо Каннеберга.

Рапира выпала из рук несчастного, в глазах у него потемнело, но прежде, чем он свалился с коня, Володыёвский подхватил его под мышки.

Тысячеголосый вопль раздался на том берегу, а Заглоба подскакал к маленькому рыцарю и сказал:

– Я знал, что так будет, пан Михал, но готов был отомстить за тебя.

– Это был славный боец, – молвил Володыёвский. – Бери коня под уздцы, он благородных кровей.

– Эх, кабы не река, пойти бы с теми переведаваться! Да я бы первый...

Тут речь Заглобы была прервана свистом пуль, и он, не dokonчив, крикнул:

– Бежим, пан Михал, еще перестреляют нас эти предатели!

– Пули на излете, нас не заденут, – ответил Володыёвский.

Тем временем их окружили другие польские всадники. Они поздравляли Володыёвского, глядя на него с восхищением, а он только усиками пошевеливал, ибо также был весьма доволен собой.

На другом берегу, в шведском лагере, гудело, словно в улье. Артиллеристы поспешно выкатывали пушки, поэтому в польском отряде протрубили отступление. Заслышав сигнал, каждый поскакал к своей хоругви, и вскоре все стояли по местам. Полки двинулись было к лесу, потом снова приостановились, как бы освобождая неприятелю ратное поле и приглашая его перейти реку. Наконец перед строем показался всадник на белом, в яблоках, скакуне, в бурке и в шапке, украшенной пером цапли, с позолоченной булавой в руке. –

В лучах заходящего солнца было отчетливо видно, как он, словно на смотру, гарцевал перед полками.

Шведы сразу узнали его и стали кричать:

– Чарнецкий! Чарнецкий!

Он же о чем-то говорил с полковниками. Долше всего, положив ему руку на плечо, стоял Чарнецкий около рыцаря, который сразил Каннеберга; затем он поднял буздыган, и хоругви медленно, одна за другой, повернули к лесу.

А тут и солнце зашло. В Ярославле зазвонили колокола, поляки в ответ запели стройным хором «Ангел господень возвестил пречистой деве Марии» и с этой песней исчезли в лесу.

#### ГЛАВА V

В тот день шведы легли спать не евши и без всякой надежды подкрепиться чем-нибудь завтра. Голод терзал их, не давая уснуть. Едва пропели петухи, измученные солдаты по одному, по двое, по трое стали выскальзывать из лагеря и разбрелись на промысел по окрестным селам. Точно тати ночные, подкрадывались они к Радымно, к Канчуге, к Тычину, где надеялись найти себе пропитание. То, что Чарнецкий отделен был от них рекой, придавало им бодрости, но если б даже он успел переправиться на этот берег, смерть они предпочли бы голоду. Видно, далеко зашло разложение в шведском стане, если, невзирая на строжайший запрет короля, лагерь покинуло около полутора тысяч солдат.

Они принялись хозяйничать в округе, грабили, жгли, убивали, однако мало кому из них суждено было вернуться в лагерь. Чарнецкий, правда, был за рекой, но шляхетских и мужицких отрядов хватало и на этом берегу. Как на беду, самый сильный из них, отряд воинственной горской шляхты под командой Стшалковского, в эту самую ночь подошел к Прухнику. Завидев пожар и заслышав выстрелы, пан Стшалковский, не раздумывая, кинулся прямо в свалку и напал на грабителей. Шведы, забившись в проходы между плетнями, отчаянно сопротивлялись, но Стшалковский рассеял их и перебил всех до единого. В других деревушках то же сделали другие отряды, а затем, догоняя бегущих, они с громкими криками подскакали вплотную к шведскому лагерю, сея тревогу и замешательство; шведы, услышав возгласы по-татарски, по-валашски, по-венгерски и по-польски, решили, что Чарнецкому на подкрепление явилось целое войско, может, сам хан со своей ордой.

В шведском лагере начался беспорядок, более того, началось – вещь доселе небывалая – настоящее смятение, и офицерам лишь с величайшим трудом удалось его подавить. Но король, который всю ночь провел в седле, видел, что делается, и понял, к чему это может привести. В то же утро он созвал военный совет.

Невеселое было это совещание, и кончилось оно быстро, ибо выбирать было не из чего. Войско пало духом, солдаты голодали, а силы неприятеля все росли.

Шведскому Александру, который клялся на весь мир, что будет преследовать польского Дария вплоть до самых татарских степей, приходилось теперь думать не о преследовании, а о собственном спасении.

– Мы можем вдоль Сана вернуться в Сандомир, оттуда вдоль Вислы в Варшаву, а там и Пруссия недалеко, – сказал Виттенберг. – Тогда мы избежим гибели.

Дуглас схватился за голову.

– Столько «обед», столько трудов, завоевана такая огромная страна, и после всего

этого возвращаться ни с чем!

А Виттенберг ему на это:

– Вы видите иной выход, ваше превосходительство?

– Не вижу, – ответил тот.

Тогда король, все время хранивший молчание, встал, давая понять, что совет окончен.

– Приказываю отступить! – произнес он.

И больше в тот день не вымолвил ни слова.

Зарокотали барабаны, запели трубы. Весть о королевском приказе в мгновение ока разнеслась по лагерю. Солдаты встретили ее радостными криками. Ведь замки и крепости оставались еще в руках у шведов, там можно было рассчитывать на отдых, еду, безопасность.

Генералы и солдаты с таким пылом принялись готовиться к отходу, что, как заметил с горечью Дуглас, просто стыдно было смотреть.

Самого Дугласа король выслал в передовой дозор, чтобы тот наладил переправы и вырубил, где надо, лес. Вслед за ним в боевом порядке выступило войско; спереди его прикрывали пушки, сзади тянулся обоз, по бокам шла пехота. Военное снаряжение и шатры были отправлены по реке на судах.

Все эти меры предосторожности были отнюдь не лишними: едва снялись с места, как тотчас шведский арьергард заметил скачущих следом польских всадников и с этой минуты почти никогда не терял их из виду. Чарнецкий собрал все собственные хоругви, все окрестные отряды, попросил подкреплений у короля и двинулся за шведами по пятам.

Первая же ночевка в Пшеворске принесла первую тревогу. Польские отряды приблизились настолько, что пришлось бросить против них несколько тысяч пехоты, а также пушки. Сперва было король подумал, что Чарнецкий начал настоящее наступление, но тот, как обычно, лишь слал на него отряд за отрядом. Приблизившись к лагерю, поляки пугали шведов криками, а затем быстро убирались восвояси. Вся Ночь до утра прошла в подобного рода маневрах, всю ночь шведы не смыкали глаз.

И это предстояло им терпеть и впредь, каждый день и каждую ночь, пока длился их поход.

Тем временем Ян Казимир прислал Чарнецкому две отлично снаряженные конные хоругви, а затем и письмо, что вскоре выступят и гетманы с регулярным войском; сам король с остальной пехотой и татарами поспешит вслед за ними. Ему оставалось лишь завершить переговоры с ханом, Ракоци и цесарем. Вести эти необычайно обрадовали Чарнецкого, и наутро, когда шведы двинулись дальше, в междуречье Вислы и Сана, пан каштелян сказал полковнику Поляновскому:

– Невод заброшен, рыба идет в сети.

– А мы поступим, как тот рыбак, что играл рыбам на флейте, – подхватил Заглоба.  
– Видит рыбак, что рыбы не пляшут, взял да и вытащил их на берег; вот тут-то они заскакали, а он их лупит палкой да приговаривает: «Ах вы, такие-сякие! Надо было плясать, пока я просил».

А Чарнецкий в ответ:

– Погодите, они у нас попляшут, пусть только пан маршал Любомирский подойдет со своими пятью тысячами.

– А скоро ли? – спросил Володыевский.

– Сегодня приехало несколько шляхтичей с предгорья, – отозвался Заглоба, – говорят, что он спешит сюда кратчайшим путем, да только вот вопрос – захочет ли он соединиться с нами или станет воевать на свой страх и риск?

– Почему так? – спросил Чарнецкий, зорко глядя на Заглобу.

– Больно уж самолюбив и до славы жаден. Я с Любомирским знаком сто лет и был с ним близок. Познакомились мы при дворе краковского каштеляна Станислава, он тогда был еще совсем молодой и учился фехтованию у французов и итальянцев. Как-то раз я сказал ему, что все они бездельники и против меня ни один не устоит. Он страшно рассердился. Мы побились об заклад, и я тут же положил семерых, одного за другим. А потом я сам его обучал, и не только фехтованию, но и военному делу. Он, правда, туповат был малость, это у него от рождения, но чему научился – все от меня.

– Уж будто ты, ваша милость, такой искусник? – спросил Поляновский.

– Ехем! пан Володыевский, другой мой ученик, радость моя и гордость.

– Да, верно, ведь это ты, пан Заглоба, зарубил Свено.

– Свено? Тоже мне победа! Это доведись кому-нибудь из вас, так небось хватило бы рассказов на всю жизнь, еще и соседей бы созывали, чтоб за чаркою вина рассказать лишний раз, ну, а для меня это не велика важность: захоти я сосчитать, я такими, как Свено, мог бы вымостить дорогу отсюда до Сандомира. Что, правду я говорю? Скажите, кто меня знает!

– Правда, дядя, – подтвердил Рох Ковальский.

Этой части разговора Чарнецкий уже не слышал, глубоко задумавшись над словами Заглобы. Характер Любомирского был знаком и ему, и он не сомневался, что тот либо захочет навязать ему свою волю, либо сам станет воевать на свой страх и риск, невзирая на ущерб, какой это могло причинить Речи Посполитой.

Суровое лицо Чарнецкого помрачнело, и он начал крутить бороду.

– Эге! – шепнул Яну Скшетускому Заглоба, – что-то ему уже не по вкусу, нахохлился, как орел, того и гляди, заклюет.

Но тут Чарнецкий заговорил:

– Кто-то из вас должен поехать к пану Любомирскому и отвезти от меня письмо.

– Я с ним знаком и готов это сделать, – вызвался Ян Скшетуский.

– Ладно, – ответил Чарнецкий, – чем именитее, тем лучше...

Заглоба повернулся к Володыёвскому и прошептал:

– Гляди, уже и в нос говорить начал, видать, сильно не в духе.

Дело в том, что у Чарнецкого было серебряное нёбо; много лет назад, в битве под Бушей, пуля повредила ему гортань. С тех пор, стоило ему заволноваться, расстроиться или рассердиться, голос его начинал звучать резко и гнусаво.

Внезапно он обратился к Заглобе:

– А может, и ты, пан Заглоба, поедешь с паном Скшетуским?

– Охотно, – согласился старый рыцарь. – Уж чего я не добьюсь, того никто не добьется. Да и ехать к особе столь высокого рода пристойнее вдвоем.

Чарнецкий поджал губы, дернул себя за бороду и сказал как бы про себя:

– Высокого рода... высокого рода...

– Этого у пана Любомирского никто не отнимет, – заметил Заглоба. А Чарнецкий нахмурил брови:

– Высока одна лишь Речь Посполитая, и перед ней все мы равно ничтожны, а кто об этом позабыл, тому в пекле место!

Все умолкли, потрясенные силой его слов, и лишь спустя некоторое время Заглоба проговорил:

– Насчет Речи Посполитой верно сказано.

– Я вон тоже не откупом и не подкупом добыл себе славу и богатство, а в честном бою с врагами, – продолжал Чарнецкий, – прежде враги мой были казаки, что горло мне прострелили, а теперь шведы, и либо я их прикончу, либо сам погибну, и да поможет мне бог!

– И мы поможем, крови своей не пожалеем! – воскликнул Поляновский.

Какое-то время Чарнецкий предавался горьким мыслям о тщеславии маршала, которое грозило помешать делу спасения родины; наконец он успокоился и сказал:

– Ну, пора писать письмо. Прошу вас обоих следовать за мною.

Ян Скшетуский и Заглоба пошли за ним, а спустя полчаса оседлали коней и поскакали в Радымно, где, по слухам, остановился пан Любомирский со своим войском.

– Послушай, Ян, – сказал Заглоба, щупая сумку, в которой лежало письмо Чарнецкого, – сделай милость, позволь мне самому поговорить с паном маршалом.

– А ты, отец, и в самом деле знаком с ним и учил его фехтованию?

– Э... просто так было сказано, чтобы язык к зубам не присох, – это от долгого молчания бывает. И знать я его не знал, и учить не учил. Что я, другого дела себе не нашел бы, как быть медвежатником да учить пана маршала на задних лапах ходить? Не в том суть. Я не видя, по одним людским толкам насквозь его прознал и куда захочу, туда и оборочу. Тебя же прошу об одном: не говори, что у меня есть письмо от Чарнецкого, даже не упоминай о нем, пока я сам не отдам.

– Как? Не выполнить порученного мне дела? В жизни со мной такого не бывало и не будет! Хотя бы пан Чарнецкий и простил меня, не сделаю я этого ни за какие блага на свете!

– Тогда я возьму саблю и подрежу твоему коню сухожилия, чтобы ты за мной не поспел. Видал ты когда-нибудь, чтоб не вышло задуманное мною? Скажи сам? Плохо тебя выручала Заглобина хитрость? И пана Михала? И твою Еленку? Да и всех вас разве не я вызволил из рук Радзивилла? Говорю тебе, от этого письма будет больше дурного, чем хорошего, ибо пан каштелян писал его в таком волнении, что три пера сломал. Наконец, решим так: скажешь о нем, коли мой план сорвется; тогда, даю слово, я сам его отдам, но не раньше.

– Лишь бы отдать, а когда – все равно.

– Ну и хорошо! А теперь вперед, дорога перед нами неблизкая!

Они пришпорили коней и пустили их вскачь. Долго ехать им не пришлось, так как сторожевые отряды Любомирского миновали уже не только Радымно, но и Ярослав, а сам маршал стоял в Ярославе, на прежней квартире шведского короля.

Они приехали, когда маршал обедал в обществе своих старших офицеров. Однако, услышав о прибытии послов, чьи имена гремели в те дни по всей Речи Посполитой, Любомирский велел немедля их впустить.

Взоры присутствующих обратились к ним; с особенным восхищением и любопытством все смотрели на Скетуского, а маршал, любезно поздоровавшись с ними, первым делом спросил:

– Неужто предо мной тот славный рыцарь, что доставил королю письма из осажденного Збаража?

– Да, это я.

– Пошли мне бог побольше таких офицеров! Вот единственное, в чем я завидую пану Чарнецкому, хоть знаю, что и мои заслуги, сколь ни малы они, тоже не изгладятся из людской памяти.

– А я Заглоба! – громко произнес старый рыцарь, выступая вперед.

И окинул собравшихся горделивым взглядом, а маршал, стремившийся снискать всеобщее расположение, тотчас воскликнул:

– Кто же не знает мужа, который сразил Бурляя, вождя barbarorum[94], и взбунтовал Радзивилловы войска...

– И привел их пану Сапеге, а они, правду сказать, не его – меня выбрали полководцем, – добавил Заглоба.

– Как же это ты, милостивый пан, удостоясь столь высокой чести, отказался от нее и пошел на службу к Чарнецкому?

Заглоба незаметно подмигнул Скшетускому и ответил:

– Это ваш пример, ясновельможный пан маршал, учит меня, как и всю страну, отречься от личной выгоды и честолюбия ради общественного блага.

Любомирский покраснел от удовольствия, а Заглоба, подбодившись, продолжал:

– Пан Чарнецкий прислал нас поклониться вашей милости от его имени и от имени всего его войска и доложить о славной победе, которую с божьего соизволения мы одержали над Каннебергом.

– Мы уже слышали об этом, – довольно сухо отвечив маршал, в котором сразу шевельнулась зависть, – но поскольку перед нами очевидец, охотно послушаем еще раз.

Тут Заглоба принялся рассказывать, правда, несколько приукрашая истину, ибо силы Каннеберга в его рассказе разрослись до двух тысяч. Он не преминул упомянуть про Свено, про себя и про избиение рейтар на глазах у шведского короля, про обоз, который вместе с тремя сотнями гвардейцев попал в руки счастливых победителей, короче, по его словам выходило, что шведы понесли поражение, от которого им никогда не оправиться.

Все внимательно слушали его, слушал и пан маршал, но лицо его принимало все более мрачное и холодное выражение. Наконец он сказал:

– Пан Чарнецкий славный воин, не спорю, надеюсь только, что он не съест всех шведов сам, а и другим оставит хоть на закуску!

Заглоба ему на это:

– Ясновельможный пан маршал, эту победу одержал вовсе не Чарнецкий.

– А кто же?

– Любомирский!

Все чрезвычайно изумились. Маршал раскрыл рот, захлопал глазами и так воззрился на Заглобу, будто хотел спросить: «Да в своем ли ты, брат, уме?»

Но Заглоба ничуть не смутился, напротив, важно выпятил губы (это он перенял от Замойского) и продолжал:

– Я сам слышал, как пан Чарнецкий говорил перед строем: «То не наши сабли разят шведов, а имя Любомирского; едва, говорит, шведы прознали, что Любомирский близко, они так пали духом, что в каждом ратнике видят его солдата и идут под нож, точно овцы...»

Лицо маршала просветлело, словно озарилось лучами полуденного солнца.



– В самом деле? – вскричал он. – Неужто сам Чарнецкий это сказал?

– И это, и многое другое, только не знаю, прилично ли мне повторять, – ведь он говорил своим приближенным.

– Говори! Говори! Каждое слово Чарнецкого стоит того, чтобы его стократ повторить. Редкий он человек, я всегда это говорил.

Заглоба, прищурившись, смотрел на маршала и пробурчал в усы: «Крючок ты уже проглотил, уж я тебя подсеку».

– Что, что? – спросил Любомирский.

– Да я говорю, что войско кричало «виват» в вашу честь, словно самому королю. А в Пшеворске, где мы целую ночь тормозили шведов, наши хоругви, все, как одна, шли на приступ с кличем. «Любомирский! Любомирский!» – и куда лучше это приносило плоды, чем всякие «алла!» или «бей, убивай!». Вот вам и свидетель – пан Скшетуский, тоже отличный солдат, который ни разу в жизни не солгал.

Маршал невольно взглянул на Скшетуского; тот покраснел до ушей и пробормотал что-то невразумительное.

Тут офицеры принялись во весь голос расхваливать послов:

– Смотрите, как благородно поступил пан Чарнецкий, каких любезных рыцарей он прислал! Оба славные воины, а у одного просто мед из уст течет!

– Я всегда был уверен в дружеских чувствах пана Чарнецкого и ценил их, а теперь и подавно ради него готов на все! – воскликнул маршал с повлажневшим от удовольствия взором.

Тут Заглоба совсем распалился:

– Ясновельможный пан маршал! Можно ли не чтить тебя, можно ли не преклоняться перед тем, кто являет нам пример всех гражданских добродетелей, кто справедливостью своей подобен Аристиду, а мужеством – Сципионам?! Много книг прочел я на своем веку, многое видел, о многом размышлял, и душа моя исполнилась боли, ибо кого нашел я в Речи Посполитой? Опалинских, Радзеёвских да Радзивиллов, кои, превыше всего ставя спесь свою и честолюбие, готовы были в любую минуту ради выгоды предать отчизну. И я подумал: сгубили нашу бедную Речь Посполитую преступные сыны. Но кто утешил меня, кто вселил упование в мою скорбную душу? Пан Чарнецкий! «Нет, – сказал он, – не погибла отчизна, ибо у нее есть Любомирский. Те, говорит, думают лишь о себе, а у этого нет иных помыслов, иной заботы, как жертвовать ежечасно своим благом ради блага отечества; те жаждут быть на виду, а этот всегда в тени, подавая всем нам пример. Вот и теперь, говорит, приведя сюда свое могучее победоносное войско, хочет он, как я слышал, передать его под мое начало, жертвуя, в поучение другим, законным своим честолюбием ради отчизны. Поезжайте же, говорит, к нему и передайте, что я этой жертвы не приму, ведь он лучший военачальник, нежели я; ведь мы его не только своим военачальником, но и – да продлит господь дни нашему Яну Казимиру! – королем готовы избрать... и... изберем!..»

Тут Заглоба сам немного испугался, не хватил ли он лишку. И правда, после

выкрика «изберем!» наступила тишина; однако Любомирский был наверху блаженства; сперва он несколько побледнел, потом залился краской, потом снова побледнел и, наконец, тяжело дыша, ответил:

– Речь Посполитая всегда была, есть и будет свободна в своем выборе, на том от века зиждутся основы наших свобод. А я лишь раб и слуга ее, и бог мне свидетель, никогда даже в мыслях не возношусь на те высоты, на кои гражданину взирать не должно... Что касается войска... отдаю его под начало пану Чарнецкому. А для тех, кто, превыше всего ценя знатность своего рода, никому не желает подчиняться, да послужит это примером, как надлежит забывать о знатности *pro publico bono*. И потому я, Любомирский, хоть и сам неплохой полководец, однако ж иду добровольно под команду Чарнецкого, моля бога единственно о том, дабы он даровал нам победу над неприятелем.

– Римлянин! Отец отчизны! – вскричал Заглоба, хватая руку маршала и припадая к ней губами. Однако при этом старый плут ухитрился подмигнуть Скетускому.

Собрание разразилось восторженными кликами. Народу в зале все прибывало.

– Вина! – потребовал маршал.

И когда принесли кубки, первый тост поднял за здоровье короля, второй – за Чарнецкого, которого назвал «нашим вождем», и, наконец, за здоровье послов, Заглоба тоже не преминул провозгласить здравицу хозяину и привел всех в такой восторг, что пан маршал лично проводил послов до порога, а его офицеры – до самой городской заставы.

Едва лишь они остались одни, Заглоба тотчас загородил дорогу Скетускому, остановил коня и, подбоченившись, спросил:

– Ну, Ян, что скажешь?

– Черт подери! – ответил Скетуский. – Не доведись мне увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, никогда б не поверил, хоть бы мне ангел господень об этом рассказал.

А Заглоба ему на это:

– Ага, вот видишь! Могу поклясться, что Чарнецкий, самое большее, призывал Любомирского к совместным военным действиям. И знаешь, чего бы он добился? Любомирский пошел бы отдельно, потому что ежели в письме Чарнецкий заклинал его поступиться честолюбием из любви к отчизне (а я уверен, что именно так и есть), то пан маршал сразу бы надулся и сказал: «Уж не хочет ли он стать моим *praesceptor*'ом[95] и учить меня, как следует служить отчизне?» Знаю я их!.. К счастью, старый Заглоба взял дело в свои руки, поехал сам и не успел рта раскрыть, как Любомирский согласился не только воевать вместе, но и пойти под начало к Чарнецкому. Чарнецкий там изводится от тревоги, – уж я его поражаю... Ну что, Ян, умеет Заглоба обходиться с вельможными панами?

– Говорю тебе, я чуть не онемел от удивления.

– Знаю я их! Такому только покажи корону да краешек горностаевой мантии, и можешь гладить его хоть против шерсти, как борзого щенка, еще согнется и сам спину тебе подставит. Облизываться будет, что твой кот на сало. Даже у тех, кто

попорядочней, и то от жадности глаза на лоб вылезут, а уж попадись негодяй вроде князя воеводы виленского, тот и отчизну предаст, не задумается. Эх, людишки, людишки, до чего же суетное племя! Господи Иисусе, кабы дал ты мне столько тысяч, сколько сотворил охотников на эту корону, я и сам бы стал на нее претендовать... Что они, воображают, будто я хуже? Да чтоб им лопнуть от собственной спеси... Ничуть Заглоба не хуже Любомирского, только что богатства у него нету... Вот так-то, друг мой Ян... Ты думаешь, я ему и в самом деле руку поцеловал? Я свой собственный большой палец поцеловал, а его только носом клюнул... Его небось никто за всю жизнь так ловко не оставлял в дураках. Он у меня как масло размяк, Чарнецкий, теперь только бери да мажь... Пошли, господи, нашему королю долгую жизнь, но в случае выборов я скорее за себя подам голос, чем за Любомирского... Рох Ковальский подал бы за меня другой, а пан Михал перебил бы всех противников. Эх, брат, я бы сразу тебя сделал великим коронным гетманом, пана Михала – на место Сапеги, гетманом литовским... а Редзяна – подскарбием... Вот уж он бы поприжал жидов налогами! Ладно, это все вздор, главное, Любомирского я поймал на крючок, а удочку вложу Чарнецкому в руки. Мы пива наварим, а у шведов голова с похмелья заболит; кому спасибо сказать надо? То-то! О другом бы в хрониках писали, а мне не везет... Хорошо еще, коли Чарнецкий не фыркнет на старика, почему письма не отдал... Вот она, благодарность человеческая... Ну, да что там, мне не впервой... Иные пригрелись на тепленьких местечках, сидят, жиром, словно барсуки, обрастают, а ты, старый, трясись весь свой век на кляче... – И Заглоба махнул рукой. – Черт с ней, с людской благодарностью! Все одно помирать, так уж хоть послужи отчизне. Мне лучшая награда – крепкая дружба. Стоит мне сесть на коня – и с такими товарищами, как вы с Михалом, хоть на край света... Такова уж наша польская натура. Раз сел на коня – баста. Немец, француз, англичанин либо черномазый испанец, те чуть что – и за нож, а поляк, терпеливый от природы, многое снесет, долго такому вот шведу позволит измываться над собою, но когда уж не станет мочи, он так двинет по морде, что проклятый шведина три раза ногами накроется... Не перевелась еще удаль молодецкая в Речи Посполитой и, покуда не переведется, до тех пор и Речь Посполитая не погибнет. Намотай себе это на ус, Ян...

И долго еще разглагольствовал пан Заглоба, так как был весьма собой доволен, а в этих случаях он становился еще более разговорчив, чем обычно, так и сыпал мудрыми сентенциями.

## ГЛАВА VI

Чарнецкий и в самом деле даже надеяться не смел, чтобы коронный маршал пошел под его команду. Он желал лишь действовать заодно, но опасался, что и этого навряд ли добьется по причине непомерного тщеславия Любомирского. Надменный магнат уже не раз говорил своим офицерам, что предпочитает бить шведов собственными силами и, без сомнения, побьет их, а одержи он победу вместе с Чарнецким, вся слава Чарнецкому и достанется.

Опасения Любомирского имели под собой почву. Чарнецкий понимал это и был в сильном беспокойстве. Отправив из Пшеворска письмо, он теперь в десятый раз перечитывал копию, желая удостовериться, нет ли там чего-нибудь такого, что могло бы задеть обидчивого вельможу.

И сразу подосадовал на себя за некоторые выражения, а потом вообще стал жалеть, что написал это письмо. Мрачный, сидел он у себя на квартире и поминутно подходил к окну поглядеть, не возвращаются ли послы. Офицеры, видя в окне его озабоченное лицо, догадывались, что с ним происходит.

– Быть грозе, – сказал Поляновский Володыёвскому, – у каштеляна лицо пятнами пошло, а это дурной знак.

Дело в том, что лицо Чарнецкого было все изрыто оспой и в минуты большого волнения или тревоги покрывалось беловатыми и темными крапинами. Черты его были и без того резкие, брови грозно нахмурены на высоком лбу, нос крючком и пронзительный взор, когда же вдобавок лицо это покрывалось пятнами, Чарнецкий становился поистине страшен. В свое время казаки прозвали его рябой собакой, однако справедливее было бы сравнить его с рябым орлом; когда он в своей бурке с развевающимися, словно огромные крылья, полами вел солдат в атаку, сходство это бросалось в глаза и своим и врагам.

Он порождал страх как в тех, так и в других. Во времена казацких войн главари даже самых крупных ватаг теряли голову при встрече с Чарнецким. Сам Хмельницкий боялся его, а особенно советов, которые тот давал королю и которые действительно способствовали ужасному разгрому казаков под Берестечком. Но особенно возросла слава Чарнецкого позже, когда он, войдя в соглашение с татарами, бушевал, подобно пожару в степях, истреблял без жалости все очаги мятежа, штурмовал города, крепости, вихрем носясь из конца в конец по всей Украине.

И с тем же яростным упорством изводил он теперь шведов. «Чарнецкий не перебьет, а выкрадет у меня войско», – говорил Карл Густав. По Чарнецкому как раз надоело выкрадывать, – он полагал, что настало время бить. Однако ему не хватало пушек и пехоты, без которых невозможна была настоящая война, потому-то он и стремился так объединиться с Любомирским, у которого, правда, пушек тоже было немного, но зато была пехота, в которой служили горцы. Не слишком привычные к строю, они, однако; не раз уже побывали в бою, и, за неимением лучшего, их можно было выставить против великолепной пехоты Карла Густава.

Чарнецкий горел словно в лихорадке. Наконец, не в силах усидеть в комнате, он вышел на крыльцо и, заметив Володыёвского с Поляновским, спросил:

– Что, не видать послов?

– Знать, прились по сердцу хозяевам, – ответил Володыёвский.

– Они-то по сердцу, да я не по сердцу. Иначе маршал своих бы с ответом прислал.

– Пан каштелян, – сказал Поляновский, который был у вождя в большом фаворе, – стоит ли беспокоиться! Придет к нам пан маршал – хорошо! Не придет – будем по-старому воевать. Шведская кровь и так уже льется, а ведь известно, коль горшок прохудился, из него все и вытечет.

На это Чарнецкий ответил:

– Польская кровь тоже льется. Если они сейчас ускользнут, им удастся собраться с силами, подойдут к ним подкрепления из Пруссии – случай будет упущен.

И Чарнецкий гневно ударил кулаком по поле своей бурки. Но тут послышался конский топот и бас Заглобы, распевавшего песню:

Воет непогодушка,  
Ветер злой,  
Не страшно ли, девушка,

Вечером одной?  
Впусти меня, Касенька,  
Двери отвори,  
Погреемся, Касенька,  
До зари.

– Добрый знак! Веселые возвращаются! – вскричал Поляновский.

Тем временем послы, завидев каштеляна, соскочили с коней и, передав их вестовому, поспешили к крыльцу. На ходу Заглоба подкинул вверх шапку и, мастерски подражая голосу Любомирского, крикнул:

– Виват, пан Чарнецкий, наш вождь!

Каштелян поморщился и нетерпеливо спросил:

– Письмо привезли?

– Не письмо, – ответил Заглоба, – а кое-что получше. Пан маршал со всем войском добровольно идет под начало твоей милости.

Чарнецкий пронзительно посмотрел на него, затем повернулся к Скшетускому, словно желая сказать: «Говори ты, этот, видно, пьян!»

Заглоба и вправду был навеселе; но когда Скшетуский подтвердил его слова, на лице каштеляна отразилось изумление.

– Ступайте за мной, – приказал он. – Пан Поляновский, пан Володыёвский, прошу и вас.

Все вошли в комнату. Не успели сесть, как Чарнецкий спросил:

– Что он сказал на мое письмо?

– Ничего не сказал, – ответил Заглоба, – а почему – узнаете в конце моей реляции, теперь же *insipi am...*[96]

И он начал рассказывать, как все происходило, как он, Заглоба, склонил маршала к столь благоприятному решению. Чарнецкий смотрел на него с возрастающим изумлением; Поляновский хватался за голову, а пан Михал шевелил усиками.

– Не знал я тебя до сих пор, пан Заглоба, ей-богу, не знал! – воскликнул каштелян. – Просто ушам своим не верю!

– Меня давно прозвали Улиссом! – скромно отвечивал Заглоба.

– Где мое письмо?

– Вот, пожалуйста!

– Придется уж простить тебя, что не отдал. Вот это ловкач так ловкач! Канцлеру в пору у него поучиться, как переговоры вести! Ей-богу, будь я королем, послал бы я тебя в Царьград...

– Сразу бы сотня тысяч турок явилась нам на помощь, – воскликнул пан Михал.

И Заглоба на это:

– Не сотня, а две, не сойти мне с этого места!

– Неужто маршал ничего не заметил? – допытывался Чарнецкий.

– Он-то? Глотал все, что я ему в рот клал, словно рождественский гусь галушки, только кадыком двигал да глаза заводил. Я уж думал, сейчас лопнет от радости, что твоя шведская граната. Этого человека лестью в ад заманить можно!

– Главное, шведу, шведу покрепче насолить! Даст бог, так оно и будет! – ответил обрадованный Чарнецкий. – А ты, хоть и обвел пана маршала вокруг пальца, слишком-то над ним не насмехайся – другой на его месте и того бы не сделал. От него ведь многое зависит... Нам до самого Сандомира идти через владения Любомирских, и маршал одним своим словом может поднять всю округу, может приказать мужикам портить переправы, жечь мосты, укрывать продовольствие в лесу... Спасибо тебе за услугу, век помнить буду, но спасибо и пану маршалу, – он, думается мне, не из одной суетности так поступил. – Тут каштелян хлопнул в ладоши и крикнул оруженосцу: – Коня мне! Будем ковать железо, пока горячо. – Затем он обратился к полковникам: – А вы все следуйте за мной, чтоб свита была как можно пышнее.

– Мне тоже ехать? – спросил Заглоба.

– Ты возвел мост между мною и маршалом – ты первый и должен по нему проехать. Кстати, сдается мне, тебя там жалуют... Едем, едем, любезный друг, иначе я подумую, что ты хочешь бросить начатое на полдороге.

– Делать нечего! Придется только пояс затянуть потуже, а то брюхо растрясет... Ослабел я что-то, вот разве если чем подкрепиться?

– Чем же, например?

– Много я слышал о вашем меде, а отведать до сих пор не привелось, охота бы попробовать, чей лучше: каштелянский или маршальский?

– Что же, выпьем, по обычаю, посошок на дорогу, а вернемся, тогда уж попируем вволю... Да у себя на квартире тоже найдешь жбан-другой...

Каштелян приказал подать кубки, и они выпили в меру, для бодрости и хорошего расположения духа, после чего сели на коней и отправились в путь-дорогу.

Маршал принял Чарнецкого с распростертыми объятиями, угощал, поил, не отпускал от себя всю ночь, а наутро оба войска соединились и двинулись дальше под командованием Чарнецкого. Около Сенявы они снова напали на шведов, да так удачно, что полностью истребили их арьергард и вызвали замешательство во всей армии. Лишь на рассвете шведам удалось отогнать их огнем из пушек. Под Лежайском Чарнецкий прижал противника еще крепче. Дороги развезло от дождей и стаявшего снега, и несколько крупных шведских отрядов увязли в болоте. Все они попали полякам в руки. Положение шведов становилось все более отчаянным. Истощенные, полуживые от голода и бессонницы солдаты едва волочили ноги. Все больше их оставалось на дороге... Когда к ним подъезжали польские конники, многие уже не хотели ни есть, ни пить и лишь просили смерти. Иные просто ложились на кочки и

умирали, другие, уже ничего не сознавая, смотрели на приближающихся поляков с полным безразличием. Иноземцы, которых немало служило в рядах шведской армии, начали убегать и переходить к Чарнецкому. И только непреклонная воля Карла Густава еще поддерживала гаснущие силы его армии.

Ибо противник шел не только следом; множество безымянных партизанских отрядов, шляхетских и крестьянских, непрестанно преграждали путь шведским полкам. Отряды эти были невелики, действовали неслаженно и в настоящей бой не вступали, но докучали шведам немилосердно. Стремясь создать впечатление, будто татары уже прибыли им на подмогу, все польские войска испускали татарский боевой клич, и вокруг днем и ночью раздавалось неумолчное «алла, алла!». Не было шведам ни минуты отдыха, ни на минуту не мог солдат выпустить оружие из рук. Случалось, человек пятнадцать – двадцать партизан поднимали на ноги всю вражескую армию. Кони падали десятками, и их тут же съедали, так как доставлять провиант стало невозможно. Время от времени польские всадники находили страшно изуродованные шведские трупы и тотчас догадывались, что тут приложили руку мужики. Большая часть деревень в междуречье Сана и Вислы принадлежала Любомирскому и его родне. Все тамошние крестьяне поднялись на шведа, как один человек, ибо пан маршал, жертвуя своим состоянием, объявил, что отпустит на волю каждого, кто возьмется за оружие. Едва весть об этом разнеслась по его владениям, все косы превратились в пики и мужики стали тащить в лагерь вражеские головы, пока пан маршал не запретил этот нехристианский обычай.

Тогда они стали приносить рукавицы и рейтарские шпоры. Доведенные до полного отчаяния, шведы сдирали кожу с тех, кто попадал к ним в руки, и война с каждым днем делалась все ожесточеннее. Немногих поляков, еще служивших им, шведы удерживали чуть не силой. По дороге к Лежайску многие из них сбежали, а оставшиеся так буянили на каждом постое, что Карл Густав сразу по прибытии в Лежайск приказал расстрелять нескольких человек. Это явилось сигналом к всеобщему бегству, поляки пустили в ход сабли и ушли. Не остался почти никто, а Чарнецкий, получив подкрепление, стал теснить шведов еще сильнее.

Любомирский помогал ему усердно и честно. Быть может, более благородные стороны его натуры, пусть ненадолго, взяли верх над спесью и самолюбием, и он, не щадя сил и живота своего, не раз самолично водил хоругви в бой, не давая врагу передышки, а так как воин он был хороший, то и подвигов свершил немало. Этими подвигами вкупе с позднейшими он наверняка оставил бы по себе славную память в народе, если бы не тот позорный мятеж, который он поднял в конце своего поприща, дабы воспрепятствовать реформам в Речи Посполитой.

Однако в то время он делал все, чтобы покрыть себя славой, и мантия славы украсила его. С ним соперничал пан Витовский, сандомирский каштелян; старый и опытный воин, он мечтал сравняться с самим Чарнецким, да не смог, ибо господь не дал ему величия.

Втроем они все сильнее изматывали врага. Под конец до того дошло, что рейтары и пехотинцы тыловых дозоров совсем ошалели от страха и впадали в панику из-за любого пустяка. Тогда Карл Густав решил всегда сам идти с арьергардом, дабы своим присутствием подбадривать павших духом.

И сразу же едва не поплатился за это жизнью. Случилось, что он в сопровождении блестящего лейб-гвардейского полка, где собран был цвет скандинавской нации, остановился в деревне Рудник. Пообедав у приходского священника, король решил немного отдохнуть, так как перед тем всю ночь не смыкал глаз. Лейб-гвардейцы

окружили дом, охраняя покой короля. Тем временем молоденький конюх ксендза тайком пробрался из деревни на выгон, вскочил на коня-трехлетка, который пасся там в табунке, и во весь опор поскакал к Чарнецкому.

Сам Чарнецкий в то время отстал от шведов на две мили, но передовой дозор его, один из полков князя Димитра Вишневецкого под командой поручика Шандаровского, находился всего в полумиле от Рудника. Пан Шандаровский разговаривал с Рохом Ковальским, который привез приказы от каштеляна, когда оба увидели скачущего к ним паренька.

– Вот гонит, дьявол! Да на каком жеребчике! – сказал Шандаровский. – Кто бы это был?

– Какой-то деревенский паренек, – ответил Ковальский.

Тем временем конюшонок подскакал прямо к отряду и остановился лишь тогда, когда конь, напуганный видом всадников, взвился на дыбы, зарывшись задними копытами в землю. Мальчонка соскочил наземь и, держа коня за гриву, поклонился рыцарям.

– Ну, что скажешь? – приблизившись, спросил Шандаровский.

– У нас шведы! У ксендза! Говорят, сам король среди них! – сказал паренек, сверкая глазами.

– А много их?

– Да человек двести, не больше.

Теперь засверкали глаза у Шандаровского. Но он боялся, не ловушка ли это, и, грозно посмотрев на паренька, спросил:

– Кто тебя прислал?

– Чего меня посылать! Сам взял трехлетка да поскакал, чуть вон не задохся и шапку обронил. Хорошо еще, они меня не заметили, собаки!

Загорелое лицо паренька дышало чистосердечием и неподдельной ненавистью к шведам; вцепившись рукой в гриву коня, он стоял перед офицерами с пылающими щеками, растрепанный, в распахнутой на груди рубахе и тяжело переводил дыхание.

– А остальное шведское войско где? – спросил хорунжий.

– Нынче на рассвете их тьма-тьмуца прошла, не сосчитать было, а теперь одни конники остались, а один у хозяина спит, толкуют – сам король.

Тогда Шандаровский сказал ему:

– Ну, брат, коли солгал – голова с плеч, а коли правду сказал – проси чего хочешь в награду.

Паренек низко ему поклонился.

– Правду я говорю, не сойти мне с этого места. А награды мне никакой не нужно, прикажите только, ясновельможный пан офицер, дать мне саблю.



– Эй, дайте ему там какую-нибудь сабельку поплоче! – распорядился Шандаровский, совершенно уже поверив рассказу молодого конюха.

Остальные офицеры стали расспрашивать у паренька, где дом священника, далеко ли деревня, что делают шведы, а он ответил:

– Стерегут, собачьи дети! Прямо идти нельзя, увидят, – я вас ольшаником проведу.

Тотчас был отдан приказ, и хоругвь рысью двинулась с места, потом перешла на галоп.

Парнишка трясся на своем неоседланном жеребчике впереди отряда. Он колотил коня босыми пятками и то и дело сияющими глазами поглядывал на обнаженную саблю.

Когда показалась деревня, он свернул в лозняк и повел отряд топкой дорогой к ольшанику. Здесь было настоящее болото, поэтому кони пошли медленней.

– Тс-с-с! – предупреждая произнес паренек. – Вот как ольшаник кончится, они будут направо, сажнях в ста.

Теперь отряд двигался совсем медленно, впрочем, не было бы и возможности двигаться быстрее, – дорога была так плоха, что тяжелые кавалерийские кони то и дело по колено проваливались в грязь. Наконец ольшаник начал редеть, и они выехали на опушку.

Перед ними, не далее как в трехстах шагах, раскинулся на пологом склоне холма обширный майдан, за ним дом ксендза, окруженный липами, между которыми выглядывали соломенные кровельки ульев, а на самом майдане стояло сотни две всадников в челнообразных шлемах и латах.

Великаны-гвардейцы на могучих, хотя и отощавших конях стояли в полной боевой готовности, одни с рапирами в руках, другие с упертыми в бедра мушкетами. Но все они глядели в другую сторону, на большак, полагая, что единственно оттуда и можно ожидать неприятеля. Великолепное голубое знамя с золотым львом развевалось над их головами.

Самый дом тоже окружен был стражниками, расставленными попарно. Двое часовых стояли лицом к ольшанику, но яркое солнце слепило глаза, а в ольшанике, уже покрывшемся буйной листвой, было почти темно, поэтому они и не могли заметить польских всадников.

В пылком Шандаровском кровь так и взыграла, однако он сдержал себя и стал ждать, пока отряд выровняет ряды; меж тем Рох Ковальский положил свою тяжелую руку на плечо конюшонка.

– Слышь, малец, – сказал он, – сам-то ты видел короля?

– Видел, вельможный пан! – тихо ответил паренек.

– Какой он с виду? Приметы у него какие?

– Черномордый, страсть, и на боку у него красные ленты прицеплены.

– А коня его ты узнал бы?

– Конь тоже вороной, с белой лысиной.

Тогда Рох сказал:

– Ну, парень, держись ко мне поближе – ты мне его покажешь.

– Ладно! А скоро ли ударим?

– Цыть!

Они замолкли, и пан Рох стал молиться пречистой деве, прося ниспослать ему встречу с Карлом и направить в бою его руку.

Какое-то время еще было тихо, и вдруг звонко фыркнул конь под Шандаровским. Один из стражников глянул, вскинулся в седле, словно подброшенный неведомой силой, и выпалил из пистолета.

– Алла! Алла! Бей, убивай! У-лю-лю! – загремело в ольшанике.

И, вырвавшись, точно молния, из темноты, хоругвь ударила на шведов.

Ударила с налету, – шведы не успели даже обернуться к ней лицом, – и закипела страшная сеча; сразу в ход пошли сабли и рапиры, ибо стрелять уже было некогда. В мгновение ока поляки прижали врагов к плетню, который с треском рухнул под напором лошадиных круп, и принялись рубить с такой яростью, что рейтары в замешательстве сбились в кучу. Дважды пытались они сомкнуть строй, и дважды поляки разрывали их ряды, пока не образовались две отдельные группы, которые быстро распались на еще меньшие и, наконец, рассыпались, как горох, подброшенный в воздух рукой сеятеля.

Внезапно послышались отчаянные крики:

– Король! Король! Спасайте короля!

Едва завязалась схватка, Карл Густав выскочил за порог, держа в каждой руке по пистолету, а в зубах обнаженную шпагу. Рейтар тотчас подал ему коня, который стоял наготове, король прыгнул в седло и, завернув за ближайший угол, помчался задами между лип и ульев, стремясь выйти из кольца схватки.

Подскакав к плетню, он поднял коня на дыбы, перемахнул на ту сторону и очутился среди рейтар, отбивавшихся от поляков, которые минуту назад обошли дом справа и за огородом наткнулись на шведов.

– За мной! – крикнул Карл Густав.

Свалив ударом шпаги польского всадника, который уже занес над ним саблю, он одним прыжком вырвался из кровавой свалки; за ним, прорвав польские ряды, во весь дух поскакали рейтары, – так олени, преследуемые сворой собак, скачут за своим вожакom.

Поляки, поворотив коней, бросились вдогонку. И те, и другие вылетели на большак, ведущий из Дудника в Боянов. Их заметили с майдана, где кипела главная битва, и

вот тут-то и раздались крики: «Король! Король! Спасайте короля!»

Но рейтарам на майдане, которых теснил Шандаровский, приходилось так туго, что они и сами-то не надеялись спастись, поэтому король поскакал прочь всего с десятью – двенадцатью всадниками, а за ним погналось чуть не тридцать поляков во главе с Рохом Ковальским.

Паренек, который должен был указать ему короля, затерялся где-то в гуще боя, но Рох и сам узнал Карла по пучку красных лент. Тут он решил, что настал его час, пригнулся в седле, вонзил в коня шпоры и вихрем понесся вперед.

Беглецы растянулись по широкой дороге, из последних сил нахлестывая коней, но легконогие польские скакуны вскоре стали настигать тяжеловесных шведских. Первого рейтара Рох догнал очень быстро. Привстав в стременах, чтоб получше размахнуться, он одним чудовищной силы ударом отрубил ему руку вместе с лопаткой и продолжал скакать вперед, не отрывая взгляда от короля.

Вскоре второй рейтар замелькал у него перед глазами, он вышиб из седла и второго; третьему развалил надвое шлем и голову, все на скаку, не останавливаясь, видя перед собой одного лишь короля. Меж тем шведские лошади начали спотыкаться и падать; тут же поляки тучей навалились на рейтар и в мгновение ока перебили всех.

Рох в эту схватку уже не ввязывался, опасаясь упустить короля; расстояние между ним и Карлом Густавом стало уменьшаться. Теперь их разделяло каких-нибудь полсотни шагов, и лишь два рейтара скакали за королем.

Стрела, пущенная кем-то из поляков, пропела над самым ухом пана Роха и воткнулась в спину скачущего впереди рейтара. Тот покачнувшись вправо, влево, потом выгнулся назад, заревел нечеловеческим голосом и свалился на землю.

Теперь между Рохом и королем оставался только один рейтар.

Но этот рейтар, желая, видно, спасти короля, вдруг круто повернул коня навстречу преследователю. Подобно пушечному ядру, налетел на него пан Рох, вышиб его из седла, а затем, испустив ужасающий вопль, словно разъяренный вепрь-одинец, ринулся вперед.

Быть может, король и схватился бы со своим преследователем и неминуемо бы погиб, но вслед за Рохом скакали другие, вокруг засвистели стрелы, любая из них могла ранить коня, и король, еще крепче вонзив шпоры в конские бока, приник лицом к гриве и летел, как ласточка, настигаемая ястребом.

А Рох своего коня уже не только шпорами колотил, но и саблей плашмя охаживал. И так они скакали друг за другом. Мимо мелькали деревья, камни, ветлы, ветер свистел в ушах. У короля свалилась с головы шляпа, потом он сам бросил наземь кошелек, в надежде, что неумолимый преследователь польстится на деньги и прекратит погоню; но Ковальский даже не взглянул на кошелек и все сильнее колотил коня, так что тот под конец стал стонать от натуги.

А Рох, видно, вовсе потерял голову, потому что принялся кричать во все горло, не то грозя, не то чуть ли не умоляя:

– Стой! Стой, ради всего святого! Тут королевский конь споткнулся на всем скаку,

и, лишь натянув изо всех сил поводья, король удержал его от падения. Рох взревел, как зубр. Расстояние, отделяющее его от короля, резко сократилось.

Через мгновение аргмак опять сбился с ноги, и пока король его выравнивал, Рох выиграл еще десяток шагов. Он уже откинулся в седле, готовясь нанести удар. Вид его был страшен... Глаза выкатились из орбит, под рыжеватыми усами блестели оскаленные зубы... Споткнись, королевский конь еще раз, и судьбы всей Речи Посполитой, судьбы Швеции и всей войны были бы решены. Но королевский аргмак снова прибавил ходу, а король обернулся, – блеснули дула двух пистолетов, – и дважды выстрелил.

Одна из пуль перебила колено бахмату Роха. Лошадь взвилась на дыбы, а затем рухнула на передние ноги и ткнулась мордой в землю.

Теперь король мог бы напасть на своего преследователя и пронзить его шпагой, но невдалеке уже скакали другие польские всадники, и он снова пригнулся в седле и полетел, словно стрела из татарского лука.

Рох выкарабкался из-под коня. Минуту он бессмысленно смотрел вслед беглецу, а потом зашатался, точно пьяный, сел на дороге и заревел, как медведь.

А король все отдалялся, отдалялся... Фигура всадника уменьшалась, таяла и, наконец, исчезла за темной стеной сосен.

Тут с криком и гиканьем подскакали Роховы товарищи. Их было человек пятнадцать, те, под кем не пали кони. Один держал кошелек короля, другой – шляпу с черными страусовыми перьями, которые были приколоты алмазной пряжкой. Подъехав, они закричали Роху:

– Это все твое, друг! Твоя законная добыча!

Иные допытывались:

– Да ты знаешь ли, за кем гнался? Знаешь, кого преследовал? Самого Carolus'a!

– Черт подери! Он небось никогда в жизни ни от кого так не удирал. Слава тебе, доблестный рыцарь!

– А сколько рейтар нащелкал, прежде чем за королем-то погнался!

– Эта сабля едва не спасла всю Речь Посполитую!

– Бери кошелек!

– Бери шляпу!

– Добрый был конь, да за эти сокровища ты себе десять таких купишь!

Рох остолбенело глядел на них; наконец он вскочил на ноги и заорал:

– Я – Ковальский, а это – пани Ковальская... Убирайтесь ко всем чертям!!

– Да он помешался! – закричали солдаты.

– Коня мне давайте! Я его еще догоню! – орал Рох.

Но товарищи взяли его под руки и, хоть он вырывался, повели назад по дороге, в деревню, успокаивая и утешая.

– Ну и нагнал же ты на него страху! – восторгались они. – Победоносный воин, покоритель стольких государств, городов, войск, а вон как улепетывал...

– Ха-ха! Будет он теперь знать, что такое польский рыцарь!

– Тошно ему будет в Речи Посполитой! Дождался и он лихой поры!

– Vivat, Рох Ковальский!

– Vivat! Vivat, храбрец над храбрцами, гордость всего войска!

И пошли в ход манерки с вином. Дали и Роху, он выпил до дна целую флягу и немного утешился.

Пока поляки преследовали короля на бояновской дороге, рейтары на майдане продолжали драться с мужеством, достойным этого прославленного полка. Хотя поляки, застигнув врага врасплох, быстро рассеяли его вначале, однако, сами же, окружив шведов тесным кольцом, заставили их сплотиться вокруг голубого знамени. Пощады не просил никто, – став конь к коню, плечо к плечу, рейтары так свирепо кололи и рубили рапирами, что победа, казалось, готова была склониться на шведскую сторону. Следовало либо вновь рассеять их, что было невозможно, так как польские всадники окружали их со всех сторон, либо перебить всех до единого. Эта мысль представлялась Шандаровскому наиболее удачной, и он непрерывно сжимал кольцо окружения, бросался на врагов, словно раненый кречет на стаю длинноклювых журавлей. Резня и свалка начались ужасающие. Сабли звенели о рапиры, рапиры ломались об эфесы сабель. Порой над дерущимися, словно дельфин над волнами, взвивался чей-нибудь конь и снова низвергался в пучину сражения. Крики прекратились, – слышно было лишь конское ржание, страшный лязг железа да хриплое, прерывистое дыханье людей. Какое-то неистовство овладело противниками. Дрались обломками сабель и рапир; сшибались, словно ястребы, хватали друг друга за волосы, за усы, впивались друг в друга зубами; те, что свалились с коней, но еще стояли на ногах, вспарывали ножами конские бока вместе с икрами всадников. Окутанные тучей пыли и паром, валившим от лошадей, охваченные диким исступленьем битвы, люди обращались в исполинов и наносили исполинской силы удары; их руки молотили, как палицы, их сабли сверкали, как молнии. Одним ударом, точно глиняные горшки, бойцы разбивали вдребезги стальные шлемы; проламывали черепа; отсекали руки вместе с мечами; рубились без передышки, без пощады, без милосердия. Ручьями потекла по майдану людская и лошадиная кровь.

Огромное голубое знамя еще реяло над горсткой шведов, но кольцо вокруг них сужалось с каждой минутой.

Подобно жнецам, что движутся по полю двумя встречными рядами, – рожь ложится под взмахами сверкающих серпов, а жнецы сходятся все ближе, – так сходились все тесней вокруг шведов поляки, и каждый уже видел кривые сабли товарищей, пробивающихся навстречу.

Шандаровский безумствовал. Он набрасывался на шведов, как изголодавшийся волк на мясо только что убитого коня, – и все же был один всадник, превосходивший его

неистовством. То был парнишка, конюшонок, который принес Шандаровскому известие о шведах, а теперь дрался вместе со всей хоругвью. Поповский жеребчик, до сих пор мирно разгуливавший по выгону, теперь стиснутый лошадьми и не в силах выбраться из свалки, ошалел точно так же, как и его всадник; прижав уши, он, с вышедшими из орбит глазами и взъерошенной гривой, так и пер напролом, кусался, лягался, а паренек махал во все стороны своей сабелькой, словно цепом, рубил, не примериваясь, сплеча; его светлый чуб слипся от крови, плечи и бедра были исколоты рапирами, все лицо иссечено, но эти раны только подхлестывали его. Он бился самозабвенно, как человек, уже не думающий о сохранении жизни и жаждущий лишь отомстить за свою гибель.

Тем временем отряд шведов таял, как снежный ком, на который ведрами льют кипяток. Наконец подле королевского знамени осталось не более двух десятков рейтар. Поляки облепили их со всех сторон, и они умирали в мрачном молчании, стиснув зубы; ни один не поднял рук, ни один не попросил пощады.

И вдруг в общем гуле раздались голоса:

– Знамя! Взять знамя!

Заслышав это, конюшонок кольнул своего жеребца клинком и молнией ринулся вперед, и пока горстка рейтар, охраняющих знамя, отбивалась от навалившихся на них польских всадников, паренек полоснул по лицу знаменосца, и тот, раскинув руки, уронил голову на конскую гриву.

Вместе с ним упало и голубое знамя.

Древко тут же подхватил, отчаянно вскрикнув, другой рейтар, но парнишка вцепился в полотнище, дернул, оторвал, скомкал, и прижимая комок обеими руками к груди, завопил истошным голосом:

– Мое, не отдам! Мое, не отдам!

Последние уцелевшие рейтары яростно набросились на него, один еще успел, проткнув знамя, поранить мальчонке шпагой плечо, но тут же пал под ударами польских сабель вместе со своими товарищами.

И сразу к парнишке протянулись десятка два окровавленных рук и столько же голосов закричали:

– Знамя, давай сюда знамя!

Шандаровский поспешил на выручку.

– Оставьте парня! Он на моих глазах захватил знамя, пусть же сам и отдаст его пану каштеляну.

– Едет каштелян, едет! – ответило ему множество голосов.

В самом деле, вдали запели трубы, и на дороге со стороны выгона показалась целая хоругвь, мчавшаяся галопом прямо к дому ксендза. Это были лауданцы; впереди ехал сам Чарнецкий. Подскакав ближе и видя, что все уже кончено, они сдержали коней; бойцы Шандаровского толпой повалили им навстречу.

К каштеляну подскакал Шандаровский доложить о победе, но от страшной усталости его била лихорадка, перехватывало дух, и голос то и дело прерывался.

– Сам король был тут... не знаю... ушел ли...

– Ушел! Ушел! – закричали свидетели погони.

– Взяли знамя!.. Убитых не счесть!

Чарнецкий, не сказав ни слова в ответ, направил коня к полю боя, являвшему собой ужасное и душераздирающее зрелище. Более двухсот польских и шведских трупов валялось вперемежку, один подле другого, а порой и один на другом... тут один мертвец схватил другого за волосы, там два трупа лежали, вцепившись друг в друга зубами и ногтями... Иные сплелись, словно в братском объятии, или уронили голову на грудь врагу. Многие лица были до того истоптаны, что в них не оставалось ничего человеческого. А кого пощадили копыта, те лежали с открытыми глазами, в которых застыли ужас, бешенство, ярость борьбы... Под копытами каштелянского коня чавкала земля, размокшая от крови, и ноги животного мигом окрасились ею выше бабок; запах крови и конского пота ел ноздри и спирал дыхание в груди.

Каштелян смотрел на эти мертвые тела, как хозяин смотрит на снопы пшеницы, наполняющие его овин. Лицо его светилось довольством. Молча объехал он усадьбу ксендза, взглянул на трупы, лежавшие за садом, и неторопливо возвратился к месту главной битвы.

– Славная работа, други, – промолвил он, – я вами доволен!

А они окровавленными руками подкинули вверх шапки.

– Vivat, Чарнецкий!

– Даст бог, скоро вновь сразимся!

Каштелян им в ответ:

– Пойдете в арьергард, на отдых. Пан Шандаровский, а кто захватил знамя?

– Конюшонка сюда! – закричал Шандаровский. – Где он?

Солдаты бросились искать и нашли паренька рядом с его израненным конем, который испускал последнее дыхание. Паренек сидел, привалясь к стене конюшни, и, казалось, тоже готов был отдать богу душу, однако знамя он по-прежнему обеими руками прижимал к груди.

Его подхватили под руки и подвели к каштеляну. Босой, растрепанный, с голой грудью, в изорванных в клочья рубахе и сермяге, с головы до пят забрызганный своей и вражеской кровью, он едва стоял на ногах, но глаза его все еще горели огнем. Чарнецкий изумился.

– Как? – вскричал он. – Это он добыл королевское знамя?

– Собственными руками и собственной кровью, – ответил Шандаровский. – И он же дал нам знать о шведах, а потом кинулся в самое пекло и такое выделявал, что меня самого и всех прочих superavit[97].

– Это правда! Чистейшая правда! – закричали вокруг.

– Как тебя зовут? – спросил паренька Чарнецкий.

– Михалко.

– А чей ты?

– Ксендза.

– Был ты ксендза, а теперь будешь свой собственный, – сказал ему каштелян.

Но последних слов Михалко уже не слышал; ослабев от ран и потери крови, он зашатался и упал головой на стремя каштеляна.

– Взять его и оказать всяческую заботу! Мое слово порукой, что первый же сейм признает его равным вам по положению, как уже сегодня он равен вам душой.

– Он достоин того, достоин! – закричала шляхта.

И Михалко положили на носилки и понесли в дом.

А Чарнецкий слушал дальнейшие донесения, теперь уж не от Шандаровского, а от свидетелей погони Рох за Карлом. Рассказ их чрезвычайно обрадовал каштеляна, он даже за голову хватался и хлопал себя по коленке, ибо понимал, что Карл наверняка падет духом после стольких злоключений.

Заглоба радовался не меньше и, подбоченившись, гордо говорил рыцарям:

– Нет, каков разбойник, а? Настигни он Карла, ни один черт не спас бы шведского короля! Моя кровь, ей-богу, моя кровь!

Заглоба к тому времени и сам свято уверовал, что Рох Ковальский его племянник.

Чарнецкий приказал разыскать молодого рыцаря, но найти его не смогли: со стыда и огорчения Рох залез в овин, зарылся в солому и уснул так крепко, что на следующий день ему пришлось догонять свою хоругвь. Но еще и теперь он был полон уныния и не смел показаться дяде на глаза. Тот сам отыскал его и принялся утешать:

– Не горюй, Рох! – говорил ему Заглоба. – Ты и так прославился необычайно, я сам слышал, как тебя пан каштелян расхваливал: «На вид, говорит, дурак дураком, до трех не сочтет, а смотри какой доблестный рыцарь оказался, украшение, говорит, всего нашего войска!»

– Это меня господь наказал, – молвил Рох, – за то, что я накануне напился и вечернюю молитву не прочел!

– А ты лучше не пробуй постигнуть волю божью, еще согрешишь ненароком. Силенка у тебя есть, вот и пользуйся, а умничать брось – сраму не оберешься.

– Да ведь я так близко был, что мне от его коня потом в нос ударило! Я б его до седла рассек! Вы уж, дядя, думаете, я вовсе без соображения.



На это Заглоба ответил:

– У всякой скотины свой разум есть. Отличный ты парень, Рох, и не раз еще меня порадуешь. Пошли тебе господь сыновей со столь же разумными кулаками!

– Этого мне не надобно! – возразил Рох. – Я – Ковальский, а вот моя пани Ковальская...

## ГЛАВА VII

После рудницких событий король, не мешкая, двинулся дальше, в междуречье Сана и Вислы, причем сам по-прежнему шел с арьергардом, ибо обладал не только полководческим гением, но и несравненной личной отвагой. Чарнецкий, Витовский и Любомирский шли за ним по пятам, загоняя его, как зверя, в ловушку. Многочисленные вольные ватаги и отряды не давали шведам покою ни днем, ни ночью, добывать провиант становилось все труднее, и измученное войско все более падало духом, ожидая неминуемой гибели.

Наконец шведы дошли до самого места слияния двух рек и тут вздохнули с облегчением. С одной стороны их защищала Висла, с другой – широко разлившийся по весне Сан. Третью сторону король укрепил высокими валами, на которые вкатили пушки.

Позиция эта была неприступна для неприятеля; одна беда: шведам грозила здесь голодная смерть. Но они и этого теперь не так опасались, надеясь, что из Кракова и других приречных крепостей коменданты пришлют им провиант по воде. Тут же под боком был Сандомир, где полковник Шинклер накопил значительные запасы продовольствия. Он не замедлил отослать их королю, и вот и шведы ели, пили, спали, а пробудившись, пели лютеранские псалмы, благодаря господа за спасение.

Но Чарнецкий готовил им новый удар.

Покуда в Сандомире сидят шведы, они всегда могут прийти на помощь королевскому войску, рассудил Чарнецкий и задумал захватить город вместе с замком, а шведов перебить.

– Славное мы зададим им представление, – говорил он на военном совете, – пусть полюбуются с того берега, как мы ворвемся в город, – через Вислу им все равно не перебраться; а когда мы захватим Сандомир, то и Вирцу из Кракова не дадим присылать им провиант.

Любомирский, Витовский и другие старые полководцы отговаривали Чарнецкого от этого намерения.

– Конечно, – говорили они, – хорошо было бы овладеть столь крупной крепостью, и немало бы мы могли попортить крови шведам, да ведь как ее возьмешь? Пехоты у нас нет, тяжелых пушек нет, не коннице же лезть на стены?

А Чарнецкий в ответ:

– А наши мужики, чем они плохи в пешем бою? Дайте мне тысячу-другую таких, как тот Михалко, я не то что Сандомир – Варшаву возьму!

И, не слушая больше ничьих советов, он переправился через Вислу. Едва слух об

этом прошел по округе, к нему сотнями повалили мужики, кто с косой, кто с пицалью, кто с мушкетом, – и все разом двинулись на Сандомир.

Неожиданно для шведов ворвались они в город, и на улицах закипела ужасная сеча. Шведы упорно отстреливались из каждого окна, с каждой крыши, но выдержать натиска не могли. Словно клопов, передавили их по домам и целиком очистили город. Шинклер с уцелевшими шведами схоронился в замке, но поляки стремительно ринулись за ними и пошли приступом на ворота и стены. Шинклер понял, что и в замке ему не удержаться. Тогда он собрал всех, кого только мог, погрузил на челны сколько мог амуниции и провианта и переправился к королю, который с другого берега взирал на побоище, не в силах помочь своим людям.

Замок был захвачен поляками.

Но хитрый швед, покидая его, подложил под стены и в погреба пороховые бочки с запаленными фитилями.

И, представ пред королем, Шинклер тотчас сообщил ему об этом, дабы хоть чем-нибудь порадовать монаршее сердце.

– Замок взлетит в воздух со всеми, кто там есть, – сказал он. – Может, и сам Чарнецкий сгинет.

– Когда так, то и я хочу посмотреть, как набожные поляки полетят на небо, – ответил король.

И остался со своими генералами на берегу.

Тем временем, несмотря на запрет Чарнецкого, который предчувствовал подвох, волонтеры и мужики разбежались по всему замку, отыскивая схоронившихся шведов и грабя, что под руку попадет. Трубы играли тревогу, призывая всех спрятаться в городе, но они то ли не слышали, то ли не хотели слышать.

Внезапно земля заколебалась у них под ногами, воздух содрогнулся от чудовищного грохота и гула, и гигантский огненный столб взвился к небу, увлекая за собой землю, стены, крыши, весь замок, а вместе с ним и тех, кто не успел спастись, – всего более пятисот человек.

Карл Густав чуть не заплясал от радости, а придворные льстецы тотчас начали повторять королевское словцо:

– На небо идут поляки! На небо! На небо!

Но их радость была преждевременна, ибо Сандомир все-таки остался у поляков и не мог теперь снабжать провиантом королевское войско, запертое в междуречье Сана и Вислы.

Чарнецкий разбил свой лагерь напротив шведского, на другом берегу Вислы, и караулил переправы.

А за Саном, в тылу у шведов, расположился со своими литвинами подоспевший к тому времени Сапега, великий гетман литовский и воевода виленский.

Таким образом, шведы, окруженные со всех сторон, были словно зажаты в клещи.

– Попал зверь в капкан, – толковали меж собой солдаты в обоих польских лагерях.

Ибо даже и новичку в ратном деле ясно было, что захватчики обречены на верную гибель, разве только вскоре прибудет им подкрепление и избавит их от осады.

Понимали это и шведы; по утрам их офицеры и солдаты выходили на берег Вислы и с отчаянием в душе и в глазах смотрели на грозную конницу Чарнецкого, темневшую на другом берегу.

Тогда они шли на берег Сана, – а там днем и ночью караулили Сапегины солдаты, готовые встретить их саблех и мушкетом.

О переправе, будь то через Сан, будь то через Вислу, пока оба войска стояли поблизости, шведам нечего было и думать. Единственное, что они могли бы еще сделать, это возвратиться назад, в Ярослав, той же самой дорогой, по которой пришли, но шведы знали, что по этой дороге ни один из них не дошел бы до Швеции.

И вот потянулись для них тягостные дни, сменяясь еще более тягостными ночами, полными тревог и непрерывного шума... Запасы продовольствия снова подходили к концу.

Тем временем Чарнецкий, оставив командование войском Любомирскому и взяв с собой лауданскую хоругвь, переправился через Вислу выше устья Сана, чтобы повидаться с Сапегой и договориться с ним о дальнейших военных действиях.

На сей раз в посредничестве Заглобы не было нужды; и Чарнецкий и Сапега любили отчизну больше собственной жизни и оба готовы были ради нее пожертвовать личными интересами и честолюбием

Гетман литовский не завидовал Чарнецкому, Чарнецкий не завидовал гетману, каждый от души почитал другого, и встретились они так, что иных старых солдат слеза прошибла от этой картины.

– Веселится наша Речь Посполитая, радуется любезная отчизна, когда сыновья ее, подобные этим, обнимают друг друга, – говорил Заглоба Володьёвскому и Скшетускому. – Наш Чарнецкий отчаянный рубака и сердцем чист, но и Сапежка душевный человек. Дай нам боже таких вождей побольше То-то бы шведов мороз по коже подрал, когда б они увидели, как наши вожди друг друга любят. Ведь они нас чем взяли? Нашими же панскими раздорами да склоками Силой-то им разве нас одолеть? А вот это другое дело! Душа радуется, глядя на такую встречу. И помяните мое слово – без вина не обойдется. Сапежка попировать страх как любит и с таким сотрапезником, как Чарнецкий, уж конечно, потешит душу.

– Слава богу! Близок конец наших бед! Слава богу! – повторял Ян Скшетуский.

– Смотри, не богохульствуй! – сказал ему на это Заглоба. – Ни одна беда не длится вечно, всякой приходит конец, в противном случае миром правил бы дьявол, а не господь наш Иисус, коего милосердие неисчерпаемо.

Тут разговор их прервался, так как в отдалении они увидели могучую фигуру Бабинича, возвышавшуюся над прочими. Володьёвский и Заглоба стали махать ему руками, но он так загляделся на Чарнецкого, что не сразу заметил их.

– Смотрите, – сказал Заглоба, – до чего отощал парень!

– Должно быть, неудача у него с князем Богуславом, – ответил Володыёвский, – а то бы он повеселей был.

– То-то что неудача. Ведь Богуслав сейчас вместе со Стенбоком осаждает Мальборк.

– Бог даст, ничего они не добьются!

– Да хоть бы и взяли Мальборк, – сказал Заглоба, – мы тем временем Carolum Gustavum captivabimus[98] и посмотрим тогда, обменяют они крепость на своего короля или нет!

– Смотрите! Бабинич к нам идет, – прервал их Скшетуский.

В самом деле, увидев друзей, Бабинич стал проталкиваться к ним сквозь толпу, размахивая шапкой и еще издали улыбаясь. Они приветствовали друг друга по-старому, как добрые знакомые и приятели.

– Ну, что слышно, братец? Что это за дело вышло у тебя с князем?

– Скверное дело вышло! Но сейчас не время рассказывать. Пора садиться за стол. Вы ведь останетесь у нас ночевать, приходите же после пира ко мне, в татарский стан. Шатер у меня просторный, вот и посидим, потолкуем за чаркою до утра.

– Вот это ты дело говоришь, с умной речью и спорить грех! – согласился Заглоба.

– Скажи нам только, отчего ты так исхудал?

– Да все он, Богуслав проклятый, опрокинул меня наземь вместе с конем и разбил, как глиняный горшок. С той поры я все кровью харкаю, в себя прийти не могу. Ну, ничего, еще и я с божьей помощью всю кровь из него выпущу. А сейчас идемте, вон пан Сапега с паном Чарнецким уже заспорили, каждый другого вперед пропускает. Значит, столы готовы. Милости просим от всей души, ведь и вы шведской юшки пролили немало.

– О моих подвигах пусть другие расскажут, а мне не след! – сказал Заглоба.

Тут вся толпа повалила на майдан, где меж шатров стояли пиршественные столы. Сапега принял Чарнецкого по-королевски. Стол, за который посадили каштеляна, был накрыт шведскими знаменами. Вино и мед лились рекой, и оба вождя под конец изрядно захмелели. Много было тут веселья, много шуток, здравиц, приветственных кликов. Погода стояла отличная, солнце пригревало на удивление, и лишь вечерний холод разогнал пирующих.

Кмициц со своими гостями пошел к татарам. Они уселись в его шатре на сундуках, доверху набитых различной добычей, и стали обсуждать поход Кмицица.

– Богуслав теперь под Мальборком, – говорил пан Анджей, – а иные говорят – у курфюрста, собирается с ним вместе идти на помощь королю.

– И отлично! Значит, встретимся! Вы, молодые, не можете с ним управиться, посмотрим, как управится старик! Много было у него противников, но такой, как Заглоба, ему еще не встречался. А теперь мы встретимся, разве только князь Януш в своем завещании велел ему Заглобу обходить подальше. Это тоже возможно.

– Курфюрст – хитрая лиса, – сказал Ян Скшетуский, – увидит, что дела Карла плохи, и сразу отречется от всех своих клятв и обещаний.

– А я говорю – нет, – возразил Заглоба. – Пруссак нас пуще всех ненавидит. Если слугу, что прежде гнул перед тобой спину и сдувал пылинки с твоего платья, переменчивая судьба поставит над тобой господином, он будет к тебе тем безжалостней, чем снисходительней был к нему ты.

– Это почему же? – спросил Володыёвский.

– Да потому, что он не забыл свою прежнюю рабскую службу и будет тебе за это мстить, даже если ты оказывал ему одни лишь благодеяния.

– Оставим это, – заметил Володыёвский. – Иной раз и собака хозяйскую руку кусает. Лучше пусть Бабинич расскажет нам свои приключения.

– Мы слушаем, – сказал Скшетуский.

Кмициц собрался с мыслями, глубоко вздохнул и стал рассказывать о том, как Сапега преследовал Богуслава, как он нанес князю поражение под Яновом и, наконец, как Богуслав, разбив в пух и прах татар, свалил его, Кмицица, наземь вместе с конем, а сам ушел цел и невредим.

– А ведь ты говорил, – прервал Кмицица Володыёвский, – что будешь его преследовать со своими татарами до самой Балтики...

– А не ты ли рассказывал мне, как в свое время, когда у сидящего тут меж нами Скшетуского Богун похитил возлюбленную, он не стал ни мстить Богуну, ни разыскивать, ибо отчизна нуждалась в его помощи? С кем поведешься, от того и наберешься, вот и я, раз я с вами повелся, хочу следовать вашему примеру.

– Да вознаградит тебя мать божья, как она вознаградила Скшетуского, – ответил Заглоба. – И все же я предпочел бы, чтоб твоя невеста была сейчас в пуще, а не в руках у Богуслава.

– Ничего! – вскричал Володыёвский. – Ты ее отвоюешь!

– Не только девушку мне предстоит завоевать, но и любовь ее и уважение ко мне.

– Одно придет вслед за другим, – молвил пан Михал, – даже если ты ее силой умыкнешь, как тогда... помнишь?

– Такого больше не будет!

Пан Анджей замолчал и стал тяжело вздыхать, а потом прибавил:

– Не только ее я себе не вернул, но еще и другую девицу Богуслав у меня отнял.

– Чистый турок, ей-богу! – вскричал Заглоба.

Пан Михал полюбопытствовал:

– Какую другую?

– Э, долго рассказывать, – ответил Кмициц. – Была одна девушка в Замостье, собою чудо как хороша, и староста калужский воспылал к ней нечистой страстью. Боясь сестры своей, княгини Вишневецкой, он не смел при ней преследовать девушку своими домогательствами. Вот пан староста и надумал отправить ее со мною, будто бы к Сапеге на Литву за наследством, а на самом деле хотел перехватить ее в полумиле от Замостья и поселить в каком-нибудь укромном местечке, где никто не помешает его замыслам. Все это стало мне известно. «Хочешь меня сводником сделать? – подумал я. – Ну, погоди!» Людей его я поколотил изрядно, а девицу в целости и сохранности доставил к Сапеге. Эх, друзья, скажу вам, и девушка! Мила, словно птаха лесная, и притом добродетельна... Ну, да я теперь уже иной человек, а мои товарищи... Упокой, господи, их души! Они давно уже сгнили в сырой земле!

– Кто же она такая? – спросил Заглоба.

– Девица знатного рода. Фрейлина княгини Вишневецкой. Когда-то она была помолвлена с литвином Подбипяткой, вы все его знали...

– Ануся Борзобогатая!!! – вскричал Володыёвский, вскакивая с места.

Заглоба тоже соскочил с груди войлочных попон.

– Пан Михал, успокойся!

Но Володыёвский кошкой метнулся к Кмицицу.

– И ты, предатель, позволил Богуславу ее похитить?

– Не обижай меня! – ответил Кмициц. – Я благополучно отвез ее к гетману и пекся о ней, словно о сестре, а Богуслав похитил ее не у меня, а у другого офицера, с которым Сапега отослал ее к своим родным. Звали его Гловбич, что ли, точно сейчас не упомяну.

– Где он?

– Нет его, убит. Так мне сказали Сапегины офицеры. Сам я с моими татарами преследовал Богуслава отдельно от Сапеги и поэтому толком ничего не знаю. Но твоё волнение говорит мне, что нас с тобой постигла одна участь, один и тот же человек причинил обиду и тебе и мне. Так давай же соединимся, дабы мстить ему вместе. Пусть он знатный вельможа и могучий воин, а все же, думается, тесно ему станет в Речи Посполитой, коли будет у него два таких врага, как мы.

– Вот тебе моя рука! – ответил Володыёвский. – Теперь мы друзья до гроба! Кто из нас первый его отыщет, тот ему заплатит за обоих. Эх, кабы мне посчастливилось первому – уж я бы из него крови выпустил, как бог свят!

Тут пан Михал начал ужасно шевелить усиками и хвататься за саблю, так что Заглобу даже страх пробрал, – он-то знал, что с паном Михалом шутки плохи.

– Не хотел бы я теперь быть на месте князя Богуслава, – сказал он, – даже если б мне в придачу к титулу целую Лифляндию пожаловали. Был у него один противник, Кмициц, настоящий барс – а теперь еще и Михал! Но слушайте! Это еще не все! Я тоже с вами foedus[99] заключаю. Голова моя – сабли ваши! Найдется ли среди сильных мира сего такой, что не задрожит перед подобной силой? Рано или поздно,

но господь от него отвратится, ибо невозможно, чтоб такого изменника и еретика не постигла божья кара... Вон Кмициц ему уже порядочно крови попортил.

– Не стану спорить, случилось и мне насолить Богуславу, – ответил пан Анджей. И, велев наполнить кубки, он рассказал, как освободил из плена Сороку. Умолчал он лишь о том, как вначале упал Радзивиллу в ноги, – от одного этого воспоминания кровь бросилась ему в голову.

Пан Михал от души веселился, слушая его, а под конец сказал:

– Помоги тебе бог, Ендрек! С таким смельчаком хоть к черту в пекло! Только вот беда: не сможем мы с тобой всегда вместе драться, служба есть служба. Меня могут послать в одну сторону Речи Посполитой, тебя в другую. И неизвестно, кто первый его встретит.

Помолчав немного, Кмициц ответил:

– По справедливости, он должен был бы достаться мне. Только бы мне снова не осрамиться, ибо... стыдно сказать, но в рукопашном бою этот негодяй искуснее меня.

– Так я обучу тебя всем своим приемам! – воскликнул Володыёвский.

– Или я! – вызвался Заглоба.

– Нет, уж ты меня, пан Заглоба, прости, но я лучше поучусь у Михала! – ответил Кмициц.

– Какой он там ни есть славный да непобедимый, а мы вот с пани Ковальской все равно его не боимся, дайте только выпасться! – вмешался Рох.

– Тихо, Рох, – сказал ему Заглоба, – смотри, как бы господь его рукою не покарал тебя за бахвальство.

– Э, ничего мне не будет!

Бедный пан Рох оказался, к несчастью, плохим пророком, но в ту минуту у него изрядно шумело в голове, и он готов был вызвать на поединок весь мир. Остальные тоже пили крепко – себе на радость, Богуславу и шведам на погибель.

– Слышал я, – говорил Кмициц, – что, покончив со шведами здесь и захватив короля, мы немедля двинемся к Варшаве. А там, должно быть, и войне конец. Ну, а тогда уж возьмемся за курфюрста.

– Эге! – промолвил Заглоба.

– Вот что говорил однажды сам Сапега, а ведь ему, большому человеку, виднее. Он сказал так: «Будет у нас перемирие со шведами, с москвитями оно уже заключено, но с курфюрстом – никаких переговоров! Чарнецкий, говорит, вместе с Любомирским пойдут в княжество Бранденбургское, а я с паном подскарбием литовским – в Пруссию, и уж если, говорит, мы не присоединим ее на вечные времена к Речи Посполитой, то разве потому только, что не найдется в нашей канцелярии ни одной такой головы, как пан Заглоба, который от собственного своего имени писал курфюрсту грозные письма».

– Неужто Сапезка так прямо и сказал? – спросил Заглоба, покраснев от удовольствия.

– Все это слышали. А я так особенно радовался, потому что это и по Богуславу ударит, и уж тогда ему не миновать наших рук, если только мы не настигнем его раньше.

– Лишь бы нам со шведами поскорее разделаться, – сказал Заглоба. – Черт с ними! Пусть отдадут Лифляндию да денег побольше заплатят, а сами, так и быть, пусть убираются подобру-поздорову.

– Думал мужик – медведя поймал, ан тот его самого держит, – смеясь, ответил Ян Скшетуский. – Карл покамест еще в Польше; Краков, Варшава, Познань и все крупные города в его руках, а ты, отец, уже требуешь от него выкупа. Эх, биться нам еще и биться, прежде чем мы сможем взяться за курфюрста.

– Да еще армия Стенбока, да гарнизоны, да Вирц! – добавил Станислав.

– Так чего мы тут сидим сложа руки? – спросил вдруг Рох, выпучив глаза. – Айда шведов бить!

– Рох, ты глуп! – сказал Заглоба.

– Вы, дядя, вечно одно и то же... А я, вот не сойти мне с этого места, видел челны на берегу. Можно поехать и хотя бы стражу выкрасть. Темно, хоть глаз выколи; они и очухаться не успеют, как мы уже вернемся. И удаль свою рыцарскую покажем обоим вождям. Коли вы не хотите, я один пойду!

– Ну, заговорила валаамова ослица! – сердито сказал Заглоба.

Но у Кмицица жадно раздулись ноздри.

– А недурно бы! Ей-богу, недурно! – воскликнул он.

– Может, оно и недурно для какого-нибудь челядинца, но не для людей достойных и здравомыслящих. Имейте же уважение к самим себе! Ведь вы полковники, не кто-нибудь, а вздумали по ночам в кошки-мышки играть.

– В самом деле, как-то оно не того, – поддержал Заглобу Володыёвский. – Давайте-ка лучше спать, а то поздно уже.

Все согласились с ним; преклонив колена, они прочитали вечернюю молитву, а затем улеглись на войлочные попоны и мгновенно заснули сном праведных.

Не прошло и часу, как их подняли на ноги раздававшиеся за рекой выстрелы; весь лагерь Сапеги вмиг наполнился шумом и криками.

– Иисусе, Мария! – завопил Заглоба. – Шведы наступают!

– Опомнись, сударь, что ты говоришь? – отвечал, хватаясь за саблю, Володыёвский.

– Рох, сюда! – призывал Заглоба, который в минуты опасности любил, чтоб племянник держался поближе.



Но Рох в шатре не было.

Друзья выбежали на майдан. Там было уже полно народу, и все бежали к реке. На другом берегу то и дело что-то вспыхивало и гремело все громче и громче.

– Что это там? Что случилось? – спрашивали люди часовых, расставленных вдоль берега.

Но те ничего не знали. Один из солдат припомнил, что ему словно бы послышался всплеск, но на воде лежал туман, разглядеть ничего нельзя было, и он не решился поднимать тревогу из-за такой безделицы.

Услышав это, Заглоба в отчаянии схватился за голову.

– Рох поплыл к шведам! Он же говорил, что хочет выкрасть стражу!

– Черт подери, верно! – воскликнул Кмициц.

– Застрелят мне парня, как пить дать! – убивался Заглоба. – Братцы, неужели нельзя его спасти? Господи Иисусе! Ведь чистое золото, не парень! В обоих войсках другого такого не сыщешь! И что ему только стукнуло в дурную его башку! Матерь божья, спаси его!..

– Может, приплывет, туман-то какой, авось его и не заметят!

– С места не сдвинусь, буду ждать его хоть до утра. Матерь божья! Матерь божья!

Между тем выстрелы на противоположном берегу начали стихать, огни постепенно гасли, и через час настала мертвая тишина. Заглоба метался по берегу, словно курица, высидевшая утят, и рвал остатки волос на голове. Но напрасно ждал он, напрасно причитал. Над рекой посветлело, потом и солнце взошло, а Рох все не возвращался.

## ГЛАВА VIII

На следующий день Заглоба, сам не свой от горя, пошел к Чарнецкому и стал просить его отправить кого-нибудь к шведам, – пусть разведают, что случилось с Рохом, жив ли он, томится ли в неволе или заплатил головой за свою безрассудную смелость.

Чарнецкий охотно согласился на просьбу Заглобы, – он очень любил старика. Желая утешить его, он прибавил:

– Думается мне, что твой племянник жив, иначе вода бы его вынесла.

– Дай бог! – печально ответил Заглоба. – Да ведь таких, как он, вода не скоро выносит, ибо у него не только рука была тяжелая, но и башка оловянная, он своим поступком лишний раз это доказал.

– Что правда, то правда, – согласился Чарнецкий. – По совести, следовало бы, коль он жив, привязать его к конскому хвосту да протащить по майдану за самовольство. Оно ведь и в шведском лагере поднимать тревогу надлежит только по моему приказу, а он оба лагеря взбудоражил, да без всякой команды. Это что же такое! Народное ополчение или базар, где каждый делает, что ему вздумается?

– Провинился он, assentior. Я сам его накажу, пусть только господь вернет его нам!

– Так и быть, прошу его в память о рудницких подвигах. У нас много пленников для обмена, офицеры куда родовитей Ковальского. Так поезжай же к шведам и потолкуй с ними насчет обмена. Я отдам за него двоих, а потребуется, так и троих, лишь бы ты не убивался. Приходи ко мне, я дам тебе письмо к королю, – и с богом!

Обрадованный Заглоба бросился в шатер Кмицица и рассказал обо всем товарищам. Пан Анджей и Володыёвский тотчас закричали, что хотят ехать с ним, так как обоим любопытно было посмотреть на шведов, а Кмициц к тому же мог быть очень полезен, ибо изъяснялся по-немецки почти так же свободно, как и по-польски.

Приготовленья заняли немного времени. Чарнецкий, не дожидаясь Заглобы, сам прислал с оруженосцем письмо, и друзья, захватив с собой трубача и привязав к шесту белый платок, сели в лодку и отчалили.

Некоторое время все молчали, лишь весла поскрипывали в уключинах; потом Заглоба беспокойно заерзал и наконец сказал:

– Пора бы уже трубачу трубить, а то ведь не посмотрят, мерзавцы, на белый флаг, возьмут да и выстрелят!

– Да полно, что ты, пан Заглоба, – успокаивал его Володыёвский, – послов уважают даже варвары, а шведы – народ учтивый.

– А я говорю, пусть трубит! Стрельнет какой-нибудь молокосос, продырявит нам лодку, и пожалуйста в воду, а вода-то холодная! Не желаю я из-за ихней учтивости мокнуть!

– Вот уже и часовых видно! – показал Кмициц.

Трубач затрубил, возвещая прибытие послов. Лодка понеслась быстрее; на берегу тотчас началось оживленное движение, и вскоре показался верховой офицер в желтой кожаной шляпе. Подъехав к самой воде, он прикрыл рукой глаза от солнца и стал всматриваться вдаль.

Шагах в пятнадцати от берега Кмициц в знак приветствия снял шапку, офицер тоже вежливо поклонился.

– Послание от пана Чарнецкого его величеству шведскому королю! – крикнул пан Анджей, размахивая письмом.

Лодка пристала к берегу.

При виде послов береговая стража взяла на караул. Тут пан Заглоба совсем успокоился, придал своему лицу приличное случаю важное выражение и заговорил по-латыни:

– Прошлой ночью схвачен был на вашем берегу некий рыцарь, мы желали бы получить его обратно.

– Я по-латыни не понимаю, – ответил офицер.

– Невежда! – буркнул Заглоба.

Офицер обратился к пану Анджею.

– Король находится в другом конце лагеря, – сказал он. – Соблаговолите, господа, подождать здесь, а я поеду доложить, – и поворотил коня.

Посланцы стали осматриваться вокруг. Лагерь был очень велик, он занимал весь обширный треугольник между Саном и Вислой. У вершины этого треугольника лежал Пнев, по углам с одной стороны Тарнобжег, с другой – Розвадов. Разумеется, охватить взором все это пространство было невозможно, однако всюду, куда ни кинь взгляд, видны были шанцы, окопы, земляные насыпи и фашины, а на них пушки и солдаты. В самом сердце лагеря, в Гожицах, находилась королевская квартира; там же стояли основные силы шведской армии.

– Ничего мы с ними не сделаем, разве только голод их выгонит отсюда, – сказал Кмициц. – Вся местность отлично укреплена И есть пастбища для коней.

– А вот хватит ли рыбы для стольких ртов, – возразил Заглоба. – К тому же лютеране не любят постной пищи. Давно ли вся Польша была в их руках, а теперь один этот клин. Пускай и сидят себе здесь на здоровье, а не угодно – пусть возвращаются в Ярослав.

– Однако же эти шанцы насыпаны мастерами своего дела! – заметил Володыёвский, с одобрением знатока разглядывая земляные работы. – Рубак-то у нас побольше, чем у них, да вот мало ученых офицеров. И в военном искусстве мы отстали от прочих.

– Это почему же? – спросил Заглоба.

– Почему? Может, мне, всю свою жизнь прослужившему в кавалерии, и не пристало так говорить, а только во всех иных армиях главное – это пехота и пушки, на них основана вся тактика и стратегия, все марши и контрмарши. В иноземном войске человек сколько книг перечитает, скольких римских авторов проштудирует, прежде чем получит офицерский чин. У нас не то... У нас конница по старинке валит валом да саблями машет, и если с первого захода не перебьет врага, значит, ее самое перебьют...

– Пан Михал, опомнись, что ты несешь? Да есть ли на свете другая нация, одержавшая столько славных побед?

– А это потому, что и другие раньше точно так же воевали, только не было в них нашего огня, вот они и проигрывали. А теперь они поуменьли – и извольте, полюбуйте, что творится.

– Поживем – увидим. А пока давай мне сюда самого что ни на есть ученого инженера, шведа или немца, а я против него выставлю Роха, который книг в руках не держал, тогда посмотрим.

– Еще сможешь ли ты, пан Заглоба, его выставить... – заметил Кмициц.

– Ох, не говори! Страх как жалко парня. Ну-ка, пан Анджей, ты ведь умеешь по-ихнему, по-собачьему, попытай-ка у этих швабов, что с ним случилось?

– Не знаешь ты, пан Заглоба, что такое солдат регулярных войск. Тут тебе без

приказа никто рта не раскроет. И пробовать нечего.

– Да нет, знаю, они, собаки, бесчувственные. То ли дело наша шляхта, а особливо ополченцы; приедет, бывало, посол, и пошли тары-бары; как здоровье супруги, да как детки – да горелки с ним выпьют, да беседу любезную заведут, а эти стоят столбом и зенки на нас таращат, чтоб им лопнуть!

В самом деле, вокруг собиралось все больше пехотинцев, которые с любопытством рассматривали послов. И было на что посмотреть. Поляки, тщательно и даже пышно одетые, стояли живописной группой. Всеобщее внимание привлекал к себе Заглоба, поражая своей внушительной осанкой, которой и сенатор бы не постыдился; самым невзрачным казался пан Михал – по причине маленького роста.

Тем временем возвратился офицер, первым встретивший их на берегу, а с ним и другой, в более высоком чине, следом солдаты вели оседланных лошадей. Второй офицер поклонился посланцам и произнес по-польски:

– Его королевское величество просит вас пожаловать к нему на квартиру. Это довольно далеко, и мы привели для вас коней.

– Вы поляк? – спросил Заглоба.

– Нет, милостивый пан. Мое имя Садовский, я чех и служу шведскому королю.

Кмициц вдруг подошел к офицеру.

– Что, ваша милость, не узнаете меня?

Садовский внимательно всмотрелся ему в лицо.

– О, как же! Под Ченстоховой. Ведь это вы взорвали нашу самую большую осадную пушку, и Миллер отдал вас Куклиновскому! Рад, сердечно рад приветствовать столь доблестного рыцаря.

– А что случилось с Куклиновским?

– Неужто не знаете?

– Знаю одно – я угостил его тем самым блюдом, которое он для меня готовил, однако, уезжая, я оставил его живым.

– Он замерз.

– Так я и знал, что замерзнет, – сказал пан Анджей, махнув рукой.

– Скажите, полковник, – вмешался в разговор Заглоба, – а нет ли тут в лагере некоего Роха Ковальского?

Садовский рассмеялся.

– Как же, есть!

– Слава тебе, господи, слава тебе, пресвятая дева Мария! Раз парень жив, уж я его вызволю. Слава богу.

– Не знаю, захочет ли король его отдать, – ответил Садовский.

– Ну? А почему же?

– Уж очень он ему приглянулся. Король сразу узнал в нем своего рудницкого преследователя. И как начал он королю отвечать, мы прямо за животики хватались. Король спрашивает: «Что это ты на меня так взъелся?» А тот отвечает: «По обету!» Король ему: «И дальше так же будешь за мной гоняться?» – «Ну да!» – говорит шляхтич. Король смеется: «Откажись от обета, и я отпущу тебя с богом». – «Никак нельзя!» – «Почему же?» – «Тогда дядя скажет, что я болван!» – «И ты веришь, что один на один можешь меня одолеть?» – «Да я и пятерых таких одолею!» Тогда король говорит: «А как же ты не боишься поднять руку на священную особу?» А тот ему: «Да вера-то ваша поганая!» Мы переводили королю каждое слово, а он все больше веселился и все повторял: «Хорош, нет, до чего хорош вояка!» А потом, желая убедиться, и впрямь ли за ним гнался такой богатырь, король приказал выбрать двенадцать дюжих молодцов-гвардейцев и чтоб каждый по очереди бился с пленником. Но он прямо-таки какой-то двуличный, этот офицер! Когда я уезжал, он уже десятерых уложил, и собственными силами ни один не смог подняться. Мы приедем как раз к концу представления.

– Узнаю Роха! Моя кровь! – вскричал Заглоба. – Да мы за него и троих ваших полковников не пожалеем!

– Вы как раз застанете короля в хорошем настроении, а это теперь с ним редко бывает, – заметил Садовский.

– Легко поверить! – сказал маленький рыцарь.

Тут Садовский обернулся к Кмицицу и начал расспрашивать, как это ему удалось не только вырваться из рук Куклиновского, но еще и отомстить своему мучителю. Пан Анджей, любивший похвастаться, стал рассказывать все по порядку, Садовский слушал и от изумления за голову хватался, а под конец снова пожал Кмицицу руку и сказал:

– Верь мне, пан Кмициц, я рад от души, я хоть и служу шведам, но сердце честного солдата всегда радуется, если благородному рыцарю удастся наказать мерзавца. Надо отдать вам справедливость, господ: храбрецов, подобных польским, днем с огнем не сыскать *in universo*[100].

– Вы весьма учтивы, пан офицер! – заметил Заглоба.

– И воин ты славный, нам это известно! – добавил Володыёвский.

– А все потому, что и учтивости, и воинскому искусству я учился у вас! – ответил Садовский, прикладывая руку к шляпе.

Так беседуя и соревнуясь во взаимных любезностях, они доехали до Гожиц, где находилась королевская квартира. Деревня была переполнена солдатами всех родов войск. Наши рыцари с любопытством приглядывались к воинам, кучками расположившимся среди плетней. Одни, желая хоть чем-то заглушить голод, спали прямо на завалинках, благо день был ясный и теплый; другие, усевшись вокруг барабанов и прихлебывая пиво, играли в кости; некоторые развешивали на плетнях одежду; иные сидели перед избами и, распевая скандинавские песни, драили

толченым кирпичом шлемы и латы, доводя их до зеркального блеска. Там и тут чистили или проваживали коней, – словом всюду под ясным небом ключом кипела лагерная жизнь. Правда, голод и жестокие лишения наложили отпечаток на многие лица, однако золотистый свет солнца скрадывал страшные следы; впрочем теперь, когда наступил наконец долгожданный отдых, к этим несравненным воинам сразу вернулась бодрость и военная выправка. Володыёвский смотрел на них с восхищением, особенно на пехотные полки, славившиеся на весь мир своей стойкостью и мужеством. Садовский тем временем рассказывал, кого они видят на своем пути.

– Это смаландский полк королевской гвардии. А это – отборная далекарлийская пехота.

– Господи! А это что за монстры! – вскричал вдруг Заглоба, показывая на маленьких человечков с оливковой кожей и черными, свисающими на уши волосами.

– Это лапландцы, самый дальний гиперборейский народец.

– Да годятся ли они для боя? Я мог бы, кажется, взять по тройке в каждую руку и лбами их до тех пор стукать, пока руки не устанут.

– Мог бы запросто, ваша милость! В бою от них никакого толку. Шведы возят их за собой для услужения, да и просто как диковинку. Зато колдуны они *exquisitissimi*[101], каждому прислуживает по меньшей мере один дьявол, а иным и по пять сразу.

– Откуда же у них такая дружба со злыми духами? – спросил Кмициц, осеняя себя крестным знаменем.

– В тех краях, где они живут, ночь долгая, длится когда по полгода, когда и больше, ну а ночью, как известно, с дьяволом легче всего договориться.

– А душа у них есть?

– Не знаю, но думаю, что они более подобны *animalibus*[102].

Кмициц подъехал ближе, схватил одного лапландца за шиворот, поднял его кверху, точно кошку, и с любопытством оглядел, а потом поставил на землю и сказал:

– Если б король подарил мне такого красавца, я велел бы его прокоптить и подвесить в оршанском костеле, – там диковинок много, даже яйцо страуса есть.

– А вот в Лубнах в приходском костеле была челюсть не то кита, не то великана, – вставил Володыёвский.

– Поехали скорей, не то еще наберемся от них какой-нибудь пакости! – заторопил Заглоба.

– Едем! – повторил Садовский. – Строго говоря, я должен был бы надеть вам на голову мешки, но нам скрывать нечего, а что вы видели наши укрепления, так это нам только на руку.

Рыцари пришпорили коней и вскоре очутились перед гожицкой усадьбой. У ворот они прыгнули наземь и, сняв шапки, дальше пошли пешком, ибо перед домом увидели

самого короля.

Множество генералов и самых блестящих офицеров окружало его. Здесь были и старый Виттенберг, и Дуглас, и Левенгаупт, Миллер, Эриксен и много других. Все они сидели на крыльце, несколько позади королевского кресла, и развлекались любопытным состязанием, которое было устроено по приказу короля. Рох как раз только что уложил двенадцатого рейтара и теперь стоял, весь потный, тяжело дыша, в разорванном кунтуше. Увидев своего дядюшку вместе с Кмицицем и Володыёвским, он решил, что и они попали в плен, горестно выпучил глаза, разинул рот и уже шагнул было вперед, но Заглоба знаком велел ему стоять спокойно, а сам с товарищами приблизился к королю.

Садовский начал представлять посланников, а они низко кланялись, соблюдая обычай и правила этикета. Затем Заглоба вручил королю письмо Чарнецкого.

Тот взял письмо и стал читать; тем временем друзья, никогда не видевшие шведского короля, с любопытством разглядывали его. Перед ними сидел человек в расцвете лет, столь смуглый лицом, словно рожден был в Италии или Испании. Черные как вороново крыло волосы длинными буклями спадали до самых плеч. Блеском и цветом глаз король напоминал Иеремию Вишневецкого, однако брови у него были сильно подняты кверху, словно он постоянно чему-то удивлялся. Там же, где брови сходились, лоб выпирал крутыми буграми, что сообщало всему его облику нечто львиное; глубокая складка на переносице, которая не разглаживалась даже тогда, когда он смеялся, придавала лицу короля угрожающее и гневное выражение. Нижняя губа, как и у Яна Казимира, сильно выступала у него вперед, но все лицо было жирнее, с более тяжелым подбородком. Усы он носил в виде шнурочков, слегка утолщающихся на концах. Ведь его облик выдавал личность исключительную, одного из тех владык, под кем стонет земля. Была в нем и царственная властность, и надменность, и львиная сила, и мощный ум, одного лишь ему не доставало: хоть благосклонная улыбка никогда не сходила с его уст, не было в нем той душевной доброты, что, как светильник в алебастровой урне, изнутри озаряет лицо ясным теплым светом.

Он сидел в кресле, скрестив ноги, могучие икры которых обрисовывались под черными чулками, и, часто моргая по своей привычке, с улыбкой читал письмо Чарнецкого. Вдруг он поднял глаза, взглянул на пана Михала и сказал:

– Я сразу узнал тебя, рыцарь: это ты сразил Каннеберга.

Все взоры мгновенно обратились к Володыёвскому, а тот шевельнул усиками, поклонился и ответил:

– Вашего королевского величества покорный слуга.

– В каком чине служишь?

– Полковник лауданской хоругви.

– А прежде где служил?

– У воеводы виленского.

– И оставил его, равно как и прочие? Ты изменил и ему и мне.

– Я присягал своему королю, не вашему величеству.

Карл ничего не ответил, все вокруг нахмурились, все взоры испытующе впились в пана Михала, но тот стоял спокойно, только знай усиками пошевеливал.

Внезапно король заговорил снова:

– Что ж, рад познакомиться со столь отважным рыцарем. Каннеберг у нас слыл непобедимым в единоборстве. Ты, должно быть, первая сабля среди поляков?

– In universo, – сказал Заглоба.

– Не последняя, – ответил Володыёвский.

– Приветствую вас, господа. Я весьма почитаю Чарнецкого, как великого полководца, хоть он и не сдержал своего слова, ибо должен был бы и сейчас еще спокойно сидеть в Севеже.

– Ваше величество! – возразил ему Кмициц. – Не Чарнецкий, а генерал Миллер первый нарушил уговор, захватив полк королевской пехоты Вольфа.

Миллер выступил вперед, посмотрел на Кмицица и принялся что-то шептать королю, а тот, непрестанно моргая, внимательно слушал и все поглядывал на пана Анджея, а под конец сказал:

– Чарнецкий, вижу я, прислал ко мне самых славных своих воинов. Впрочем, я издавна убедился, что храбрости полякам не занимать, беда лишь, что верить вам нельзя, ибо вы не выполняете обещаний.

– Святые слова, ваше королевское величество! – подхватил Заглоба.

– Как это понимать?

– Да кабы не было у нашей нации этого порока, то и вам бы, ваше величество, у нас не бывать!

Снова король ничего не ответил, снова нахмурились генералы, уязвленные дерзостью посланника.

– Ян Казимир сам освободил вас от присяги, – сказал наконец Карл, – ведь он бросил вас и убежал за границу.

– Освободить от присяги может лишь наместник Христа на земле, живущий в Риме, а он этого не сделал.

– Э, да что толковать, – сказал король. – Вот чем я завоевал это королевство, – тут он хлопнул рукой по своей шпаге, – и этим же удержу его. Не нужны мне ни ваши выборы, ни ваши присяги. Вы хотите войны? Будет вам война! Пан Чарнецкий, полагаю, помнит еще Голомб?

– Он забыл о нем по дороге из Ярослава, – ответил Заглоба.

Король не разгневался, а рассмеялся.



– Ну, так я ему напомню!

– Это уж как бог даст.

– Передайте Чарнецкому, пусть навестит меня. Гостем будет, только пусть не откладывает, а то я вот откормлю коней, да и дальше пойду.

– Гостем будете, ваше королевское величество! – ответил Заглоба, кланяясь и слегка поглаживая саблю.

– Я вижу, у послов Чарнецкого языки столь же остры, как и сабли, – сказал на это король. – Ты, сударь, вмиг парируешь каждый мой выпад. Хорошо, что в бою не это главное, а то нелегко мне было бы справиться с таким противником, как ты. Но к делу: просит меня Чарнецкий отпустить этого вот пленника, предлагая взамен двух высокого чина офицеров. Неужели вы думаете, что я настолько презираю своих соратников, чтобы так дешево за них платить? Это унизило бы и их и меня. Однако я ни в чем не могу отказать Чарнецкому, а потому отдаю ему пленника даром.

– Светлейший государь! – ответил Заглоба. – Не презрение к шведским офицерам, но сострадание ко мне хотел выказать пан Чарнецкий, ибо пленный – мой племянник, я же, да будет известно вашему королевскому величеству, являюсь советником пана Чарнецкого.

– По совести говоря, – заметил король со смехом, – не надо бы мне отпускать этого пленника, он ведь поклялся убить меня, – право же, в благодарность за дарованную свободу он должен бы отказаться от своего обета.

Тут Карл повернулся к стоящему перед крыльцом Роху и махнул ему рукой.

– А ну, молодец, подойди поближе!

Рох приблизился и стал навытяжку.

– Садовский, – сказал король, – спроси его, оставит ли он меня в покое, если я его отпущу?

Садовский повторил вопрос короля.

– Никак нет! – воскликнул Рох.

Король и без толмача понял ответ, захлопал в ладоши и часто заморгал глазами.

– Видите, видите! Ну, как его отпустить? С двенадцатью рейтарами справился, теперь тринадцатый на очереди – я. Славно! Славно! Нет, до чего хорош! А может, и он у Чарнецкого в советниках? В таком случае я его еще быстрее отпущу.

– Помалкивай, парень! – буркнул Заглоба.

– Ну, пошутили, и будет, – сказал вдруг Карл Густав. – Забирайте его, и да послужит вам это лишним доводом моей снисходительности. В этой стране я хозяин, кого хочу, того и милую, а в переговоры с бунтовщиками вступать не желаю.

Тут королевские брови нахмурились, и улыбка сбежала с лица Карла Густава.

– А бунтовщиком является каждый, кто подымет на меня руку, ибо я ваш законный государь. До сих пор из одного лишь милосердия не карал я, как надлежало, все ждал, что вы образумитесь, но берегитесь: даже мое милосердие может истощиться, тогда наступит час возмездия. Это вы своим самоуправством и легкомыслием ввергли страну в геенну огненную, из-за вашего вероломства льется кровь. Но говорю вам: всему есть предел... Не хотите слушать увещаний, не хотите подчиняться закону, так подчинитесь мечу и виселице!

И Карл грозно сверкнул очами. Какое-то время Заглоба смотрел на него, недоумевая, откуда этот гром с ясного неба, потом и в нем начала закипать кровь, но он лишь поклонился, сказав:

– Благодарствуем, ваше королевское величество.

И пошел прочь, а за ним Кмициц, Володыёвский и Рох Ковальский.

– Ну и ну! – говорил старый рыцарь. – Любезен, любезен, да вдруг как рывкнет на тебя медведем, ты и оглянуться не успеешь. Славно попрощались, нечего сказать! Другие послов на прощание вином потчуют, а этот виселицей! Собак пусть вещает, а не шляхту! Боже, боже, как тяжко мы гршили против нашего государя, который был, есть и будет нашим отцом, ибо он наследник Ягеллонов! И такого государя оставили изменники, с пугалами заморскими снюхались. Так нам и надо, ничего лучшего мы не заслужили. Виселицы! виселицы!.. Его самого загнали в угол, прижали, еле дух переводит, а все мечом да виселицей страшает. Ну погоди! Казак татарина схватил, да сам в неволю угодил! Плохо вам, а будет еще хуже! Рох, хотел я тебе съездить по морде либо с полсотни горячих всыпать, да уж так и быть, прощаю тебя за то, что держался молодцом и обещал по-прежнему его преследовать. А теперь давай поцелуемся, очень уж я тобою доволен!

– Ну, то-то, дядя! – ответил Рох.

– Виселица и меч! И он сказал это мне в глаза! – никак не мог унять Заглоба. – Тоже мне – королевская милость! Вот так же милостив волк к тому барану, которого он готовится сожрать!.. И когда он это говорит? Сейчас, когда его самого мороз по коже подирает от страха. Пусть берет себе в советники своих лапландцев и вместе с ними у дьявола милости ищет. А нас будет хранить пресвятая дева Мария, вон как того пана Боболю в Сандомире, которого вместе с конем перебросило взрывом через Вислу. И жив остался. Глянул по сторонам – ан закинуло-то его к ксендзу, да прямо к обеду! Ничего, с божьей помощью мы еще их всех отсюда повытаскаем, как раков из верши...

## ГЛАВА IX

Прошло около двух недель. Король по-прежнему сидел в междуречье и рассылал гонцов во все крепости и гарнизоны, в сторону Кракова и Варшавы, приказывая всем спешить к нему на помощь. И помощь шла, по Висле доставляли ему сколько можно было провианта, но этого не хватало. Через десять дней в лагере начали есть конину, и король с генералами впадали в отчаяние при мысли, что будет, когда конница и артиллерия останутся без лошадей. К тому же и вести отовсюду приходили самые неутешительные. Вся страна полыхала войной, словно объятый огнем смоляной факел. Мелким шведским отрядам и небольшим гарнизонам не только что прийти на помощь королю – носа нельзя было высунуть из своих городов и местечек. Литва, сдерживаемая дотоле железною рукою Понтуса де ла Гарди, восстала как один человек. Великая Польша, которая некогда первой покорилась захватчикам, первой же сбросила ярмо и подавала всей Речи Посполитой пример стойкости, отваги и

ратного рвеня. Шляхетские и мужицкие отряды нападали не только на села, но даже на занятые шведами города. Шведы мстили страшно; однако тщетно они отрубали пленникам руки, дотла сжигали деревни, а жителей от мала до велика казнили, ставили виселицы, нарочно для мятежников привозили из неметчины орудия пыток. Кому суждены были муки, тот терпел их, кому суждена была гибель, тот погибал, но шляхтич встречал смерть с саблей, мужик – с косою в руках. И лилась шведская кровь по всей Великой Польше, народ жил в лесах, даже женщины взялись за оружие; казни лишь пуще разжигали в народе, ярость и жажду мести. Кулеша, Кшиштоф Жегоцкий и воевода подлясский разгуливали по всему краю, да и, кроме них, по лесам полно было разных партизанских отрядов; поля лежали невозделанные, повсюду свирепствовал голод, но больше всего донимал он шведов, которые вынуждены были сидеть в городах за запертыми воротами, не смея шагу ступить наружу.

Шведы теряли последние силы.

То же было и в Мазовии. Курпы, лесные жители, выходили из сумрачных дебрей, устраивали на дорогах засады, перехватывали провиант и гонцов. С Подлясья к Сапеге или на Литву тянулась сотнями и тысячами мелкая шляхта. Люблинское воеводство было в руках конфедератов. Из далекой Руси шли татары, а вместе с ними и принужденные к повиновению казаки.

И все уже были уверены, что если не через неделю, то через месяц, если не через месяц, то через два речная ловушка, в которой сидел Карл Густав с основными своими силами, обратится в сплошную гигантскую могилу – к вящей славе польского народа, в назидание тем, кто вздумал бы напасть на Речь Посполитую. Конец войны, казалось, был уже близок; кое-кто поговаривал, что Карлу теперь остался один-единственный выход: выкупиться, отдав Речи Посполитой шведскую Лифляндию.

Но внезапно положение Карла Густава и шведов изменилось к лучшему. Двадцатого марта сдался наконец Мальборк, доселе упорно сопротивлявшийся осаде. Теперь сильная и доблестная армия Стенбока была свободна и могла поспешить на выручку королю.

Одновременно и баденский маркграф, набрав войско, со свежими силами также двинулся в сторону речной развилины.

Обе армии шли вперед, уничтожая мелкие повстанческие отряды, громя, сжигая и убивая. Из лежавших на их пути городов и сел они забирали с собой шведские гарнизоны, и силы их прибывали, словно воды в реке, обильно питаемые малыми притоками.

Вести о сдаче Мальборка, об армии Стенбока, о походе баденского маркграфа быстро дошли до междуречья и сильно встревожили поляков. Стенбок, правда, был еще далеко, но маркграф баденский, идущий форсированным маршем, мог вскоре очутиться под Сандомиром и совершенно изменить всю картину.

В польском стане созвали военный совет. Собрались пан Чарнецкий, гетман литовский, Михал Радзивилл, коронный кравчий, пан Витовский, старый опытный воин, и пан Любомирский, которому уже порядком наскучило сидеть над Вислой. Было решено, что Сапега с литовским войском останется сторожить Карла, дабы тот не ускользнул из окружения, а Чарнецкий пойдет навстречу маркграфу баденскому и возможно скорее с ним сразится, после чего, если бог дарует ему победу, снова вернется осаждать короля.

Тут же были отданы все нужные распоряжения. На следующее утро в лагере раздался приглушенный сигнал «по коням» – трубы играли чуть слышно, так как Чарнецкий хотел, чтобы шведы не заметили его ухода. К майдану спешно подтянулись несколько шляхетских и мужицких партизанских отрядов. Они разожгли костры и шумно суетились, чтоб отвести глаза неприятелю, а между тем хоругви каштеляна одна за другой покидали лагерь. Первой вышла лауданская хоругвь, которая по справедливости должна была бы остаться при Сапеге, но она так полюбилась Чарнецкому, что гетман не стал отбирать ее. Затем отличная хоругвь под командой Вонсовича, старого вояки, который полвека провел в ратных трудах; следом двинулась хоругвь князя Димитра Вишневецкого под командой Шандаровского, та самая, что так отличилась под Рудником; за нею два полка драгун Витовского и две хоругви яворовского старосты, в одной из которых служил поручиком знаменитый Стапковский; затем шла собственная хоругвь пана каштеляна, королевская хоругвь под командой Полянского и все войско Любомирского. Ни пехоты, ни повозок с собою не взяли, решив для скорости идти налегке.

И вот уже все они стоят под Завадой, – целая армия, полная сил и боевого огня. Тут Чарнецкий выехал вперед, выстроил полки в походный порядок, а сам стал чуть поодаль, чтобы обозреть свое войско на марше. Конь под ним фыркал и мотал головой, словно приветствуя проходящие полки, а у пана каштеляна от радости сердце ширилось в груди. Картина перед ним была и впрямь великолепная. Безбрежное море конских голов, над ним суровые солдатские лица, кивающие в такт ходу коней, а поверху сабли и пики, ослепительно сверкающие в лучах утреннего солнца. Так и ведаю от них несокрушимой силой, и сила эта передавалась каштеляну, ибо он видел теперь перед собой не беспорядочную толпу волонтеров, но настоящее войско, закаленное в горниле войны, отлично снаряженное и обученное и столь лютое в бою, что никакая другая конница в мире не могла бы равными силами ему противостоять. Чарнецкий чувствовал, что здесь нет и не может быть места сомнению, что с этими людьми он в пух и прах разобьет войско баденского маркграфа, и в предчувствии грядущей победы лицо его озарилось ярким светом, лучи которого, казалось, падали на идущие мимо полки.

– С богом! За победой! – воскликнул он.

– С богом! Мы победим! – отвечали ему могучие голоса.

Этот возглас прокатился по хоругвям подобно грому. Чарнецкий прищпорил коня и догнал передовую лауданскую хоругвь.

И начался поход!

Они мчались, обгоняя ветер, как мчится стая хищных птиц, издали чужа добычу. Нигде, даже среди степных татар, не слыхивали о подобном походе. Солдат спал в седле, ел и шил, не спешиваясь; коней кормили из рук. Оставались позади реки, леса, деревни, города. Мужики по деревням только выскочат, бывало, из хат посмотреть на войско, а войска уж и след простыл, лишь пыль клубится вдали. Скакали днем и ночью, делая лишь краткие привалы, чтобы не загнать лошадей.

Наконец близ Козениц они наткнулись на восемь шведских хоругвей во главе с Торнешильдом. Лауданская хоругвь, шедшая в авангарде, первой заметила неприятеля и с ходу, не останавливаясь, ринулась в атаку. Следом пошел Шандаровский, за ним Вонсович, за ним Стапковский.

Шведы, полагая, что имеют дело с партизанами, приняли бой. Через два часа никого

из них не осталось в живых, некому было добежать до маркграфа и крикнуть, что это идет Чарнецкий. Восемь шведских хоругвей были попросту стерты с лица земли. Затем победители кратчайшим путем помчались к Магнушеву, так как, по донесениям лазутчиков, маркграф баденский со всем своим войском находился в Варке.

Ночью Володыёвский был отправлен в разъезд; ему поручено было выяснить численность и местоположение войск.

Заглобе новое поручение пришлось весьма не по вкусу, особенно сразу после похода, – таких походов, пожалуй, сам славный Вишневецкий не проделывал; сильно ворчал старый рубака, но все же три войске не остался, а предпочел идти с Володыёвским.

– Золотое было времечко под Сандомиром, – говорил он, потягиваясь в седле, – знай ешь, да спи, да на осажденных шведов издали поглядывай, а теперь вон и к манерке приложиться некогда. Да почитайте хоть antiquorum[103], военную науку великого Помпея и Цезаря, – нет, пан Чарнецкий новую методику выдумал. Где это слыхано, столько дней и ночей в седле, – этак все брюхо растрясешь. С голоду черт-те что в башку лезет, так вот все и чудится мне, будто звезды – это каша, а месяц – шварка. И это называется война! Ей-богу, так есть хочется, что я готов обгрызть уши собственному коню!

– Завтра, даст бог, разделаемся со шведами, отдохнем.

– По мне, уж лучше шведы, чем такая канитель! Господи! Господи! Да когда же наконец будет в Речи Посполитой мир, а у старого Заглобы теплая лежанка и подогретое пиво... Пусть бы уж и без сметаны... Трясись, старый, на кляче, трясись, пока до смерти не дотрясешься... Нет ли там у кого табачку? Прочихаюсь, – может, хоть сон из меня выйдет... И что это месяц светит прямо в рот, чуть не в кишки мне заглядывает, чего он там ищет, не знаю, – ничего там нету! Право же, не война, а черт знает что!

– А вы, дядя, возьмите да и съешьте месяц, раз это шварка, – предложил Рох.

– Знаешь, если б я тебя съел, можно было бы сказать, что воловьего мяса наелся, да боюсь, как бы последнего ума не лишиться от такого жаркого.

– Если я вол, а вы мой дядя, тогда кто же, дядя, вы сами?

– Вот болван! По-твоему, Альтея оттого родила головешку, что сидела у печи?

– Какое мне дело до Альтеи?

– А такое, что если ты – вол, то сначала спрости, кто твой отец, а не кто дядя! Вон Европу тоже бык похитил, однако брат ее был человеком, хоть и приходился дядей ее потомству. Понимаешь?

– Понимать не понимаю, но поесть чего-нибудь я тоже не прочь.

– Съешь хоть черта с рогами, только отвяжись! Эй, пан Михал, что это? Почему мы стали?

– Варка видна, – сказал Володыёвский. – Вон колокольня блестит под луной.

– А Магнушев мы уже проехали?

– Магнушев остался справа. Странно, что по эту сторону реки нет ни одного шведского разъезда. Ну-ка, спрячемся вон в тех зарослях, постоим, может, бог языка пошлет.

И пан Михал подвел отряд к кустарнику и расположил людей в ста шагах справа и слева от дороги, приказав стоять тихо да покорооче держать поводья, чтобы ни одна лошадь не заржала.

– Подождем, – сказал он. – Послушаем, что делается за рекой, а может, и увидим что-нибудь.

Стали ждать. Долгое время ничего не было слышно, кроме соловьев, которые самозабвенно распевали в соседнем ольшанике. Усталые солдаты начали клевать носом, а Заглоба лег на лошадиную шею и заснул крепким оном; даже кони дремали. Прошел час. Наконец чуткое ухо Володыёвского уловило словно бы стук копыт по твердой дороге.

– Не зевай! – бросил он солдатам.

А сам выдвинулся из кустов поближе к дороге и окинул ее взглядом. Дорога блестела в лунном свете, как серебряная лента, но никого не было видно; однако конский топот приближался.

– Шведы, не иначе! – проговорил Володыёвский.

И все еще крепче натянули поводья и затаили дыхание; тишину нарушали лишь соловьиные трели, доносившиеся из ольшаника.

И вот на дороге показался шведский разъезд. Всадников было человек тридцать. Они ехали не спеша и не соблюдая строя, растянувшись по дороге длинной вереницей. Солдаты переговаривались, иные тихонько напевали, теплая майская ночь действовала даже на очерстевшие солдатские души. Ничего не подозревая, шведы прошли мимо стоявшего у самой дороги пана Михала так близко, что на него пахнуло лошадиным потом и дымом трубок, которые курили рейтары.

Наконец они исчезли за поворотом. Володыёвский еще долго стоял и дожидался, пока затихнет вдали стук копыт; только тогда он вернулся к отряду и сказал братьям Скшетуским:

– А теперь мы их, как стадо гусей, погоним прямо в лагерь пана каштеляна. Только чтоб мне ни один не ушел, а то даст знать своим!

– Ну, если и после этого дела пан Чарнецкий не позволит нам наесться и выспаться, – молвил Заглоба, – я отказываюсь от места и возвращаюсь к Сапежке. У Сапежки коли битва, так битва, зато уж когда сядешь за стол – тут уж пир горой! Ешь, пей в три горла, пока не надоест! Это, я понимаю, вождь! Нет, скажите на милость, какого черта мы служим у Чарнецкого, – ведь по праву это Сапежкина хоругвь?

– Не грехи, отец! Что ты так расшумелся на Чарнецкого, он величайший полководец Речи Посполитой, – сказал Ян Скшетуский.

– Это не я расшумелся, а мои кишки, – слышите, какая в них с голоду музыка играет!

– Вот шведы под эту музыку и попляшут, – прервал его Володыёвский. – А теперь, друзья, в путь, в путь! К той корчме в лесу, мимо которой мы проезжали. Там-то я думаю на них и напасть.

Он приказал отряду двигаться средним аллюром. Отряд углубился в густой лес, вокруг стало темно. До корчмы было версты три-четыре. Немного не доезжая, всадники снова пошли нога за ногу, чтобы не вспугнуть врага прежде времени. Подъехав к корчме на расстояние пушечного выстрела, они услышали шум голосов.

– Шведы! Слышите, галдят? – сказал Володыёвский.

Шведы в самом деле задержались около корчмы, надеясь найти хоть кого-нибудь, кого можно было бы расспросить. Но корчма была пуста. Часть отряда, спешившись, обыскивала дом, одни шарили в хлеву и сараях, другие рылись под застрехами. Остальные, держа на поводу их лошадей, ждали во дворе.

Отряд Володыёвского, подъехав шагов на сто, стал по-татарски, полумесяцем окружать корчму. На майдане отлично слышали, а потом и увидели приближающихся всадников, но в лесном полумраке трудно было распознать, кто едет, и рейтары не беспокоились, уверенные, что с той стороны никакой другой отряд, кроме шведского, подойти не может. И только последний маневр их удивил и заставил насторожиться; они закричали, созывая своих товарищей.

Внезапно с разных сторон раздался клич «алла!» и грянули выстрелы. В тот же миг, точно выросши из-под земли, корчму густой толпой окружили конники. Началась свалка, зазвенели сабли, послышались проклятия, сдавленные крики, но все это продолжалось считанные минуты, от силы столько, сколько нужно, чтобы дважды прочесть «Отче наш».

Во дворе корчмы осталось несколько убитых солдат и лошадей, а отряд Володыёвского двинулся дальше, уводя с собой двадцать пять пленников.

Теперь они понеслись вскачь, подгоняя ударами сабель рейтарских коней, и с рассветом уже подходили к Магнушеву. В лагере Чарнецкого никто не спал, все были в боевой готовности. Сам каштелян вышел к ним навстречу, опираясь на обушок, исхудалый и бледный от бессонных ночей.

– Ну что? – спросил он Володыёвского. – Много ли языков захватил?

– Двадцать пять человек.

– А сколько ушло?

– Nec nuntius cladis[104]. Захвачены все!

– Молодчина! Тебя хоть в самое пекло посылать! Славно! Немедля взять их в оборот! Я сам буду допрашивать!

И каштелян круто повернулся на каблуке, но, уходя, еще добавил:

– Да смотрите, будьте наготове, мы, может статься, без промедления двинем на

неприятеля.

– Вот те и на! – воскликнул Заглоба.

– Тс-с-с, – остановил его Володыёвский.

Пленных шведов и пытать не пришлось, – они сразу рассказали все, что им было известно о силах баденского маркграфа, о количестве пушек, пехоты и кавалерии. Призадумался пан каштелян, когда узнал, что хоть набрано войско маркграфа недавно, однако состоит сплошь из старых солдат, уже много повоевавших на своем веку. Было среди них немало немцев, а также большой отряд французских драгун; вся в целом эта армия на несколько сот человек превосходила польское войско. Зато, как явствовало из показаний пленных, маркграф пребывал в полнейшем неведении насчет близкого соседства Чарнецкого и был уверен, что все польские силы стоят под Сандомиром, осаждая короля.

Едва каштелян услышал это, он вскочил с места и крикнул своему адъютанту:

– Витовский, вели трубачу трубить «по коням!».

Спустя полчаса войско выступило и пошло свежим майским утром через леса и поля, покрытые росой. Наконец на горизонте показалась Варка, а вернее, ее пепелище, так как город шесть лет назад сгорел дотла.

Дорога на Варку пролегла через обширную голую равнину, и раньше или позже шведы должны были заметить приближающееся войско. Они и заметили его, но маркграф подумал, что это какие-нибудь партизанские отряды, которые объединились с намерением посеять панику в шведском лагере.

И лишь когда из-за леса одна за другой рысью понеслись к ним польские хоругви, у шведов началось лихорадочное движение. С равнины видно было, как между полками торопливо проходят небольшие отряды рейтар, пробегают офицеры. Из лагеря на равнину повалили пехотинцы в ярких мундирах и, точно стаи пестрых птиц, готовящихся к перелету, выстраивались перед поляками в стройные квадраты. Над головами пехотинцев возвышался лес грозных копий, готовых отразить натиск неприятельской кавалерии. И, наконец, показались закованные в броню кирасиры, двумя потоками устремившиеся к флангам. Спешно подтягивались и расставлялись по местам пушки. Взошло солнце, равнина озарилась ярким, радостным светом, и все эти приготовления видны были как на ладони.

Войска отделяла одно от другого Пилица.

На шведском берегу запели трубы, загремели литавры и барабаны, послышались воинственные клики ратников, уже готовящихся к бою. Тут и Чарнецкий приказал трубить в рога и направил свои хоругви прямо к реке.

Внезапно он стегнул жеребца и подскакал к Вонсовичу, чья хоругвь была уже на самом берегу.

– Вонсович, старина! – крикнул он. – Веди своих к мосту, там спешивайтесь и открывайте огонь! Пусть они бросят на тебя все свои силы. Вперед!

Вонсович лишь покраснел от радости и взмахнул буздыганом. Его люди с громкими криками помчались за ним, словно тыльная туча, подгоняемая ветром.



Шагов за триста до моста они осадили коней. Две трети отряда спрыгнуло наземь и бегом бросилось к мосту.

Шведы подошли с другой стороны, и вскоре заговорили мушкеты, сперва поодиночке, потом все чаще, чаще, будто сотни цепов вразной молотили по току. Над рекой протянулись полосы дыма. На обоих берегах бойцы криками раззадоривали друг друга. Все взгляды были прикованы к узкому деревянному мосту, захватить который было так трудно, а оборонять так легко. Однако добраться до шведов можно было только по нему.

Через четверть часа пан Чарнецкий послал в помощь Вонсовичу драгун Любомирского.

Но шведы уже начали обстреливать подступы к мосту из пушек. Они выкатывали на берег все новые и новые орудия; ядра с воем пролетали над головами солдат Вонсовича и драгун и падали на лугу, зарываясь в землю и осыпая сражающихся комьями дерна и грязи.

Маркграф баденский стоял в тылу своей армии, на опушке леса, следя за битвой в подзорную трубу. Время от времени он опускал трубу и, обернувшись к своему штабу, недоуменно пожимал плечами.

– Безумцы, – говорил он, – они любой ценой хотят форсировать этот мост. Несколько пушек и два-три полка охранят его перед целой армией.

Однако Вонсович со своими людьми упорно шел на приступ, и защитникам моста приходилось ожесточенно отбиваться. Мост становился средоточием сражения, и сюда постепенно подтягивалась вся шведская армия. Через час ее позиция полностью изменилась, теперь она стояла боком к прежней линии фронта. На мост обрушивался настоящий ливень огня и железа. Люди Вонсовича гибли десятками, а меж тем Чарнецкий слал к ним все новых гонцов, упорно приказывая идти вперед.

– Чарнецкий всех их погубит! – вскричал коронный маршал.

Даже старый опытный воин Витовский решил, что дело плохо, и весь дрожал от нетерпения; под конец он не выдержал, хлестнул коня так, что тот с жалобным стоном взвился на дыбы, и поскакал к Чарнецкому, который бог весть зачем все гнал и гнал людей к реке.

– Ваша милость! – крикнул Витовский. – Напрасно только кровь льется; нам этого моста не взять!

– А я и не собираюсь брать его! – возразил Чарнецкий.

– Тогда что же это значит, ваша милость? Что мы должны делать?

– К реке! К реке все хоругви! А ты, пан Витовский, изволь в строй! – И глаза Чарнецкого грозно сверкнули. Витовский тотчас поскакал назад, не сказав более ни слова.

Оказавшись шагах в двадцати от реки, хоругви остановились и растянулись вдоль берега длинной цепью. Ни солдаты, ни офицеры не могли взять в толк, зачем это делается.

И тут Чарнецкий вихрем вылетел вперед. Лицо его пылало, глаза метали молнии. Вздыхаемая сильным ветром бурка развевалась за его плечами наподобие огромных крыльев, конь под ним плясал и становился на дыбы, извергая пламя из ноздрей; Чарнецкий выпустил из рук саблю, которая повисла на темляке, сорвал с головы шапку, обнажив всклокоченные волосы и залитое потом чело, и вскричал, обращаясь к своим войскам:

– Братья! Враг рекой от нас отгородился и смеется над нами! Он море переплыл, дабы погубить нашу отчизну, так неужто же мы, защищая ее, не переплывем эту реку! – Тут он грянул шапкой оземь и, схватив саблю, указал ею на бурные речные воды. В страстном порыве он привстал в стремях и воззвал поистине громовым голосом: – За бога, за веру, за отчизну – вперед!

И, вонзив шпоры в конские бока с такой силой, что аргамака подбросило в воздух, он ринулся в пучину. Волны расступились, поглотив на мгновение коня и всадника, но в следующий миг оба вынырнули наружу.

– Я за тобой, мой господин! – крикнул Михалко, тот самый, что так славно дрался под Рудником.

И прыгнул в воду.

– За мной! – скомандовал высоким, пронзительным голосом Володыёвский.

И тотчас вода заглушила его крик.

– Иисусе, Мария! – проревел Заглоба, рывком направив коня к реке.

И всадники лавиной ринулись в волны, и вода бешеным напором захлестнула берега. За лауданцами пошла хоругвь Вишневецкого, за нею – Витовского, за ней – Стапковского, а там и все остальные. Охваченные благородным безумием, люди неслись, оттесняя друг друга; слова команды слились с криками солдат, река вышла из берегов и вспенилась, как кипящее молоко. Всадников относил течением, но они яростно прищипывали коней, и те, словно гигантское стадо дельфинов, плыли вперед, фыркая, храпя и задыхаясь. Людские и конские головы, возвышавшиеся над водой, так густо усеивали поверхность реки, что образовали как бы мост, по которому можно было бы, не замочив ног, перейти на другой берег.

Чарнецкий первым переплыл реку; не успел он стряхнуть с себя воду, как рядом уже стояли лауданцы; пан каштелян взмахнул буздыганом и крикнул Володыёвскому:

– Вперед! Бей!

А потом Шандаровскому, командовавшему хоругвью Вишневецкого:

– На врага!

Так напутствовал он одну хоругвь за другой, пока не прошли все. Последнюю Чарнецкий возглавил сам и, крикнув: «С нами бог!» – поскакал вслед за другими.

Правда, два рейтарских полка, стоявших в резерве, видели, что происходит, но шведские полковники от неожиданности остолбенели, и не успели рейтары сдвинуться с места, как на них со всего разгона налетела лауданская хоругвь. Слово вихрь сухие листья, разметала она первый полк, отбросив его на второй, и второй сбился

в кучу; а тут подскакал Шандаровский, и началась жестокая резня. Длилась она недолго, вскоре шеренги шведов были разорваны, и противник беспорядочной толпой стал поспешно отступать к основным силам.

Хоругви Чарнецкого с устрашающими воплями гнались за беглецами и рубили, кололи, устилая поле трупами.

Теперь все поняли, зачем Чарнецкий приказал Вонсовичу атаковать мост, хоть и не собирался по нему переправляться. Все внимание армии маркграфа было приковано к этой точке, и никто не подумал, да и не успел подумать о том, чтоб воспрепятствовать переправе поляков вплавь. Почти все пушки, вся армия шведов обращены были фронтом к мосту, и теперь, когда три тысячи всадников всей своей мощью ударили им во фланг, приходилось спешно перестраиваться, разворачивать ряды фронтом к врагу, чтобы хоть как-то отразить атаку. Началась страшная сумятица и неразбериха: полки пехоты и кавалерии, торопясь развернуться лицом к атакующим, ломали строй, налетали друг на друга, слова команды тонули в невообразимом шуме и гаме, каждый действовал как бог на душу положит. Тщетно надрывались офицеры, тщетно маркграф поспешил бросить на подмогу стоявшие у леса резервные полки кавалерии; не успели они подскакать к месту схватки, не успели пехотинцы упереть копыта тупым концом в землю и направить их острие на противника, как в самую их гущу, подобно смертоносному урагану, ворвалась хоругвь лауданцев; за ней вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И настал Судный день. Поле битвы, словно тучей, заволочлось ружейным дымом, и из этой тучи несясь гул, гром, вопли нечеловеческого отчаяния и торжествующие клики, оглушительный лязг железа, будто из какой-то адской кузницы, и треск мушкетов; порой мелькнет уланский прапорец, порой сверкнет золотом наконечник полкового знамени – и снова все тонет в дыму, снова ничего не различить, лишь чудовищный грохот все нарастает и нарастает, как будто дно речное внезапно разверзлось и бурные воды ринулись в бездонную пропасть.

Вдруг с фланга донеслись новые крики. Это Вонсович перешел мост и ударил на врага сбоку. После этого битва скоро кончилась.

От клубившейся на равнине тучи стали быстро отделяться люди; шведы, не помня себя, теряя шапки, шлемы и оружие, устремлялись к лесу. А вскоре в ужасающем беспорядке хлынул целый людской поток. Артиллерия, пехота, конница – все попеременно ударились в бегство, полуослепнув от смятения и ужаса. Иные испускали отчаянные вопли, другие бежали молча, лишь прикрывали руками голову, кое-кто сбрасывал на бегу одежду; некоторые пытались остановить бегущих, их сбивали с ног, начиналась свалка – а меж тем над беглецами, за их спинами, над головами уже вздымались копыта несущейся следом польской конницы. Шеренга за шеренгой, вскинув коней на дыбы, врезались поляки в самую гущу людского потока. Никто уже не защищался, все покорно подставляли шею под меч. Труп валился на труп. Без отдыха, без пощады рубили сабли по всей равнине; на берегу, под лесом, куда ни кинь взгляд, – везде толпы беглецов и преследователей; лишь кое-где разрозненные отряды пехоты сопротивлялись с неистовством отчаяния. Пушки замолкли. Битва перестала быть битвой, она превратилась в избиение.

Все, кто бежал к лесу, были перебиты. Доскакало лишь несколько рейтарских эскадронов, преследуемых хоругвями легкой кавалерии.

Но в лесу недобитых шведов уже поджидали мужики, которые, слышав бранные клики, сбегались сюда со всех окрестных деревень.

Самая же страшная погоня происходила на варшавской дороге, по которой уходили главные шведские силы. Младший маркграф, Адольф, дважды пытался задержать преследователей и дважды был разбит, пока, наконец, сам не попал в плен. Его личная охрана, четыреста французов-пехотинцев, сложили оружие, а остальные три тысячи отборной конницы и мушкетеров ухитрились добежать до самого Мнишева. Мушкетеров теребили в Мнишеве, а за кавалерией пришлось гнаться вплоть до Черска, пока вся она не рассеялась по лесам, камышам, зарослям. А уж на другой день всадников поодиночке выловили оттуда мужики.

Еще солнце не зашло, а армия Фридриха, маркграфа баденского, перестала существовать.

У реки, на поле битвы, оставались лишь знаменосцы со знаменами, все остальные ускакали в погоню за неприятелем. Солнце уже почти закатилось, когда из лесу и от Мнишева стали возвращаться первые отряды кавалерии. Бойцы пели, кричали, подбрасывали вверх шапки и палили из мушкетов. Чуть не каждый вел за собой толпу связанных друг с другом пленных. Пленные тащились за всадниками, без шляп и шлемов, с поникшими головами, ободранные, окровавленные, то и дело спотыкаясь о тела своих павших товарищей.

Поле битвы являло собой страшный вид. В тех местах, где схватка была особенно жестокой, трупы громоздились штабелями высотой до половины копья. Некоторые из пехотинцев еще сжимали в окоченевших руках длинные древка. Копьями было усеяно все поле. Местами они были воткнуты в землю, местами лежали навалом, кое-где торчавшие из земли обломки образовали целые изгороди и частоколы.

И всюду, всюду, куда ни кинь взгляд, валялись в ужасном и горестном смешении раздавленные копытами мертвые тела, древка пик, сломанные мушкеты, барабаны, трубы, шляпы, пояса, жестяные ладонки пехотинцев и множество рук и ног, торчавших из плотной груды тел в таком беспорядке, что невозможно было угадать, кому они принадлежат. Особенно густо устилали землю трупы в тех местах, где сражалась шведская пехота.

Поодаль, у самой реки, стояли уже остывшие пушки; одни были опрокинуты людским потоком, другие словно изготовились дать новый залп. Подле них спали вечным сном канониры, – их тоже перебили всех до единого. На многих пушках, обнимая их руками, повисли тела убитых солдат, словно солдаты и после смерти хотели прикрыть пушки собою. Орудийная бронза, забрызганная кровью и мозгом, зловеще сверкала под лучами заходящего солнца. Золотой отблеск заката лежал и на лужах застывшей крови, по всему полю слышен был ее сладковатый запах, смешанный с трупным смрадом, запахом пороха и конского пота.

Чарнецкий с королевским полком возвратился еще до заката и стал посреди ратного поля. Войска приветствовали его громовыми криками. Отряд подходил за отрядом, и возгласы «виват!» гремели без конца, а он стоял, озаренный солнцем, бесконечно усталый, но и столь же счастливый, с непокрытой головой, с саблей на темляке, и на все приветствия отвечал:

– Не меня, ваши милости, не меня, но господа нашего благодарите!

Рядом с ним стояли Витовский и Любомирский; Любомирский, сверкавший, как солнце, в своих золоченых доспехах, с лицом, забрызганным кровью врагов, которых он сам своею рукой колот и рубил без передышки, словно простой солдат, был, однако, угрюм и мрачен, ибо даже его собственные толки кричали:

– Виват Чарнецкий, *dux et victor!*[105]

И в душе коронного маршала уже шевельнулась зависть.

Тем временем на поле боя со всех сторон стекались все новые отряды, и от каждого подъезжал к Чарнецкому рыцарь и кидал к его ногам захваченное неприятельское знамя. Это вызывало новую бурю восторженных криков, снова летели вверх шапки и гремели выстрелы из мушкетонов.

Солнце опускалось все ниже.

В единственном костеле, который уцелел в Варке после пожара, зазвонили к вечерне; все тотчас обнажили головы; ксендз Пекарский, бравый полковой священник, начал читать: «Ангел господень возвестил пречистой деве Марии!..» – и сотни могучих голосов подхватили хором: «...И зачала она от святого духа...»

Все глаза обратились вверх, к румяной вечерней заре, которая разлилась в небесах, и понеслась благочестивая песнь с поля кровавой битвы прямо в озаренное этим тихим вечерним светом небо.

Едва кончилась молитва, рысью подошли лауданцы, которые в погоне за врагом ускакали дальше всех. Снова под ноги Чарнецкому полетели знамена, наполняя его сердце великой радостью; завидев Володыёвского, он подъехал к нему.

– А много ли их ушло от вас? – спросил пан каштелян.

Володыёвский только головой помотал, – дескать, нет, не много; до того он умаялся, даже слова вымолвить не мог, лишь хватал воздух открытым ртом, так что в груди свистело. Под конец он показал рукой, что не может говорить, а Чарнецкий понял и крепко прижал к себе его голову.

– Да ты, знать, себя не жалел! – воскликнул он. – Побольше бы нам таких молодцов!

Заглоба, тот раньше отдышался и, стуча зубами и заикаясь, заговорил:

– О господи! Стоим на юру, а я весь вспотел... Сейчас паралич хватит... Разденьте какого-нибудь шведа потолще и дайте мне одежду, а то на мне все мокрое... хоть выжми... Уж и не знаю, где вода, где мой собственный пот, а где шведская кровь... Вот не думал, что мне когда-нибудь доведется такую кучу этой сволочи перебить! Назовите меня болваном, если думал! Величайшая победа за всю войну... Но уж в воду лезть – дудки, на это я больше не согласен... Не ешь, не пей, не спи, да еще вдобавок купайся?.. Нет, стар я для этого дела... Вон уж и рука немеет... Паралич, ей-ей, паралич! Горелки, ради бога!

Слыша такие речи и видя, что убеленный сединами рыцарь в самом деле весь залит неприятельской кровью, Чарнецкий сжалился над его годами и подал ему собственную манерку.

Заглоба осушил ее, вернул пустую Чарнецкому и сказал:

– Ну, это будет получше, чем вода, а то я ее в Пилице столько нахлебался, что в брюхе, того и гляди, заведется рыба.

– А ты, пан Заглоба, и правда переоделся бы в сухое, вон хоть со шведа какого-нибудь, – сказал каштелян.

– Сейчас, дядя, я найду вам толстого шведа, – вызвался Рох.

– Стану я надевать окровавленное, с трупа! – ответил Заглоба. – Раздень-ка ты лучше того генерала, которого я в плен взял.

– Так вы взяли генерала? – с живостью спросил Чарнецкий.

– Кого я только не взял, каких только подвигов не совершил! – отвечивал Заглоба.

Тут и к Володыёвскому вернулся дар речи.

– Нами захвачены в плен младший маркграф Адольф, граф Фалькенштейн, генерал Венгер, генерал Потер, Бенци, не считая других, чином пониже.

– А маркграф Фридрих?

– Коли здесь не лежит, значит, ушел в леса, да только все равно мужики его убьют!

Володыёвский ошибался. Маркграф Фридрих вместе с графом Шлипенбахом и Эреншайном в ту же ночь лесом добрались до Черска; там они, голодные и холодные, просидели три дня в развалинах замка, а затем ночью отправились в Варшаву. Впоследствии это не спасло их от плена, но на сей раз они уцелели.

Была уже ночь, когда Чарнецкий покинул поле битвы и двинулся к Варке. Это была, быть может, лучшая ночь в его жизни, ибо впервые с самого начала войны шведам было нанесено столь страшное поражение. Захвачены были все пушки, все знамена, все военачальники, кроме самого главнокомандующего; армия была уничтожена, ее жалкие, рассеянные по всему краю остатки неминуемо должны были пасть жертвой мужичьих ватаг. Но мало того – сражение это доказало, что те самые шведы, которые почитали себя непобедимыми в открытом бою, именно в открытом-то бою и не могут тягаться с регулярными польскими хоругвями. И, наконец, Чарнецкий понимал, сколь могучий отклик вызовет слух об этой победе во всей Речи Посполитой, как страна воспрянет духом, каким боевым огнем загорится; и он уже видел в недалеком будущем свою отчизну освобожденной от гнета, ликующей... А может, и золоченая булава великого гетмана рисовалась его внутреннему взору.

Что ж, он имел право мечтать о ней, ибо шел к ней честным ратным путем, защищая отчизну, и если суждена ему была награда, так не откупом и не подкупом он ее добывал, а заслужил собственной своей кровью.

А пока радость переполняла его, не местилась в груди. Обернувшись к коронному маршалу, который ехал рядом, он воскликнул:

– Теперь под Сандомир! Скорей под Сандомир! Наше войско уже научилось переплывать реки, не страшны нам теперь ни Сан, ни Висла!

Маршал не ответил ни слова, зато Заглоба, ехавший несколько поодаль, переодетый в шведский мундир, не постеснялся заметить вслух:

– Езжайте, езжайте куда хотите, да только без меня; я вам не флюгер на костеле, который ни есть, ни пить не просит, знай вертится без устали во все стороны!

Чарнецкий был так весел, что не только не разгневался, но ответил шуточно:

– Да ты, пан Заглоба, скорее на колокольню похож, чем на флюгер, вон у тебя и воробьи, я слышу, галдят под крышей. Однако *quod attinet* еды и отдыха, это действительно необходимо.

В ответ Заглоба пробормотал, но так, чтобы Чарнецкий не слышал:

– Самому тебе морду истребляли воробьи, вот воробьев и поминаешь!

## ГЛАВА X

После этой битвы Чарнецкий разрешил наконец своему войску передохнуть и подкормить измученных коней, после чего он намерен был спешно возвратиться под Сандомир и там осаждать шведского короля до победного конца.

Меж тем в лагерь однажды вечером прибыл Харламп с вестями от Сапеги. Чарнецкий в ту пору уехал в Черск, куда собиралось на смотр равское народное ополчение, и Харламп, не застав главнокомандующего, отправился прямо к Володыёвскому отдохнуть после долгого пути.

Друзья радостно бросились ему навстречу, но Харламп был мрачнее тучи; едва переступив порог, он сказал:

– О вашей победе я уже слышал. Здесь счастье нам улыбнулось, а вот под Сандомиром оно нам изменило. Нет уже Карла, упустил его Сапега, и притом с великим для себя конфузом.

– Быть не может! – вскричал Володыёвский, хватаясь за голову.

Оба Скшетуские и Заглоба замерли на месте.

– Как это случилось? Ради бога, рассказывай, а не то мы лопнем от нетерпения!

– Сил нет, – ответил Харламп, – я скакал день и ночь, устал до смерти. Подождите, вот приедет пан Чарнецкий, тогда все расскажу *ab ovo*[106], а сейчас дайте дух перевести.

– Так, так удалось-таки *Carolus*'у ускользнуть... А ведь я это предвидел. Как? Вы уже забыли, что я это предсказывал? Спросите Ковальского, он подтвердит.

– Верно, дядя предсказывал! – подтвердил Рох.

– И куда же пошел *Carolus*? – спросил Харлампа Володыёвский.

– Пехота поплыла на челнах, а сам он с кавалерией отправился берегом Вислы к Варшаве.

– Была битва?

– И была и не была. Короче, оставьте меня в покое, не могу я теперь

разговаривать.

– Еще одно слово: неужто Сапега разбит?

– Какое разбит! Целехонек, погнался за королем, да только разве Сапеге кого-нибудь догнать!

– Он такой же мастер гнаться, как немец поститься, – проворчал Заглоба.

– Слава богу, хоть войско цело! – заметил Володыёвский.

– Ну, отличились молодцы-литвины! – воскликнул Заглоба. – Ха! Делать нечего! Опять придется нам всем вместе заделывать дыры в нашей Речи Посполитой.

– Вы литовское войско не порочьте, – возразил Харлам. – Carolus знаменитый полководец, и проиграть ему стыд не велик. А вы, королевские, не проиграли разве под Уйстем? И под Вольбожем? И под Сулеёвом? И в десяти других местах? Сам Чарнецкий был побит под Голомбом! Диво ли, что и Сапегу побили, тем паче, что вы его бросили, и остался он один, как перст!

– А мы что, по-твоему, на бал ушли? – возмутился Заглоба.

– Знаю, что не на бал, а на бой, и господь послал вам победу. А только, кто его знает, может, лучше было вам и не ходить; говорят же у нас, что порознь наши войска можно разбить, хоть литовское, хоть польское, но вот когда они действуют заодно – сам дьявол им не страшен.

– Может, оно и верно, – сказал Володыёвский. – Но таково было решение вождей, и не нам о том судить. Все же, думается, и вы здесь не без вины.

– Не иначе, Сапегка сваял дурака, уж я его знаю! – сказал Заглоба.

– Спорить не стану! – буркнул себе под нос Харлам.

Какое-то время они молчали, только хмуро поглядывали друг на друга, размышляя о том, что счастье, кажется, вновь начинает изменять Речи Посполитой, а ведь еще так недавно все они полны были самых радужных надежд.

Вдруг Володыёвский сказал:

– Каштелян возвращается.

И вышел на улицу.

Каштелян в самом деле возвращался. Володыёвский побежал ему навстречу и еще издали стал кричать:

– Ваша милость! Шведский король одурачил литвинов и ушел! Прибыл рыцарь с письмами от воеводы виленского.

– Самого его сюда! – крикнул Чарнецкий. – Где он?

– У меня. Сейчас я его приведу.



Но Чарнецкий был так взволнован известием, что не стал дожидаться и, соскочив с коня, сам вошел в квартиру Володыевского.

При виде его все повскакали с мест, а он, едва кивнув им, потребовал:

– Письмо!

Харламп подал ему запечатанное послание. Каштелян подошел к окну, так как в комнате было темно, и начал читать, озабоченно хмуря брови. Время от времени глаза его загорались гневным огнем.

– Ох, сердит наш пан каштелян, – шепнул Скшетускому Заглоба, – взгляни, как у него рябины на лице покраснели; сейчас и шепелявить начнет, – он от злости всегда шепелявит.

Кончив читать, Чарнецкий сгреб бороду пятерней и довольно долго мял и крутил ее, погрузившись в раздумье; наконец он гнусаво, дребезжащим голосом произнес:

– А ну-ка братец, подойди поближе!

– К услугам вашего превосходительства!

– Говори правду! – сказал Чарнецкий внушительно. – Ибо эта реляция составлена столь искусно, что до сути не доберешься... Правду говори, ничего не смягчай: войско разбежалось?

– Никак нет, милостивый пан каштелян, не разбежалось.

– А сколько вам понадобится времени, чтобы вновь собрать его воедино?

Тут Заглоба шепнул Скшетускому:

– Гляди-ка, хитростью хочет взять.

Однако Харламп ответил, не колеблясь:

– Коли войско не разбежалось, то его и собирать незачем. Правда, к моему отъезду недосчитывалось ополченцев человек двести, и среди павших их тоже не нашли, но это дело обычное, для войска в том беды особой нет, и пан гетман в полном боевом порядке двинул все свои силы в погоню за королем.

– Пушек, говоришь, не потеряли ни одной?

– Нет, потеряли, и не одну, а четыре, их заклепали шведы, так как не могли забрать с собой

– Вижу, что говоришь правду. Теперь рассказывай все по порядку.

– ...Incipiam, – начал Харламп. – Остались мы, значит, одни, и тут неприятель обнаружил, что регулярных войск за Вислой нет, а стоят там лишь партизанские отряды да ватаги разгульные. Мы думали, вернее сказать, пан Сапега думал, что шведы станут атаковать тот берег, и даже послали туда подкрепление, правда, небольшое, чтобы самим не остаться без прикрытия. В лагере шведском шум, суматоха, точно в улье. Под вечер они толпами повалили к Сану. Мы как раз были у

воеводы на квартире. Приехал туда пан Кмициц, тот, что теперь зовется Бабиничем, кстати, славный боец, и рассказал. А пан Сапега как раз садился за стол, к нему на пир со всей округи шляхтинки съехались, даже из-под Красника и Янова... наш пан воевода питает слабость к прекрасному полу...

– И к пирам, – прервал его Чарнецкий.

– Меня при нем нет, вот и некому его призвать к воздержанности, – вмешался Заглоба.

А Чарнецкий ему на это:

– Быть может, вы с ним свидитесь раньше, чем ты, сударь, думаешь, тогда вместе будете воздерживаться. – И кивнул Харлампу: – Продолжай.

– Так вот, Бабинич, стало быть, доложил, а воевода отвечает: «Это они нарочно притворяются, будто хотят наступать! Ничего они не сделают. Скорее, говорит, они попробуют переправиться через Вислу, но я за ними слежу, и если что – сам выйду им навстречу. А пока, говорит, выпьем за наше здоровье и не будем портить себе удовольствия!» И стали мы есть и пить. А тут и музыка загремела и сам воевода открывает танцы.

– Ужо я ему задам танцы! – вставил Заглоба.

– Тише! – сердито сказал Чарнецкий.

– Меж тем с берега опять прибегают с донесением: шведы что-то сильно расшумелись. Воеводе все нипочем! Трах оруженосца по уху: «Не лезь, куда не просят!» Проплясали мы до рассвета, потом проспали до полудня. А как проснулись, видим – у шведов выросли мощные шанцы, а на шанцах стоят тяжелые пушки, картоуны[107], и постреливают время от времени. А уж ядра – не ядра, а целые ведра! Хлопнет такое одно – в глазах темно...

– Не балагурь, – одернул его Чарнецкий, – не с гетманом разговариваешь!

Харламп сильно смутился и продолжал так:

– В полдень выехал сам воевода, а шведы под прикрытием своих шанцев уже начали строить мост. Строили до самого вечера, и это нам показалось весьма удивительно, ну, думаем, построить они его построят, но ведь как им по нему перейти! На другой день смотрим, все строят. Тут уж и воевода начал готовить войска к бою, решив, что без баталии не обойдется...

– На самом же деле мост был только для отвода глаз, а переправились они ниже, по другому мосту, и ударили на вас с фланга? – прервал его Чарнецкий.

Харламп только вытаращил глаза и рот открыл от изумления; наконец он проговорил:

– Так вы уже получили донесение, ваше превосходительство?

– Что и толковать! – прошептал Заглоба. – В военном деле наш старик собаку съел, любой маневр разгадает, словно своими глазами видел!

– Продолжай! – приказал Чарнецкий.

– Наступил вечер. Войска стояли наготове, однако с первой звездой гетман снова сел пировать. Меж тем шведы в то же утро переправились по другому мосту, построенному ниже, и сразу пошли в наступление. Ближе всех к ним стоял со своей хоругвью Кошиц, отличный боец. Он и принял на себя удар. На помощь ему бросились ополченцы, стоявшие по соседству, но шведы пальнули по ним из пушек – они и давай бог ноги! Кошиц погиб, и людей у него порядочно перебили. А ополченцы гурьбой ворвались в лагерь, и вот тут-то и началась суматоха. Сколько было у нас готовых хоругвей, все пошли на шведа, да все без толку, мы еще и пушки потеряли. Будь у короля побольше артиллерии и пехоты, разбили бы они нас в пух и прах, но, на наше счастье, большинство его пеших полков вместе с пушками ушли ночью на челнах, а мы об этом и понятия не имели.

– Недоглядел Сапежка! Так я и знал! – воскликнул Заглоба.

– К нам в руки попало королевское письмо, которое обронули шведы, – сказал Харламп. – В нем, по словам читавших, говорится, будто король намерен пойти в Пруссию, взять там войска курфюрста и с ними вернуться назад, ибо, как он пишет, одними шведскими силами ему не обойтись.

– Знаю, – ответил Чарнецкий, – пан Сапега прислал мне это письмо. – И негромко, словно бы про себя, пробормотал: – Придется и нам за ним следом в Пруссию идти.

– А я что все время говорю? – подхватил Заглоба.

Чарнецкий задумчиво посмотрел на него, а вслух сказал:

– Не посчастливилось! Не успел я вовремя под Сандомир, а то бы вдвоем с гетманом никого оттуда живьем не выпустили... Ну ладно, что пропало, того не воротишь. Войне суждено продлиться, но рано или поздно придет ей конец, а с нею и нашим супостатам.

– Так и будет! – хором воскликнули рыцари.

И сердца их, перед тем исполненные сомнений, вновь загорелись надеждой.

Тут Заглоба торопливо шепнул что-то на ухо арендатору Вонсоши, тот исчез за дверью и через минуту вернулся, неся в руках жбан. Володыёвский низко поклонился каштеляну.

– Окажите великую милость своим верным солдатам... – начал он.

– Я охотно выпью с вами, – сказал Чарнецкий, – и знаете, по какому случаю? По случаю нашего с вами прощанья.

– Как так? – вскричал изумленный Володыёвский.

– Сапега пишет, что лауданская хоругвь принадлежит литовскому войску и послал он ее лишь сопровождать короля. А теперь она нужна ему самому, в особенности офицеры, коих у него большая нехватка. Друг мой Володыёвский, ты знаешь, как я тебя люблю, и тяжело мне с тобой расставаться, но в письме есть для тебя приказ. Правда, Сапега, как человек учтивый, прислал его мне, на мое усмотрение. Я мог бы его тебе и не показывать... Ну и ну, удружил мне пан гетман! Да лучше бы он мою самую острую саблю сломал... Однако ж именно потому, что Сапега полагается на мою

любезность, я отдаю этот приказ тебе. Вот он, возьми и исполни свой долг. За твое здоровье, сынок!

Володыёвский снова низко поклонился каштеляну и осушил кубок. Он был так опечален, что не мог вымолвить ни слова, а когда каштелян обнял его, по желтым усикам пана Михала ручьем потекли слезы.

– Лучше бы мне умереть! – горестно воскликнул он. – Я привык побеждать под твоим началом, мой возлюбленный вождь, а как там будет, еще неизвестно...

– Да плюнь ты, Михась, на приказ! – сказал взволнованный Заглоба, – Я сам напишу Сапезке и намылю ему голову.

Но пан Михал был прежде всего солдатом, поэтому Заглобе же от него и досталось:

– Эх, пан Заглоба, старая вольница! Молчи уж лучше, коли дела не понимаешь! Служба есть служба!

– То-то и оно! – заключил Чарнецкий.

#### ГЛАВА XI

Заглоба, представ перед гетманом, не ответил на радостное его приветствие, а заложил руки за спину, выпятил губы и устремил на Сапегу взор, полный справедливого негодования. Гетман, видя Заглобину мину и предвкушая потеху, обрадовался еще больше и тотчас заговорил:

– Как дела, старый плут? Ты что это носом крутишь, словно тут плохо пахнет?

– Кислой капустой пахнет по всему Сапегину стану!

– Капустой? Это отчего же, скажи на милость?

– Да, видно, от тех капустных кочнов, что шведы тут нарубили.

– Ишь ты! До чего же скор на укор! Жаль, что и тебя не зарубили!

– Тот, под чьим началом я служил, сам бьет врага, а своих под нож не подставляет.

– О, чтоб тебя... Хоть бы кто язык тебе отрезал!

– А чем бы я тогда прославлял Сапегины победы?

Понурился тут гетман и сказал:

– Эх, братец, оставь! И без тебя хватает таких, кто, позабыв все мои перед отчизной заслуги, измывается надо мной, как может. И долго еще люди будут меня осуждать, знаю сам, а ведь если б не злосчастные эти ополченцы, все могло обернуться иначе. Вот, говорят, Сапега за утренней трапезой неприятеля прозевал, а ведь с этим неприятелем не смогла справиться вся Речь Посполитая!

Слова гетмана несколько смягчили Заглобу.

– Таков уж наш обычай, – сказал он, – во всех неудачах первым делом винить

вождя. За трапезу порицать тебя не стану, перед трудным днем подкрепиться не грех. Пан Чарнецкий – великий воин, но, на мой вкус, есть у него один недостаток: войско свое он и на завтрак, и на обед, и на ужин кормит сплошь одной шведятиной. Конечно, воет он лучше, чем кухарит, а все же это нехорошо, – ведь от этой пищи и самому закаленному рыцарю скоро воевать расхочется.

– Чарнецкий, верно, крепко на меня сердит?

– Э!.. Не очень! Сначала, правда, пошумел, но как узнал, что войско цело, так сразу и сказал: «Ну, знать, такова воля божья! Ничего, говорит, с каждым может случиться; если б, говорит, все у нас были похожи на Сапегу, страна наша уподобилась бы родине Аристида».

– Я бы за Чарнецкого всю кровь свою отдал! – воскликнул гетман. – Другой рад был бы удвоить собственную славу ценою моего унижения, тем более после победы, которую сам только что одержал, но Чарнецкий не таков!

– Всем он хорош, слов нет, да только стар я уже для той службы, какой он требует от солдата, особенно же для купаний, которые он нам устраивал.

– Так ты рад, что вернулся ко мне?

– И рад и не рад, ибо разговоров про еду много, а самой еды что-то не видать.

– Сейчас сядем за стол. А что пан Чарнецкий намерен делать дальше?

– Пойдет в Великую Польшу, подсобит тамошним горемыкам, а оттуда двинется на Стенбока и в Пруссию – авось Гданьск даст ему пушек и пехоты.

– Гданчане – настоящие патриоты! Пример для всей Речи Посполитой! Ну, так мы встретимся с Чарнецким под Варшавой, я тоже туда пойду, вот только под Люблином придется немного задержаться.

– А что, его опять шведы заняли?

– Несчастный город! Уж и не знаю, сколько раз он побывал в руках неприятеля. Тут прибыла депутация от люблинской шляхты, сейчас придут просить, чтобы я их выручил. Но мне надо отправить письмо королю и гетманам, придется им подождать.

– В Люблин и я охотно пойду, уж очень там бабы хороши, гладкие да пышные. Даже каравай бесчувственный, и тот от удовольствия краснеет, когда этакая бабенка прижмет его к груди, чтоб нарезать!

– Экий турка!

– Ваша милость человек пожилой, вам это непонятно, а мне до сих пор каждый год в мае приходится кровь себе пускать.

– Да ведь ты постарше меня будешь!

– Старше лишь опытом, не годами, а что я сумел *conservare juventutem meam*[108], это верно, тут мне многие завидуют. Давайте, ваша милость, я сам приму депутацию, пообещаю, что мы скоро придем им на помощь, пусть утешатся бедные люблинцы, а потом мы и бедных люблянок утешим.

– Ладно, – сказал гетман, – а я пойду отправлять письма.

И вышел.

Тотчас впустили люблинскую депутацию, которую Заглоба принял с чрезвычайной важностью и достоинством, обещал помочь, однако поставил условие: люблинцы должны были снабдить войско провиантом, а главное – всевозможными напитками. Затем он пригласил их от имени воеводы на ужин. Послы были довольны, так как войска еще той же ночью выступили к Люблину. Гетман сам торопил и подгонял, так хотелось ему новыми военными успехами смыть с себя сандомирский позор.

Началась осада, но дело подвигалось медленно. Все это время Кмициц обучался фехтовальному искусству у Володыёвского и делал необычайные успехи. Пан Михал, зная, что эта паука обратится против Богуслава, открывал ученику все свои тонкости, без малейшей утайки. Нередко случалось им применять эти уроки и на практике, они вызывали из крепости шведов на поединок и порубили их великое множество. Вскоре Кмициц достиг такого совершенства, что не уступал самому Яну Скшетускому, а во всем Сапегиним войске не было никого, кто мог бы помериться силами со Скшетуским. И тут его обуяло такое страстное желание сразиться с Богуславом, что он едва мог усидеть под Люблином, тем более что с приходом весны к нему вернулись силы и здоровье.

Все его раны зажили, он перестал харкать кровью, в душе закипела прежняя удаль, и глаза засверкали прежним огнем. Лауданцы сначала косились на него, но задевать не смели, сдерживаемые железной рукой Володыёвского, позднее же, видя, каковы его поступки и дела, примирились с ним совершенно, и даже Юзва Бутрым, злейший его враг, говорил:

– Кмицица больше нет, есть Бабинич, а Бабинич пусть живет на здоровье!

Наконец, к величайшей радости всего войска, люблинский гарнизон сдался и Сапега двинулся к Варшаве. По дороге гетман получил донесение, что сам Ян Казимир вместе с гетманами и со свежими войсками спешит ему на помощь. Пришли вести и из Великой Польши, от Чарнецкого, который также спешил к столице. Войска, разбросанные по всей стране, теперь сходились к Варшаве, подобно тучам, разбросанным по небосводу, которые сходятся и соединяются в одну огромную тучу, готовую разразиться бурей, громами и молниями.

Сапега шел через Желехов, Гарволин и Минск[109] до седлецкого тракта, чтобы там соединиться с подляским ополчением. Ополченцев принял под свою команду Ян Скшетуский, который жил, правда, в Люблинском воеводстве, но близ границы с Подлясьем, и потому был хорошо известен тамошней шляхте, уважавшей в нем одного из самых славных рыцарей Речи Посполитой. И вскоре его стараниями из этой шляхты, воинственной от природы, образовались хоругви, ничем не уступавшие регулярной армии.

А покуда они скорым маршем двигались от Минска к Варшаве, стремясь дойти до Праги за один день. Погода благоприятствовала походу. Порой, неся прохладу и прибывая пыль на дороге, налетал легкий майский дождичек, а в общем погода была чудесная, не слишком жаркая, не слишком холодная. В прозрачном воздухе глаз видел далеко-далеко. От Минска войска шли налегке, обоз и пушки должны были выйти следом на другой день. В полках царило необычайное воодушевление; густые леса, обступавшие тракт с обеих сторон, наполнились эхом солдатских песен, лошади

фыркали, а это был добрый знак. Стройными рядами текли одна за другой хоругви, подобные могучей, сверкающей на солнце реке, шутка ли, двенадцать тысяч человек, не считая ополченцев, вел с собой Сапега. Ротмистры, гарцевавшие перед полками, сверкали начищенными доспехами. Пестрые знамена, похожие на огромные цветы, колыхались над головами бойцов.

Солнце заходило, когда лауданцы, шедшие в авангарде, завидели башни столицы. Из солдатских грудей вырвался радостный крик:

– Варшава! Варшава!

Точно гром, прокатился этот крик по хоругвям, и какое-то время по всей дороге только и слышно было:

– Варшава! Варшава!..

Многие из рыцарей Сапеги никогда не бывали в столице, и теперь ее вид произвел на них необыкновенное впечатление. Все невольно придержали коней; кто снял шапку, кто начал креститься; у многих хлынули слезы из глаз, и они стояли взволнованные, безмолвные. Внезапно из последних отрядов вылетел на белом коне Сапега и помчался вдоль всего войска.

– Друзья! – воскликнул он зычным голосом – Мы пришли первые! Нам выпало это счастье и честь!.. Изгоним же шведов из столицы!

– Изгоним!.. – подхватило двенадцать тысяч литовских глоток. – Изгоним! Изгоним! Изгоним!..

И поднялся шум и гам. Одни повторяли: «Изгоним!», другие уже кричали: «Бей, кому честь дорога!», третьи: «Вперед, изничтожим собак проклятых!» Лязг оружия сливался с воинственными кликами. Глаза загорались огнем, из-под грозных усов засверкали зубы. Сам Сапега вспыхнул, точно факел, взметнул кверху булаву и крикнул:

– За мной!

Близ Праги воевода приостановил хоругви и велел двигаться шагом. Столица все отчетливее рисовалась в синеватой дали. Длинный ряд башен вздымался в голубое небо. Многоярусные крыши Старого Мяста, покрытые красной черепицей, пылали в лучах вечернего солнца. Никогда в жизни не видели литвины такого великолепия, таких гордых, белых, испещренных узкими окнами стен, которые наподобие крутых уступов нависали над самой водой. Дома, казалось, вырастали один из другого, все выше и выше, и над всей этой массой заборов, стен, окон и крыш, тесно жавшихся друг к другу, устремлялись в небо стройные башни. Те, кто побывал уже в столице – на выборах короля или по своим делам, рассказывали остальным, где что стоит и как какое здание называется. Особенно распространялся перед своими лауданцами Заглоба, частый столичный гость, а лауданцы прилежно внимали его словам, дивясь всему, что видели и слышали.

– Взгляните вон на ту башню, что как раз посреди Варшавы, – говорил он. – Это *arx regia!*[110] Проживи я столько лет, сколько съел за королевским столом обедов, я посрамил бы самого Мафусаила. Я был у короля самым приближенным лицом; выбрать хорошее староство было для меня все равно, что орех раскусить, а раздавал я их налево и направо, не глядя. Многих я облагодетельствовал, а когда

входил куда-нибудь, все *senatores*[111] мне в пояс кланялись, по-казацки. Не раз случалось мне также биться перед королем на поединках, король любил смотреть на мою работу, и уж тут маршалу приходилось на это закрывать глаза[112].

– Экий домина! – сказал Рох Ковальский. – И подумать только, что везде здесь засели шведские собаки!

– И грабят страшно! – добавил Заглоба. – Говорят, они даже колонны, которые из мрамора либо другого дорогого камня, выламывают из стен и вывозят в Швецию. Не узнать мне теперь милых сердцу мест, а ведь многие *scriptores*[113] почитают, и справедливо, этот замок восьмым чудом света, ибо даже у французского короля дворец хоть и изрядный, а нашему в подметки не годится.

– А что это за башня рядом, с правой стороны?

– Это костел святого Яна. Из замка есть туда внутренний переход. В этом костеле было мне откровение. Раз после вечерни задержался я там и вдруг слышу голос из-под свода: «Заглоба, будет война с сукиным сыном шведским королем, и настанут великие *calamitates*»[114]. Помчался я во весь дух к королю и рассказываю, что слышал, а ксендз примас как огреет меня по шее своим посохом: «Не болтай вздора, ты был пьян!» Теперь вот получили... А другой костел, рядом с тем, это *collegium Iesuitarum*;<sup>[115]</sup> третья башня поодаль – это курия, четвертая, справа, – дворец маршала, а вон та зеленая крыша – это Доминиканский костел; всего не перечислишь, хоть целый час молоти языком, как саблей.

– Другого такого города, пожалуй, и в мире нет! – воскликнул один из солдат.

– Потому-то нам все народы и завидуют.

– А вон то чудесное здание налево от замка?

– За костелом бернардинцев?

– Ну да.

– Это *palatium*[116] Радзеёвских, а прежде – Казановских. Он считается девятым чудом света, только пропади он пропадом, из этих-то стен и пошли все беды Речи Посполитой.

– Как это? – раздалось несколько голосов.

– Начал пан подканцлер Радзеёвский с женой ссориться да свариться, а король возьми да заступись за нее. Люди, известное дело, стали об этом толковать, да и сам подканцлер решил, что жена его влюблена в короля, а король в нее: вот он от срама и убежал к шведам, так война и началась. Правда, меня тогда в городе не было, и как это кончилось, я не видел, знаю только по рассказам; но уж мне-то известно, что ее нежные взоры предназначались не королю, а кое-кому другому.

– Кому же?

Заглоба подкрутил ус.

– Тому, на кого все женщины летели, что мухи на мед, да только имени называть не хочу, хвастуны мне всегда были ненавистны... Что поделаешь, постарел человек,



постарел и весь облез, как метла, пока выметал врагов из отчины, а ведь когда-то не было кавалера красивее и любезнее меня, пусть Рох Ковальский подтвер... – Тут пан Заглоба сообразил, что Рох никоим образом не мог помнить те времена, а потому лишь рукой махнул и закончил: – Э, да где ему знать!

После этого он еще показал своим товарищам огромный дворец Оссолинских и Концепольских, который величиною почти равен был дворцу Радзеёвских, и, наконец, великолепную villa regia[117]. Тут солнце зашло, а вокруг стала сгущаться ночная тьма.

На варшавских стенах прогремел пушечный выстрел и протяжно запела труба, возвещающая приближение неприятеля.

Пан Сапега и сам объявил о своем прибытии пальбой из самопалов, дабы подбодрить жителей столицы, и в ту же ночь начал переправлять войско через Вислу. Первой переправилась лауданская хоругвь, за ней хоругвь Котвича, за нею татары Кмицица, потом хоругвь Ваньковича, всего восемь тысяч человек. И вот шведы, вместе со всею награбленной ими добычей, окружены и лишены всякого привоза, а Сапега вынужден стоять и ждать, когда подойдет с одной стороны Чарнецкий, а с другой – король с коронными гетманами; пока же остается лишь следить, чтобы в город не проникло подкрепление шведам.

Первым подал о себе весть Чарнецкий, но весть эта была нерадостная. Все его войско, люди и кони, так замучены, – писал каштелян, – что в настоящее время он не может принять участия в осаде. После битвы под Варкой он изо дня в день, без роздыха, бился с врагом, всего же за первые месяцы этого года дал шведам двадцать одно большое сражение, не считая мелких стычек и нападений на небольшие отряды. Пехоты на Поморье он не получил, до Гданьска добраться не смог, самое большее, что он обещал, это удерживать всеми силами стоящую подле Нарева шведскую армию, во главе с Радзивиллом, братом короля и Дугласом, которые намерены были двинуться на помощь осажденным.

Тем временем шведы с присущим им мужеством и искусством готовились к обороне. Прага была ими сожжена еще до прихода Сапеги, теперь они стали забрасывать гранатами все предместья – Краковское, Новый Свят, а также костелы святого Ежи и девы Марии. И запылали дома, дворцы и храмы. Днем дым клубился над городом густыми черными тучами. Ночью эти тучи озарялись красным светом, и из них вырывались, устремляясь к небу, снопы искр. Под стенами города блуждали толпы жителей, лишенных крова и куска хлеба; женщины окружали лагерь Сапеги и, плача, взывали к его милосердию. От голода люди высыхали, как щепки, младенцы умирали голодной смертью в объятиях изможденных матерей; поистине то была юдоль скорби и горя.

Сапега, не имея в своем распоряжении ни пехоты, ни пушек, все ждал и ждал, когда же подойдет король, а тем временем помогал, как мог, несчастным, рассылая их партиями в менее разоренные местности, где они могли хоть как-то прокормиться. Немало также он был озабочен трудностями предстоящей осады, ибо ученые шведские инженеры превратили Варшаву в могучую твердыню. За стенами сидели три тысячи отлично вымуштрованных солдат, руководимых толковыми, опытными генералами, да и вообще шведы славились как мастера по части осады и обороны всевозможных крепостей. Чтобы развеять свою тревогу, пан гетман каждый вечер задавал пиры, где вино лилось рекой, – был за Сапегой, достойным гражданином и недюжинным полководцем, этот грех: превыше всего ценил он веселую компанию и звон бокалов, порою ради пирушки пренебрегая даже службой.

Зато днем он своим усердием искупал все вечерние грехи. До самого заката он неутомимо рассылал патрули, отправлял письма, сам объезжал стражу, сам допрашивал пойманных языков. Но едва лишь загоралась первая звезда, из его квартиры уже неслись звуки скрипки, а стоило пану гетману разгуляться, тут он уж позволял себе все, – бывало, даже посылал и за теми офицерами, которых сам же назначил идти в дозор или на вылазку, и, если кто из них не являлся, был весьма недоволен, ибо любил, чтоб у него на пиру былолюдно. Заглоба по утрам пилил его за это, но по вечерам частенько Заглобу самого мертвецки пьяного приносили слуги на квартиру к Володыёвскому.

– Сапезка и святого совратит с пути истинного, – оправдывался он на другой день перед друзьями, – а уж меня, который всегда не прочь повеселиться, и подавно. Гетману почему-то особенно нравится потчевать меня вином, ну, а я, не желая показаться перед ним невежей, уступаю его настояниям, ибо не в моем обычае обижать хозяина. Но я уже дал обет, велю на рождественский пост покрепче лупить меня по спине плетью, я ведь и сам понимаю, что за распущенность положена епитимья. А пока придется не отставать от него, иначе он, того гляди, попадет в дурную компанию и окончательно собьется с толку.

Многие офицеры и без гетманского надзора честно несли свою службу, но некоторые по вечерам забывали о ней совершенно, как это обычно бывает с солдатами, переставшими чувствовать железную руку командира.

Неприятель не замедлил воспользоваться этим.

Однажды, за несколько дней до прибытия короля и гетманов, Сапега на радостях, что все войска собираются вместе и теперь начнется правильная осада, устроил особенно пышный пир. Приглашены были все самые именитые офицеры; пан гетман, радуясь законному поводу для веселья, объявил, что пир дается в честь короля. К Скшетуским, Кмицицу, Заглобе, Володыёвскому и Харлампу послан был даже нарочный с приглашением непременно явиться, так как гетман желает особо почтить их за их великие заслуги. Пан Анджей как раз садился на коня, он собирался в разъезд, и гетманский адъютант застал его татар уже за воротами.

– Неужели, ваша милость, ты нанесешь пану гетману такую обиду и заплатишь неблагодарностью за его доброту? – воскликнул офицер.

Кмициц спешил и пошел советоваться с товарищами.

– Уж очень мне это не кстати, – сказал он. – Около Бабиц, говорят, появился крупный конный отряд. Гетман сам же и велел мне ехать и разузнать, что это за люди, а теперь зовет на пир! Что делать?

– Пан гетман приказал в разъезд идти Акба-Улану, – ответил адъютант.

– Приказ есть приказ, – вмешался Заглоба, – и солдат обязан ему подчиняться. Смотри, не подавай дурного примера, да и к чему навлекать на себя недовольство гетмана, это опасно.

– Передай, что я буду! – сказал нарочному Кмициц.

Офицер ушел. Затем уехали и татары во главе с Акба-Уланом, а пан Анджей пошел принарядиться; одеваясь, он говорил товарищам:

– Сегодня пир в честь его королевского величества; завтра будет пир в честь их милостей панов коронных гетманов, и так до самого конца осады.

– Пусть только подойдет король, – это сразу кончится, – ответил Володыёвский, – хоть милостивый государь наш тоже, бывает, любит запить горе вином, однако при нем служба пойдет исправней, поскольку каждый, в том числе и Сапега, постарается выказать свое рвение.

– Слишком, слишком всего этого много, что и говорить! – сказал Ян Скшетуский. – Не странно ли вам именно у Сапеги, столь разумного и рачительного военачальника, столь честного человека и достойного гражданина, видеть такую слабость?

– Как вечер наступит, так он другой человек и из великого гетмана превращается в гуляку!

– А знаете, почему мне так не нравятся эти пиры? – промолвил Кмициц. – Потому что и Януш Радзивилл тоже имел обыкновение каждый вечер пировать. И представьте, удивительное совпадение: что ни пир, непременно или какая беда случится, или придут дурные вести, или откроется новая гетманская измена. Слепой ли это случай или промысел божий – не знаю, но только все беды сваливались на нас именно во время пира. Ей-богу, под конец до того дошло, что, чуть начнут накрывать на стол, нас, бывало, от страха прямо в дрожь кидает.

– Верно, черт подери! – подхватил Харлам. – Но это было еще и потому, что князь имел обыкновение как раз во время пира оповещать о своих тайных переговорах с врагами отчизны.

– Ну, – отозвался Заглоба, – уж в этом отношении нам за нашего Сапежку можно не опасаться. Уж он-то не изменит, голову даю на отсечение.

– Еще бы, тут и говорить нечего! Он душа благородная, совсем из другого теста! – воскликнул Володыёвский.

– А чего вечером недоглядит, исправит днем, – добавил Харлам.

– Ну, так идемте же, – сказал Заглоба, – а то, по правде говоря, я уже чувствую васишт[118] в брюхе.

Они вышли и, сев на коней, отправились к гетманской квартире, которая была с другой стороны города, довольно далеко. Подъехав ко двору, они увидели там множество коней и целую ораву державших их челядинцев, для которых была выставлена огромная бочка пива; челядинцы, перепившись, уже завели вокруг бочки, по обыкновению, свару. Впрочем, при виде подъезжавших рыцарей они попритихли, тем более что Заглоба принялся плашмя лупить саблей всех, кто попадался ему на пути, восклицая зычным голосом:

– К лошадям, бездельники! К лошадям! Вас тут на пир не приглашали!

Сапега, как обычно, принял друзей с расprostертыми объятиями и, будучи уже слегка навеселе, тотчас принялся поддразнивать Заглобу:

– Бью челом пану региментарию!

– Бью челом пану виночерпию! – отвечал Заглоба.

– А коли я виночерпий, то сейчас зачерпну тебе такого вина, что еще бродит!

– Не то вино опасно, которое бродит, а то, которое гетмана до беспамятства доводит.

Иные из гостей, слыша это, испугались, но Заглоба всегда давал волю языку, когда видел, что гетман в хорошем настроении, Сапега же питал к нему такую слабость, что не только не гневался, но веселился от души, призывая окружающих в свидетели того, как обходится с ним этот шляхтич.

И начался пир, веселый и шумный. Сам Сапега то пил за здоровье гостей, то провозглашал здравицу в честь короля, гетманов, в честь польского и литовского войска, в честь Чарнецкого и всей Речи Посполитой. Веселье росло, а с ним возрастал и всеобщий шум и гомон. После здравиц настала очередь песен. Пар от разгоряченных тел смешивался с винными парами. Не меньший шум стоял и во дворе, а вскоре послышался и лязг оружия. Это слуги схватились за сабли. Несколько шляхтичей выскочили во двор, желая призвать их к порядку, но неразбериха от этого только усилилась.

И вдруг раздались столь громкие крики, что даже пирующие в доме замолкли.

– Что это? – спросил кто-то из полковников. – Не челядь же это орет?

– А ну-ка, милые гости, потише! – сказал встревоженный гетман, прислушиваясь.

– Это не просто спьяну кричат!

Внезапно окна задрожали от орудийных раскатов и мушкетной пальбы.

– Атака! – крикнул Володыёвский. – Противник пошел в наступление!

– По коням! В сабли!

Все повскакали с мест. В дверях сделалась давка, затем толпа офицеров высыпала на майдан, крича вестовым, чтобы подавали лошадей.

Но в суматохе нелегко было найти своего коня, а тем временем из темноты неслись тревожные голоса:

– Неприятель наступает! Котвич под обстрелом!

И каждый, перескакивая в темноте через изгороди, сломя голову помчался к своей хоругви. Тревога быстро распространилась по всему лагерю. Не во всех хоругвях кони были под рукой, там-то и началось замешательство. Толпы пеших и конных солдат, крича и галдя, топтались в кромешной тьме, налетали друг на друга, не могли разобрать, где свои, где противник. Кто-то кричал уже, что это наступает шведский король со всею армией.

В самом деле, по хоругви Котвича неожиданно и с большой силой ударил шведский отряд. Котвич по причине недомогания, к счастью, на пир не пошел и потому смог сдержать первый натиск, но вскоре вынужден был отступить, так как численный перевес был на стороне нападающих, которые осыпали его огнем из мушкетов.

Первым к нему на помощь пришел Оскерко со спешившимися драгунами. На выстрелы шведов загремели ответные выстрелы. Но и драгуны Оскерко также не могли долго выдерживать натиск врага и вскоре начали поспешно отходить, устилая поле трупами. Дважды бросался Оскерко в бой, и дважды его драгуны, едва успевая отстреливаться, рассыпались по полю. Под конец шведы разметали их во все стороны и неудержимым потоком хлынули к гетманской квартире. Из города выходил полк за полком; шла и пехота, и кавалерия, выкатывались даже полевые пушки. Дело шло к генеральному сражению, которого, казалось, жаждал неприятель.

Между тем Володыёвский, выбежав из квартиры гетмана, застал свою хоругвь уже на ходу; она бросилась на выстрелы по первой тревоге, так как всегда находилась в боевой готовности. Вел ее Рох Ковальский, который не был на пиршестве, как и пан Котвич, но по иной причине, – его попросту не пригласили. Володыёвский велел спешно поджечь несколько сараев, чтобы осветить себе путь, и поскакал к месту боя. По дороге к нему присоединился Кмициц со своими грозными волонтерами и той частью татар, что не пошла в разъезд. Оба они подоспели как раз вовремя, чтобы спасти Котвича и Оскерко от полного разгрома.

К тому времени сараи хорошо разгорелись, и стало светло как днем. При свете пожара лауданцы, поддержанные Кмицицем, атаковали полк пехотинцев и, невзирая на огонь, пустили в ход сабли. На помощь своим бросились шведские рейтары и вступили в ожесточенную схватку с лауданцами. Какое-то время ни одна из сторон не могла взять верх, – так борцы, обхватив друг друга за плечи, собирают все свои силы, и то один, то другой пригибают противника к земле; но вскоре шведский строй стал сильно редеть и наконец сломался. Кмициц со своими рубаками бушевал в самой гуще боя; Володыёвский, как обычно, расчищал перед собой широкую просеку, плечо к плечу с ним трудились на кровавой ниве оба великана Скшетуских, и Харламп, и Рох Ковальский; лауданцы махали саблями наперегонки с бойцами Кмицица, одни – с неистовыми криками, другие, как, например, Бутрымы, разом наваливались на врага, не издавая ни звука.

На помощь дрогнувшим шведам поспешили новые полки, а Володыёвского и Кмицица поддержал Ванькович, который стоял неподалеку от них и также быстро изготовился к бою. А тут и гетман бросил наконец в бой все остальное войско и ударил на врага как следует. По всему пространству от Мокотова до самой Вислы закипела жестокая битва.

К гетману подскакал на покрытом пеной коне Акба-Улан, который ходил в разъезд.

– Эфенди! – крикнул он. – От Бабиц к городу чамбул идет, с ними целый обоз, хотят в город пробраться!

В мгновение ока Сапега понял, что означала вылазка врага в сторону Мокотова. Шведы хотели отвлечь войска, стоявшие на блонском тракте, дабы конное подкрепление и обоз с провиантом могли проникнуть в стены города.

– Скачи к Володыёвскому! – крикнул он Акба-Улану. – Пусть лауданцы, Кмициц и Ванькович отрежут им путь, а я сейчас пришлю им людей на подмогу!

Акба-Улан стегнул коня; за ним следом поскакал второй гонец, а за вторым и третий. Все они доскакали до Володыёвского и передали ему приказ гетмана.

Володыёвский немедленно повернул свою хоругвь; тотчас догнал его, проломив

неприятельские ряды, Кмициц с татарами, и они поскакали вместе, а Ванькович за ними.

Но они опоздали. Почти двести повозок уже въезжало в ворота, а отряд превосходной тяжелой артиллерии, замыкавший обоз, почти весь уже находился под прикрытием крепостных пушек. Лишь аррьергард, около сотни человек, был еще в открытом поле. Но и они мчались во весь опор, подгоняемые криками скакавшего сзади офицера.

Вдруг Кмициц, разглядев рейтар при свете горящих сараев, так страшно и пронзительно вскрикнул, что рядом кони шарахнулись в испуге. Он узнал конников Богуслава, тех самых, которые учинили расправу над ним и его татарами под Яновом.

Не помня себя, он пришпорил коня, опередил всех своих и как бешеный врезался во вражеские ряды. К счастью, оба молодых Кемлича, Косьма и Дамиан, под которыми были отличные кони, кинулись следом за ним. В тот же миг Володыёвский молниеносно вклинился сбоку и одним движением отрезал аррьергард от основных сил отряда.

На стенах загремели пушки, но большая часть отряда, бросив своих товарищей на произвол судьбы, уже влетела вслед за обозом в крепость. Тут же люди Кмицица и лауданцы окружили тесным кольцом отставших, и началась беспощадная резня.

Но длилась она недолго. Люди Богуслава, видя, что помощи ждать неоткуда, мигом поспрыгивали с коней и побросали оружие, крича истощенными голосами: «Сдаемся!» – и заботясь лишь о том, чтобы их услышали в этой свалке.

Ни волонтеры, ни татары не обращали на их вопли внимания и продолжали рубить, пока не раздался грозный и пронзительный крик Володыёвского, которому нужен был язык.

– Живьем брать! Эге-гей! Живьем брать!

– Живьем брать! – подхватил Кмициц.

Лязг железа утих. Вязать пленных приказали татарам, и они с обычной своей сноровкой сделали это в мгновение ока, после чего хоругви спешно стали уходить из-под артиллерийского огня.

Полковники двинулись к горящим сараям. Впереди шли лауданцы, а сзади люди Ваньковича, Кмициц с пленными – посередине; все в полной боевой готовности на случай возможного нападения. Часть татар вела на арканах пленных, другие вели на поводу захваченных коней. Около сараев Кмициц стал внимательно разглядывать пленных, проверяя, нет ли среди них Богуслава. Хоть ему и поклялся один рейтар, которому он приставил кинжал к груди, что самого князя не было в отряде, пан Анджей все еще надеялся – а ну как его скрывают?

Но тут из-под татарского стремени раздался чей-то голос:

– Пан Кмициц! Полковник! Мы знакомы, спаси меня. Прикажи развязать, слово чести, что не убегу!

– Гасслинг! – воскликнул Кмициц.

Гасслинг был шотландец, в прошлом офицер в одном из кавалерийских отрядов князя воеводы виленского; Кмициц знал его по Кейданам и в свое время очень любил.

– Пусти пленника! – крикнул он татарину. – И долой с коня!

Татарина точно ветром сдуло, он знал, как опасно мешкать, когда приказывает «багадыр».

Гасслинг, кряхтя, взобрался на высокое татарское седло.

Вдруг Кмициц схватил его за руку, так стиснул, точно хотел раздавить, и стал лихорадочно спрашивать:

– Откуда едете? Тотчас говори, откуда едете! Ради бога, скорее!

– Из Таурогов! – ответил офицер.

Кмициц еще сильнее сжал его руку.

– А... панна Биллевич... там?

– Там!

Пан Анджей говорил все с большим трудом, потому что все крепче стискивал зубы.

– И... что князь с нею сделал?

– Ничего не добился.

Наступило молчание, потом Кмициц снял рысий колпак, провел рукою по лбу и тихо промолвил:

– Ранили меня в этом бою, кровь идет, и ослабел я...

## ГЛАВА XII

Шведская вылазка достигла цели лишь частично; благодаря ей отряд Богуслава вошел в город, но сама по себе она особого значения не имела. Правда, хоругвь Котвича и драгуны Оскерко понесли изрядные потери, но и шведов было перебито немало, а один полк пехоты, тот, который атаквали Володыёвский с Ваньковичем, был почти полностью уничтожен. Литвины уверяли даже, что неприятель понес больший урон, чем они сами; один лишь Сапега терзался, опасаясь, что этот новый «конфуз» может сильно повредить его репутации. Верные полковники гетмана утешали его, как могли, да, правду сказать, урок этот пошел ему на пользу, впредь он уже не предавался веселью столь беспечно, а если и бражничал порой, то не иначе, как удвоив и утроив дозоры. Шведы попали впросак уже на следующий день: уверенные, что гетман не ожидает так скоро повторного нападения, они снова вышли за городские ворота, но были сразу отброшены и, потеряв несколько человек убитыми, воротились назад.

Тем временем на квартире гетмана допрашивали Гасслинга. Пан Анджей чуть не умер от нетерпения, так ему хотелось поскорей увести офицера к себе и расспросить о Таурогах. Он целый день вертелся вокруг гетманской квартиры, то и дело входил, слушал ответы пленного и едва мог усидеть на скамье, когда упоминалось имя

Богуслава.

Вечером он получил приказ идти в разъезд. Ничего не сказал пан Анджей, только зубы стиснул; это был уже не прежний Кмициц, – теперь он научился жертвовать своими желаниями ради общего блага. Он лишь понукал немилосердно своих татар и в приступе беспричинного гнева так молотил направо и налево буздыганом, что кости трещали. А татары, решив промез себя, что «багадыр», видать, взбесился, притихли, как кролики, и только смотрели в глаза своему грозному предводителю и на лету угадывали его мысли.

По возвращении пан Анджей нашел Гасслинга уже у себя, но тот был так слаб, что не мог говорить. Его сильно покалечили, когда брали в плен, а потом еще целый день допрашивали, и теперь он лежал в горячке и не понимал даже, чего от него хотят.

Пришлось Кмицицу удовольствоваться тем, что рассказал ему присутствовавший при допросе Заглоба, но это все были дела государственные, не приватные. О Богуславе молодой офицер говорил лишь, что после возвращения из похода на Подлясье и яновского поражения тот тяжело болел. От злости и меланхолии с ним сделалась лихорадка, когда же здоровье князя поправилось, он тотчас двинулся с войском на Поморье, куда его спешно призвали Стенбок и курфюрст.

– А теперь он где? – допытывался Кмициц.

– По словам Гасслинга, – а лгать ему нет нужды, – князь вместе с братом короля и Дугласом стоит укрепленным лагерем между Наревом и Бугом. Богуслав командует у них всей кавалерией, – ответил Заглоба.

– Ха! И они, конечно, думают прийти сюда, на помощь Карлу. Ну, так мы встретимся, как бог свят, если понадобится, хоть бабой переряжусь, а до Богуслава дойду.

– Не кипятись понапрасну! Они и рады бы прийти на помощь Варшаве, да не могут, на пути у них стоит Чарнецкий. И вот какое дело: Чарнецкий, не имея ни пехоты, ни пушек, не может ударить по шведскому лагерю, а шведы боятся выйти к нему навстречу, так как убедились, что в открытом поле их солдат против Чарнецкого не совладеет. Знают они также, что и река не может служить им защитой. Будь с ними сам король, он дал бы сражение, под его командой, вдохновляемые верой в своего великого вождя, и солдаты дерутся лучше; но ни Дуглас, ни брат короля, ни князь Богуслав на это не решатся, хоть храбрости ни одному из них не занимать.

– А где король?

– Пошел в Пруссию. Король не ожидает, чтобы мы осмелились так скоро покуситься на Варшаву и на Виттенберга. Впрочем, ожидает ли, нет ли, все равно он вынужден был пойти туда по двум причинам: во-первых, он хочет окончательно переманить на свою сторону курфюрста, пусть даже ценою всей Великой Польши, а во-вторых, войско его, которое он вывел из окружения, ни к чему не пригодно, пока не отдохнет. Лишения, бессонные ночи и постоянные тревоги так их измотали, что у солдат мушкеты валяются из рук, – а ведь это отборнейшие шведские полки, которые побеждали во всех битвах с немцами и датчанами.

Тут разговор их был прерван появлением Володыёвского.



- Ну, как Гасслинг? – спросил он с порога.
- Болен и бредит, несет бог весть что, – ответил Кмициц.
- А тебе, Михась, чего от него надо? – обратился Заглоба к Володыёвскому.
- Будто сам не знаешь!
- Как не знать! Небось все о той вишенке беспокоишься, которую князь Богуслав посадил в своем саду. Он садовник прилежный, не сомневайся! Не пройдет и года, как вишенка принесет плоды.
- Вот так утешил, старый хрен, чтоб тебе пусто было! – вскричал маленький рыцарь.
- Экий ты, братец! От самой невинной iocus[119] сразу усики торчком, точно тебе бешеный майский жук. Я-то чем виноват? С Богуслава взыскивай, не с меня!
- Даст бог, и взыщу!
- Вот и Бабинич только что это говорил! Скоро все войско на него ополчится, как я погляжу; но он человек осмотрительный, без моей хитрости вам его не одолеть.
- Тут оба молодых офицера вскочили на ноги.
- Что, уже какую-нибудь шутку удумал?
- Ишь ты! Вам кажется, что они выскакивают у меня из головы с такой же легкостью, как ваши сабли из ножен? Будь Богуслав здесь, я бы и не одну шутку придумал, но князь далеко, его ни хитростью взять, ни пушкой достать. Прикажи-ка, пан Анджей, подать мне чарку меду, что-то нынче жарко.
- Дам и целую бочку, только придумай что-нибудь.
- Во-первых, чего вы привязались к этому несчастному Гасслингу, над душой у него стоите? Не один он взят в плен, можете и других допросить.
- Я их допрашивал, да что возьмешь с простого солдата, ничего они не знают, а он все-таки офицер, при дворе был, – ответил Кмициц.
- Верно! – молвил Заглоба. – Надо и мне с ним потолковать. Пусть расскажет мне, что князь за человек и каков его нрав, сообразуясь с этим, я и думать буду. Главное, поскорее бы покончить с осадой, а затем мы наверняка выступим против той армии. Но что это наш милостивый государь с гетманами долго не идут?
- Ошибаешься, пан Заглоба, – возразил маленький рыцарь. – Я как раз от гетмана, который только что получил сообщение, что его величество с гвардейскими хоругвями еще сегодня прибудет сюда, а гетманы с регулярным войском подойдут завтра. Они от самого Сокаля следовали большими переходами почти без отдыха. Да ведь мы уже несколько дней, как поджидаем их с минуты на минуту.
- А много ли с ними войска?
- Почти в пять раз больше, чем у пана Сапеги, и пехота с ними отличная, русская

и венгерская[120]; идет также и шесть тысяч ордынцев под командой Субагази-бея, только с них, говорят, глазу спускать нельзя, больно уж они бесчинствуют и народ обижают.

– Вот бы пана Анджея к ним командиром! – сказал Заглоба.

– Что ж, – ответил Кмициц, – только я не стал бы держать их под Варшавой, – они для осады не годятся, – а сразу повел бы их к Бугу и Нареву.

– Ну, не скажи, – заметил Володыёвский, – кто лучше них уследит, чтобы крепость не снабжалась провиантом?

– Эх, и зададим мы жару Виттенбергу! Погоди же, старый разбойник! – вскричал Заглоба. – Воевал ты славно, этого у тебя не отнять, а грабил и обирал еще лучше; две глотки у тебя было; одна сладко пела, давая лживые клятвы, а другая издавала приказы в нарушение этих клятв; но теперь тебе и обеими сразу не вымолить снисхождения. Кожа у тебя свербит от французской болезни, как ни лечат лекари – уж мы тебя полечим, еще пуще засвербит! Тому порукой Заглобина голова!

– Да, как же! А он отдастся на милость короля – и ничего ты ему не сделаешь! – возразил пан Михал. – Мы же еще и честь ему должны будем отдавать!

– На милость короля? Вот как? – вскричал Заглоба. – Ну хорошо же!

И с такой силой грохнул кулаком по столу, что Рох Ковальский, который как раз входил в горницу, испугался и замер на пороге.

– Да я скорей в батраки наймусь к жидовинам, – надрывался старик, – чем выпущу из Варшавы этого святотатца, этого осквернителя костелов, этого погубителя невинности и чистоты, этого палача, не щадившего ни мужа, ни жены, этого поджигателя, мошенника, этого потрошителя, что с тебя и деньги слупит, и всю кровь по капле выцедит, этого вымогателя и живодера! Ладно же! Король его под честное слово отпустит, гетманы под честное слово отпустят, но я, не будь я Заглоба, не будь я католик, не будь мне три жизни счастья, а по смерти прощения, коли не устрою против него бучу! Да такую, какой в Речи Посполитой не слыхивали! Не маши рукой, пан Михал! Устрою бучу! Говорю вам, устрою бучу!

– Дядя бучу устроит, – прогудел Рох Ковальский.

Тут в дверь просунулась зверская рожа Акба-Улана.

– Эфенди! – обратился он к Кмицицу. – За Вислой видны королевские войска!

Все вскочили и выбежали наружу.

В самом деле, это прибыл король. Первыми подошли татарские хоругви под командой Субагази-бея, правда, было их меньше, чем ожидали. За ними показалось королевское войско, многочисленное, отлично вооруженное, а главное, полное боевого задора. До вечера вся армия прошла через только что возведенный паном Оскерко мост. Сапега встречал короля, выстроив свои хоругви в боевом порядке, одну подле другой, так что они образовали сплошную длинную стену, конец которой терялся вдаль. Перед полками стояли ротмистры, рядом с ними – знаменосцы с развернутыми знаменами; трубы, литавры, рога, барабаны производили грохот неописуемый. Королевские хоругви одна за другой переходили мост и также в полном

боевом порядке становились напротив литовских; между теми и другими оставалось пустое пространство в сто шагов.

И вот на эту пустую площадь вышел, пеший, с булавою в руках, Сапега; за ним следовало десятка два самых знатных воинских и гражданских сановников. Навстречу ему со стороны коронных войск подъехал король верхом на великолепном могучем жеребце, подаренном ему еще в Любове маршалом Любомирским; король был в боевом облачении, из-под легкого голубого панциря с золотыми узорами виднелся черный бархатный кафтан, кружевной воротник которого выложен был поверх панциря; правда, голову короля вместо шлема прикрывала обычная шведская шляпа с черными перьями, однако на руках у него были боевые рукавицы, а на ногах длинные, выше колена, светло-коричневые сапоги.

Следом за ним ехали нунций, архиепископ львовский, епископ каменецкий, епископ луцкий, ксендз Цецишовский, воевода краковский, воевода русский, барон Лисола, граф Петтинген, каштелян каменецкий, посол московский, генерал артиллерии Гродзицкий, Тизенгауз и многие другие. Сапега, как некогда коронный маршал, хотел было припасть к королевскому стремени, но не успел; король легко спрыгнул с коня, подбежал к Сапеге и молча обнял его.

Обнял и долго прижимал его к груди, а оба войска смотрели на них; король продолжал молчать, лишь слезы ручьем катились по его лицу, ибо он обнимал своего самого верного слугу. Слугу, который хоть и не мог сравниться с другими гением, хоть и ошибался порой, но честностью своей затмевал всех прочих магнатов Речи Посполитой; слугу, который был верен беззаветно, который, не раздумывая, пожертвовал всем своим состоянием и с самого начала войны грудью встал на защиту государя своего и отчизны.

Литвины, опасавшиеся вначале, как бы Сапеге не досталось за то, что он выпустил Карла из-под Сандомира, и за недавнюю промашку под Варшавой, и ожидавшие по меньшей мере холодного приема, теперь, видя такую сердечность, столь радостно приветствовали своего доброго государя, что казалось, это гром прокатился по небу. Королевские солдаты все, как один, ответили не менее оглушительными кликами, и какое-то время не слышно было ни оркестра, ни рокота барабанов, ни треска выстрелов, а только возгласы:

– Vivat Ян Казимир!

– Vivat коронные войска!

– Vivat литвины!

Так встретились под Варшавой два войска Стены дрожали, а за стенами дрожали шведы.

– Сейчас зареву! Ей-богу, зареву! – восклицал растроганный Заглоба. – Не выдержу! Вот он, государь наш! Вот он, наш отец! Смотрите, я уже плачу! Отец!.. Еще столь недавно король наш скитался в изгнании, всеми покинут, а ныне... ныне сто тысяч сабель готовы в бой по его слову! О боже милосердный!.. Слезы душат... Вчера изгнанник, а сегодня... Такого войска нет и у немецкого цесаря!

Тут слезы, словно прорвав плотину, хлынули у Заглобы из глаз, и он стал громко всхлипывать; потом вдруг обернулся к Роху:

– Тише! Чего реवेशь?

– А сами вы, дядя, разве не ревете?

– Реву, честное слово, реву!.. Право же, стыдно мне было за нашу Речь Посполитую... Но теперь я ее ни на какую другую не променяю!.. Сто тысяч всадников, как из-под земли. Попробовали бы другие этак! Слава богу, опомнились! Слава богу, слава богу!..

Заглоба не намного ошибся, так как под Варшавой действительно собралось около семидесяти тысяч человек, не считая дивизии Чарнецкого, которая еще не подошла, и всяческой армейской прислуги, которая во время боя тоже бралась за оружие и которой в обоих войсках было бессчетное множество.

Поздоровавшись и наскоро осмотрев литовское войско, король, ко всеобщему восторгу, поблагодарил людей Сапеги за верную службу, а затем поехал в Уяздов[121]; войска же заняли назначенные позиции. Некоторые хоругви остались на Праге, другие разместились вокруг города. Огромный обоз переправлялся через Вислу вплоть до следующего дня.

Назавтра окрестности города забелели от шатров, казалось, снег покрывает землю, на окрестных лугах ржали неисчислимые табуны лошадей. За войском тянулись купцы – армяне, евреи, татары; рядом с осажденным городом на равнине вырос другой, еще более обширный и шумный.

Шведы, пораженные видом огромной армии польского короля, в первые дни не устраивали никаких вылазок, так что артиллерийский генерал Гроздицкий мог спокойно объезжать город и составлять план осады.

На следующий день по его указаниям прислуга начала насыпать шанцы; на них временно устанавливали легкие пушки, так как тяжелые должны были подойти через несколько недель.

Король Ян Казимир послал к старому Виттенбергу парламентаров, предлагая ему сдать город и сложить оружие, причем на столь выгодных условиях, что это возбудило недовольство в войске. Больше всего возмущался и будоражил других Заглоба, питавший к вышепоименованному генералу особенную ненависть.

Виттенберг, как легко было предвидеть, отверг предложенные условия и решил защищаться до последней капли крови, предпочитая погибнуть под развалинами города, чем отдать его королю. Многочисленность осаждающих войск ничуть не пугала его: он знал, что излишнее количество их при осаде скорее помеха, чем подмога. Очень скоро ему донесли также, что в польском лагере нет ни одного осадного орудия, тогда как у шведов их было более чем достаточно, не говоря уже о неистощимых запасах пороха и снарядов.

Да, собственно, в том, что шведы будут яростно защищаться, не сомневался никто. Ведь Варшава служила им складом добычи. Несметные сокровища, награбленные в замках, костелах, монастырях и городах всей Речи Посполитой, свозились в столицу, откуда их по частям переправляли на судах в Пруссию и дальше, в Швецию. Теперь же, когда возмущение охватило всю страну и в замках, охраняемых небольшими шведскими гарнизонами, стало небезопасно, в Варшаву свозили награбленного добра еще больше. А шведский солдат охотнее расставался с жизнью, чем с добычей. Эти нищие, дорвавшиеся до сокровищ богатого края, так

распоясались, что свет не видел грабителей более алчных. Сам король прославился своей жадностью, генералы следовали его примеру, а всех их превосходил Виттенберг. Там, где можно было пожить, офицеры забывали и рыцарскую честь, и приличествующее командирам достоинство. Брли, вымогали, грабили все, что только попадалось под руку. В самой Варшаве полковники высокого чина и благородного происхождения не стыдились продавать водку и табак собственным солдатам, набивая мошну их жалованьем.

В Варшаве сидели теперь взаперти именитейшие шведские военачальники, и это также должно было побуждать шведов к упорной обороне. Прежде всего, был там сам Виттенберг, второй после Карла полководец и первый, кто вступил в пределы Речи Посполитой и победой под Уйстем способствовал ее падению. За это в Швеции его ждал триумф победителя. Кроме него, в городе находился канцлер Оксеншерна, известный в целом свете политик, за свою честность уважаемый даже врагами. Его называли королевской Минервой, поскольку именно его советам Карл был обязан всеми своими успешными переговорами. Были также генералы: Врангель-младший, Горн, Эрскин, Левенгаупт-второй, а кроме того, множество высокородных шведских дам, что приехали вслед за мужьями в этот край, словно в свое новое поместье.

Итак, шведам, было что защищать. Король Ян Казимир понимал, что осада, особенно при отсутствии тяжелых орудий, будет долгая и кровопролитная; понимали это и гетманы, но войско было иных мыслей. Едва пан Гродзицкий кое-как насыпал шанцы, едва подвел их поближе к стенам, как к королю потянулись одна за другой депутации от хоругвей, чтобы он разрешил добровольцам идти на штурм. Долго королю пришлось объяснять им, что саблями крепостей не добывают, прежде чем удалось слегка умерить их пыл.

А пока решено было, насколько возможно, ускорить осадные работы. Войско, которому не дали идти на штурм, со всем жаром трудилось бок о бок с лагерною прислугой. Шляхта из самых прославленных хоругвей, – да что там! – даже офицеры возили тачки с землей, таскали ивняк для постройки фашинов, рыли подкопы. Не раз шведы пытались помешать работам, дня не проходило без вылазки, но едва шведские мушкетеры показывались в воротах, как поляки, работавшие на шанцах, бросали тачки, связки хворосту, лопаты, кирки и так яростно кидались на врага с саблями в руках, что неприятель вынужден был с величайшей поспешностью отступать за крепостные стены. Народу в этих стычках гибло множество, рвы и пустыри вплоть до самых шанцев усеяны были могилами, где хоронили убитых в краткие минуты затишья. Под конец уже и времени не стало на погребенье, – трупы валялись прямо на земле, и исходившее от них ужасное зловоние проникало в город и в лагерь осаждающих.

Несмотря на величайшие трудности, в королевский лагерь каждый день пробирались горожане, сообщая, что делается в городе, и на коленях умоляя поспешить со штурмом. У шведов еще были съестные припасы, но жители умирали с голоду на улицах, изнывали от лишений и произвола, чинимого шведским гарнизоном. Каждый день из города доносилось эхо выстрелов, – это, как передавали беженцы, расстреливали горожан, подозреваемых в сочувствии своему королю. Волосы вставали дыбом от их рассказов. По словам беженцев, все население – больные, женщины, младенцы, старики, – ночует на улицах, так как шведы повыгоняли их из их жилищ, а в домах пробили от стены к стене проходы, чтобы в случае, если в город войдут королевские войска, было где укрыться и куда отступить шведскому гарнизону. Бездомные жители мокли под дождем, в ясные дни их жгло солнце, по ночам терзал холод. Костры разводить запрещалось, не на чем было сварить хоть немного горячей пищи. В городе свирепствовали различные болезни, унося сотни жертв.

У короля сердце рвалось на части от этих рассказов, и он слал гонца за гонцом, дабы ускорить прибытие тяжелых пушек. Но время шло, проходили дни, недели, а поляки все только отражали вражеские вылазки, не в силах сделать ничего более. Одно лишь подбадривало осаждающих: должны же были и у шведов кончиться запасы продовольствия, а все дороги были перекрыты так, что и мышь не могла бы проскользнуть в крепость. Кроме того, осажденные с каждым днем теряли надежду на приход подкрепления; ближайшая к Варшаве армия Дугласа не только не могла поспешить на помощь, но вынуждена была заботиться о собственной шкуре, ибо король Ян Казимир, имея сил более чем достаточно, сумел и Дугласу связать руки.

В конце концов поляки, не дожидаясь прихода тяжелых орудий, начали обстреливать крепость из малых. Гродзицкий, подкапываясь, словно крот, со стороны Вислы, подвел свои земляные валы на расстояние шести шагов от крепостного рва и принялся неустанно поливать огнем несчастный город. Роскошный дворец Казановских был разрушен, и его не жалели, так как он принадлежал изменнику Радзеёвскому. Растрескавшиеся стены, в которых зияли пустые глазницы окон, едва держались; на великолепные террасы и сады день и ночь обрушивались ядра, разрушая чудесные фонтаны, мостики, беседки, мраморные статуи и пугая павлинов, которые жалобно кричали, сетуя на свою злосчастную судьбу.

Гродзицкий обстреливал и колокольню бернардинцев, и Краковские ворота, ибо решил начать штурм с этой стороны.

Тем временем лагерная прислуга стала просить, чтобы ей разрешили напасть на город, – очень уж хотелось челядинцам первыми добраться до шведских сокровищ. Король сначала отказал, но в конце концов согласился. Несколько именитых офицеров вызвались возглавить атаку, и между ними Кмициц, который отчаянно страдал от безделья, да и вообще себе места не находил по той причине, что тяжело больной Гаслинг уже несколько недель лежал без памяти и ни о чем не мог говорить.

Итак, был объявлен штурм. Гродзицкий противился ему до последней минуты, уверяя, что, пока не сделан пролом в стене, город взять не удастся, даже если в атаку пойдет не только прислуга, но и регулярная пехота. Однако король уже дал свое позволение, и генералу пришлось уступить.

Пятнадцатого июня собралось около шести тысяч челядинцев; были приготовлены лестницы, связки хвороста, мешки с песком, крючья, и к вечеру толпа, вооруженная по большей части одними саблями, начала стягиваться в то место, где подкопы и земляные валы ближе всего подступали ко рву. Когда совсем стемнело, солдаты по команде с дикими воплями бросились ко рву и принялись засыпать его. Бдительные шведы встретили их убийственным огнем из мушкетов и пушек, и яростная битва закипела по всей восточной окраине города. Солдаты под прикрытием темноты в мгновение ока забросали ров фашинами и беспорядочной толпой ринулись прямо под стены. Кмициц с двумя тысячами человек напал на выстроенный перед Краковскими воротами шведский редут, который поляки прозвали «кротовой норой», и, несмотря на отчаянное сопротивление взял его с одного подступа. Всех его защитников изрубили в куски. Часть пушек пан Анджей приказал навести на ворота, а часть на соседние стены, чтобы прикрыть огнем осаждающих, которые пытались взобраться на них.

Тем, однако, не так посчастливилось. Челядинцы приставляли к стенам лестницы и лезли на них с отчаянной смелостью, впору хоть бы и первоклассной пехоте, но шведы, укрытые за стенами, стреляли в упор, сбрасывали вниз приготовленные

заранее камни и бревна, под тяжестью которых осадные лестницы разлетались в щепки, а пехотинцы спихивали штурмующих своими длинными копьями, против которых сабли были бессильны.

Более пяти сотен самых отважных челядинцев полегли у стен. Остальные под непрекращающимся огнем отступили за ров и укрылись в польских окопах.

Атака была отбита, но редут остался в руках у поляков. Тщетно шведы всю ночь напролет осыпали его огнем из самых тяжелых орудий. Кмициц также целую ночь отстреливался из пушек, которые здесь же и захватил. Лишь под утро, когда стало светать, шведы разбили их все до единой. Виттенберг, дороживший этим редутом, как зеницей ока, выслал пехоту с приказом не возвращаться, пока он не будет отбит у врага, но Гродзицкий немедля доставил Кмицицу подкрепление, и тот не только отразил атаку шведской пехоты, но кинулся за ней следом и гнал ее вплоть до самых Краковских ворот.

Гродзицкий был так обрадован, что лично побегал к королю с донесением.

– Государь! – сказал он. – Вчера я противился штурму, но сегодня вижу, что труды не пропали даром. Пока этот редут находился в руках неприятеля, я никак не мог подобраться к воротам, а теперь пусть только подойдут стенобитные пушки – в одну ночь сделаю пролом.

Король, который был опечален, что погибло столько храбрых ратников, обрадовался словам Гродзицкого и спросил:

– А кто командует этим редутом?

– Бабинич! – ответило несколько голосов.

Король хлопнул в ладоши.

– И тут он первый! Ну, генерал, этого кавалера я знаю. Это упрямец, каких мало, и шведам его оттуда не выкурить!

– С нашей стороны было бы непростительной оплошностью допустить это, государь, – ответил Гродзицкий. – Я уже послал ему пехоты и пушек, потому что выкуривать его оттуда шведы будут, можно не сомневаться. Судьба всей Варшавы поставлена на карту! Этого рыцаря на вес золота можно ценить.

– Он и большего стоит! Ведь это не первый его подвиг и не десятый! – ответил король.

А затем велел немедля подать себе коня и подзорную трубу и поехал посмотреть на редут. Однако разглядеть ничего нельзя было, так как редут был окутан дымом; полтора десятка орудий непрерывно осыпали его огнем, в него летели ядра, гранаты, жестянки с картечью. А расположен он был близко от ворот, чуть ли не на расстоянии мушкетного выстрела, так что гранаты были видны отлично: они взлетали кверху белыми облачками, описывали в воздухе крутую дугу и, упав в тучу дыма, со страшным треском разрывались на мелкие куски. Многие гранаты перелетали через шанец и там взрывались, не давая подойти польскому подкреплению.

– Во имя отца, и сына, и святого духа! – вскричал король. – Тизенгауз! Смотри!

– Ничего не видно, государь!

– Да ведь там скоро ничего и не останется, кроме кучи изрытой земли! Ведь это верная гибель! Тизенгауз, ты знаешь, кто там засел?

– Знаю, государь, Бабинич! Ну, если он уцелеет, то сможет сказать, что заживо побывал в аду.

– Надо ему еще людей послать, генерал!

– Приказ уже отдан, но им трудно подступиться, гранаты перелетают через редут и рвутся все время с этой стороны.

– Палите из всех пушек по стенам, дабы отвлечь неприятеля!

Гродзицкий пришпорил коня и помчался к шанцам. Через минуту по всей линии загремели пушки, а спустя короткое время свежий отряд мазурских пехотинцев вышел из окопов и бросился бегом к «кротовой норе».

Король все стоял и смотрел. Наконец он воскликнул:

– Надо бы дать передышку Бабиничу! Кто из вас, ваши милости, вызовется сменить его?

В ту минуту при государе не было ни Скшетуских, ни Володыёвского, и какое-то время все молчали.

– Я! – отозвался вдруг Топор Грылевский, шляхтич из легкой конной хоругви примаса.

– Я! – подхватил Тизенгауз.

– Я, я, я! – раздались сразу десятка два голосов.

– Кто первый вызвался, тот пусть и идет! – решил король.

Топор Грылевский перекрестился, осушил манерку и поскакал.

А король все стоял и смотрел на дымы, тучей накрывшие «кротовую нору» и наподобие моста тянувшиеся от нее вверх, до самых стен. Редут лежал ближе к Висле и отлично был виден с высоты крепостных стен, оттого и огонь был так ужасен.

Тем временем гром пушек приутих, хотя гранаты по-прежнему описывали кривые; зато мушкетные выстрелы загрохотали так, как будто сотни здоровенных мужиков разом замолотили цепями.

– Должно быть, снова пошли в атаку, – заметил Тизенгауз. – Если бы дым немного рассеялся, мы увидели бы пехоту.

– Подъедем ближе, – сказал король и тронул поводья.

За ним двинулись остальные, и так они проехали вдоль берега Вислы от Уяздова почти до самого Сольца, а поскольку дворцовые и монастырские сады, сбегавшие к



Висле, были еще зимою вырублены шведами на дрова и ничто не заслоняло кругозора, то отсюда можно было и без подзорной трубы разглядеть, что шведы действительно возобновили атаку.

– Я скорей согласился бы сдать эту позицию, чем потерять Бабинича, – сказал вдруг король.

– Бог охранит его! – молвил ксендз Цецишовский.

– И пан Гродзицкий не замедлит послать подкрепление! – добавил Тизенгауз.

Тут разговор был прерван появлением какого-то всадника, который во весь опор скакал к ним со стороны города. Тизенгауз, обладавший острым зрением и невооруженным глазом видевший лучше, чем иные в подзорную трубу, схватился за голову и воскликнул:

– Грылевский возвращается! Значит, Бабинич погиб и редут захвачен противником!

Король закрыл глаза руками; тем временем Грылевский подскакал, осадил коня и, еле переводя дух, закричал:

– Государь!

– Что там? Он убит? – спросил король.

– Бабинич говорит, что ему там хорошо и замены ему не надо, он просит только прислать поесть, – у них с самого утра маковой росинки во рту не было!

– Значит, жив?! – воскликнул король.

– Говорит, что ему хорошо! – повторил Грылевский.

Тут все, опомнясь от изумления, стали восклицать:

– Ай да рыцарь!

– Ай да удалец!

А потом Грылевскому:

– Эх, надо было все-таки остаться и непременно его сменить. И не стыдно было скакать назад? Труса, видать, спраздновал! Уж лучше бы и не вызывался!

А Грылевский на это:

– Государь! Тому, кто называет меня трусом, я готов ответить в любую минуту и любым оружием, но перед своим королем я обязан оправдаться. Я побывал в самой «кротовой норе», на что, может, решился бы не каждый из тех, что здесь стоят, да мне же еще и досталось от Бабинича. «А проваливай ты, говорит, братец, ко всем чертям! Я тут делом занят, из кожи, говорит, вон лезу, некогда мне с тобой разговаривать. Сам, говорит, командовать буду, сам и славу добуду, делиться ни с кем не желаю. Мне тут, говорит, хорошо, я тут и останусь, а тебя велю вывести за валы! Чтоб тебе, говорит, провалиться! Нам жрать охота, а они командира вместо еды присылают!» Что мне оставалось делать, государь! Я даже его злости не

удивляюсь, – они от усталости прямо с ног падают!

– Ну, и как? – спросил король. – Удержится он там?

– Такая отчаянная голова? Где он только не удержится! Забыл сказать, что еще мне вдогонку вот что крикнул: «Я и неделю здесь просижу, не дамся, лишь бы еда была!»

– А можно ли там высидеть?

– Государь, там сущее светопреставление! Гранаты рвутся одна за другой, осколки чертовы так и свищут мимо ушей, земля вся изрыта, дым глотку забивает! От ядер песок, дерн так и сыплется, знай отряхивайся, не то завалит. Погибло их там много, а кто жив остался, лежат в окопах, наделали себе из кольев загородки, укрепили их землей и за ними укрываются. Шведы очень тщательно строили этот редут, а теперь он обратился против них же. Еще при мне подошла пехота пана Гродзицкого, и теперь там опять сражение.

– Раз нельзя идти на стены, пока нет пролома, – сказал король, – то мы сегодня же ударим по дворцам Краковского предместья; это вернее всего отвлечет шведов.

– Дворцы также сильно укреплены, это теперь настоящие крепости, – заметил Тизенгауз.

– Но из города к ним на помощь никто не поспешит, шведы всю свою ярость устремили на Бабинича, – возразил король. – И мы это сделаем, клянусь жизнью, мы это сделаем! Мы пойдем на приступ сейчас же, дайте только я Бабинича благословлю.

С этими словами король взял из рук ксендза Цецишовского золотое распятие, в которое были вделаны кусочки святого креста, вознес его кверху и стал крестить далекий редут, окутанный огнем и дымом, повторяя:

– Боже Авраама, Исаака и Иакова, смилуйся над народом твоим и спаси погибающих! Аминь! Аминь! Аминь!

### ГЛАВА XIII

Начался штурм Краковского предместья со стороны Нового Свята; кровопролитный и не слишком успешный, он, однако, достиг своей первой цели, то есть отвлек внимание шведов от редута, где засел Кмициц, и позволил его людям перевести дух. Поляки, впрочем, продвинулись до самого Казимировского дворца, но удержать его не смогли.

С другой стороны они ударили на дворец Данилловичей и на Гданьский дом и также отступили. Опять погибло несколько сот человек. Одно лишь утешало короля: он видел, что даже ополчение с небывалой отвагой и самоотвержением рвется на стены и что эти попытки, хоть и не вполне удачные, не только не обескуражили его бойцов, но, напротив, укрепили в них уверенность в победе.

Но самым радостным событием тех дней явился приход Яна Замойского и Чарнецкого. Первый привел из Замостья великолепную пехоту и тяжелые орудия, равных которым у шведов в Варшаве не было. Второй, как было уговорено с Сапегой, оставил часть литовских войск и подлясского ополчения под командой Яна Скшетуского караулить армию Дугласа, а сам прибыл в Варшаву, чтобы принять участие в генеральном

штурме. Все надеялись, – и Чарнецкий тоже разделял эту уверенность, – что этот штурм будет последним.

Тяжелые пушки были установлены на редуте, захваченном Кмицицем, и тотчас принялись обстреливать стены и ворота, с первых же залпов заставив умолкнуть шведские единороги. Тогда эту позицию занял сам генерал Гродзицкий, а Кмициц вернулся к своим татарам.

Не успел он доехать до своей квартиры, как его вызвали в Уяздов. Король в присутствии всего штаба вознес молодого рыцаря до небес; не скупилась на похвалы и сам Чарнецкий, и Сапега, и Любомирский, и коронные гетманы. А он стоял перед ними в разорванной, обсыпанной землей одежде, с почерневшим от порохового дыма лицом, невыспавшийся, измученный, но счастливый, что удержал редут, заслужил столько похвал и снискал великую славу у обоих войск.

Поздравляли его вместе с другими и Володыёвский, и пан Заглоба.

– Ты даже не знаешь, пан Анджей, – сказал ему маленький рыцарь, – как сам король тебя почитает. Вчера пан Чарнецкий взял меня с собой на военный совет. Говорили о штурме, а потом о только что присланных донесениях из Литвы, о тамошней войне и о бесчинствах, творимых Понтусом и шведами. Стали советоваться, как бы там подлить масла в огонь, а Сапега и говорит: «Лучше бы всего послать туда несколько хоругвей и человека, который сумеет стать для Литвы тем, чем в начале войны был для Великой Польши Чарнецкий». А король в ответ: «Такой у нас есть только один – Бабинич». И все тотчас согласились.

– В Литву, а особенно на Жмудь, я поеду с величайшей охотой, – ответил Кмициц. – Я и сам собирался просить об этом короля, хочу лишь дождаться, пока возьмем Варшаву.

– Генеральный штурм назначен на завтра, – сказал, подходя к ним, Заглоба.

– Знаю, а как себя чувствует Кетлинг?

– Кто это? Гасслинг, что ли?

– Это одно и то же, у него два имени, как принято у англичан, шотландцев и у многих других народов.

– Да, в самом деле, – ответил Заглоба. – А у испанца на каждый день недели другое имя. Твой вестовой сказал мне, что Гасслинг, он же Кетлинг, уже здоров; разговаривать начал, ходит, и лихорадка его прошла, только есть поминутно просит.

– А ты к нему заходил? – спросил Кмициц маленького рыцаря.

– Не заходил, некогда было. До того ли тут перед штурмом!

– Так пойдемте сейчас!

– Ступай-ка выпишь сначала! – сказал Заглоба.

– Да, верно! Я едва на ногах стою!

И пан Анджей, придя к себе, последовал совету Заглобы, тем более что и Гасслинга застал спящим. Зато вечером его навестили Заглоба с Володыёвским, и друзья расположились в просторном шалаше, который татары построили для своего «багадыра». Кемличи разливали старый, столетний мед, присланный Кмицицу королем, и они пили его с превеликой охотой, потому что погода стояла жаркая. Гасслинг, еще бледный и изнуренный, черпал, казалось, живительную силу в драгоценном напитке. Заглоба только причмокивал и отирал пот со лба.

– Гей! И грохочут же эти пушки! – промолвил, прислушавшись, молодой шотландец. – Завтра вы пойдете на приступ... Хорошо тому, кто здоров! Благослови вас бог! Я не вашей крови и служил тому, кому нанимался, но желаю победы вам. Ах, что за мед! Прямо новая жизнь в меня вливается...

Так говорил он, отбрасывая со лба свои золотистые волосы и подымая к небу голубые глаза; а лицом он был совсем еще мальчик и дивно хорош собой. Заглоба даже умилился, глядя на него.

– Хорошо ты, пан рыцарь, говоришь по-польски, не хуже любого из нас. Стань поляком, полюби нашу отчизну – достойное дело сделаешь, а и меду будешь пить, сколько пожелаешь! Ты солдат, и король наш охотно примет тебя в подданные.

– Тем более что я дворянин, – ответил Гасслинг. – Полное мое имя: Гасслинг-Кетлинг оф Элджин. Моя семья ведет свое происхождение из Англии, хоть и осела в Шотландии.

– Это все края далекие, заморские, здесь человеку как-то приличнее жить, – заметил Заглоба.

– А я не жалею. Мне здесь хорошо!

– Зато нам плохо! – объявил Кмициц, который с самого начала беспокойно ерзал по скамье. – Нам не терпится услышать, что творилось в Таурогах, а вы тут разглагольствуете, кто откуда родом.

– Спрашивайте, я буду отвечать.

– Часто ли ты видел панну Биллевич?

На бледном лице Гасслинга вспыхнул и погас слабый румянец.

– Каждый день, – ответил он.

А пан Кмициц тотчас стал смотреть на него с подозрением.

– Откуда вдруг такая дружба? Ты чего покраснел? Каждый день? Это почему же – каждый день?

– Потому что она знала, что я желаю ей добра, и я кое в чем помог ей. Но это вы поймете из моего рассказа, а сейчас начну с самого начала. Вам, быть может, это неизвестно, но меня не было в Кейданах, когда приехал князь конюший и увез панну Биллевич в Тауроги. Как это случилось, не знаю, люди толковали по-разному, одно скажу: едва они приехали, все сразу заметили, что князь влюблен без памяти.

– Да покарает его господь! – вскричал Кмициц.

– Началось веселье, какого свет не видал, всякие турниры, состязания с кольцами... Можно было подумать, что кругом царит мир и спокойствие; а между тем в Тауроги что ни день летели письма, приезжали гонцы от курфюрста, от князя Януша. Мы знали, что князь Януш, теснимый Сапегой и конфедератами, заклинает ради всего святого прийти к нему на помощь, иначе он погибнет. А нам хоть бы что! У курфюрста на границе стоят в готовности войска, капитаны подходят, ведя с собою рекрутов, а мы все ни с места, князь никак не может расстаться с девицей.

– Так вот отчего Богуслав не шел на помощь брату, – заметил Заглоба.

– Ну да. То же и Патерсон говорил, и все приближенные князя. Некоторые роптали, а другие радовались, что Радзивиллы погибнут. Все дела за князя делал Сакович, он и на письма отвечал, и с посланниками совещался, князь же всю свою изобретательность прилагал лишь к тому, чтобы устроить какое-нибудь увеселение, либо конную кавалькаду, либо охоту. Деньгами сорил – это он-то, скупец, – налево и направо, лес приказал на целые мили вырубить, чтобы вида из ее окошек не портил, – словом, поистине устилал ее путь розами, такой пышный прием ей устроил, что хоть и шведской принцессе впору. И многие жалели девушку, говорили даже: «Горе ей, к добру все это не приведет, ведь жениться-то князь на ней не женится; едва лишь он завладеет ее сердцем, тут она и погибла». Но оказалось, что эта девушка не из таких, кого можно совратить с пути добродетели. О нет!

– Еще бы! – подхватил Кмициц, вскочив с места. – Уж мне-то это известно, как никому другому!

– Ну и как же панна Билевич принимала эти королевские почести? – спросил Володыёвский.

– Сначала благосклонно, хоть и заметно было, что на душе у нее нерадостно. Она ездила на охоту, на прогулки, бывала на маскарадах и турнирах, полагая, видимо, что таков принятый при дворе князя обычай. Но вскоре она поняла, что все это затевалось ради нее. А тут князь, не зная, какое бы еще развлечение придумать, решил потешить панну Билевич зрелищем войны. Подожгли деревню близ Таурогов, пехота защищала ее, князь атаковал. Разумеется, он одержал великую победу и собрал обильную дань похвал, после чего, рассказывают, упал к ногам своей дамы и просил разделить его чувства. Неизвестно, что он ей там proposuit[122], только с той поры их дружбе пришел конец. Она день и ночь не отходила теперь от своего дяди пана мечника россиенского, а князь...

– Стал угрожать ей? – вскричал Кмициц.

– Где там! Стал наряжаться греческим пастушком, Филемоном; нарочные поскакали в Кенигсберг за моделями пастушеских одежд, за лентами и париками. Князь изображал отчаяние, ходил под ее окнами и играл на лютне. Но вот что я вам скажу, и скажу то, что думаю: князь человек бессердечный и всегда был лютым врагом девичьей добродетели, у меня на родине о таких людях говорят: «От его вздохов не один девичий парус порвался», – но на сей раз он и вправду влюбился; и неудивительно, ибо панна Билевич скорее подобна богине, нежели простой смертной.

Тут Гаслинг снова покраснел, но пан Анджей ничего не заметил, так как в эту минуту, подбоченившись от гордости и удовольствия, он торжествующе смотрел на Заглобу и Володыёвского.

– Это верно, она вылитая Диана, только месяца в волосах недостает, – сказал маленький рыцарь.

– Что Диана! Собственные псы облаяли бы Диану, если б увидели панну Биллевич! – воскликнул Кмициц.

– Потому я и сказал «неудивительно», – ответил Гаслинг.

– Ну, ладно! Да только я бы его за эту наглость на медленном огне поджарил, я бы его за эту наглость железными подковами подковал...

– Полно, братец, полно, – прервал пана Анджея Заглоба, – доберись-ка до него сначала, тогда и куражься, а теперь пусть рыцарь рассказывает дальше.

– Не раз я стоял на страже у дверей его спальни, – продолжал Гаслинг, – и слышал, как он ворочался в постели и все вздыхал, все разговаривал сам с собой, все шипел, словно от боли, – так его, видно, похоть донимала. Изменился он страшно, высох весь; может, тогда и зародился в нем тот недуг, что овладел им позже. Меж тем по всему двору разошелся слух, что князь совсем обезумел от любви – жениться хочет. Дошел этот слух и до княгини, супруги князя Януша, которая жила с княжной в Таурогах. Начались тут ссоры да раздоры, потому что, как вам известно, Богуслав по уговору должен был взять в жены дочь Януша, ждали только, когда она войдет в возраст. Но любовь так завладела его сердцем, что он позабыл обо всем на свете. Вне себя от гнева княгиня с дочерью уехала в Курляндию, а князь в тот же самый вечер попросил руки панны Биллевич.

– Попросил руки?! – вскричали в изумлении Заглоба, Кмициц и Володыёвский.

– Да! Сначала у мечника, который изумился не менее вас и собственным ушам не верил, а когда наконец поверил, чуть с ума не сошел от радости, – ведь породниться с Радзивиллами большая честь для Биллевичей. Правда, Патерсон говорил, что между ними и так есть какое-то родство, но давнее и забытое.

– Дальше, дальше! – торопил Кмициц, дрожа от нетерпения.

– Затем они оба со всей приличествующей случаю торжественностью отправились к панне Александре. Весь двор трясло как в лихорадке. От князя Януша пришли плохие вести, прочитал их один Сакович, впрочем, никто на них не обращал внимания, да и на Саковича тоже, – он в это время попал в немилость за то, что отговаривал от женитьбы. А у нас одни толковали, что-де Радзивиллам не впервой жениться на шляхтянках, что в Речи Посполитой все шляхтичи равны между собой, а род Биллевичей уходит корнями еще в римские времена. Так говорили те, кто хотел заранее втереться в милость к будущей госпоже. Другие же уверяли, что со стороны князя это просто уловка, чтобы сблизиться с девушкой и при случае сорвать цветок невинности, – жениху с невестой, как известно, многое дозволено.

– Вот, вот, так оно и было! Не иначе! – заметил пан Заглоба.

– Я тоже так думаю, – сказал Гаслинг, – но слушайте дальше. Итак, двор гудит от пересудов, как вдруг гром с ясного неба: стало известно, что девушка отказала наотрез, – и конец всем домыслам.

– Благослови ее господь! – вскричал Кмициц.

– Наотрез отказала, – продолжал Гаслинг. – Стоило посмотреть князю в лицо, на нем так и написано было. Он, которому уступали принцессы, не привык к сопротивлению и теперь чуть не обезумел. Опасно было попадаться ему на глаза. Мы все понимали, что долго так продолжаться не может, и раньше или позже князь применит силу. И в самом деле, назавтра схватили мечника и отвезли во владения курфюрста, в Тильзит. В тот же день панна Александра упросила офицера, стоявшего на страже у ее дверей, дать ей заряженный пистолет. Офицер не отказал ей, ибо, как дворянин и честный человек, питал сострадание к несчастной даме и восхищался ее красотой и твердостью.

– Кто этот офицер? – воскликнул Кмициц.

– Я, – сухо ответил Гаслинг.

Пан Анджей так стиснул его в объятиях, что молодой шотландец, еще не окрепший после болезни, охнул от боли.

– Нет! – воскликнул Кмициц. – Ты не пленник мой, ты мой брат, друг! Проси, чего только хочешь! Ради бога, скажи, чего ты хочешь?

– Дух перевести, – ответил Гаслинг, задыхаясь.

И замолк, лишь пожимал протянутые к нему руки Володыёвского и Заглобы; наконец, видя, что все горят нетерпением, он стал рассказывать дальше:

– Кроме того, я предупредил ее, что княжеский медик – мы все об этом знали – готовит какие-то одурманивающие декокты и настои. К счастью, опасения наши оказались напрасными, ибо в дело вмешался промысл божий. Коснувшись князя своим перстом, господь поверг его на одр недуга, с которого князь не вставал целый месяц. Чудо, истинное чудо: князь свалился как подкошенный в тот самый день, когда хотел покуситься на невинность панны Билевич. Никто как бог, говорю вам, никто как бог! Сам князь подумал так же и устрасился, а может, недуг умерил его нечистые вожеления или он ждал, когда к нему вернуться силы, – так или иначе, но, придя в себя, он оставил девушку в покое и даже разрешил мечнику вернуться из Тильзита. Князю стало лучше, но лихорадка треплет его и по сей день. К тому же он, едва оправившись, вынужден был выступить под Тыкоцин, где потерпел поражение. Вернулся все еще с лихорадкой, и еще более сильной, и тут же его призвал к себе курфюрст... А тем временем в Таурогах произошли такие перемены, прямо и смех и грех! Одно скажу, теперь князю нельзя положиться на верность своих офицеров и придворных, разве что на самых старых, которые и не довидят и недослышат, а от них толку мало.

– Что ж там такое случилось? – спросил Заглоба.

– Во время тыкоцинского похода, еще до поражения под Яновом, была захвачена и прислана в Тауроги некая панна Анна Борзобогатая-Красенская.

– Вот те и на! – вскричал Заглоба.

А Володыёвский заморгал, грозно зашевелил усиками и наконец проговорил:

– Только смотри, пан рыцарь, не смей говорить о ней ничего дурного, не то, как выздоровеешь, будешь иметь дело со мной.

– Дурного я о ней сказать ничего не могу, даже если б и захотел, а только если она твоя невеста, то плохо ты ее бережешь, ваша милость, если же родственница, ты, должно быть, и сам хорошо ее знаешь и отрицать моих слов не станешь. Так вот, за одну неделю эта девица влюбила в себя всех поголовно, и старых и молодых, а чем она этого достигла, ей-богу, не знаю, видно, чарами какими-то, лишь знай глазками постреливала.

– Она! Я ее и в аду признал бы по этим приметам! – проворчал Володыёвский.

– Странное дело! – сказал Гасслинг. – Ведь панна Билевич красотой ей не уступит, но она так величава, так неприступна, точно игуменья какая, и человек, благоговей и восхищаясь, не смеет глаз на нее поднять, а уж надежду возыметь и подавно. Согласитесь сами, разные бывают девушки: одна словно античная весталка, а другая – едва взглянул, и уже хотел бы...

– Милостивый государь! – грозно остановил его Володыёвский.

– Не кипятись, пан Михал, он правду говорит! – сказал Заглоба. – Сам подле нее ногами перебираешь, точно молодой петушок, и глаза заводишь, а что она любит головы кружить – это мы все знаем, ты и сам чуть не сто раз повторял.

– Оставим этот предмет, – проговорил Гасслинг. – Я только хотел объяснить вам, почему в панну Билевич влюбились лишь некоторые, те, кто сумел оценить ее поистине несравненные совершенства (тут он снова вспыхнул), а в панну Борзобогатую почти все. Ей-богу, смех брал, люди словно очумели. А уж ссор, поединков было – не счесть. И за что? Чего ради? Ведь правду сказать, ни один не мог похвастаться взаимностью у девушки, и каждый лишь слепо верил, что раньше или позже именно он добьется успеха.

– Она, она вылитая! – снова проворчал Володыёвский.

– Зато обе девушки душевно полюбили друг друга, – продолжал шотландец, – одна без другой ни шагу, а поскольку панна Борзобогатая распоряжается в Таурогах, как у себя дома...

– Это почему же? – прервал его маленький рыцарь.

– А потому, что все у нее под каблуком. Сакович даже в поход не пошел, так влюбился, а Сакович в княжеских владениях полновластный хозяин. Через него панна Анна и правит.

– Вот как? До того влюблен?

– И более всех надеется на взаимность, ибо он и сам по себе весьма важная персона.

– Как, говоришь, его зовут? Сакович?

– А ты, сударь, хочешь, видно, его получше запомнить?

– Ну... разумеется! – бросил Володыёвский небрежно, но при этом так зловеще шевельнул усиками, что у Заглобы мурашки побежали по спине.

– Так вот, одно лишь скажу вам: если бы панна Борзобогатая потребовала от



Саковича, чтобы он изменил князю и помог ей с подругой бежать, тот наверняка согласился бы без колебаний; но она, насколько мне известно, предпочитает обойтись без помощи Саковича, может, назло ему, как знать... Во всяком случае, один офицер, мой земляк (только не католик), открыл мне, что отъезд пана мечника с девушками дело решенное, в заговоре участвуют все офицеры, все уже устроено, и скоро они должны бежать.

Тут Гасслинг начал ловить воздух ртом, он очень устал и терял последние силы.

– Это и есть главное, что я должен был вам сообщить! – прибавил он торопливо.

Володыёвский и Кмициц за головы схватились.

– Куда они собираются бежать?

– В леса и лесами пробираться в Беловежскую пушу. Ох, дышать печем!..

Дальнейший разговор был прерван появлением адъютанта Сапеги, который вручил Володыёвскому и Кмицицу по листочку сложенной вчетверо бумаги. Едва Володыёвский развернул свою, он тут же воскликнул:

– Завтра в дело! Приказ занимать позиции!

– Слышите, как режут орудия? – закричал Заглоба.

– Наконец-то! Завтра! Завтра!

– Уф! Жарко! – сказал пан Заглоба. – Плохо идти на приступ в такую погоду... Чертова жарница! Мать божья... Многие остынут завтра, хоть бы и в невесть какую жару, но только не те, не те, кто отдается под твое покровительство! Заступница наша... Ну, и гремят же проклятые. Стар я, стар крепости штурмовать... то ли дело бой в открытом поле.

В это время в дверях появился еще один офицер.

– Есть ли тут пан Заглоба? – спросил он.

– Я здесь!

– По приказу короля вы завтра должны оставаться при его величестве.

– Ха! Хотят меня от штурма уберечь, знают ведь, что старый боевой конь, едва слышит трубу, первый рванется вперед... Добрый у нас государь, памятный, не хотелось бы мне его огорчать, а только не знаю, выдержу ли, – ведь я как разойдусь, обо всем забываю, иду напролом... Таков уж я от природы!.. Добрый у нас государь!.. Слышите, уже и трубы трубят, пора по местам. Ну, завтра, завтра! Придется завтра и святому Петру потрудиться, уже, должно быть, готовит свои списки... А в аду котлы со свежей смолой на огонь поставили, шведов смолить... Уф! Уф! Завтра!..

#### ГЛАВА XIV

Первого июля между Повонзками и предместьем, получившим впоследствии название Маримонта, отслужили большую полевую службу для десяти тысячного королевского войска, которое выслушало ее в торжественном молчании. Король дал обет построить

в случае победы костел пречистой деве Марии. Его примеру последовали все, каждый сообразно своим возможностям: знать, гетманы, рыцари, даже простые солдаты, – каждый давал какое-нибудь обещание, ибо в этот день они шли на решающий приступ.

По окончании молебна военачальники развели свои войска по местам. Сапега стал напротив костела Святого духа, который в то время находился вне стен города, но представлял собою выгодную военную позицию, а потому шведы основательно укрепили храм и поставили на его защиту крупный воинский отряд. Пану Чарнецкому предстояло захватить Гданьский дом, задняя стена которого составляла часть крепостных стен, так что, пробив ее, можно было попасть в город. Петр Опалинский, подлясский воевода, с великополянами и мазурами должен был ударить со стороны Краковского предместья и Вислы. Королевские полки стояли напротив Новомейских ворот. Народу было едва ли не больше, чем места на подступах к стенам; все пространство вокруг, все окрестные деревушки, поля и луга затоплены были морем людей; в тылу за войсками белели шатры, за шатрами тянулись повозки – и так до самого горизонта, где взгляд терялся в синей дымке, не в силах охватить берегов этого моря.

Все ратники стояли в полном боевом порядке, держа оружие наперевес и выдвинув вперед ногу, готовые в любую минуту броситься к проломам, которые сделают в стенах крупнокалиберные пушки и особенно тяжелые орудия Замойского. Орудия гремели не переставая, и штурм откладывался лишь потому, что ждали окончательного ответа Виттенберга на письмо, посланное великим канцлером Корицинским. Но вот около полудня приехал офицер с ответом. Виттенберг отказался. Тотчас вокруг города грозно затрубили трубы, и штурм начался.

Коронные войска во главе с гетманами, ратники Чарнецкого, королевские полки, пехота Замойского, литвины Сапеги и сонмища ополченцев хлынули на стены, точно волны разлившейся реки. А со стен их встретили струями белого дыма и огненного дождя: большие пушки, аркебузы, картечницы, мушкеты загрели все разом; земля содрогнулась до самых основ. Ядра молотили по толпе, пропахивали в ней длинные борозды, но она катилась вперед и рвалась к твердыне, не боясь огня и смерти. Облака порохового дыма скрыли солнце.

И каждый с бешеной яростью ударил туда, где ему было ближе всего – гетманы от Новомейских ворот, Чарнецкий по Гданьскому дому, Сапега с литвинами по костелу Святого духа, а мазуры и великополяне со стороны Краковского предместья и Вислы.

Последним выпала на долю самая трудная работа, ибо все дворцы и дома Краковского предместья были обращены в крепости. Но в тот день мазуры дрались с таким неистовством, что их натиску ничто не могло противостать. И они захватывали дом за домом, дворец за дворцом, рубились в окнах, в дверях, на ступенях, не оставляли в живых ни единого человека.

Не успевали они отбить один дом, не успевала высохнуть кровь на руках и лицах, как они уже кидались к другому, и снова разгорался рукопашный бой, и снова они кидались вперед. Рыцарство, ополченцы и пехота дрались, стремясь превзойти друг друга. Приказано было всем, идя на штурм, держать перед собой для защиты от пуль снопы незрелых колосьев, но в самозабвении боя воины побросали все заслоны и с открытой грудью рвались на врага. С бою взяли часовню царей Шуйских[123] и великолепный дворец Конецпольских. Шведов, которые засели в пристройках, в дворцовых конюшнях, в садах, сбегавших к Висле, перебили всех до единого. Неподалеку от дворца Казановских, на улице, шведская пехота попыталась сопротивляться и, поддержанная огнем из-за дворцовых стен, из Бернардинского

костела и с колокольни, превращенных в мощные крепости, принялась яростно обстреливать наступающих.

Но град пуль ни на мгновение не остановил поляков. С воплем: «Наша взяла!» – мазурская шляхта врубилась прямо в середину шведского квадрата; за ними налетели полевая пехота и челядинцы, вооруженные кирками, ломami и секирами. Квадрат распался в мгновение ока, началась сеча. Все перемешалось: между дворцом Казановских, домом Радзеёвского и Краковскими воротами перекатылся, содрогался и истекал кровью один огромный, плотно сбитый ком человеческих тел.

А от Краковского предместья вспененным потоком все текли и текли сюда сонмы алчущих крови бойцов. И вот уже с пехотой покончено; тогда-то и начался штурм дворца Казановских и Бернардинского костела, штурм, который в значительной мере решил судьбу всей битвы.

Принял в том штурме участие и пан Заглоба; он ошибался накануне, полагая, что призван королем единственно для того, чтобы состоять при монаршей особе. Как раз наоборот: король поручил ему, прославленному и опытному воину, командовать челядинцами, которые добровольно вызвались идти на приступ вместе с регулярными войсками и ополченцами. Правда, Заглоба намеревался идти со своими людьми в арьергарде и удовольствоваться захватом уже занятых ранее дворцов, но когда все, мешая ряды и обгоняя друг друга, ринулись вперед, людской поток захватил и его. И Заглоба поддался ему, как ни сильна была в нем врожденная осторожность и стремление, где только можно, уберечь себя от опасности, но за долгие годы он так привык к сражениям, побывал в стольких кровавых побоищах, что, поставленный перед необходимостью, дрался не хуже, а то и лучше других, ибо в груди его горел огонь ненависти и отваги.

Вот так и вышло, что теперь он очутился у ворот дворца Казановских, а вернее сказать, в аду, который кипел перед теми воротами, в ужасающей давке, толчее и жаре, под градом пуль, среди огня, дыма, человеческих стонов и воплей. Сотни топоров и ломов грохотали по воротам, сотни тяжелых мужских рук толкали и трясли их изо всех сил; люди падали как подкошенные, а на их место, топча убитых, лезли другие и ломались внутрь, словно нарочно искали смерти. Свет не видел доселе ни столь отчаянной обороны, ни столь отчаянного приступа. Сверху на атакующих сыпались пули, лилась смола, но те, что были внизу, не могли бы отступить при всем желании, так сильно напирала на них сзади. Иной, с черным от пороха лицом и безумными глазами, обливаясь потом и стиснув зубы, колотил в ворота огромным бревном, поднять которое в обычное время едва ли было бы под силу и троим здоровым молодцам. Воодушевление утраивало силы. Люди лезли по всем лестницам, во все окна, карабкались на верхние этажи, вырубали из стен решетки. А меж тем из-за всех решеток, из всех окон, из всех амбразур торчали, непрерывно плюясь огнем, мушкетные дула. Наконец дым и пыль настолько сгустились, что затмили яркое солнце, и штурмующие едва различали друг друга. Но это их не останавливало, напротив, они еще упорнее карабкались по лестницам, еще яростнее колотили в ворота; к тому же их подгоняли крики со стороны Бернардинского костела, – там с такою же яростью штурмовали храм другие дружины.

Вдруг Заглоба, перекрывая своим зычным басом всеобщий шум и грохот выстрелов, закричал:

– Заложить под ворота бочонок пороху!

Порох подали в то же мгновение, и Заглоба приказал прорубить под самым засовом

дыру такого размера, чтобы только-только вошел бочонок. Когда бочонок стал на место, Заглоба собственноручно поджег запальный шнур и скомандовал:

– Прочь от ворот! Под стены!

Все, кто стоял под воротами, кинулись к стенам дворца, туда, где их товарищи приставляли лестницы к окнам верхних этажей, и замерли в ожидании.

И вот воздух содрогнулся от страшного грохота и к небу взвились новые клубы дыма. Подбежал Заглоба со своими людьми, смотрят: ворота, правда, на месте, в щепки их взрывом не разнесло, но с правой стороны сорвана петля, вышибло несколько толстых брусьев, уже подрубленных ранее, свернуло засов, а весь нижний край правой створки сильно отогнут внутрь, в сени, так что в образовавшуюся щель вполне мог пролезть даже тучный человек.

Тотчас на уже поврежденные ворота обрушились колья, топоры и секиры, сотни плеч с силой уперлись в них, раздался оглушительный треск, и правое полотно ворот рухнуло целиком, открывая проход в обширные темные сени.

В темноте сразу засверкали мушкетные выстрелы, но в пролом неудержимым потоком уже хлынули осаждающие. Дворец был взят.

Одновременно поляки ворвались во дворец и через окна, и внутри закипела ожесточенная рукопашная схватка. Каждую комнату, каждый коридор, каждый этаж приходилось брать с боем. Стены дворца, пострадавшие еще от прежних обстрелов, теперь едва держались, и в нескольких комнатах с грохотом обрушились потолки, заваливая обломками поляков и шведов. Но мазуры шли, подобно пожару, проникая всюду, работая своими кривыми кинжалами, рубя и коля направо и налево. Никто не просил пощады, да и это был бы напрасный труд. В иных переходах и галереях трупов было столько, что шведы устраивали из них баррикады, но наступающие выволакивали убитых за ноги, за волосы и выбрасывали в окна. Кровь ручьями текла по лестницам. Кое-где еще сопротивлялись горстки шведов, немеющими руками отражая яростные удары штурмующих. Кровь заливала их лица, глаза застилало тьмой, многих уже не держали ноги, но и на коленях они все еще продолжали сражаться. Теснимые со всех сторон, смятые неприятелем, скандинавы умирали молча, не посрамляя своей славы, как подобает воинам. Каменные статуи богов и древних героев, забрызганные кровью, мертвыми глазами взирали на их смерть.

Рох Ковальский свирепствовал наверху, а Заглоба со своим отрядом бросился на террасы и, перебив защищавшихся там пехотинцев, ворвался в сады, чудной своей красотой прославленные на всю Европу. Деревья в них были уже вырублены, редкие растения уничтожены польскими снарядами, фонтаны разрушены, земля изрыта гранатами, – словом, везде руины и запустение, хотя алчные шведы ничего здесь не тронули, поскольку дворец принадлежал Радзеёвскому. Теперь и в садах закипел жестокий бой, но тут же и кончился, ибо сопротивление шведов уже ослабело. Заглоба лично командовал этой последней схваткой, а когда со шведами было покончено, солдаты разбежались по садам и всему дворцу в поисках добычи.

А Заглоба отправился в самый конец сада, туда, где стены сходились глубоким углом и куда не заглядывало солнце. Грозному рыцарю хотелось перевести дух и отереть со лба жаркий ратный пот. И вдруг он заметил, что из-за прутьев железной клетки на него злобно смотрят какие-то диковинные уродцы.

Клетка была вмурована в стену в самом углу, так что ядра до нее не долетали.

Дверца клетки была широко раскрыта, но тощие, безобразные существа даже и не думали воспользоваться этим: напуганные шумом, свистом пуль и жестокой резней, которая только что происходила перед ними, они забились в дальний угол клетки, спрятались в солому и лишь тихо ворчали от ужаса.

– Simiae[124] или черти? – спросил сам себя Заглоба.

И вдруг отважная душа его восстала, он занес меч и, объятый гневом, ворвался в клетку.

Первый же взмах его сабли вызвал среди обезьян отчаянный переполох. Избалованные шведскими солдатами, которые любили их за потешные проделки и подкармливали из своих скудных пайков, они попросту обезумели от страха и неожиданности, а поскольку Заглоба загородил собой выход, обезьяны начали дико скакать по клетке, цепляться за прутья, за потолок, завизжали, заскрежетали зубами, в конце концов одна, совсем ошалев, прыгнула Заглобе на спину, вцепилась в волосы и прижалась к нему, что было сил. Вторая впилась в правое плечо, третья обхватила за шею спереди, четвертая повисла на завязанных сзади откидных рукавах, а Заглоба, задыхаясь, обливаясь потом, тщетно кидался из стороны в сторону, тщетно отмахивался вслепую саблей; вскоре он уже еле дышал, глаза у него вылезли из орбит, и он завопил истошным голосом:

– Люди! Друзья! Спасите!

Услышав эти вопли и не сразу разобравшись, в чем дело, несколько рыцарей с окровавленными саблями в руках бросились ему на помощь; вдруг они остановились, переглянулись в изумлении и все разом, как по команде, разразились громовым хохотом. Подбегало все больше бойцов, собралась целая толпа, и каждый немедленно заражался всеобщим весельем. Солдаты шатались, как пьяные, хватались за бока; перемазанные кровью лица судорожно кривились от смеха, и чем сильнее метался пан Заглоба, тем громче они хохотали. Лишь Рох Ковальский, прибежав сверху, растолкал толпу и вызволил дядю из обезьяньих объятий.

– Негодяи! – крикнул, задыхаясь, Заглоба. – Провалиться вам всем на месте! Смеетесь, глядя, как чудища африканские терзают честного католика? Чтоб вам сдохнуть! Да если б не я, вы бы до сих пор толклись башкой об ворота, этим только вам и заниматься! Чтоб вам сдохнуть, обезьяны и те лучше, чем вы!

– Сам сдохни, обезьяний король! – крикнул ратник, стоявший ближе всех к Заглобе.

– Simiarum destructor[125], – подхватил другой.

– Victor! – добавил третий.

– Какой он там victor, скорей уж victus[126]!

Тут Рох снова пришел дяде на помощь. Он ударил первого с ряду крикуна кулаком в грудь, и тот упал, отплевываясь кровью. Иные попятились, испугавшись Рохова гнева, иные схватились за сабли, но тут со стороны Бернардинского монастыря донеслись крики и выстрелы, и распря была забыта. Там, видимо, бой был в полном разгаре, и шведы, судя по лихорадочной мушкетной пальбе, отнюдь не собирались сдаваться.

– Поможем им! К костелу! К костелу! – крикнул Заглоба.

А сам побежал наверх, в правое крыло дворца, откуда виден был костел, который, казалось, объят был огнем. Толпы штурмующих клубились внизу, у стен, безуспешно стараясь прорваться внутрь, и без пользы гибли под перекрестным огнем, ибо пули градом сыпались на них не только из костела, но и от Краковских ворот.

– Пушки к окнам! – скомандовал Заглоба.

Во дворце Казановских было достаточно пушек, и не только малых, их живо подтащили к окнам; из обломков драгоценной утвари, из постаментов статуй соорудили лафеты, и через полчаса пустые оконные проемы оцетинились двумя десятками пушечных жерл, нацеленных на костел.

– Рох! – говорил страшно раздосадованный Заглоба. – Я должен совершить какой-нибудь подвиг, иначе прощай моя слава! Из-за этих обезьян – зараза на них! – все войско станет обо мне судачить, и хоть я и сам за словом в карман не полезу, однако же всех мне не переговорить. Я должен смыть этот позор, а иначе меня по всей Речи Посполитой ославят обезьяньим королем!

– Верно, дядя, вы должны смыть этот позор! – громоподобно откликнулся Рох.

– А вернейшее к тому средство будет вот какое: точно так же, как я захватил дворец Казановских... пусть кто-нибудь скажет, что это не я сделал...

– Пусть, дядя, кто-нибудь скажет, что это не вы сделали! – повторил Рох.

– Точно так же я захвачу и этот костел, и да поможет мне бог, аминь! – закончил Заглоба.

После чего он повернулся к своим челядинцам, уже стоявшим у пушек:

– Огонь!

Шведы, отчаянно оборонявшиеся в костеле, пришли в ужас, когда внезапно затряслась вся боковая стена. На солдат, сидящих в окнах, у пробитых в стенах бойниц, за карнизами, у лазков голубятен, сквозь которые они стреляли по наступающим, посыпались кирпичи, мусор, щебень, известка. Несчастные задыхались в густой, смешанной с дымом пыли, которая наполняла весь храм божий. Стало так темно, что люди не видели друг друга, крики: «Задыхаемся! воздуха! – еще увеличили всеобщее смятение. А тут весь костел качается, трещат стены, валяются кирпичи, в окна с воем летят снаряды, срываются и с грохотом падают на пол свинцовые решетки, раскаленный воздух пропитан смрадом человеческих тел, – словом, божья обитель обратилась в ад земной. Охваченные ужасом, солдаты бегут прочь от ворот, от окон, от амбразур. Растерянность переходит в настоящее безумие. Снова отчаянные крики: „Воздуха! воды! воздуха!“ И внезапно сотни хриплых голосов заревели:

– Белый флаг! белый флаг!

Командующий Эрскин хватает флаг, чтобы собственноручно вывесить его, но тут рушатся ворота, в храм, точно тьмы разъяренных дьяволов, врываются осаждающие – и пошла резня! Тихо становится вдруг в костеле, слышен лишь звериный хрип дерущихся, да скрежет железа о кости, о каменный пол, да стоны, да бульканье крови, – лишь порой чей-то голос, уже не похожий на человеческий, вскрикнет:

«Пощады! Пощады!» Так бились они в течение часа, и вот на колокольне начинает гудеть колокол, и гудит долго, долго – для Мазуров победным, для шведов похоронным звоном.

Дворец Казановских, монастырь и колокольня взяты. Сам Петр Опалинский, подлясский воевода, верхом на коне появляется среди толпы окровавленных воинов перед дворцом.

– Кто пришел нам на помощь из дворца? – кричит он, пытаясь перекрыть шум и вопли.

– Тот же, кто взял дворец! – отвечает могучий муж, внезапно вырастая перед воеводой. – Я.

– Как зовут тебя, рыцарь?

– Заглоба.

– Vivat Заглоба! – орут тысячи глоток.

Но неустрашимый Заглоба указывает обгаренным кровью клинком своей сабли на Краковские ворота.

– Еще не все! – восклицает он. – Туда, к воротам! Нацелить пушки на ворота и стены! Вперед! За мной!

Толпы разъяренных людей устремляются к воротам, и вдруг – о, чудо – огонь шведских орудий не только не усиливается, но, напротив, ослабевает.

Одновременно с самой макушки колокольни доносится чей-то громоподобный голос:

– Пан Чарнецкий уже в городе! Я вижу наши хоругви!!!

А огонь шведских батарей все слабее, слабее.

– Стой! Стой! – кричит воевода.

Но толпа не слышит его и без памяти валит вперед. И тут на Краковских воротах появляется белый флаг.

Действительно, Чарнецкий, пробив стену Гданьского дома, бурей ворвался в крепость, а когда был захвачен и дворец Даниловичей, а минутой позже и на стенах костела Святого духа замелькали литовские знамена, Виттенберг понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Правда, шведы могли еще защищаться в господствующих над городом домах Старого и Нового Мяста, но теперь уже и горожане схватились за оружие и на победу не было ни малейшей надежды; шведов просто перебили бы всех до единого.

И тогда на стенах затрубили трубачи и стали размахивать белыми флагами. Видя это, польские военачальники приостановили штурм, а затем из Новомейских ворот, в сопровождении нескольких полковников, выехал генерал Левенгаупт и во весь опор поскакал к королю.

Город уже был в руках у Яна Казимира, но добрый государь жаждал прекратить

пролитие христианской крови и потому выставил Виттенбергу те же условия, которые предлагал ранее. Город надлежало сдать со всей свезенной туда добычей. Каждому шведу разрешалось взять только то, что он привез с собою из Швеции. Гарнизон со всеми генералами имел право с оружием в руках покинуть город, забрав больных и раненых, а также шведских дам, которых в Варшаве было около сотни. Тем полякам, что еще дрались на стороне шведов, король объявил амнистию, полагая, что теперь уже никто из них не служил врагу по доброй воле. Амнистия не касалась одного Богуслава Радзивилла, с чем Виттенберг согласился тем охотнее, что князь в это время стоял с Дугласом у Буга.

Немедленно были подписаны условия сдачи. Во всех костелах зазвонили колокола, возвещая *urbi et orbi*[127], что столица вновь переходит в руки законного монарха. Не прошло и часу, как из-за крепостных стен повалили толпы бедняков, ищущих сострадания и хлеба в польских обозах, ибо в городе ни у кого, кроме шведов, не было пищи. Король велел отдать им все, что можно, а сам поехал наблюдать, как уходят из города шведские войска.

Ян Казимир стоял в окружении именнейших духовных и светских лиц, пышная его свита блистала великолепием. Почти все войска: коронные с гетманами, дивизия Чарнецкого, литвины Сапеги и бесчисленные толпы ополченцев вместе с лагерной прислугой собрались подле короля; всем любопытно было взглянуть на шведов, тех самых, с которыми они только что дрались так жестоко и неистово. Едва лишь подписали договор, ко всем воротам приставлены были польские комиссары, — им поручено было следить, чтобы шведы не вывезли ничего из награбленного. Особая комиссия занималась приемом добычи в самом городе.

Первой двинулась шведская кавалерия, и было ее немного, так как коннице Богуслава запретили покидать город. Следом шла легкая полевая артиллерия; тяжелые пушки должны были быть переданы полякам. Рядом с пушками шли канониры с зажженными фитилями в руках. Над ними колыхались развернутые знамена, почтительно склоняясь перед тем, кто еще недавно скитался в изгнании. Артиллеристы выступали гордо, глядя польским рыцарям прямо в глаза, словно хотели сказать: «Мы еще встретимся!» — а поляки дивились их надменной осанке и несгибаемой твердости духа. Затем показались повозки с офицерами и ранеными. В первой лежал канцлер Бенедикт Оксеншерна, и король приказал пехоте взять «на караул», желая показать, что уважает воинскую доблесть даже в противнике.

За повозками, также с развернутыми знаменами, двигались под грохот барабанов стройные квадраты несравненной шведской пехоты, походившие, по выражению Субагази-бея, на ходячие замки. Затем показался великолепный кортеж рейтар, с ног до головы закованных в броню, с голубым стягом, на котором был вышит золотой лев. С этим кортежем ехал главный штаб.

— Виттенберг! Виттенберг едет! — зашумела толпа.

Действительно, здесь был сам фельдмаршал, а с ним Врангель-младший, Горн, Эрскин, Левенгаупт, Форгель. Взоры польских рыцарей с жадностью устремились на них, и в особенности на Виттенберга. Однако обликом своим он ничуть не походил на того наводящего ужас воителя, каким был на самом деле. У него было старое, бледное, изможденное болезнью лицо с заострившимися чертами, с небольшими редкими усиками, закрученными на концах кверху. Сжатые губы и длинный острый нос придавали ему вид старого алчного скупца. Одетый в черный бархатный кафтан, с черной шляпой на голове, он походил скорее на астролога или медика, и лишь золотая цепь на шее, алмазная звезда на груди да фельдмаршальская булава



указывали на его высокий чин.

Он то и дело тревожно поглядывал на короля, на королевский штаб, на хоругви, стоявшие в боевом порядке, затем окидывал взором безбрежное море народных ополченцев, и бледные губы его кривились в иронической усмешке.

А в толпе все нарастал шум и гомон, одно имя – «Виттенберг! Виттенберг!» – было у всех на устах.

Вскоре этот шум перешел в рокот, глухой, но грозный, точно рокот моря перед бурей. Временами он стихал, и тогда где-то вдаль, в последних рядах, слышался громкий голос, с жаром выкрикивавший что-то. Этому голосу отвечали другие, их было все больше, они звучали все громче, разносились вокруг, словно раскаты зловещего эха. Они надвигались, как отдаленная буря, готовая вот-вот разразиться в полную силу.

Недоумевающие сановники стали с беспокойством поглядывать на короля.

– В чем дело? Что это значит? – спросил Ян Казимир.

Тут рокот перешел в такой страшный гул, точно сотня громов и молний разом сшиблись в небесах. Необозримое море ополченцев всколыхнулось, подобно спелой ниве, задетой могучим крылом урагана. И вдруг десятки тысяч сабель заблестали в лучах солнца.

– В чем дело? Что это значит? – снова спросил король.

Никто не смог ему ответить.

Внезапно Володыёвский, стоявший неподалеку от Сапеги, крикнул:

– Это Заглоба!

Володыёвский не ошибся. Как только условия капитуляции были оглашены и дошли до ушей Заглобы, старого шляхтича охватил столь страшный гнев, что на время он даже потерял дар речи. Но едва он пришел в себя, как немедля ринулся в самую гущу ополченцев и стал громко выражать свое возмущение. Его слушали охотно: все считали, что своим ратным мужеством, своими подвигами, своею кровью, щедро пролитой под стенами Варшавы, они заслужили право отомстить врагу по иному. Кипя негодованием, своевольная шляхта тесным кольцом окружила Заглобу, а он все подливал и подливал масла в огонь и своим красноречием все пуще разжигал эти бесшабашные головы, и без того гудевшие от обильных возлияний в честь победы.

– Братья! – восклицал Заглоба. – Вот уже пять-десять лет, как эти старые руки трудятся на благо отчизны; пятьдесят лет проливают они вражью кровь под стенами всех крепостей Речи Посполитой, а теперь они же – очевидцы подтвердят! – захватили дворец Казановских и Бернардинский костел! А когда, скажите на милость, шведы потеряли последнюю надежду? Чем заставили мы их согласиться на капитуляцию? Пушками, которые я навел на Старое Место из Бернардинского костела. Крови нашей, братья, никто там не жалел, щедро поили ею землю, а кого пожалели? Врага нашего! Мы с вами, братья, все побросали, оставили дома свои без надзора, челядь без хозяев, жен без мужей, малых деток без отцов... – о мои деточки, что-то с вами теперь! – и пошли сюда, подставляя грудь под пушечные ядра, а что получаем в награду? А вот что: Виттенберг уходит от нас свободным, да еще

воинские почести собирает по дороге! Уходит супостат отчизны нашей, богохульник, заклятый враг пречистой девы, уходит поджигатель наших домов, уходит лихоимец, снявший с нас последнюю рубашку, погубитель жен и детей наших... – о мои деточки, где-то вы теперь?! – уходит тот, кто предавал поруганию служителей божьих и Христовых невест... Горе тебе, отчизна! Позор тебе, шляхта! Новая напасть на тебя, святая наша вера! Скорбите, несчастные наши храмы, плачь и рыдай, Ченстохова! Виттенберг уходит свободным и вскоре вернется, дабы источать новые потоки слез и крови, добивать тех, кого не добил, сжигать то, чего не успел сжечь, осквернить то, что еще не осквернил. Плачь, великая Польша, плачь, Литва, плачьте, рыцари и смерды, как плачу я, старый солдат, который, сходя в могилу, должен смотреть на ваши страдания... Горе тебе, Илион, город старого Приама! Горе! Горе! Горе!

Так витийствовал пан Заглоба, и тысячи людей слушали его, и от гнева волосы дыбом вставали у шляхты, а он все говорил, все сетовал и раздирал на себе одежды, обнажая грудь.

Он успел взбудоражить и регулярных солдат, которые сочувственно внимали его речам, ибо все сердца и впрямь пылали страшной ненавистью к Виттенбергу. Мятеж готов был вспыхнуть сразу, но его сдержал сам Заглоба, опасаясь, что сейчас еще слишком рано и Виттенберг сможет еще как-нибудь спастись. Если же, как он полагал, всеобщее возмущение прорвется в ту минуту, когда фельдмаршал выедет из города и покажется на глаза ополченцам, то никто и оглянуться не успеет, как они изрубят его на части.

И расчеты его полностью оправдались. При виде старого палача дикая ярость охватила неумную и уже захмелевшую шляхту, и в мгновение ока разразилась страшная буря. Сорок тысяч сабель сверкнуло в лучах солнца, сорок тысяч глоток взревело: «Смерть Виттенбергу!» – «Давай его сюда!» – «Изрубить его в капусту! В капусту!» К шляхте присоединились толпы челядинцев, обезумевших от недавнего кровопролития и не слушавших ничьих приказов; даже регулярные хоругви, более дисциплинированные, грозно возроптали против тирана; и буря с бешеной скоростью понеслась прямо на шведский штаб.

В первую минуту все были в полной растерянности, хоть и поняли сразу, к чему идет дело.

– Как быть? – восклицали стоявшие вокруг короля.

– Иисусе милосердный!

– Спасать! защищать!

– Позор нам, если не сдержим слова!

Разъяренная толпа налетает на хоругви, теснит их, ломает ряды, увлекает за собой. Куда ни глянь – везде сабли, сабли, сабли, под ними воспаленные лица, вытаращенные глаза, орущие рты; шум, гам, дикие вопли нарастают с чудовищной быстротой; впереди мчатся оруженосцы, вестовые, конюхи и всякая армейская голытьба, смахивающая больше на зверей или дьяволов, чем на людей.

Виттенберг также понял, что происходит. Лицо его побелело как полотно, на лбу выступил обильный холодный пот, и – о, чудо! – этот фельдмаршал, который только что готов был угрожать всему свету, старый солдат, разгромивший на своем веку столько армий, завоевавший столько городов, сейчас был так перепуган воплями

разъяренной черни, что потерял всякое самообладание. Он дрожал всем телом, он стонал, руки его бессильно повисли, изо рта на золотую цепь потекла слюна, а фельдмаршальская булава выпала из рук. Меж тем грозная толпа была все ближе, ближе; страшные фигуры уже теснились вокруг несчастных генералов, еще минута – и все они будут сметены с лица земли.

Кое-кто из генералов выхватил шпагу из ножен, решив умереть с оружием в руках, как подобает рыцарям, но старый палач ослабел совершенно и закрыл глаза.

И тут Володыёвский бросился на помощь шведскому штабу. Его хоругвь на всем скаку вклинилась в толпу и рассекла ее, как корабль, идущий на всех парусах, рассекает вздымающиеся морские валы. Крики мятежников, падающих под копыта коней, смешались с криками лауданцев, но всадники подскочили к штабу первыми и в мгновение ока окружили его, прикрывая шведов собственными телами и частоколом обнаженных сабель.

– К королю! – крикнул маленький рыцарь.

И они двинулись вперед. Толпа теснила их со всех сторон, народ бежал по бокам, сзади, размахивая саблями, кольями и дико завывая, но они перли напролом, раздавая направо и налево сабельные удары, точно могучий кабан-одинец, что ломится сквозь чашу, отбиваясь клыками от волчьей стаи.

На помощь Володыёвскому бросился Войниллович, за ним Вильчковский с королевским полком, за ним князь Полубинский, и они все вместе, непрерывно отгоняя толпу, препроводили штаб к Яну Казимиру.

Меж тем волнение в толпе не утихало, напротив, росло все более. Какую-то минуту казалось, что рассвирепевшая чернь, не смущаясь присутствием государя, попытается завладеть шведскими генералами. Виттенберг несколько оправился, но страх отнюдь не оставил его; он спрыгнул с коня и точно заяц, который, спасаясь от волков или собак, кидается прямо под колеса возов, так и он, забыв о своей подагре, кинулся прямо под ноги королю.

Упав на колени, он схватился за стремя и возопил:

– Спаси, государь, спаси! Ты дал свое королевское слово, договор подписан, спаси, спаси! Смилуйся над нами! Не отдавай меня на растерзание!

Король с отвращением отвел глаза от этого жалкого и позорного зрелища и сказал:

– Успокойтесь, господин фельдмаршал!

Но и на его лице отразилась тревога, ибо он сам не знал, что делать. Толпа вокруг росла и напирала все настойчивее. Правда, регулярные хоругви уже изготовились как бы для боя, а пехота Замойского стала вокруг короля грозным квадратом, но нельзя было сказать, чем все это кончится.

Король взглянул на Чарнецкого, но тот лишь ожесточенно теребил бороду, в такую ярость привело его самовольство ополченцев.

Тут раздался голос канцлера Коряцинского:

– Государь, надо сдержать слово.

– Да, надо, – ответил король.

Виттенберг, который жадно ловил каждый их взгляд, вздохнул с облегчением.

– Пресветлейший государь! – вскричал он. – Я верил в твое слово, как в бога!

А старый коронный гетман Потоцкий сказал ему на это:

– Почему же тогда ты сам, ваша милость, столько раз нарушал клятвы, условия и договоры? Что посеешь, то и пожнешь... Разве не ты, вопреки условиям капитуляции, захватил королевский полк Вольфа?

– Это не я! Это Миллер, Миллер! – воскликнул Виттенберг.

Гетман посмотрел на него с презрением, а затем обратился к королю:

– Я, государь, не затем это сказал, дабы и ваше королевское величество также побудить к нарушению договора, – нет уж, пусть вероломство останется их привилегией!

– Так что же делать? – спросил король.

– Если мы сейчас отошлем его в Пруссию, то следом за ним двинутся не менее пятидесяти тысяч шляхты и разнесут его в клочья прежде, чем он доберется до Пултуска... Разве что послать с ним целый полк солдат – а этого мы сделать не можем... Слышишь, государь, как они там ревут? *Revera...*[128][129] ненависть к нему – праведная ненависть... Надо бы сперва спрятать его в безопасное место, а всех отослать уже тогда, когда пожар поутихнет.

– Да, видимо, только так, – промолвил канцлер Корицинский.

– Но где он будет в безопасности? Держать его здесь мы не можем, того и гляди междоусобная война из-за него, проклятого, начнется, – отозвался пан воевода русский.

Тут выступил вперед пан Себепан, староста калушский, и, важно выпятив губы, произнес с обычной своей самонадеянностью:

– А чего тут судить да рядить, государь! Давайте их ко мне в Замостье, пускай посидят, покуда не уляжется смута. Уж я его там сумею от шляхты оборонить! Ого! Пусть только попробуют его отнять! Ого-го!

– А по дороге, ваша милость? Кто его по дороге охранит от шляхты? – спросил канцлер.

– Ха! За охраной дело не станет. Да разве нет у меня больше ни пехоты, ни пушек? Пусть попробуют отнять его у Замойского! Посмотрим!

И староста принялся подбочениваться, хлопать себя по ляжкам и раскачиваться из стороны в сторону в седле.

– Другого выхода нет! – сказал канцлер.

– И я другого не вижу! – поддержал его пан Ланцкоронский.

– Ну что ж, тогда и берите их, пан староста! – заключил король, обращаясь к Замойскому.

Но Виттенберг, видя, что его жизнь в безопасности, счел необходимым возмутиться.

– Того ли мы ожидали! – сказал он.

Потоцкий в ответ указал рукою вдаль:

– А не угодно – мы не держим, скатертью дорога!

Виттенберг замолчал.

Тем временем канцлер разослал несколько десятков офицеров, чтобы они объявили возмущенной шляхте, что Виттенберга не отпустят на волю, а вышлют под конвоем в Замостье. Правда, мятеж утих не сразу, но весть эта подействовала успокаивающе. Не успел еще наступить вечер, как все помыслы обратились в иную сторону. Войска начали входить в город, и вид вновь обретенной столицы наполнил все сердца радостью победы.

Радовался и король, однако мысль, что он не смог выполнить полностью всех условий договора, сильно огорчала его, равно как и вечное непослушание ополченцев.

Чарнецкий был сердит донельзя.

– Что это за войско, на него никогда нельзя положиться, – говорил он королю. – То оно дерется плохо, то проявляет чудеса отваги, как в голову взбредет, а чуть что – вот и бунт готов.

– Дай бог, чтобы не вздумали разъехаться по домам, – отвечал король, – они ведь еще нужны, а им кажется, будто дело уже сделано.

– А зачинщика должно четвертовать, каковы бы ни были его заслуги, – упорствовал Чарнецкий.

И был отдан строжайший приказ разыскать Заглобу, ибо ни для кого не было тайной, что это он подстрекал к мятежу, но Заглоба точно в воду канул. Его искали в городе, в шатрах, среди обозных телег, даже у татар – все напрасно. Впрочем, Тизенгауз говорил, что король, добрый и милостивый, как всегда, желал от всей души, чтобы его не нашли, и даже молился об этом.

И вот однажды, спустя неделю, после трапезы, когда сердце Яна Казимира исполнилось веселья, люди услышали, как монаршьи уста произнесли:

– Эй, там, объявите, чтобы пан Заглоба долее не скрывался, а то нам уже скучно без него и его потешных выходок!

Видя, как возмутился этим киевский каштелян, король прибавил:

– Тому, кто пожелал бы в нашей Речи Посполитой, забыв о милосердии, поступать всегда строго по закону, пришлось бы вместо сердца топор носить на груди.

Повиниться здесь легче, чем где бы то ни было, но зато нигде так быстро и вину свою не искупают, как у нас.

Говоря это, государь думал скорее о Бабиниче, чем о Заглобе, о Бабиниче же думал потому, что молодой храбрец как раз накануне поклонился ему в ноги, прося отпустить на Литву. Он говорил, что хочет расшевелить тамошних повстанцев и ходить в набеги на шведов, как некогда ходил на Хованского. А поскольку король и сам собирался послать туда кого-нибудь, знающего толк в партизанской войне, он тут же дал Бабиничу свое позволение, снарядил его, благословил и еще шепнул ему на ухо некое тайное напутствие, после которого молодой рыцарь как стоял, так и рухнул к ногам государя.

И вслед за тем без промедления двинулся на восток, веселый и довольный. Субагази-бей, задобренный щедрым подарком, позволил Бабиничу взять с собою пятьсот свежих добруджских ордынцев, а всего он вел за собой полторы тысячи добрых воинов, – с такой силой можно было немало дел наделать. И горела душа молодецкая жаждой боя и ратных подвигов, улыбалась ему будущая слава; он уже слышал, как имя его с гордостью и восхищением повторяет вся Литва... Когда же он представлял себе, как его имя повторяют чьи-то милые уста, за спиной у него вырастали крылья.

А еще и потому так славно и весело ему ехалось, что повсюду он первый приносил радостную весть о разгроме шведов и о взятии Варшавы. Варшава взята! Куда бы ни ступил копытом его конь – везде по полям и селам, словно эхо, разносились эти слова, на всех дорогах приветствовал его плачущий от счастья народ, во всех костелах звонили колокола и звучало «Te Deum laudamus». Ехал ли он по лесу, ехал ли полем – темные сосны в лесу и золотые колосья на нивах, колеблемые ветром, казалось, повторяли, радостно шумя: «Швед разбит! Варшава взята! Варшава взята!»

#### ГЛАВА XV

Хотя Кетлинг и состоял в свите князя Богуслава, однако знал он не все и не обо всем, что происходило в Таурогах, мог рассказать Кмицицу, ибо сам был влюблен в панну Биллевич и ходил словно во сне. Был у Богуслава другой наперсник, а именно Сакович, ошмянский староста, он один лишь знал, как сильно князь был увлечен страстью к прелестной полонянке и к каким способам прибегал, стремясь завоевать ее сердце и овладеть ею самой.

Любовь князя была попросту жгучим вожделением, ни на какое другое чувство он был не способен, но вожделение это терзало его с такой силой, что даже сей искушенный в амурных делах кавалер терял голову. Нередко, оставшись вечером один на один с ошмянским старостой, он хватался за волосы, восклицая:

– Горю, Сакович, горю!

Сакович быстро находил средство.

– Кто хочет медом полакомиться, – говорил он, – тот пусть сперва пчел одурманит. Мало ли у медика твоей милости всяких дурманных снадобий? Сказать ему нынче слово – завтра же и делу конец.

Но на это князь не соглашался, и причин тому было несколько. Во-первых, явился ему как-то раз во сне старый полковник Биллевич, дед Оленьки, и, став у княжеского изголовья, до самых петухов вглядывался в него грозным взглядом. Богуслав запомнил сон, а был он, этот бесстрашный рыцарь, так суеверен, так

боялся колдовства, сонных знамений и нечистой силы, что дрожь пронизывала его при мысли, сколь ужасным предстанет ему призрак вторично, если он последует совету Саковича. Да и ошмянский староста, который хоть не очень-то верил в бога, но чар и привидений боялся так же, сам несколько усомнился в своем совете.

Во-вторых, Богуслава заставляло сдерживаться присутствие Валашки, которая вместе с падчерицей находилась в Таурогах. Валашкой называли супругу князя Януша Радзивилла. Дама эта, уроженка тех краев, где женщины пользуются немалой свободой, была, правда, не слишком строга, напротив, она, быть может, даже слишком снисходительно смотрела на шашни своих придворных и фрейлин, однако же не потерпела бы, чтобы человек, который должен стать мужем ее падчерицы, у нее на глазах совершил столь мерзкое злодеяние.

Но и позже, когда, стараниями Саковича и по воле князя воеводы виленского, Валашка с княжной уехала в Курляндию, Богуслав не отважился на преступление. Он боялся шума на всю Литву, который непременно подняли бы Биллевиичи. Люди богатые и влиятельные, они не преминули бы затеять против него тяжбу, а за подобные дела закон карал лишением имущества, чести и жизни.

Правда, Радзивиллы были столь могущественны, что могли без страха попирать закон, однако в случае, если бы победа в войне склонилась на сторону Яна Казимира, молодому князю пришлось бы туго, ибо тогда он потерял бы всю свою власть, всех друзей своих и приспешников. А предвидеть, чем кончится война, становилось все труднее, у Яна Казимира сил что ни день прибывало, а Карл нес невозместимые потери и в людях, и в денежных средствах.

При всей своей необузданности князь Богуслав был опытный политик и потому считался с обстоятельствами. Вождеделение сдерживало его, разум взывал к осторожности, суеверный страх укрощал порывы плоти, а тут его одолели болезни, а тут навалились и важнейшие, неотложные дела, от которых порой зависели судьбы всей войны, – все это терзало князя, доводя его до смертельной душевной усталости.

И все же неизвестно, чем кончилась бы борьба, если б не было затронуто самолюбие Богуслава. А был он о себе необычайно высокого мнения. Он почитал себя несравненным государственным деятелем, великим полководцем, непобедимым рыцарем и неотразимым покорителем женских сердец. Пристало ли тому, кто возил с собой полный сундук любовных писем от самых знатных заграничных дам, прибегать к силе или дурманным зельям? Неужто его богатство и титулы, его власть, равная почти королевской, его великое имя, красота и изысканная любезность не в силах завоевать ему сердце этой маленькой скромной шляхтяночки?

И потом, насколько же больше будет его торжество и полное наслаждение, если девушка перестанет противиться и сама, по своей воле, с бьющимся, как у пойманной птицы, сердцем, с пылающим лицом и затуманенным взором упадет в объятия, которые к ней простираются.

Богуслав весь дрожал, когда думал об этой минуте, и желал ее почти так же сильно, как самое Оленьку. Он все ждал, что такая минута настанет, негодовал, терял терпение, обманывал самого себя; то казалось ему, он приближается к цели, то, напротив, отдаляется, и тогда он восклицал: «Горю, горю!» – но рук не опускал.

Прежде всего он окружил девушку неотступной заботой, чтобы она почувствовала к

нему благодарность и поверила в его доброту; князь понимал, что благодарность и дружеское расположение – это ласковый и теплый огонек, который позднее, стоит его лишь раздуть хорошенько, разгорится в жаркое пламя. Частые их встречи неизбежно должны были этому способствовать, и Богуслав не проявлял настойчивости, боясь испугать девушку и лишиться ее доверия.

Между тем ни один его взгляд, ни одно прикосновение руки, ни одно слово – ничто не было случайным, все должно было стать той самой каплей, что камень точит. Все, что он делал для Оленьки, могло быть объяснено радушием хозяина, тем невинным дружеским влечением, какое испытывает один человек к другому, однако делалось это так, словно руку его направляла любовь. Граница была умышленно зыбкой и туманной, дабы тем легче было переступить ее в будущем и дабы девушка окончательно заблудилась в этом призрачном царстве, где каждый предмет мог что-то значить, а мог и не значить ничего. Правда, подобная игра не вязалась с врожденной горячностью Богуслава, однако он сдерживал себя, ибо считал, что лишь так может достигнуть цели; а кроме того, он находил в этой игре удовольствие, точно такое же, как паук, ткущий свою паутину, коварный птицелов, расставляющий свои сети, или охотник, терпеливо и настойчиво преследующий добычу. Князя тешила собственная проницательность, деликатность и изобретательность, которым он обучился при французском дворе.

В то же время он принимал панну Александру, словно удельную княжну, но ей опять-таки нелегко было понять, делается ли это исключительно ради нее, или причиной тому его врожденная и приобретенная любезность по отношению к прекрасному полу вообще.

Правда, она постоянно оказывалась главным лицом во время всех увеселений, всех ристалищ, кавалькад и охотничьих забав, но и это было довольно естественно: ведь после отъезда в Курляндию супруги Януша Радзивилла панна Биллевич действительно была самой высокородной дамой в Таурогах. Хотя в Тауроги, расположенные около границы, съехалось, ища у князя защиты от шведов, множество шляхтянок с целой Жмуди, все они сами отдавали пальму первенства панне Биллевич, чей род был знатнее прочих. И вот в то время, когда вся Речь Посполитая истекала кровью, здесь происходили бесконечные празднества. Можно было подумать, что это король со всеми придворными дамами и кавалерами выехал на лоно природы, дабы предаться веселью и отдохновению.

Богуслав пользовался неограниченной властью в Таурогах и во всей соседствующей с ними Княжеской Пруссии, где бывал частым гостем, а потому все здесь было к его услугам. Города давали ему займы деньги и солдат; прусское дворянство охотно съезжалось верхом и в каретах на пиры, охоту и карусели. В честь своей дамы Богуслав воскресил даже позабытые к тому времени рыцарские турниры.

Однажды он и сам принял в них участие и, одетый в серебряные доспехи, опоясанный голубой лентой, которой пришлось повязать его панне Александре, вышиб из седла одного за другим четырех знаменитейших прусских рыцарей; пятым был Кетлинг, а шестым Сакович, хоть последний был силен необычайно, мог, ухватив за колесо, карету остановить на ходу. И какой восторг охватил толпу зрителей, когда вслед за этим серебряный рыцарь, опустившись на колени перед своей дамой, принял из ее рук венки победителя! Приветственные клики гремели, подобно орудийным раскатам; развевались платки, склонялись знамена, а он, подняв забрало, глядел своими прекрасными глазами в зарумянившееся лицо девушки и прижимал к устам ее руку.

В другой раз случилось так, что сорвавшийся с цепи медведь стал бросаться на



собак и одну за другой задрал их всех. Князь, облаченный лишь в легкий испанский наряд, бросился к нему с копьем в руках и заколол свирепого зверя, а заодно и телохранителя, который, видя князя в опасности, кинулся ему на помощь.

В панне Александре, внучке старого солдата, с детства привычной к войне и крови, воспитанной в духе преклонения перед рыцарской силой и храбростью, эти подвиги не могли не вызвать изумления и даже восторга, ибо ее сызмала приучили почитать смелость в мужчине едва ли не первейшим достоинством.

Меж тем князь что ни день проявлял чудеса храбрости, и всё в честь Оленьки. Собравшиеся гости, расточая князю славословия и восторги, достойные божества, невольно связывали в своих разговорах имя девушки с именем Богуслава. Сам он молчал, но глаза его говорили ей то, чего не смели произнести уста... Девушка была словно в заколдованном кругу.

Все было направлено к тому, чтобы сблизить, соединять их и в то же время выделять из общей толпы. Трудно было, упомянув князя, не упомянуть панну Биллевич. Сама Оленька вынуждена была неотступно думать о Богуславе. Заколдованный круг с каждой минутой смыкался все теснее.

Вечером, после игр, в покоях загорались разноцветные фонарики, их таинственный свет струился, казалось, из царства блаженных снов; воздух был пропитан упоительными восточными ароматами, тихие звуки невидимых арф, лютен и других инструментов ласкали слух, а среди этих ароматов, огней, звуков двигался он, окруженный всеобщим обожанием, молодой, прекрасный, точно сказочный принц, мужественный, сверкающий драгоценностями, как солнце, и влюбленный, как пастух...

Какая же девушка устояла бы перед этим обаянием, чья добродетель не поддавалась бы этим чарам? А избегать молодого князя у Оленьки не было возможности, ибо она жила с ним под одной крышей и пользовалась его гостеприимством, которое хоть и было навязано ей против ее воли, но дарилось от души и воистину по-королевски. К тому же Оленька в свое время не так уж и неохотно поехала в Тауроги, предпочитая их ненавистным Кейданам, и, уж конечно, рыцарственный Богуслав, который играл перед ней роль верного слуги отчизны и покинутого всеми короля, был ей милее, чем явный изменник Януш. Словом, в начале своего пребывания в Таурогах Оленька полна была приятных чувств к молодому князю, и, заметив вскоре, что и он всеми силами стремится завоевать ее дружбу, она не раз использовала свое влияние, чтобы помогать людям.

На третий месяц ее жизни в Таурогах один артиллерийский офицер, друг Кетлинга, был приговорен князем к расстрелу; узнав об этом от молодого шотландца, панна Биллевич вступилась за офицера.

– Божество не просит, оно повелевает! – ответил ей Богуслав и, разорвав смертный приговор, бросил к ее ногам. – Повелевай! Требуй! Хочешь – Тауроги сожгу, только озари свое лицо улыбкой. Ведь мне одна лишь нужна награда – будь весела и предай забвению все свои старые печали.

Быть веселой она не могла, ибо сердце ее полно было тоски, обиды и невыразимого презрения к тому, кого она полюбила первой любовью и кто теперь в ее глазах был хуже отцеубийцы. Этот Кмициц, который, словно Иуда-хриstopродавец, взялся за тридцать сребренников выдать короля шведам, с каждым днем представлялся ей все гаже и отвратительней и в конце концов обратился в некое исчадие зла, мысль о котором терзала ее неустанно. Она не могла простить себе, что любила его, она

его ненавидела и в то же время не могла забыть.

Обуреваемая этими чувствами, девушка не в силах была даже притвориться веселой, но она испытывала благодарность к Богуславу – уже за одно то, что он не причастен был к злодеянию Кмицица, да и за все, что он делал для нее. Правда, ей казалось странным, что молодой князь, при всем своем благородстве и возвышенных чувствах не спешит на помощь отчизне, хоть и не следует примеру изменника Януша; однако она полагала, что князь, такой опытный политик, знает, как поступать, и что этого требуют государственные дела, которых она своим простым девичьим умом постичь не может. На это намекал ей и сам Богуслав, объясняя свои частые отлучки в соседний прусский Тильзит, говорил, что изнемогает под бременем трудов, что ведет переговоры между Яном Казимиром, Карлом Густавом и курфюрстом и надеется спасти отчизну, ввергнутую в пучину бедствий.

– Не ради наград, не ради чинов я делаю это, – говорил он Оленьке, – даже брата Януша – а он был мне вместо отца – приношу в жертву, ибо не знаю, смогу ли вымолить ему жизнь у разгневанной королевы Людвиги, – нет, я поступаю так, как велит мне бог, совесть и любовь к любезной матери-отчизне...

Когда Богуслав говорил это с печалью на нежном лице и взором, устремленным ввысь, он уподоблялся в ее глазах тем возвышенным древним героям, о которых рассказывал ей, начитавшись Корнелия, старый полковник Билевич. Душу девушки переполнял восторг и преклонение. Постепенно дело дошло до того, что порой, истерзанная мыслями о ненавистном Анджее Кмицице, Оленька искала успокоения и поддержки в мыслях о Богуславе. Первый был для нее олицетворением тьмы, страшной и губительной; второй же – ясным солнцем, в лучах которого рада омыться истомленная горем душа. Вдобавок и мечник россиенский вместе с панной Кульвец, которую также привезли из Водоктов, укрепляли Оленьку в ее заблуждении, с утра до вечера распевая хвалебные гимны Богуславу. Правда, оба они своим присутствием в Таурогах так тяготили князя, что он только и думал, как бы повежливее их отсюда спровадить, однако ж сумел расположить к себе и их, особенно пана мечника, который вначале был настроен недоверчиво и даже враждебно, но не смог устоять перед любезностью и милостями Богуслава.

Будь Богуслав не Радзивиллом, не князем, не магнатом, обладающим чуть ли не монаршей властью, а просто шляхтичем знатного рода, панна Билевич, возможно, влюбилась бы в него без памяти, несмотря на завещание старого полковника, который оставил ей выбор между Кмицицем и монастырем. Но она была так строга к себе, так прямодушна, что и мысли не допускала о каких-либо иных чувствах к князю, кроме благодарности и восхищения

Происхождение ее было слишком низко, чтобы она могла стать женою Радзивилла, но слишком высоко, чтобы сделаться его любовницей, и она смотрела на князя так, как смотрела бы на короля, доведись ей быть при дворе. Напрасно старался он внушить ей другие мысли; напрасно, теряя от любви голову, он, частью по расчету, частью от отчаяния, повторял, как некогда в первый вечер в Кейданах, что Радзивиллам уже не раз случалось жениться на шляхтянках. Эти мысли не оставляли следов в ее душе, как вода не оставляет следов на лебединой груди; она, как и прежде, была ему благодарна, исполнена дружеского расположения, она преклонялась перед ним, мысль о его благородстве приносила ей облегчение, но сердце ее оставалось безучастным.

Князь же, не умея разгадать ее чувства, нередко тешил себя надеждой, что близок к цели. Однако он сам, стыдясь и негодуя на себя, замечал, что обращается с нею

не так смело, как обращался, бывало, с первыми дамами Парижа, Брюсселя и Амстердама. Быть может, это происходило потому, что Богуслав действительно влюбился, а быть может, в этой девушке, в ее лице, темных бровях и строгих глазах, было нечто, невольно внушающее уважение. Один лишь Кмициц в свое время не смущался ее суровостью и без оглядки целовал эти строгие глаза и гордые губы, но Кмициц был ее женихом.

Все остальные кавалеры, начиная с Володыёвского и кончая бесцеремонными прусскими помещиками, собравшимися в Таурогах, и самим князем, держались с нею гораздо почтительнее, чем с другими девушками, равными ей по происхождению. Правда, князь порой забывался, но после того, как однажды в карете он прижал ее ногу, шепча: «Не бойся...» – а она ответила, что и вправду боится, как бы ей не пришлось пожалеть о своем доверии к нему. Богуслав смутился и решил по-прежнему исподволь завоевывать ее сердце.

Но и его терпение было на исходе. С течением времени он стал забывать о страшном призраке, явившемся ему во сне, и все чаще подумывал о совете, данном ему Саковичем, и о том, что Биллевичи наверняка все погибнут на войне. Страсть сжигала его; но тут произошли события, которые совершенно изменили положение дел в Таурогах.

Неожиданно в Тауроги пришла весть, что Тыкоцин взят Сапегой, замок разрушен, а князь великий гетман погиб под развалинами.

В Таурогах началось всеобщее волнение; сам Богуслав сорвался с места и в тот же день выехал в Кенигсберг, где должен был увидеться с министрами шведского короля и курфюрста.

Пробыл он там дольше, чем предполагалось. Тем временем в Тауроги стали стягиваться прусские и даже шведские военные отряды. Стали говорить о походе против Сапеги. Неприглядная правда о Богуславе выплывала на свет божий – все яснее становилось, что он такой же сторонник шведов, как и его брат Януш.

И как раз в то же самое время мечник россиенский получил сообщение, что его родовое поместье, Биллевичи, сожжено отрядами Левенгаупта, которые, разбив жмудских повстанцев под Шавлями, предавали весь край огню и мечу.

Шляхтич тут же собрался и поскакал в родные места, желая собственными глазами увидеть, сколь велик нанесенный ему ущерб. Князь Богуслав не препятствовал ему в этом, напротив, отпустил весьма охотно, только сказал на прощанье:

– Теперь понимаешь, сударь, почему я привез вас в Тауроги? Ведь вы мне, по чести сказать, жизнью обязаны!

Оленька осталась одна с панной Кульвец и тотчас затворилась в своих покоях, ни с кем не видаясь, кроме двух-трех женщин. Когда они рассказали ей, что князь готовится к походу против польских войск, она сначала не хотела этому верить, но, желая убедиться, велела просить к себе Кетлинга, так как знала, что молодой шотландец ничего от нее не скроет.

Он явился без промедления, счастливый, что она позвала его, что он сможет хоть краткий миг беседовать с владычицей своей души.

Панна Биллевич начала его расспрашивать.

– Пан рыцарь, – сказала она, – столько слухов ходит в Таурогах, что мы среди них блуждаем, точно в темном лесу. Одни говорят, будто князь воевода умер своей смертью; другие – будто его зарубили. Какова действительная причина его гибели?

Кетлинг на мгновение заколебался: видно было, что юноша борется с природной застенчивостью, наконец, залившись краской, он ответил:

– Причина падения и смерти князя воеводы – ты, госпожа.

– Я? – в изумлении переспросила панна Биллевич.

– Да, ибо наш князь предпочитал оставаться в Таурогах, нежели идти на помощь брату. Он позабыл обо всем... подле тебя, госпожа.

Теперь и она в свой черед запылала румянцем, точно алая роза.

Оба умолкли.

Шотландец стоял, держа шляпу в руке, опустив глаза и склонив голову на грудь, с видом глубочайшего уважения и почтительности. Наконец он поднял голову, тряхнул светлыми кудрями и проговорил:

– Госпожа, если тебя обидели мои слова, позволь мне на коленях молить о прощении.

– Не делай этого, рыцарь, – живо ответила девушка, видя, что юноша уже согнул было колено. – Я знаю, что в сказанном тобой не было задней мысли, – ведь я давно заметила твое ко мне расположение. Не правда ли? Ты ведь желаешь мне добра?..

Офицер поднял вверх свои ангельские глаза и, положив руку на сердце, голосом тихим, словно шелест ветра, и грустным, словно вздох, прошептал:

– Ах, госпожа! госпожа!

И в тот же миг испугался, что сказал слишком много, вновь склонил голову и принял позу придворного, внимающего приказам обожаемой повелительницы.

– Я тут среди чужих, и некому меня защитить, – продолжала Оленька, – и хоть я сама могу о себе позаботиться и бог охранит меня от беды, однако мне нужна и человеческая помощь. Хочешь ли быть мне братом? Хочешь ли предостеречь меня в опасности, дабы я знала, что делать, и смогла избежать вражеских козней?

С этими словами Оленька протянула ему руку, а он опустился на колени, хоть она ему и запретила, и поцеловал кончики ее пальцев.

– Расскажи мне, что вокруг меня происходит!

– Князь любит тебя, госпожа, – ответил Кетлинг. – Неужто ты этого не заметила?

Оленька закрыла лицо руками.

– Я видела и не видела. Иногда мне казалось, что он просто очень добрый...

– Добрый!.. – точно эхо повторил офицер.

– Да. А если порой мне и приходило в голову, что я, несчастная, могла пробудить в нем страсть, то я успокаивала себя мыслью, что насилье мне, во всяком случае, не угрожает. Я была ему благодарна за то, что он делал для меня, хотя, видит бог, новых милостей не хотела, страшась уже и тех, каких удостоилась.

Кетлинг вздохнул.

– Могу ли я говорить откровенно? – спросил он после минутного молчания.

– Говори.

– У князя есть только два наперсника: Сакович и Патерсон, а Патерсон очень ко мне привязан, так как мы с ним земляки и он меня еще на руках носил. И все, что я знаю, идет от него. Князь влюблен в тебя, госпожа; он пылает страстью, как смоляной факел. Все, что тут делается – пиры, охоты, карусели и этот турнир, после которого я до сих пор по милости князя харкаю кровью, – все это делается ради тебя. Князь любит тебя, госпожа, без памяти, но низменной любовью, ибо хочет опозорить, а не взять в жены, и, хоть не найти ему супруги более достойной, будь он даже не князем, а королем всего мира, – однако он думает о другой... Ему предназначена княжна Анна и ее богатства. Я знаю это от Патерсона и клянусь именем господним и святым Евангелием, что говорю чистую правду. Не верь князю, не доверяй его благодеяниям, не полагайся на его сдержанность, будь настороже, берегись, ибо измена подстерегает тебя на каждом шагу. Дрожь берет от того, что говорил мне Патерсон. Другого такого злодея, как Сакович, нет во всем мире... Не могу спокойно говорить об этом, просто не могу! Если бы я не присягал князю, что буду охранять его жизнь, то вот эта рука и эта шпага избавили бы тебя от постоянной угрозы... Но прежде всего я убил бы Саковича. Да! Его первого, прежде даже, чем тех, кто у меня на родине зарезал моего отца, захватил состояние, а меня сделал скитальцем, наемным солдатом...

Тут Кетлинг задрожал от волнения и какое-то время лишь сжимал рукоять шпаги, не в силах вымолвить ни слова. Затем он овладел собою и в немногих словах рассказал, на что подбивал князя Сакович.

К его величайшему удивлению, спокойствие почти не изменило панне Александре, когда она увидела разверзшуюся перед ней пропасть; только лицо ее побледнело и стало еще более серьезным. Непреклонная воля отразилась в ее суровом взоре.

– Я сумею постоять за себя, – сказала она, – и да поможет мне бог и святой крест!

– До сих пор князь не хотел следовать совету Саковича, – добавил Кетлинг, – но когда он увидит, что избранный им путь ни к чему не ведет.

И Кетлинг стал рассказывать, каковы были причины, сдерживавшие до сих пор Богуслава.

Девушка слушала, нахмутив лоб, но не слишком внимательно, она уже обдумывала, как бы вырваться из-под власти своего страшного покровителя. Но во всей стране не было такого места, где не лилась бы кровь, да и ясного плана побега она еще не составила и потому предпочла умолчать о нем.

– Пан рыцарь, – произнесла она наконец, – ответь мне еще на один вопрос. На чьей стороне князь Богуслав – на стороне шведского или польского короля?

– Ни для кого из нас не секрет, – ответил молодой офицер, – что наш князь жаждет принять участие в разделе Речи Посполитой, чтобы превратить Литву в собственное удельное княжество!

Тут он умолк, но минуту спустя, как будто отгадав ход Оленькиных мыслей, добавил:

– Курфюрст и шведы к услугам князя, а поскольку они занимают всю Речь Посполитую, укрыться от них негде.

Оленька ничего не ответила.

Кетлинг подождал немного, не захочет ли она еще о чем-нибудь спросить, но она все молчала, погруженная в свои мысли, и он, почувствовав, что не следует ей мешать, низко склонился в прощальном поклоне, махнув по полу перьями своей шляпы.

– Благодарю тебя, рыцарь, – сказала Оленька, протягивая ему руку.

Офицер, не поворачиваясь, стал пятиться к двери.

Внезапно лицо девушки покрылось легким румянцем; с минуту она колебалась, наконец проговорила:

– Еще одно слово...

– Каждое твое слово милость для меня...

– Ты знал пана... Анджея Кмицица?..

– Да, госпожа... по Кейданам... Последний раз я видел его в Пильвишках, когда мы шли сюда из Подлясья.

– Правду ли... Правду ли сказал князь, будто пан Кмициц был готов посягнуть на польского короля?..

– Не знаю, госпожа... Мне известно лишь, что в Пильвишках они держали совет, после чего князь поехал с ним в лес и не возвращался так долго, что Патерсон забеспокоился и выслал навстречу отряд. Отряд этот вел я. Мы встретили князя, когда он уже ехал обратно. Я заметил, что князь был очень взволнован, словно пережил какое-то большое потрясение. Он даже разговаривал сам с собой, чего с ним никогда не случалось. Я расслышал, как он произнес: «Сам дьявол не решился бы на это...» Впрочем, более я ничего не знаю... Лишь потом, когда князь рассказывал, на что посмел вызваться Кмициц, я подумал: «Если князь говорит правду, то это было именно тогда».

Панна Биллевич стиснула губы.

– Благодарю, – вымолвила она.

И через минуту осталась в одиночестве.

Мысль о побеге завладела ею совершенно. Она решила любой ценой вырваться из этих ненавистных мест и из-под власти князя-предателя. Но куда бежать? Города и села были в руках шведов, монастыри разорены, замки сровнены с землей, вся страна кишела солдатней и всяким сбродом, дезертирами, грабителями, еще более опасными, чем солдаты. Какая же судьба могла ожидать девушку, если она бросится в эту пучину? Кто с ней пойдет? Тетка Кульвец, пан мечник россиенский да два десятка его челядинцев? Разве они сумеют защитить ее?.. Может, пошел бы и Кетлинг, может, даже нашел бы горсточку верных солдат и друзей, которые согласились бы последовать за ним, но Кетлинг был слишком явно в нее влюблен; как же она могла принять от него эту услугу, за которую потом пришлось бы заплатить слишком дорогою ценой?

Наконец, какое право имела она ставить под угрозу будущее этого юноши, почти отрока, и навлекать на него преследование, а быть может, и смерть, если взамен не могла ему дать ничего, кроме дружбы? И она спрашивала самое себя: что же делать, куда бежать, если и тут и там ей грозит гибель, и тут и там – позор?

В душевном смятении она принялась горячо молиться и особенно усердно повторяла одну молитву, к которой всегда обращался в трудную минуту старый полковник. Молитва эта начиналась словами:

Тебя с младенцем вместе  
Увел в Египет бог,  
От Иродовой мести  
Обоих уберег.

Между тем подул сильный ветер, и деревья в саду громко зашумели. Погруженной в молитву девушке вдруг припомнился дремучий бор, около которого она родилась и выросла, и ее словно озарило: там, в лесу, и только там найдет она надежное убежище!

Она глубоко вздохнула, ибо нашла наконец то, что искала. Да! В Зелёнку! В Роговскую пушу! Враг не пойдет туда, разбойник не станет искать там добычу. Там даже местный житель, если случайно собьется с пути, заблудится и будет плутать, пока не погибнет, а что уж говорить о чужаке, не знающем дороги. Там ее защитят Домашевичи Охотники и Стакьяны Дымные, а даже если и нет их, если все они ушли с Володыёвским, так ведь этими лесами можно и дальше идти, далеко-далеко, в другие воеводства и искать приюта в иных пушах.

Вспомнив Володыёвского, Оленька развеселилась. Вот какого бы ей защитника! Вот кто поистине честный солдат, вот чья сабля могла бы защитить ее и от Кмицица, и от самих Радзивиллов. Тут ей припомнилось, что именно он в тот день, когда схватил Кмицица в Биллевичах, советовал ей искать приюта в Беловежской пуше.

И он был прав. Роговская пуша и Зелёнка слишком близко от Радзивиллов, а около Беловежи сейчас стоит тот самый Сапега, который только что стер с лица земли самого опасного из них.

Итак, в Беловежу, в Беловежу, сегодня же, завтра же!.. Пусть только приедет мечник россиенский, – она не станет медлить!

Укроют ее темные чащи Беловежи, а позднее, когда пронесется буря, – монастырские стены. Лишь там обретет она истинное спокойствие, лишь там канет в забвение все

– все люди, все ее печали, обиды и все ее презренье...

## ГЛАВА XVI

Пан россиенский мечник вернулся через несколько дней. И хоть у него была охранная грамота от Богуслава, добрался мечник только до Россиен; в Биллевичи уже ездить было незачем, их уже и на свете не существовало. Усадьба, постройки, деревня – все было сожжено дотла в последнем бою между отрядами ксендза Страшевича, иезуита, и шведского капитана Росса. Народ ушел в леса, в партизаны. На месте богатой деревни осталась теперь голая земля.

При этом дороги были полны «грасантов», то есть дезертиров из различнейших войск, и эти люди, сбившись в большие шайки, баловались разбоем, так что даже малые войсковые подразделения не чувствовали себя в безопасности. Пан мечник не мог даже проверить, не пропали ли зарытые в саду бочонки с деньгами и серебром, так что он вернулся в Тауроги в великой злобе и отчаянии, со страшной ненавистью в сердце против захватчиков.

И не успел он ступить с повозки, как Оленька затащила его в свою комнату и рассказала ему все, что ей сообщил Гасслинг-Кетлинг.

В ответ на это старый шляхтич затрясся, поскольку, не имея собственного потомства, он любил девицу как родную дочь. И, хватаясь рукой за эфес сабли, он только повторял, как заведенный: «Бей его, люди добрые!» Наконец он взялся за голову и забормотал:

– Mea culpa, mea maxima culpa! [130] Мне и самому в башку входило, и другие мне все шептали на ухо, что это исчадие ада приступает к тебе с амурами, а я все молчал да еще хорохорился, а ну-ка женится! Мы-де Госевским родня, Тизенгаузам тоже... А чего не вскочить в родню к Радзивиллам? Вот за эту гордыню мою, за гордыню бог меня наказывает... А-а, хорошенькую родню мне предатель этот готовит! В такую родню лезет... Чтоб ты сдох! Как господский бык к деревенской телке! А, чтоб ты сдох! Так нет же! Скорее у меня рука отсохнет да сабля рассыплется!

– Тут надо обдумать хорошенько, как нам спастись, – ответила Оленька.

И она стала придумывать разные планы побега.

Пан мечник, уже отведя душу как следует, слушал ее со вниманием, а под конец сказал:

– По мне, лучше челядь собрать и устроить отряд! Буду на шведов ходить, как другие ходят, как вон раньше Кмициц на Хованского. Тебе же будет спокойней в лесу, да и на поле боя, чем при дворе изменника и еретика!

– Хорошо, – сказала ему Оленька.

– Да я не только не против, – продолжал, распаляясь мечник, – я больше скажу: чем скорей, тем лучше. А у меня народа хватает и кос тоже. Сожгли мою резиденцию, пес с ними. С других деревень мужичков подсоберу... Все Биллевичи, кто уже вышел воевать, все как один, встанут за нас. Мы тебе, барчук, такую родню покажем... мы тебе покажем, как честь дочери Биллевичей затрагивать... Подумаешь, Радзивилл! И что? Пускай у Биллевичей нет в роду гетманов, но и изменников нету! Мы еще увидим, за кем Жмудь пойдет!



Тут он обратился к девушке:

– А тебя мы спрячем в Беловежской пуще, а сами вернемся. Так и сделаем! Он за свой афронт еще не так расплатится, ведь это позор всей нашей шляхте! Infamis[131], кто не за нас! Бог поможет, братья помогут, сограждане помогут, и тогда мы вас огнем и мечом! Билевичи ни в чем не уступят Радзивиллам! Infamis, кто не с нами! Infamis, кто предателю не сверкнет саблей в очи! Король, сеймы, вся Речь Посполитая с нами!

При этих словах мечник, красный как рак, со взъерошенной чуприной, начал бить кулаками об стол.

– И эта война еще главнее шведской, ибо в нашем лице оскорблено все рыцарское сословие, все законы, вся Речь Посполитая оскорблена и в своих глубочайших основах поколеблена. Infamis, кто этого не понял! Пропавшая наша родина, если мы не отомстим предателю и не покараем его!

Старая кровь так разгулялась в мечнике, что Оленьке пришлось его успокаивать. Он-то до сих пор жил спокойно, хотя, казалось, не только родина, но и мир целый погибал, однако стоило только задеть Билевичей, как он увидел в сем страшную гибель для отчины и зарычал, как лев.

Но девушка, которая имела на него большое влияние, сумела его в конце концов успокоить, объяснив ему, что для их спасения и для удачного побега необходимо соблюдать глубочайшую тайну и не показывать князю, что кто-то о чем-то догадывается.

Мечник торжественно поклялся, что все будет, как, Оленька прикажет, после чего они стали думать о побеге. Осуществить его, видимо, было легко – вообще все показывало, что их никто особенно не стережет. Пан мечник, стало быть, порешил, что пошлет мальчишку с письмом к экономам, чтобы сей же час мужики всех деревень, принадлежащих ему самому и вообще всем Билевичам, начинали собираться и вооружаться.

Вскоре потом шестеро самых верных слуг должны были якобы тронуться в Билевичи за бочонками с деньгами и серебром, а на самом деле им было велено сидеть в гирлякольских лесах и ждать там господ с лошадьми, вьюками и провиантом. Господа положили ехать из Таурогов с двумя прислужниками в санях, как бы только до близлежащих Гавн, а сами должны были пересесть в седла и давай бог ноги. Причем до Гавн уже ездили неоднократно в гости к семейству Кучук-Ольбротовских, иногда даже с ночевкой, и благодаря этому надеялись, что их отъезд не привлечет никакого внимания и в погону за ними никто не бросится, разве что потом, через два-три денька, когда все уже будут среди своих, да еще в непроходимых лесах. Кроме этого, отсутствие князя Богуслава укрепляло их в надеждах.

А пока пан Томаш деятельно занялся подготовкой. Слуга с письмами выехал на следующий день. Днем позже пан мечник уже пространно рассказывал Патерсону о своих закопанных деньгах, которых, по его словам, было больше ста тысяч, и о необходимости перевезти их в более безопасные Тауроги. Патерсон поверил легко, поскольку шляхтич считался весьма богатым, да он и был таковым.

– Пусть их привезут как можно быстрее, – молвил шотландец, – а если нуждается, я и солдат придам.

– А, чем меньше народу будет знать, что тут везут, тем лучше. Моя же челядь проверенная, я им прикажу бочонки прикрыть пенькой, ее часто возят от нас в Пруссию, или же клепками засыпать, на них никто не позарится.

– Клепкой лучше, – сказал Патерсон, – в пеньке можно саблей либо пикой нащупать, что там что-то лежит на дне телеги. А деньги лучше всего, ваша милость, отдайте князю под расписку. Тоже, знаете, деньги ему нужны, подати плохо идут.

– Я бы уж так князю услужил, чтобы ему больше ничего не было нужно, – отвечивал шляхтич.

Беседа на этом прекратилась, все, казалось бы, складывалось как нельзя лучше, поскольку уже и слуги двинулись вперед, а за ними на следующее утро должны были тронуться и мечник с Оленькой.

Тем временем неожиданно к вечеру возвратился Богуслав, да еще с двумя полками прусских рейтар. Дела его, видно, шли не особенно удачно, поскольку он вернулся злой и в полном раздражении.

В тот же вечер он созвал военный совет, в который входили представитель курфюрста граф Зейдевиц, Патерсон, Сакович и полковник рейтар Кириц. Совещались до трех часов ночи, обсуждали поход на Подлясье, на пана Сапегу.

– Курфюрст и шведский король снабдили меня войском предостаточно, – говорил князь. – И здесь одно из двух: или мы застаем Сапегу еще в Подлясье и в этом случае должны его стереть в порошок; или же не застаем – тогда мы занимаем Подлясье без сопротивления. Однако для всего этого нужны деньги, а таковых мне ни курфюрст, ни его шведское величество дать не соизволили, поскольку у самих нету.

– Да у кого же деньги-то, если не у вашей светлости, – ответил на это граф Зейдевиц. – По всему миру идет молва о неисчислимых сокровищах Радзивиллов.

– Господин Зейдевиц, если бы до меня доходило все то, что мне полагается, из моих родовых имений, то, наверно бы, набралось побольше денег, чем у пятерых ваших немецких князей вместе взятых. Но в стране война, мои подати ко мне не доходят, или их бунтовщики, что ли, перехватывают. Можно было бы под расписку взять наличными, конечно, у прусских городов, однако ваша милость лучше меня знает, что в них творится, они только для Яна Казимира, наверно, развязали бы мошну.

– А Кенигсберг?

– Уж что можно было взять, я взял, но этого мало.

– Почту за счастье, если смогу вашей светлости послужить хорошим советом, – сказал Патерсон.

– Послужи лучше уж мне сразу наличными.

– Совет мой стоит того. Не далее как вчера пан Билевич мне говорил, что имеет крупные суммы, закопанные в саду в Билевичах, и что он хочет перенести их в безопасное место, чтобы отдать вашей светлости под расписку.

– Ты прямо с неба мне упал вместе со своим шляхтичем! – завопил Богуслав. – Небось там тьма денег?

– Да сверх ста тысяч, не считая серебра и драгоценностей, да и их на столько же будет.

– Серебро и драгоценности шляхтич никогда не захочет сменять на деньги, но заложить их будет можно. Благодарствую тебе на этом, Патерсон, ты мне вовремя пришел на помощь. Завтра утром надо с Биллевичем потолковать.

– Тогда нужно его предупредить. Он ведь завтра собирался с племянницей погостить к Кучук-Ольбровским.

– Предупреди его, чтобы никуда не выезжал, не повидавшись со мной.

– Челядь уже поехала за деньгами, я боюсь только, довезут ли их благополучно.

– Да можно послать за ними хоть целый полк, ладно, потом поговорим. Ах, вовремя, вовремя мне перепало! Вот потеха будет, если я на деньги этого королевского подпевалы и патриотика откромсаю Подлясье от Польши!

Сказавши так, князь покинул военный совет, поскольку чувствовал, что уже должен отдаться попечениям своих камеристов, задачей которых было ежедневно на ночь ваннами, притираниями и разными ухищрениями, известными только за границей, предохранять его редкостную красоту от увядания. Это обычно отнимало час, а то и два; а князь и без того был уже утомлен дорогой и поздним временем.

Рано утром Патерсон задержал мечника и Оленьку объявлением, что князь желает их видеть. Нужно было откладывать отъезд, но беглецы не слишком встревожились, поскольку Патерсон сообщил, о чем идет речь.

Часом позже явился князь. Поклявшись друг другу, что встретят его как ни в чем не бывало, мечник и Оленька, однако, несмотря на все усилия, не могли себя превозмочь.

Она явно изменилась в лице, а мечник побагровел при виде молодого князя, и некоторое время они оба стояли в замешательстве, напрасно стараясь обрести обычное спокойствие.

Князь, наоборот, абсолютно свободно себя вел, только на вид был похуже и лицом не так румян, как обычно, но именно эта бледность дивно была повторена его утренним жемчужным нарядом, шитым серебром; он, однако, тут же заметил, что его принимают как-то не так, что ему не так рады, как бы полагалось. Но он тотчас же подумал, что эти двое роялистов что-то разузнали о его отношениях со шведами, отсюда и холодный прием.

Тогда он решил слегка замести следы и, произнеся обычные приветственные комплименты, начал так:

– Добрый мой мечник, ты уж слышал, наверно, какое несчастье со мной приключилось...

– Ваша княжеская светлость имеет в виду смерть князя воеводы?

– Не только смерть. Это страшный удар, но все мы ходим под господом богом нашим, он за все моего брата щедро вознаградит, но на меня легло новое бремя, я должен вести теперь междоусобную войну, а для каждого любящего сына отечества это горькая доля...

Мечник ничего не отвечал, только посмотрел как-то искоса на Оленьку.

А князь говорил:

– Моей заботой, моими трудами, а бог один свидетель, чего мне это стоило, заключен наконец мир. Чуть ли не был подписан мирный договор. Шведы уже уходили из Польши, не требуя никакой награды, кроме согласия короля и всех сословий на то, чтобы после смерти Яна Казимира на польский трон был избран Carolus. Столь великий и могучий воин был бы спасением для Речи Посполитой. Больше того, уже сейчас он давал нам подкрепления для войны с Украиной и Московией. Мы бы еще и границы раздвинули, однако пану Сапеге это оказалось не по нраву, он бы тогда не мог наложить лапу на Радзивиллов. Уже все согласились на мирный договор, а он все с оружием противоречит; ему плевать на отчизну, ему бы только свою выгоду поиметь. Дошло дело до того, что пришлось оборотить против него оружие, и это дело поручили мне в тайном согласии Ян Казимир и Carolus. Вот что произошло! Я никогда не уклонялся ни от какой службы, так что и эту возьму на себя, обязан, пусть на меня кое-кто криво смотрит и говорит, что я начинаю братоубийственную войну из желания какой-то там личной мести.

А мечник на это:

– Кто вашу княжескую светлость узнал так хорошо, как мы, того одной видимостью не обманешь, и всегда подлинные намерения вашей княжеской светлости мы сможем распознать.

И тут пан мечник, в восторге от собственной политики и хитроумия, так явно подморгнул Оленьке, что та испугалась, не увидел бы этих знаков князь.

Он, однако, все заметил.

«Они не верят мне», – подумал он.

Однако, хоть он и не выказал гнева, его это все-таки больно кольнуло. Он был искренне убежден, что не верить Радзивиллу есть оскорбление его личности, хотя бы ему и явилась прихоть иногда кое-что выдумать.

– Патерсон мне говорил, – сказал он, помолчав, – что ваша милость хочет мне отдать свои деньги под расписку. Я тебе в этом охотно иду навстречу, так как, признаюсь, наличный грош мне сейчас на руку. Когда будет мир, поступай, как захочешь, или деньгами получай, или же я дам тебе пару деревень взамен, чтобы ты не остался внакладе.

Тут он обратился к Оленьке:

– Прости меня, ясновельможная панна, что мы при столь совершенной твоей особе говорим не о высших материях и не на идиллические темы. Недостойная наша беседа, да уж времена пошли такие, что преклонению и обожанию нельзя давать воли.

Оленька опустила очи и, взявшись кончиками пальцев за подол, сделала вежливый

реверанс, чтобы ничего не отвечать.

Тем временем у мечника в голове созрел план, неслыханно глупый, но сам он счел его чрезвычайно каверзным.

«И с девицей сбегу, и денег не дам», – думал он.

После чего, крякнувши и пригладив несколько раз чуприну, он сказал так:

– Мне очень приятно угодить вашей княжеской светлости. Я ведь еще и не все сказал Патерсону, у меня и с червонцами ведь мерочка найдется, закопана на особицу, чтобы в разе чего не потерять целиком наличности. Кроме этого, и у других Биллевичей найдутся бочонки, но их закапывали под присмотром вот этой девицы, без меня, так что она одна может вычислить место, поскольку умер тот человек, который закапывал. Ну и позволь нам, ваша светлость, ехать вдвоем, тогда мы привезем тебе уж все.

Богуслав пронзительно посмотрел на него.

– Как это? Ведь Патерсон говорил, что вы уже послали челядь, а они-то должны знать, где деньги, если поехали.

– Но о других никто не знает, одна она.

– Они ведь должны быть закопаны в каком-то приметном месте, можно его указать словами или же delineare[132] на бумаге.

– Слова – они все на ветер, – отвечив мечник, – а на бумажке челядь не поймет. Мы поедем двое, вот и все.

– Господи, ваша милость, ты же должен лучше знать свои сады, езжай один. Зачем панне Александре еще ехать?

– Один я не поеду! – решительно ответил пан мечник.

Богуслав уже во второй раз испытующе поглядел на него, после чего уселся поудобней и тросточкой, каковую держал в руке, стал похлопывать себя по башмакам.

– Это так важно? – сказал он. – Ладно! Но в таком случае я дам два кавалерийских полка, они вас отвезут и привезут.

– Не нужно нам никаких полков. Мы одни поедем и вернемся. Это нам родные края, нам ничего там не угрожает.

– Я, как хозяин, пекущийся о благе своих гостей, не могу разрешить, чтобы панна Александра ехала без вооруженной охраны, так что, ваша милость, выбирай: или едешь ты один, или вы едете вдвоем, но с эскортом.

Пан мечник заметил, что он попал в свою же ловушку, и это ввергло его в такой гнев, что он, забыв обо всех предосторожностях, завопил:

– Это ваша светлость давай выбирай: либо мы едем вдвоем без полков, либо я денег не дам!

Панна Александра умоляюще посмотрела на него, но он уже побагровел и начал пыхтеть. По натуре это был человек осторожный, даже робкий, любящий все дела совершать по доброму согласию, но если уж он переступал черту, когда накопало на душе или когда дело касалось чести Билевичей, тогда он с какой-то отчаянной отвагой кидался в бой, даже на самого могучего врага.

Вот и сейчас он схватился рукою за левый бок и, грохнув саблей, начал орать во все горло:

– Тут что, татарский полон? Порабощать свободного человека? Топтать коренные права?

Богуслав, облокотившись на ручки кресла, смотрел со вниманием, безо всяких видимых признаков гнева, однако же взор его с каждым мгновением становился все более холодным, а трость все сильнее постукивала по башмакам. Если бы пан мечник знал Богуслава лучше, он бы понял, какие тучи собираются над его головой.

С Богуславом просто страшно было иметь дело, поскольку никогда не было известно, когда над придворным кавалером, над привыкшим владеть собой дипломатом возьмет верх дикий, необузданный магнат, способный растоптать всякое сопротивление с жестокостью восточного деспота. Хорошее воспитание, светскость, приобретенные при лучших европейских дворах, осмотрительность, которую он проявлял по отношению к людям, и утонченность – все это были хорошенькие, махровые цветочки, под которыми таился тигр.

Но мечник о том не ведал и в ослеплении гнева продолжал кричать:

– Ты, ваша светлость, не прикидывайся, мы тебя знаем!.. и гляди, ни шведский король, ни курфюрст, которым ты обоим служишь против отчизны, ни твое княжество тебя не прикроют от трибунала, а сабли шляхетские тебя еще проучат... молокосос!..

Тут Богуслав встал, в одно мгновение переломил своими железными руками тросточку и, швырнувши оцепья под ноги мечнику, произнес страшным, приглушенным голосом:

– Вот тебе ваши права! Вот тебе трибуналы! Вот вам ваши привилегии!

– Караул, поругание! – крикнул мечник.

– Молчать, шляхтишка! – крикнул князь. – Я тебя в порошок сотру!

И он уже шел к нему, чтобы схватить ошеломленного мечника и швырнуть об стену.

Тут панна Александра встала между ними.

– Что вы, ваша светлость, хотите сделать? – сказала она.

Князь запнулся.

Она стояла перед ним с раздувающимися ноздрями, с горящим лицом, с огненными глазами, как гневная Минерва. Грудь ее вздымалась под тканью, как морская волна, и так она была прекрасна в своем гневе, что Богуслав засмотрелся на нее, и все страсти, как змеи, до сих пор скрывавшиеся в глубинах души, выявились на его лице.

Через мгновение гнев его прошел, самообладание вернулось к нему, он все смотрел на Оленьку, наконец лицо его смягчилось, он склонил голову на грудь и произнес:

– Прости меня, ангельская панна! В душе у меня столько мук и скорби, что я не властвую над собой.

Сказавши все это, он вышел из комнаты.

Оленька начала ломать руки в отчаянии, а мечник, опомнившись, стал рвать на себе волосы и закричал:

– Все псу под хвост пустил, погубил тебя своими руками!

Князь потом целый день не показывался. Даже обедал он у себя в покоях, сам-друг с паном Саковичем. Взбаламученный до крайности, он никак не мог собраться с мыслями. Терзала его какая-то горячка. Это была предвестница тяжелой лихорадки, которая вот-вот должна была накинуться на него с такою силой, что обычно он во время приступов весь цепенел, и приходилось его растирать. Однако он приписывал свое состояние в тот день безумной силе любви и понимал дело так, что либо должен получить удовлетворение, либо помереть.

Однако же, передав Саковичу весь разговор с мечником, он сказал:

– У меня руки-ноги жжет, мурашки по спине бегут, во рту печет, горечь какая-то. А? Что это со мной, ко всем чертям?.. Никогда еще у меня такого не бывало!..

– А ваша светлость князь совестью своей подавился, как жареный петух кашей... Курятина ты, князь, курятина и есть! Ха-ха-ха!

– Дура ты!

– А хотя бы!

– Нужны мне твои остроты!

– А ты возьми, ваша светлость, лютню и подскочи девке под окошечко, может, тебе что и покажут... кулачок... пан мечник. Тьфу! И какой, черт побери, из Богуслава Радзивилла вояка?

– Ах, дурошлеп!

– Согласен! Я вижу, твоя светлость, сам с собой уже заговариваешь и сам себе правду в глаза валишь. Ну, смелей, смелей! Не жалея гонору!

– Гляди, Сакович, как мой Кастор забалует, то и ему ногой под ребро перепадает, а тебе может выпасть приключение похуже.

Сакович вздыбился, как бы глубоко уязвленный, на манер россиенского мечника, а поскольку у него был особый дар лицедейства, он и начал орать, причем столь похоже на мечника, что, не видя, кто кричит, можно было бы обознаться.

– Это что, мы в татарском полоне? Поработать свободного человека, топтать исконные права?

– Оставь, оставь, – как в горячке, говорил князь, – ведь за эту старую чурку она была готова себя прозаложить, а тебя некому защищать.

– Если она готова была себя заложить, чего ж ты ее не взял!..

– Не иначе как тут были какие-то чары. Или она мне чего подсыпала, или светила так складываются, что я ума решился... Видел бы ты, как она этого шелудивого дядьку заслонила... Однако же ты дурной! У меня в голове помутилось! Гляди! Какие руки горячие! Эх, ее бы, такую, миловать да к сердцу прижать, да еще...

– И потомство завести! – ввернул Сакович.

– А что, точно! Хочешь знать, так и будет, а то меня от такого жара разорвет, как гранату. Господи, что со мной... Жениться мне, что ли, ко всем чертям?

Сакович подобрался.

– Об этом, ваша княжеская светлость, и не затевайте думать.

– А я именно это думаю, а если чего захочу, то и совершу, хоть целый полк Саковичей мне повторяй целый день: «Не затевайте думать, ваша светлость».

– Эй, шутки кончились, я вижу!

– Да, я болен, околдован, не иначе!

– А тогда почему ваша светлость не хочет меня послушаться?

– Да уж придется, наверное! И пропади они пропадом, все эти сны, и все Билевичи, и в придачу вся Литва с трибуналами и с Яном Казимиром вдогонку. Нет, иначе я не добьюсь... Вижу, не добьюсь... Ладно, хватит! Ну и что? Великое дело, великая вещь, подумаешь! Я-то, дурак, все взвешивал, куда перетянет. И боялся то снов, то Билевичей, то процессов, то мелкоты этой, шляхтичей, да что Ян Казимир победит! Ну, скажи мне, ведь я дурак! Слыхал? Приказываю тебе сказать мне, что я дурак!

– А я этого не слышу, ведь сейчас говорит сам Радзивилл, а не проповедник кальвинизма в этом мире. А ты, видно, совсем больной, ваша светлость, я тебя в таком волнении никогда еще не видел!

– Правда! Ага! В самые тяжелые времена я только рукой махал да посвистывал, а сейчас как будто в меня кто шпоры всаживает.

– Это все странно, потому что если девка вашей светлости нарочно подсыпала приворотного зелья, то не затем же, чтобы потом сбежать, а ваша княжеская светлость, кажется, говорил, что они хотели оба втихую убраться.

– Мне сообщил Рифф, что это все влияние Сатурна, из которого как раз в этом месяце выходят горячие пары.

– Ваша светлость, взял бы ты лучше в патроны Юпитера, ему и без свадеб везло в любви. Все будет хорошо, только не поминай, ваша княжеская светлость, ни о какой свадьбе, разве что так, для видимости...



Вдруг пан ошмянский староста стукнул себя в лоб.

– А ну, погоди, ваша светлость... Я ведь слышал о похожем случае в Пруссии...

– Тебе что, дьявол в ухо шептывает, а?

Но пан Сакович долго не отвечал; наконец лицо его прояснилось, и он сказал:

– Ну, благодари свою фортуна, светлейший князь, что Сакович твой друг.

– А что, что-нибудь новенькое?

– Э, пустяк! Я буду дружкой на свадьбе вашей светлости, – тут Сакович поклонился, – для такого худородного слуги, как я, это большая честь...

– Не кривляйся, говори быстро!

– Да просто в Тильзите существует некто Пляска или как там его, а он в свое время был ксендзом в Неворанах, однако от сана отрекся, принял лютеранство, женился и бежал под крылышко к курфюрсту, а ныне он торгует копчушкой со Жмудью. В свое время сам епископ Парчевский старался его заполучить обратно в Жмудь, где бы ему подложили под ноги хорошенькую поленницу дров, но курфюрст не стал выдавать единоверца.

– Мне-то что до этого? Не тяни из меня душу!

– А вам вот что. Он вас с панночкой сошьет вместе, как верх с подкладкой, ты понимаешь, ваша княжеская светлость? А портной-то фальшивый, к цеху своему не относится, из-под него работку можно и распороть, понимаешь, ваша милость? Такое шитво цех никогда не узаконит, а все будет без шума и скандалов. Мастерюге можно будет затем шею свернуть, ваша светлость сам станет потом жаловаться, что был сплошной обман. Но ведь перед этим-то будет: *crescite et multiplicamini*...[133] Я первый даю мое благословение.

– И понимаю и не могу понять... – сказал князь. – А, к черту! Я понимаю прекрасно, Сакович! Ты, никак, вампир, зубастый небось на свет уродился. Ох, плачет по тебе палач, чувствую... Но покуда я жив, с твоей головы ни один волосок не упадет, а приличную мзду обещаю... В таком случае я...

– Ваша светлость торжественно попросит руки панны Билевич у нее самой и у мечника. Если они тебе откажут, если дело не выгорит, прикажи с меня шкуру спустить, ремней для сандалий из нее понаделать и чтобы я топал на покаяние в... Рим. С Радзивиллом еще можно покобениться, если он пожелает любви, но уж когда он захочет жениться, тут ни один шляхтич не будет просить, чтобы его долго по шерстке гладили. Только ты, ваша светлость, князь, должен сказать мечнику и панне, что из-за курфюрста и шведского короля, которые тебе сватают принцессу Бипонтинскую, ваш брак должен остаться под секретом, пока не будет заключен мир. Ну, а уж в брачном контракте нарисуйте им, что хотите. Все равно оба костела этого дела не признают... Ну?

Богуслав мгновение молчал, однако под слоем краски у него на щеках проступили красные пятна. Затем он сказал:

– Времени нет, через три дня я обязан, обязан выступить на Сапегу.

– Вот именно! Если бы времени было побольше, нельзя было бы объяснить, зачем приехал первый попавшийся ксендз и на скорую руку венчает, а в спешке все можно. Они ведь то же самое подумают: «Если уж быстро, то быстро!» Она девка рыцарского рода, ваша светлость может ее и в поход забрать с собою... Ах ты король мой, если даже Сапега тебя побьет, ты все равно уже половину виктории одержал!

– Ладно, ладно! – сказал князь.

Однако в этот момент егохватила первая судорога, так что ему свело челюсти, и он больше не мог сказать ни слова. Он весь оцепенел, а потом его стало колотить и валять, как рыбу, вынутую из воды. Однако же, прежде чем перетрусивший Сакович успел привести врача, судороги кончились.

## ГЛАВА XVII

После разговора с Саковичем на следующий день пополудни князь Богуслав отправился прямо к россиенскому мечнику.

– Сударь мой пан мечник! – начал он. – В нашу последнюю встречу я тяжело провинился, поскольку поддался гневу в моем собственном доме. Mea culpa!.. И тем больше моя вина, что я сей афронт учинил человеку, чей род от века дружески связан с Радзивиллами. Но я пришел умолять о прощении. Пусть мои искренние сожаления послужат вам сатисфакцией, а мне покаянием. Ваша милость, ты издавна знаешь Радзивиллов, ты знаешь, что мы тяжелы на извинения; однако же, поскольку я нанес урон твоему возрасту и достоинству, то я первый, не глядя, кто я и что я, прихожу к тебе с повинной головой. А уж ты, старый друг нашего дома, не пожалеешь мне, верю я, своей руки?

Сказавши так, он вытянул руку, а мечник, первый задор которого давно уже поостыл, не посмел не подать ему своей руки, хоть и протянул он ее колеблясь и со словами:

– Ваша княжеская светлость, верни нам свободу, вот тут и будет наилучшая сатисфакция.

– Вы свободны и можете ехать хоть сегодня.

– Спасибо вашей княжеской светлости, – ответил пораженный мечник.

– Только одно условие, которое, ради бога, не отвергай.

– Это какое? – с опасением спросил мечник.

– Чтобы ты терпеливо выслушал, что я скажу.

– Что ежели так, тогда я буду слушать хоть до вечера.

– А ты заранее не давай мне расписку, а поразмысли час или два.

– Видит бог, нам бы свободу вернуть, а так я на все согласен.

– Свободу ты, сударь мой пан благородный, обретешь, только не знаю, захочешь ли ты ею воспользоваться и так ли уж невтерпех будет тебе покинуть мой кров. Я был

бы счастлив, если бы ты мой дом и все Тауроги целиком почитал своими, но теперь послушай. Знаешь ли ты, сударь мой, почему я так противился отъезду панны Биллевич? Я же догадался, ведь вы просто хотели сбежать, а мне столь племянница вашей милости полюбилась, что ради вида ее одного я был бы готов, что ни день, переплывать Геллеспонт, как тот самый Леандр ради Геры...

Мечник в одну секунду снова побагровел.

– Это мне, ваша светлость, смеешь ты такое говорить?

– Именно вашей милости, мой наилюбезнейший сударь.

– Ваша светлость! Ищи фортуны у дворовых девок, а благородной девицы не тронь, а то я тебе покажу! Ты можешь ее держать в неволе, можешь в склеп запереть, но бесчестить ее тебе нельзя!

– Бесчестить нельзя, – ответил князь, – но можно поклониться старому Биллевичу и сказать ему: «Выслушайте, отче! Дайте мне вашу племянницу в жены, ибо не могу я без нее жить».

Мечник так поразился, что не мог вымолвить ни слова, только все усами шевелил да глаза у него вылезли из орбит; потом он стал кулаками протирать свои очи и, глядя то на князя, то по сторонам, наконец сказал:

– Это во сне или наяву?

– Ты не спишь, сударь мой, не спишь, а чтобы тебя лучше убедить, я повторю тебе *cum omnibus titulis*[134]. Я, Богуслав, князь Радзивилл, конюший Великого княжества Литовского, прошу у тебя, Томаша Биллевича, россиенского мечника, руки твоей племянницы, панны ловчанки Александры.

– Как это? Господи! Ваша светлость хорошо подумал?

– Я-то подумал, теперь ты подумай, сударь мой, годится ли кавалер для барышни...

– Да у меня от удивления дух захватывает...

– Теперь ты видишь, бесчестные ли у меня были намерения...

– И ваша светлость не посмотрит на наше худородство?

– Что так низко Биллевичи себя ставят, так ценят шляхетский свой герб и древность рода? Неужто это мне Биллевич говорит?

– Ваша светлость, я знаю, что начало роду нашему надо искать еще в Древнем Риме, но...

– Но, – перебил его князь, – ни гетманов, ни канцлеров в нем нет. Ничего! Электорами вас можно назвать, как моего бранденбургского дядю. Если ж в нашей Речи Посполитой королем может быть избран шляхтич, то нам пределов нету. Мой мечник, и даст бог, мой дядюшка, я ведь рожден от княгини бранденбургской, отец мой происходит из Острожских, однако дед, достославной памяти Кшиштоф Первый, тот, которого звали Перуном, великий гетман, канцлер и виленский воевода, был женат *primo voto*[135] на девице Собек, и корона у него с головы не слетела из-за

этого, хотя Собкувна была шляхтянка благородного происхождения, как все другие. Зато, когда покойник родитель женился на дочке курфюрста, все удивлялись, зачем он свой гонор теряет, хотя он как раз роднился с правящим домом. Вот такая у вас, к дьяволу, шляхетская спесь. Но, сударь, признайся, ведь ты не думаешь, что Собек выше Биллевича? А?

С этими словами князь начал с большой фамильярностью похлопывать пана мечника по спине, а шляхтич растаял как воск и отвечал:

– Господи благослови тебя, ваша светлость, за благородные помыслы... Просто камень с сердца свалился! Эх, ваша светлость, если бы не разница в вере!

– Только католический ксендз будет нас венчать, другого я и сам не желаю.

– Мы всю жизнь будем тебя благодарить за это, тут ведь дело в божьей благодати, а господь бог не послал бы ее какому-то паскуднику...

Тут пан мечник прикусил язычок, поскольку сообразил вовремя, какую обидную для князя мысль собирался выразить, но Богуслав даже не заметил этого, напротив, он милостиво усмехнулся и добавил:

– И насчет вероисповедания потомства я тоже перечить не стану, нет такой жертвы, какой бы не принес я вашей красавице...

Лицо мечника прояснилось, как будто на него упал луч солнца.

– Да, господь бог красотой не обидел нашу баловницу... Это верно!

Богуслав снова похлопал его по плечу и, нагнувшись, стал шептать на ухо шляхтичу:

– А что первый будет парень, я ручаюсь, картинка будет, а не парень!

– Хи-хи!..

– Другого у панны Биллевич быть не может.

– У панны Биллевич с Радзивиллом, – добавил мечник, наслаждаясь соединением этих имен. – Хи-хи! Вот пойдет хорошенький шум по Жмуди!.. А что господа Сицинские, недруги наши, скажут, когда Биллевичи возвысятся? Ведь они даже старого полковника не пощадили, хоть это был муж, римлянам подобный, уважаемый по всей Речи Посполитой.

– Мы их выгоним со Жмуди, пан мой мечник!

– Господи боже милосердный, неисповедимы пути твои, но если ты в своих помыслах захочешь, чтобы паны Сицинские лопнули от зависти... Господи, да будет твоя воля!

– Аминь! – заключил Богуслав.

– Ваша светлость! Не бери во зло, что я не буду рядиться перед тобой в великого гордеца, как подобает человеку, у которого девку замуж просят, а просто выкажу свою радость. Ведь мы жили в печали, не зная, что нас ожидает, и все толковали в худшую сторону. Дошло до того, что мы и о вашей княжеской светлости плохо

думали, и вдруг оказывается, что наши страхи и опасения были напрасны и что можно верить нашему прежнему к тебе уважению. Это у меня, ваша княжеская светлость, прямо камень с души свалился...

– Неуж и панна Александра так обо мне думала?

– Она? Да будь я Цицероном, и то бы я не мог достойно описать ее преклонение перед вашей светлостью в первое время... Я так думаю, что ее добродетели и прирожденная как бы несмелость создали преграду в выражении чувств. Но когда она узнает об искренних вашей светлости намерениях, тогда, я уверен, девка даст сердцу волю, оно же не замедлит кинуться на луга любви с большой охотой.

– И Цицерон бы не сказал искусней! – ответил Богуслав.

– А в радости-веселье и речи льются. Однако же если ваша светлость такой благодарный слушатель, что все принимаешь, тогда уж я до конца буду откровенным.

– Ну, будь откровенным, пан мечник...

– Девка-то хоть и молодая, но his mulier[136] и разум имеет под стать мужчине, страх какая характерная. Не один бы мужичок там бы остановился, где она даже не подумает. Что зло, то влево отбросит, что добро, то вправо... сама тоже вправо. Вроде и создание нежное, а раз уж избрала себе дорожку, то хоть из пушек стреляй, куда там! Не свернет. Она в деда пошла и в меня; отец был прирожденный солдат, но мужик мягкий... мать же, de domo Войниллович, двоюродная сестра панны Кульвец, тоже была с характером.

– Я рад это слышать, уважаемый пан мечник.

– Так вот ты не поверишь, вельможный князь, что за супостат девка! На шведов да на всех недругов Речи Посполитой – просто завзятый враг. Если кого заподозрит в измене, хоть в малейшей, так тут же непобедимое чувствует к нему отвращение, будь то даже ангел, не человек. Ваша светлость! Прости старому человеку, который тебе в отцы годится хоть по возрасту, если не по знатности: брось шведа... То же хуже татарина отчизны поработитель! Двинь свое войско против сучьего сына, и не только я, но и она потянется за тобой на поле боя! Извиняй, князь, извиняй!.. Вот сказал, что сам думал!

Богуслав, помолчавши, превозмог себя и начал так:

– Почтенный пан мечник! Вчера бы вы могли допустить, но сегодня вам уже не годится думать, будто бы я хотел вас объехать на кривых, говоря, что я стою на стороне короля и отчизны. Так вот, под присягой, как родственнику, повторяю, что когда я сказал о мире и об его условиях – это была подлинная правда. Хотел бы и я броситься на поле боя, меня вся моя природа к этому побуждает, но я же вижу, что не в том спасенье, и настоящая любовь заставляет меня действовать другим способом... И я должен сказать, что добился неслыханного, ибо после проигранной войны могу заключить такой договор, чтобы вся мощь победителя послужила побежденной стране, такого и сам кардинал Мазарини не постыдился бы... Не одна панна Александра, но и я тоже наравне с ней ощущаю odium[137] к нашим врагам. Что же, однако, делать? Как спасти эту землю? Nec Hercules contra plures![138] Так что я подумал про себя так: «Не погибать, что было бы легче и почетней, а спасти». А поскольку я в делах такого рода учился у больших дипломатов, поскольку я и родственник курфюрста, и у шведов, через брата Януша, нахожусь в

доверии, то я начал переговоры, а каков был их *cursus*[139] и прибыль для Речи Посполитой, то ты уже, вельможный пан, знаешь: конец войне, конец гонениям на вашу католическую веру, костелы, духовенство, на шляхетское сословие, на мужицкое, шведская помощь в войне с москвитами и с казаками, бог даст, и расширение границ... И все это за одну только уступку, за то, что *Carolus* после Казимира станет королем. Кто больше совершит для отчизны в наше тяжелое время, пусть мне его покажут!

– Это правда... это слепому ясно... да вот шляхетскому сословию очень прискорбно покажется, если отменят свободные выборы.

– А что важней: выборы или отчизна?

– Это все единое, вельможный князь, это кардинальнейший фундамент Речи Посполитой... А что такое отчизна, если не совокупность прав, привилегий и свобод, принадлежащих благородному сословию?.. Хозяина найти себе и при чужом правлении можно.

Гнев и тоска молнией промелькнули в глазах Богуслава.

– *Carolus*, – сказал он, – подпишет *pacta conventa*[140][141], как подписывали его предшественники, а уж после его смерти мы изберем себе, кого захотим... хотя бы того Радзивилла, который народится от биллевичской панны.

Мечник остановился, ослепленный этой мыслью, и наконец поднял руку и закричал с огромным воодушевлением:

– *Consentior!*[142]

– Вот и я подумал, что ваша милость, согласится, хотя бы потом наследственный трон останется нашей семье, – сказал с ядовитой улыбкой князь. – Все вы такие!.. Ну ладно, это дело будущего. Пока что необходимо, чтобы мирные переговоры привели к цели. Понимаешь, вельможный пан, дядечка?

– Необходимо, право слово, необходимо! – повторил с глубоким убеждением мечник.

– А привести к цели они могут потому, что я желанный посредник для его шведского величества, а знаешь, по каким причинам?.. Так вот, у *Carolus*'а одна сестра замужем за де ла Гарди, а другая, принцесса Бипонтинская, она еще девица, и ее хотят выдать за меня, чтобы быть в сродстве с нашим домом и заодно с войсками Литвы. Отсюда он ко мне и мирволит, и дядя курфюрст его поощряет в этом.

– Как же это? – спросил обеспокоенный мечник.

– Вот так, вельможный мечник, но за вашу голубицу я отдаю всех принцесс бипонтинских вместе с их княжеством Двух Мостов, да и все мосты в мире. Однако же дразнить шведскую зверюгу мне не стоит, для чего я делаю вид, что якобы склоняюсь на их предложения; но пусть только подпишут мирный договор, тогда увидим!

– Ну! Они что, могут не подписать, если узнают, что ваша светлость женился?

– Вельможный пан мечник, – сказал солидно князь, – ты меня подозреваешь в неверности отчизне... А я, как честный ее сын, спрашиваю тебя ныне: имею ли я

право пожертвовать благом Речи Посполитой ради себя?

Пан Томаш обратился в слух.

– И что будет?

– А ты сам подумай, пан вельможный, что тут будет?

– Господи, да я уж вижу, что свадьбу придется отложить, а в присловье говорится: «Что нескоро, то неспоро».

– Мое сердце не изменится, я полюбил на всю жизнь, а вашей чести надо бы знать, что своей верностью я бы мог посрамить и самое Пенелопу.

Мечник еще больше напугался, ибо он имел как раз обратное представление о верности князя, что, кстати, подтверждалось его всем известной репутацией, а князь, как бы желая совсем доконать мечника, прибавил:

– Но ты, может, и прав, никто не знает, что с ним завтра будет: я и занедужить могу, и уже чувствую, что у меня все заложило, вчера вон так меня скрутило, Сакович еле вытащил; и умереть я могу, погибнуть в походе на Сапегу, а уж сколько будет волокиты, уговоров, хлопот, этого на бычьей шкуре не хватит места записать.

– Ради господа бога, говори, что делать, ваша светлость!

– Ну что я скажу, – отвечал князь печально, – я бы сам был рад, чтобы поскорей все преграды пали.

– Вот именно, чтобы пали... Обвенчаться, а потом будь что будет...

Богуслав вскочил на ноги.

– Клянусь Евангелием! Вельможный пан, с твоим разумом быть бы тебе литовским канцлером. Я в три дни того не выдумую, что вельможному пану сразу в голову пришло! Точно! Так! Обвенчаться и сидеть тихо. Вот это голова! Я ведь и так через два дня на Сапегу выступаю, поскольку обязан! За это время мы протопчем тайную дорожку в девичью светелку, а потом в путь! Вот это дипломат! Посвятим мы с тобой в эту тайну двух-трех проверенных людей и в свидетели их возьмем, чтобы венчание было formaliter![143] Составим брачный контракт, о приданом позаботимся, к которому я сам добавлю запись, и до срока – ша! Сударь мечник! Спасибо тебе от всего сердца, спасибо! Иди в мои объятия, а потом ступай к моей красе ненаглядной... Я буду ждать ее ответа, сидеть как на угольях! А пока отправлю-ка Саковича за ксендзом! Будь здоров, папаша, а даст бог, вскорости и дедка Радзивилла!

С этими словами князь выпустил ошеломленного шляхтича из своих объятий и выскочил из комнаты.

– Господи! – сказал про себя, охолонувши, мечник – Я ему дал такой мудрый совет, что его и Соломон бы не постыдился, а сам желаю, чтобы без этого все обошлось. Тайна-то оно тайна... А все-таки, как ни ломай голову, как ни бейся лбом о стенку, другого не надумаешь; это любому ясно! А, чтоб поганых шведов морозом пришибло да выморило всех до последнего!.. Если бы не эти переговоры, венчание-то было бы

со всеми церемониями, еще со всей Жмуди понаехали бы на свадьбу. А тут к собственной жене муж должен обувши войлоки красться, чтобы не наделать шуму. Тьфу, пропасть! Не скоро Сицинские лопнут от зависти, хотя их эта чаша не минует.

Произнеся все это, он пошел к Оленьке.

Тем временем князь продолжил свой совет с Саковичем.

– Ходил тот шляхтич на задних лапах, как медведь, – говорил он Саковичу, – меня и то утомил! Уф! Я его за это стиснул, аж ребрышки на нем затрещали, и так давай трясти, что, думаю, сейчас сапоги у него вместе с портянками с ног полетят... А что я ему наплел. «Дядюшка, дядюшка!» Он прямо на глазах стал раздуваться, как будто целой кадушкой бигоса подавился! Тьфу! Тьфу! погоди! Будешь ты у меня дядюшкой, у меня таких дядюшек на целом свете возами возить... Сакович! А я уж вижу, как она меня в своей комнатке ждет и принимает, глазки закрывши и ручки скрестивши... погоди и ты тоже! Исцелю я тебе эти глазки... Сакович! Возьмешь в пожизненное владение Пруды за Ошмяной!.. Когда Пляска может тут быть?

– К вечеру. Спасибо вашей княжеской светлости за Пруды...

– Ничего! К вечеру? Это значит вот-вот... Если бы можно было еще сегодня, хоть и в полночь, но повенчаться! У тебя контракт готов?

– Готов. Я уж расщедрился от имени вашей княжеской светлости. Девушке для украшения отписал Биржи. Мечник потом будет выть, как собака, когда у него их отберут.

– Посидит в подземелье, так успокоится.

– Не понадобится. Если венчание окажется незаконным, то уж все незаконно. Ну, что, разве я не говорил вашей светлости, что они согласятся?

– С ним-то не было ни малейших трудностей... Вот интересно мне, что она скажет... Что-то его не видно!

– А они кинулись обниматься и от чувств плачут, да вашу княжескую светлость благословляют, да умиляются твоей добротой и красотой.

– Не знаю, какой там красотой, что-то я плохо стал выглядеть. Мне все время нездоровится, теперь боюсь, как бы вчерашнее оцепенение снова не наехало.

– Да ну, употребишь, ваша светлость, побольше горяченького...

А князь уже встал перед зеркалом.

– Под глазами синяки, и дурак Фуре мне сегодня брови криво нарисовал. Гляди, правда криво? Вот я прикажу пальцы ему в курок мушкета ввернуть, а вместо камердинера возьму себе обезьяну. Что же это мечника нету?.. Я уже к девушке хочу! Хоть поцеловать-то она себя перед свадьбой разрешит... поцеловать... обсмаковать!.. Как быстро сегодня темнеет... А для Пляски, чтобы не упирался, нужно щипчики заранее в огонек положить...

– Пляска не будет упираться, это шельма порождения ехиднина.



– И венчание будет шельмованное.

– Шельма шельму венцом ошельмует.

На князя нашло хорошее настроение.

– Где сводник будет дружкой, там другой свадьбы не может быть!

Они ненадолго замолчали, а затем начали оба хохотать, но их ржание как-то зловеще отдавалось в темном покое. Надвигалась глубокая ночь.

Князь начал расхаживать по комнате, громко стуча чеканом, на который он вынужден был крепко опираться, поскольку после вчерашнего онемения ноги ему еще плоховато служили.

Вскоре слуги внесли канделябры со свечами и вышли, однако порыв ветра склонил язычки пламени так, что они долго не могли установиться прямо и горели, сильно растапливая воск.

– Глянь, как горят свечи, – произнес князь, – это что за предзнаменование?

– Что одна особа растает ныне, как воск.

– Странно, как долго они мигают.

– Может, это душа старого Билевича пролетает над пламенем?

– Дурак ты! – порывисто сказал князь Богуслав. – Страшный дурак! Ну ты выбрал же время говорить о духах!

Наступило молчание.

– В Англии говорят, – начал князь, – что если в доме находится какой-либо дух, то всякая свеча будет гореть синим пламенем, а эти, погляди! Горят желтым, как обычно.

– Ерунда! – сказал Сакович. – В Москве есть люди...

– А ну, тихо!.. – прервал его Богуслав. – Мечник подходит... Нет! Это ветер качает ставню. Дьявол подсунул эту тетку девушке... Кульвец-Гиппоцентаврус! Слышал о чем-нибудь подобном? Ну и похожа же она на химеру!

– Если пожелаешь, ваша княжеская светлость, я на ней поженюсь. Тогда она вам не будет помехой. Пляска нам с ней на ходу что надо припаяет.

– Ладно. Я подарю ей на свадьбу деревянную лопату, а тебе фонарь, чтобы было чем светить.

– Но я буду твоим дядечкой... Богуславчик...

– Не забудь про Кастора! – отвечал князь.

– Не гладь Кастора, Поллукс мой, против шерсти, он может укусить!

Дальнейший разговор был прерван приходом мечника и панны Кульвец. Князь живо пошел навстречу им, опираясь на свой чекан. Сакович встал.

– Ну? Можно к Оленьке? – спросил князь.

Но мечник только руками развел и голову опустил.

– Ваша светлость! Моя племянница говорит, что завещание полковника Билевича запрещает ей распоряжаться своей судьбой, а если бы даже и не запрещало, то и тогда бы, ваша светлость, не имея к вам сердечной склонности, она бы за вас не вышла.

– Сакович! Слышал? – страшным голосом отозвался Богуслав.

– Об этом завещании и я знал, – говорил мечник, – но сначала я не счел его за непреодолимое *impedimentum*[144].

– Да чихал я на ваши шляхетские завещания! – сказал князь. – Плевать мне на ваши шляхетские завещания! Понял!..

– А нам не плевать! – ответил, вскинувшись, пан Томаш. – А по завещанию девице дорога либо в монастырь, либо за Кмицица.

– За кого, мелюзга? За Кмицица?.. Я вам покажу Кмицицев! Я вас проучу!..

– Ты кого, ваша светлость, мелюзгой назвал? Билевича?

И мечник, впав в бешенство, подбоченился, однако Богуслав тут же хватил его обухом чекана в грудь, так что внутри у шляхтича что-то екнуло, и он пал наземь, а сам князь, ткнув лежащего ногой, чтобы освободить путь к двери, выскочил без шляпы из комнаты.

– Иисусе! Мария! Иосиф! – вопила панна Кульвец.

Но Сакович схватил ее за плечо и, приставивши ей кинжал к груди, сказал:

– Тихо, дорогуша, тихо, горлиночка моя, а то я тебе твое тонкое горлышко подрежу, как колченогой курице. Сиди тут спокойно и не ходи наверх, поскольку там твоей племяшке сейчас устроят свадьбу.

– Негодяй! Убийца! Безбожник! – крикнула она. – Зарежь меня, ведь я буду кричать на всю Речь Посполитую. Брат убит, племянница обесчещена, я не хочу жить! Бей, убийца, режь! Люди! Сюда! Поглядите!..

Ее слова заглушил Сакович, заткнув ей рот своей могучей дланью.

– А ну, тихо, мотовило кривое! Тихо, песья трава! – сказал он. – Я тебя не прирежу, зачем дьяволу подсовывать его же добычу, а чтобы ты у меня не орала, как павлин, пока ты не успокоишься, я тебе твою дивную мордашку завяжу собственным твоим платком. А сам возьму лютню и сыграю тебе «Ой, вздыхаю». Неужели ты меня не полюбишь, не может быть.

С этими словами пан ошмянский староста с ловкостью настоящего грабителя завязал

рот панны Кульвец платком, а руки-ноги во мгновение ока скрутил поясом, после чего кинул ее на диван.

Затем он сел около нее и, поудобней вытянувшись, спросил спокойно, как бы начиная обычный разговор:

– Как ты думаешь, ясновельможная панна? Мне сдается, что Богусь тоже себе полегоньку управился?

И вдруг он вскочил на ноги, ибо двери быстро распахнулись и в них показалась панна Александра.

Лицо ее было бело как мел, волосы слегка растрепаны, брови сдвинуты, а очи горели гневом.

Увидев лежащего мечника, она бросилась перед ним на колени и начала ощупывать ему голову и грудь.

Мечник глубоко вздохнул, открыл глаза, сел и принялся озирать комнату, как бы пробудившись ото сна, затем, опершись рукой оземь, он попробовал встать, что ему вскоре удалось с помощью девушки, и тогда он неверным шагом дошел до кресла и рухнул на него.

Оленька же тогда только заметила панну Кульвец, лежавшую на диване.

– Ты что ее, убил? – спросила она Саковича.

– Упаси боже! – ответил ошмянский староста.

– Приказываю тебе ее развязать!

Столько силы было в ее голосе, что Сакович, не ответив ни слова, как будто приказ исходил от самой княгини Радзивилл, стал развязывать бесчувственную панну Кульвец.

– А теперь, – произнесла панна, – иди к своему хозяину, он там лежит наверху.

– Что случилось? – закричал, опомнившись, Сакович. – Ваша милость, ты за него ответишь!

– Не перед тобой, слуга! Прочь отсюда!

Сакович выскочил как полоумный.

## ГЛАВА XVIII

Сакович не отходил от князя два дня, ибо второй припадок оказался еще более тяжелым, чем первый; челюсти у Радзивилла так были стиснуты, что потребовалось разжимать их ножом, чтобы влить лекарство, приводящее в чувство. Вскоре князь пришел в сознание, однако он трясся, дергался, подсакивал на своем ложе, выгибался, как смертельно раненный зверь. Когда прошло и это, наступила ужасная слабость; целую ночь он смотрел в потолок, ничего не говоря. Поутру, после приема одурманивающих средств, он погрузился в тяжелый, крепкий сон, а около полудня пробудился снова, весь залитый потом.

– Как ваша княжеская светлость себя чувствует? – спросил Сакович.

– Мне лучше. Письма никакие не пришли?

– Пришли от курфюрста и Стенбока, они лежат тут, на столе, но чтение нужно отложить, потому что у вашей светлости нету сил.

– Давай сейчас... слышал?

Ошмянский староста взял письма и подал, а Богуслав дважды прочитал их, после чего, немного подумав, сказал:

– Завтра трогаемся на Подлясье.

– Завтра, ваша светлость, ты будешь в постели, как и сегодня.

– Я буду на коне, как и ты!.. Молчи, не возражай!..

Староста умолк, и воцарилось молчание, прерываемое только солидным и медленным «тик-так» гданьских часов.

– И совет был дурацкий, и замысел дурацкий, – внезапно произнес князь, – и я тоже дурак, что тебя послушал...

– Я знал, что, если не выйдет, вину свалят на меня, – ответил Сакович.

– Потому что глупость сморозил.

– Совет-то был разумный, но что делать, если там сам дьявол в услужении, который всех предупреждает, так я за это не ответчик.

Князь приподнялся в постели.

– Ты думаешь?.. – сказал он, пронзительно глядя на Саковича.

– А что, ваша светлость не знает папистов?

– Знаю, знаю! Мне тоже часто приходило в голову, что все это могут быть чары... Со вчерашнего дня я вообще уверен. Ты прямо угадал мою мысль, поэтому я тебя и спросил, так ли ты думаешь? Но вот кто из них входит в сношение с нечистой силой?.. Ведь не она же, она боится бога... и не мечник, он слишком дурак!..

– Да хотя бы вот тетка...

– Может быть...

– Я для верности связал ее вчера крест-накрест, а перед тем приставил ей ножик к глотке, и вообрази себе, ваша светлость, смотрю сегодня, а острие как в огне оплавлено.

– Покажи!

– Да я его кинул в воду, хоть в рукоятке была здоровенная бирюза. Я уж предпочел больше его не касаться.

– Теперь я тебе расскажу, что со мной вчера приключилось... Я влетел к ней как сумасшедший. Что говорил, не помню... Но знаю, что девка крикнула: «Лучше я в огонь кинусь!» Знаешь, там камин такой огромный. И тут же бросилась! Я за ней. Схватил ее за талию. На ней уже одежда тлеет. Я и гашу и держу ее, все разом. И тут дурман на меня наехал, челюсти свело... Как будто кто, сказать можно, жилы из шеи дернул... Потом мне показалось, что эти искры, которые вокруг нас летают, обратились в пчел и жужжат, как пчелы... Вот так, как ты меня видишь, правда!

– А дальше что?

– Ничего больше не помню, только такой страх, как будто я лечу в бездонный колодец, в бесконечную глубину. Вот это страх... надо сказать, это страх! У меня и сейчас еще волосы на голове встают дыбом... Нет, не тот страх, а... Как это выразить... И тошнота, и тоска неизмеримая, и непонятное изнеможение... Счастье еще, что силы небесные меня не покинули, а то бы я с тобой сейчас не разговаривал.

– У вашей светлости был припадок... И сама-то хворь такова, что разные штучки могут являться перед глазами, но для верности можно было бы приказать порубить немного льду на реке и эту бабу сплавить.

– А, пес с ней! Все равно мы утром выступаем, а потом придет весна, звезды встанут по-другому, ночи будут короткие, и всю нечистую силу искоренит.

– А если мы утром выступаем, то уж лучше, ваша светлость, брось эту девку.

– Да уж поневоле должен... Вообще у меня всякое желание пропало.

– Отпусти их, пусть проваливают к дьяволу!

– Этого не будет!

– Почему?

– Да мне этот шляхтич проговорился насчет громадных денег, они у него в Биллевичах закопаны. Если я отпущу его с девушкой, они свое добро откопают и уйдут в леса. По мне, уже лучше держать их тут, а денежки реквизируют... Сейчас война, сейчас все можно! Он, кстати, сам напросился. Вот и прикажем перекопать сады в Биллевичах пядь за пядью; ничего, должны найти. А мечник, раз уж тут сидит, и шума не подымет на всю Литву, что его грабят. Меня прямо зло берет, как подумаю, сколько я тут денег напрасно потратил на эти забавы и турниры, а все зря! Все зря!..

– А меня уже давно зло берет на эту девку. Честно говорю вашей светлости, что, когда она вчера пришла и говорит мне, как последнему холоду: «Иди, слуга, наверх, там твой хозяин лежит», – я ей чуть голову не свернул, как птичке, я ведь подумал, что это она ткнула вашу светлость ножом либо подстрелила из пистолета.

– Ты же знаешь, что я не люблю, когда у меня тут командуют. Правильно сделал, что не совался, я бы тебя приказал теми самыми щипцами покусать, которые были приготовлены для Пляски... Девушки не касайся...

– А Пляску я уже выпроводил обратно. Он был в полном недоумении, и на что его привозили, не зная, и зачем гонят вон. Хотел возмещения, вроде толковал, что «в

торговле есть убытки», но я ему сказал: в награду ты поздорову уносишь отсюда ноги!.. Нешто мы вправду завтра выступаем на Подлясье?

– Истинный бог. А войска уже выступили, как я приказал?

– Рейтары уже вышли в Кейданы, оттуда они должны идти в Ковно и там ждать... Наши польские хоругви пока здесь, мне что-то не с руки их было выпускать вперед. Вроде и верные люди, а все же могут снюхаться с конфедератами. Гловбич пойдет с нами; казаки Вротынского тоже, Карлстром со шведами идет в передовом дозоре... По дороге согласно приказу они будут вырезать бунтовщиков и в особенности мужичье.

– Отлично.

– Кириц с пехотой будет подтягиваться не спеша, чтобы было в тяжелую минуту на кого опереться. Если мы должны бить как молния и наш расчет будет только на скорость, то не знаю, на что нам могут пригодиться прусские и шведские рейтары. Жалко, не хватает польских хоругвей, между нами говоря, ничего нет лучше...

– А артиллерия выступила?

– Да.

– Как это? И Патерсон?

– Нет! Патерсон тут, он ухаживает за Кетлингом, тот покалечился собственной шпагой. Он его очень любит. А я, не зная Кетлинга как отважного офицера, еще бы подумал, что он умышленно напоролся, чтобы не идти в поход.

– Тут надо будет оставить человек сто, то же самое в Россиенах и Кейданах. Шведские гарнизоны у нас хилые, а де ля Гарди и так кланчит людей у Левенгаупта каждый день. А еще и мы уйдем, тогда бунтовщики вообще забудут о шавельском разгроме и снова головы подымут.

– Они и без того подымают. Я снова слышал, что в Тельшах вырезали шведов.

– Шляхта или мужики?

– Да холопы под водительством ксендза, но есть и отряды шляхты, особенно близ Лауды.

– Лауданские все ушли с Володыёвским.

– Осталась еще куча подростков и дедов. Так и эти за оружие хватаются, они ведь прирожденные вояки.

– Без денег мятежники ничего не докажут.

– А вот мы в Биллевичах деньгами запасемся. Это надо быть таким гением, как ваша светлость, чтобы так со всем справиться.

Богуслав горько усмехнулся.

– В этой стране больше ценят того, кто умеет подлизаться к ее королевскому величеству и шляхте. Гением быть не окупается. Счастье еще, что я князь Римской

империи, не привязывать же и меня за ногу к первой попавшей сосне. Мне бы только доходы регулярно приходили из здешних имений, а так вся эта Речь Посполитая меня не касается.

– Лишь бы не конфисковали.

– Раньше мы конфискуем Подлясье, если не всю Литву. А пока позови мне Патерсона.

Сакович вышел и вскоре вернулся с Патерсоном. У княжеского ложа начался совет, в результате которого решено было завтра на рассвете выступить и скорым маршем идти на Подлясье. Князь Богуслав вечером чувствовал себя уже настолько хорошо, что пировал с офицерами и даже изволил развлекаться и шутить допоздна, с удовольствием внемля ржанию коней и звону оружия хоругвей, готовящихся выступить в поход.

Временами он глубоко вздыхал и потягивался в кресле.

– Я вижу, что этот поход меня вылечит, – говорил он офицерам, – я ведь со всеми этими переговорами да развлечениями здесь засиделся. Богом клянусь, почуют мою руку конфедераты и наш экс-кардинал в короне[145].

А Патерсон осмелился ответить на это:

– Счастье еще, что Далила не остригла волос у Самсона.

Богуслав на мгновение задержал на нем свой странный взгляд, от которого шотландец пришел было в замешательство, но вскоре лицо князя прояснила страшноватая улыбка.

– Если Сапега тут у них опора, – сказал он, – то я его так трягну, что вся Речь Посполитая свалится ему на голову.

Разговор шел по-немецки, так что все офицеры-чужеземцы поняли князя прекрасно и ответили хором:

– Аминь!

Назавтра войско во главе с князем выступило, не дожидаясь дня. Прусские помещики, которых приманил сюда блеск княжеского двора, стали разъезжаться по домам.

За ними двинулись в Тильзит те, кто искал в Таурогах убежища от опасностей войны, а теперь Тильзит казался им надежней. Остались только мечник, панна Кульвец и Оленька, не считая Кетлинга и старого офицера Брауна, командовавшего маломощным гарнизоном.

Мечник после того памятного удара обушком лежал чуть не две недели, иногда харкая кровью, однако, поскольку кости были целы, он начал помаленьку приходить в себя и подумывать о побеге.

Тем временем из Биллевичей приехал эконоом с письмом от самого Богуслава. Мечник сначала не хотел читать письма, но вскоре передумал, по совету панны Александры, которая была того мнения, что лучше знать все планы врага.

«Милостивый государь пан Билевич! *Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur!*[146] Судьба так решила, что мы расстались не в том согласье, какового мое уважение для ясновельможного пана и его прекрасной племянницы требует и в чем, бог свидетель, не моя вина, поскольку ты, ясновельможный пан, знаешь лучше меня, что за мои искренние намерения вы мне отплатили неблагодарностью. Того же, что бывает во гневе сделано, не следует по дружбе брать в расчет, надеюсь поэтому, что мои пылкие поступки ты, ясновельможный пан, сообразишь простить обидой, от вас полученной. Я вам тоже от всего сердца прощаю, как мне то велит христианская любовь к ближнему, и стремлюсь вернуться к доброму согласию. А чтобы дать тебе, ясновельможный пан, доказательства, что никакой обиды в моем сердце не осталось, я считаю делом чести не отказывать тебе в той услуге, которой ты от меня добивался, и принимаю деньги ясновельможного пана...»

Тут мечник прекратил чтение, ударил кулаком по столу и завопил:

– Да скорей он мой труп увидит, чем полушку из моего сундука!..

– Читай дальше, батюшка, – сказала Оленька.

Мечник снова поднес к глазам письмо.

«...которых добыванием я, не желая утруждать ясновельможного пана и здоровьем его жертвовать в наши бурные времена, приказал заняться и все подсчитать...»

На этом месте мечнику изменил голос, и письмо упало из рук на пол; на мгновение могло показаться, что шляхтич утратил речь, потому что он, вцепившись пальцами в свой чуб, дергал волосы со всей силы.

– Бей его, кто в бога верит! – выкрикнул он наконец.

А Оленька на это:

– Одной обидой больше, божья кара ближе, ибо скоро переполнится чаша терпения...

## ГЛАВА XIX

Отчаяние мечника было столь велико, что девушка вынуждена была его утешать и заверять, что деньги эти не пропащие, что само письмо может служить распиской, а у Радзивилла, хозяина стольких владений в Литве и на Руси, будет с чего взыскивать.

Однако, поскольку трудно было предвидеть, какая судьба ждет их в дальнейшем, особенно если Богуслав с победой вернется в Тауроги, они начали еще настойчивей думать о побеге.

Оленька, правда, советовала его отложить, пока Гаслинг-Кетлинг не выздоровеет, поскольку Браун был мрачный и нелюбезный солдафон, слепо повинующийся приказам, и с ним было не сговориться.

Что касается Кетлинга, то тут девушка хорошо знала, что он покалечился специально, чтобы остаться рядом с ней, поэтому она глубоко верила – он готов для нее на все. Совесть, правда, ее мучила одним вопросом: имеет ли человек право ради собственного спасения жертвовать судьбой, а может, и жизнью другого человека, однако угроза, висевшая над ней в Таурогах, была так страшна, что во



сто крат превышала опасности, которые угрожали Кетлингу, если бы он бросил службу. Ведь Кетлинг, как офицер просто превосходный, везде мог найти себе место, причем еще более достойное, а вместе с ним и таких могучих покровителей, как король, пан Сапега или пан Чарнецкий. И при том он будет служить благородному делу и найдет поле деятельности, чтобы отблагодарить эту страну, приютившую его, изгнанника. Смерть грозила ему только в том случае, если бы он попал в руки Богуслава, но ведь Богуслав еще не завладел всей Речью Посполитой!

Девушка перестала колебаться, и, когда здоровье молодого офицера настолько улучшилось, что он мог нести службу, она позвала его к себе.

Кетлинг предстал перед нею бледный, исхудавший, без кровинки в лице, но, как всегда, полный почтения, обожания и покорности.

При виде его у Оленьки навернулись слезы на глаза, поскольку это была единственная добрая душа во всех Таурогах, и при том столь бедная и страдающая душа, что, когда Оленька спросила его о здоровье, молодой офицер ответил:

– К сожалению, хорошо, а лучше бы мне было умереть...

– Вам надо бросать эту службу, – ответила, глядя на него с сочувствием, девушка, – ведь такое благородное сердце должно быть уверено, что служит благородному делу, благородному королю.

– Увы! – повторил офицер.

– Когда у вас кончается срок службы?

– Только через полгода.

Оленька немного помолчала, потом подняла на него свои чудесные очи, которые в эту минуту потеряли свою строгость, и сказала:

– Слушай меня, рыцарь. Я буду с тобой говорить как с братом, как с человеком, которому я верю: ты можешь и должен освободить себя от слова.

Сказав это, она открыла ему все: и планы побега, и то, что рассчитывает на его помощь. Она доказывала ему, что он может найти место везде, и прекрасное место, такое же, как его прекрасная душа, почетное место, какое только его рыцарское сердце может себе желать; наконец, она завершила свою речь такими словами:

– Я вам буду благодарна до самой смерти. Я хочу отдать себя под защиту господина бога и постричься в монастырь, но где бы ты ни был, далеко или близко, на войне или в мире, я буду за тебя молиться, я буду просить у бога, чтобы моему брату и благодетелю он дал покой и счастье, поскольку я, кроме благодарности и молитвы, ничего ему дать не могу...

В этом месте голос ее дрогнул, а офицер слушал ее, бледный как полотно, наконец он опустился на колени, сжал лоб ладонями и голосом, похожим больше на стон, сказал:

– Я не могу, госпожа! Не могу...

– Вы мне отказываете? – спросила его с удивлением панна Биллевич.

А он вместо ответа начал молиться.

– Господи, великий и милосердный! – говорил он. – С детских лет никогда ложь не коснулась уст моих, никогда меня не запятнал ни один бесчестный поступок. Еще подростком я защищал этой слабой рукой моего короля и родину; за что же, господи, ты караешь меня так тяжко и ниспосылаешь мне муку, вытерпеть которую, ты сам видишь, у меня не хватает сил!

Тут он обратился к Оленьке:

– Госпожа, ты ведь не знаешь, что значит приказ для солдата, в выполнении его для солдата не только обязанность, но и честь и слава. Меня связывает присяга, и более, чем присяга, мое рыцарское слово, что я не покину службу до срока, и то, что для нее нужно, я слепо выполню. Я солдат и дворянин, и я никогда не пойду по стопам тех наемников, которые предают свою честь и службу. И даже по приказу, и даже по твоей просьбе я не изменю своему слову, хоть и говорю это с мукой и болью. Если бы я, имея приказ никого не выпускать из Таурогов, стоял бы у ворот, и если бы ты сама, госпожа, захотела бы пройти через них вопреки приказу, то ты бы прошла, но через мой труп. Ты меня не знала, и ты ошиблась во мне. Но смилуйся надо мною, пойми, что я не могу помогать тебе в побеге и даже слушать о нем не должен, поскольку приказ был точный, его получил Браун и мы, пятеро оставшихся тут офицеров. О боже, боже! Если бы я предвидел, что будет такой приказ, скорей бы я двинулся в этот поход... Я вас не могу убедить, вы мне не верите, однако бог все видит, и пусть бог так меня судит после смерти, как правдивы мои слова, что я жизнь бы свою отдал без колебаний... а честь не могу, не могу...

Сказав все это, Кетлинг сложил руки и замолк, совершенно обессиленный, только тяжело дышал.

Оленька еще не опомнилась от удивления. У нее не было времени ни вдуматься, ни оценить как следует эту душу, исключительную по своему благородству; она только чувствовала, что у нее уходит из рук последняя надежда на спасение, что у нее отняли единственный способ освобождения из ненавистной неволи.

Но она еще пробовала сопротивляться.

– Послушайте, – сказала она, помолчав. – Я внучка и дочь солдата. Дед и отец мой тоже ставили честь выше своей жизни, но именно поэтому даже ради наград они бы не позволили себе слепо подчиняться...

Кетлинг дрожащей рукой достал письмо из поясной сумки, подал его Оленьке и сказал:

– Сама погляди, госпожа, считать ли мне такой приказ служебной обязанностью?

Оленька заглянула в бумагу и прочла следующее:

«Поскольку до нашего сведения довели, что урожденный Билевич, россиенский мечник, намеревается тайно покинуть нашу резиденцию с намерениями, явно враждебными нам, чтобы своих знакомых, свойственников, родных и вассалов excitare ad rebellionem[147] против его шведского величества и против нас, приказываем офицерам, остающимся в гарнизоне в Таурогах, содержать урожденного

Билевича вместе с племянницей как заложников и военных пленников, охранять и не допускать их побега, под угрозой лишения чести и sub роена[148] военного суда...»

– Приказ пришел с первого их привала, после выезда князя, – сказал Кетлинг, – поэтому он письменный.

– Да свершится воля божья! – произнесла, помолчав, Оленька. – Ничего не поделаешь.

Кетлинг чувствовал, что ему пора уходить, и не трогался с места. Его бледные губы время от времени шевелились, как будто он хотел что-то сказать, но голос ему не повиновался.

Его терзало желание броситься к ее ногам и умолять о прощении, но он, в свою очередь, чувствовал, что у нее достаточно своих бед, и находил странную радость в том, что и он страдает и будет страдать, не жалуясь.

В конце концов он поклонился и вышел в молчании, но тут же, в коридоре, он посрыпывал с себя повязки, которыми была затянута незажившая рана, и упал в обморок, а когда через час его нашла дворцовая стража неподалеку от лестницы и отнесла в цейхгауз, он уже был в таком тяжелом состоянии, что две недели не мог подняться с постели.

Оленька после ухода Кетлинга некоторое время оставалась неподвижной. Она готова была ко всему, даже к смерти, но только не к отказу, поэтому в первый момент, несмотря на ее обычное мужество, она потеряла все свои силы и энергию, она почувствовала себя слабой, обычной женщиной, и хотя бессознательно повторяла: «Да будет божья воля», – все же боль обиды взяла верх над смирением, и обильные горькие слезы хлынули у нее из глаз.

В это время вошел мечник, взглянул на племянницу и сразу же понял, что надо ждать плохих новостей, так что живенько спросил:

– Господи боже! Что еще стряслось?

– Кетлинг отказывается, – ответила девушка.

– Все это подлецы, шельмы и собачья кость! Как это? Он отказывается помочь?

– Он не только отказывается помочь, – ответила она, жалуясь, как малое дитя, – он еще говорит, что помешает нам, даже ценой собственной жизни.

– Почему! Господи! Почему?

– Потому что такая наша судьба! Кетлинг не изменник, но такая уж наша судьба, потому что мы самые несчастные из всех людей.

– А, чтоб этих еретиков гром разразил! – крикнул мечник. – На невинных нападают, обируют, крадут, в тюрьме держат... Пропали наши головы! Честным людям не житье в такие времена!

Тут он начал ходить быстрыми шагами по комнате и угрожать кому-то кулаками, а потом, скрипнув зубами, вымолвил:

– Лучше уж воевода виленский, в тысячу раз лучше даже Кмициц, чем эти надушенные шельмы без стыда и совести!

А когда Оленька, ничего не ответив, начала плакать еще горше, пан мечник смягчился и вскоре повел другие речи:

– Не плачь. Кмициц мне потому подвернулся на язык, что уж он-то нас, по крайней мере, выручил бы из этого вавилонского плена. Он бы тебя не отдал всем этим Браунам, Кетлингам, Патерсонам и самому Богуславу. Да нет, все они, изменники, одинаковы! Не плачь! Слезам горю не поможешь, а тут надо помозговать. Ладно, пусть не хочет Кетлинг помогать... Чтоб его перекосило!.. Тогда без него обойдемся... Вроде в тебе есть мужской гонор, а в тяжелом случае и ты можешь хлюпать... Что говорит Кетлинг?

– Он говорит, что князь велит нас стеречь как военных пленников, опасаясь, как бы вы, дядюшка, не собрали отряда и не пошли бы с конфедератами.

Пан мечник подбоченился:

– А! А! Шельма, испугался! И правильно, поскольку я так и сделаю, богом клянусь!

– Получив приказ по службе, Кетлинг отвечает за него своей честью.

– Ну и хорошо!.. Обойдемся без помощи еретиков!

Оленька вытерла слезы.

– Думаете, дядя, что будет можно?

– Я думаю, что это нужно, а если нужно, то тогда и можно, хоть бы пришлось на канатах спускаться из этих окошек.

А барышня тут же:

– Извини, что я плакала... Давай скорей думать!

Слезы у нее мгновенно высохли, брови сошлись с прежней энергией и решительностью.

Как-то сразу выяснилось, что мечник не может найти выхода из положения и что девица соображает намного лучше. Но и у нее дело шло туго, поскольку было ясно, что их тут должны стеречь как следует.

Тогда они решили ничего не предпринимать раньше, чем в Тауроги придут первые вести от Богуслава. И на этом они сосредоточили все свои надежды, уповая на божье возмездие для изменника родины и нечестивца. Ведь он мог и погибнуть, мог тяжело заболеть, его мог побить Сапега, и тогда в Таурогах бы начался переполох, и уж никто бы не смотрел за воротами так усердно.

– Знаю я пана Сапегу, – говорил, подбадривая себя и Оленьку, мечник, – это вояка не из быстрых, но аккуратный и страшно упрямый. Его верность королю и отчизне ехемрлут для всех. Все заложил, распродал, но собрал такую силу, против которой Богуслав одно ничтожество. Этот почтенный сенатор, а тот ветрогон, этот верующий католик, а тот еретик, у этого солидность, а тому все гори огнем! И за кем будет

тут виктория и божеское благословение? Отступит радзивиллова ночь перед сапегинским днем, отступит! Неужели нет на этом свете справедливости и наказания!.. Подождем давай новостей и помолимся за успех сапегинского оружия.

И они стали ждать, однако прошел долгий месяц, тяжелый для измученных сердец, прежде чем прибыл первый гонец, и то не в Тауроги, а к Стенбоку, в Королевскую Пруссию.

Кетлинг, который после разговора с Оленькой не смел показаться ей на глаза, прислал ей тут же записку следующего содержания:

«Князь Богуслав победил пана Кшиштофа Сапегу под Бранском; несколько хоругвей кавалерии и пехоты уничтожено под корень. Он идет на Тыкоцин, где стоит Гороткевич».

Для Оленьки это был просто гром с ясного неба. По своей девической простоте она считала, что полководческие таланты и рыцарские суть одно и то же, а поскольку она видела в Таурогах, как Богуслав с легкостью побеждал самых способных рыцарей, она по той же простоте вообразила, что он являет собою злую, но непобедимую силу, против коей никто не устоит.

И надежда, что кто-нибудь одолеет Богуслава, совершенно гасла в ней. Напрасно мечник успокаивал ее и утешал тем, что молодой князь не мерился еще силами со старым Сапегой, напрасно ей доказывал, что даже одно только звание гетмана, которым король только что украсил старого пана Сапегу, должно дать этому последнему превосходство над Богуславом, она не верила, не смела верить.

– Кто его победит? Кто перед ним устоит?.. – спрашивала она постоянно.

Дальнейшие сообщения, казалось, подтверждали ее страхи.

Несколькими днями позже Кетлинг снова прислал записку с донесением о разгроме Гороткевича и взятии Тыкоцина. «Все Подлясье, – писал он, – уже в руках князя, который, не ожидая пана Сапегу, сам идет на него большими переходами».

«Пан Сапега тоже будет разбит!» – подумала девушка.

И тут прилетела как бы первая ласточка, вестница весны, новость с другого края. На приморские земли Речи Посполитой она прилетела поздно, но зато была украшена всеми красками радуги, как дивная легенда первых веков христианства, когда святые еще ходили по земле, служа правде и справедливости.

– Ченстохова! Ченстохова! – несло из уст в уста.

Сердца теплели и расцветали, как цветы на пригретой весенним солнцем земле. «Ченстохова защитила себя, видели ее самое, королеву польскую, как она прикрывала стены голубым покровом; смертоносные гранаты подкатывались перед ее святыне стопы, ласкаясь, как домашние псы; у шведов отсыхали руки, мушкеты прирастали к их башкам, так что они отступили в страхе и стыде».

Чужие друг другу люди, слышав эту весть, падали друг другу в объятия, плача от радости. Другие жаловались, что весть пришла так поздно.

– А мы тут в слезах, – говорили, – мы в страданиях, мы в муках столько времени

жили, а нужно было веселиться!

И начало греметь по всей Речи Посполитой, и несся этот грозный грохот от Понта Эвксинского до Балтики, так что дрожали волны обоих морей; это народ верный, народ набожный вставал как буря в защиту своей королевы. Все сердца наполнила надежда, все зеницы загорались огнем; то, что раньше казалось страшным и непобедимым, таяло на глазах.

– Кто его победит? – говорил девушке мечник. – Кто перед ним устоит? Теперь ты знаешь кто. Святая дева!

И они оба с Оленькой целыми днями лежали, распластавшись крестом перед распятием, вознося богу благодарность за милосердие над Речью Посполитой; и перестали сомневаться в собственном спасении.

О Богуславе же с давних пор ничего не стало слышать, как будто он со всем своим войском канул в воду. Офицеры, оставленные в Таурогах, начали проявлять беспокойство и всматриваться в свое неверное будущее. Они бы предпочли этому глухому молчанию даже весть о поражении. Но ни одна весть не могла просочиться – наводящий страх Бабинич уже вышел со своими татарами на князя и перехватывал всех гонцов.

## ГЛАВА XX

Но вот однажды в Тауроги прибыла в сопровождении конвоя из полусотни солдат панна Анна Борзобогатая-Красенская.

Браун принял ее отменно вежливо, поскольку так ему повелело письмо Стаховича, подписанное самим Богуславом и рекомендующее оказывать уважаемой воспитаннице княгини Гризельды Вишневецкой всяческое содействие. Девушка была и сама по себе не без шарма; с первой минуты по приезде она принялась строить глазки Брауну, так что угрюмый немец завертелся, как на угольях; также она стала командовать и другими офицерами, одним словом, начала распоряжаться в Таурогах, как в собственном доме. В первый же день она познакомилась с Оленькой, которая, правду сказать, смотрела на нее с недоверием, но приняла ее вежливо, надеясь услышать какие-нибудь новости.

Ануся же знала не так мало. Разговор начался с Ченстоховы, поскольку этого таурогские пленники жаждали прежде всего. Мечник наострил уши, чтобы ничего не упустить, и только время от времени прерывал рассказы Ануся восклицаниями:

– Слава всевышнему!

– Мне странно, – сказала наконец Ануся, – что до вас только сейчас дошли известия о чудесах пресвятой девы, это уже давнишняя история, я тогда еще была в Замостье, даже пан Бабинич еще за мной не приезжал – да нет! За несколько недель до того... Потом уже начали всюду бить шведов, и в Великой Польше, и у нас, а больше всех пан Чарнецкий, они от одного звука его имени бегут без оглядки.

– А! Пан Чарнецкий! – воскликнул, потирая руки, мечник. – Этот-то им задаст перцу. Я о нем слышал еще с Украины, солдат что надо!

Ануся же только ручками с платья как бы пылинку стряхнула и сказала как-то между делом, как о мелочи:

– Да ну! Со шведами покончено!

Старый пан Томаш выдержать уже не мог и, схвативши ее руку, совершенно утопил эту малость в своих огромных усищах и стал яростно целовать, а потом завопил:

– Ах ты, моя прелесть! Ах ты, моя красавица! Твоими устами да мед пить! Не иначе, как ангелок слетел к нам в Тауроги!

Ануся тут же стала покручивать пальцами кончики кос и, постреливая из-под бровей глазками, сказала:

– Да ну, какой из меня ангел! Ведь и коронные гетманы стали шведов бить, и все регулярное войско с ними, и все рыцарство, и собрали конфедерацию в Тышовцах, и король присоединился к ним, и издали послание короля сейму, и даже мужики бьют шведов, и пресвятая дева благословляет...

Она щебетала, как птичка, но от ее щебетанья сердце мечника совершенно растаяло, и хоть некоторые известия уже были ему не в новинку, мечник на радостях рыкнул на манер зубра; а по лицу Оленьки потекли обильные тихие слезы.

Увидев это, Ануся, имевшая от природы доброе сердце, мгновенно прыгнула к ней и, обвив руками ее шею, стала быстро говорить:

– Ты не плачь, вельможная панна... Мне тебя жалко, я этого видеть не могу... Чего ты плачешь?

И столько чистосердечия было в ее голосе, что недоверчивость Оленьки тут же растаяла, и бедная девушка заплакала еще пуще.

– Ты такая красивая у нас, вельможная панна, – утешала ее Ануся, – и плачешь...

– Я от радости, – отвечала Оленька, – и от горя, что мы тут сидим в проклятой неволе, ни дня, ни часа не знаем...

– Как это? У князя Богуслава?

– Да, у этого изменника! У этого еретика! – взорвался пан мечник.

А Ануся ему:

– И со мной произошло то же самое, и потому я не плачу. Я не возражаю вашей милости, что князь изменник и еретик, но зато он придворный кавалер и уважает наш пол.

– Чтоб его черти так уважали в пекле! – ответил мечник. – Ты еще не знаешь, на тебя, Ануся, он так не кидался, как на эту бедную девицу. Он ведь архишельма, и с ним Сакович такой же! Вот даст бог, гетман Сапега обоих пристукнет!

– Пристукнет так пристукнет... Князь Богуслав ужасно больной, и войско у него слабое. Правда, он напал внезапно и победил несколько хоругвей и забрал Тыкоцин и меня в придачу, но ему ли мериться силами с Сапегой. Вы мне можете верить, я обе армии видала... У пана Сапеги собрались самые большие рыцари, уж они справятся с князем Богуславом.

– Видишь? Я тебе говорил? – обратился мечник к Оленьке.

– Я князя Богуслава знаю давно, – продолжала Ануся, – он родственник обоих князей Вишневецких и семьи Замойских; один раз он приезжал в Лубны, когда сам князь Иеремия ходил на татар в Дикое Поле. Поэтому и сейчас он приказал меня не трогать, потому что запомнил, что я в том доме была своим человеком и приближенной княгини. Я была еще малюсенькая! Не то что сейчас! Господи, да кто бы тогда мог ожидать, что он будет изменником! Но вы не печальтесь все равно, мои дорогие, он или уже не вернется, или же мы отсюда как-нибудь выберемся.

– Да мы уже пробовали, – сказала Оленька.

– И вам не удалось?

– Да как же оно удастся, – ответил мечник. – Мы выдали свою тайну одному офицеру, про которого думали, что он нам сочувствует, а оказалось, что он готов скорее помешать нам, чем помочь. Тут у них за старшего Браун, его сам черт не уговорит.

Ануся опустила глаза.

– Может быть, мне удастся. Надо только подождать, пока пан Сапега подойдет, чтобы было где найти убежище.

– Дай-то бог, да поскорее, – отвечал пан Томаш, – у нас-то среди его людей множество родни, знакомых и друзей... Да! Там же у меня и старые товарищи, вместе у славного Иеремии служили, пан Володыёвский, Скшетуский и Заглоба.

– Я их знаю, – с удивлением сказала Ануся, – но их нет у пана Сапеги. Ах, если бы они там были, в особенности пан Володыёвский (пан Скшетуский ведь женат), я бы тут не очутилась, потому что пан Володыёвский не сдался бы, как пан Котчиц.

– Это большой рыцарь! – воскликнул пан мечник.

– Гордость целого войска! – добавила Оленька.

– Господи! Уж не погибли ли они, если вы их не видели?

– Да нет! – ответила Ануся. – Мы бы давно услышали о смерти таких рыцарей, но мне ничего не говорили... Вы их не знаете... Они не сдадутся никогда... Разве что пуля их возьмет, а человеку с ними не справиться, ни с паном Скшетуским, ни с Заглобой, ни с паном Михалом. Хоть пан Михал маленький, я помню, что о нем сказал князь Иеремия, что если бы судьба Речи Посполитой зависела от боя один на один, то он бы выбрал на этот бой пана Михала. Ведь это он Богуна зарубил... Нет, нет! Пан Михал всегда за себя постоит.

Мечник, довольный, что ему есть с кем поговорить, начал ходить большими шагами по комнате, вопрошая:

– Ну, ну. Вельможная панна так хорошо знает пана Володыёвского?

– Мы же столько лет были вместе...

– Ну!.. Небось и без амуров не обошлось?



– Я в этом не повинна, – сказала Ануся, напуская на себя скромный вид, – но ведь с тех пор пан Михал наверняка женился.

– А вот и не женился.

– А хоть бы и женился... Мне все равно!..

– Дай вам боже, чтобы вы соединились... Но меня волнует другое – что это ты говоришь, что их нет у пана гетмана, ведь с такими солдатами викторию одержать легче.

– Там есть еще кое-кто, он всех собой заменит.

– Это кто такой?

– Пан Бабинич с Витебщины... Вы что, о нем не слышали?

– Нет, и это мне странно.

Ануся начала рассказывать историю своего путешествия из Замостья и все, что с нею приключилось по дороге. Пан Бабинич же выростал, по мере того как она говорила, в такого великого героя, что мечник терялся в догадках, кто же это такой.

– Я ведь знаю всю Литву, – говорил он. – Тут есть семейства, которые прозываются похоже как то: Бабонаубки, Бабилло, Бабиновские, Бабинские и Бабские, но про Бабиничей я не слышал. И я думаю, что это фамилия вымышленная, так многие поступают из тех, кто ушел в партизаны, чтобы неприятель не мстил семье и имуществу. Хм! Бабинич! Это какой-нибудь огневой рыцарь, если он сумел так отличиться у пана Замойского.

– О! Какой еще огневой! Ах! – воскликнула Ануся.

Мечник пришел в хорошее настроение.

– И даже так? – спросил он, становясь перед Анусей руки в боки.

– Ну, уж вы, милостивый государь, бог знает что тут же себе вообразили.

– Боже упаси, я ничего не воображаю!

– А пан Бабинич, только мы выехали из Замостья, мне сразу сказал, что его сердце кем-то уже арендовано... И хоть ему за аренду не платят, он даже и не мыслит менять арендатора...

– И ты, барышня, этому веришь?

– Именно что верю, – ответила с большой живостью Ануся, – он, должно быть, по уши влюблен, если столько времени... если... если...

– Ой! Если что? – ответил, смеясь, пан мечник.

– Если то, – ответила она, топая ножкой, – если мы о нем услышим...

– Дай бог!

– И я скажу вам, почему... Вот: сколько бы раз пан Бабинич ни вспоминал о князе Богуславе, у него всегда лицо белело, а зубами он скрипел, как дверями.

– Вот это будет наш человек!.. – сказал пан мечник.

– Верно! И к нему мы уйдем, только бы он показался поблизости!

– Я бы отсюда вырвался, если бы имел свой отряд, и ты, девушка, увидишь, что для меня война не в новинку и эта старая рука тоже на что-то сгодится.

– Тогда идите, ясновельможный пан, под командование пана Бабинича.

– Это вам, барышня, очень хочется пойти к нему под командование...

Долго они перешучивались таким образом, и им было все веселей, и даже Оленька, забыв о своих печалях, изрядно развеселилась, а Ануся в конце концов начала фыркать от слов пана мечника, как кошечка. А так как она хорошо отдохнула, поскольку на последнем ночлеге неподалеку в Россиенах она выспалась как следует, Ануся ушла только поздней ночью.

– Золото, а не девка! – сказал после ее ухода пан мечник.

– Такое доброе сердце... я думаю, что мы быстро пойдем друг друга, – ответила ему Оленька.

– А ты ее встретила вначале в штыки.

– Потому что думала, что ее подослали. Откуда мне знать? Я всех тут боюсь!

– Ее подослали?.. Разве что добрые духи!.. А вертлявая чертовски, как ласка... Был бы я помоложе, не знаю, до чего бы дело дошло, хоть я и сейчас еще хоть куда...

Оленька окончательно развеселилась и, упершись ручками в колени, склонила головку набок, подражая Анусе, и, глядя искоса на мечника, сказала:

– Как это, дядюшка? Вы мне тетюшку хотите новоиспеченную подарить?

– А ну, тихо! Ну, – сказал мечник.

Но он при том усмехнулся и всей горстью начал подкручивать усы вверх.

– Даже и тебя, такую солидную девицу, она расшевелила. Я уверен, что между вами начнется великая дружба.

И вроде не ошибся пан Томаш, потому что немного времени спустя между девушками завязалась пылкая дружба, и росла она все больше, может быть, именно потому, что девушки представляли собой полную противоположность. Одна была душой серьезна, с глубокими чувствами, негибимой волей и разумом; другая же, при всем своем добром сердце и чистоте помыслов, была резвухой. Одна со своим тихим выражением лица, светлыми косами, несказанным миром и красотой, веющей от всего ее стройного облика, была похожа на древнюю Психею; другая истинная смуглянка,

приводила на мысль скорей ведьму, которая ночами завлекает людей в вертепы и смеется над их робостью. Офицеры, оставшиеся в Таурогах, которые изо дня в день могли видеть обеих, предпочли бы целовать у панны Биллевич ноги, а у Ануси сахарные уста.

Кетлинг, который имел душу шотландского горца, то есть полную меланхолии, почитал и боготворил Оленьку, Анусю же с первого взгляда возненавидел, на что она отвечала ему полной взаимностью, возмещая понесенные убытки на Брауне и всех остальных, не исключая и самого пана мечника россиенского.

За короткое время Оленька приобрела огромное влияние на свою подружку, и та со всей откровенностью говаривала пану мечнику:

– Она с двух слов больше скажет, чем я за целый день наболтаю.

От одного недостатка, однако, серьезная девушка не смогла вылечить свою подружку, а именно от кокетства. Стоило только Анусе услышать в коридоре бряцанье шпор, как она мгновенно прикидывалась, будто что-то забыла или что хочет узнать, не пришло ли известий о пане Сапеге, и она выскакивала в коридор, вихрем мчалась и, налетев на офицера, восклицала:

– Ах! Как вы меня напугали!

После чего начинался разговор, сопровождаемый перебиранием фартучка, взглядами из-под бровей и различными другими штучками, с помощью которых самое твердокаменное мужское сердце может быть повержено.

И тем более вменяла ей Оленька в вину это баловство, что Ануся уже на второй-третий день знакомства призналась ей в потаенной склонности к пану Бабиничу. Они не раз об этом говорили.

– Некоторые передо мной как нищие просили милостыни, – говорила, стало быть, Ануся, – а этот дракон предпочитал на своих татар смотреть, а не на меня, и говорил со мной, как приказ отдавал: «А ну, вельможная панна, вылезай! А ну, панна, поехали! А ну, панна, пей!» Если бы он был еще грубиян, так ведь нет; или не заботился бы обо мне, но ведь заботился! В Красноставе я сразу же сказала себе: «Ты не смотришь на меня, так погоди!..» Но уже в Ленчной меня саму так разобрало, что просто ужас. И, скажу я тебе, только и глядела я в его серые глаза, а стоило ему засмеяться, уже меня радость берет, как будто я его раба...

Оленька повесила голову, потому что и ей вспомнились серые глаза. И тот, другой, говорил бы так же, и у того вечно одни команды были на уме, а твердость в облике, только разве что он совести не знал и бога не боялся.

Ануся же, погружаясь в воспоминания, продолжала:

– А когда он по полям летал на коне, я уж думала, что это прямо орел какой-то или гетман. Татары его боялись как огня. Где он ни появится, везде о нем говорят, а если случался бой, то кровожадность из него так огнем и била. Я много каких знаменитых рыцарей повидала, но такого, чтобы меня страх забирал перед ним, я никогда не видела.

– Если господь бог его тебе предназначил, то ты его получишь, даже если бы он тебя не любил, во что я не хочу верить.

– Любить-то он меня любил... немножечко... Но другую он любил больше. Он мне сам не раз говорил: «Это ваше счастье, вельможная панна, что я ни забыть, ни разлюбить не могу, иначе бы лучше волку козу доверить, чем мне такую девушку».

– А ты что?

– А я говорю ему: «Откуда, вельможный пан, ты взял, что я к тебе равнодушна?» А он: «А я бы и не спрашивал!» Вот и делай с ним что хочешь с таким!.. Дурочка та, которая его не полюбила, это же камень, должно быть, а не девка. Я спрашивала, как ее зовут, он не хотел говорить. «Лучше, – говорит, – этого не касаться, это у меня рана, а вторая рана – это Радзивиллы... изменники!» И сразу у него делалось такое страшное лицо, что мне хотелось в мышиную нору спрятаться. Я его прямо боялась!.. Ну ладно! Не для меня он, не для меня!

– Проси его у святого Миколая, я знаю от тетки, что в таких случаях он лучший заступник. И смотри-ка, не обидь его, не завлекай других.

– Не буду больше никогда, только немножечко! Капельку!

Тут Ануся показывала на пальчике, сколько она себе позволит, и такую показывала малость, самое большее на полногтя, только чтобы не обидеть святого Миколая.

– Я ведь не впустую это делаю, – оправдывалась она перед паном мечником, который тоже стал принимать близко к сердцу ее легкомыслие, – я по обязанности, потому что если офицеры нам не помогут, то мы отсюда никогда больше не выберемся.

– Да ну! Браун этого не допустит!

– Браун уже сдался! – сказала она тоненьким голоском и опустила глазки.

– А Фиц-Грегори?

– Сдался! – отвечала она еще тоньше.

– А Оттенгаген?

– Сдался!

– А фон Ирен?

– Сдался!

– Ну, барышня, волк тебя заешь! Я вижу, что только с Кетлингом ты не сумела справиться...

– Я его не выношу! Но с ним справится кто-то еще. К тому же мы обойдемся и без его позволения.

– И ты, барышня, думаешь, что если мы захотим бежать, то они не помешают?

– Они пойдут с нами!.. – отвечала, поднявши голову и зажмурилась, Ануся.

– Господи! Тогда чего мы тут сидим? Сегодня же я хочу быть подальше отсюда!

Но после совещания, которое состоялось тут же, выходило, что необходимо потерпеть, пока не решится судьба Богуслава и пока пан подскарбий или пан Сапега не подойдут к пределам Жмуди. Иначе даже от рук своих можно было ждать ужасной смерти. Эскорт иностранных офицеров не только не защищал, но и увеличивал опасность, поскольку простой народ был так обозлен на чужестранцев, что каждого, кто не носил польской одежды, казнил без сострадания. Даже польские сановники, одетые по-иностранному, не говоря уже о французских и австрийских дипломатах, не могли путешествовать иначе, чем под прикрытием крупных военных отрядов.

– Вы мне верьте, я ведь проехала всю страну, – говорила Ануся, – в первой попавшейся деревне, в первом же лесу разбойники вырежут нас, прежде чем спросят, кто мы такие. Нельзя бежать никуда, кроме армии.

– Да ну, у меня будет свой отряд.

– Прежде чем вельможный пан его соберет, придется головой поплатиться, даже не доехавши до своей деревни.

– Известия о князе Богуславе должны вот-вот прийти.

– Я велела Брауну, чтобы мне обо всем немедленно сообщалось.

Однако Браун долгое время ничего ей не говорил.

А вот Кетлинг стал навещать Оленьку, поскольку она первая, встретив его однажды, протянула ему руку. Молодой офицер не ждал ничего хорошего от наступившего вдруг затишья. По его мнению, князь, чтобы успокоить курфюрста и шведов, не промолчал бы даже о самом малом своем успехе, скорей бы преувеличил его, чем молчанием стал ослаблять впечатление.

– Не думаю, что его уже разбили наголову, – говорил молодой офицер, – но он наверняка находится в тяжелом положении, из которого трудно найти выход.

– Все новости доходят сюда так поздно, – отвечала Оленька, – примером тому Ченстохова, мы о ее чудесном спасении узнали подробно только от панны Борзобогатой.

– Я, госпожа, знал об этом раньше, но, как иностранец, не придавал Ченстохове того значения, которое имеет в глазах поляков этот город, я даже не сказал вам ничего. Иногда в большой войне какая-нибудь малая крепость вовремя устоит, отобьется от нескольких штурмов, такое ведь может случиться, обычно этому не придают значения.

– А ведь для меня это была бы самая прекрасная новость!

– Теперь я вижу, что поступил неверно, потому что, как я начал понимать, все, что последовало за этой обороной, очень важно и может повлиять на ход целой войны. Однако вернемся к подлясскому походу князя, тут совсем другое дело. Ченстохова далеко, Подлясье близко. А когда князю везло, вы помните, госпожа, как быстро приходили новости... Верьте мне, госпожа: я человек молодой, но я с четырнадцати лет солдат, и опыт говорит мне, что это молчание плохо кончится.

– Скорее всего хорошо, – ответила девушка.

А Кетлинг на это:

– Пусть будет так!.. Через полгода моя служба заканчивается!.. Через полгода моя присяга теряет силу!

Несколько дней спустя после этого разговора пришли наконец известия.

Их привез пан Бес, по гербу прозываемый Корень, а при дворе Богуслава известный как Корнутус[149]. Это был польский шляхтич, совершенно обыностранившийся, поскольку он чуть ли не с подростков служил в чужеземных войсках и напрочь забыл польский язык, по крайней мере, говорил он, как немец. Душа у него тоже была чужеземная, поэтому он сильно привязался к князю. Он ехал с серьезным заданием в Кенигсберг, а в Таурогах задержался только на отдых.

Браун с Кетлингом сразу же проводили его к Оленьке и Анусе, которые теперь жили и спали бок о бок.

Браун вытянулся во фронт перед Анусей, после чего обратился к пану Бесу и сказал:

– Это родственница пана Замойского, калушского старосты, поэтому и князя, который велел оказывать ей всяческое уважение, и она пожелала услышать из уст личного свидетеля все новости.

Пан Бес, в свою очередь, выпрямился по-уставному и ждал вопросов.

Ануся ничуть не возражала против своих родственных связей с Богуславом, поскольку ее тешили военные почести, так что она показала ручкой пану Бесу, чтобы он сел, и, когда он сел, спросила:

– Где сейчас находится князь?

– Князь отступает к Соколке, даст бог, удачно! – ответил офицер.

– Ваша честь, только говорите истинную правду, как его дела?

– Я говорю истинную правду, – ответил офицер, – и ничего не утаиваю, предполагая, что ваша милость в своей душе найдет опору, чтобы выслушать и не очень приятные новости.

– Я найду! – отвечала Ануся, постукивая каблучком о каблучок под платьем от удовольствия, что ее назвали «ваша милость» и что новости «не очень приятные».

– Сначала у нас все шло хорошо, – говорил пан Бес. – Мы уничтожили по дороге несколько мятежных шаек, разбили пана Кшиштофа Сапегу и вырезали две хоругви кавалерии и один хороший полк пехоты, никого не щадя... После чего мы уничтожили пана Гороткевича, так что сам он едва ушел, а некоторые говорят, что и он убит... После чего мы заняли тыкоцинские развалины...

– Это мы уже все знаем, говорите скорее, ваша честь, неприятные новости! – внезапно прервала его Ануся.

– Извольте только выслушать их спокойно. Мы дошли до самого Дрогичина, и тут нам

пошла плохая карта. Ходили слухи, что пан Сапега еще далеко; однако же два наши конные разъезда как сквозь землю провалились. Не осталось даже свидетеля бойни. Потом нам показалось, что какие-то войска идут впереди нас. Из-за этого вышла большая конфузия. Князь начал подумывать, что все предыдущие донесения были ложными и что пан Сапега не только наступает, но и перерезал нам дорогу. Тогда мы начали отступать, поскольку таким способом можно было заставить неприятеля принять сражение, которого хотел князь... Но неприятель не давал себя вытянуть в поле, а только все нападал и нападал на нас. Снова ушли два конных разъезда и вернулись разбитые. И все у нас пошло кривь и вкось, не было покоя ни днем, ни ночью. Дороги нам портили, плотины разрушали, провиант перехватывали. Начали ходить слухи, что нас преследует сам пан Чарнецкий. Солдат не спит, не ест, духом упал; люди пропадали прямо на стоянках, как будто сквозь землю проваливались. В Белостоке враг снова захватил целый разъезд, княжеские поставцы с посудой и кареты, а также пушки. Никогда ничего подобного я не видывал. И в предыдущих войнах этого не видали. Князь впал в отчаяние. Он хотел одного решающего сражения, а вынужден был каждый день давать десяток мелких... и проигрывать. Всякий порядок распался. А как мне выразить нашу растерянность и страх, когда мы узнали, что сам пан Сапега еще не выступил, и только один крупный отряд выскочил впереди нас и причинил нам такой невообразимый урон. В этом отряде были и татары...

Дальнейшие слова офицера были прерваны писком Ануси, которая, бросившись Оленьке на шею, вскрикнула:

– Пан Бабинич!

Офицер остолбенел, услышав эту фамилию, однако же он счел, что у досточтимой барышни этот крик вырвался от ужаса и ненависти, так что немного погодя он заговорил так:

– Кому бог дал величие, тому он дал и силы выносить тяжелые времена, так что извольте успокоиться, госпожа! Именно так и прозывается этот слуга дьявола, который подорвал успех целого похода и стал причиной неисчислимых несчастий. Его фамилию, которую ваша светлость отгадала с такой удивительной быстротой, сейчас повторяют в ужасе и бешенстве все в нашем войске...

– Этого пана Бабинича я видела в Замостье, – быстро отвечала Ануся, – и если бы я могла предугадать...

Тут она замолкла, и никто так и не узнал, что бы в таком случае произошло...

Офицер, помолчавши, снова заговорил:

– Тут наступила распутица и оттепель вопреки, можно сказать, натуральным законам природы, поскольку мы имели сведения, что на юге Речи Посполитой еще крепко держалась зима, а мы брели в весенней грязи, которая сковала нашу тяжелую кавалерию. А он, имея легких на подъем людишек, тем более всюду успевал. На каждом шагу мы теряли повозки и пушки, так что в конце концов пришлось идти налегке, без обоза. Окрестный житель в своем слепом ожесточении явно помогал захватчикам... Что будет, одному богу известно, а я оставил в отчаянном состоянии войско и самого светлейшего князя, которого вдобавок бьет злая лихорадка и лишает его сил на несколько дней. Однако же генеральное сражение вот-вот произойдет, но как оно обернется, бог знает... и куда пойдет... Остается ждать чуда.

– Где вы оставили князя?

– В одном дне пути от Соколки; князь собирается укрепиться в Суховоле или тамошнем Янове и принять бой. Пан Сапега в двух днях пути. Когда я уезжал, у нас была передышка, поскольку от схваченного языка мы дознались, что сам Бабинич отлучился в главный лагерь, а без него татары не смеют так нападать, они пощипывают наши разъезды и довольны. Князь, несравненный полководец, основывает все свои надежды на генеральной битве, но это когда он здоров, а как его лихорадка схватит, он уже думает по-другому, почему он меня и послал в Пруссию

– А зачем вы туда, сударь, едете?

– Или князь выигрывает битву, или проигрывает. Если он ее проигрывает, вся Княжеская Пруссия остается без прикрытия, и очень просто может стать, что пан Сапега перейдет границу, чтобы вынудить курфюрста принять сторону короля... Так вот (я говорю об этом, поскольку в том нет никакой тайны), я еду предупредить, чтобы они там в провинциях подумали о какой-нибудь обороне, иначе непрошенные гости могут нагрянуть большой компанией. Это дело курфюрста и шведов, с которыми князь в союзе и от которых он тоже имеет право ждать помощи.

Офицер замолчал.

Ануся забросала его множеством вопросов, с трудом выдерживая серьезный тон, но зато, когда он вышел, она уж дала себе полную волю, стала хлопать руками по юбчонке, крутиться волчком на каблуках, бросилась целовать Оленьке глаза, а пана мечника таскать за откидные рукава кунтуша, крича:

– Ну, что? Что я говорила? Кто извел князя Богуслава? Может, пан Сапега?... Фигушки пан Сапега! Кто шведов изводит точно так же? Кто казнит изменников? Кто лучший из всех кавалер, лучший рыцарь? Пан Анджей! Пан Анджей!

– Какой пан Анджей? – внезапно спросила, побледнев, Оленька.

– Разве я тебе не говорила, что его зовут Анджей? Он сам мне это сказал. Пан Бабинич! Пан Бабинич! Да здравствует пан Бабинич!.. Даже и сам пан Володыёвский лучше бы не смог!.. Что с тобой, Оленька?

Панна Биллевич очнулась, как бы желая сбросить с себя бремя тяжелых мыслей.

– Да ничего! Я думала, что это имя носят только изменники. Был один такой, который брался короля живого или мертвого продать шведам или князю Богуславу, его звали тоже... Анджей.

– Накажи его господь! – взорвался мечник. – Нечего нам глядя на ночь вспоминать изменников. Лучше порадуемся, нам есть чему!

– Пусть только сюда подойдет пан Бабинич! – добавила Ануся. – Так что вот! И я буду, нарочно буду завлекать Брауна еще больше, чтобы он поднял бунт во всем гарнизоне и с людьми, лошадьми и с нами вместе перешел к пану Бабиничу.

– Давай, барышня, давай, – воскликнул, разошедшись, мечник.

– А мы после этого покажем фигу этим немцам... Может быть, он тогда забудет о своей кривляке и меня по... лю...



Тут она снова тихонько взвизгнула, закрыла глаза руками, однако, должно быть, какая-то мысль ее рассердила, потому что она пристукнула кулачками друг о дружку и сказала:

– А если нет, то я пойду за пана Володыёвского!

## ГЛАВА XXI

Двумя неделями позже в Таурогах все закипело. Как-то вечером стали подходить разрозненные кучки солдат Богуслава по тридцать – сорок всадников, истощенные, оборвавшиеся, похожие скорее на призраков, чем на людей, и они-то и принесли весть о поражении Богуслава под Яновом. Все было потеряно: армия, пушки, кони, обоз. Шесть тысяч отборнейших солдат вышло с князем в тот поход, а вернулись едва четыре сотни рейтар, которых увел от гибели сам князь.

Из поляков, кроме Саковича, не вернулась ни одна живая душа, поскольку все те, которые не полегли на поле боя, которых не повырезал в своих набегах страшный Бабинич, – все перешли к пану Сапеге. И много еще чужеземных офицеров предпочло добровольно стать под знамя победителя. Словом, никогда еще ни один из Радзивиллов не возвращался из военной экспедиции более опозоренным, разбитым и уничтоженным.

И как раньше придворные льстецы, не зная меры превозносили Богуслава-полководца, так теперь все в один голос неустанно поносили его за бездарность в ведении войны; уцелевшее воинство без устали роптало, и это в последние дни отступления вызвало полный развал и дошло до таких размеров, что князь почел за лучшее несколько подзадержаться в тылах.

Они с Саковичем остановились в Россиенах. Гасслинг, узнавший об этом от солдат, тут же понес новость Оленьке.

– Самое главное, – сказала она, выслушав донесение, – вот что: погонится ли пан Сапега или этот Бабинич за князем и придут ли они с войском в наши края?

– От солдат ничего нельзя выудить, – ответил офицер, – от страха у них глаза велики, так что некоторые говорят, будто бы пан Бабинич здесь. Однако из того, что князь с Саковичем отстали, можно сделать вывод, что погоня не спешит.

– Но все-таки погоня есть? Как же иначе? Кто это после победы откажется догнать разбитого врага?

– Время покажет. Я хотел с вами поговорить о другом. Князь из-за болезни и всех этих неприятностей наверняка будет в раздражении, а загнанный в угол человек способен на скверные поступки... Госпожа, никуда не отходите от тетки и панны Борзобогатой и не соглашайтесь, если пана мечника захотят выпроводить в Тильзит, как это было в последний раз перед походом.

Оленька не отвечала ничего; мечника, разумеется, никогда не отправляли в Тильзит, просто, когда после княжеского удара обушком он болел несколько дней, Сакович, чтобы скрыть ото всех это дело, нарочно распустил слух, что старик уехал в Тильзит. Оленька предпочла ничего не говорить об этом Кетлингу, гордой девушке стыдно было признаться, что кто-то побил одного из Билевичей как собаку.

– Спасибо, сударь, за предостережение, – сказала она, помолчав.

– Считаю своим долгом...

Но сердце ее снова залила горечь. Ведь еще недавно только от Кетлинга зависело, чтобы эта новая напасть не повисла у нее над головой, ведь если бы он согласился на побег, Оленька была бы уже далеко, свободная от Богуслава раз и навсегда.

– Господин рыцарь, – сказала она, – еще хорошо, что ваши советы не затрагивают вашей чести и что князь не успел издать приказа о том, чтобы вы меня не предостерегали.

Кетлинг все понял и ответил следующей тирадой, которой Оленька от него никак не ожидала:

– Что касается моей солдатской службы и что мне запрещается по долгу чести, за это я плачу своей жизнью. Другого выбора у меня нет, и другого я не желаю. Но за пределами служебного времени я имею право бороться с подлостью. Как частное лицо, я оставляю тебе, госпожа, этот пистолет и говорю: защищайся, опасность близка, в случае чего – убей! В тот же час моя присяга будет расторгнута, и я приду к тебе на помощь.

Сказав это, он поклонился и пошел к дверям, но Оленька задержала его.

– Господин рыцарь, уходи с этой службы, встань за правое дело, защити обиженных, ты этого достоин, ты благородный человек, мне жаль, что ты служишь изменнику.

Кетлинг ответил:

– Я бы уже давно освободился и подал в отставку, если бы не думал, что я тебе, госпожа, могу пригодиться здесь. Но сегодня уже поздно. Если бы князь возвратился с победой, я бы не колебался ни минуты. Но он возвращается побежденным, его, наверное, преследует враг, было бы трусостью проситься в отставку, прежде чем мой срок не кончится и не освободит меня от слова... Ты тут насмотришься вволю, как малодушные людишки толпами покидают побежденного, но меня ты между ними не увидишь... Прощай, госпожа. А этот пистолет с легкостью пробивает даже панцирь...

Кетлинг вышел, оставив на столе пистолет, который Оленька тут же прибрала. По счастью, опасения молодого офицера и ее собственные страхи оказались преждевременными.

Князь прибыл вечером вместе с Саковичем и Патерсоном, но такой изможденный и хворый, что еле держался на ногах. К тому же он сам не знал, выступил ли против него Сапега или он послал в погоню Бабинича с легкой кавалерией.

Богуслав, правда, свалил последнего наземь вместе с конем во время атаки, но не надеялся, что убил его, поскольку ему теперь казалось, что меч пошел вкось при ударе по мисюрке. Ведь один раз князь уже выстрелил Бабиничу прямо в лицо, но это тоже не помогло.

У князя щемило сердце при мысли, что может этаким Бабинич сотворить с его именами, если доберется до них со своими татарами. А оборонять владения было уже нечем! Не только владения, но самого себя. Среди его наемников таких, как

Кетлинг, было мало, и следовало ожидать, что при первом же известии о приближении сапегинских войск они покинут его все до единого.

Князь не предполагал задерживаться в Таурогах больше, чем на два-три дня, он должен был спешить в Королевскую Пруссию к курфюрсту и Стенбоку, которые могли снабдить его свежими подкреплениями и использовать при взятии прусских городов или же послать в помощь самому королю, который намеревался идти в глубь Речи Посполитой.

В Таурогах требовалось только оставить кого-нибудь из офицеров, кто бы привел в порядок разрозненные остатки войск, отогнал бы отряды крестьян и шляхтичей, защитил владения обоих Радзивиллов и связался с Левенгауптом, главнокомандующим шведских войск на Жмуди.

С этой целью по приезде в Тауроги, выпавшись за ночь, князь решил посоветоваться с Саковичем и вызвал его к себе, единственного, которому он мог доверять и полностью открыть душу.

Странно звучало это «доброе утро», которым обменялись два приятеля в Таурогах после неудачного похода. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Первым заговорил князь:

– А ну его! Все к черту!

– Все к черту! – повторил Сакович.

– При таком положении это должно было случиться. Было бы у меня побольше легкой кавалерии, да еще дьяволы принесли этого Бабинича... Ладно, два раза бывает, третий раз не миновать. Имя себе, висельник, сменил. Не говори об этом никому, нечего ему славы набавлять.

– Я-то не скажу... Но за офицеров я не ручаюсь, что они не растреляют, вы ведь, князь, у своего стремени представляли его как оршанского хорунжего.

– А, немецкие офицеры ничего не понимают в польских фамилиях. Им все одно: Кмициц или Бабинич. Ах, черт меня побери, вот бы он мне попался! А ведь он уже был у меня в руках... И еще мне, шельма, людей перебунтовал, увел отряд Гловбича! Видать нашу кровь у этого подзаборника, чувствуется!.. И ведь был, был он у меня в руках... И ушел!.. Меня это больше бесит, чем весь наш бездарный поход.

– Он у тебя был бы в руках, но ценой моей головы.

– Ясек! Я тебе скажу правду: хоть бы с тебя шкуру содрали, только бы мне с Кмицица ее содрать и барабан сделать.

– Спасибо тебе, Богусь. Ничего другого а и не ожидал от такого друга.

Князь рассмеялся:

– А сало бы твоё здорово шкварчало у Сапеги на огоньке! Все твои грехи бы вытопились. Ma foi! Хотелось бы посмотреть на это!

– А я бы хотел тебя видеть в руках у Кмицица, твоего милого родственничка. Лицо-то у тебя другое, а вот повадками вы похожи, и ноги у вас на одну мерку, и

вздыхаете вы оба по одной девке, только она раньше времени угадала, что тот здоровше и как солдат будет получше.

– Да, он двух таких, как ты, на одну руку берет, но вот только я заехал ему в брюхо... А если бы у меня тогда было минутки две, я тебе слово даю, мой кузенчик бы помер. Ты всегда был глуповатый, я за это тебя и полюбил, но в последнее время что-то юмор у тебя поухнул.

– А у тебя весь юмор ушел в пятки, поэтому ты так от Сапеги улепетывал, ты мне даже разонравился, и я уже сам готов уйти к Сапеге.

– На цепь тебя посадить!

– На цепь, которой свяжут Радзивилла.

– А ну, хватит!

– Слуга покорный вашей милости.

– Нужно бы несколько рейтар расстрелять, из тех, что больше всех кричат, и навести порядок.

– Я приказал сегодня утром повесить шестерых. Они уже остыли, а пляшут на веревках как нанятые, ветер сильный.

– И прекрасно сделал. Слушай! Хочешь остаться с гарнизоном в Таурогах, мне нужно кого-нибудь здесь оставить.

– И хочу, и прошу об этом. Никто лучше меня тут не справится. Солдат меня боится больше всех, знает, что со мною шутки плохи. И для Левенгаупта лучше, если тут останется человек посолидней Патерсона.

– Ты с разбойниками справишься?

– Заверяю вашу княжескую светлость, что на жмудских соснах нынешний год уродятся фрукты потяжелее шишек. Я тут из холопов сколочу два полка пехоты и выучу их по-своему. Посмотрю за именами, а если мятежники на них нападут, я тут же обвиню в этом какого-нибудь шляхтича пожирней и выжму его, как творог в мешке. А денег мне понадобится для начала только для наемников и чтобы набрать пехоты.

– Что смогу, я тебе оставлю.

– Из приданого?

– Как это?

– Ну, из билевичевских денег, которые ты сам себе выплатил вперед в счет приданого.

– Если бы ты сумел аккуратненько свернуть шею этому мечнику, было бы прекрасно, потому что шутки шутками, а у этого шляхтича есть расписка.

– Я постараюсь, только ведь дело в том, что не отдал бы он эту расписку на сторону или девка бы не зашила ее в рубаху. Не желаете ли проверить, ваша

княжеская светлость?..

– Ладно, и до этого дойдет, а сейчас я должен ехать, а из-за проклятой febris у меня совсем нету сил.

– Завидуйте мне, ваша милость, я остаюсь в Таурогах.

– Странная пришла тебе охота. Разве что... Ты случайно?.. Смотри, прикажу крючьями тебя разорвать. Чего это тебе так приспичило здесь остаться?

– А потому что я хочу жениться.

– На ком? – спросил князь, присев в постели.

– На панне Борзобогатой-Красенской.

– Это хорошая мысль, это великая мысль! – сказал, помолчав, Богуслав. – Я слышал о какой-то дарственной...

– Именно от пана Лонгина Подбиятки. Ваша милость, ты ведь знаешь, какой это сильный род, а у такого Лонгина имения были в нескольких поветах. Правда, одно из них какая-то седьмая вода на киселе приголубила, а в других стоят московские войска. Так что процессов, потасовок, споров и переговоров будет бесчисленное количество, но я с этим справлюсь, не уступлю никому ни одного клона. При этом мне девка страшно подошла, гладкая такая и завлекательная Я это заметил, потому что, когда мы ее забрали, она страх-то изображала, а глазки мне строила. Только я стану здесь комендантом, как у нас от одного безделья пойдут амуры.

– Хочу предупредить об одном. Жениться я тебе не запрещаю, однако слушай меня внимательно: никаких эксцессов, понял? Эта девка живет у Вишневецких, она приближенная самой княгини Гризельды, а я не желаю оскорблять чувства княгини и калушского старосты заодно.

– Меня не надо предостерегать, – ответил Сакович, – я же хочу жениться по чести и должен все делать по чести.

– Я бы желал, чтоб она тебе показала на дверь.

– Я знаю кое-кого, кому показали на дверь, хотя этот человек и князь, но я так думаю, что со мной этого не случится. Мне как-то эти лукавые глазки придают смелости.

– А ты лучше не разговаривай с тем, кому показали на дверь, как бы он тебя рогатым не заделал. Я тебе добавлю к гербу рога, или же ты возьмешь вторую фамилию: Сакович Рогатый! Она из рода Борзобогатых, а он из Борзорогатых. Получится из вас дружная парочка. Конечно, женись, Ясь, женись, дашь мне знать, когда свадьба, я буду дружкой.

Лютый гнев обозначился на страшном и без того лице Саковича. Глаза его на мгновение как бы заволокло дымом, но он быстро опомнился и, пытаясь превратить в шутку слова князя, ответил:

– Несчастный! Ты по лестнице подняться собственными силами не можешь, а все грозишься... У тебя тут есть своя панна Билевич, смелей, хлюпик! Смелей! А то еще

будешь нянчить Бабининых деток!

– Чтоб тебе язык прищемило, такой-то сын. Ты еще смеешься над моей болезнью, когда я был на волосок от гибели! Тебя бы так заколдовали!

– Какое там заколдовали! Иногда поглядишь, как все идет своим натуральным ходом, то и подумаешь, что колдовство – это глупости.

– Ты сам глуп! Сиди тихо, не накличь на себя беды! Ты мне совсем обрыдл.

– И чего ради я остался тебе верным, князь, единственный из всех поляков, если ты мне платишь черной неблагодарностью. Лучше я вернусь в родные пенаты, посижу спокойно и погляжу, чем кончится война.

– Оставь меня в покое! Ты знаешь, что я питаю к тебе слабость.

– А я тяжело соображаю. Дьявол меня попутал, князь, привязаться к тебе всей душой. Если уж в чем есть колдовство, то только в этом.

Сакович говорил правду, он действительно обожал Богуслава; князь об этом знал и поэтому платил ему если не глубокой привязанностью, то, по крайней мере, благодарностью, которую тщеславные люди испытывают к тем, кто их любит.

Потому-то он охотно согласился с намерениями Саковича насчет Ануси Борзобогатой и решил самолично ему помочь.

С этой целью он в полуденное время, когда ему обычно становилось полегче, велел себя одеть и отправился к Анусе.

– По праву старого знакомого я пришел справиться о здоровье вельможной панны, – сказал он, – и узнать, понравилось ли вельможной панне в Таурогах?

– Кто сидит в неволе, тому все должно нравиться, – ответила со вздохом Ануся.

Князь рассмеялся.

– Ты не в неволе. Тебя захватили вместе с солдатами пана Сапеги, это правда, и я приказал тебя, вельможная панна, отослать сюда, но только для твоей же безопасности. У тебя волос с головы не упадет. Знай, вельможная панна, что я мало кого так уважаю, как княгиню Гризельду, с которой вы так сердечно связаны. И Вишневецкие и Замойские мне родня. Ты тут найдешь свободу, о тебе будут всячески заботиться, а я к тебе пришел как добрый друг и скажу так, хочешь – уезжай, я дам тебе эскорт, хоть у меня у самого с солдатами туговато, но я лично советовал бы тебе остаться. Как я слышал, вельможная панна, тебя послали получить земли по дарственной. Но знай, что сейчас не те времена, чтобы об этом думать, и что даже в спокойное время протекция пана Сапеги – ничто, потому что он у себя в Витебском воеводстве еще может похлопотать, а тут – никогда. К тому же он сам за это не возьмется, только через посредников. Вельможной панне нужен человек хороший и деловой, чтобы его люди боялись и уважали. Такой, чтобы если уж он чем займется, то ему уже не всучишь карася вместо поросся.

– Где же я, сирота, возьму такого опекуна? – воскликнула Ануся.

– Да тут же, в Таурогах.

– Неужели ваша княжеская милость соблаговолит сам...

Тут Ануся сложила ручки и так умильно посмотрела в глаза Богуславу, что, если бы князь не был таким измученным и хилым, он бы наверняка забыл думать о делишках Саковича, но поскольку амуры сейчас не шли в голову Богуслава, он немедленно ответил:

– Если бы я мог, я бы никому не уступил такого благородного дела, но я вынужден уехать. Вместо меня в Таурогах остается комендантом ошмянский староста Сакович, великий рыцарь, знаменитый воин и столь деловой человек, что другого такого ты не найдешь во всей Литве. Так что, повторяю, оставайся, вельможная панна, в Таурогах, ехать тебе некуда, поскольку везде полно грабителей, а бандиты и бунтовщики заняли все дороги. Сакович о тебе тут позаботится. Сакович защитит, Сакович разберется, как лучше вытребовать эти владения, а уж если он за это возьмется, то я ручаюсь, что никто в целом мире лучше его не доведет дело до победного конца. Он мой друг, так что я его знаю, и я скажу о нем вельможной панне только одно – что если бы я сам завладел твоим имуществом, а потом бы узнал, что против меня пошел Сакович, я бы предпочел отдать все добровольно, потому что с ним связываться небезопасно.

– Если бы пан Сакович захотел помочь сироте...

– Только не отталкивай его, а он для вельможной панны сделает все, поскольку ему глубоко в душу запала твоя красота. Он уж там ходит и вздыхает...

– Да ну, кому я могу понравиться.

«Шельма девица», – подумал князь.

А вслух сказал:

– Пусть уж Сакович объясняет, как это произошло, а ты, вельможная панна, не отталкивай его, поскольку он человек уважаемый, славного рода, и я советую тебе его не упускать.

## ГЛАВА XXII

На следующий день князь получил от курфюрста приказ как можно скорее ехать в Кенигсберг, чтобы принять командование над новоприбывшими войсками и идти с ними под Мальборк или в Гданьск. В письме содержались также сведения о смелом походе Карла Густава в глубь Речи Посполитой до самых русских границ. Курфюрст предвидел, что все это могло плохо кончиться, но именно поэтому он хотел объединить под своей рукой как можно больше вооруженных сил, чтобы в случае нужды стать необходимым той или другой стороне, продать себя подороже и решить, таким образом, исход войны. Из-за этого он рекомендовал молодому князю выступать как можно скорее и так опасался при этом промедленья, что вслед за первым курьером выслал второго, который и прибыл спустя двенадцать часов.

Князю, таким образом, нельзя было терять ни минуты, даже на отдых, хотя лихорадка вернулась к нему снова и с прежней силой. Ехать, однако, было нужно. Но, прежде чем выступить, князь сказал, передавая бразды правления Саковичу:

– Может, тебе придется переправить мечника и девицу в Кенигсберг. Там в тишине будет легче справиться с этим несговорчивым человечком; а девку, было бы

здоровье, я возьму с собой в лагерь, хватит с меня этих церемоний.

– Это хорошо, и личный состав войск может увеличиться, – ответил ему на прощание Сакович.

Часом позже князь исчез из Таурогов. Полноправным хозяином остался Сакович, признающий над собой единственную власть – власть Ануси Борзобогатой. Он готов был пасть ниц перед ее башмаками, как когда-то князь падал перед Оленькой. Укрощая свою дикую натуру, он стал светским, предупредительным, угадывающим мысли на расстоянии и одновременно держался вдалеке со всем возможным уважением, с каким придворный кавалер может относиться к барышне, руки и сердца которой он добивается.

Ей же, надо сказать, понравилось царствовать в Таурогах; ей приятно было думать, что, когда наступает вечер, в нижних покоях, в сенях, в цейхгаузе, в саду, еще по-зимнему заиндевелом, разносятся вздохи старых и молодых офицеров, что даже астролог вздыхает, глядя на звезды со своей одинокой башни, что даже старый мечник свою вечернюю молитву прерывает вздыханиями.

Будучи предоброй девушкой, она все-таки радовалась, что не Оленька вызывает эти возвышенные чувства, а она; радовалась она еще и потому, что думала о Бабиниче и чувствовала при этом свою силу, и ей приходило в голову, что если никто и никогда не смог воспротивиться ее чарам, то и в его сердце она должна была оставить неизгладимый след. «А ту, другую, он забудет, иначе и быть не может, его там одними завтраками кормят, а он будет знать, где меня найти и поищет, разбойник такой!»

И сразу после этого она в глубине души пригрозила ему:

«Ну погоди! Я уж тебе отплачу, прежде чем решусь простить».

Между тем она, не слишком любя Саковича, охотно его принимала. Правда, он обелил себя в ее глазах, объяснив свою измену точно таким же способом, каким объяснил мечнику свою измену князь Богуслав, то есть он сказал, что уже был заключен мирный договор со шведами и уже Речь Посполитая должна была вздохнуть спокойно и стать цветущим краем, но тут пан Сапега ради своей личной выгоды все испортил.

Ануся, не слишком разбираясь в таких делах, пропускала мимо ушей слова Саковича. Однако ее поразило другое в рассказах пана ошмянского старосты.

Он говорил:

– Билевичи поднимают крик на весь мир насчет своих обид и того, что их держат в неволе, а им тут ничего плохого не сделали и не сделают. Князь не выпускал их из Таурогов, это правда, но для их же добра, потому что они бы и трех шагов не успели сделать за воротами, как их бы прирезали мятежники или лесные грабители. Он не пускал их и потому, что полюбил девицу Билевич, это правда! Но кто бросит в него камень? Кто, в ком бьется сердце и чья грудь еще способна волноваться, мог бы поступить по-другому? Если бы еще у него были нечестные намерения, он бы себе много чего мог позволить, но он хотел жениться на ней, он хотел возвысить эту упрямыцу, сделать ее княгиней, осчастливить, возложить на ее голову радзивилловскую корону, и вот за это неблагодарные люди его поносят, вредят его доброму имени и славе...



Ануся, не слишком поверив ему, в тот же самый день спросила у Оленьки: правда ли то, что князь хотел на ней жениться? Оленька не стала отрицать этого, а поскольку они были уже близкими подругами, она объяснила ей причины своего отказа. Анусе они показались справедливыми и разумными, но все-таки она подумала про себя, что Биллевичам не так уж плохо было в Таурогах и что князь с Саковичем не такие уж бандиты, какими их повсюду провозгласил пан россиенский мечник.

Так что, когда пришло известие, что пан Сапега с Бабинином не только не подойдут к Таурогам, но уже вышли в далекий поход на шведского короля ко Львову, Ануся сначала разозлилась, а потом начала помаленьку понимать, что если их нет, то бежать из Таурогов незачем, что можно и жизнь потерять или в лучшем случае поменять спокойное существование на полный опасности плен.

Из-за этого у них с Оленькой и мечником начались споры; но пленники тоже должны были признать, что отход войск пана Сапеги сильно затрудняет побег, если не делает его вообще невозможным, тем более что в стране поднималась великая смута и никто из жителей не мог быть уверен в своем завтрашнем дне. И даже если бы они не вняли доводам Ануси, побег без ее помощи под бдительным оком Саковича и других офицеров был невозможен. Единственный человек – Кетлинг – был предан им, но ни в какой заговор, противоречащий его офицерскому долгу, он вступать не соглашался, при этом чаще всего он отсутствовал, поскольку Сакович использовал его как опытного солдата и способного офицера, против вооруженных групп конфедератов и мятежников, так что частенько отправлял его подальше из Таурогов.

А Анусе в Таурогах было все лучше и лучше.

Сакович просил у нее руки и сердца через месяц после отъезда князя, но плутовка дала ему довольно хитрый ответ, что не знает его, говорят о нем по-разному, что у нее еще не было времени его полюбить, что без разрешения княгини Гризельды она не может выйти замуж, и в конце концов сказала, что хочет дать ему год испытательного срока.

Староста вынужден был проглотить обиду и в тот же день приказал одному рейтару за мелкую провинность дать тысячу розог, после чего бедного солдатика похоронили, а Сакович должен был согласиться на Анусины условия.

Что касается самой Ануси, то она намекнула старосте, что даже если он будет еще более верно ей служить, будет еще более старательным и покорным, то через год он все равно получит только то, что она захочет ему дать.

Таким образом, Ануся играла с огнем, но она до такой степени уже успела завладеть Саковичем, что он даже не рискнул заворчать, а только ответил:

– Требуй от меня чего хочешь, вельможная панна, кроме измены князю, хочешь, я буду перед тобой даже на коленях ползать...

Если бы только Ануся знала, как страшно Сакович мстит за свои неудачи всем людям в округе, может быть, она так его не дразнила бы. Солдаты и жители Таурогов дрожали перед ним, поскольку он и безвинных людей подвергал страшным карам. А пленники подышали у него в своих цепях от голода или от ожогов железом.

Иногда казалось, что дикий староста хочет охладить кипящую, обожженную жаром любви душу человеческой кровью, поскольку он вдруг срывался и сам ходил в набеги, и победа шла по его стопам. Он вырезал целые отряды бунтовщиков; а

взятым в плен мужикам он приказывал для острастки обрубить правую руку и в таком виде пускать по домам.

Ужас, навеваемый им, окружил Тауроги как бы мощной стеной, и даже большие отряды патриотов не осмеливались подходить ближе России.

Всюду стояла тишина, а он из немецких побродяжек, из местных крестьян за деньги, выжатые из мирных жителей и шляхтичей, формировал все новые и новые полки и все накапливал силы, чтобы помочь своему князю при надобности.

И не сыскать было Богуславу более верного и страшного слуги, чем он.

А на Анусю Сакович смотрел все нежнее своими страшными бледно-голубыми глазами и, бывало, игрывал ей на лютне.

Для Ануси в Таурогах жизнь шла весело и радостно, а для Оленьки – тяжело и однообразно.

От одной так и било веселье, как те лучики, которые расходятся ночами от светлячка; а у другой лицо становилось все бледнее, все серьезнее, все суровее, черные брови все мрачнее сходились на бледном челе, так что в конце концов ее прозвали монашкой. В ней и было что-то от монашки. Она начала уже привыкать к мысли, что станет монашкой, что сам бог ее ведет через боль, через несчастья за монастырскую ограду к вечному миру.

Это уже была не та девушка, со свежим румянцем на щеках и счастьем в глазах, не та Оленьки, которая когда-то, едучи в санях с женихом Анджеем Кмицицем, все кричала: «Эй! Эй!» – по окрестным лесам.

А в мире наступала весна. Теплый сильный ветер раскачивал освобожденные ото льдов воды Балтики, потом зацвели деревья, цветы вырвались из своих крепких свивальников на волю, потом солнце стало припекать, а бедная девушка напрасно ждала освобождения из своей неволи, даже Ануся не хотела бежать вместе с нею, а в стране становилось все тяжелей.

Меч и огонь сеяли опустошение так, как будто земле уже нечего было ждать милосердия божьего. Тот, кто не схватился за саблю или пику зимой, тот брался за нее весной, потому что уже не было снега и не оставалось следов и потому что леса давали лучшее убежище и летом война казалась много проще, чем зимой.

Известия, как ласточки, прилетали в Тауроги, иногда страшные, иногда утешительные. И те, и другие бедная чистая девушка освящала своими молитвами, поливала слезами горя или радости.

Сначала говорили об ужасной смуте, охватившей весь народ. Сколько было деревьев в лесах Речи Посполитой, сколько колосьев кланялось на ее нивах, сколько звезд светило по ночам между Татрами и Балтикой, сколько встало воинов противу шведов: и те, кого называли шляхтой и которые сами богом и прирожденным порядком вещей были предназначены для войны; и те, которые кромсали землю плугом и засевали зерном этот край; и те, которые занимались торговлей и ремеслами по городам; и те, которые жили на своих пасеках по лесам; и те, кто кормились смолокурением и жили трудами своего топора и охотничьего ружья; и те, которые, просиживая над рекой, зарабатывали рыболовством; и те, которые кочевали по степям за своими стадами, – все брались за оружие; чтобы выгнать захватчиков из родной страны.

Уже шведы тонули в этой реке, как в половодье.

К удивлению всего мира, еще недавно столь бессильная Речь Посполитая нашла в свою защиту столько сабель, сколько не мог бы иметь немецкий цесарь или французский король.

А потом пришли известия о Карле Густаве, который все шел в глубину Речи Посполитой по колено в крови, с головой, обвеванной дымом и пламенем, и с богохульством на устах. Со дня на день ожидалось известие о его смерти и о гибели всех шведских войск.

Все громче звучало имя Чарнецкого, от границы до границы пронизывая страхом неприятеля и вливая гордость в польские сердца.

– Чарнецкий разгромил шведов под Козеницами, – говорили сегодня. – Разгромил под Ярославом! – повторяли несколько недель спустя. – Разгромил под Сандомиром! – повторяло далекое эхо.

Только удивлялись тому, откуда еще берется столько шведов после таких побоищ.

Под конец прилетели новые стаи ласточек, а с ними и слух о том, что короля и всю шведскую армию взяли в оборот между двумя реками. Казалось, что конец вот-вот приближается.

И сам Сакович в Таурогах перестал выходить в походы, только все писал по ночам письма и рассылал их в разные стороны.

Мечник как бы обезумел. Каждый день вечером он влетал со своими новостями к Оленьке. Иногда он грыз пальцы, когда вспоминал, что ему приходится сидеть в Таурогах. Старая солдатская душа звала его на поле боя. В конце концов он начал запирается у себя в комнате и целыми часами о чем-то раздумывал. Один раз неожиданно он схватил Оленьку в объятия, страшно зарычал и сказал ей:

– Милая ты моя деточка, доченька моя единственная, но отчизна мне милей!

На следующее утро он исчез, как будто под землю провалился.

Оленька только нашла письмо, а в письме было вот что:

«Благослови тебя господь, любимое дитячко! Я очень хорошо понимаю, что стерегут здесь не меня, а тебя, что одному мне будет легче отсюда убежать. Суди меня господь, если я это сделал, моя убогая сирота, из-за каменности своего сердца, из-за того, что мне не хватает отцовского чувства для тебя. Но мука была слишком велика, и я не мог, клянусь ранами господя бога, не мог уже больше сидеть. Потому что как только я думал, что льется рекой истинная польская кровь pro patria et libertate[150], а моей ни капли в этой реке нет, тогда мне казалось, что даже небесные ангелы меня осуждают... И лучше было бы мне не родиться на нашей святой жмудской земле, в краю мужества и amor patriae[151], и лучше было бы мне не родиться шляхтичем и Биллевичем, если бы я остался при тебе и стерег бы тебя. Ведь если бы ты была мужчиной, ты сделала бы то же самое, так что прости меня, что я тебя, как Даниила, оставил на растерзание львам в пещере. Но бог его в милосердии своем сохранил, и я так думаю, что и над тобой смилостивится святая богоматерь, наша королева и защитница».

Оленька залила слезами письмо, но еще больше полюбила дядюшку за этот его поступок – ее сердце наполнилось гордостью. А в Таурогах это событие произвело невероятный шум. Сам Сакович влетел с бешенством к девушке и, не снявши шапки, спросил:

– Где ваш дядя?

– Где все, кроме изменников!.. На поле боя!

– Вельможная панна знала об этом? – крикнул староста.

А она, вместо того чтобы смутиться, подошла на несколько шагов к Саковичу и, меряя его глазами с неизъяснимым презрением, ответила:

– Знала – и что?

– Вельможная панна.. Эх! Если бы не князь!.. Вельможная панна, ты мне ответишь перед князем.

– Ни перед князем, ни перед его лакеем! А теперь – вон отсюда!

И пальцем она показала ему на дверь.

Сакович скрипнул зубами и вышел.

В тот самый день на все Тауроги грянула весть о победе под Варкой, и такая тревога поселилась в сердцах всех шведских сторонников, что сам Сакович не смел наказывать ксендзов, которые всенародно пели «Te Deum» в окрестных костелах.

Однако большая тяжесть упала у него с сердца, когда, несколькими неделями позже, из-под Мальборка пришло письмо Богуслава с известием, что король сумел ускользнуть из засады между реками. Но другие новости были неутешительными. Князь жаждал подкрепления и велел оставить в Таурогах войска не больше, чем этого требует необходимая оборона.

Рейтары в полной готовности выступили на следующий день, а с ними Кетлинг, Эттинген, Фиц-Грегори, словом, все лучшие офицеры, кроме Брауна, который был необходим Саковичу.

Тауроги опустели еще больше, чем после отъезда князя.

Ануся Борзобогатая начала страшно скучать и все больше донимала Саковича. Он же подумывал о том, чтобы перебраться в Пруссию, поскольку ободренные уходом войск партизаны снова начали заходить за Россиены и приближаться к границам Таурогов. Только одни Биллевици собрали до пятисот всадников среди мещан, мелких шляхтичей и крестьянства. Они разгромили полковника Бютцова, который вышел навстречу им, и немилосердно прочесывали все радзивилловские деревни.

Народ охотно присоединялся к этим отрядам, потому что ни одно семейство, даже сами Хлебовичи, не пользовалось такой популярностью и славой среди людей, как Биллевици.

Саковичу не хотелось оставлять Тауроги на милость неприятелю; знал он и о том,

что в Пруссии трудно с деньгами, с подкреплением, что здесь он правит, как хочет, а там его власть сойдет на нет, однако он все больше терял надежду удержаться в Таурогах.

Бютцов со своим разбитым отрядом пришел искать у него покровительства, а сведения о могуществе и росте партизанских отрядов, которые он принес, окончательно убедили Саковича перейти прусскую границу.

Однако как человек основательный и любящий все доводить до конца, он потратил на приготовления десять дней, отдал все приказы и должен был двигаться.

Внезапно он наткнулся на неожиданное сопротивление с той стороны, с которой меньше всего его ожидал, а именно со стороны Ануси Борзобогатой.

Ануся даже и не думала отправляться в Пруссию. Ей было хорошо в Таурогах. Успехи отрядов конфедератов ее не пугали нисколько, и если бы Биллевичи даже напали на Тауроги, она была бы рада. Она понимала при этом, что в чужой стороне, среди немцев, она бы целиком была отдана в руки Саковича и что там он мог бы требовать от нее исполнения обещания, к чему она не имела никакой охоты, и поэтому она решила остаться. Оленька, которой она сообщила о своем решении, не только одобрила его, но и со слезами на глазах начала ее умолять, чтобы она как можно упорнее сопротивлялась отъезду.

– Тут еще нас могут освободить не сегодня, так завтра, – говорила она, – а там мы погибнем обе.

Ануся ей отвечала:

– Вот видишь! А ты едва на меня не накричала за то, что я якобы хотела очаровать старосту. Хоть я ни о чем таком не думала, клянусь княгиней Гризельдой, это как-то само собой произошло. А сейчас стал бы он обращать внимание на мои капризы, если бы в меня не влюбился? А?

– Правда, Ануся, правда! – отвечала Оленька.

– Не печалься, прекрасный мой цветок! Мы ни шагу не ступим из Таурогов. А еще и Саковичу попадет от меня как следует.

– Дай бог, чтобы тебе удалось это.

– Мне не удастся? Удастся. Во-первых, потому, что он за мной бегаёт, а во-вторых, потому, как я думаю, что он бегаёт за моими богатствами. Поссориться ему со мной легко, даже он может и с саблей на меня пойти, но в таком случае ему бы ничего не перепало.

Время показало, что она была права. Сакович пришел к ней веселый и уверенный в себе, она приветствовала его довольно презрительной гримасой.

– Вы что, – спросила она, – от страха перед Биллевичами бежите в Пруссию?

– Не перед Биллевичами и не от страха, а просто из предусмотрительности, чтобы собрать против этих разбойников свежие силы и показать им как следует.

– Ну что ж, счастливого пути!

– Как это? Неужели ты думаешь, что я поеду без тебя, моя единственная радость?

– У кого от страху глаза велики, пусть радуется не мне, а тому, что пятки у него салом смазаны. Ты, вельможный пан, слишком уж запросто со мной разговариваешь, а я даже, если бы мне нужен был поверенный, тебя бы не пригласила.

Сакович побледнел от гнева. Он бы ей показал, если бы она не была Анусей Борзобогатой. Но, понимая, перед кем он стоит, Сакович сдержался и напустил на свое страшное лицо сладкую улыбку, а затем сказал как бы шутя:

– Да я тебя и спрашивать не буду! Посажу в коляску да отвезу!

– Да? Так я, стало быть, вижу, что вопреки обещаниям князя меня тут держат в неволе? Так знай, вельможный пан, что если ты так со мной поступишь, то я никогда ни слова тебе не скажу, и пусть господь мне поможет, потому что я воспитывалась в Лубнах и трусов ненавижу больше всего. Угораздило же меня попасть в твои руки!.. Лучше бы меня пан Бабинич до Страшного суда по Литве возил. Этот-то не боялся никого!

– Господи, – закричал Сакович, – скажи мне, по крайней мере, почему ты не хочешь ехать в Пруссию?

Но Ануся уже изобразила на лице отчаяние и пустила слезу.

– Взяли меня, как татарку, в рабство, хотя я воспитанница княгини Гризельды и никто не имел права так со мной поступать. Забрали меня и держат в неволе, насильно увозят за море, в изгнание, еще немного – клещами начнут пытаться!.. О боже! Боже!

– Побойся, вельможная панна, господя бога, которого ты призываешь! – воскликнул пан староста. – Кто еще тебя клещами будет пытаться?

– Спасите меня, божьи угодники! – повторяла, рыдая, Ануся.

Сакович уже и не знал, что поделаться. Бешенство и гнев душили его; временами ему казалось, что он сойдет с ума или что сошла с ума Ануся. В конце концов он бросился к ее ногам и поклялся, что останется в Таурогах. Тогда она начала его просить, чтобы он уезжал, если уж так боится, чем привела его окончательно в отчаяние, так что он вскочил и у дверей сказал:

– Хорошо же! Мы остаемся в Таурогах, а вот боюсь ли я Биллевичей, ты вскорости узнаешь.

И в тот же самый день, собравши остатки разбитых войск Бютцова и свой собственный отряд, он выступил, но не в Пруссию, а за Россиены, против отряда Биллевичей, который стоял лагерем в гирлякольских лесах. В отряде не ожидали нападения, поскольку широко было известию о выходе войск из Таурогов, так что староста, напав врасплох на неприятеля, разбил его, в пух и прах. Сам мечник, который был главой отряда, уцелел, но двое Биллевичей из другой семьи погибли, а с ними и треть солдат, остальные разбежались кто куда. Несколько десятков пленников староста привел в Тауроги и повелел всех казнить, прежде чем Ануся смогла за них заступиться.

Благодаря этому и речи не могло быть о том, что надо уходить из Таурогов, и пан староста не спешил больше никуда, потому что после его новой победы партизаны не смели переходить на эту сторону реки Дубисы.

Сакович сильно возгордился и непомерно хвастал, что если бы Левенгаупт прислал ему тысячу хороших коней, то он стер бы с лица жмудской земли все партизанские отряды. Но Левенгаупта уже не было в том краю; что касается Ануси, то она приняла его хвастливые речи довольно неприязненно.

– Это вам хорошо удалось с паном мечником... А если бы там был тот, перед которым вы оба с князем удирали, тогда бы и без меня ты за море убежал в Пруссию.

Старосту эти слова задели за живое.

– Во-первых, вельможная панна, не воображай себе, что Пруссия находится за морем, потому что за морем находится Швеция, а во-вторых, это перед «ем мы так с князем бежали?»

– А перед паном Бабиничем! – ответила, церемонно приседая, барышня.

– Мне бы его когда-нибудь встретить на расстоянии сабли!

– Тогда бы ты лежал в земле на глубине сабли... Лучше уж не искушай судьбу!

Сакович, действительно, мог бы не искушать судьбу, потому что, будучи человеком невероятной смелости, он, однако, чувствовал перед Бабиничем некий страх, почти суеверный, такие ужасающие остались у него воспоминания от последнего похода. При этом он не знал, сколь быстро ему придется услышать то страшное имя.

Однако, прежде чем это имя зазвучало по всей жмудской земле, однажды в Тауроги пришла весть, для одних радостнейшая из радостных, для Саковича ужасающая, весть, которую передавали из уст в уста по всей Речи Посполитой:

– Варшава взята!

Могло бы показаться, что это земля горит под ногами изменников или что все шведское небо вместе со всеми божествами, которые до сих пор на нем сияли, как солнца, валится на головы шведскому войску. Люди не верили своим ушам, услышав, что канцлер Оксеншерн в плену, Эрскин в плену, Левенгаупт в плену, Врангель в плену, Виттенберг, сам великий Виттенберг, который утопил в крови всю Речь Посполитую, который покорило половину этой земли еще перед нашествием Карла, – тоже в плену! Что король Ян Казимир торжествует победу, а после нее будет править суд над грешниками.

Эта весть летела как на крыльях, гремела как гром надо всей Речью Посполитой, шла деревнями, потому что крестьянин повторял ее крестьянину, шла полями, потому что о ней шумела пшеница, шла лесами, потому что сосна повторяла ее сосне; о ней кричали орлы в небесах – и все, кто был в живых, тем яростнее хватались за оружие.

Около Таурогов в одну минуту забыли о гирлякольском поражении. Еще недавно столь страшный Сакович явно пал в глазах всех окрестных жителей и даже в своих собственных глазах. Отряды снова начали нападать на шведские подразделения; Биллевичи, опомнившись после разгрома, снова перешли Дубису во главе своих

крестьянских отрядов и остатков лауданской шляхты.

Садович и сам не знал, что поделаться, куда повернуться, откуда ждать спасения. Он уже давно не получал никаких известий от князя Богуслава и напрасно ломал себе голову, гадая, где тот находится, в каких войсках можно его искать. Временами его охватывала смертельная тревога при мысли: не попал ли князь тоже в плен?

Он с ужасом вспомнил, как князь говорил ему, что пойдет с отрядом к Варшаве и что если его назначат комендантом столичного гарнизона, то он предпочтет там остаться, поскольку оттуда открываются гораздо более широкие виды.

Не было недостатка в тех, «то утверждал, что князь попал в руки Яна Казимира.

– Если бы князя не было в Варшаве, – говорили они, – то почему бы милосердный наш государь исключил его фамилию из амнистии, которую он милостиво объявил всем полякам, остающимся в войске? Он уже должен быть в руках короля, а поскольку князь Януш осужден был на плаху, то и у брата его Богуслава голова тоже на плечах не останется.

Подумавши, Сакович пришел к тому же выводу и еле справлялся со своим отчаянием, поскольку, во-первых, любил князя, а во-вторых, знал, что в случае смерти этого могучего покровителя легче будет самому дикому зверю спасти свою шкуру в Речи Посполитой, чем ему, который был правой рукой изменника.

Ему казалось, что остается только одно: не обращая внимания на сопротивление Ануси, бежать в Пруссию и там искать и пропитание, и должность.

«Но что будет, – спрашивал он часто сам себя, – если курфюрст убоится гнева Польши и выдаст всех беглецов?»

И не было другого выхода, как бежать за море, прямо в Швецию.

На его счастье, после целой недели неуверенности и страхов от князя Богуслава прибыл гонец с длинным письмом, написанным князем собственноручно.

«Варшава взята у шведов, – писал князь, – мое войско и вещи пропали. *Recedere* уже поздно, поскольку против меня там так ожесточились, что я был вычеркнут из амнистии. Моих людей разбил у самых ворот Варшавы Бабинич. Кетлинг в плену. Шведский король, курфюрст и я вместе со Стенбоком и всем войском идем под стены столицы, где вот-вот состоится решающая битва. *Carolus* клянется, что ее выиграет, хотя искусство Яна Казимира в ведении войны несколько приводит его в замешательство. Кто бы мог ожидать, что в бывшем иезуите сидит такой *strategos*? Но я это узнал на своей шкуре еще под Берестечком, поскольку там все зависело от решений его и Вишневецкого. Одна надежда, что ополченцы, которых у Яна Казимира несколько десятков тысяч, расползутся по домам или что, когда первый жар поостынет, они уже не будут так хорошо воевать. Дай бог нам слегка пугнуть этот сброд, и тогда *Carolus* может одержать в этой битве победу, хотя что после этого наступит, неизвестно, и сами генералы говорят иногда между собой, что эта партизанщина – гидра, у которой растут все время новые головы. Говорят: „Сначала надо вернуть Варшаву“. Когда я услышал это от Карла, я спросил, а что потом. Он не ответил ничего. Наши силы тают, а ихние растут. Не с кем начинать новую войну. И запал уже не тот, и никто из наших так не держится за шведов, как поначалу. Дядя курфюрст молчит, как обычно, но я прекрасно вижу, что если мы проиграем битву, то он на следующее же утро начнет бить шведов, чтобы заслужить



милость Казимира. Так тяжело будет идти на поклон, но мы вынуждены! Дай только бог, чтобы меня приняли и чтобы я вышел живым из всей этой передряги, не потеряв своего состояния. Теперь я верю только в господа бога, а страха не избежать, нужно предвидеть все самое плохое. А поэтому, что только можешь, из моих имений продай за наличные или заложи и сделай это даже в том случае, если бы пришлось вступить в контакт с конфедератами. Сам со всем войском иди в Биржи, оттуда ближе до Курляндии. Я бы советовал тебе идти в Пруссию, но скоро и там будет небезопасно, поскольку сразу же после взятия Варшавы Бабинича послали через Пруссию в Литву, чтобы поддержать там мятежников, а по дороге он будет резать и жечь. Ты знаешь, он это умеет. Мы хотели его поймать возле Буга, и сам Стенбок выслал за ним большой разъезд, из которого ни один не вернулся, даже с известием о поражении. Однако не думай, что я тебе советую мериться силами с Бабиничем, потому что ты не выдюжишь, так что спеши в Биржи.

Febris покинула меня совершенно, поскольку здесь везде высокие и сухие равнины, не такие болота, как у нас на Жмуди.

Препоручаю тебя господу богу и проч.»

И хоть пан староста обрадовался, что князь жив и здоров, содержащиеся в письме новости его сильно обеспокоили. Если уж князь предсказывал, что даже выигранная битва не поправит пошатнувшихся дел шведов, то что следовало ожидать в будущем? Быть может, князь сумеет избежать гибели, спрятавшись за спину хитрого курфюрста, и он, пан Сакович, спрячется за спину князя, но что же делать сейчас? Идти в Пруссию?

Сакович и без советов князя понимал, что нельзя попадаться Бабиничу. У него для этого не хватало ни сил, ни желаний. Оставались Биржи, но было уже слишком поздно! Дорогу к ним перерезал отряд Билевича и масса других отрядов – крестьянских, шляхетских, княжеских и бог знает каких, которые при одном только слове объединятся и разнесут его, как ветер разносит сухие листья. И даже если они не объединятся, даже если опередить их смелым и быстрым броском, то придется принимать бой в каждой деревне, на каждом болоте, в каждом поле, в каждом лесу. Сколько нужно иметь для этого войска, чтобы хоть с тридцатью всадниками добраться до Бирж? Значит, оставаться в Таурогах? И это плохо, поскольку через некоторое время во главе мощного татарского войска подойдет страшный Бабинич, все отряды слетятся к нему, и зальют Тауроги, как половодье, и придумают такую месть, о какой люди до сих пор даже и не слышали.

И староста, до недавнего времени такой самонадеянный, теперь впервые в жизни почувствовал, что в голове у него пусто, что нет сил действовать и в минуту опасности он не видит никакого выхода.

На следующий день он вызвал на военный совет Бютцова, Брауна и нескольких старших офицеров.

Было решено остаться в Таурогах и ждать новостей из Варшавы.

Однако Браун с этого военного совета напрямик отправился на другой, а именно к Анусе Борзобогатой.

Долго-предолго они совещались между собой, а под конец Браун вышел с необыкновенно взволнованным видом. Что касается Ануси, то она, как ураган, ворвалась к Оленьке.

– Оленька! Пришло наше время! – закричала она еще с порога. – Мы должны бежать!

– Когда? – спросила бравая девица, немножко побледнев, но сразу же поднявшись в знак того, что готова.

– Завтра, завтра! Браун остается тут за начальника, а Сакович будет ночевать в городе, потому что пан Дзешук пригласил его на пирушку. А с паном Дзешуком давно уже договорились, и он подмешает Саковичу чего-то в вино. Браун говорит, что он с нами пойдет сам и прихватит пятьдесят конников. Ой, Оленька! Оленька, как я счастлива! Как я счастлива!

Тут Ануся кинулась панне Билевич на шею и стала тормозить подругу в таком порыве радости, что та, удивленная, спросила:

– Что с тобой, Ануся? Ведь ты давно уже могла уговорить Брауна!

– Я могла уговорить? Да, могла бы! А я тебе разве ничего не сказала? О боже, боже! Ты ничего не знаешь? Пан Бабинич сюда подходит! Сакович подыхает от страха и все остальные тоже!.. Бабинич идет! Сжигает! Режет! Он один отряд уничтожил до последнего, он самого Стенбока разгромил и теперь идет большими переходами, как будто куда спешит! А к кому же он так может спешить? Ну скажи мне, разве я не дурочка?

Тут слезы блеснули у Ануся в ресницах, а Оленька сложила руки как для молитвы и, поднявши очи, сказала:

– К кому бы он ни спешил, укажи ему, господи, путь покороче, сохрани его и помилуй.

#### ГЛАВА XXIII

Нелегкая задача была у Кмицица, который, стремясь выбраться от Варшавы в сторону Княжеской Пруссии и Литвы, должен был уже в Сероцке встретиться с многочисленными шведскими войсками. Карл Густав в свое время предусмотрительно расположил там армию, чтобы воспрепятствовать нападению на Варшаву, но теперь, поскольку Варшава была уже взята, этой армии оставалось только стоять заслоном на пути отрядов, которые Ян Казимир пожелал бы послать в Литву либо в Пруссию. Шведов возглавлял Дуглас, опытный полководец, с которым ни один из соплеменных генералов не мог сравниться в этой не по правилам ведущейся войне, а помогали ему два польских изменника, Радзеёвский и Радзивилл. При них было две тысячи хороших пехотинцев и столько же в коннице и артиллерии. Начальники эти, прослышав об экспедиции Кмицица и уже заранее готовые к походу в Литву, где требовалось поддержать вновь осажденный мазурами и подляшанами Тыкоцин, теперь широко расставляли сети для пана Анджея в треугольнике над Бугом, между Сероцком с одной стороны, Злоторьей – с другой и Остроленкой – в вершине.

А Кмицицу этот треугольник преодолеть было необходимо, поскольку он спешил, а данная дорога была самая короткая. Он уже заранее разобрался, что попал в сети, но он настолько уже привык к такому способу ведения войны, что нимало не смутился. Он рассчитывал, что сеть не слишком частая, что ячейки в ней растянуты и в случае нужды он сумеет просочиться сквозь них. Более того: поскольку за ним охотились, он не только путал следы, но и сам охотился. Сначала он перешел Буг за Сероцком, добрался по берегу реки до Вышкова, и в Браншике снес с лица земли отряд в триста всадников, высланный на разведку, да так, что (как писал князь)

некому было принести весть о поражении. Уже и сам Дуглас настиг его в Длугоседле, но он, разбив конницу, прошел сквозь нее и, вместо того чтобы скрыться, проник на глазах у противника вплоть до Нарева и преодолел его вплавь. Дуглас же остался на берегу, ожидая паромов, но, прежде чем их доставили, Кмициц глубокой ночью снова переправился через реку и, напав на шведские аванпосты, наделал шуму и паники в целой дивизии Дугласа.

Старый генерал был ошеломлен такими действиями, но каково же было его изумление на завтра, когда он узнал, что Кмициц обошел его армию и, возвратившись к тому пункту, откуда его вытравили, как зверя, захватил в Браншике поспешающий за шведским войском обоз вместе с военной добычей и казной и вырезал при этом пятьдесят человек конвоя.

Иногда в течение целого дня шведы невооруженным глазом видели его татар на горизонте, а достичь не могли. Зато пан Анджей все время урывал лакомые куски. Шведский солдат притомился, а польские хоругви, которые еще удерживались при Радзеёвском или же состояли из протестантов, служили безо всякого рвения. А вот местные жители выслуживались перед знаменитым партизаном с искренним жаром. Он знал о каждом передвижении, о малейшем дозоре, о каждой повозке, которая продвинулась вперед или осталась позади. Частенько казалось, что он играет со шведами, но то были игры кошки с мышкой. Пленников он не держал, отдавал их татарам на повешение, поскольку именно так поступали и шведы по всей Речи Посполитой. Иногда, правду сказать, на него находило какое-то непреодолимое бешенство, поскольку он со слепым безрассудством кидался на превосходящие силы противника.

– Какой-то сумасшедший у них там командир, – говорил о нем Дуглас.

– Или взбесившаяся собака, – отвечал на это Радзеёвский.

Богуслав же считал, что имеет место и то и другое, но замешано оно на крови великолепного солдата. Потому не без гордости он рассказывал генералам, что этого самого рыцаря он дважды собственной рукой спешил с коня.

И, видно, на него-то с особым бешенством и напал пан Бабинич. Он явно разыскивал его и, сам преследуемый, преследовал его.

Дуглас распознал, что тут должна быть какая-то личная ненависть.

Князь этого не отрицал, хотя и не вдавался ни в какие объяснения. Он ведь платил Бабиничу той же монетой, даже по примеру Хованского оценил голову врага в крупную сумму, а когда это не помогло, он задумал использовать его ненависть к себе и заманить таким образом в ловушку.

– Нам стыдно так долго возиться с этим разбойником, – говорил он Дугласу и Радзеёвскому, – он кружится около нас, как волк при овчарне, и уходит буквально из-под носа. Вот я и пойду с небольшим отрядом навстречу ему как приманка, а когда он на меня выскочит, я его попридержу, пока ваши милости не подойдут; и тогда мы не выпустим кота из мешка.

Дуглас, которому давно уже надоели эти погони, возражал довольно вяло, говоря, что не может и не должен рисковать жизнью такого знатного дворянина и королевского родственника ради поимки одного бунтовщика. Но, поскольку князь настаивал, он согласился.

Было решено, что князь выступит с отрядом в пятьсот кавалеристов, но что каждому из рейтар он посадит за спину пехотинца с мушкетом. Эта уловка должна была ввести Бабинича в заблуждение.

– Он не устоит, когда услышит, что со мной только пятьсот рейтар, и непременно выскочит, – говорил князь, – а когда пехота даст залп, его татары посыплются, как песок... и сам он сгинет или живым попадет к нам в руки...

Этот план был осуществлен быстро и с большой точностью. Два дня распространяемы были слухи о том, что кавалерийский разъезд в пятьсот единиц пойдет под командованием Богуслава. Генералы рассчитали точно, что местный люд донесет об этом Бабиничу. Так и произошло.

Князь выступил глубокой и темной ночью по направлению к Вонсеву и Елёнке, перешел реку в Червине и, оставив конницу в чистом поле, устроил засаду из пехотинцев в ближайших лесах, чтобы они могли выскочить в неожиданный момент. Одновременно Дуглас должен был идти берегом Нарева, изображая, что направляется к Остроленке. А Радзеёвский с легкой кавалерией намеревался заходить от Ксенжополя.

Все три военачальника не знали точно, где находится в данный момент сам Бабинич, поскольку от крестьян нельзя было ничего добиться, а рейтары не сумели взять ни одного татарина. Однако же Дуглас допускал, что главные силы Бабинича стоят в Снядове, и намеревался окружить их так, что если бы Бабинич двинулся на князя Богуслава, то можно было бы зайти ему в спину со стороны литовской границы и отрезать путь к отступлению.

Все, казалось, благоприятствовало шведам. Кмициц действительно стоял в Снядове, и, едва весть об экспедиции Богуслава дошла до него, он сразу же ушел в леса, чтобы неожиданно выскочить на них под Червином.

Дуглас, повернувшись от Нарева, через несколько дней наткнулся на следы татарского отряда и шел по той же дороге, то есть уже в тылах Бабинича. Страшная жара изнуряла лошадей и людей, закованных в железные латы, но генерал шел вперед, не обращая внимания на эти мелкие неурядицы, теперь уже в совершенной уверенности, что застанет врасплох Бабиничеву орду в самый разгар боя.

В конце концов после двухдневного марша он подошел так близко к Червину, что стали видны дымки из труб. Он остановился и, поставив засады на всех подходах к деревне, начал ждать.

Некоторые офицеры вызвались добровольно тут же пойти в бой, но он удержал их и сказал:

– Когда Бабинич, ударив на князя, разберется, что имеет дело не только с конницей, но и с пехотой, он будет вынужден отступить... а отступать он будет вынужден только прежней дорогой, вот тогда он и попадет к нам в распростертые объятия.

И вроде оставалось только держать ушки на макушке в ожидании, когда разнесется татарский вой и первые выстрелы из мушкетов.

Однако прошел целый день, а в червинских лесах было тихо, как будто там никогда

не ступала нога солдата.

Дуглас начал беспокоиться и глядя на ночь выслал небольшой отряд к полям, приказавши идти как можно осторожней.

Отряд возвратился глубокой ночью, ничего не увидев и ничего не добившись. На рассвете выступил сам Дуглас со всеми своими силами.

Через несколько часов пути он дошел до места, где явственно виделись многочисленные следы солдатского лагеря. Были найдены остатки сухарей, битое стекло, клочки обмундирования и пояс с патронами, какие носили шведские пехотинцы; несомненно, в этом месте стояла пехота Богуслава, однако нигде ее самой не было видно. Далее, на мокром лугу, авангард Дугласа обнаружил множество следов тяжелых рейтарских коней, а на берегу следы татарских лошадей-бахматов; еще дальше лежал труп одного коня, у которого волки только что вытянули внутренности. Далее была найдена татарская стрела без наконечника, но с уцелевшим оперением и спицей. Видно, что Богуслав отступал, а Бабинич шел за ним.

Дуглас понял, что произошло нечто необычайное.

Но что? Ответа не было. Дуглас задумался. Его думы внезапно прервал офицер аванпоста.

– Ваше превосходительство! – сказал тот. – Сквозь кусты на небольшом расстоянии видна группа людей. Они не двигаются, как в дозоре. Я остановил разведку, чтобы доложить вашему превосходительству.

– Конные или пешие? – спросил Дуглас.

– Пешие, их четверо или пятеро в группе, сосчитать точно нельзя, их заслоняют ветки. Но что-то желтое мелькает, как у наших мушкетчиков.

Дуглас пришпорил коня, быстро погнал его к передовым постам и вместе с ними двинулся вперед. Сквозь редящие заросли в глубине леса была видна группа солдат, которая в полной неподвижности стояла под деревом.

– Это наши, наши! – сказал Дуглас. – Где-то поблизости должен быть князь.

– Странно! – произнес, помолчав, офицер. – Они стоят в карауле, но ни один не окликнул нас, хотя мыто идем с шумом.

В этот момент заросли кончились и открылся чистый лес. И тогда едущие увидели кучку из четверых людей, теснящихся друг к другу и как будто что-то высматривающих на земле. У каждого от головы прямо вверх тянулась черная полоска.

– Ваше превосходительство! – вдруг сказал офицер. – Эти люди висят.

– Это точно, – ответил Дуглас.

И, ускоривши шаг, они через мгновение были около трупов. Четверо пехотинцев разом висели в петлях, как кучка дроздов, и ноги их поднимались над землей едва на дюйм, поскольку ветвь была низкая.

Дуглас довольно равнодушно поглядел на них, а потом сказал как бы сам себе:

– Стало быть, мы уже знаем, что тут побывали и князь, и Бабинич.

И он снова задумался, потому что и сам хорошенько не знал, идти ли ему дальше по этой лесной дороге или перебираться на большую остроленскую дорогу.

Тем временем получасом позже снова обнаружили два трупа. Видимо, то были мародеры или больные, которых бабиничевские татары ловили, идя вслед князю.

Но почему князь отступал?

Дуглас слишком хорошо его знал, то есть знал и его отвагу, и его воинскую опытность, чтобы допустить хоть на мгновение, что князь отступал без серьезных причин. Видимо, что-то произошло.

Только на другой день все выяснилось. А именно когда приехал с отрядом в тридцать всадников пан Бес от Богуслава и привез донесение, что король Ян Казимир отправил за Буг против Дугласа пана польного гетмана Госевского с войском в шесть тысяч литовских и татарских кавалеристов.

– Мы узнали об этом, – говорил пан Бес, – еще перед тем как подошел Бабинич, поскольку он шел очень осторожно, кружил, а потому подвигался медленно. Госевский сейчас находится в четырех или пяти милях отсюда. Князь, получив это известие, начал поспешно отступать, чтобы соединиться с Радзеёвским, которого легко могли разгромить. Но поскольку мы шли быстро, то и счастливо соединились. И тут же князь направил во все стороны разъезды по десятке в каждом с донесением вашему превосходительству. Многие из них попали в лапы татар и мужиков, но в такой войне без этого не обойдешься.

– А где князь и пан Радзеёвский?

– В двух милях отсюда, на берегу.

– Князь весь отряд сохранил?

– Он вынужден был оставить пехоту, которая добирается по самым глухим лесам, чтобы спастись от татар.

– Такой коннице, как татарская, и самая глухая чащоба не помеха. Пехоты этой нам не видать как своих ушей. Но в этом нет ничьей вины, князь поступил как опытный воин.

– Князь послал большой отряд к Остроленке, чтобы ввести в заблуждение пана литовского подскарбия. Литовцы кинутся туда сразу же, подумав, что все наше войско пошло на Остроленку.

– Это хорошо! – сказал успокоенный Дуглас. – Мы с литовским подскарбием управимся.

И, не тратя ни минуты, он велел выступать в поход, чтобы соединиться с князем Богуславом и Радзеёвским. Что и произошло в тот же самый день, к вящему удовольствию всех, в особенности Радзеёвского, который боялся плена пуще самой

смерти, поскольку хорошо знал, что ему пришлось бы со всей строгостью отвечать как изменнику и виновнику всех несчастий Речи Посполитой.

Сейчас, во всяком случае, после объединения с Дугласом, шведская армия насчитывала четыре тысячи людей, то есть могла дать решительный отпор силам польного гетмана. У него, правда, было шесть тысяч конницы, но татары, исключая Бабиничевых, которые были хорошо вымуштрованы, в остальном не могли быть использованы для атаки, да и сам пан Госевский, несмотря на свою выучку и опыт, не способен был, как это делал Чарнецкий, зажечь людей, чтобы они все сокрушали на своем пути.

Дуглас, однако, не мог взять в толк, с какой целью Ян Казимир выслал польного гетмана за Буг. Шведский король вместе с курфюрстом шел на Варшаву, раньше или позже там должно было состояться решающее сражение. Так что, возможно, Казимир стоял уже во главе могучего войска, численно превосходящего шведов и бранденбургскую армию, однако шесть тысяч ратников представляли собой слишком большую подмогу, чтобы польский король мог добровольно от нее отказаться.

Правда, пан Госевский вырвал Бабинича из ловушки, но все-таки и для спасения Бабинича королю не нужно было посылать целую дивизию. Так что в этом походе была какая-то своя скрытая цель, которой шведский генерал, несмотря на всю свою проницательность, не мог распознать.

В письме шведского короля, присланном неделей позже, чувствовалась сильная тревога и даже как бы отчаяние по поводу этой экспедиции, и по некоторым словам можно было понять причину такого беспокойства. По мнению Карла Густава, пан гетман был послан не затем, чтобы совершить удар по армии Дугласа, и не затем, чтобы идти в Литву для поддержки тамошнего восстания, поскольку и без того шведы там были ослаблены, но затем, чтобы угрожать Княжеской Пруссии, а именно ее восточным областям, практически лишенным каких бы то ни было войск.

«Они рассчитывают, – писал король, – что смогут поколебать курфюрста в его верности мальборкскому трактату и нам, что может легко произойти, поскольку он готов войти в союз одновременно и с Христом противу дьявола и с дьяволом против Христа, чтобы попользоваться от обоих».

Письмо кончалось рекомендацией, чтобы Дуглас всеми своими силами постарался не допустить в Пруссию пана гетмана, который, если его задержать на несколько недель, так и так должен будет возвращаться к Варшаве.

Дуглас счел, что возложенная на него задача вполне ему по силам. Еще недавно он с успехом выходил на самого Чарнецкого, и потому Госевский был ему не страшен. Он не помышлял о полном разгроме его дивизии, но был уверен, что сможет ее остановить и лишить возможности передвижения.

И с этого момента начались чрезвычайно искусные маневры обеих армий, взаимно избегающих открытого боя, но стремящихся обойти одна другую. Оба военачальника удачно соперничали друг с другом, однако Дуглас взял верх, поскольку дальше Остроленки пана польного гетмана не выпустил.

Однако же пан Бабинич, спасенный от засады Богуслава, совершенно не торопился соединяться с литовской дивизией, поскольку с огромным тщанием занялся той самой пехотой, которую Богуслав в своем поспешном броске к Радзеёвскому вынужден был оставить по дороге. Татары Бабинича, взявши в провожатые местных лесников, шли

за этой пехотой день и ночь, пощипывая неосторожных или тех, кто отставал. Недостаток продовольствия вынудил в конце концов шведов разделиться на малые подразделения, которым было бы легче найти провиант, – и именно этого и ждал пан Бабинич.

Разделив свою рать на три отряда, один под своим началом, два другие под началом Акба-Улана и Сороки, он в несколько дней выбил почти всю пехоту. То была как бы неустанная охота на людей по лесным пущам, лознякам и камышам, полная шума, воплей, переключки, выстрелов и смерти.

Эта охота широко прославила имя Бабинича среди Мазуров. Отряды собрались и воссоединились с паном Госевским только под самой Остроленкой, когда пан польный гетман, поход которого был просто демонстрацией силы, уже получил приказ возвращаться обратно в Варшаву. Недолго пришлось Бабиничу наслаждаться встречей с друзьями, с паном Заглобой и Володыёвским, которые сопровождали гетмана во главе своей лауданской хоругви. Однако все трое были сердечно рады, поскольку они уже полюбили друг друга и сблизились. Оба молодых полковника страшно горевали, что на этот раз у них ничего не получилось с Богуславом, но пан Заглоба утешал их, обильно доливая им в чаши и говоря при этом:

– Это пустое! Я начиная с мая соображаю в уме насчет военных хитростей, а у меня это никогда не проходит даром. У меня уже готово несколько отменных фокусов, но для их применения не хватает времени, разве что отложим их до Варшавы, куда мы все прибудем.

– Мне надо в Пруссию! – ответил Бабинич. – Меня не будет под Варшавой.

– Ты что, сможешь влезть в Пруссию? – спросил Володыёвский.

– Да проскочу, как бог свят, и клянусь вам, что я там настряпаю бигосу, мне стоит только сказать моим татарам: «Гуляй, душа!..» Они и тут бы были рады с поножовщиной пройтись по шеям, но я им обещал, что за каждое насилие будет хорошая веревка! А вот в Пруссии и я в свое удовольствие погуляю. Почему бы это мне не влезть в Пруссию? Вы-то не могли, но это все другие дела, поскольку гораздо легче загородить путь большому войску, чем такой ватажке, как у меня, которую скрыть легче легкого. Я уже сколько в камышах просидел, а рядом проходил Дуглас, и ничего, даже и не заметил. А Дуглас тоже, верней всего, пойдет за вами и откроет мне тут поле действия.

– Но ты его, я слышал, совсем затрепал! – сказал Володыёвский не без удовольствия.

– Ха, шельма! – добавил пан Заглоба. – Он каждый божий день небось рубаху менял, небось попотел. Ваша милость с ним не хуже чем с Хованским справился, и я должен признать, что я и сам не смог бы тут ничего прибавить, если бы стоял на твоём месте, хотя еще пан Конецпольский говорил, что лучше Заглобы нет никого для партизанской войны.

– Мне сдается, – сказал Кмицицу Володыёвский, – что если Дуглас уйдет, то он тут оставит Радзивилла.

– Вот и дай бог! Я только на это и надеюсь, – живо ответил Кмициц. – Если я его начну искать, а он меня, то мы ведь найдем друг друга. В третий раз он меня не перескочит, а перескочит, то я уж не поднимусь. Я хорошо помню твои



лубненские приемчики и фортели знаю наизусть, как «Отче наш». Мы с Сорокой каждый день упражняемся, чтобы руку набить.

– Да что там фортели! – закричал Володыёвский. – Главное – сабля!

Заглоба почувствовал себя слегка задетым этим утверждением, почему немедленно ответил:

– Каждая мельница все думает, что главное – это крыльями махать, а знаешь, Михась, почему? У нее полно соломы на чердаке, alias[152] в башке. И военная наука тоже основана на этих фортелях, иначе Рох мог быть великим гетманом, а ты польным.

– А что поделявает пан Рох Ковальский?

– Пан Ковальский? Он таскает на голове железный шлем и правильно делает, в котле капуста лучше варится. В Варшаве он сильно поживился, разорился себе на хорошую свиту и попер к гусарам, к князю Полубинскому, а все затем, чтобы можно было достать копьем Каролюса. Он к нам приходит каждый день в палатку и лупает бельмами, не торчит ли где из соломы горлышко жбана. Я этого парня не могу отучить от пьянства. Брал бы с меня хороший пример! Но я ему напрозорил, что он сам себе хуже сделал, когда ушел из лауданской хоругви. Шельма! Неблагодарный! За все мои благодеяния, которые ему перепали, он меня променял, такой-то сын, на копье!

– Ваша милость его воспитывала?

– Мой друг! Я что, медвежатник? Когда меня спросил об этом пан Сапега, я ответил, что у них с Рохом был общий праесептор, но не я, я смолоду был хороший бочар, и клепки ставил крепко.

– Во-первых, такого бы ты, сударь, не посмел сказать Сапеге, – отвечал Володыёвский, – а во-вторых, ты вроде ругаешь Ковальского, а сам бережешь его как зеницу ока.

– А я его предпочту тебе, пан Михал, поскольку я никогда не выносил майских жучков и влюбчивых пройдох, которые при виде первой попавшейся юбки начинают подпрыгивать, как немецкие собачки.

– Или как те обезьяны у Казановских, с которыми ваша честь сражалась.

– Смейтесь, смейтесь, сами будете в другой раз брать Варшаву!

– А что, это ты ее взял в прошлый раз?

– А кто, спрашивается, Краковские ворота ехрignavit?[153] Кто задумал взять в плен генералов? Они теперь сидят на хлебе и воде в Замостье, и Виттенберг, как взглянет на Врангеля, так и говорит: «Заглоба нас сюда посадил», – и оба в рев. Если бы пан Сапега не захворал и был бы тут, он бы вам рассказал, кто первый вытащил шведского клеща из варшавской шкуры.

– Ради бога, – сказал Кмициц, – сделайте для меня такое божеское дело, пришлите мне весточку об этой битве, которая будет под Варшавой. Я буду дни и ночи по пальцам высчитывать и не найду себе места, пока не узнаю все точно.

Заглоба приставил палец ко лбу.

– Слушайте, как я это понимаю, – сказал он, – я что скажу, так оно и исполнится... И это так же верно, как то, что чарка стоит тут передо мною... Или не стоит? А?

– Стоит, стоит! Говори, ваша милость!

– Это большое сражение мы или проиграем, или выиграем...

– Да это каждый знает! – ввернул Володыёвский.

– Ты бы лучше помолчал, пан Михал, и поучился. Если предположить, что мы его проиграли, то знаешь, что будет потом?.. Вот видишь! Ты не знаешь, поскольку уже зашевелил своими щетинками под носом, как заяц... Вот я и говорю вам, что ничего не будет...

Кмициц, пылкий по натуре, вскочил, брякнул чаркой о стол и вскричал:

– Чего тянешь!

– Я и говорю, ничего не будет, – ответил Заглоба. – Вы еще молодые и не понимаете, что все будет стоять, как сейчас стоит, наш король, наша милая отчизна, и наши войска могут хоть пятьдесят битв проиграть одну за другой... и война пойдет дальше по-старому, и шляхта встанет, а с нею и низшие сословья... И если разок не удастся, то удастся во второй, пока враги наши не начнут таять. По уж когда шведы проиграют хоть одно сражение, тогда их дьявол утащит безо всякой пощады, а с ними и курфюрста в придачу.

Тут Заглоба оживился, выдул чарку, грохнул ею о стол и сказал еще:

– Так что слушайте, и не всякий роток вам разинется такое сказать, поскольку надо уметь смотреть в целом. Многие думают: а что нас ожидает? Сколько битв, сколько поражений, насчет которых, кстати, с Карлом довольно просто... Сколько слез? Сколько крови пролитой? Сколько тяжелых кризисов? И многих берут сомнения, и многие грешат насчет милосердия божьего и матери божьей... А я вам говорю так: вы знаете, что ждет наших вандалов? Гибель. Вы знаете, что нас ждет? Победа! Нас поколотят еще сто раз... Ладно... А на сто первый раз мы победим, и будет конец.

Высказавши это, пан Заглоба на момент прикрыл глаза, но сразу же их открыл, посмотрел блестящими очами в пространство и внезапно возопил во весь голос:

– Победа! Победа!

Кмициц даже покраснел от радости.

– Даст бог, он прав! Даст бог, он верно говорит! Иначе не может быть! Такой конец и будет!

– Надо признаться, ваша честь, у тебя тут клепок хватает! – сказал Володыёвский, стукнув себя по голове. – Можно захватить Речь Посполитую, но высидеть в ней нельзя... Все равно в конце концов придется убираться.

– Ха! Что? Хватает клепок? – сказал, обрадовавшись похвале, Заглоба. – Тогда я

вам еще напророчу, бог правду любит! Ты, сударь (он обернулся к Кмицицу), победишь изменника Радзивилла, придешь в Тауроги, получишь свою дивчину, возьмешь ее в жены, родишь потомство... Типун мне на язык, если не сбудется так, как я сказал... Господи! Да не удуши только меня!

Заглоба вовремя спохватился, поскольку пан Кмициц схватил его в свои объятия, поднял вверх и так стал сжимать, что у старика глаза вылезли из орбит, но едва он встал на ноги, едва отдышался, как воспламененный пан Володыёвский схватил его за руку.

– Теперь моя очередь! Скажи, сударь, что меня ожидает?

– Благослови тебя господь, пан Михал!.. И твоя хитрая вертушка тоже выведет тебе цыпляток... Не бойся. Уф!

– Виват! – крикнул Володыёвский.

– Но сначала покончим со шведами, – добавил Заглоба.

– Покончим! Покончим! – воскликнули, загремевши саблями, молодые полковники.

– Виват! Победа!

#### ГЛАВА XXIV

А неделю спустя пан Кмициц уже был в пределах Княжеской Пруссии под Райгродом. Это ему удалось довольно легко, поскольку он перед самым уходом пана польного гетмана словно канул в глухие леса, и так умело, что Дуглас был уверен – Кмициц и его орда вместе со всей татарско-литовской дивизией ушли под Варшаву, и оставил только малые гарнизоны по крепостям для охраны этих мест.

Дуглас тоже ушел вслед за Госевским, а с ним и Радзеёвский и Радзивилл.

Кмициц узнал об этом еще перед переходом границы и страшно досадовал на себя, что не сможет встретиться с глазу на глаз со своим смертельным врагом и что господь бог может покарать Богуслава чужими руками, а именно руками пана Володыёвского, который также поклялся ему отомстить.

И тогда Кмициц, будучи не в силах наказать изменника за муки Речи Посполитой и свои собственные, перенес всю свою ярость на владения курфюрста.

Уже той самой ночью, когда татары миновали пограничный столб, небо побагровело от зарева, раздались ужасные вопли и плач людей, по которым шла железная стопа войны. Кто мог просить о пощаде по-польски, того, по приказу начальства, оставляли в живых, однако все немецкие поселки, колонии, деревни, городки превращены были в реку огня, и масло не так быстро разливается по поверхности моря, когда с корабля выльют его для успокоения волн, как разлились орды татар и добровольцев Кмицица по этому спокойному и до сих пор не ведавшему горя краю. Казалось, что каждый татарин мог двоиться и троиться, быть одновременно в нескольких местах, чтобы жечь, резать. Не пощадили даже посевов в полях, даже деревьев в садах.

Кмициц столько времени держал в узде своих татар, что наконец, когда он их распустил, как выпускают стаю хищных птиц, они совершенно утонули в резне и уничтожении. Один старался перещегоолять другого, а поскольку в плен брать было

нельзя, они с утра до вечера купались в человеческой крови.

Да и сам Кмициц, сохранивший в своей душе немало дикости, дал ей полную волю и, хоть не мочил рук в крови невинных людей, все-таки смотрел не без удовольствия на то, как она течет. Душа его была спокойна, и совесть его ничего не говорила ему, поскольку лилась не польская кровь, и вдобавок еретическая кровь, так что он считал, что делает богоугодное дело.

Ведь курфюрст ленник, то есть слуга Речи Посполитой, живущий ее милостями, первый поднял кощунственную руку на свою королеву и госпожу, так что его должна была настичь господня кара, так что Кмициц оказывался только орудием возмездия господня.

Поэтому каждый вечер он спокойно возносил молитвы при отблесках горящих немецких городов, а когда крики убиваемых заглушали его слова, он начинал сначала, чтобы не согрешить грехом неточности в служении господу богу.

Однако он лелеял в душе не только жестокие чувства, ее согревали, кроме набожности, еще и сентиментальные воспоминания, связанные с давними временами. Ему часто приходили на ум те года, когда он с такой славой совершал набеги на Хованского, и прежние друзья как живые являлись ему. Кокосинский, огромный Кульвец-Гиппоцентаврус, рябой Раницкий, в жилах которого текла сенаторская кровь, Углик, умеющий играть на чекане, Реуц, которого не осквернила никогда человеческая кровь, и Зенд, который так умело подражал голосам птиц и всякого зверя.

«И все они, кроме, может быть, только Реуца, трещат сейчас в адском огне. А вот сейчас бы они порадовались, они бы кровью умылись, не принимая греха на душу, и с пользой для Речи Посполитой!..»

И тут пан Анджей вздыхал при мысли о том, как губительна в ранней молодости распущенность, если она еще на заре жизни перерезает дорогу благородным подвигам на веки веков.

Но больше всего он вздыхал по своей Оленьке, и чем дальше он заходил в глубь Пруссии, тем жарче горели раны его сердца, как будто те пожары, которые он раздувал, распалили и его старую любовь. Каждый день он мысленно говорил девушке:

«Голубка моя милая, может быть, ты там забыла уже обо Мне, а если вспоминаешь, то в сердце твоём одно презрение. А я, вдали или вблизи от тебя, ночью и днем, в трудах для своей родины, все думаю о тебе и лечу к тебе душой через леса и воды, как измученная птица, чтобы пасть у твоих ног. Речи Посполитой и тебе, единственной, я отдал бы всю мою кровь. Но горе мне, если ты навеки отлучишь меня от своего сердца!»

С такими думами он шел все дальше на север по границе, жег и резал и никого не оставлял в живых. Его душила ужасная тоска. Он бы хотел завтра же оказаться в Таурогах, а дорога еще вела туда далекая и трудная, поскольку только что начала подниматься вся прусская провинция.

Все, кто был в силах, брались за оружие, чтобы отразить страшное нашествие; подкрепления прибывали из самых далеких городов, в полки брали даже городских подростков, и вскоре всюду уже против одного татарина Пруссия могла выставить

двадцать вооруженных воинов.

Кмициц бросался на эти отряды как молния – громил, рассеивал, вешал, вывертывался, скрывался и снова выплывал на волне пожаров, но, однако, он не мог идти уже так быстро, как раньше, вперед. Иногда требовалось, по татарскому обычаю, затаиваться целыми неделями в лесах или в камышах над берегами озер. Население вставало, как на волков, а он и кусался, как волк, который одним ударом клыков приносит смерть, и не только защищался, но и не переставал вести наступательную войну.

Уважая свое военное ремесло, он иногда, несмотря на погоню, так долго не двигался из какой-нибудь местности, пока огнем и мечом не уничтожал все на несколько миль вокруг. Его прозвище неведомо какими путями стало известно людям и гремело, повитое грозой и ужасом, до берегов Балтики.

Правда, пан Бабинич мог вернуться в границы Речи Посполитой и, не обращая внимания на шведские гарнизоны, быстрым маршем дойти до Таурогов, но он не хотел этого делать, потому что желал служить не себе, а Речи Посполитой.

Между тем пришли известия, которые местным жителям прибавили сил обороняться и мстить, а в сердце пана Бабинича поселили жестокое горе. Прогремела весть о решающей битве под Варшавой, которую польский король, по всей видимости, проиграл. «Карл Густав и курфюрст победили все войска Казимира», – из уст в уста повторяли в Пруссии с огромной радостью. «Варшава снова взята! Это самая большая в нынешней войне victoria, и теперь приходит уже конец Речи Посполитой!»

Все люди, которых забирали в полон и клали на уголья для допроса татары, повторяли то же самое; были и преувеличенные известия, как это обычно бывает в неверное военное время. И согласно этим сведениям, войска были уничтожены, гетманы погибли, а Ян Казимир попал в плен.

Стало быть, все кончено? И эта встающая из руин и победная Речь Посполитая была только видением? Столько мощи, такие войска, столько великих людей и столько знаменитых полководцев: гетманы, король, пан Чарнецкий со своей непобедимой дивизией, пан коронный маршал, другие господа со своими свитами – неужели все пропало, неужели все рассеялось, как дым, и нет тебе другой защиты, несчастная страна, кроме одиночных партизанских отрядов, которые наверняка при первой же вести о поражении развеются, как туман?!

Кмициц рвал на себе волосы и ломал руки, он хватал влажную землю в горсти и прикладывал к горящей голове.

– И я погибну! – говорил он себе. – Но сначала я эту землю утоплю в крови!

И он начал воевать, как безумец; он уже не укрывался больше, не таился по лесам и болотам, он искал смерти, он бросался как безумный на отряды в три раза большие и разносил их в пух и прах саблями и копытами. Хищные, но не слишком приспособленные к открытому бою, татары, не потеряв сноровки в устройстве засад и ловушек, так закалились в непрерывных боях и походах, что теперь могли лицом к лицу встретить любого врага в открытом поле и разносили квадраты даже шведской далекарлийской гвардии, и в поединке с вооруженной прусской армией сто таких татар с легкостью разбивало двести, а то и триста могучих, вооруженных мушкетами бойцов.

Кмициц отучил их тащить за собой награбленное, они брали только деньги, а именно золото, которое зашивали в седла. Так что когда кто-нибудь из них погибал, остальные с бешенством дрались за его коня и седло. Несмотря на то, что они обогащались таким способом, они совершенно не утратили своей сверхъестественной подвижности, и, поняв, что ни под одним начальником и мире они не собирали бы столь обильной дани, татары привязались к Бабиничу, как гончие псы привязываются к охотнику, и с настоящей магометанской честностью отдавали в руки Сороки и Кемличей львиную долю добычи для «багадыра».

«Алла, – говаривал Акба-Улан, – мало кто из них увидит Бахчисарай, но те, что вернутся, те станут мурзами».

Бабинич, который привык, что его издавна кормила война, собрал огромное богатство; а вот смерти, которой он искал больше, чем золота, ему найти не удалось.

Снова месяц прошел в воинских трудах и схватках, мера которых превосходила все человеческие возможности. Татарским конькам-бахматам, хоть их и кормили ячменем и прусской пшеницей, надо было дать хотя бы несколько дней отдыха. Поэтому молодой полковник, которому не терпелось узнать какие-нибудь новости и нужно было пополнить убытки в людях новыми добровольцами, отступил около Доспады в пределы Речи Посполитой.

Вскоре пришли и новости, такие радостные, что Кмициц чуть не потерял разум. Действительно, оказалось, что мужественный, хоть и невезучий Ян Казимир проиграл великую трехдневную битву под Варшавой, но по какой причине?

Причина была та, что народное ополчение в огромной своей части разошлось по домам, а оставшая часть уже не сражалась с таким запалом, как при взятии Варшавы, и на третий день битвы стала впадать в панику. В первые же два дня победа была на стороне Польши. Регулярные войска уже не в партизанской войне, а в большой битве с самыми вымуштрованными европейскими солдатами показали такое умение, такую выдержку, что это привело в изумление даже шведских и бранденбургских генералов.

Король Ян Казимир покрыл себя бессмертной славой. Говорили, что он оказался на равных с Карлом Густавом в ведении войны, и, если бы все его распоряжения были исполняемы, неприятель проиграл бы битву и война была бы окончена.

Кмициц получил сведения из уст очевидцев, поскольку наткнулся на отряд шляхтичей, которые принимали участие в битве. Один из них рассказал ему о великолепном нападении польских гусар, во время которого сам Carolus, который, несмотря на мольбы своих генералов, не хотел отступить, чуть не погиб. Все также утверждали, что неправда, что войска были уничтожены и что гетманы погибли; нет, все основные силы армии, кроме ополчения, не были затронуты и отступили в полном порядке к югу страны.

На Варшавском мосту, который рухнул, были утрачены только пушки, но «дух армии был переправлен через Вислу». Войска клялись всем, что было святого, что под водительством такого полководца, как Ян Казимир, в следующей битве они разобьют Густава, курфюрста и всех, кого будет нужно, поскольку предыдущая битва была только репетицией, немного неудачной, но сулящей на будущее полную победу.

У Кмицица ум за разум заходил: откуда первые сведения могли оказаться такими

страшными? Ему объяснили, что Карл Густав преднамеренно распространяет искаженные слухи, а на самом деле он не знал толком, что предпринимать. Шведские офицеры, которых неделю спустя взял пан Анджей, подтвердили это.

Он также узнал от них, что курфюрст больше всех беспокоится о своей шкуре, и все больше начал подумывать, сколько людей из его войска погибло под Варшавой и что на остальных напал ужасный мор, который косит людей хуже всякой войны. Тем временем ополчение из Великой Польши, мстя за Уйсте и все свои обиды, вторглось в Бранденбургское маркграфство, сжигая все на своем пути, вырезая жителей и оставляя после себя голую землю. По мнению офицеров, близок был час, когда курфюрст бросит шведов и присоединится к сильнейшему.

«Надо будет поддать ему огоньку, – подумал Кмициц, – чтобы он сделал это поскорей».

И поскольку кони у него уже отдохнули и убыль в людях была восполнена, он снова переправился через Доспаду и, как дух уничтожения, бросился на немецкие селения.

Разные отряды пошли по его стопам. Теперь уже оборона была не столь могучая, потому ему легче было воевать. Новости приходили все более радостные, такие радостные, что трудно было в них поверить.

Сначала говорили, что Карл Густав, который после варшавской битвы дошел до Радома, теперь отступает сломя голову в Королевскую Пруссию. Что случилось? Почему он отступает? – на это некоторое время не было ответа, пока наконец по Речи Посполитой снова не разнеслось имя пана Чарнецкого. Победил под Липцем, победил под Сшемешном, под самой только Равой он уничтожил дотла аррьергард бегущего Карла, после чего, узнав, что две тысячи рейтар возвращаются из Кракова, он неожиданно напал на них и даже не оставил ни одного свидетеля поражения. Полковник Форгель, брат генерала, четверо других полковников, трое майоров, тринадцать ротмистров и двадцать три поручика попали в плен. Другие сообщали удвоенную цифру, некоторые в восторге утверждали, что под Варшавой Ян Казимир победил, а не проиграл, и что его поход на юг страны был только военной хитростью, чтобы вернее погубить врага.

И сам Кмициц начал так думать, потому что, с младенческих лет будучи солдатом и хорошо разбираясь в военных делах, он никогда не слышал о такой победе, после которой победителям стало гораздо хуже. А шведам явно было все хуже и хуже, начиная именно с варшавской битвы.

И пану Анджею вспомнились тогда слова Заглобы, который во время их последнего свидания говорил, что никакие виктории уже не поправят положения шведов, а одно только поражение может их окончательно погубить.

«Канцлеру бы такую голову! – подумал Кмициц. – Он в будущем как в открытой книге читает».

Тут вспомнились ему и дальнейшие пророчества пана Заглобы. Что он, Кмициц, то есть Бабинич, дойдет до Таурогов, найдет свою Оленьку, сможет ее уговорить, женится на ней, и народят они потомства во славу родины. Когда он вспомнил это, огонь пробежал у него по жилам; он больше не хотел тратить ни секунды, бросил избивать пруссаков и желал только одного – немедленно лететь в свои Тауроги. Однако перед самым выездом к нему приехал лауданский дворянин из отряда Володыёвского с письмом от маленького рыцаря.

«Мы идем с паном польным литовским гетманом и князем кравчим по душу Богуслава и Вальдека, – писал пан Михал. – Присоединяйся к нам, мы хорошенько им отомстим, да и пруссакам за измену Речи Посполитой надо отдать долги».

Пан Анджей не хотел верить своим глазам и некоторое время даже подозревал шляхтича, что тот наверняка заслан каким-нибудь прусским комендантом или шведом, чтобы его вместе с татарской ордой завести в ловушку. Зачем это Госевскому пришло в голову идти во второй раз на Пруссию? В это нельзя было поверить. Однако письмо было писано рукой Володыёвского, и герб был Володыёвского, да и шляхтича пан Анджей вспомнил. И начал его расспрашивать: где находится сейчас Госевский и куда он должен идти? Шляхтич был довольно глуповат: и не ему знать, куда пан гетман хочет идти; он знает только, что пан гетман с той самой своей татарско-литовской дивизией находится в двух днях пути, а при нем и лауданская хоругвь. На какое-то время ее брал займы пан Чарнецкий, но уже давно отослал от себя, и теперь они идут туда, куда их ведет за собой пан польный гетман.

– Говорят, – закончил свою речь шляхтич, – что мы пойдем в Пруссию, и солдат радуется... Да наше дело солдатское, исполнять приказ и бить врага.

Кмициц, выслушав донесение, долго не думая, поворотил свою орду и быстрым маршем отправился к пану гетману, а через два дня, уже поздней ночью, упал в объятия Володыёвского, который, потискав его, сразу закричал:

– Граф Вальдек и князь Богуслав стоят в Простках, возводят редуты, хотят укрепиться попрочней. Мы пойдем на них

– Сегодня? – спросил Кмициц.

– Завтра на рассвете, то есть через два или три часа.

Тут они снова обнялись.

– Что-то мне говорит, что бог выдаст его нам! – возопил взволнованный Кмициц.

– И я так думаю.

– Я поклялся, что буду до самой смерти поститься в тот день, когда его встречу.

– Божья помощь не помешает, – ответил пан Михал, – и я не буду в обиде, если он тебе достанется, он тебе больше должен.

– Михал! Ты самый благородный на свете рыцарь!

– А ну-ка, Ендрек, дай я на тебя посмотрю. Ты окончательно обветрился, весь черный, но ты молодец. Вся дивизия с большим уважением следила за твоей работой. Ничего, одни головешки да cadavera[154]. Ты прирожденный солдат. Даже самому пану Заглобе, если бы он тут был, и в голову не пришло такое о себе выдумать.

– Господи! А где пан Заглоба?

– Он остался у пана Сапеги. Он весь распух от горя по Роху Ковальскому...

– Пан Ковальский погиб?



Володыёвский стиснул зубы.

– И знаешь, кто его убил?

– Откуда мне знать?.. Скажи!

– Князь Богуслав!

Кмициц закружился на одном месте, как ужаленный, и начал со свистом втягивать в себя воздух, в конце концов страшно заскрежетал зубами и, бросившись на лавку, в молчании уронил голову на руки.

Володыёвский хлопнул в ладоши и велел слуге принести вина, после чего сел подле Кмицица, разлил в чарки и начал говорить:

– Рох Ковальский умер такой рыцарской смертью, что не дай боже никому из нас умереть хуже. Достаточно сказать тебе, что сам Carolus хоронил его после боя и целый полк гвардии салютовал над его гробом.

– Если бы не от этой руки, не от этой адской руки! – вскричал Кмициц.

– Да, он пал от руки Богуслава, мне рассказывали гусары, которые собственными глазами видели этот страшный конец.

– Так ты там не был?

– В бою места не выбирают, ты стоишь, где тебе говорят. Если бы я там был, то или меня бы уже тут не было, или князь Богуслав не строил бы сейчас укреплений в Простках.

– Скажи, как все это произошло. Мне только злобы прибудет.

Володыёвский выпил, утер свои желтые усики и начал:

– Наверное, тебе уже донесли о варшавской битве, потому что все о ней говорят, так что я не буду слишком долго на ней останавливаться. Наш славный государь... дай ему бог здоровья и долгих лет жизни, потому что под другим королем наша отчизна погибла бы с позором... Наш король оказался великолепным полководцем. Если бы его еще и слушались, была бы новая польская победа под Варшавой, равная победе под Грюнвальдом[155] и Берестечком. Короче говоря, в первый день мы били шведов. Во второй день фортуна начала склоняться то на нашу, то на ту сторону, но все-таки мы брали верх. Тогда пошли в атаку литовские гусары, где служил и Рох, под началом князя Полубинского, великого воина. Я видел их, когда они шли, как тебя вижу, потому что я стоял с лауданской хоругвью на высоте у редутов. Было их тысяча двести людей и коней, каких свет не видывал. Они шли в ста шагах от нас, и, говорю тебе, земля дрожала под ними. Я видел бранденбургскую пехоту, которая втыкает пики в землю во мгновение ока, чтобы отразить первый натиск. Рядом били из мушкетов, так что дым заслони́л их совершенно. Вдруг видим: гусары уже пустили коней. Господи, что за зрелище! Они влетели в дым... исчезли! Мои солдаты начали кричать: «Сомнут! Сомнут!» Секунду не видать ничего. Вдруг загремело что-то, и такой раздался звук, как будто в тысяче кузниц кузнецы били молотом. Смотрим. Иисусе, Мария! Курфюрстовские воины уже лежат, как поваленная пшеница, по которой буря прошлась. А они давай за ними! Только флаги вьются!

Идут на шведов! Ударили на рейтар! – рейтары лежат в лежку! Ударили на второй полк! – в лежку! Тут взрыв... пушки грянули... Мы видим их только, когда ветром дым сдувает. Они громят шведскую пехоту... Все рвется, все валится, расступается, где пройдут наши, там улица... И чуть ли не через целую армию прошли!.. Вот они столкнулись с полком конной гвардии, среди которой Carolus стоит... И гвардию как ветром сдуло!..

Тут Володыёвский прервал свой рассказ, потому что Кмициц зажал глаза кулаками и начал кричать:

– Матерь божия! Увидеть и умереть!

– Такой атаки глаза мои уже не увидят, – продолжал маленький рыцарь. – Нам был приказ выступить. Больше я ничего не знаю, а что я тебе скажу, то я услышал из уст шведского офицера, который стоял рядом с Карлом и собственными глазами видел весь конец. Когда гусары все разнесли по дороге, этот Форгель, который, позже, под Равой, попал к нам в руки, бросился целовать руки Карла... «Король, спасай Швецию! Спасай себя! – крикнул он. – Беги, беги! Их ничего не остановит!» А Carolus ответил: «Нечего мне перед ними отступить, надо дать им отпор или погибнуть!» Тут к нему лезут другие генералы, умоляют, просят – он не хочет. Он бросился вперед... Они столкнулись, и шведов погнали раньше, чем я бы успел досчитать до десяти. Кто полег, кого убили, другие рассыпались как горох. Наши давай их рубить. Король отбивался вдвоем с одним рейтаром; тут на него наскочил Ковальский и сразу узнал короля, потому что видел его уже два раза. И как ринется!.. Рейтар заслонил короля... И вот, рассказывают те, которые видели, что молния не убивает быстрее, чем Рох развалил рейтара напополам. В этот момент сам король бросился на него...

Володыёвский снова прервал свой рассказ и глубоко вздохнул, но Кмициц тут же закричал:

– Кончай уж, а то из меня душа выскакивает!

– Вот они столкнулись в середине поля, так что кони ударились грудь о грудь. Забурлило! «Я смотрю, – рассказывал нам офицер, – а король вместе с конем уже на земле!» Но он выбрался кое-как из под коня, нажал на курок пистолета, промахнулся. Рох его за волосы схватил, потому что у короля шапка упала. Он уже за меч схватился, уже шведы в обморок падали от ужаса, потому что спасти короля не было времени, а Богуслав тут как из-под земли вырос и выстрелил в самое ухо Ковальскому, так что ему голову вместе со шлемом разнесло.

– Господи! И времени не было мечом ударить?! – крикнул пан Анджей, запустивши руку в чуб.

– Не дал ему бог такой милости, – ответил пан Михал. – Мы тут с Заглобой поняли, в чем было дело. Ведь служил парень у Радзивиллов с малых лет; видел в них своих господ, и при виде Радзивилла он смутился. У него, может, и в голове не помещалось, как это на Радзивилла можно поднять руку. Что ж, бывает, бывает! Ха! Он за это заплатил жизнью. Станный человек этот пан Заглоба, он парню никакой не дядя, вообще ни сват ни брат, а ведь другой на его месте и по сыну так не убивался бы. Правда, что говорить, из-за чего и позавидовать можно Ковальскому, так это из-за его славной смерти. Ведь шляхтич и солдат для того и рождаются, чтобы не сегодня-завтра свое горло подставить, а о Ковальском будут в хрониках писать, и потомки прославлять начнут его имя.

Пан Володыёвский умолк, а потом перекрестился и сказал:

– Дай ему, господи, вечный покой, и пусть снизойдет на него вечный свет...

– Во веки веков! – закончил Кмициц.

Некоторое время оба тихо молились, прося, быть может, и себе такой же смерти, лишь бы не от руки Богуслава; наконец пан Михал сказал:

– Ксендз Пекарский ручался нам, что Рох пошел напрямиком в рай.

– Конечно, в рай, ему и молитвы наши не нужны.

– Молитвы всегда нужны, не ему, так другим зачтутся, а может, и нам самим.

Кмициц вздохнул.

– Надеемся на милосердие божие, – сказал он. – Может, и мне за то, что я тут поработал в Пруссии, отпустится хоть несколько лет чистилища.

– Там всему счет ведут. Что здесь человек саблей ни взмахнет, то там небесный секретарь и запишет.

– Служил и я у Радзивилла, – промолвил Кмициц, – но при виде Богуслава не растеряюсь. Боже, боже! Ведь Простки совсем рядом! Помни, господи, он и тебе враг, он еретик, он часто кощунствовал против истинной веры!

– И отчизне он враг! – прибавил Володыёвский. – Будем надеяться, что приходит его срок. Это и пан Заглоба предрекал после той гусарской атаки, и говорил он в слезах и в печали, как одержимый. И он так клял Богуслава, что у людей волосы дыбом вставали. А еще князю Казимежу Михалу, который с нами идет против Богуслава, снилось, будто медведь погрыз две золотые трубы, изображенные в гербе у Радзивиллов, и князь наутро сказал: «Со мной или с кем-нибудь из Радзивиллов будет несчастье».

– Медведь? – переспросил Кмициц, бледнея.

– Да.

Лицо пана Анджея просветлело, словно утренняя заря, он обратил взор ввысь, воздел руки к небесам и торжественно воскликнул:

– У меня в гербе медведь! Слава всевышнему! Слава пресвятой деве!.. Боже, боже! Я недостойн такой милости!

Услышав эти слова, Володыёвский тоже разволновался, он сразу распознал в этом перст божий.

– Ендрек! – воскликнул он. – Для верности поцелуй перед битвой распятое, а я буду молить господу отдать мне Саковича.

– Простки! Простки! – как в лихорадке повторял Кмициц. – Когда мы выступаем?

– На рассвете, а рассвет уже близко.

Кмициц подошел к выбитому окошку халупы, поглядел в него и воскликнул:

– Гаснут звезды уже, гаснут! Аве Мария...

Тут вдалеке пропел петух, и тотчас зазвучал тихий сигнал трубы. Вскоре вся деревня пришла в движение. Бряцало железо, фыркали кони. Темные массы всадников роились на большой дороге.

Небо наливалось светом; слабый блеск серебрил наконечники пик, мерцал на обнаженных саблях, выхватывал из темноты усатые, грозные лица, шлемы, колпаки, капюшоны, татарские бараньи шапки, тулупы, сагайдаки. Наконец двинулись в путь; в передовом дозоре по направлению к Просткам ехал Кмициц, вслед за ним длинной змеей растянулось по дороге войско. Шли быстро.

В первых рядах громко заржали кони, за ними другие, – хорошая примета для ратников.

Белые туманы закрывали еще поля и луга.

Вокруг было тихо, лишь коростели вскрикивали в обрызганных росой травах.

## ГЛАВА XXV

Шестого сентября польские войска дошли до Вонсоши и расположились на отдых, чтобы люди и кони набрались сил перед битвой. Подскарбий собирался пробыть здесь не меньше четырех-пяти дней, но неожиданные события нарушили его намерения.

Бабинича, поскольку он хорошо знал приграничную местность, послали в разведку с двумя легкими литовскими хоругвями и небольшим свежим чамбулом ордынцев, так как его татары очень уж устали.

Подскарбий, отправляя разъезд, наказывал непременно раздобыть языка и с пустыми руками не возвращаться. Бабинич же только усмехался, думая про себя, что кого-кого, а его подзуживать нечего, пленных он приведет, хоть бы их и за валами, в самих Простках, искать пришлось.

И верно, через двое суток он возвратился, ведя за собой десятка полтора пруссаков и шведов и в их числе важного офицера, капитана фон Ресселя из прусского полка Богуслава.

Разъезд в лагере встретили восторженно. Капитана допрашивать не понадобилось: Бабинич сделал это еще в пути, приставив пленнику клинок к горлу. Из показаний Ресселя следовало, что в Простках стоят не только прусские полки графа Вальдека, но еще и шесть шведских под командой генерал-майора Израеля, из них четыре конных – Петерса, Фритьюфсона, Таубена и Аммерстейна – и два пеших во главе с братьями Энгель. В прусском войске, отлично вооруженном, кроме полка самого графа Вальдека и отрядов князя Висмарского, Брунцеля, Коннаберга и генерала Вальрата, еще четыре хоругви Богуслава: две, состоящие из прусских дворян, и две его собственные.

Главкомандующий у них как бы граф Вальдек, но на самом деле он во всем послушен князю Богуславу, которому шведский генерал Израель в рот глядит.

Однако наиважнейшим известием, полученным от фон Ресселя, было другое: из Элка в Простки спешат неприятелю на подмогу две тысячи отборной поморской пехоты, граф Вальдек же, опасаясь, как бы их не перехватили ордынцы, хочет, покинув укрепленный лагерь, соединиться с этими отрядами и лишь затем наново окопаться. Богуслав, по словам Ресселя, до сих пор был против ухода из Просток и только в последние дни стал к этому склоняться.

Услышав, как обстоит дело, Госевский чрезвычайно обрадовался – теперь уже не приходилось сомневаться, что победа будет за ним. В окопах неприятель мог бы долго обороняться, но в открытом поле ни шведская, ни прусская конница перед литовской не устоят.

Князь Богуслав понимал это, видно, не хуже подскарбия и именно потому не одобрял планов Вальдека. Но он был слишком тщеславен и вряд ли вздумал бы настаивать на своем хотя бы из опасения, что его упрекнут в чрезмерной осторожности. Да и терпением князь не отличался. Можно было почти наверняка рассчитывать, что ему прискутит сидеть в окопах и он захочет поискать победы и славы в открытом бою с противником. Подскарбию только следовало поторопиться, чтобы напасть на врага, едва тот выйдет из-за валов.

Так, впрочем, думал и сам гетман, и его полковники: Гассунбей – предводитель ордынцев, Войниллович – офицер королевского войска, пятигорский полковник Корсак, Володыёвский, Котвич и Бабинич. Все сошлись в одном: сейчас не время отдыхать, надо выступить, как только настанет ночь, то есть через несколько часов; пока же Корсак спешно отправил своего хорунжего Беганского к Просткам, велел ежечасно сообщать наступающему войску обо всем, что происходит в неприятельском лагере. А Володыёвский с Бабиничем повели Ресселя к себе на квартиру, чтобы расспросить поподробней о Богуславе.

Капитан, еще чувствовавший прикосновение клинка Кмицица, поначалу дрожал от страха, но вскоре вино развязало ему язык. А поскольку он когда-то служил в Речи Посполитой в наемных войсках и выучился по-польски, то теперь и на вопросы маленького рыцаря, не знавшего немецкого, мог ответить.

– И давно ты, сударь, у князя Богуслава служишь? – спросил маленький рыцарь.

– Я не у князя служу, – ответил Рессель, – а в курфюрстовском полку, который ему под команду отдан.

– Так ты и пана Саковича не знаешь?

– Пана Саковича я в Кенигсберге встречал.

– А сейчас он при князе?

– Нет. В Таурогах остался.

Маленький рыцарь шевельнул усиками.

– Не везет так не везет! – вздохнул он.

– Не горюй, Михал, – сказал Бабинич, – отыщешь ты его, а нет, так я отыщу!

Вслед за тем обратился к Ресселю:

– Ты, сударь, старый солдат, оба войска в деле видал и нашу конницу давно знаешь  
– как, по-твоему, чья будет победа?

– Если сойдемся в открытом поле – ваша, а укреплений без пехоты и пушек вам не  
взять, тем более что у нас князь Радзивилл всему голова.

– Ты и вправду его таким блестящим полководцем считаешь?

– Не один я, все у нас подобного мнения, и в шведском войске, и в прусском.  
Говорят даже, под Варшавой *serenissimus rex Sueciae*[156] во всем его указкам  
следовал и потому выиграл великую битву. Князь, будучи поляком, с тактикой вашей  
лучше знаком и на советы скор. Я сам видел, как шведский король на исходе  
третьего дня сраженья перед всем строем обнимал его и целовал. Правда, король  
ему был жизнью обязан: не выстрели князь вовремя... ох! подумать страшно!.. К тому  
же поединщик он непревзойденный, хоть с холодным оружием, хоть с огневым – никто  
его не одолеет.

– Э! – воскликнул Володыёвский. – Может, и нашелся бы один.

И, сказав так, грозно зашевелил усиками. Рессель посмотрел на него и вдруг  
побагровел. Мгновение казалось, что, если его сейчас не хватит удар, он нагло  
расхохочется; впрочем, он быстро вспомнил, что находится в плену, и сдержал  
себя.

А Кмициц глянул на него пронзительно своими стальными глазами и проговорил,  
почти не размыкая губ:

– Завтрашний день покажет...

– А что Богуслав, здоров сейчас? – спросил Володыёвский. – Его ведь лихорадка  
долго трепала – ослаб, должно быть...

– Давно здоров, как бык, и никаких лекарств не берет. Лекарь поначалу вздумал  
было его разными предохранительными снадобьями пичкать, но у князя после первого  
же приема сразу случился приступ. Правда, больше не повторился. А лекаря князь  
Богуслав велел на простынях качать: ему помогло, медик же с перепугу сам  
лихорадку схватил.

– На простынях качать? – переспросил Володыёвский.

– Своими глазами видел, – ответил Рессель. – Сложили две простыни, на них  
лекаря, четверо здоровенных денщиков взяли за углы и давай беднягу подкидывать  
– поверите ли, господа, локтей на десять в воздух взлетал, а они его подхватят и  
снова вверх. Генерал Израель, граф Вальдек и князь чуть животики не надорвали со  
смеху. Немало офицеров тоже на это представление глядели, пока лекарь не сомлел.  
А у князя после этого всю хворь как рукой сняло.

Володыёвский и Бабинич, хоть и ненавидели Богуслава, не могли, однако, слушая  
эту забавную историю, удержаться от смеха. Бабинич, хлопнув рукой по колену,  
воскликнул:

– Ха, шельма, здорово придумал!

– Надо будет пану Заглобе рассказать про это лекарство, – заметил маленький рыцарь.

– От лихорадки оно помогло, – продолжал Рессель, – да что толку: у князя в крови огонь горит, а вождельня умерять неохота; не дожить ему до седых волос.

– И я так думаю, – пробормотал сквозь зубы Бабинич. – Такие, как он, долго не живут.

– Неужто он и в лагере себе дает волю? – спросил Володыёвский.

– Еще бы! – ответил Рессель. – Граф Вальдек не раз, бывало, смеялся, что, мол, его княжеская светлость целый штат камеристок с собою возит... Я и сам видел двух весьма прелестных барышень, которые, как придворные говорят, брыжи ему глядят... Брыжи! Черта с два!

Бабинич, слушая эти слова, то краснел, то бледнел, потом вдруг вскочил и, схвативши Ресселя за плечо, тряхнул что было силы.

– Кто они, польки или немки? Говори!

– Не польки, – ответил перепуганный Рессель, – одна прусская дворянка, а другая – шведка, что прежде у супруги генерала Израеля служила.

Бабинич посмотрел на Володыёвского и вздохнул с облегчением; маленький рыцарь тоже вздохнул и перестал шевелить усиками.

– Если позволите, господа, я бы отдохнул, – сказал Рессель. – Татарин меня две мили на аркане волок, утомлен я крайне.

Кмициц, хлопнув в ладоши, позвал Сороку и препоручил ему пленного, а затем так и кинулся к Володыёвскому.

– Нет уж, довольно! – воскликнул он. – Лучше погибнуть, сто крат лучше погибнуть, нежели жить в вечной тревоге и сомнениях. Вот и сейчас: Рессель этих девок помянул, а меня точно обухом по голове хватили.

В ответ Володыёвский звякнул рапирой.

– Пора этому положить конец! – сказал он.

В эту минуту возле квартиры гетмана запела труба и, вторя ей, заиграли рожки во всех литовских хоругвах и дудки в татарских чамбулах.

Отряды начали строиться, и спустя час войско выступило в поход.

Не прошли и мили, как прискакал гонец из корсаковской хоругви от хорунжего Беганского; он привез гетману известие, что схвачено несколько рейтар из отряда, который, перейдя реку, забирал у крестьян телеги и лошадей. Будучи допрошены на месте, пленные показали, что войско вместе с обозом покидает Простки завтра в восемь часов утра, о чем уже и приказ отдан.

– Возблагодарим господа и пришпорим коней, – сказал на это подскарбий. – К вечеру от этого войска живой души не останется!

Ордынцам было приказано во весь опор лететь вперед, чтобы как можно скорей вклиниться между основными силами Вальдека и спешившей ему на помощь прусской пехотой. Следом рысью понеслись литовские хоругви, а поскольку главным образом это была легкая кавалерия, то они почти не отставали от татар.

Кмициц вел передовой отряд и гнал своих татар так, что от лошадей пар валил. А сам на скаку грудью припадал к седлу, бился лбом о конский загривок и горячо молился:

– Помоги, господи, отомстить – не за мои обиды, а за оскорбления, нанесенные отчизне! Грешен я, милости твоей недостоин и все ж прошу: сжался надо мной, дозвожь кровь еретика пролить, а я обещаю во славу твою поститься и бичевать себя в этот день всякую неделю до самой смерти!

Потом он препоручил себя матери божьей Ченстоховской, за которую кровь проливал, и святому Анджею, своему покровителю, а заручившись их поддержкой, тотчас почувствовал, как душу его согревает неистребимая надежда, а тело исполняется небывалой силы, пред которой все и вся неминуемо обратится в прах. Казалось ему, за плечами у него вырастают крылья, в порыве неудержной радости мчался Кмициц во главе своих татар, только искры летели из-под копыт. Тысячи диких воинов, прильнув к лошадиным гривам, неслись за ним.

Море остроконечных шапок колыхалось в такт конскому бегу, луки подрагивали за спинами, топот бахматов опережал всадников, а сзади доносился глухой шум скачущих за татарами по пятам литовских хоругвей, подобный шуму весеннего паводка.

И так мчались они в ту дивную звездную ночь, окутавшую дороги и поля, точно огромная стая хищных птиц, почуввших в отдалении кровь.

И не замедляли бега, оставляя позади тучные поля, дубравы и луга, пока лунный серп не померк и не склонился к западу. Тогда всадники придержали коней и остановились на последний привал. Уже не более немецкой полумили отделяло их от Просток.

Татары стали кормить лошадей ячменем из рук, чтобы те перед битвой набрались сил. Кмициц же, пересев на запасного скакуна, поехал вперед поглядеть на вражеский лагерь.

Спустя полчаса он наткнулся на тот самый пятигорский разъезд, который был послан Корсаком на разведку.

– Ну как? – спросил Кмициц хорунжего. – Что слышно?

– Уже проснулись и жужжат, как пчелы в улье, – ответил хорунжий. – Чуть было не выступили, да подвод не хватило.

– А можно ли откуда-нибудь с близкого расстояния на лагерь взглянуть?

– Можно – с того холма, что кустарником зарос. Лагерь вон там, ниже по реке. Ваша милость посмотреть желает?

– Веди, братец!



Хорунжий тронул коня, и они въехали на холм. Уже заря разгорелась на небе, и воздух пронизан был золотистым светом, но над рекою, на низком противоположном ее берегу, еще лежал густой туман. Кмициц с хорунжим, укрывшись в кустах, вглядывались в эту редющую с каждым мгновением мглу.

Наконец, меньше чем в версте от них, в низине, открылся лагерь, обнесенный с четырех сторон земляными валами. Кмициц с жадностью впился в него взором, но в первую минуту увидел только неясные очертания палаток и телег, стоящих с внутренней стороны валов. Огня костров уже не было видно, только дым столбом поднимался высоко в небо, суля ясную погоду. Но постепенно, по мере того как туман рассеивался, Бабинич с помощью зрительной трубы смог различить воткнутые в насыпь знамена: голубые, шведские, и желтые, прусские, а затем и скопления солдат, орудия и лошадей.

Вокруг стояла тишина, нарушаемая только шелестом теребимых ветерком кустов и веселым утренним щебетаньем серых пичужек, да из лагеря доносился приглушенный гул.

Видно, там никто уже не спал, войско уже, должно быть, готовилось к походу, потому что в самом лагере царило необычайное оживление. Целые полки передвигались с места на место, некоторые выходили за валы; возле телег суетилось множество людей, с насыпей скатывали пушки.

– Выступать готовятся, не иначе, – сказал Кмициц.

– Все пленные так и говорили. Они хотят со своей пехотой соединиться. Пана гетмана только к вечеру ждут, а если даже он раньше ударит, почитают за лучшее в открытом поле бой принять, нежели отдать пехоту на верную гибель.

– Да они еще часа два прособираются, а через два часа пан подскарбий здесь будет.

– Слава богу! – ответил хорунжий.

– Пошли-ка, сударь, к нашим еще людей: пусть пошевеливаются.

– Слушаюсь!

– А разъездов они на этот берег не выслали?

– На этот берег никто не выходил. А навстречу своей пехоте, что от Элка идет, посылали.

– Хорошо! – сказал Кмициц.

И съехал с холма, приказав дозору оставаться в камышах, сам же во весь опор поскакал обратно к своей хоругви.

Госевский, когда подъехал Бабинич, как раз садился на коня. Молодой рыцарь быстро рассказал, что видел, и описал тамошнюю местность; гетман, выслушав донесение, остался весьма доволен и приказал хоругвям не мешкая выступать.

На этот раз впереди пошла дружина Бабинича, а за нею литовские хоругви:

Войнилловича, лауданская, собственная гетмана, три князя Михала Радзивилла, одна Корсака и другие. Ордынцы остались позади, как просил Гассун-бей, опасавшийся, что его люди не сдержат первого натиска тяжелой кавалерии. Впрочем, был у него и иной расчет.

Гассун-бей хотел в то время, когда литвины ударят на головные неприятельские войска, захватить со своими татарами обоз, надеясь взять богатую добычу. Гетман дал согласие, верно рассудив, что ордынцы в схватке с конными хоругвями и вправду могут сплеховать, зато в лагерь ворвутся, как дикие звери, и посеют там смятение, тем более что прусские лошади к жуткому вою татар не особо были привычны.

Через два часа, как и предсказывал Кмициц, войско подступило к подножию того холма, с которого разведчики обзоредали вражеский лагерь и который теперь служил наступающим заслоном. Хорунжий, завидев своих, стремглав поскакал к гетману и доложил, что неприятель, поснимав на том берегу дозоры, уже выступил из лагеря и сейчас из-за валов как раз выходят последние подводы обоза.

Выслушав его, Госевский вынул из седельной сумы булаву и сказал:

– Значит, назад им не повернуть: возы загораживают дорогу. Во имя отца, и сына, и святого духа! Незачем дольше прятаться!

И кивнул бунчужному, а тот, подняв вверх бунчук, стал им махать во все стороны. По этому знаку закачались другие бунчуки, взревели трубы и рожки, загудели татарские дудки, загремели литавры, шесть тысяч сабель сверкнули в воздухе и из шести тысяч глоток вырвалось:

– Иисус, Мария!

– Алла-ла-илла!

И хоругвь за хоругвью на рысях выехали из-за холма. В лагере Вальдека так скоро гостей не ждали, и суета там поднялась невообразимая. Гулко забили барабаны; под их неумолчный бой полки стали разворачиваться фронтом к реке.

Уже невооруженным глазом можно было различить генералов и полковников, метавшихся от отряда к отряду. Из середины строя спешно выкатывали пушки, чтобы подтянуть их к берегу.

Минуту спустя войска были уже не более чем в тысяче шагов друг от друга. Их разделял только пространный луг, посередине которого текла речка.

Еще минута, и над прусской армией взвилась и потянулась к полякам первая полоса белого дыма.

Сражение началось.

Гетман сам подскакал к отряду Кмицица.

– Атакуй, пан Бабинич! С богом! Вали на ту стену!

И булавой указал на сверкающий полк рейтар.

– За мной! – скомандовал пан Анджей.

И, пришпорив коня, с места в карьер поскакал к реке. Едва отойдя на выстрел из лука, лошади понеслись во весь опор, прижав уши и распластавшись, как борзые. Всадники, припав к лошадиным гривам, с воем нахлестывали скакунов, которые и без того, казалось, уже не касались земли; не замедляя бега, они влетели в реку, которая их не остановила, так как в том месте был песчаный брод, широкий и неглубокий; достигнув противоположного берега, ордынцы лавиной понеслись дальше.

Видя это, закованные в латы рейтары двинулись им навстречу, сначала шагом, потом рысью, однако больше хода не ускоряли, и, лишь когда отряд Бабини́ча был от них уже шагах в двадцати, раздалась команда: «Feuer!» – и тысячи рук направили пистолеты на атакующих.

Лента дыма взметнулась над первой шеренгой, и две лавины всадников столкнулись с грохотом. Сила удара вздыбила лошадей; над головами воинов засверкали клинки, словно змеистая молния пролетела вдоль всего ряда, из конца в конец. Зловещий скрежет железа по шлемам и латам слышен был даже на другом берегу реки. Казалось, в кузницах молоты ударили по стальным листам.

Линия рейтар мгновенно изогнулась полумесяцем: когда средняя ее часть под первым натиском противника подалась назад, фланги, на которые пришелся удар послабее, остались на месте. Но и посередине латники не дали разорвать строй, и закипела страшная сеча. Закованные в броню великаны на тяжелых конях стеной стоят, сдерживая налетевшую на них с разгона серую тучу татар, а те рубят и колют врага с непостижимой быстротой, какая дается лишь долгим опытом и чрезвычайной легкостью тела. Так лесорубы скопом бросаются на мачтовый лес, и слышен только оглушительный стук топоров, да время от времени исполинское дерево со страшным треском валится наземь; как сосны под топором, ежеминутно кто-нибудь из рейтар, поникнув головою в сверкающем шлеме, падал под копыта своего коня. Сабли татар Кми́цица мелькали у них перед глазами, слепили, свистели возле лиц, глаз, рук. Напрасно могучий воин заносит тяжелый меч: не успев его опустить, он чувствует в своем теле леденящий холод клинка, и меч выпадает из руки, а сам он зарывается окровавленным лицом в гриву лошади. И, как осиный рой накидывается на человека, который вышел в сад, чтобы натрясти яблок, и теперь тщетно размахивает руками, пытается увернуться, отбиться, а осы одолевают его, облепляют лицо, шею, и каждая норовит вонзить в него свое острое жало, так разъяренные, закаленные в несчетных сражениях воины Кми́цица очертя голову набрасывались на врага, рубили, жалили, кололи, стервенев и сея вокруг себя страх и смерть; они настолько же превосходили своих противников, насколько искусный ремесленник превосходит здорового детину, у которого есть сила в руках, но недостает сноровки.

Все больше рейтар замертво валялось на землю, а посередине, где бился сам Кми́циц, строй их так поредел, что, казалось, вот-вот разорвется. Крики офицеров, сзывающих солдат в то место, которому грозил прорыв, тонули в грохоте и диких воплях, ряды не успевали сомкнуться, а Кми́циц напирал все яростнее. Сам он, облаченный в стальную кольчугу, которую получил в дар от Сапеги, дрался, как простой солдат, бок о бок с молодыми Кемли́чами и Сорокой. Оберегая жизнь своего господина, они раздавали налево и направо сокрушительные удары, а Кми́циц на своем гнедом жеребце кидался в самую гущу боя; наделенный огромною силой и вдобавок владеющий всеми секретами Володы́евского, он гасил людские жизни, как свечи. То наотмашь ударит саблей, то лишь концом острия коснется, то опишет с неуловимой быстротой круг в воздухе – и рейтар летит с коня головою вниз, словно ударом молнии вышибленный из седла. Многие отступают перед грозным воином

Наконец пан Анджей хватил саблей по виску знаменосца, и тот, закричав, как петух под ножом, выпустил из рук знамя; в эту минуту строй посередине разомкнулся, а фланги, перемешавшись, двумя беспорядочными кучами поспешно отступили в тылы прусского войска.

Кмициц глянул в прорыв и вдруг увидел в глубине поля полк драгун в красных мундирах, вихрем несущихся на помощь дрогнувшим рейтарам.

«Ничего! – подумал он. – Сейчас Володыёвский перейдет реку и меня поддержит...»

Внезапно раздался залп орудий, столь оглушительный, что земля ходуном заходила под ногами, и на всем пространстве, от валов до передовой линии неприятельского войска, загремели мушкеты. Поле сплошь заволочло дымом, и в этом дыму волонтеры и татары Кмицица схватились с драгунами.

Но со стороны реки никто не спешил на подмогу.

Стало ясно, что неприятель намеренно пропустил дружину Кмицица через брод, а затем обрушил на реку в том месте огонь из мушкетов и пушек, теперь, под страшным железным градом, живая душа не могла перейти на другой берег.

Первыми сделали попытку переправиться люди Корсака, но тут же в беспорядке вернулись; затем повел своих Войниллович: это был королевский полк, один из храбрейших в войске, но и он дошел только до середины брода и отступил, правда, не сразу, потеряв два десятка именитых рыцарей и девяносто простых ратников.

Вода в единственном мелком месте, где только и можно было перейти реку, бурлила под ударами пуль, как под проливным дождем. Пушечные ядра перелетали на противоположный берег, вздымая тучи песка.

Сам пан подскарбий подскакал к броду и, осмотревшись, убедился, что живым на тот берег никому не перебраться.

Однако это могло решить исход сражения. И чело гетмана омрачилось. Оглядев в зрительную трубу весь фронт неприятельских войск, он приказал ординарцу:

– Скачи к Гассун-бею пусть орда как-нибудь переправится в глубоком месте и ударит на обоз. Что ни есть на подводах – все их! Пушек в той стороне нету, им бы только реку одолеть.

Офицер умчался, нахлестывая коня, гетман же поехал дальше, туда, где на лугу, в лозняке, стояла лауданская хоругвь, и, подъехав к ней, остановился.

Володыёвский, мрачный, как туча, встретил гетмана, ни слова не говоря, только глядел ему в глаза и шевелил усиками.

– Как думаешь, сударь, – спросил гетман, – переправятся татары?

– Татары-то переправятся, но Кмициц погибнет! – ответил Володыёвский.

– Черт побери! – воскликнул вдруг гетман. – Да Кмициц этот, будь у него голова на плечах, не только не погибнет, а сраженье выиграть может!

Володыёвский ничего не сказал, но про себя подумал:

«Либо ни одной хоругви не надо было за реку пускать, либо сразу пять...»

Гетман снова стал смотреть в зрительную трубу на схватку за рекой, в гуще которой яростно рубился Кмициц, а маленький рыцарь, не в силах устоять на месте, внезапно приблизился к нему и, держа саблю острием вверх, сказал:

– Ваша милость! Прикажи – я попробую переправиться вброд.

– Стоять! – резко оборвал его подскарбий. – Довольно, что те погибнут.

– Уже погибают! – ответил Володыёвский.

И в самом деле, гул битвы сделался явственней и нарастал с каждой минутой. Видно, Кмициц отступал к реке.

– Слава богу! Этого я и хотел! – вдруг воскликнул гетман и стремглав поскакал к хоругви Войнилловича.

А Кмициц действительно отступал. Люди его, ударив на красных драгун, рубились с ними из последних сил, но уже дыхание перехватывало в груди, уже немели усталые руки, одно за другим валялись тела на землю, и только надежда, что из-за реки вот-вот подоспеет подкрепление, еще поддерживала в бойцах дух.

Между тем прошло полчаса, а желанного возгласа «бей!» все не было слышно, зато на помощь красным драгунам устремился тяжелый кавалерийский полк Богуслава.

«Вот она, смерть!» – подумал Кмициц, увидев, что конники заходят сбоку.

Но он был из тех воинов, которые до последней минуты верят, что не только сохранят собственную жизнь, но и одержат победу. Долгий солдатский опыт научил Кмицица не бояться риска и мгновенно оценивать обстановку; вот и теперь, быстрее вспыхивающей на вечернем небе зарницы, в его уме промелькнула мысль:

«Похоже, через брод неприятель наших к себе не подпустит, а раз так, я его самого к ним подгоню...»

Меж тем полк Богуслава был уже в каких-нибудь ста шагах и несся во весь опор; пан Анджей, видя, что драгуны вот-вот ударят на его татар и скорее всего их сомнут, поднес к губам дудку и свистнул так пронзительно, что драгунские лошади в передних рядах от страха присели на зады.

Свист немедля был повторен дудками татарских старшин, и – словно вихрь взметнул песчаную бурю – весь чамбул разом, поворотив коней, ударился в бегство.

Недобитые рейтары, красные драгуны и Богуславов полк с места в карьер припустились за ним вдогонку.

Как гром, загрели возгласы офицеров: «Вперед!» и «Gott mit uns!»[157]. Зрелище открылось захватывающее. По обширному лугу прямо к осыпаемому пулями броду, смешавшись, мчался в беспорядке чамбул с такой быстротой, словно у лошадей повыврастали крылья. Татары, все как один, припали к шеям своих бахматов, распластались, зарылись в гривы – если б не тучи летящих в преследователей

стрел, можно было подумать, лошади скажут одни, без седоков; за ними с грохотом, криком и топотом неслись великанища-рейтары, сверкая поднятыми над головой мечами.

Брод был все ближе: уже версту проскакал чамбул, еще полверсты... но, видно, татарские кони совсем выбились из сил – расстояние между ними и рейтарами быстро сокращалось.

Еще несколько минут, и вот уже передовые рейтары достают мечами отставших татар, но брод совсем-совсем рядом. Кажется, несколько скачков – и кони достигнут воды.

И вдруг произошло нечто поразительное.

Когда чамбул подскакал к броду, на флангах его снова пронзительно засвистели дудки, и весь отряд, вместо того чтобы броситься в реку и поискать спасения на другом берегу, раскололся надвое, и две его половины, словно стаи ласточек, понеслись вниз и вверх по течению.

Преследующая их по пятам тяжелая конница, влекомая неудержной силой, с разгона влетела в реку, и лишь в воде всадники сумели сдержать разгоряченных скакунов.

Артиллерия, до сих пор осыпавшая песчаный брод градом железа, мгновенно прекратила огонь, чтобы не бить по своим.

Но именно этой минуты ждал, как избавления, гетман Госевский.

Едва лошади рейтар коснулись копытами воды, навстречу им вихрем понеслась грозная королевская хоругвь Войнилловича, а за нею лауданцы, хоругвь Корсака, две гетманские хоругви, и еще полк волонтеров, и латники князя кравчего Михала Радзивилла.

Страшный вопль: «Бей, убивай!» – сотряс воздух, и, прежде чем пруссаки успели осадить лошадей, остановиться, заслониться мечами, хоругвь Войнилловича разметала их, как смерч опавшую листву, смяла красных драгун, оттеснила полк Богуслава, разделила его надвое и помчалась по полю к основным силам прусской армии.

Река в мгновение ока обагрилась кровью; снова загревели пушки, но поздно: уже восемь хоругвей литовской конницы с лязгом и ревом неслись по лугу и сражение перекинулось на противоположный берег.

Сам подскарбий летел впереди одной из своих хоругвей, и лицо его сияло от счастья, глаза горели – выведя свою конницу за реку, он уже не сомневался в победе.

Литовские кавалеристы, с упоением рубя и коля, гнали перед собой остатки драгун и рейтар, и те падали под ударами один за другим: слишком медленно двигались их тяжеловесные кони и только мешали своим седокам целиться в преследователей.

Тем временем Вальдек, Богуслав Радзивилл и Израель, чтобы приостановить натиск противника, бросили на него всю свою конницу, а сами стали поспешно готовить к бою пехоту. Полк за полком выбегали из-за валов и строились на лугу. Копейщики втыкали в землю свои тяжелые копья с наклоном вперед, загораживаясь этим частоколом от врага.

Во второй шеренге ружейники взяли мушкеты на изготовку. Между четверугольниками пехоты с лихорадочной торопливостью устанавливали пушки. Ни Богуслав, ни Вальдек, ни Израель не ободряли себя надеждой: они понимали, что их кавалерия в прямой схватке с польской долго не продержится, и рассчитывали только на артиллерию и пехоту. Между тем конные полки уже сошлись вплотную перед строем пехотинцев. И случилось то, чего опасались прусские военачальники.

Натиск литовских конников был столь яростен, что прусская кавалерия ни на минуту не смогла их задержать, и первая же гусарская хоругвь врезалась в ее ряды, точно клин в дерево, и без особых даже усилий продвигалась в самой гуще, словно подгоняемый буйным ветром корабль среди волн. Вот уже можно различить польские прапорцы, они все ближе и ближе... еще мгновение – и из-за спин прусских кавалеристов вынырнули головы гусарских коней.

– Смирно! – закричали офицеры, стоящие в рядах пехоты.

Услышав приказ, прусские солдаты тверже уперлись ногами в землю и крепко сжали в руках копья. Сердца у всех бешено колотились: страшная гусарская лавина уже выплеснулась из прорыва и неслась прямо на них.

– Огонь! – прозвучала новая команда.

Внутри четверугольника, во второй и третьей шеренге, загремели мушкеты. Людей заволочло дымом. Топот и гул нарастают; еще минута – и вот она, вражеская хоругвь!.. Сквозь дымную пелену первая шеренга пехотинцев вдруг видит прямо перед собой, почти над головою, тысячи лошадиных копыт, раздутые ноздри, горящие глаза; слышно, как трещат, ломаясь, копья; ужасающий вопль взмывает в воздух: одни голоса кричат по-польски: «Бей!», другие по-немецки: «Gott erbarme Dich meiner!»[158]

Полк смят, разгромлен, но рядом, между соседними четверугольниками, заговорили пушки. Однако тем временем подоспели другие польские хоругви; сейчас они налетят на лес копий, но, возможно, не всякой удастся его сломить, ибо ни одна не обладает такой сокрушительной силой, как хоругвь Войнилловича. Крик теперь уже стоит надо всем полем битвы. Ничего не видно. Но вот от густой толпы сражающихся начинают отделяться разрозненные группы пехотинцев в желтых мундирах – видно, еще один полк разбит.

Вдогонку за ними пускаются всадники в сером, они рубят и топчут беглецов, крича: «Лауда! Лауда!»

Это Володыёвский расправляется со вторым четверугольником.

Остальные пока еще держатся; победа еще может склониться на сторону пруссаков, тем более что у самого лагеря стоят два свежих полка, а поскольку лагерю ничто не угрожает, они в любую минуту могут быть брошены в битву.

Вальдек, правда, уже совсем потерял голову, Израеля нет – он повел в бой конницу, но Богуслав начеку, он вездесущ, он руководит всем сраженьем и, видя растущую опасность, посылает пана Беса за этими запасными полками.

Бес прищипывает коня и через полчаса возвращается без шапки, с искаженным от страха и отчаяния лицом.

– В лагере орда! – кричит он, подскавав к Богуславу.

И действительно: в это мгновение на правом фланге раздается нечеловеческий вой, который с каждой минутой приближается.

Внезапно появляются шведские конники, скачущие беспорядочной толпой, в ужасном смятенье; за ними, без оружия и без шапок, бегут пехотинцы, следом обезумевшие от страха лошади волокут повозки. И вся эта лавина, не разбирая дороги, несется с тыла на собственную пехоту. Сейчас нахлынет, сомнет её, смешает – а тут еще прямо ей в лоб мчится литовская конница.

– Гассун-бей в лагере! – торжествующе кричит Госевский и, точно соколов с шеста, посылает в бой две свои последние хоругви.

В ту самую минуту, когда эти хоругви ударяют на пехоту спереди, с фланга на нее налетает собственный обоз. Последние четвероугольники раскальваются, словно под ударом молота. Конные перемешались с пешими; вся великолепная шведско-прусская армия превращается в беспорядочную толпу. Люди топчут друг друга, опрокидывают, душат, срывают с себя одежду, бросают оружие. Конница теснит их, рубит, давит, сминает. Это уже не просто проигранное сражение, это разгром, один из самых ужаснейших за всю войну.

Князь Богуслав, видя, что все потеряно, решает сохранить хотя бы собственную жизнь и спасти от бесславной гибели остатки кавалерии.

С невероятным трудом он собирает сотни три или четыре всадников и пытается ускользнуть вдоль левого фланга, вниз по течению реки.

Он уже выбрался из самой гущи боя, когда другой Радзивилл, князь Михал Казимеж, со своими гусарами налетает на него сбоку и одним ударом рассеивает весь отряд.

Всадники удирают кто куда, поодиночке либо небольшими группами. Спасти их могут только резвые скакуны.

Но гусары не преследуют беглецов: они следом за остальными хоругвями обрушиваются на главные силы пехоты – и пехотинцы, словно стадо косуль, врассыпную бегут по полю.

И Богуслав бежит: как вихрь, несется он на вороном скакуне Кмицица и кричит в надежде собрать вокруг себя хотя бы с полсотни людей – но тщетно. Никто его не слушает; всяк думает лишь о собственном спасении, радуясь, что унес ноги из сечи и впереди путь свободен от врага.

Но радость их преждевременна. Не успели беглецы проскакать и тысячи шагов, как перед ними раздался вой, и из прибрежных зарослей темной тучей вылетели прятавшиеся там татары.

Это был Кмициц со своей дружиной. Заманив неприятеля к броду, он покинул поле боя, но теперь вернулся, чтобы отрезать убегающим путь к отступлению.

Татары, завидев рассыпавшихся по лугу всадников, мгновенно рассыпались сами, чтобы сподручнее было их ловить, и началась смертоносная погоня. По двое, по трое бросались ордынцы на одного рейтара, а тот редко когда оборонялся: чаще,



схватив рапиру за лезвие, протягивал ее рукояткой вперед к преследователям, моля о пощаде. Но ордынцы, понимая, что с собой им пленников не увести, брали живыми только офицеров, за которых можно было получить выкуп; простым солдатам перерезали глотку, и они умирали, не успев даже воскликнуть: «Gott!» Тем, кто все-таки пытался удрать, всаживали ножи в затылок или в спину; тех, под кем не падал конь, ловили арканами.

Кмициц в это время метался по полю, вышибая из седел всадников, и искал глазами Богуслава; наконец он увидел его и сразу узнал по коню, по голубой перевязи и шляпе с черными страусовыми перьями.

Облачко белого дыма окружало князя: отбиваясь от двух ногойцев, он только что одного уложил выстрелом из пистолета, а второго пронзил рапирой, теперь же, увидев справа целым скопом несущихся к нему татар, а слева – Кмицица, пришпорил коня и помчался прочь, как олень, преследуемый сворой гончих.

С полсотни всадников разом устремились за ним, но не все лошади бежали с одинаковой быстротой, так что вскоре преследователи растянулись цепью, впереди Богуслав, за ним Кмициц, а дальше, длинной змеей, остальные

Князь пригнулся к седлу; вороной его конь будто и не касался копытами земли – черной тенью, точно ласточка над луговиной, летел он над зеленой травой; гнедой по-журавлиному вытянул шею, прижал уши и, казалось, готов был выскочить из собственной шкуры. Мимо проносились одинокие вербы, заросли кустарника, ольховые перелески; татары отставали все больше, все заметнее, а они мчались и мчались. Кмициц выкинул пистолеты из притороченных к седлу чехлов, чтобы легче было бежать коню, сам же, не спуская с Богуслава глаз, стиснув зубы, почти лежа на шее скакуна, колот шпорами во взмыленные его бока, пока не порозовела падающая на землю пена.

Однако расстояние между ним и князем не только не уменьшилось ни на дюйм, а, напротив, начало увеличиваться. «Плохо дело! – подумал пан Анджей – Этого коня ни один бахмат не догонит!»

Когда же, очень скоро, разрыв между ними стал еще больше, он выпрямился в седле, опустил саблю на темляк и, приставив руки ко рту, закричал громовым голосом:

– Удирай от Кмицица, предатель! Не сегодня, так завтра я тебя достану!

Не успели замереть в воздухе эти слова, князь, услышавший их, быстро оглянулся и, увидев, что за ним гонится один лишь Кмициц, не только не пришпорил коня, а круто повернул назад и, обнажив рапиру, бросился на преследователя.

Пан Анджей, испутив пронзительный радостный вопль, на всем скаку занес над головой саблю.

– Смерть тебе! – закричал князь.

И, чтоб верней ударить, стал сдерживать коня.

Кмициц, подскакав, тоже осадил своего так, что тот копытами зарылся в землю, и рапира скрестилась с саблей.

Всадники сошлись почти вплотную: их лошади, казалось, слились воедино. Раздался

леденящий душу лязг железа; удары были стремительны, как полет мысли: самый зоркий глаз не мог бы уследить за молниеносными движениями рапиры и сабли, различить, где князь, а где Кмициц. Только порой мелькнет черная шляпа Богуслава да блеснет мисюрка Кмицица. Лошади колесом крутились друг возле друга. Все страшнее звенели клинки.

Богуслав после нескольких ударов оценил мастерство противника. Все смертоносные выпады, которым он выучился у французских фехтовальщиков, были отражены. Уже пот градом катился по его лицу, смешиваясь с белилами и румянами, уже немела правая рука... Князь сперва изумился, потом почувствовал нетерпение, потом его обуяла злоба; решив, что пора кончать, он замахнулся с бешеной яростью – даже шляпа слетела у него с головы.

Но Кмициц отбил удар с такой силой, что рапира князя отлетела назад, чуть не стукнув жеребца по боку, и, прежде чем Богуслав успел вновь ею заслониться, конец сабли Кмицица рассек ему лоб.

– Christ! – по-немецки крикнул князь.

И повалился в траву. Навзничь.

Пана Анджея в первую минуту точно ошеломило, но он быстро опомнился; опустив саблю на темляк, перекрестился, соскочил с коня и, снова взявшись за эфес, приблизился к князю.

Был он страшен: от изнеможения белый как полотно, губы сжаты, в глазах неумолимая лютая ненависть

Вот заклятый могучий его враг лежит в крови у его ног; он еще жив, еще в сознании, но побежден, побежден, и не чужими руками, не с чужою помощью...

Богуслав смотрел на победителя широко раскрытыми глазами, настороженно следя за каждым его движением, а когда Кмициц склонился над ним, торопливо воскликнул:

– Не убивай! Получишь выкуп!

Кмициц вместо ответа наступил ему ногой на грудь и что было силы придавил к земле, а кончик сабли приставил к горлу, едва не оцарапав кожи; достаточно было только пошевелить рукой, только нажать посильнее... но он не стал убивать врага сразу: ему хотелось продлить его предсмертные муки, натешить свой взор. Впившись взглядом Богуславу в глаза, он стоял над ним, как стоит лев над поверженным буйволом.

И тогда князь, у которого рана на лбу кровоточила все сильнее и возле макушки уже расплылась кровавая лужа, снова заговорил голосом едва слышным, потому что нога пана Анджея по-прежнему давила ему на грудь:

– Девка... послушай...

При этих словах пан Анджей мгновенно снял ногу с груди князя и приподнял саблю.

– Говори! – приказал он.

Но князь Богуслав только тяжело дышал; наконец он заговорил уже более внятным

голосом:

– Убьешь меня – девка погибнет... Я приказ оставил.

– Что ты с ней сделал? – спросил Кмициц.

– Отпусти меня – твоя будет... клянусь Евангелием...

Пан Анджей стукнул себя кулаком по лбу; видно было, он борется с собой и со своими мыслями. Наконец он сказал:

– Слушай, предатель! Я бы сотню таких выродков за один ее волосок отдал!.. Но тебе я не верю, клятвопреступник!

– Евангелием клянусь! – повторил князь. – Охранный лист получишь и письменный приказ.

– Ладно, так уж и быть! Жизнь я тебе дарю, но из рук не выпущу. Приказ ты мне напишешь... А самого пока татарам отдам, будешь их пленником.

– Согласен, – ответил князь.

– Но помни! – продолжал пан Анджей. – От моей сабли тебя не уберегли ни княжеский титул, ни твои войска, ни твоя рапира... Попробуй только мне поперек дороги стать или слово нарушить – ничто тебя не спасет, будь ты хоть немецкий император... Со мной шутки плохи! Один раз уже ты в моих руках побывал и сейчас у ног валяешься!

– Дурно мне, – сказал князь. – Пан Кмициц, тут неподалеку вода должна быть... Принеси напиться, рану обмой.

– Подыхай, отцеубийца! – ответил Кмициц.

Но князь, не опасаясь более за свою жизнь, несмотря на рану, обрел всегдашнюю самоуверенность и проговорил:

– Глупец ты, пан Кмициц! Если я умру, то и она...

Тут губы его побелели.

Кмициц бросился искать, нет ли поблизости какого-нибудь рва или хотя бы лужи.

Князь потерял сознание, но быстро пришел в себя – к своему счастью, потому что тем временем подскакал первый татарин, Селим, сын Гази-аги, хорунжий из дружины Кмицица, и, увидев истекающего кровью врага, вознамерился пригвоздить его к земле заостренным концом древка своего знамени. Но князь в эту страшную минуту нашел в себе достаточно сил, чтобы ухватиться рукой за непрочно державшийся наконечник, и тот отвалился.

Отголоски этой недолгой борьбы заставили пана Анджея вернуться.

– Стой, собачий сын! – крикнул он, подбегая.

Татарин при звуках знакомого голоса от страха припал к коню. Кмициц отправил его

за водой, а сам остался возле князя, потому что вдалеке уже показались несущиеся вскачь Кемличи, Сорока и весь чамбул: переловив рейтар, они бросились на поиски своего предводителя.

Увидев пана Анджея, верные его ногойцы с громким криком подкинули кверху шапки.

Акба-Улан спрыгнул с лошади и стал бить поклоны, прикладывая руку ко лбу, ко рту и к груди. Остальные, причмокивая по татарскому обычаю губами, хищно смотрели на поверженного рыцаря и восхищенно на его победителя; несколько человек кинулись ловить коней, гнедого и вороного, которые бегали поодаль с развевающимися гривами.

– Акба-Улан, – сказал Кмициц, – это предводитель войска, которое мы разбили нынче утром: князь Богуслав Радзивилл. Дарю его вам, а уж вы его берегите: за этого рыцаря – живого ли, мертвого – богатый выкуп дадут. А теперь перевязать его и на аркане в лагерь!

– Алла! Алла! Благодарствуем, вождь! Благодарствуем, победитель! – в один голос закричали ордынцы.

И опять дружно зачмокали.

Кмициц приказал подать себе коня, вскочил в седло и, взяв нескольких татар, поскакал обратно на поле сражения.

Уже издали он увидел хорунжих, стоящих при своих знаменах, но рыцарей под знаменами собралось немного – десяток-другой возле каждого: остальные преследовали неприятеля. По полю толпами бродили челядинцы, обирая трупы и то и дело сцепляясь с татарами, которые тоже своего не хотели упустить. Жуткое они собой являли зрелище, в особенности страшны были татары с ножами в руках, по локти измазанные кровью. Казалось, стая воронья, слетевшись из-за туч, усеяла побоище. Дикая вопли и смех разносились по всему полю.

Одни, зажав в зубах еще дымящиеся ножи, обеими руками волокли за ноги мертвецов, другие забавы ради перебрасывались отрубленными головами, третьи наполняли мешки; иные, точно на базаре, размахивали окровавленными одеждами, расхваливая их на все лады, либо осматривали добытое оружие.

Кмициц сначала пересек поле, на котором утром первый схватился с рейтарами. Там и сям валялись трупы людей и лошадей, изрубленные мечами, в тех же местах, где хоругви громили вражескую пехоту, мертвые тела лежали вповалку, кровь стояла лужами и, успев уже загустеть, чавкала под копытами, как болотная грязь.

Нелегко было пробираться среди обломков копий, мушкетов, между трупов, опрокинутых подвод и шнырявших повсюду татар.

Госевский стоял поодаль на одном из редутов неприятельского лагеря; с ним были князь кравчий Радзивилл, Войниллович, Володьёвский, Корсак и еще с полсотни воинов. С возвышения взорам их было открыто все поле, из конца в конец, и они могли вполне оценить размеры своей победы и поражения, которое потерпел противник.

Кмициц, увидев военачальников, ускорил шаг, Госевский, будучи не только удачливым полководцем, но и человеком благородным, лишенным всякой зависти, едва

заметив его, крикнул:

– Вот он, подлинный victor! Ему мы обязаны сегодня победой – и я первый во всеуслышание объявляю об этом. Благодарите пана Бабинича, судари, когда б не он, мы бы не перешли реку!

– Vivat Бабинич! – воскликнуло несколько десятков голосов. – Vivat, vivat!

– Где ж ты, солдат, военному ремеслу обучался? – взволнованно спросил гетман. – Как сумел в мгновенье сообразить, что надлежит делать?

Но Кмициц слишком был утомлен, чтобы отвечать на вопросы; он только кланялся налево и направо да утирал ладонью лицо, мокрое от пота, черное от пороховой гари. Глаза его сверкали необычайным блеском. А приветственные возгласы вокруг не смолкали. С поля на взмыленных лошадях возвращался отряд за отрядом, и вновь прибывшие, не жалея глоток, присоединялись к славящему Бабинича хору. Шапки летели вверх, а те, у кого были заряжены мушкеты, палили в воздух.

Вдруг пан Анджей, привстав в стременах, воздел руки к небу и воскликнул громовым голосом:

– Vivat Ян Казимир, наш правитель и отец!

Тут поднялся такой крик, будто вновь началось сраженье. Неопишное одушевление охватило всех и каждого.

Князь Михал отстегнул от пояса саблю в усыпанных алмазами ножнах и протянул ее Кмицицу, гетман набросил ему на плечи свой дорогой, подбитый мехом плащ, он же снова простер кверху руки:

– Vivat наш гетман, наш непобедимый вождь!

– Grescat! Floreat![159] – подхватил хор голосов.

Тут стали сносить и втыкать в земляную насыпь у ног военачальников захваченные вражеские знамена. Ни одного не уберег неприятель: и прусские здесь были – регулярной армии, ополченские и дворянские, – и шведские, и Богуславовых полков; все цвета радуги заиграли, переливаясь, у подножья вала.

– Сегодняшняя победа – одна из величайших в этой войне! – воскликнул гетман. – Израель и Вальдек в плену, полковники либо перебиты, либо тоже в плену, войско поголовно истреблено...

И обратился к Кмицицу:

– Пан Бабинич, ты в той стороне с Богуславом должен был повстречаться... Что с ним?

Тут и Володыёвский уставил на Кмицица нетерпеливый взгляд, он же поспешил ответить:

– Князя Богуслава господь покарал вот этой рукою!

И с этими словами протянул вперед правую руку. В ту же минуту маленький рыцарь

кинулся ему на шею.

– Ендрек! – крикнул он. – Как же я за тебя рад! Благослови тебя создатель!

– Это ты меня саблей учил владеть! – с искренней благодарностью ответил пан Анджей.

Дальнейшие изъявления дружеских чувств были прерваны князем кравчим.

– Неужто мой брат убит? – быстро спросил он.

– Нет, – ответил Кмициц, – я ему даровал жизнь, но он ранен и взят в плен. Да вот он, вон ногайцы мои его ведут!

При этих словах на лице Володьёвского отобразилось недоумение, а взоры всех рыцарей устремились на равнину: там вдали показался отряд в полсотни татар; всадники медленно приближались и наконец, миновав нагромождения поломанных телег, достигли оконечности вала.

Теперь, когда они были уже в нескольких десятках шагов, видно стало, что едущий впереди татарин тащит за собой пленника; все узнали Богуслава, но... как же надсмехалась над ним судьба!

Он, один из могущественнейших властителей Речи Посполитой, вчера еще мечтавший об удельном княжестве, он, князь Римской империи, шел теперь за татарским конем с веревкой на шее, пешком, без шляпы, с окровавленной головой, обмотанной грязной тряпичей. Но столь велика была ненависть рыцарей к этому магнату, что постигшее его жестокое унижение ни в чьем сердце не пробудило жалости – напротив, едва ли не все уста вскричали разом:

– Смерть предателю! Саблями его зарубить! Смерть! Смерть!

А князь Михал закрыл глаза рукою, ибо тяжело ему было смотреть на позор одного из Радзивиллов. И вдруг, сделавшись красен в лице, воскликнул:

– Милостивые судари! Это брат мой, моя кровь, а я ни жизни своей, ни достояния не жалел для отчизны! Кто на этого несчастного поднимет руку, тот враг мне!

Рыцари мгновенно умолкли.

Князя Михала любили за отвагу, щедрость и преданность отечеству. Когда вся Литва уже была под пятой гиперборейцев, он единственный оборонялся в Несвиже, а во время войны со шведами с негодованием отверг наущения Януша и одним из первых примкнул к Тышовецкой конфедерации – потому и теперь к его словам прислушались. Да и, вероятно, никому не хотелось навлечь на себя неудовольствие могущественного вельможи; так или иначе, все сабли немедля попрятались обратно в ножны, а кое-кто ИЗ офицеров, радзивилловские вассалы, закричали даже:

– Отнять его у татар! Пусть Речь Посполитая его судит – не позволим басурманам глумиться над благородной кровью!

– Отнять его у татар! – повторил князь. – Заложника мы найдем, а выкуп он сам заплатит! Пан Войниллович, прикажи своим людям – пусть силой его возьмут, если добром нельзя будет!

– Я готов идти в заложники! – воскликнул Гноинский.

Между тем Володыёвский пододвинулся к Кмицицу и сказал:

– Что же ты натворил, Ендрек! Ведь он, почитай, выпутался!

Кмициц вскинулся, как раненый дикий кот.

– Позволь, ваша светлость! – крикнул он. – Это мой пленник! Я ему жизнь даровал, но не просто так – он мои условия на своем еретическом Евангелии соблюсти поклялся. Да я скорее умру, чем позволю отобрать его у татар, пока он уговор не исполнит!

Сказавши так, Кмициц вздыбил коня, преграждая Войнилловичу путь. Горячая кровь в нем взыграла: лицо исказилось, ноздри раздулись, глаза метали молнии.

Войниллович стал теснить его своей лошадью.

– С дороги, пан Бабинич! – крикнул он.

– С дороги, пан Войниллович! – рыкнул пан Анджей и рукоятью сабли ударил коня Войнилловича с такою страшной силой, что жеребец зашатался, словно настигнутый пулей, и ткнулся храпом в землю.

Среди рыцарей поднялся грозный ропот, но тут вперед выступил Госевский.

– Помолчите, судари! – сказал он. – Послушай, князь. Объявляю своей гетманской властью, что пан Бабинич имеет все права на пленника, а если кто пожелает его у татар забрать, пусть поручится за него победителю!

Князь Михал подавил ярость и, овладев собою, сказал, обращаясь к пану Анджею:

– Говори, сударь, чего ты хочешь?

– Я хочу, чтоб он уговор исполнил, прежде чем освобожден будет.

– Так он, освободившись, исполнит.

– Как бы не так! Не верю!

– Тогда я за него клянусь пресвятой девой, которую чту, и рыцарское слово даю, что все обещанное будет сделано. А нет – спросишь с меня; отвечаю честью своей и достоянием.

– Больше мне ничего не надо! – сказал Кмициц. – Пусть пан Гноинский заложником идет, иначе татары противиться станут. А я довольствуюсь твоим словом.

– Спасибо тебе, рыцарь! – ответил князь кравчий. – И не бойся, что он тотчас будет на свободу отпущен: я его, как и велит закон, пану гетману отдам; пусть остается в плену, пока король не вынесет приговора.

– Быть посему! – сказал гетман.

И, велев Войнилловичу переменить коня, который едва уже дышал, отправил его вместе с Гноинским за князем.

Но не так это оказалось просто. Пленника пришлось брать силой: сам Гассун-бей яростно сопротивлялся и унялся лишь, когда к нему подвели Гноинского и пообещали сто тысяч талеров выкупа.

Вечером князь Богуслав уже лежал в одном из шатров Госевского. Его тщательно перевязали; двое лекарей не отходили от раненого ни на шаг и оба ручались за его жизнь: рана, нанесенная самым кончиком сабли, была не опасна.

Володыёвский не мог простить Кмицицу, что тот оставил князя в живых, и от негодования целый день избегал встречи с ним, но вечером пан Анджей сам пришел к нему в палатку.

– Бога ты не боишься! – воскликнул, увидев его, маленький рыцарь. – Уж от кого-кого, а от тебя я не ожидал, что ты этого предателя живьем отпустишь!..

– Выслушай меня, Михал, прежде чем корить, – угрюмо ответил Кмициц. – Уже нога моя у него на груди была, уже клинок был к глотке приставлен, и тут знаешь, что изменник этот мне сказал?.. Мол, уже приказ отдан, чтобы Оленьку в Таурогах смерти предать, если он погибнет... Что же мне, несчастному, было делать? Я ее жизнь ценой его жизни купил. Что я мог сделать?.. Скажи, Христа ради... Что?

И пан Анджей стал рвать на себе волосы и ногами в неистовстве топтать, а Володыёвский задумался.

– Отчаяние твое мне понятно... – поразмыслив, сказал он. – И все же... ты ведь не кого-нибудь, а изменника отпустил, который в будущем страшные беды на отечество наше навлечь может... Ну да ладно, Ендрек! Что ни говори, сегодня ты великую услугу Речи Посполитой оказал, хоть под конец и поступился ее благом во имя собственного.

– А ты, ты сам бы что сделал, если б тебе сказали, что к горлу Ануси Борзобогатой нож приставлен?..

Володыёвский усиленно зашевелил усиками.

– Я себя в пример не ставлю. Хм! Что бы я сделал?.. Вот Скшетуский – он у нас душой римлянин – его б в живых не оставил, и, я уверен, господь бы не позволил из-за этого пролиться невинной крови.

– Я свою вину готов искупить. Покарай меня, господи, не по тяжким моим грехам, но по твоему милосердию... не мог я голубке своей смертный приговор подписать... – И Кмициц закрыл глаза руками. – Помогите мне, ангелы небесные! Не мог я! Не мог!

– Ладно уж, сделанного не воротишь! – сказал Володыёвский.

– Тут пан Анджей вытащил из-за пазухи бумаги.

– Гляди, Михал, что я получил! Это приказ Саковичу, это – всем радзивилловским офицерам и шведским комендантам... Заставили подписать, хоть он едва рукой шевелил... Князь кравчий сам проследил... Вот ее свобода, ее безопасность! Господи, да я целый год, что ни день, крестом лежать буду, плетью себя повелю хлестать,



костел новый выстрою, а ее жизнью не пожертвую! Не римлянин я душой... пускай! Не Катон, как пан Скшетуский... ладно! Но жизнью ее не пожертвую! Нет, тысяча чертей! И пусть меня хоть в пекле на вертел...

Кмициц не договорил: Володыёвский подскочил к нему и зажал рукою рот, закричав в испуге:

– Не богохульствуй! Еще навлечешь на нее гнев господень! Бей себя в грудь! А ну, живо!

И Кмициц принялся бить себя в грудь, приговаривая: «Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!» А потом бедняга разразился рыданиями, ибо сам уже не знал, что ему делать.

Володыёвский позволил другу выплакаться, а когда тот наконец успокоился, спросил:

– Что же ты теперь предпринять намерен?

– Пойду с чамбулом, куда посылают: к самым Биржам! Вот только люди и лошади отдохнут... А по дороге, сколько станет сил, еретиков буду громить, вражью кровь проливать во славу божию.

– И заслужишь прощение. Не горюй, Ендрек! Господь милостив.

– Кратчайшей дорогой пойду, напрямик. По Пруссии сейчас свободно можно гулять, разве что попадетсЯ где-нибудь на пути гарнизонец.

Пан Михал вздохнул:

– Эх, и я бы с тобой пошел с превеликой охотой, да служба не пускает! Хорошо тебе волонтерами командовать... Ендрек! Послушай, брат!.. Вдруг ты их обеих найдешь... позаботься уж и о той, чтоб худого чего не содеялось... Как знать, может, она мне судьбой назначена...

И с этими словами маленький рыцарь бросился в объятия Кмицица.

## ГЛАВА XXVI

Оленька и Ануся, бежав с помощью Брауна из Таурогов, благополучно добрались до Ольши, где в ту пору стоял со своим отрядом мечник; от Таурогов, впрочем, Ольша была не очень далеко.

Старый шляхтич, увидев девушек живыми и здоровыми, сперва глазам своим не поверил, потом всплакнул от радости, а затем пришел в такое воинственное настроение, что об опасностях забыл и думать. Напади на него не только что Богуслав – любой враг, хоть сам шведский король со всею ратью, – мечник готов был защищать своих девочек.

– Да я живот положу, – говорил он, – а у вас волоску с головы не дам упасть. Не тот нынче я, каким вы меня знали в Таурогах. Попомнят шведы Гирляколе и Ясвойну, а уж как я их под Россиенами отделал, век не забудут. Правда, Сакович-изменник врасплох на нас напал и разогнал кого куда, да только теперь у меня опять с полтыщи сабель под рукою.

Мечник не много преувеличил: в нем действительно трудно было узнать павшего духом таурожского узника. Совсем человек переменялся, и прежняя энергия в нем пробудилась; в поле, верхом на коне он почувствовал себя в своей стихии, а поскольку солдатом был опытным, то и впрямь уже несколько раз крепко потрепал шведов. К тому же в здешней округе пан Томаш пользовался большим уважением, отчего в отряд к нему с охотой шли и шляхта, и простой люд; даже из дальних поветов то и дело который-нибудь из Биллевичей приводил десяток-другой конников.

Отряд мечника состоял из трехсот крестьян-пехотинцев и примерно пяти сотен кавалерии. В пехоте мало кто имел мушкеты, большинство вооружены были косами и вилами; конница представляла собой весьма разнородное сборище: были там и зажиточные землевладельцы, которые ушли в леса со своей челядью, и шляхта поплоче, из мелкопоместных. Вооружение у них было лучше, чем у пехотинцев, но на редкость пестрое. Копьями многим служили жерди для подвязки хмеля; иные прихватили из дому семейное оружие, богатое, но по большей части устарелое; лошади разных кровей и статей плохо держали строй.

С таким войском мечник мог нападать на шведские дозоры и даже большие конные отряды громить, мог очищать леса и деревни от бесчисленных разбойных шаек, состоящих из шведских и прусских дезертиров и местного сброда и промышлявших грабежом, но ни на один город ударить не решался.

Да и шведы стали осмотрительней. В самом начале восстания по всей Жмуди и Литве вырезали немало солдат из частей, стоявших в деревнях на квартирах, те же, что уцелели, попрятались в наспех укрепленных городах, откуда далеко отходить не смели. Таким образом поля, леса, деревушки и небольшие городки оказались в руках поляков, зато во всех крупных городах прочно обосновались шведы, и выкурить их оттуда не было никакой возможности.

Отряд мечника был одним из самых сильных; другие могли сделать еще меньше. На границе с Лифляндией, впрочем, повстанцы настолько осмелели, что дважды осаждали Биржи и на второй раз взяли город, но временный этот успех объяснялся тем, что де ла Гарди все войска из пограничных поветов перебросил под Ригу для защиты ее от царской армии.

Однако блестящие, редкие в истории победы этого полководца заставляли думать, что война там вскоре окончится и на Жмудь снова хлынут упоенные победой шведские полчища. Пока, правда, в лесах было сравнительно спокойно, и многочисленные повстанческие отряды, сами в своих возможностях весьма ограниченные, могли, по крайней мере, не опасаться, что противник станет искать их в глухих чащобах.

Поэтому мечник раздумал идти в Беловежскую пушу: очень уж далек был туда путь, да и больших городов, охраняемых сильными гарнизонами, полно на дороге.

— Господь послал сухую осень, — говорил мечник девушкам, — стало быть, и жить sub Jove[160] полегче будет. Оставайтесь в лагере — я велю вам шатерчик ладный поставить, бабу дам в услуженье. По нынешним временам безопасней места, чем в лесу, не найти. Биллевичи мои дотла сожжены; в усадьбы разбойники заглядывают, а частенько и шведские разъезды. Где вам спокойней будет, как ни при мне, — у меня вон, полтыщи сабель! А непогода начнется, я вам хатенку где-нибудь в глухомани приищу.

Предложение это очень понравилось панне Борзобогатой, так как в отряде было несколько молодых Биллевичей — весьма учтивых кавалеров — да и вокруг упорно

поговаривали, будто в эти края идет пан Бабинич.

Ануся надеялась, что Бабинич, едва явится, вмиг прогонит шведов, а там... там будет, как господь распорядится. Оленька тоже находила, что безопасней всего оставаться в отряде; она только хотела уйти подальше от Таурогов, опасаясь, что Сакович пустится за ними в погоню.

– Пойдемте к Водоктам, – сказала она, – там кругом свои. А если и Водокты сгорели, остаются еще Митруны и соседние деревни. Не может быть, чтобы вся округа обезлюдела. В случае чего Лауда нас защитит.

– Э, все лауданцы с Володыёвским ушли, – возразил молодой Юр Биллевич.

– Но старики и подростки остались; да и женщины тамошние умеют за себя постоять. И леса в тех краях побольше здешних; Домашевичи Охотники или Гостевичи Дымные отведут нас в Роговскую пушу, а уж туда никакой враг не доберется.

– А я разобью лагерь в надежном месте, чтоб и мне, и вам спокойно было, и на вылазки буду ходить да подлавливать тех шведов, что в пушу отважатся сунуться, – сказал мечник. – Превосходная мысль! Здесь нам делать нечего, там больше пользы принести можно.

Как знать, не оттого ли мечник с такой горячностью ухватился за предложение панны Александры, что и сам в глубине души побаивался Саковича; доведенный до отчаяния, тот мог быть поистине страшен.

Совет, впрочем, сам по себе был хорош и потому всем сразу пришелся по душе, так что мечник в тот же день отправил пехоту под командой Юра Биллевича глухими лесными тропами в сторону Кракинова; сам он выступил с конницей двумя днями позднее, убедившись предварительно, что ни возле Кейдан, ни возле Россиен, мимо которых предстояло идти, крупные шведские отряды не показывались.

Шли не торопясь, с осторожностью. Барышни ехали на крестьянских повозках, а порой верхом на упряжных лошаденках, которые раздобыл для них мечник.

Ануся, подвесив на шелковой перевязи легкую сабельку, полученную в подарок от Юра, и лихо заломив шапчонку, точно ротмистр, ехала впереди отряда. Все ей нравилось: и сам поход, и сверкающие на солнце сабли, и разжигаемые по ночам костры. Молодые офицеры и солдаты открыто ею любовались, а она стреляла направо и налево глазками и по три раза на дню расплетала и заплетала косы, как в зеркало глядясь в прозрачные воды лесных ручейков. Часто она говорила, что мечтает посмотреть на сражение, дабы испытать свое мужество, но на самом деле совсем к этому не стремилась: больше всего ей хотелось кружить головы молодым воинам, в чем она и преуспела, разбив сердце без счету.

Оленька тоже как будто воскресла после бегства из Таурогов. Там ее подавляли неизвестность и вечный страх, здесь же, в лесной глуши, она чувствовала себя в безопасности. Свежий воздух возвращал ей силы. Вид вооруженных воинов, походный гомон и постоянное движение лучше всякого бальзама действовали на ее душу. Как и Анусе, ей радостно было идти бок о бок с солдатами, и возможные опасности ничуть не страшили: не даром в ее жилах текла рыцарская кровь. Перед воинами она не красовалась, впереди строя гарцевать себе не позволяла и восторженного внимания привлекала меньше, чем подруга, зато ее окружало всеобщее уважение.

При появлении Ануси на усатых солдатских лицах расцветала улыбка, когда же Оленька приближалась к костру, все дружно скидывали шапки. Почтительность эта со временем превратилась в сущее преклонение. Не одно юное сердце заставила она горячо заботиться – и без того не обошлось, – но никто не осмеливался пялить на нее глаза, как на чернокошую украиночку.

Отряд шел лесами, пробирался сквозь заросли, часто высылая вперед дозоры, и лишь на седьмой день, поздней уже ночью, добрался до Любича, который лежал на границе Лауданского края, образуя как бы ворота в него. Лошади в тот день так устали, что, несмотря на настояния Оленьки, решено было дальше не ехать, и мечник, пожуриив племянницу за капризы, разместил людей на ночлег. Сам он с барышнями расположился в господском доме, так как ночь была туманная и очень холодная. Дом каким-то чудом уцелел от пожара. Видно, князь Януш Радзивилл велел усадьбу не трогать, поскольку она принадлежала Кмицицу, а потом, после того как узнал об измене пана Анджея, не успел либо забыл отдать новые распоряжения. Повстанцы считали имение собственностью Биллевичей, мародеры же не смели разбойничать по соседству с Лаудой. Поэтому в доме все осталось на своих местах. Горько и тяжело было Оленьке вступать под этот кров. Каждый уголок здесь был ей знаком, и почти все напоминало о бесчинствах Кмицица. Вот столовый покой, украшенный портретами Биллевичей и охотничьими трофеями. Пробитые пулями головы лесных зверей еще висят на гвоздях, лица с порубленных саблями портретов сурово взирают со стен, словно говоря: «Гляди, девушка, гляди, внучка, это его нечестивая рука искромсала земные обличья тех, чьи останки давно уже покоятся в могиле!»

Оленька чувствовала, что не уснет в этом оскверненном доме. В темных комнатах, казалось ей, еще снуют по углам, извергая из ноздрей пламя, призраки страшных соратников Кмицица. Как же легко этот человек, которого она так любила, перешел от озорства к греховным проступкам, а там и к настоящим преступлениям! Изрубил портреты и ударился в разгул, сжег Упиту и Волмонтовичи, ее саму похитил из Водоктов, а потом поступил на службу к Радзивиллу, изменил родине; мало того: грозился поднять руку на короля, отца всей Речи Посполитой...

Полночи прошло, а бедная Оленька не сомкнула глаз. Все душевные ее раны вновь открылись и свербили мучительно. Стыд, как прежде, огнем жег щеки; ни слезинки не уронила она, но изболевшееся сердце наполнилось такой беспредельной тоскою, что, казалось, не выдержит и разорвется...

О чем же печалилась Оленька? О том, что могло бы быть, если б он был другой, если б при всем своем своенравии, необузданности и гордыне хотя бы душою был прям, хотя бы знал меру в своих злодеяниях, если бы, наконец, существовала какая-то граница, которую он неспособен был преступить. Ведь она так много могла бы простить...

Ануся заметила, как мучается подруга, и догадалась, в чем тут причина, потому что старый мечник успел уже ей все выложить, а поскольку сердце у нее было доброе, подошла к панне Биллевич и, обняв за шею, шепнула:

– Оленька! Тебе в этом доме тяжело очень...

Оленька ни слова не сказала в ответ, только задрожала всем телом, как осиновый лист, и из груди ее вырвались громкие отчаянные рыдания. Судорожно схватив Анусю за руку, она прижалась светловолосой головкою к ее плечу, сотрясаясь от плача, словно веточка на ветру.

Долго пришлось ждать Анусе, пока Оленька немного успокоилась, потом она сказала тихо:

– Помолимся за него, Оленька...

А та обеими руками закрыла глаза.

– Не... могу! – с усилием наконец выдавила она.

И, лихорадочно откидывая назад падающие на лоб волосы, заговорила прерывающимся голосом:

– Не могу... сама видишь... Хорошо тебе!.. Твой Бабинич благородный... перед богом чист... перед отечеством... Счастливица! А мне даже помолиться нельзя... Всюду здесь людская кровь... пепелища! Если бы хоть он отчизне не изменил... короля предать не замыслил!.. Я до того ему уже все простила... в Кейданах еще... потому что думала... потому что любила его... всем сердцем!.. А сейчас не могу... Боже правый, не могу!.. Самой жить не хочется... и ему лучше б не жить!

На что Ануся ответила:

– Молиться за всякую душу можно, ибо господь милосерднее нас и знает многое из того, что людям неизвестно.

И, сказавши так, опустилась на колени и начала читать молитву, а Оленька упала наземь и крестом пролежала до утра.

Наутро по округе разнеслась весть, что пан Билевич в Лауде. Все, кто только мог, сбегались на него поглядеть. Из окрестных лесов выходили дряхлые старики и женщины с малыми детьми. Два года уже никто в здешних деревнях не пахал и не сеял. И сами деревни почти все были сожжены и опустели. Люди жили в лесах. Молодые здоровые мужики ушли с Володыёвским либо присоединились к повстанцам; одни лишь подростки стерегли остатки имущества и уцелевшую скотину – и неплохо стерегли, под лесной, правда, защитой.

Мечника встретили как избавителя, со слезами радости: простой люд рассудил, что, коли уж пан мечник пришел и барышня возвращается под родимый кров, значит, войне и всем бедам конец. И, недолго думая, народ потянулся обратно в свои деревни и одичавшую скотину стал выгонять из лесных дебрей.

Шведы, правда, стояли неподалеку, в хорошо укрепленном Поневеже, но теперь, когда рядом был мечник да и другие партизанские отряды в случае чего можно было призвать на помощь, шведов куда меньше стали бояться.

Пан Томаш даже задумал ударить на Поневеж, чтобы окончательно очистить округу от врагов; он только сперва хотел собрать возле себя побольше людей, а главное, ждал, пока пехоте доставят оружие из лесных тайников, куда его попрятали Домашевичи Охотники. Сам же тем временем осматривался, объезжая окрестные деревни.

Печальные ему представились картины. В Водоктах была сожжена усадьба и половина деревни; Митруны тоже сгорели; бутрымовские Волмонтовичи, которые в свое время спалил Кмициц, правда, отстроились после пожара и потом чудом уцелели, зато Дрожейканы и Мозги, принадлежавшие Домашевичам, сожжены дотла, Пацунели –

наполовину, Морозы – целиком; самая же печальная участь постигла Гощуны, где полдеревни перебили, а оставшимся в живых мужчинам, начиная от стариков и кончая подростками, по приказу полковника Росса отрубили руки.

Так жестоко искалечила война тот край, таковы были плоды предательства князя Януша Радзивилла.

Не успел мечник завершить объезд и вооружить свою пехоту, издалека пришли вести, радостные и вместе с тем страшные, и тысячеустое эхо понесло их от хаты к хате.

Юрек Биллевич, который с разъездом в полсотни коней ходил к Поневежу и захватил в плен нескольких шведов, первый узнал о сражении под Простками. А потом посыпались новые известия и с каждым – новые удивительные подробности, похожие на сказочные чудеса.

– Пан Госевский, – повторяли в округе, – погромил графа Вальдека, Израеля и князя Богуслава. Войско разбито в пух и прах, военачальники в плену! Вся Пруссия стоит в огне!

Спустя несколько недель у всех на устах появилось еще одно грозное имя: Бабинич.

– Это Бабинич одолел шведа под Простками, его это победа, – говорили по всей Жмуди. – Бабинич князя Богуслава поймал и своею рукой зарубил.

Потом:

– Бабинич Княжескую Пруссию жжет! На Жмудь, точно смерть, идет, всех подряд косит, голую землю за собой оставляет!

И наконец:

– Бабинич Тауроги спалил. Сакович от него бежал, в лесах прячется...

Последнее событие произошло так близко, что нетрудно было проверить его достоверность. Слух полностью подтвердился.

Анusia Борзобогатая все это время ходила сама не своя, то смеялась, то плакала, топала ногами, если кто-нибудь отказывался верить слухам, и бесконечно повторяла всем подряд:

– Я пана Бабинича знаю! Он меня из Замостья к пану Сапеге привез. Самый великий воин на свете, вот он кто! Не знаю, сравнится ли с ним сам Чарнецкий. Это он, когда у пана Сапегги служил, в первом же походе князя Богуслава погромил... И под Простками его зарубил он, а не кто другой, я уверена. А про Саковича и говорить нечего – он с десятком таких, как Сакович, справится!.. И шведов в месяц со Жмуди выгонит.

И действительно, предсказания ее вскоре начали сбываться. Теперь уже не было ни малейших сомнений, что грозный воин, именуемый Бабиничем, идет от Таурогов на север, в глубь страны.

Под Колтынями он напал на отряд полковника Бальдона и наголову его разбил; под Ворнями разгромил шведскую пехоту, которая уходила от него к Тельшам; под Тельшами одержал победу в упорном бою с двумя полковниками, Норманом и

Худеншильдом: Худеншильд погиб, а Норман с недобитым войском бежал в Загуры, на самую жмудскую границу.

Из Тельш Бабинич двинулся к Куршанам, гоня перед собой мелкие шведские отряды, спешившие укрыться от него под защиту более сильных гарнизонов.

От Таурогов и Паланги до Бирж и Вилькомира гремело имя победителя. Рассказывали, как жестоко он расправляется со шведами; говорили, что его войско, поначалу состоявшее лишь из татарского чамбулика и небольшой хоругви волонтеров, растет не по дням, а по часам: кто только в силах, бежит к нему, все повстанческие отряды с ним соединяются, а он, наведя в новых частях железный порядок, громит врага.

Все умы были заняты только его победами, и даже весть о поражении, которое Госевский потерпел от Стенбока под Филиповом, никого особенно не взволновала. Бабинич был ближе, и интересовались больше Бабиничем.

Ануся каждый день умоляла мечника присоединиться к прославленному воину. Ее поддерживала и Оленька, и офицеры, а в особенности шляхта, снедаемая любопытством.

Но это было нелегко сделать. Во-первых, Бабинич был не близко; во-вторых, он часто куда-то пропадал, и о нем неделями ничего не было слышно, а потом вдруг объявлялся одновременно с вестями о новой победе; в-третьих, дороги были забиты шведскими отрядами и гарнизонами, бежавшими от него из городов и местечек; и, наконец, прошел слух, что за Россиенами появился большой отряд Саковича, который все на своем пути безжалостно уничтожает, а местных жителей подвергает страшным мученьям, выспрашивая об отряде Биллевича.

Мечник не только не мог идти на соединение с Бабиничем, но и опасался, как бы в окрестностях Лауды вскоре самому не стало жарко.

Долго он раздумывал, как поступить, и в конце концов поделился с Юреком Биллевичем своим намерением отступить к востоку, в роговские леса. Юрек тот же час проговорился Анусе, а та отправилась прямо к мечнику.

– Дядюшка, миленький, – сказала она (так она всегда называла мечника, когда хотела что-нибудь выклянчить), – я слыхала, мы бежать собрались. А не стыдно ли такому славному воину удирать при одном только известии о приближении неприятеля?

– А тебе, любезная барышня, во все нужно нос совать, – ответил смущенный мечник.  
– Не твоего это ума дело.

– Ну и ладно, бегите, а я здесь останусь.

– Чтоб Саковичу в лапы попасть? Дождешься!

– Не попадусь – меня пан Бабинич защитит.

– Откуда ж ему знать, что ты здесь? А нам к нему не пробиться, я ведь ясно сказал.

– Зато он может к нам прийти. Я с ним знакома; мне бы только письмо ему передать

– ручаюсь, он сразу сюда прилетит и Саковича разобьет по дороге. Я ему немножко нравилась, он мне в помощи не откажет.

– А кто возьмет письмо отнести?

– Да с любым мужиком можно послать...

– Н-да, не помешало бы, что верно, то верно. На что у Ольеньки умок остер, а и ты, любезная барышня, ей немногим уступишь. Даже если придется пока перед превосходящими силами врага в леса отступить, все равно не худо, если Бабинич в эти края пожалует, – так мы с ним скорей соединимся. Попробуй, голубушка. А за посланцами дело не станет, найдем надежных людей...

Обрадованная Ануся с такой горячностью взялась за дело, что в тот же день нашла даже двух охотников, и не каких-нибудь там мужиков: идти вызвались Юрек Биллевич и Браун. Решено было, что каждый возьмет по письму одинакового содержания, что б если не одно, так другое попало к Бабиничу. С письмом Анусе пришлось повозиться побольше, но в конце концов она и с этой задачей справилась. Послание ее гласило:

«Милостивый государь, пишу тебе в крайнем отчаянии. Если ты меня помнишь (хоть я в том и сомневаюсь, с чего бы вашей милости меня помнить!), молю: поспеши на помощь. Памятуя, какую участливость ты мне оказывал на пути из Замостья, смею надеяться, что в беде меня не оставишь. Я нахожусь в отряде пана Биллевича, россиенского мечника, который мне приют дал, когда я племянницу его, панну Биллевич, вывела из таурожской неволи. Нас с ним со всех сторон осаждают враги: шведы и некий пан Сакович, от нечистых посягательств которого я вынуждена была бежать и в военном лагере искать пристанища. Знаю я, твоя милость особой любви ко мне не питал, хотя, видит бог, ничего дурного я тебе не сделала, а всегда желала и желаю от всей души самого наилучшего. Но и не любя, спаси бедную сироту, вырви из безжалостных вражьих рук. Господь за это тебе воздаст сторицею, и я буду молиться за доброго моего покровителя, которого потом избавителем до самой смерти величать стану...»

Когда посланцы уже покидали лагерь, Ануся, осознав вдруг, какие их ждут опасности, страшно за них испугалась и решила во что бы то ни стало задержать. Даже кинулась к мечнику и со слезами на глазах начала упрашивать, чтобы он их не отпускал, так как письма и мужики могут отнести, им и пробраться будет легче.

Однако Браун и Юрек Биллевич заупрямились – не помогли никакие уговоры. Каждый в своей готовности услужить Анусе стремился превзойти другого. Не знали они, что их ожидает!

Браун неделю спустя попал в руки Саковича, который приказал содрать с него кожу, а бедный Юрек был застрелен за Поневежем, когда пытался убежать от шведского разъезда.

Оба письма попали в руки врагов.

## ГЛАВА XXVII

Сакович, схватив Брауна и содрав с него кожу, тотчас связался с комендантом Поневежа полковником Гамильтоном, англичанином в шведской службе, и сговорился



вместе напасть на отряд мечника Билевича. Бабинич в это время запропастился куда-то в леса, и почти две недели о нем не было ни слуху ни духу. Впрочем, даже будь он поблизости, Саковича бы это не остановило. Правда, при всей своей отваге, он испытывал какой-то суеверный страх перед Бабиничем, но теперь готов был сам погибнуть, лишь бы отомстить. С тех пор, как убежала Ануся, ярость неустанно терзала его душу. Расчеты его были поломаны, любовь поругана – это доводило Саковича до исступления, а тут еще замучила сердечная тоска. Вначале он хотел жениться на Анусе только ради наследства, оставленного ей первым женихом, паном Подбипяткой, но потом влюбился в нее без памяти, сгорал от страсти, как с такими натурами бывает. Дошло до того, что он, Сакович, не боявшийся никого на свете, кроме Богуслава, он, чей взгляд заставлял людей бледнеть от страха, точно пес, заглядывал в глаза этой девушке, во всем ей подчинялся, сносил ее причуды, исполнял любые прихоти, стремился угадывать желанья.

Она же беззастенчиво пользовалась своею над ним властью, обольщая его обманчивыми словами и взглядами, помыкала им, как невольником, и в конце концов предала.

Сакович был из породы людей, которые за благо и добродетель почитают лишь то, в чем находят для себя пользу, а все, что идет им во вред, – в их глазах зло и грех. Так что, по его понятиям, Ануся совершила чудовищное преступление: не было кары, какой бы она не заслуживала. Случись подобное с кем-нибудь другим, староста только бы зло посмеялся, но теперь, когда дело коснулось его самого, он ревел, словно раненый зверь, и думал единственно о мщении. Виновницу своих страданий он жаждал заполучить живой или мертвой. Лучше б живой, чтобы можно было сперва отомстить, за оскорбленное мужское достоинство, но, даже если ей суждено погибнуть во время схватки, ему все равно, лишь бы не досталась другому.

Желая действовать наверняка, Сакович послал к мечнику своего человека с письмом якобы от Бабинича, где обещался от его имени в ближайшую же неделю быть в Волмонтовичах.

Мечник ничего не заподозрил, а поскольку верил в neodолимую силу Бабинича, то и из письма секрета делать не стал; мало того: основательно расположившись со своим отрядом в Волмонтовичах, новостью этой взбаламутил окрестное население. Те из лауданцев, что прятались в лесах, поспешили оттуда выйти, – во-первых, осень уже шла к концу и ударили холода, а кроме того, любопытство всех одолело, каждому не терпелось взглянуть на прославленного воина.

Между тем со стороны Поневежа уже шли к Волмонтовичам шведы под командой Гамильтона, а от Кейдан крался по-волчьи Сакович.

Последнему, однако, и в голову не приходило, что за ним по пятам, тоже по-волчьи, крадется некто третий, никаких писем не получавший, но зато имевший обыкновение появляться именно там, где его меньше всего ждали.

Кмициц знать не знал, что Оленька находится в отряде Билевича. В Таурогах, которые он разорил и сжег, от языка ему стало известно, что Оленька убежала вместе с панной Борзобогатой, но он полагал, что девушки отправились в Беловежскую пушу, где скрывалась и пани Скшетуская, и многие другие шляхтянки. Предположение это казалось верным еще и потому, что, как он знал, старый мечник давно собирался отвезти племянницу в эти непролазные дебри.

Пан Анджей безмерно огорчился, не найдя Оленьки в Таурогах, но, с другой

стороны, рад был, что она вырвалась из рук Саковича и до конца войны обретет надежное пристанище.

А поскольку немедленно отправиться за ней в беловежские леса он не мог, то решил преследовать и громить врага на Жмуди до полного его уничтожения. И удача ему сопутствовала. Вот уже полтора месяца он одерживал победу за победой, ратники стекались к нему толпами, так что вскоре татарский чамбул составлял уже лишь четвертую часть его отряда. С этим отрядом он очистил от неприятеля всю западную Жмудь, а прослышав о Саковиче, с которым имел давние счеты, вернулся в родные края и теперь шел за ним следом.

Так оба подступили к Волмонтовичам.

Мечник, прежде стоявший в некотором отдалении, уже с неделю, как перебрался в деревню, и ни сном ни духом не ведал, какие страшные к нему вскоре пожалуют гости.

Однажды вечером юные Бутрымы, пасшие за Волмонтовичами лошадей, прибежали с известием, что из лесу вышло какое-то войско и с юга подходит к деревне. Мечник, старый бывалый солдат, на всякий случай принял некоторые меры предосторожности. Часть своей пехоты, которую Домашевичи уже снабдили изрядным количеством мушкетов, он разместил в недавно отстроенных домах, часть поставил у рогатки при въезде в деревню, сам же с кавалерией расположился в тылу за околицей, на обширном выгоне, одной стороною примыкающем к речке. Сделал это мечник главным образом для того, чтобы заслужить похвалу Бабинича, который, как знаток военного дела, должен был оценить его распорядительность; впрочем, позиция его и в самом деле была надежна.

Волмонтовичи, сожженные Кмицицем в отместку за гибель его дружков, постепенно отстраивались, но начавшаяся война со шведами прервала работы, и с тех пор главная улица была завалена бревнами, брусьями и досками. Целые кучи леса громоздились возле рогатки, и пехота, даже недостаточно обученная, могла под их прикрытием долго обороняться.

И, уж во всяком случае, могла оградить конницу от первого удара. Мечнику так хотелось блеснуть перед Бабиничем своими познаниями в ратном деле, что он даже отправил небольшой отряд на разведку.

Велико же было его изумление, а в первую минуту и испуг, когда издали, из-за лесочка, до него донеслись отголоски выстрелов, а затем на дороге появились его разведчики, несущиеся во весь опор и преследуемые по пятам толпою вооруженных всадников.

Мечник немедля бросился к пехоте – отдать последние распоряжения, а тем временем из лесочка посыпались новые отряды конников и, как саранча, тучею устремились к Волмонтовичам, сверкая оружием в лучах заходящего солнца.

Лесок был недалеко от деревни, и всадники, быстро приблизившись, пустили лошадей вскачь, намереваясь с маху преодолеть рогатку, но тут пехота внезапно открыла огонь, заставив нападающих остановиться. Передние ряды даже попятнулись назад, ломая строй, и лишь десятка полтора лошадей грудью уперлись в наваленные перед рогаткой бревна.

Мечник же за это время успел прийти в себя и, подскакав к своим конникам,

приказал всем, у кого были пистолеты или ружья, идти на подмогу пехоте.

Неприятель, видно, был тоже неплохо вооружен, потому что, после первой неудачной попытки прорваться, сразу открыл сильный, хотя и беспорядочный огонь.

Пальба с обеих сторон то учащалась, то ослабевала; вражеские пули, свистя, долетали даже до конницы, барабанили по стенам домов, заборам, по грудам бревен; облако дыма повисло над Волмонтовичами, на улицах запахло пороховой гарью.

Ануся дождалась того, чего хотела, – битвы.

Обе девушки в самом начале боя по приказу мечника сели на своих лошадок, чтобы уйти со всеми в случае, если силы неприятеля окажутся велики и отряду придется отступить. Пока же им велено было держаться в задних рядах кавалерии.

У Ануси, хотя и сабелька висела на боку и на голове была рысья шапка, при первых же выстрелах душа ушла в пятки. Она, так лихо командовавшая офицерами у себя в комнатах, сразу потерялась, когда довелось лицом к лицу встретиться с сынами Беллоны на ратном поле. Свист и перестук пуль ее пугали; сумятица, беготня вестовых, грохот выстрелов и стоны раненых ошеломляли до головокружения, а от порохового дыма перехватывало дыхание. У нее помутилось в глазах, к горлу подступила тошнота; побелев как полотно, она задрожала, заплакала тоненько, точно малое дитя, и упала бы, не подхвати ее один из офицеров, молодой пан Олеша из Кемнар. Держал ее Олеша крепко, пожалуй, крепче, чем нужно, и готов был простоять так до скончания века.

Но солдаты вокруг принялись насмешничать.

– Рыцарь в юбке! – слышались голоса. – Ей бы кур на яйца сажать да щипать перья!

Иные же кричали:

– Пан Олеша! Щит-то по руке пришелся, да только от стрелы Купидона вряд ли тебя спасет!..

И у бойцов сразу повеселело на душе.

Но многие все же предпочитали глядеть на Оленьку, которая вела себя совершенно иначе. Вначале, когда поблизости пролетело несколько пуль, она тоже побледнела и, не удержавшись, отвортила голову и зажмурила глаза, но потом в ней выиграла рыцарская кровь: заалевшись, как роза, она вскинула голову и устремила вперед бесстрашный взор. Ноздри ее, раздуваясь, словно бы с наслаждением втягивали запах пороха. Меж тем дымная заслона вокруг рогатки сгустилась, скрыв от глаз происходящее, и тогда отважная девушка, заметив, что офицеры выезжают вперед, чтобы лучше видеть ход сраженья, не задумываясь, последовала за ними.

А по рядам кавалеристов пролетел одобрителный шепоток:

– Вот это кровь! Вот это жена для солдата! Побольше бы таких вояк!

– Vivat панна Биллевич!

– Что ж, друзья, покажем себя: такие глазки не всякий день смотреть будут!

– Под пулями не хуже амазонки держится! – воскликнул кто-то из молодых рыцарей, забыв в порыве восхищения, что во времена амазонок еще не было пороха.

– Пора кончать! Пехота свое дело сделала, hostes[161] наши совсем приуныли.

Вражеская кавалерия и вправду не могла справиться с пехотой. Раз за разом всадники на полном скаку подлетали к рогатке, но, встречаемые огнем из мушкетов, в беспорядке отступали. И подобно тому, как волна, прокатившись по низкому берегу, оставляет на песке раковины, камешки, мертвую рыбешку, так после каждой атаки на дороге перед рогаткой оставалось не меньше дюжины недвижных тел и лошадиных трупов.

Наконец враг прекратил бесплодные попытки. Только одиночные конники выезжали вперед и, не жалея пуль, палили по деревне из пистолетов и мушкетов, чтобы отвлечь внимание противника. Но тут мечник, взобравшись по угловым балкам под самую крышу господского дома, заметил, что задние ряды неприятеля пришли в движение и повернули к полям и кустарникам, подступающим к Волмонтовичам с левой стороны.

– Вон откуда хотят зайти! – закричал он и немедленно приказал части конницы рассыпаться между хатами и, укрывшись в садах за деревьями, ждать неприятеля.

Спустя полчаса вновь завязалась перестрелка, теперь уже на левом фланге.

Обнесенные изгородями сады мешали противникам схватиться врукопашную – и той, и другой стороне одинаково, – но нападающие, рассыпавшись длинной цепью, меньше несли потерь.

Бой постепенно становился все жарче и ожесточеннее; возобновились и атаки у рогатки.

Мечнику все это не нравилось.

За спиной справа у него еще оставался свободным выгон, спускающийся к неширокой, но глубокой и илистой речке, переправиться через которую, особенно в спешке, было не так-то просто. В одном только месте к низкому берегу была протоптана тропа, по которой гоняли в лес скотину.

Пан Томаш все чаще поглядывал в ту сторону.

Вдруг сквозь черные, уже потерявшие листву заросли ивняка он увидел поблескивающее при свете вечерней зари оружие и темную тучу солдат.

«Бабинич подходит!» – подумал мечник.

Но в эту минуту к нему подскакал Хшонстовский, командир кавалерийского эскадрона.

– От реки шведская пехота идет! – испуганно закричал он.

– Нас предали! – воскликнул пан Томаш. – О господи! Давай, сударь, туда со своим эскадронам. Ударить надо на эту пехоту, пока они нам во фланг не зашли!

– Очень уж велика сила! – ответил Хшонстовский.

– Хоть на час задержите, а мы попробуем отойти к лесу.

Хшонстовский ускакал и тут же вывел две сотни своих людей на выгон; увидев его, шведы стали быстро перестраиваться в кустарнике, готовясь встретить противника. Минуту спустя эскадрон пустился вскачь, а из зарослей ивняка загрели мушкетные залпы.

Мечник теперь не только не помышлял о победе, но и засомневался, удастся ли сохранить пехоту.

Сам он еще мог, прихватив девушек, отступить с частью конницы и поискать убежища в лесу, но это значило обречь на гибель большую часть отряда и тех лауданцев, которые пришли в Волмонтовичи поглядеть на Бабинича. Да и Волмонтовичи в таком случае неприятель, ясное дело, сроняет с землей.

Оставалась лишь одна надежда: что Хшонстовский сомнет вражескую пехоту.

Между тем стемнело, но в деревне становилось все светлее: загорелась куча опилок, щепы и стружек возле крайнего от рогатки дома. От них занялся и сам дом, и над деревней встало кровавое зарево.

При его свете мечник увидел, что конница Хшонстовского возвращается в беспорядке и смятении, а шведская пехота, высыпав из ивняка, стремительно бросилась за ней вдогонку.

И тогда мечнику стало ясно, что нужно уходить по единственной свободной дороге.

Он уже подскакал к остаткам своей кавалерии, уже взмахнул саблей и крикнул: «Назад, судари! Строем отходить, строим!» – когда вдруг и позади загрели выстрелы, мешаясь с криками, вырвавшимися из множества солдатских глоток.

И понял мечник, что они окружены, что он попался в ловушку, откуда нет ни выхода, ни спасенья.

Оставалось только погибнуть с честью. И пан Томаш встал перед строем своих кавалеристов и воскликнул:

– Умрем все, как один! Не пощадим своей крови за веру и отечество!

Меж тем огонь его пехоты, обороняющей рогатку и левый край деревни, ослабел, а крики неприятеля гремели все громче, возвещая близкое его торжество.

Но что это? Что означают хриплые голоса рожков в отряде Саковича, глухой барабанный бой в рядах шведского войска?

Вопли становятся пронзительнее, и какие-то они странные, сдавленные, словно не торжество в них звучит, а страх.

Пальба возле рогатки внезапно смолкает – как будто никто и не стрелял. Конники Саковича, сбившись кучею, стремглав летят слева к большаку. Подступавшая справа пехота останавливается и, не сделав более ни шагу вперед, начинает пятиться к зарослям ивняка.

– Что это?.. Боже правый! Что это? – кричит мечник.

Ответ приходит со стороны того лесочка, из которого вышел Сакович: сейчас оттуда посыпались люди, лошади, замелькали знамена, бунчуки, сабли, и все это движется... нет, несется, как ветер, и не как ветер даже, как ураган! В кровавых отблесках пожара они видны точно на ладони. Их тысячи! Едва касаясь земли, они мчатся сплошной лавиной; кажется, какое-то чудище, вырвавшись из лесной чащобы, кинулось к деревне, готовое ее пожрать. Впереди, взвихренная движеньем людской лавины, летит волна воздуха, летят ужас и смерть... Вот они, вот! Уже совсем близко! Сейчас этот вихрь сметет Саковича!

– Боже! Великий боже! – словно в помешательстве кричит мечник. – Это наши! Это, верно, Бабинич!

– Бабинич! – вырывается изо всех глоток.

– Бабинич! – раздаются испуганные возгласы в отряде Саковича.

И вся неприятельская конница поворачивает вправо, удирает к своей пехоте.

Со страшным треском ломается изгородь под напором лошадей; выгон заполняется беглецами, но те, из леса, уже настигают их и рубят, колят, секут, рубят без усталости, рубят без жалости. Слышны крики, стоны, свист сабель. И те, и другие налетают на пехоту, опрокидывают ее, топчут, рассеивают. Кажется, тысячи молотобойцев колотят на току цепями. Наконец вся куча скатывается к реке, исчезает в зарослях, переваливает на другой берег. Еще их видно, погоня продолжается, те все рубят, рубят! Отдаляются... Сверкнули в последний раз саблями и скрылись в кустах, в ночи, во мраке.

От рогатки и из-за домов, которые уже нет нужды оборонять, начинает сходить пехота мечника; кавалерия стоит на месте: все так ошеломлены, что в строю царит глухое молчание, и лишь когда с треском заваливается горящий дом, вдруг раздается чей-то голос:

– Во имя отца, и сына, и святого духа! Какая буря пронеслась!

– Ну и погоня! Ни один живым не уйдет! – отзывается другой голос.

– Любезные судари! – кричит внезапно мечник. – А не ударить ли нам на тех, что с тылу заходили? Догоним их, пока не удрали!

– Бей! Убивай! – хором отвечают ему.

И вся кавалерия, поворотив и пришпорив коней, пускается вдогонку за последним отрядом неприятеля. В Волмонтовичах остаются только старики, женщины, дети и Оленька с подругой.

Пожар погашен в мгновение ока. Всех охватывает неопишуемая радость. Женщины, плача и причитая, воздевают руки к небу, и обращаясь в ту сторону, куда ускакал Бабинич, кричат:

– Благослови тебя бог, непобедимый воин! Избавитель наш, ты нас, и детей наших, и дома от погибели спас!

Дряхлые Бутрымы повторяют хором:

– Благослови его, господи! Помоги ему, господи! Без него от Волмонтовичей бы и следа не осталось!

Ах! Если бы в этой толпе знали, что деревню со всеми ее жителями спасла от огня и меча та самая рука, которая два года назад все здесь предала огню и мечу!..

Погасив пожар, все, у кого только были силы, бросились подбирать раненых, а подростки с воинственным видом, вооружившись дубинами, обегали побоище, приканчивая шведов и молодцов из банды Саковича.

Оленька сразу взяла на себя заботу о раненых. Ни на минуту не теряя присутствия духа, она отдавала распоряжения и сама трудилась не покладая рук, пока все до единого не были перевязаны и размещены по домам.

Затем все сельчане по ее примеру пошли к распятию, чтобы помолиться за души павших; никто в Волмонтовичах в ту ночь не сомкнул глаз, все ждали возвращения мечника и Бабинича и усердно хлопотали, дабы оказать победителям достойную встречу. Во дворах резали откормленных в лесу волов и баранов; костры полыхали до самого утра.

Одна Ануся ни в чем не принимала участия, сперва ее лишил сил страх, а потом радость, столь непомерная, что больше походила на безумие. Оленьке пришлось и с нею возиться, а она то смеялась, то плакала, то кидалась подружке на шею, повторяя без ладу и складу:

– Ну что? Кто нас спас – и мечника, и отряд, и Волмонтовичи? От кого удрал Сакович? Кто его погромил, а заодно и шведов?.. Пан Бабинич! А? Я знала, что он придет. Ведь я ему писала. А он меня не забыл! Я знала, знала, что он придет. Позвала – и примчался! Ах, Оленька, Оленька! Как я счастлива! Говорила я тебе? Его никому не одолеть! Сам пан Чарнецкий с ним не сравнится... О боже, боже! Он, правда, вернется? Сегодня же? Зачем иначе было приходить, верно?.. Слышишь, Оленька, кажется, кони вдалеке ржут...

Но не ржали вдалеке кони. Лишь под утро послышался топот, крики, пенье – это вернулся мечник. Всадники на взмыленных лошадях рассыпались по деревне. Песням, веселым возгласам, рассказам не было конца.

Мечник явился, забрызганный кровью, едва дыша от усталости, но полный радостного одушевления, и до восхода солнца рассказывал, как разгромил отряд вражеских рейтар, как две мили гнался за ними и почти всех перебил.

Пан Томаш, как и все его войско и все лауданцы, был уверен, что Бабинич с минуты на минуту вернется.

Но наступил полдень, потом солнце завершило вторую половину своего пути и стало клониться к закату, а Бабинич не возвращался.

У Ануси к вечеру выступили на щеках красные пятна.

«Неужели это он из-за шведов только, а вовсе не из-за меня? – думала она. – Письмо-то он получил, раз сюда пришел...»

Бедняжка, она не знала, что души Брауна и Юра Билевича давно уже отлетели в мир иной и что Бабинич никакого письма не получал.

А если б получил, быстрее молнии воротился бы в Волмонтовичи, но... не к тебе, Ануся!

Прошел еще день; мечник не терял надежды и не уходил из деревни.

Ануся замкнулась в ожесточенном молчании.

«Оскорбил он меня страшно! И поделом, это все за ветреность мою, за мои грехи!» – повторяла она в душе.

На третий день пан Томаш отправил несколько человек на разведку.

Они вернулись на четвертый день и сообщили, что Бабинич взял Поневеж, шведов вырезал всех до единого, а затем ушел неизвестно куда – всякий слух о нем пропал.

– Видно, нам его не найти, пока сам опять не объявится! – сказал мечник.

Ануся переменялась неузнаваемо: кто б из молодых шляхтичей и офицеров к ней ни подходил, тотчас отлетал как ошпаренный.

На пятый день она сказала Оленьке:

– Пан Володыёвский тоже доблестный воин, но куда учтивее.

– А может быть, – задумчиво проговорила Оленька, – может быть, пан Бабинич хранит верность той, о которой тебе рассказывал по пути из Замостья.

На что Ануся ответила:

– Ну и пусть! Мне все равно...

Но она сказала неправду: ей пока еще было далеко не все равно.

## ГЛАВА XXVIII

Отряд Саковича был разгромлен наголову: только ему самому с четырьмя людьми удалось скрыться в лесной чаще невдалеке от Поневежа. И несколько месяцев, переодевшись в крестьянское платье, он скитался в лесах, не смея носа высунуть на свет божий.

Бабинич же ворвался в Поневеж, перебил стоявший там шведский гарнизон и погнался за Гамильтоном, который не мог бежать в Лифляндию, так как на пути, в Шавлях и под Биржами, собрались большие польские силы, и потому свернул в сторону, на восток, рассчитывая пробраться к Вилькомиру. Спасти свой полк он уже не надеялся, ему только хотелось избежать рук Бабинича, поскольку всеобщая молва гласила, будто сей грозный воин, избавляя себя от лишних забот, всех пленников велит предавать смерти.

И несчастный англичанин бежал, как олень, преследуемый волчьей стаей, но чем быстрее убегал, тем упорнее гнался за ним Бабинич; оттого пан Анджей и не



вернулся в Волмонтовичи и даже не поинтересовался, что за отряд ему довелось спасти.

Ударили первые заморозки, земля по утрам покрывалась инеем, отчего еще трудней приходилось беглецам: на лесных тропах оставались следы копыт. Корма в полях не было, и лошади голодали.

Рейтары не осмеливались надолго задерживаться в деревнях, опасаясь, что неутомимый преследователь вот-вот их настигнет.

В конце концов им стало совсем скверно – хуже, казалось, и быть не может; питались они только листьями и корой да мясом собственных лошадей, падавших от истощения.

Через неделю солдаты сами начали просить своего полковника, чтобы он повернул навстречу Бабиничу и принял бой – они предпочитали погибнуть от меча, нежели умереть голодной смертью.

Гамильтон согласился и выбрал местом сражения Андронишки. О победе он и не мечтал, численностью его отряд много уступал противнику, да и противник был особенный. И сам англичанин, беспредельно измученный, искал уже только смерти.

Все же битва, начавшаяся в Андронишках, закончилась лишь вблизи Троупей, где сложили головы последние шведы.

Гамильтон погиб геройской смертью, отбиваясь под придорожным распятием от десятка ордынцев, которые вначале хотели взять его живьем, но разъяренные упорным сопротивлением, в конце концов засекли англичанина саблями.

Однако и люди Бабинича так устали, что у них не хватило ни сил, не желания дойти хотя бы до соседних Троупей, и хоругви стали располагаться на ночлег прямо там, где стояли во время боя, разводя костры среди вражеских трупов.

Подкрепившись, все заснули мертвым сном.

Даже татары не стали обыскивать тела павших – отложили любимое свое дело до утра.

Кмициц согласился на такой привал, заботясь главным образом о лошадях.

Наутро, однако, он встал рано, чтобы подсчитать потери, понесенные в ожесточенном бою, и по справедливости разделить добычу. Наскоро поев, он поднялся на взгорок, к тому самому распятию, где погиб Гамильтон, а польские и татарские старшины поочередно подходили к нему с докладом, держа в руках палки, на которых зарубками было отмечено число павших. Он слушал их, как помещик в летнюю страду выслушивает своих управляющих, и в душе радовался обильному урожаю.

Среди прочих к нему подошел Акба-Улан, более похожий на пугало, чем на человека, так как в бою под Волмонтовичами ему рукояткой сабли расплющили нос.

Поклонившись, он сказал, протягивая Кмицицу окровавленный пакет:

– Эфенди, тут бумаги какие-то у шведского командира нашли, отдаю их тебе, как ты велел.

Кмициц и в самом деле строжайше приказал сразу после битвы приносить ему все найденные на трупах бумаги: из них нередко можно было с пользой для себя узнать намерения противника.

Но в ту минуту пан Анджей был поглощен другими заботами и потому, кивнув Акбе, спрятал бумаги за пазуху. Акбу же отослал, велел немедля вести чамбул в Троупи, где решено было остановиться на длительный отдых.

И потянулись перед Кмицицем, одна за другой, его хоругви. Впереди шел чамбул, который теперь насчитывал всего каких-нибудь пятьсот человек – остальные полегли в непрестанных сраженьях, – зато у каждого татарина в седле, в тулупе и в шапке было зашито столько шведских риксдалеров, прусских талеров и дукатов, что его можно было ценить на вес серебра. Притом на обычных ордынцев татары Кмицица совершенно не походили: те, что были послабее, не вынесли ратных трудов, и остались в чамбуле только могучие богатыри железной выносливости, кровожадные, как шершни. В постоянных боях они набрались такой сноровки, что в рукопашной схватке могли бы дать отпор даже польской регулярной кавалерии, а на прусских рейтар и драгун, если силы были равные, набрасывались, как волки на овец. В сраженьях они с особенным остервенением защищали тела погибших товарищей, чтобы потом поделить между собой их добычу.

Теперь они с бравым видом проходили перед Кмицицем, брэнча литаврами, свистя в дудки, сделанные из полых лошадиных костей, и размахивая бунчуками, и строй их был ровен – на зависть любому регулярному войску. За ними следовал драгунский полк, с превеликим трудом сколоченный паном Анджеем из добровольцев всякого рода, вооруженных рапирами и мушкетами. Командовал драгунами Сорока, бывший вахтмистр, ныне возведенный в офицерский, и не какой-нибудь, а капитанский чин. Полк этот, одетый в одинаковые мундиры, содранные с прусских драгун, состоял по большей части из людей низкого сословия, но с ними-то Кмициц как раз и любил иметь дело, поскольку они слепо ему повиновались и безропотно сносили любые тяготы.

Затем шли две волонтерские хоругви, в которых служила только шляхта, крупная и мелкая. Все как на подбор отчаянные головы, они под началом любого другого предводителя неизбежно бы превратились в стаю стервятников, но в железных руках Кмицица мало чем отличались от солдат регулярной армии, и сами охотно называли себя «пятигорцами». Под огнем неприятеля они держались хуже драгун, зато в яростном первом броске были поистине страшны, а в рукопашных схватках им не было равных, так как все до единого владели фехтовальным искусством.

Последними прошло примерно с тысячу недавно набранных добровольцев, храбрый народ, над которыми, правда, предстояло немало потрудиться, чтобы превратить в настоящих солдат.

Каждая из этих хоругвей, проходя мимо распятия, приветствовала пана Анджея возгласами и взмахами сабель. А ему все радостнее становилось. Какая большая и грозная сила его войско! Много уже подвигов он с ним совершил, много пролил вражьей крови и бог весть, что еще свершить сможет.

Велики его былые прегрешения, но и недавние заслуги немалы. Низко он пал, но сумел подняться и не в храм кинулся замаливать грехи, а на бранное поле, не каялся у ног всевышнего, а очистился кровью. Встал на защиту пресвятой богородицы, отечества, короля и теперь чувствует, как светлей, легче делается у

него на душе. И гордости исполняется молодецкое сердце: не каждому ведь такое под силу!

Мало разве в Речи Посполитой бесстрашной шляхты, мало доблестных рыцарей, но почему-то ни один из них не собрал столь могучей рати – даже Володыёвский, даже Скшетуский! Кто оборонял Ченстохову, кто защитил короля в ущелье? Кто одолел Богуслава? Кто первый с огнем и мечом пришел в Королевскую Пруссию? А теперь вон и Жмудь почти вся очищена от врага.

И почувствовал пан Анджей себя соколом, что взмывает, распростерши крылья, в самое поднебесье! Проходящие мимо хоругви приветствовали его громким криком, а он, гордо вскинув голову, спрашивал себя: «Куда же я залечу?» И лицо его вспыхнуло, ибо в эту минуту ему привиделась гетманская булава. Но если она ему и достанется, то по заслугам: на бранном поле он ее завоюет, за славные подвиги получит, за раны. И никогда уже никакой предатель его не ослепит ее сверканьем, как в свое время ослепил Радзивилл; нет, благодарная отчизна по воле короля вложит булаву в его руки. И не важно, когда это будет, его дело – драться и завтра бить врага так же, как он его побил вчера!

Но тут рыцарь с высот, куда его унесло разыгравшееся воображение, спустился обратно на землю. Куда двинуть из Троупей, где нанести новый удар шведам?

И тогда он вспомнил про найденные на трупе Гамильтона бумаги, которые дал ему Акба-Улан. Сунув руку за пазуху, Кмициц достал их, глянул – и на лице его выразилось изумление.

На пакете отчетливо было выведено женской рукой:

«Ясновельможному пану Бабиничу, полковнику татарских и волонтерских войск».

– Мне?.. – проговорил пан Анджей.

Печать была сломана; торопливо развернув письмо, Кмициц расправил его ударом ладони и стал читать.

Но прежде чем дочитал до конца, руки его задрожали, он переменялся в лице и вскричал:

– Хвала тебе, господи! Боже милосердный! Вот ты и удостоил меня награды!

И, обхватив обеими руками подножье распятия, стал биться об него льняной головой. По-другому благодарить всевышнего в ту минуту Кмициц не мог, других слов не нашел, ибо радость, как порыв ветра, охватила его и вознесла под самые небеса.

Это было письмо Ануси Борзобогатой. Шведы нашли его на теле Юра Биллевича, и вот теперь, побывав еще на одном трупе, оно дошло до Кмицица. В голове пана Анджея с быстротою татарских стрел замелькали тысячи мыслей.

Значит, Оленька не в Беловежской пуще, а в отряде Биллевича? И он, именно он, ее спас, а вместе с нею и те самые Волмонтовичи, которые некогда спалили в отместку за своих товарищей! Видно, рука провидения так направляла его, чтобы он разом искупил свою вину и перед Оленькой, и перед Лаудой. Вот и смысл он с себя пятно! Неужто и теперь она его не простит? А вся эта лауданская братия? Неужто откажут

в благословении? И что скажет любимая, считающая его предателем, когда узнает, что тот самый Бабинич, который расправился с Радзивиллом, который по пояс искупался в немецкой и шведской крови, который во всей Жмуди врага истребил, рассеял, прогнал в Пруссию и Лифляндию, – это он, Кмициц, и не прежний забияка, не изгнанник, не предатель, а защитник веры, короля, отечества!

А ведь хотелось пану Анджею сразу же после перехода жмудской границы раструбить на весь свет, кто таков этот знаменитый Бабинич, и не сделал он этого лишь из боязни, что при одном только упоминании его настоящего имени все от него отвернутся, заподозрят в обмане и откажут в доверии и помощи. Ведь всего два года прошло[162] с тех пор, как он, одураченный Радзивиллом, громил хоругви, которые не хотели присоединяться к князю, восставшему против короля и отечества. Всего два года назад он был правой рукой подлого изменника!

Но теперь все переменялось! Теперь, после стольких побед, овеянный такою славой, он вправе прийти к девушке и сказать: «Я – Кмициц, и я твой спаситель!» Все Жмуди вправе крикнуть: «Я – Кмициц, и я твой спаситель!»

И ведь до Волмонтовичей рукой подать! Неделю Бабинич гнался за Гамильтоном, но Кмицицу не понадобится недели, чтобы оказаться у Оленькиных ног.

Тут поднялся пан Анджей, бледный от волнения, с горящим взором и сияющим лицом, и крикнул ординарцу:

– Скорей коня! Живо! Живо!

Ординарец подскакал, ведя в поводу вороного жеребца, спрыгнул уже наземь, чтоб подать Кмицицу стремя, и вдруг сказал:

– Ваша милость! Люди какие-то к нам от Троупей едут, и пан Сорока с ними. На рысях – спешат, видно.

– А ну их! – ответил пан Анджей.

Между тем всадники были уже в двадцати шагах. Один из них опередил своего товарища и, подъехав вместе с Сорокой к пану Анджею, приподнял рысью шапку, обнажив огненно-рыжий чуб.

– Вижу, передо мной сам пан Бабинич! – сказал он. – Слава богу, наконец я тебя разыскал, ваша милость.

– С кем имею честь? – нетерпеливо спросил Кмициц.

– Я Вершулл, бывший ротмистр татарской хоругви князя Яремы Вишневецкого; приехал в родные края людей для новой войны набирать, а твоей милости письмо привез от великого гетмана пана Сапеги.

– Для новой войны? – переспросил, нахмурясь, Кмициц. – Сказки рассказываешь, сударь?

– Прочти письмо и все поймешь, – сказал Вершулл, протягивая послание гетмана.

Кмициц с лихорадочной поспешностью сломал печать. В письме говорилось нижеследующее:

«Любезнейший пан Бабиниц! Новый потоп угрожает отечеству! Шведами заключен союз с Ракоци: готовится раздел Речи Посполитой. Восемьдесят тысяч венгерцев, семиградцев, валахов и казаков с часу на час ожидаются на южной границе. В столь отчаянном положении долг повелевает нам собрать все силы, чтобы хоть имя нашего народа незапятнанным оставить грядущим векам. Посему приказываю твоей милости, не теряя ни минуты, поворотить коней и кратчайшей дорогою спешить прямо к нам на юг. Нас ты найдешь в Бресте, откуда без промедления будешь отправлен дальше. Знай: *periculum in mora!*[163] Князь Богуслав из плена выкупился, но Пруссия и Жмудь пока под надзором пана Госевского. Еще раз призывая вашу милость поторопиться, тешу себя надеждой, что любовь к гибнущей отчизне поведет тебя по верному пути».

Кмициц, прочитав письмо, уронил его на землю и провел несколько раз рукой по вспотевшему лицу, потом устремил безумный взгляд на Вершулла и спросил негромко, сдавленным голосом:

– Отчего это пан Госевский на Жмуди остается, а мне приказано на юг идти?

Вершулл пожал плечами.

– У пана гетмана в Бресте спросишь, почему он так решил. А я твоей милости ничего не могу сказать.

Вдруг волна неукротимого гнева подкатила к горлу пана Анджея, глаза его засверкали, лицо посинело, и он крикнул страшным голосом:

– А я отсюда не уйду! Понимаешь, сударь?

– Что ж, – ответил Вершулл. – Мое дело было приказ передать, а дальше решай сам! Прощай! Хотел я просить твою милость уделить мне часок, да после того, что услышал, поищу лучше другую компанию.

И, сказав так, поворотил коня и ускакал.

Пан Анджей опустил наземь под распрятием и уставил блуждающий взор на небо, словно силясь угадать, какая будет погода. Ординарец с лошадьми отошел в сторону, и вокруг воцарилась тишина.

Утро было погожее, неяркое, то ли осеннее, то ли уже зимнее. Ветра не чувствовалось, но с берез, растущих возле распрятия, беззвучно опадали последние пожелтевшие и свернувшиеся от холода листья. Бессчетные стаи ворон и галок кружили над лесом; иные с громким карканьем садились на землю невдалеке от креста, так как на поле и на дороге лежали во множестве непогребенные трупы шведов. Пан Анджей провожал глазами каждую черную птицу; можно было подумать, он хочет их всех пересчитать. Потом сомкнул веки и долго сидел не шевелясь. Наконец встряхнулся, насупил брови, лицо его оживилось, и он заговорил сам с собой:

– Нет, не могу! Пойду через две недели, только не сейчас. Будь что будет! Не я накликать Ракоци. Не могу! Это уже слишком!.. Неужто мало я по свету скитался, мыкался, мало бессонных ночей в седле провел, мало пролил своей и вражьей крови? Неужто такую заслужил награду?! Не получи я того письма, без слова бы пошел; так нет же, оба пришли в одночасье, словно для того, чтобы мне еще больней, еще обидней было... Да провались оно все в тартарары, не пойду! Не погибнет за две

недели отчизна; да и, видно, она на себя божий гнев навлекла, и не в людских силах ее спасти. Боже, боже! Гиперборейцы, шведы, пруссаки, венгерцы, семиградцы, валахи, казаки – все разом! Кто против такой силищи устоит? Господи, чем провинилось перед тобой несчастное наше отечество, благочестивейший наш король, что ты отвратил от них лик свой и ни милосердия не хочешь оказать, ни помощи, а лишь новые насылаешь беды? Ужель мало крови пролито, мало слез? Да на этой земле люди позабыли, что такое радость, даже ветры стенают только... Небеса изошли слезами, а ты не устаешь нас бичевать! Смилуйся всемогущий! Спаси, создатель!.. Грешили мы, да... Но ведь встали уже на истинный путь!.. Состоянием пожертвовали, оседлали коней и бьемся, бьемся! Гордыню свою смирили, от личных благ отреклись... Почему же ты не отпустишь грехи наши? Почему не пошлешь утешения?

Но вдруг в нем взбунтовалась совесть: словно невидимая рука схватила его за волосы и потрянула так, что он вскрикнул, и незнакомый голос, почудилось ему, загремел откуда-то из поднебесья:

– От личных благ, говоришь, отреклись? А ты, несчастный, что в эту минуту делаешь? Заслуги свои превозносишь! Грянул час испытаний, а ты на дыбы встаешь, точно норовистый конь, и кричишь: «Не пойду!» Твоя мать погибает, мечи вновь пронзают ее грудь, а ты отворачиваешься, отказываешься ее поддержать, за своим счастьем гонишься и кричишь: «Не пойду!» Она окровавленные руки простирает, вот-вот упадет, уже в беспамятстве, уже похолодела и молит едва слышно, из последних сил: «Дети! Спасите!» А ты ей отвечаешь: «Не пойду!» Горе вам! Горе такому народу, горе Речи Посполитой!

У Кмицица от страха волосы поднялись дыбом, и он задрожал всем телом, как в лихорадке... И повалился ничком на землю, и уже не взмолился, а возопил в ужасе:

– Иисусе, не карай! Смилуйся, Иисусе! Да свершится воля твоя! Я пойду, пойду!

Потом он долго лежал, беззвучно плача, а когда наконец поднялся, лицо его было спокойным и отрешенным. И он снова стал молиться:

– Пойми, господи, отчего я возроптал: ведь я стоял в преддверии счастья. Но ты распорядился иначе – да будет воля твоя! Теперь я понимаю, ты хотел меня испытать и для того поставил на распутье. Да свершится и на сей раз воля твоя! Я пойду и не оглянусь даже. Прими, господи, безмерную мою печаль, тоску мою, горькое горе. Да зачтутся они мне во искупление того, что я князю Богуславу жизнь сохранил, безмерно огорчив тем отчизну. Теперь ты знаешь, господи: в последний раз я общим благом ради личного поступился. Больше такого не будет, отче! Сейчас... только поцелую еще раз любимую эту землю, припаду к твоим окровавленным стопам и пойду... Иду, Иисусе!..

И пошел.

А на небесных скрижалях, куда заносятся дурные и добрые людские поступки, в тот же час зачеркнуты были все его прегрешения, ибо человек этот преобразился.

## ГЛАВА XXIX

Не записано в старых книгах, сколько было еще боев, сколько бились с врагом войска, шляхта и простой люд Речи Посполитой. Бились в лесах и полях, в селах, местечках и городах: в Королевской и Княжеской Пруссии, на Мазовии, в Великой Польше и в Малой Польше, на Руси, в Литве и на Жмуди; без роздыха бились, днем и

ночью.

Каждый комок земли пропитался кровью. В забвение канули имена героев, доблестные подвиги, великие жертвы, ибо ни один хронист их не описал и не воспела лютня. Но под общим могучим напором вражья мощь в конце концов сломилась.

Подобно тому, как громадный лев, который еще минуту назад, пронзенный пулями, лежал, словно неживой, вдруг поднимается и, тряхнув своею царственной гривой, издает устрашающий рык, а охотники в смертельном испуге бросаются наутек, подымалась Речь Посполитая, грозная, исполненная священного гнева, готовая дать отпор всему свету, и захватчиков обуяли страх и бессилие. Не о завоеваниях уже они мечтали, а о том лишь, как бы вырваться живыми из львиной пасти и унести восвояси ноги.

Не помогли им новые союзы, новые полчища венгров, семиградцев, казаков и валахов. Правда, между Краковом, Варшавой и Брестом еще раз пронеслась буря, но поляки грудью встали на ее пути, и буря вскоре рассеялась, как утренний редкий туман.

Шведский король, первым потерявший веру в успех, уехал воевать с датчанами; изменник-курфюрст, поистине молодец против овец, испугавшись силы, пришел с повинною к властям Речи Посполитой и обратил оружие против шведов; шайки головорезов Ракоци бросились сломя голову обратно в свое семиградское логово, где к тому времени уже побывал с огнем и мечом Любомирский.

Легко было им вторгнуться в пределы Речи Посполитой, но куда труднее уйти безнаказанно. Когда Потоцкий, Любомирский и Чарнецкий настигли беглецов у переправы, семиградские графы валялись в ногах у польских гетманов, вымаливая пощаду.

– Все отдадим: оружие, миллионы, – кричали они, – только отпустите!

И гетманы, приняв выкуп, сжалились над этими горе-вояками, однако потом, уже, можно сказать, на пороге своего дома все они полегли под копытами татарских коней.

Мир помалу стал возвращаться на польские равнины. Но король еще отбивал у пруссаков последние крепости, а Чарнецкий собирался вести польские войска в Данию, ибо Речь Посполитая не желала удовольствия лишь изгнанием врага.

На пепелищах отстраивались села и города, жители выходили из лесов, плуги начали бороздить поля.

Осенью 1657 года, по окончании венгерской войны, на большей части польских земель уже воцарился покой, и совсем спокойно было на Жмуди.

Те из лауданцев, что в свое время ушли с Володыёвским, были еще где-то в дальних краях, но скоро ожидались обратно.

Меж тем в Морозах, Волмонтовичах, Дрожейканах, Мозгах, в Гоцунах и Пацунелях женщины, подростки и старики пахали землю, сеяли озимые, всем миром отстраивали хаты после пожоги, чтобы воины, возвратясь, имели, по крайней мере, крышу над головой и от голода не страдали.

Оленька вместе с мечником и Анусей Борзобогатой с некоторых пор жила в Водоктах. Пан Томаш не спешил возвращаться к себе в Биллевичи: деревня была сожжена, да и с девушками ему было веселей. И пока что с помощью Оленьки налаживал хозяйство в Водоктах.

Оленьке хотелось навести там образцовый порядок. Водокты вместе с Митрунами должны были перейти в собственность ордена бенедиктинок: бедная девушка предназначила эти деревни в дар монастырю, куда собиралась вступить послушницей в первый же день нового года.

Долго она размышляла обо всем, что с нею случилось, об изменчивой своей судьбе, о разочарованиях и душевных муках, выпавших на ее долю, и пришла к убеждению, что такова, видно, воля божья. Ей казалось, будто чья-то всесильная рука толкает ее в монашескую обитель, чей голос внушает:

«Там обрящешь ты покои и отдохновение от мирской суеты!»

И Оленька решила внять этому голосу; чувствуя, однако, что душа ее еще не совсем отвратилась от всего земного, она старалась сперва подготовить себя жаркими молитвами, добрыми делами и трудом. Впрочем, в этих стараниях ей часто мешали доходившие из широкого мира вести.

Так, к примеру, люди стали поговаривать, будто знаменитый Бабинич не кто иной, как Кмициц. Одни с горячностью это отрицали, другие упорно поддерживали слухи.

Оленька слухам не поверила. Слишком свежи были в ее памяти все дикие выходки Кмицица, его служба у Радзивилла, чтобы она хоть на минуту могла предположить, будто он – победитель Богуслава, верный слуга короля и пылкий патриот. Однако покой ее был нарушен, а боль и горечь вновь пробудились в душе.

Чтобы избавиться от этих терзаний, надо было поскорее принять постриг, но монастыри все опустели; монахини – те, что не стали жертвой солдатских бесчинств во время войны, – только-только начинали возвращаться в свои обители.

Да и голод свирепствовал в стране: кто искал прибежища в монашеской келье, тот не только должен был прийти с собственным хлебом, но и кормить весь монастырь.

Вот Оленька и хотела прийти с хлебом для всех, чтобы стать монахиням не просто сестрой, но и кормилицей.

Мечник, понимая, что труд его послужит умножению славы господней, усердствовал, как мог. Вместе с Оленькой они объезжали поля и фольварки, приглядывая за осенними полевыми работами, от которых зависел будущий урожай. Иногда их сопровождала Ануся Борзобогатая, которая, чувствуя себя глубоко оскорбленной Бабиничем, грозилась, что тоже пойдет в монастырь, пусть только вернется пан Володыёвский со своими лауданцами, поскольку ей хочется попрощаться со старым другом. Однако чаще мечнику сопутствовала одна Оленька, потому что Анусе вникать в хозяйственные дела было скучно.

Однажды мечник с племянницей отправились верхами в Митруны, где отстраивались сгоревшие во время войны хлева и амбары.

По дороге они решили заехать в костел: как раз была годовщина битвы под Волмонтовичами, когда Бабинич спас их всех от неминуемой гибели. В делах



незаметно пролетел целый день, и из Митрунов они смогли выбраться только к вечеру.

Туда ехали кружным путем, мимо костела, но возвращаться пришлось через Любич и Волмонтовичи. Оленька, едва завидев первые дымки над любическими крышами, опустила глаза и торопливо зашептала молитву, стремясь отогнать горькие мысли, мечник же ехал молча и лишь озираясь по сторонам.

Наконец, когда уже миновали рогатку, он сказал:

– Ох, и знатная здесь земля! Один Любич двух Митрун стоит.

Оленька продолжала молиться

Но в мечнике, видно, пробудился рачительный хозяин, а может, сказалось живущее в душе всякого шляхтича пристрастие к тяжбам; так или иначе, немного погодя он опять заговорил словно бы сам с собою:

– А ведь, по правде сказать, это все наше... Старая вотчина Биллевичей, наш пот, наш труд. Бедолага тот, знать, давно погиб, раз до сих пор не объявился, а даже если и объявится, право на нашей стороне.

И спросил у Оленьки:

– Ну, а ты как думаешь?

На что Оленька ответила:

– Проклятое это место. Пусть пропадает.

– Но право-то, понимаешь ли, за нами. Проклятое было место в плохих руках, а в хороших станет благословенным. Право за нами!

– Нет, никогда! И слышать не хочу. Дедушка ему безо всяких оговорок Любич подарил, пусть его родня и забирает.

И, сказав так, Оленька хлестнула лошадь; мечник тоже пришпорил свою, и они поскакали, нигде более не задерживаясь, пока не выехали в чистое поле. Меж тем настала ночь, но светло было как днем: из-за волмонтовического леса поднялась огромная красная луна и озарила все вокруг золотистым сияньем.

– Ишь ты, какую чудесную ночь послал господь! – произнес мечник, глядя на округлый лик луны.

– А Волмонтовичи как светятся, издалека видно! – воскликнула Оленька.

– Это тес на крышах еще почернеть не успел.

Дальнейший разговор был прерван скрипом телеги, которую они сразу не увидели, так как дорога пролегла по холмистой местности; вскоре, однако, показались одна за другой две пары лошадей, запряженных цугом, а затем и широкая с решетчатыми боками телега, сопровождаемая несколькими верховыми.

– Что ж это за люди такие? – проговорил мечник.

И придержал коня. Оленька остановилась рядом.

А телега помалу приближалась и наконец поравнялась с ними.

– Стой! – крикнул мечник. – Кого везете?

Один из всадников повернулся к ним:

– Пана Кмицица везем, что венгерцами под Магеровом ранен.

– Легок на помине! – воскликнул мечник.

У Оленьки все поплыло перед глазами, сердце замерло, в груди стеснилось дыханье. Какие-то голоса вскричали в душе: «Иисус, Мария! Это он!» Сознание ее помутилось; бедняжка перестала понимать, где она и что с ней.

В седле она удержалась только потому, что невольно ухватилась за высокую грядку телеги. Когда же пришла в себя, взгляд ее упал на недвижимое тело, лежавшее на возу. Да, это был он, Анджей Кмициц, оршанский хорунжий. Он лежал навзничь, голова его была обмотана платками, но в красноватом свете луны хорошо было видно бледное, спокойное, словно высеченное из мрамора или застывшее от ледяного дыхания смерти лицо. Глубоко запавшие глаза были закрыты, он не выказывал ни малейших признаков жизни.

– С богом!.. – сказал, снимая шапку, мечник.

– Стой! – крикнула Оленька.

И спросила тихо, но с лихорадочной торопливостью:

– Жив еще? Умер?

– Живой, но душа еле теплится.

Тут и мечник, поглядев на лицо Кмицица, сказал:

– До Любича вам его не довезти.

– Он велел непременно туда везти – там умереть хочет.

– С богом! Поторопитесь!

– Прощайте!

И телега двинулась дальше, а Оленька с мечником поскакали во весь опор в противоположную сторону. словно ночные мороки, пролетели они через Волмонтовичи и домчались до Водоктов, по дороге не обменявшись ни словом; только слезая с лошади, Оленька обратилась к дяде.

– Ксендза надо к нему послать! – сказала она прерывающимся голосом. – Отправь кого-нибудь поскорее в Упиту!

Мечник поспешно кинулся отдавать распоряжения, Оленька же вбежала в свою

светелку и упала на колени перед образом пресвятой деви.

Несколько часов спустя, уже поздней ночью, за воротами Водоктов прозвенел колокольчик. Это ксендз ехал со святыми дарами в Любич.

Панна Александра все стояла на коленях перед иконой. Губы ее шевелились: она читала отходную. А закончив, принялась бить троекратные земные поклоны, повторяя снова и снова:

– Господи, да зачтется ему, что он от вражеской руки смерть принял... Смилуйся над ним! Отпусти его вины!..

Так она провела ночь. Ксендз пробыл в Любиче до утра, а на обратном пути заехал в Водокты. Оленька выбежала ему навстречу.

– Уже все? – спросила она.

И больше ничего не смогла сказать – не хватило дыхания.

– Еще жив, – ответил ксендз.

В последующие две недели гонцы ежедневно скакали из Водоктов в Любич и всякий раз возвращались с ответом, что пан хорунжий «еще жив»; наконец один привез новость: цирюльник, которого доставили из Кейдан, сказал, что Кмициц не только будет жить, но и совершенно поправится, пулевые раны благополучно затягиваются, и к рыцарю возвращаются силы.

Панна Александра щедро пожертвовала на благодарственный молебен в Упите, но с этого дня гонцов в Любич больше не посылала; и – странное дело! – едва девушка перестала опасаться за жизнь пана Анджея, в сердце ее вспыхнуло прежнее возмущение. Поминутно ей припоминались его вины – столь тяжкие, что простить их было нельзя. Только смерть могла наложить на них печать забвения... А теперь, когда он выздоравливал, они снова тяготели над ним... И тем не менее бедная Оленька каждый день повторяла себе все, что только умела придумать ему в оправдание.

За эти дни ее так измучила борьба с собой, сомнения так истерзали душу, что она сама занемогла.

Это очень встревожило пана Томаша, и однажды вечером, оставшись с племянницей наедине, он спросил:

– Оленька, скажи мне прямо, что ты думаешь об оршанском хорунжем?

– Видит бог, я не хочу о нем думать! – ответила Оленька.

– Да ты, голубушка... похудела даже... Хм!.. Может, ты еще... Я тебя не неволю, только... хотелось бы знать, что с тобой творится... Подумай-ка, может, надо все же исполнить волю твоего покойного деда?

– Никогда! – ответила девушка. – Дедушка мне еще одну дверь оставил открытой... и я в нее постучусь на новый год. Вот и будет его воля исполнена.

– Я и сам не верил рассказням, будто Бабинич и Кмициц – один человек, – сказал

мечник, – но ведь под Магеровом он с нашим врагом дрался и кровь свою за отечество пролил. Хоть и поздно, а исправился же!

– Так ведь и князь Богуслав теперь королю и Речи Посполитой служит, – печально ответила Оленька. – Пусть господь им обоим простит, а в особенности тому, кто свою кровь пролил... Но люди-то всегда будут вправе сказать, что в самое страшное время, в годину поражений и бедствий, они отступились от своей отчизны, а вернулись в ее лоно, лишь когда врагу изменила удача и им была прямая выгода перейти на сторону победителя. Вот в чем их вина! Теперь нет больше изменников, потому что в измене нету корысти! Но разве это заслуга?.. Разве это не доказывает лишний раз, что такие люди всегда будут служить сильнейшему? Дай-то бог, чтобы я ошибалась, но подобную вину никаким Магеровом не искупить...

– Верно! Не стану спорить! – ответил мечник. – Горько так говорить, но что верно, то верно! Все бывшие изменники на службу к королю перешли.

– А над оршанским хорунжим, – продолжала девушка, – тяготееет еще более страшное обвинение, чем над князем Богуславом. Пан Кмициц обещался на короля руку поднять, чего сам князь убоился. Неужто раной от шальной пули можно такую вину искупить?.. Я бы руку дала отсечь, лишь бы этого не было... но это было, есть и навсегда останется на его совести! Господь, видно, даровал ему жизнь для того, чтобы он покаяться смог... Дядюшка! Милый дядюшка! Внушать себе, что он чист, значит, самих себя обманывать. А что толку это делать? Разве можно обмануть совесть? Пусть свершится воля божия. Разбитого не склеить, да и стараться незачем! Я счастлива, что пан хорунжий остался жив, не скрою... Стало быть, господь в своем милосердии от него еще не совсем отвратился... Но иного от меня не жди! Я буду счастлива, если услышу, что он искупил свои вины, но больше ничего не хочу, ни о чем не мечтаю! Даже если сердцу будет больно... Да поможет ему бог...

Продолжать Оленька не смогла: горькие, неудержные рыдания душили ее, но то были последние ее слезы. Она высказала все, что скопилось у нее на душе, и с этого дня спокойствие начало к ней возвращаться.

### ГЛАВА XXX

Не захотела непокорная молодецкая душа покинуть свою телесную оболочку и не покинула. Через месяц после приезда в Любич раны пана Анджея стали заживать, а еще раньше вернулось к нему сознание: оглядев горницу, он сразу понял, что находится в Любиче.

Тогда позвал он своего верного Сороку и так ему сказал:

– Сорока! Господь надо мною смилостивился! Я чувствую, что не умру!

– Так точно! – ответил старый солдат, смахивая кулаком слезу.

А Кмициц продолжал словно бы про себя:

– Конец моему покаянию... вижу ясно. Господь надо мною смилостивился!

И умолк, только губы его шевелились в беззвучной молитве.

– Сорока! – немного погодя сказал он.

– Что прикажете, ваша милость?

- А кто там в Водоктах?
- Барышня и пан мечник россиенский.
- Слава тебе, господи! А приходил кто про меня спрашивать?
- Из Водоктов гонцов присылали, пока мы не сказали, что ваша милость жить будет.
- А потом перестали слать?
- Потом перестали.

На что Кмициц сказал:

- Они еще ничего не знают, ну да ладно, узнают от меня самого. А ты никому не говорил, что я здесь под именем Бабинича воевал?
- Приказу такого не было, – ответил Сорока.
- А лауданцы с паном Володыёвским еще не вернулись?
- Нет пока, но вот-вот должны.

Тем их разговор в тот день и окончился. Две недели спустя Кмициц уже поднимался с постели и ходил на костылях, а в следующее воскресенье пожелал непременно ехать в костел.

- Поедем в Упиту, – сказал он Сороке. – Первым делом надо всевышнего поблагодарить, а после мессы – сразу в Водокты.

Сорока, не осмелившись возразить, велел выстлать сеном бричку. Пан Анджей приделся, и они поехали.

Приехали рано, когда народу в костеле было еще немного. Пан Анджей, опираясь на плечо Сороки, подошел прямо к главному алтарю и упал на колени в дарительском приделе; никто его не узнал – так сильно он изменился, и вдобавок худое, изможденное его лицо за время войны и болезни обросло длинной бородою. Если кто на него и взглянул, то, видно, подумал, что какой-нибудь случайный проезжий зашел послушать обедню: в окрестностях полно было заезжей шляхты, возвращавшейся с войны в свои именья.

Но помалу костел начал заполняться простым людом и местной шляхтой, а там и из дальних деревень стали подъезжать: почти повсюду костелы были сожжены и к мессе приходилось ездить в Упиту.

Кмициц, погруженный в молитву, никого не замечал; из благоговейной задумчивости его вырвал лишь скрип подножья молельной скамьи с ним рядом.

Тогда он поднял голову, глянул и увидел прямо над собой нежное и печальное лицо Оленьки.

Она тоже увидела его, мгновенно узнала и отшатнулась словно в испуге; лицо ее сперва вспыхнуло, потом покрылось смертельной бледностью, но величайшим усилием

воли она превозмогла волнение и опустилась возле пана Анджея на колени; третье место на скамье занял мечник.

И Кмициц, и Оленька, склонив головы и спрятав лица в ладонях, молча стояли рядом, и каждый слышал стук сердца другого – так сильно их сердца бились. Наконец пан Анджей заговорил первый:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков... – вполголоса ответила Оленька. И больше они не проронили ни слова.

Меж тем ксендз начал проповедь; Кмициц слушал его, но, как ни старался, ничего не слышал и не понимал. Вот она, его желанная, та, по ком он тосковал столько лет, кем полны были мысли его и чувства, – здесь, рядом. Он ощущал ее близость, но даже взгляда не смел на нее поднять, потому что был в костеле, и лишь, полузакрыв глаза, прислушивался к ее дыханию.

– Оленька, Оленька рядом со мной! – беззвучно повторял он. – Господь повелел во храме встретиться после разлуки...

И в мыслях его, и в сердце неумолчно звучало: «Оленька! Оленька! Оленька!»

Горло пана Анджея сжималось от радостных рыданий; сдерживая слезы, он отдавался благодарственной молитве и от волнения едва не терял сознания.

А она по-прежнему стояла на коленях, закрыв лицо руками.

Ксендз закончил проповедь и сошел с амвона.

Внезапно перед костелом раздался лязг оружия и топот копыт. Кто-то крикнул с порога: «Лауданцы вернулись!» – и тотчас по костелу пробежал шепот, потом голоса стали громче, и вот уже с разных сторон понеслись крики:

– Лауда! Лауда!

Толпа всколыхнулась, всё головы разом повернулись к дверям.

А в дверях уже яблоку негде было упасть – в костел входили вооруженные воины. Впереди, позвякивая шпорами, шли Володыёвский и Заглоба. Толпа перед ними расступилась, и они, пройдя через весь храм, преклонили колена перед алтарем, прочли краткую молитву и затем оба вошли в ризницу.

Лауданцы остановились посреди костела, ни с кем не здороваясь из почтения к святому месту.

Ах, что это была за картина! Грозные обветренные лица, изнуренные трудами ратной жизни, посеченные шведскими, немецкими, венгерскими, валашскими саблями. Вся история войны и славных деяний богобоязненной Лауды была запечатлена на них мечом врага. Вот угрюмые Бутрымы, вот Стакьяны, Домашевичи, Гостевичи – всех понемногу. Едва лишь четвертая часть из тех лауданцев, что когда-то ушли с Володыёвским, вернулась обратно.

Многие жены тщетно ищут своих мужей, многие старцы тщетно высматривают сыновей,

и все громче становится плач, ибо те, что нашли своих, тоже плачут – от радости. Со всех сторон несутся под своды костела рыдания; нет-нет, чей-нибудь голос выкрикнет дорогое имя и смолкнет, а воины стоят в сиянии своей славы, опершись на мечи, но и у них по суровым шрамам катятся в густые усы слезы.

Но вот в дверях ризницы прозвенел колокольчик, и утихли рыдания и гомон. Все опустились на колени; вышел ксендз со святыми дарами, за ним Володыёвский и Заглоба, облаченные в стихари, и началась служба.

Но ксендз тоже был взволнован, и, когда в первый раз обратился к прихожанам со словами: «*Dominus vobiscum!*»[164], голос его дрогнул; когда же он принялся читать святое Евангелие и все сабли разом обнажились в знак того, что Лауда всегда готова защищать веру, а в костеле посветлело от блеска стали, то едва сумел дочитать до конца.

Потом все с благоговейным одушевлением пропели «Святой боже», и месса закончилась, но ксендз, спрятав святыне дары в ковчежец и прочтя последнюю молитву, вновь повернулся лицом к собравшимся в знак того, что хочет говорить.

Сделалось тихо; ксендз сначала в теплых словах поздравил воинов с возвращением, а затем объявил, что сейчас будет прочитано послание короля, привезенное полковником лауданской хоругви.

Стало еще тише, и вот от алтаря на весь храм прозвучало:

– «Мы, Ян Казимир, король Польский, Великий князь Литовский, Мазовецкий, Прусский и проч. и проч. во имя отца, и сына, и святого духа, аминь.

Яко мерзостные злодеяния дурных людей противу королевской власти и отечества прежде, нежели содеявшие их пред небесным судом предстанут, на земле подлежат наказанью, точно так же, вящей справедливости ради, и добродетели надлежит награда, каковая самое добродетель блеском славы должна украсить, а потомков побудить во всем следовать достойным примерам.

Посему доводим до сведения всего рыцарского сословия, то бишь людей военного и гражданского звания, исправляющих должности *cuiusvis dignitatis et grae eminentiae*[165], а также всех граждан Великого княжества Литовского и нашего Жмудского староства, что, каковы бы ни были *gravamina*[166][ последующих заслуг и подвигов, должны быть вычеркнуты из памяти людской, дабы впредь ни в какой мере не умаляли чести и славы вышепоименованного хорунжего оршанского».

Тут ксендз прервал чтение и взглянул на скамью, где сидел пан Анджей, а тот привстал на минуту и снова сел, откинув голову на спинку скамьи, и закрыл глаза, словно в беспамятстве.

А все взоры устремились, на него, все уста зашептали:

– Пан Кмициц! Кмициц! Кмициц!.. Вон там, возле Биллевичей!

Но ксендз дал знак рукой и среди гробовой тишины стал читать дальше:

– «Упомянутый хорунжий оршанский, хотя и примкнул в начале злосчастливого шведского нашествия к князю воеводе, но поступил таково не корысти ради, а из подлинной любви к отечеству, введенный в заблуждение уговорами князя воеводы,

будто к salutis Reipublicae[167] лишь один есть путь – тот, на который вступил сам князь!

Прибыв же к князю Богуславу, который, почитая его изменником, во всех своих преступлениях против отечества открылся, вышепоименованный хорунжий оршанский не только на особу нашу не согласился поднять руки, но и самого князя силою захватил, дабы отметить за нас и за истерзанную нашу отчизну...»

– Господи, прости меня, грешную! – воскликнул женский голос возле пана Анджея, а по костелу снова пронесся гул изумления.

Ксендз читал далее:

– «Будучи оным князем ранен и едва успев оправиться, он поспешил в Ченстохову и там своею грудью защищал величайшую нашу святыню, всем давая пример мужества и твердости; там же с опасностью для жизни он подорвал порохом самое грозное неприятельское орудие, а свершив рискованное сие предприятие, был схвачен и приговорен жестоким врагом к смерти, сперва же был подвергнут пытке огнем...»

Тут уж в разных концах костела послышался женский плач. Оленька дрожала, как в лихорадке.

– «Однако, избавленный царицей небесной и от этой страшной опасности, поспешил к нам в Силезию, а при возвращении нашем в любезную отчизну, когда коварный враг уготовал нам западню, оный оршанский хорунжий с тремя лишь товарищами бросился на всю неприятельскую рать, спасая нашу особу. И, посеченный, исколотый рапирами, утопающий в собственной благородной крови, был замертво унесен с поля брани...»

Оленька сжала руками виски и, запрокинув голову, ловила запекшимися губами воздух. Из груди ее вырвался стон:

– Боже! Боже! Боже!

И вновь зазвучал голос ксендза, с каждой минутой преисполняясь все большим волнением:

– «Когда же нашими стараниями к нему вернулось здоровье, он, не позволив себе и дня отдыха, снова отправился воевать и в каждой битве отличался безмерно, так что военачальники обоих станов ставили его в пример всему рыцарству, после же благополучного взятия Варшавы был нами послан в Пруссию под вымышленным именем Бабинича...»

Едва в костеле прозвучало это имя, гул людских голосов сделался подобен рокоту волн. Так, значит, Бабинич – это он?! Значит, спаситель Волмонтовичей, гроза шведов, одержавший такое множество побед, – это Кмициц?!. Шум все нарастал, толпа стала тесниться к алтарю, чтобы лучше видеть героя.

– Господи, благослови его! Господи, благослови! – раздались сотни голосов.

Ксендз повернулся и перекрестил пана Анджея, который все так же сидел, откинувшись к изголовью скамьи, похожий более на мертвеца, чем на живого человека, ибо душа его от счастья вырвалась из груди и воспарила на небеса.



А священник продолжал читать:

– «Придя во вражеский край, он опустошил его огнем и мечом; победой под Простками мы ему обязаны, князя Богуслава он собственными руками одолел и пленил, после чего был отправлен в Жмудское староство, а уж сколько подвигов совершил, сколько городов и сел уберег от вражеской десницы, о том тамошние *incolae*[168] лучше всех должны знать».

– Знаем! Знаем! Знаем! – загремело под сводами костела.

– Тише, – сказал ксендз, подымая кверху королевское послание.

– «Посему, – продолжал он читать, – взвесив все его безмерные перед престолом и отечеством заслуги, больше каковых и отец с матерью не вправе ожидать от сына, настоящим письмом оглашаем всенародно свое решение: дабы людская вражда долее не преследовала великого рыцаря, защитника веры, короля и Речи Посполитой, воздадим достойную хвалу его доблестям и да будет имя его окружено всеобщей любовью. Мы же, пока ближайший сейм не снимет с него согласно нашему желанию неправую хулу и позволит наградить его местом, ныне *vacat*, упитского старосты, нижайше просим милых нашему сердцу граждан Жмудского староства запечатлеть в своих умах и сердцах эти наши слова, кои, к вящей их памяти, подсказала нам сама *iustitia, fundamentum regnorum*»[169].

На том чтение закончилось, и ксендз, повернувшись к алтарю, начал молиться, а пан Анджей вдруг почувствовал, как чьи-то нежные пальцы коснулись его руки; он глянул: это была Оленька; и, прежде чем он успел спохватиться, отдернуть руку, девушка поднесла ее к губам и поцеловала – при всех, перед людьми и алтарем божьим.

– Оленька! – крикнул потрясенный Кмициц.

Но она встала и, прикрыв лицо концом шали, сказала мечнику:

– Дядюшка! Уйдем отсюда, уйдем скорее!

И они вышли через дверь ризницы.

Пан Анджей хотел подняться, выйти следом, но не смог...

Силы совершенно его оставили.

А четверть часа спустя он стоял перед костелом, поддерживаемый под руки Володыёвским и Заглобой.

Вокруг собралась толпа мещан, и мелкой шляхты, и простого люда; женщины – даже те, что едва успели обнять возвратившихся с войны мужей, – побуждаемые свойственным их полу любопытством, бежали взглянуть на страшного некогда Кмицица, освободителя Лауды и будущего упитского старосту. Кольцо вокруг него сжималось все теснее, так что лауданцам в конце концов пришлось обступить рыцаря, спасая от толчеи.

– Пан Анджей! – кричал Заглоба. – Экий мы тебе привезли подарок! Небось не ждал такого. А теперь – в Водокты, в Водокты! Сговорим тебя, и за свадебку!..

Дальнейшие его слова потонули в оглушительном крике, который подняли разом все лауданцы под предводительством Юзвы Безногого:

– Да здравствует пан Кмициц!

– Да здравствует! – подхватила толпа. – Да здравствует наш упитский староста! Да здравствует!

– В Водокты! Все в Водокты! – снова рявкнул Заглоба.

– В Водокты! – взревели тысячи уст. – В Водокты, пана Кмицица, спасителя нашего, сватать! К барышне! В Водокты!

Все пришло в движение. Лауда села на коней; остальные, кто только был в силах, кинулись к телегам, повозкам, бричкам и лошадям. Пешие пустились напрямик через леса и поля. Клич: «В Водокты!» – гремел по всей Упите. Пестрая толпа запрудила дороги.

Кмициц ехал в бричке между Володыёвским и Заглобой и поминутно обнимал то одного, то другого. От сильного волнения он еще не мог говорить, да и мчались они так, словно на Упиту напали татары. Прочие повозки и телеги, не отставая, неслись за ними.

Город остался уже далеко позади, когда Володыёвский вдруг склонился к уху Кмицица.

– Ендрик, – спросил он, – а где та, другая, не знаешь?

– В Водоктах! – ответил рыцарь.

Тут усики пана Михала зашевелились – то ли от ветра, то ли от волнения, трудно сказать; так или иначе, всю дорогу они стояли торчком, словно два шильца, словно рожки майского жука.

Заглоба на радостях распевал таким страшным басом, что даже лошади пугливо вздрагивали:

Двое было, Касенька, двое нас на свете,

Да теперь сдается мне, что в дороге третий.

Ануся в костел не ездила: в то воскресенье был ее черед сидеть с занемогшей панной Кульвец, за которой они с Оленькой ухаживали, сменяя друг друга.

Все утро она провела в хлопотах у постели больной и на молитву стала поздно.

Едва, однако, она произнесла последнее «Аминь», как за воротами послышалось тархтенье возка и в горницу вихрем ворвалась Оленька.

– Иисус, Мария! Что случилось? – крикнула, взглянув на нее, панна Борзобогатая.

– Ануся! Знаешь, кто такой Бабинич?.. Это Кмициц!

Ануся мигом вскочила на ноги.

– Кто тебе сказал?

– Читали королевское послание... пан Володыёвский привез... лауданцы...

– Значит, пан Володыёвский вернулся?.. – воскликнула Ануся.

И бросилась Оленьке на шею.

Оленька подумала, что этот взрыв нежности вызван Анусиным к ней участием; охваченная лихорадочным возбуждением, она сама была в полубеспамятстве. Лицо ее пылало, грудь высоко вздымалась, словно от крайнего изнеможения.

И она начала бессвязно, прерывающимся голосом рассказывать обо всем, что услышала в костеле, и при этом бегала из угла в угол как помешанная, ежеминутно повторяя: «Это я его недостойна!», сурово коря себя за то, что хуже всех его оскорбила, что даже молиться за него не хотела, тогда как он кровь проливал за пресвятую деву, за короля и отечество.

Тщетно Ануся, бегая за ней по горнице, пыталась ее утешить. Оленька твердила одно: она его недостойна, она ему в глаза взглянуть не посмеет; а потом опять принималась рассказывать о подвигах Бабинича, о похищении Богуслава и о его мести, о спасении короля, о Простках и Волмонтовичах, о Ченстохове и вновь твердила о винах своих и своей жестокости, замолить которую она обязана, уйдя в монастырь.

Сетования ее были прерваны появлением пана Томаша, который пулею влетел в горницу, крича:

– Господи! Вся Упита к нам валит! Уже в деревню въезжают; и Бабинич, верно, с ними!

И действительно, минуту спустя отдаленный гул возвестил о приближении толпы. Мечник схватил Оленьку и вывел на крыльцо; Ануся выбежала следом за ними.

Вскоре вдалеке зачернелось скопище конных и пеших: вся дорога, сколько видел глаз, была забита народом. Наконец толпа приблизилась к усадьбе. Пешие штурмовали ров и ограду, телеги застревали в воротах; крик стоял невероятный, шапки летели в воздух.

Но вот показался отряд вооруженных лауданцев, окружавших бричку, в которой сидели трое: Кмициц, Володыёвский и Заглоба.

Бричку пришлось оставить поодаль, так как перед крыльцом столпилось столько уже народу, что ближе подъехать было невозможно. Заглоба с Володыёвским, выскочив первыми, помогли сойти Кмицицу и тотчас подхватили его под руки.

– Расступитесь! – крикнул Заглоба.

– Расступись! – повторили лауданцы.

Толпа немедля раздалась в обе стороны, освобождая посередине проход, по которому два рыцаря подвели Кмицица к крыльцу. Он пошатывался и был очень бледен, но шел с высоко поднятой головой, растерянный и счастливый.

Оленька стояла, прислонившись к дверному косяку и бессильно уронив руки, когда же он приблизился, когда она взглянула в глаза бедному своему возлюбленному, который после долгих лет разлуки шел к ней, как Лазарь, без кровинки в лице, рыдания снова вырвались из ее груди. А он от слабости, от счастья, от смущения не знал, что сказать, и, подымаясь на крыльцо, только повторял прерывающимся голосом:

– Ну что, Оленька, ну что?

Она же вдруг припала к его коленям.

– Ендрусь! Я раны твои целовать недостойна!

Но в это мгновение к рыцарю вернулись силы: он подхватил девушку с земли, словно перышко, и прижал к груди.

Раздался единый оглушительный вопль, от которого задрожали стены домов и с деревьев осыпались последние листья. Лауданцы принялись стрелять из самопалов, кидать вверх шапки; радость осветила все лица, глаза горели, все уста кричали хором:

– Vivat Кмициц! Vivat панна Биллевич! Vivat молодая чета!

– Vivat две молодые четы! – гаркнул Заглоба.

Но голос его потерялся в общем гуле.

Водокты превратились в сущий походный бивак. Целый день по приказу мечника резали баранов и волов, выкапывали из земли бочонки с медом и пивом. Вечером все сели за трапезу: те, что постарше и познатнее, – в покоях, молодежь в людской, а простой народ веселился во дворе у костров.

За почетным столом неустанно подымались заздравные кубки в честь двух счастливых пар, когда же веселье достигло предельного накала, Заглоба провозгласил еще один тост:

– К тебе я обращаюсь, любезный пан Анджей, и к тебе, старый мой товарищ, пан Михал! Вы рисковали головой, проливали кровь, громили врага – но этого мало! Не завершён труд ваш, ибо теперь, когда жестокая война унесла столько людей, ваш долг – дать любимой нашей отчизне новых граждан, новых ее защитников, для чего, надеюсь, ни отваги, ни охоты вам не занимать стать! Любезные судари! Выпьем за здоровье будущих поколений! Да благословит их бог и да позволит им уберечь то наследие, что мы им оставляем, возрожденное нашими трудами, нашим потом и кровью. Пусть в тяжкую годину они вспомнят нас и никогда не поддаются отчаянию, зная, что нет таких передряг, из которых *viribus unitis*[170] с божьей помощью нельзя было бы выйти.

Пан Анджей вскоре после свадьбы снова отправился на войну, которая разгорелась на восточной границе. Однако блистательные победы, одержанные Чарнецким и Сапегой над Хованским и Долгоруким, а коронными гетманами над Шереметевым, быстро положили ей конец. Кмициц вернулся, овеянный новой славой, и навсегда поселился в Водоктах. Звание оршанского хорунжего перешло к его двоюродному брату Якубу, который впоследствии участвовал в печальной памяти военной

конфедерации, а пан Анджей, душой и сердцем преданный королю, был награжден Упитским староством и жил долго в примерном согласии с Лаудой, окруженный всеобщим уважением и любовью. Недоброжелатели (у кого их нет!), правда, поговаривали, будто он во всем чрезмерно своей жене послушен, но пан Анджей этого не стыдился, напротив, сам признавал, что во всяком важном деле всегда спрашивает ее совета.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...нет протекторов, как у англичев. – В результате победы Великой английской революции Англия стала республикой, Король Карл I был казнен. В 1653 г . Оливер Кромвель объявил себя протектором Англии, Шотландии и Ирландии.

Спижское староство, – Спиж (словацкое Спиш) – территория на южном (словацком) склоне Карпат, заложенная в 1412 г . венгерским королем Сигизмундом Люксембургским Владиславу Ягелло. До 1769 г . Спиж входил в состав Польши. Центром Спижского староства был город Любовля.

...под Зборовом... – 5-6 августа 1649 г . под Зборовом украинская освободительная армия под командованием Богдана Хмельницкого нанесла поражение польским войскам, руководимым королем Яном Казимиром. От полного разгрома короля спас крымский хан, настоявший на заключении мирного договора.

...под Жванцем (близ Каменец-Подольского) в декабре 1653г. польские войска были окружены украинской освободительной армией. Здесь вновь, как под Берестечком, решающую роль сыграла позиция крымского хана, принудившая Хмельницкого пойти на подписание мира на условиях Зборовского договора 1649 г .

...довели его до того, что для Речи Посполитой он стал опаснее даже страшного Януша Радзивилла. – В 1665 г . Любомирский возглавил рокош против Яна Казимира. Победа рокошан в битве под Монтвами 13 июля 1666 г . вынудила короля отказаться от задуманных им реформ государственного строя (речь шла, в частности, о выборе наследника при жизни короля).

...заменяв только шведов французами. – Антифранцузская направленность рокоша Любомирского связана с тем, что Ян Казимир, инспирируемый Марией Людвигой, хотел убедить шляхту избрать наследником польского престола французского принца Энгиенского (принц Анри-Жюль Конде).

...перещеголял я самого пана Лаща... – Самуэль Лащ, коронный стражник, был известен тем, что, несмотря на то, что за свои бесчинства он более двухсот раз был приговорен судами к утрате чести и изгнанию, оставался благодаря заступничеству великого коронного гетмана Конецпольского недосыгаем для правосудия.

...Константина Любомирского, маршала рыцарского круга... – Маршал рыцарского круга избирался шляхтой в качестве уполномоченного во время конфедераций при отсутствии воеводы и т.п.

Как разбойник Костка Наперский был некогда осажден в Чорштыне... – Александр Леон Костка Наперский (наст. имя Станислав Войцех Бзовский) – руководитель крестьянского восстания в Краковском Подгалье. В июне 1631 г . завладел замком Чорштын, но был осажден и взят в плен войсками, посланными краковским епископом Петром Гембицким. Казнен в Кракове.

...исполнить сей обет. – Обеты, торжественно данные Яном Казимиром во Львове 1 апреля 1656 г ., получили реализацию в той части, где король поклялся способствовать утверждению католицизма в Польше. В 1658 г . по решению сейма ариане – наиболее радикальная ветвь протестантизма в Польше – были изгнаны из страны. Туманно сформулированное королем обещание облегчить положение крестьянства было вскоре забыто.

...владелец майората... – Майорат – нераздельный комплекс земельных владений, переходящий по наследству старшему сыну. Майораты (иначе называемые ординациями) учреждались некоторыми магнатами с санкции короля с целью не допустить уменьшения экономического и политического могущества семьи. Среди владельцев майоратов в Речи Посполитой были Замойские, Радзивиллы (ольцко-несвижская ветвь), Острожские.

...молодую француженку... – Речь идет о придворной даме королевы Марии Людвики – Марии Казимире д'Аркен, которая в 1658 г . вышла замуж за Яна Замойского, а после его смерти стала в 1665 г . женой великого коронного маршала Яна Собеского, назначенного затем великим коронным гетманом, а в 1674 г . избранного королем.

...сын великого Иеремии. – Михаил Вишневецкий, сын Иеремии, в 1669 г . был избран польским королем.

#### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Принц Бипонтийский. – Княжество Бипонтийское (Цвейбрюккен) в прирейнской Германии – наследственное владение Карла X Густава, перешедшее после его вступления в 1654 г . на шведский престол младшему брату Адольфу Иоганну.

...я узнал от Лупула, господаря... – Молдавский господарь Василий Лупу (Лупул) был свергнут в 1653 г ., но умер он (вопреки словам Заглобы) только в 1661 г .

...а Максимилиан был австрийский... – Ян Замойский намекает на то, что его дед (тоже Ян), коронный канцлер и великий коронный гетман, разбил и взял в плен под Бычиной в 1588 г . претендента на польский престол австрийского эрцгерцога Максимилиана.

Картоуны – самые тяжелые осадные орудия.

...через... Минск. – Имеется в виду Минск Мазовецкий, находящийся в сорока пяти километрах к востоку от Варшавы.

...маршалу приходилось на это закрывать глаза. – В столице или месте пребывания короля поединки были запрещены, нарушители этого правила подлежали суду маршала.

Венгерская пехота. – Так в XVII в. назывались части, необязательно состоящие из венгров, но обмундированные и вооруженные по венгерскому образцу.

Уяздов – королевский замок близ Варшавы; сейчас место, где стоял Уяздовский замок, находится в центре города.

...часовню царей Шуйских... – Василий Иванович Шуйский после его низложения был вместе с братом Димитрием отправлен в Варшаву, где они оба умерли: Василий в 1612 г ., а Димитрий в 1613 г .

Revera (поистине) – любимая поговорка гетмана Станислава Потоцкого, превратившаяся в его прозвище.

Pacta conventa – обязательства, гарантировавшие незыблемость шляхетских прав и привилегий и государственного строя Речи Посполитой, подписывались избранными на польский престол.

...и наш экс-кардинал в короне. – Богуслав напоминает о том, что Ян Казимир до избрания его на престол носил церковный титул кардинала.

...равная победе под Грюнвальдом... – Битва под Грюнвальдом 15 июля 1410 г . – величайшая победа польского оружия, предопределившая падение Тевтонского ордена, опаснейшего врага Польского государства.

Ведь всего два года прошло... – Сенкевич нарушает хронологию событий: со времени перехода Януша Радзивилла на сторону шведов прошло немногим более года.

Примечания

1

Самым докучным, тягостным (лат.).

2

Тебя, бога, хвалим!.. (лат.).

3

Уважение, почтение (лат.).

4

Последовательно (лат.).

5

«Отче наш» (лат.).

6

«Если обрушится, расколовшись, мир, то и под его обломками я останусь неустрашимым» (лат. – Гораций).

7

Мать моя из дома (лат.).

8

Память слаба (лат.).

9

Обществу (лат.).

10

Величие сокрушает зло (лат.).

11

«...обремененная заботами и наделенная мужеством, что под стать мужу» (лат. – Вергилий).

12

См. Примечания

13

Недолог наш удел, печаль сменяется радостью. Краткий миг все изменяет (лат.).

14

В пределах государства (лат.).

15

Что касается (лат.).

16

Прим.



17

Плоды (лат.).

18

Подобно молнии появляется на западе и непрестанно стремится на восток (лат.).

19

Прим.

20

Прим.

21

Голос (лат.).

22

«Богородице, дево, радуйся!» (лат.), начальные слова молитвы.

23

Хозяев (польск. и укр.). Так в Карпатах и Подгалье называют крестьян, владельцев дворов.

24

Прим.

25

Да здравствует! Да здравствует Ян Казимир, король! (лат.).

26

Эту песню, под названием «Припевка панам французам», пели под Монтавами.  
(Примеч. автора).

27

Прим.

28

Я последний! (лат.).

29

Моя вина! (лат.).

30  
Прим.

31  
Принимал большое участие (лат.).

32  
Я принимал большое участие (лат.).

33  
Прим.

34  
Лишенные чести (лат.).

35  
Приговоренные к изгнанию (ит.).

36  
Объявленные вне закона (лат.).

37  
Способны, можем пользоваться (лат.).

38  
Равны (лат.).

39  
Недостатки (лат.), Всеми правами (лат.).

40  
Простого звания (лат.).

41  
Послужить Речи Посполитой (лат.).

42  
Пользуется (лат.).

43

Пункт (лат.).

44  
Единодушно (лат.).

45  
Большинство (лат.).

46  
Буквально: запрещаю (лат.).

47  
Свободным вето (лат.).

48  
Отойти, отступить (лат.).

49  
Ум (лат.).

50  
Пример (лат.).

51  
Печаль, скорбь (лат.).

52  
Согласен (лат.).

53  
Наподобие (лат.).

54  
Реквием, заупокойное песнопение. По первому слову: *requiem aeternam* (лат.) – вечный покой.

55  
Прим.

56  
Буквально: похвалы (лат.). В Речи Посполитой так называли постановления сеймиков

земель, поветов, воеводств.

57

«Се агнец господень...» (лат.).

58

Прим.

59

Свободна (лат.).

60

Муж несравненный! (лат.).

61

Тайны (лат.).

62

На крайности (лат.).

63

Подкрепления (лат.).

64

Прежде всего (лат.).

65

Богатырь (татар.).

66

Большую часть (лат.).

67

Прим.

68

Прим.

69

Прим.

70

Шляхтич на латинский лад переименовал польское слово «grubianstwo», то есть «грубость».

71

По форме (лат.).

72

Приличие (лат.).

73

Довод (лат.).

74

Во-первых (лат.).

75

Во-вторых (лат.).

76

Орудие (лат.).

77

Обременять (лат.).

78

Преступным путем (лат.).

79

Сознаюсь (лат.).

80

Лихорадка (лат.).

81

Утомлены (лат.).

82

Говорить не стоит (укр.).

83

Дорогой солдат! (лат.).

84

Господи Иисусе! Боже мой! (нем.).

85

Прим.

86

Князь (фр.).

87

Масло (лат.).

88

Здесь на все есть свое средство (лат.).

89

Прим.

90

Я польский рыцарь (лат.).

91

Прим.

92

Право же (фр.).

93

Ответ (лат.).

94

Варваров (лат.).

95

Наставником (лат.).

96

Приступаю (лат.).

97

Превзошел (лат.).

98

Возьмем в плен Карла Густава (лат.).

99

Союз (лат.).

100

В целом свете (лат.).

101

Превосходные (лат.).

102

Животным (лат.).

103

Древних (лат.).

104

Даже вестника поражения не осталось (лат.).

105

Вождь и победитель! (лат.).

106

С самого начала (лат.).

107

Прим.

108

Сохранить свою молодость (лат.).

109

Прим.

110  
Королевский замок! (лат.).

111  
Сенаторы (лат.).

112  
Прим.

113  
Писатели (лат.).

114  
Несчастья, беды (лат.).

115  
Школа иезуитов (лат.).

116  
Дворец (лат.).

117  
Королевскую усадьбу (лат.).

118  
Пустоту (лат.).

119  
Шутки (лат.).

120  
Прим.

121  
Прим.

122  
Предложил (лат.).

123  
Прим.



124

Обезьяны (лат.).

125

Истребитель обезьян (лат.).

126

Побежденный (лат.).

127

Городу и миру (лат.).

128

Поистине... (лат.).

129

Прим.

130

Моя вина, моя великая вина! (лат.).

131

Позором покрыт (лат.).

132

Начертить, нарисовать (лат.).

133

Плодитесь и размножайтесь... (лат.).

134

Со всеми титулами (лат.).

135

Первым браком (лат.).

136

Се женщина (лат.).

137

Отвращение, презрение (лат.).

138

Здесь: один в поле не воин (лат.).

139

Ход, течение событий (лат.).

140

Обязательства, договор (лат.).

141

Прим.

142

Согласен! (лат.).

143

По всем правилам! (лат.).

144

Препятствие (лат.).

145

Прим.

146

Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздоров гибнут большие державы! (лат.).

147

Возбудить к восстанию (лат.).

148

Под страхом (лат.).

149

Рогатый (лат.).

150

За родину и свободу (лат.).

151

Любви к родине (лат.).

152

То есть (лат.).

153

Завоевал, взял приступом (лат.).

154

Трупы (лат.).

155

Прим.

156

Его величество король Швеции (лат.).

157

«С нами бог!» (нем.).

158

«Боже, смилуйся надо мной!» (нем.).

159

Да здравствует и процветает! (лат.).

160

Под открытым небом (лат.).

161

Враги (лат.).

162

Прим.

163

Промедление опасно! (лат.).

164

Господь с вами! (лат.).

165

Любого ранга и достоинства (лат.).

166

Вины (лат.).

167

Спасению отечества (лат.).

168

Жители (лат.).

169

Справедливость, основа государственной власти (лат.).

170

Соединенными усилиями (лат.).

171

Ввиду (лат.).

172 Равно блага (лат.).